К. Паустовский

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Константин Паустовский

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ШЕСТИ ТОМАХ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1958

Константин Паустовский

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ШЕСТОЙ

ПЬЕСЫ, ОЧЕРКИ, СТАТЬИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1958

ПЬЕСЫ



ПОРУЧИК ЛЕРМОНТОВ

(Сцены из жизни Лермонтова)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Лермонтов Михаил Юрьевич.

Одоевский, поэт, декабрист, сосланный в солдаты на Кавказ после многолетней сибирской каторги.

Жерве, драгун, капитан, товарищ Лермонтова.

Столыпин (Монго), ближайший друг и родственник Лермонтова.

Мусина-Пушкина, графиня, молодая светская красавица.

Арсеньева Елизавета Алексеевна, бабушка Лермонтова.

Бенкендорф, начальник Третьего отделения.

Мария Николаевна, великая княгиня, дочь Николая I.

Барант, сын французского посланника.

Белинский Виссарион Григорьевич.

Пушкина Наталия Николаевна, вдова Пушкина.

Мартынов, убийца Лермонтова.

Военный лекарь.

Вяземский, поэт, друг Пушкина.

Воронцова-Дашкова, княгиня, эксцентричная светская женщина.

Васильчиков, близкий ко двору молодой человек, сын николаевского сановника.

Соллогуб, писатель, приближенный великой княгини Марии Николаевны.

Екатерина Карамзина, вдова писателя Карамзина.

Софья Карамзина, дочь писателя Карамзина.

Александр Тургенев, друг Пушкина.
Дашенька, приживалка бабушки Лермонтова.
Жандармский полковник с рукой на перевязи.
Часовой.
Комендант арестного дома.
Генерал, начальник отряда в Чечне.
Глебов, секундант Лермонтова во время дуэли с Мартыновым.
Духанщик.
Спившийся чиновник.
Офицер-кавалергард, друг Васильчикова.
Пожилой улан.
Корнет.
Седой капитан.
Светские дамы, сановные старики и старухи, маски, зурначи, грузинские крестьяне, муши, пленные горцы, солдаты, слуги.

Действие происходит в 1838—1841 годах.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Тифлис. Духан. Ветхий балкон духана висит на сваях над Курой. Внизу шумит река.

Осеннее утро. Солнце. Легкие тени. С балкона видны окраины Тифлиса — нагромождение старых домов, пыльных кровель, деревянных лестниц. Над ними далеко в небе сверкает, как глыба ломаного льда, вершина Казбека.

В духане почти нет посетителей. Два старых зурнача играют в кости. За дальним столиком спит помятый человек в рваной чиновничьей фуражке. Седой военный лекарь в расстегнутом пыльном сюртуке допивает вино.

Духанщик — маленький и унылый — нервно щелкает на огромных счетах. Он все время ошибается, сердито сбрасывает счеты и начинает считать сначала.

Лекарь. Сколько же с меня? Да ты, я вижу, никак не сочтешь, азиат?

Духанщик. Зачем кричишь на меня, дорогой?

Лекарь. Эх ты, купец-мученик. Битый час щелкаешь, ни до чего еще не дощелкался.

За дверью духана слышны мужские голоса, громкий смех, звон шпор. Дверь распахивается. Входят Лермонтов, Жерве и Одоевский. Лермонтов и Жерве одеты по-походному. Одоевский в солдатской шинели.

Духанщик пугается. Лекарь застегивает сюртук. Пьяный чиновник подымает голову. Зурначи оглядываются на вошедших и застывают с костями в руках. Только после первых слов Лермонтова они успокаиваются и с треском продолжают игру.

Лермонтов. Это духан для извозчиков?

Духанщик. Зачем для извозчиков? Всякий человек сюда заходит — берет вино, харчо, лоби.

Лермонтов. А офицеры?

Духанщик *(разводит руками и виновато смеется)*. Какой офицер зайдет в такой бедный духан, дорогой!

Лермонтов. Вот и чудесно! *(Одоевскому.)* Здесь мы выпьем вина и простимся, Саша. Никто тебя с нами не увидит.

Одоевский *(осматривается)*. Трущоба изрядная.

Жерве. Самое безопасное место на тифлисском майдане. *(Духанщику.)* Тащи вина и всякой белиберды. Понимаешь? Только живо. Нас дожидаются почтовые лошади.

Лермонтов, Жерве и Одоевский садятся за столик около перил. Растерявшийся духанщик торопливо подает вино, зелень, сыр. Пьяный чиновник пересаживается поближе к столику Лермонтова и снова засыпает.

Одоевский *(Лермонтову)*. Ну что ж, Миша, выпьем за твое освобождение, за Петербург.

Лермонтов. Ничего, Саша. Бог даст, и ты скоро вернешься в Россию.

Одоевский. Что меня утешать! Буду ли я усерден по службе, или буду я нерадив, — все равно не видать мне больше России. Государь не помиловал почти никого из участников декабрьского мятежа.

Жерве. Да, жди от него — дожидайся!

Одоевский. Оставь мне что-нибудь на память, Миша. Быть может, никогда и не свидимся.

Лермонтов. Я бы тебе оставил последние стихи, да совестно — больно они неприглядные.

Одоевский. Покажи!

Лермонтов достает из кармана листок, протягивает Одоевскому. Одоевский читает. Жерве заглядывает через плечо Одоевского.

Ж е р в е. «Серебряный Кавказ»! Как сказано! Ты мне объясни, Мишель, почему после твоих стихов я вижу все как будто снова?

Л е р м о н т о в *(отбирает стихи у Одоевского).* Брось читать, Саша. Ты поэт и прекрасно видишь, что они плохие. *(Комкает листок со стихами.)*

О д о е в с к и й. Отдай стихи сейчас же. Они великолепны.

Л е р м о н т о в. Я сам знаю им цену. *(Рвет стихи.)*

Жерве вскакивает и хватает Лермонтова за руку.

Ж е р в е. Не смей!

Л е р м о н т о в *(вырывается).* Пусти, Жерве! *(Встает и бросает разорванные стихи за перила.)*

Ветер подхватывает обрывки бумаги и уносит в Куру.

О д о е в с к и й. Это безбожно!

Ж е р в е. Честное слово, я готов вызвать тебя, Мишель, к барьеру за этот дурацкий поступок!

Лермонтов хохочет. Все происшедшее вызывает некоторое смятение в духане. Духанщик подбирает с пола несколько не унесенных ветром листков и подает их Лермонтову. Листки перехватывает Жерве.

Л е к а р ь *(он слегка пьян).* Драгуны! Драчуны! *(Наливает вино в стакан.)* Не имею чести вас знать, молодые люди, но позвольте мне, старику, выпить за вас. Люблю горячих людей. *(Пьет.)* Не успели войти — и тотчас же у вас схватка из-за письма. *(Встает и подходит к столику Лермонтова.)*

Лермонтов пододвигает ему стул, лекарь садится.

Наверняка письмо какой-нибудь красавицы княгини.

Л е р м о н т о в *(неохотно).* Нет... Так... Неудачные стихи.

Л е к а р ь. Да... Стихи. Вот вы небось смотрите на меня и думаете: старый корешок, армейская затычка, закис на Кавказе и ни о чем не волнуется сердцем, ни о чем не имеет понятия. А между тем, представьте себе, люблю всякую поэтичность. Даже Пушкина случалось читать. Да и видел я его однажды в холодной сакле по дороге в Арзрум. Замечательный был человек.

Жерве (*лукаво*). Чем же он был замечательный?

Лекарь. Э-э, да разве вам втолкуешь! Не взыщите, но у вас одна мазурка свистит в голове. На то вам и молодость.

Лермонтов. Да... Вам повезло, признаться, больше, чем мне. Я его не видал.

Лекарь (*не слушает Лермонтова*). Возвышенный был человек... Да вот не уберегли... убили... Узнал я об этом, и даже дрогнуло сердце, — неужто, думаю, не найдется отомстителя? Неужто совсем оскудела смельчаками Россия? Однако, рассказывают, нашлась благородная душа, некий гусар (*говорит таинственно*) Лермонтов. Он вступился за убитого Пушкина, и, говорят, сослали его за это на Кавказ, на боевую линию, подставили под черкесские пули.

Лермонтов встает и подходит к перилам балкона. Он явно взволнован.

Лермонтов. Что это так сильно блестит на горизонте?

Лекарь. Это Казбек. Вижу я, что не по душе вам мой разговор, господин прапорщик.

Лермонтов. Нет... почему... Но все же не будем говорить об этом.

Лекарь (*задираясь*). Это по какой же причине, позвольте вас спросить?

Жерве. По той простой причине, сударь, что Лермонтов находится перед вами.

Лекарь потрясен. Он встает, тяжело опирается рукой о стол и низко склоняет перед Лермонтовым седую голову.

Лекарь. Видит бог, не ожидал я такой встречи. (*Крепко пожимает руку Лермонтова.*) Простите меня, старика, но одно я вам скажу от чистого сердца: хотел бы я иметь такого отважного сына, как вы.

Лермонтов (*улыбается*). Я очень скверный ребенок.

Жерве. Не обрадовались бы вы такому прелестному сыну.

Входит возница.

Возница *(робко)*. Пора бы ехать, ваши благородия. Дело осеннее, — надо засветло перевалить через Крестовую.

Лекарь. Ступай вон, невежа!

Возница скрывается.

Смею спросить, куда изволите ехать?

Лермонтов. В Петербург. Я и мой однополчанин Жерве — мы оба получили помилование.

Лекарь *(кричит духанщику)*. Тогда тащи вина! Вина, каналья, из самых твоих заветных бурдюков!

Духанщик тащит вино. Зурначи бросают игру в кости и берутся за барабан и дудку. Как только наполняются вином первые стаканы, зурначи ударяют быструю, но заунывную мелодию. Чиновник просыпается и жадно смотрит на веселое общество за столиком. Музыка привлекает любопытных. Духан наполняется худыми грузинскими крестьянами, мушами, погонщиками.

Лермонтов *(подзывает духанщика, незаметно дает ему пачку ассигнаций)*. Угости всех вином.

Духанщик что-то сердито кричит по-грузински. Необыкновенное оживление. Посетители, смеясь, толпятся у стойки. Духанщик наливает им вина. Тогда они кланяются Лермонтову и молча, торжественно пьют. Лермонтов встает и выпивает стоя свой стакан.

Одоевский. Ты хорошо прощаешься с Кавказом, Миша.

Лермонтов. Он стоит того. Но все же я счастлив, что возвращаюсь в Россию. Там все. Там друзья и надежды. И поверишь ли, Саша, почему-то поэзия легче всего рождается под нашим сереньким небом.

Одоевский. Да, тоска... Много бы я дал, чтобы услышать, как палый лист шумит под ногой, чтобы увидеть туман над родными полями...

Лермонтов. Брось, Саша. Увидишь все. Мужайся.

Лекарь *(Одоевскому)*. Я хоть прост, батюшка, да хитер. Вы из ссыльных?

Одоевский. Да, я ссыльный.

Лекарь. За декабрь?

Одоевский. Совершенно точно, за декабрь.

Лекарь. Много вашего брата сгноили в солдатской шинели... Простите, не имею чести знать вашего имени...

Одоевский. Моя фамилия Одоевский.

Лекарь. Князь?

Одоевский *(усмехаясь)*. Нет, как видите, солдат Нижегородского драгунского полка.

Лекарь *(чокается с Одоевским и пьет)*. Эх, батенька мой. Благородство мыслей не скроет никакая солдатская шинель. Даже самая рваная.

Одоевский. Благодарю вас.

Входит возница и безмолвно останавливается на пороге.

Жерве *(замечает возницу)*. Все же пора ехать. Лошади застоялись.

Лекарь. Говорят, перевал весь в снегу. Как бы вас не захватило бураном. Время рискованное.

Лермонтов. Ничего. Перейдем перевал хоть по горло. Но что же, едем, Жерве?

Все встают.

(Одоевскому.) Ты не провожай нас, Саша, до лошадей. Побудь здесь, пока мы не отъедем. Не то попадешься какому-нибудь дураку офицеру.

Лекарь. Далеко ли до беды.

Одоевский *(с горечью)*. Хорошо. Ну, прощай, Миша. *(Целуется с Лермонтовым.)* Передай от меня привет родному краю. Не забывай изгнанника. Пиши — бог дал тебе много, с тебя много Россия и взыщет.

Лермонтов *(растроган)*. Прощай, Саша. И не сердись. Вот тебе пустяк на память.

Лермонтов быстро достает из кармана второй листок, мельком взглядывает на него и отдает Одоевскому.

Жерве целуется с Одоевским. Лермонтов, Жерве и лекарь идут к дверям. Все расступаются, дают им дорогу. Зурначи снова начинают играть заунывчый мотив.

Одоевский подходит к перилам балкона, разворачивает стихи, но не читает их, а прислушивается. Слышен топот копыт, окрики возницы, звон бубенцов, голоса Лермонтова и Жерве.

Одоевский *(опускает голову и медленно читает)*. «Молю, чтоб буря не застала, гремя в наряде

боевом, в ущелье мрачного Дарьяла меня с испуганным конем». Прекрасно!

Чиновник (*подходит к Одоевскому*). Нехорошо, сударь.

Одоевский (*удивленно*). Что нехорошо?

Чиновник. Нехорошо может обернуться дело для вас, сударь, ежели о том узнает комендант города.

Одоевский. Что вам надобно от меня?

Чиновник. Душа у меня горит по бутылке, а между тем в кармане одни свалявшиеся нитки. Одолжите синенькую.

Одоевский (*вспыхивая*). Убирайтесь прочь!

Чиновник. Не забывайте, сударь, что ежели вы пострадаете и вам это безразлично, то пострадает и господин Лермонтов. Офицеру не дозволяется столь дерзко показывать свою близость с государственным преступником.

Одоевский (*кричит*). Прочь, гадина!

Шум за дверью. Дверь распахивается, и в духан, как буря, врывается Лермонтов.

Лермонтов (*бросается к Одоевскому и берет его за руки*). Саша, я не мог уехать и еще раз не обнять тебя. Вот видишь, вернулся на минуту. Крепись, душа моя, помни, что в мыслях своих я всегда с тобой.

Одоевский (*отворачивается, говорит глухо*). Вечное тебе спасибо, Миша.

Лермонтов. Ну, полно, полно. Прощай, милый.

Одоевский. Не обращай внимания. Попросту я совсем отвык от сердечности.

Одоевский обнимает Лермонтова. Лермонтов выбегает.

Чиновник. Ну как же, господин Одоевский?

Одоевский (*не замечает его, смотрит глазами, полными слез, на далекие горы*). Бог мой, зачем нам дана такая сердечная боль?

Чиновник. Я дожидаюсь ответа, господин Одоевский.

Занавес

КАРТИНА ВТОРАЯ

Белая ночь в Петербурге. Узкая набережная Мойки. В черной воде отражаются туманные звезды. Тихой зарей горят окна спящих домов.

Издалека доносятся веселые голоса и женский смех. На набережную вбегают Лермонтов и Мусина-Пушкина. Они держатся за руки. Мусина-Пушкина запыхалась и раскраснелась. Одной рукой она подобрала черное шелковое платье. Мусина-Пушкина в изнеможении прислоняется к резной решетке набережной. Лермонтов снимает фуражку и поправляет волосы.

Мусина-Пушкина. Бог мой, Лермонтов, вы или мальчишка, или безумец! Выйти из экипажей и устроить игру в горелки среди Петербурга! Какое счастье, что уже поздний час и нас никто не видел.

Лермонтов *(смеется)*. Мы обогнали всех.

Мусина-Пушкина. Теперь гореть будет Столыпин. Я видела, как его поймала Воронцова.

Лермонтов. Не знаю. Я не видел ее. Я видел только вас.

Мусина-Пушкина *(вспыхнув, смотрит на Лермонтова)*. Что вы, Лермонтов! Но ничего... ничего... Говорите...

Лермонтов. Вам знакомо, должно быть, это ощущение — полное безмолвие, вот такое же, как нынче, когда не слышно даже пения птиц и в этой тишине восходит огромное летнее солнце. Я испытываю это ощущение каждый раз, когда бываю рядом с вами. Почему это, скажите?

Мусина-Пушкина *(медленно и тихо)*. Не знаю... *(Неожиданно легко проводит рукой по волосам и лицу Лермонтова.)* Не знаю... Не знаю, милый мой и сумасшедший Лермонтов.

Входит быстро Воронцова-Дашкова. Она хохочет и обмахивается фуражкой Столыпина. За ней идет Столыпин, а следом за ним — Софья Карамзина под руку с князем Вяземским.

Воронцова-Дашкова *(хохочет)*. Жерве бросился, как заяц, на Конюшенный мост и чуть не сбил с ног квартального! *(Перестает смеяться, вздыхает с облегчением.)* Теперь я верю, Лермонтов, что

вы истинный поэт. Затеять горелки среди этой белой ночи — что может быть бесшабашнее? Мы все сделались детьми.

Вяземский. Даже я. Но автору такой поэтической прозы, как «Бэла», прощается все.

Софья Карамзина. Избави бог, если бы мы сшибли с ног какого-нибудь старого генерала.

Столыпин (*нарочито гнусавым голосом, причем лицо его дергается злым тиком*). «Доношу вашему величеству, что корнет Лермонтов устроил прошлой ночью вместе со светскими дамами игру в горелки на Мойке. Это верх неприличия и дерзости».

Все смеются.

Вяземский. Бенкендорф! Подлинный Бенкендорф! Ловко вы его изображаете, Столыпин.

Быстро входит Жерве.

Жерве. Ой, дайте отдышаться. Я чуть не угодил в комендантскую. Ну, что же вы стоите? Кто горит?

Воронцова-Дашкова. Нет уж, увольте. Больше я не могу в атласных туфлях бегать по булыжнику.

Мусина-Пушкина. Да уж и поздно. Давайте лучше помолчим напоследок.

Вяземский. Очаровательная идея.

Все умолкают.

Мусина-Пушкина (*шепотом спрашивает Лермонтова*). Что вы слышите?

Лермонтов (*очень тихо*). Биение вашего сердца. И плеск воды.

Ветер с легким шумом пробегает по листве деревьев и затихает.

Вяземский. Какая тишина!

Лермонтов. Ночь всегда говорит вполголоса.

Жерве. Это ты очень ловко сказал, Мишель.

Лермонтов (*Жерве*). Замолчи, колпак!

Все на мгновение умолкают.

Воронцова-Дашкова. Вот сейчас бы забраться в гущу старого сада и окунуть лицо в мокрые листья. Как хорошо!

Жерве. Вы, оказывается, тончайшая поэтесса, княгиня?

Лермонтов. Тебя уже один раз просили, помолчи.

Жерве умолкает.
Где-то очень далеко башенные часы бьют три удара.

Софья Карамзина. Я никак не пойму, где мы.

Вяземский *(оглядывается)*. Как поразительно! Веселая игра привела нас в одно из самых печальных мест Петербурга.

Воронцова-Дашкова. Куда?

Вяземский. К дому Пушкина, княгиня. Мы стоим как раз около его крыльца.

Все поворачиваются к крыльцу темного дома. Молчание.

Софья Карамзина. Бог мой, а мы здесь так хохотали и вели себя, как глупые дети.

Лермонтов. Если бы Пушкин был жив, то, конечно, вышел бы и бегал с нами в горелки.

Вяземский. Это точно.

Лермонтов *(после недолгого молчания говорит просто и тихо, как бы разговаривая с самим собой)*. «И мрачный год, в который пало столько отважных, добрых и прекрасных жертв, едва оставит память о себе в какой-нибудь простой пастушьей песне, унылой и приятной».

Воронцова-Дашкова. Откуда это?

Лермонтов *(не отвечает ей)*. Я не знаю лучшего выражения нашего времени, чем эти пушкинские слова. Помнишь, Жерве, как любил эти строки Саша Одоевский?

Жерве. Где-то он теперь, бедняга?

Лермонтов. Погодите! *(Что-то замечает у порога пушкинской квартиры, подходит к порогу, наклоняется и срывает какую-то траву.)* Подорожник.

Простой подорожник. (*Осторожно сдувает пыль с листьев подорожника.*)

Вяземский. Англичане утверждают, что подорожник всегда распускается у порога дома, чей хозяин никогда не вернется в отечество.

Столыпин. Как верно. Он ушел навсегда и без времени.

Лермонтов. Нет, Монго. Его имя будет сверкать в веках. Без него мы существовали бы ничтожной частью своей души. Даже эта северная ночь была бы иной для нас и не давала бы такого очарования, если бы не было Пушкина.

Вяземский. Браво, Лермонтов! Браво!

На набережной слышны чужие голоса. Все затихают. Появляется князь Васильчиков и с ним молодой офицер-кавалергард.

Воронцова-Дашкова (*тихо*). Васильчиков! Как глупо мы попались.

Васильчиков (*говорит кавалергарду*). Он не имеет манер. Он так шаркает ногами по паркетам, что я однажды даже обратил на это внимание наследника.

Кавалергард. А что он, наследник?

Васильчиков. Он ответил очень мило, что походка, помогающая наващивать императорские паркеты, есть хотя и скромное, но несомненное достоинство.

Кавалергард хохочет.

Жерве (*тихо*). Вот фазан!

Васильчиков (*замечает Воронцову-Дашкову и всех остальных*). Княгиня! Вы здесь, в такое время! Князь Вяземский! Какая неожиданность! Здравствуй, Лермонтов! Ты, конечно, вдохновитель этих странных прогулок и ночных бдений под открытым небом?

Лермонтов. А почему они тебе кажутся странными?

Васильчиков (*ядовито*). Должно быть, потому, что я не поэт. Я не владею искусством очаровы-

вать окружающих при помощи полночных серенад на набережных Мойки.

Лермонтов. Зато ты чудесно овладел искусством высказывать свои невысокие соображения высоким штилем и притом преимущественно высоким особам.

Васильчиков. Ты, я вижу, зол сегодня.

Лермонтов. Да. Я зол. Но я могу быть злее.

Васильчиков. Что это значит?

Вяземский. Михаил Юрьевич, нас ждут экипажи.

Мусина-Пушкина предостерегающе трогает Лермонтова за руку.

Лермонтов. Если я буду тебе объяснять, что это значит, то мы зайдем, пожалуй, очень далеко. Нам придется поговорить о низкопоклонстве, а это длинный разговор.

Васильчиков. Ну, знаешь, это уж слишком. *(Кланяется Воронцовой-Дашковой и Мусиной-Пушкиной.)* Простите, что я невольно заставил вас выслушать несколько резкостей. Но, видит бог, вина не моя.

Кавалергард *(тихо, Васильчикову)*. Зачем ты ему смолчал?

Васильчиков не отвечает, церемонно кланяется и уходит. Кавалергард идет следом за ним.

Мусина-Пушкина. Лермонтов, что это за взрывы?

Лермонтов. Вы заметили, какие у него глаза? Как у дворцового камердинера. Вы знаете, я ехал в Петербург с Кавказа, — помнишь, Жерве, — и ямщик пел нам прекрасную песню. А потом обернулся и сказал: «Так вот поешь-поешь, а вы думаете, ваше благородие, от радости? Нет. Я бы от радости так запел, что березы бы зимой распустились». Жерве спросил его: «А чем же ты несчастлив?» — «Суженую мою, крепостную князя Васильчикова, барский сынок испортил, и отдали ее замуж за лакея». *(Умолкает.)*

Софья Карамзина. Не будем говорить об этом.

Воронцова-Дашкова. Нас ждут экипажи. Идемте!

Мусина-Пушкина. Да, скоро рассвет. Становится холодно.

Столыпин *(Лермонтову, который стоит, задумавшись, у решетки)*. Ты едешь, Мишель?

Лермонтов. Нет. Я должен откланяться. Я утром назначен в развод.

Вяземский *(Лермонтову)*. Если разрешите, я останусь с вами.

Лермонтов. Я всегда рад беседовать с вами.

Мусина-Пушкина *(Лермонтову, тихо)*. Прогулка успокоит вас. Пройдите мимо моего дома. Я открою окна, буду лежать и слушать ваши шаги. Хорошо?

Лермонтов. Хорошо.

Все прощаются, уходят. Лермонтов и Вяземский стоят у резной решетки набережной.

Вяземский. Напрасно вы при дамах света расточаете свое справедливое негодование, Михаил Юрьевич.

Лермонтов. Пожалуй, да.

Умолкают. Далеко и глухо бьют барабаны. Мерный топот ног. Отдаленный крик: «Пятый взвод, канальи, опять равнение заваливаете!»

(Горько смеется.) Вот он — прекрасный голос российской ночи.

Вяземский. Да, ночь как будто непроглядная. Но надо стиснуть зубы и дожидаться рассвета.

Лермонтов. А вы уверены, что он будет, князь?

Вяземский *(улыбаясь, берет Лермонтова за плечи)*. Так же, как и вы, Лермонтов. Точно так же, как и вы.

Занавес

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

У входа в летний театр на Елагином острове. Вечер. За черными деревьями мигают зарницы. Ветер налетает порывами и почти задувает свечи в больших фонарях. Мигающий свет перебегает по листве, по лицам людей, стоящих и беседующих у входа в театр. Видна афиша,— идет «Фенелла». С шумом ветра сливаются звуки скрипок и флейт, настраиваемых в оркестре. Вблизи фонаря стоят Мусина-Пушкина, две светских дамы, Лермонтов, Столыпин и граф Соллогуб.

Мусина-Пушкина *(придерживая шляпу)*. Должно быть, в заливе сейчас ужасная буря.

Первая дама *(Мусиной-Пушкиной)*. Какая у вас элегантная шляпа! Такую же точно я видела у графини Ливен.

Вторая дама. Графиня Ливен — это любимое дитя императрицы. Государыня дарит ей все свои платья и шляпы.

Первая дама. Да, этой чести ее величество удостаивает очень немногих дам.

Вторая дама. На днях государыня подарила мне зеленый бареж на платье. На нем вытканы корзины, из которых падают розы. Это так прелестно!

Соллогуб. Государь и государыня насаждают подлинный вкус не только в нарядах дам, но и в более серьезных областях искусства.

Лермонтов смеется.

(Удивленно.) Вы разве не согласны со мной, Михаил Юрьевич?

Мусина-Пушкина умоляюще взглядывает на Лермонтова.

Лермонтов *(улыбается)*. Право, не знаю... Я еще не тратил своего времени на то, чтобы подумать об этом. *(Насмешливо.)* Во всяком случае, ваша мысль не лишена некоторого остроумия.

Столыпин *(пытается переменить разговор)*. Кажется, сегодня на спектакле будет великая княгиня Мария Николаевна?

Соллогуб. Она очаровательна. Вот истинная ценительница поэзии.

Сильная зарница. Дамы вскрикивают.

Мусина-Пушкина. Какой блеск!

Лермонтов. Да, блеск беспощадный.

Соллогуб. Вы, Михаил Юрьевич, любите необычайные сравнения. Что же беспощадного в этом зеленом беглом огне?

Лермонтов. Этот блеск удивителен тем, что в одно мгновение разрушает все ночные обманы.

Соллогуб *(смеется)*. Да, это верно. Особенно во время ночной встречи, когда он открывает бородавку на носу незнакомой красавицы. А вы уже собирались приволокнуться за ней.

Первая дама. Что с вами, граф? Прекратите эту ужасную мужскую болтовню.

Лермонтов. Недавно ночью я ехал в Царское на лошадях. Подходила гроза. Передо мной в темноте стояли густые высокие нивы, подымались кущи столетних деревьев, и мне казалось, что я еду по богатой, устроенной к счастью стране.

Первая дама. Как это поэтично!

Вторая дама. Необычайно!

Лермонтов *(усмехается)*. Но сверкнула очень яркая зарница, и я увидел каждый колос хлеба на пыльных полях. Колосья были редкие и пустые. Так исчез обман богатой и счастливой страны.

Соллогуб *(не зная, что сказать)*. Да... Это весьма интересно...

Лермонтов. Наоборот, это весьма огорчительно.

Соллогуб. Должен ли я понимать ваш рассказ как иносказание?

Лермонтов. Располагайте свободно своим мнением.

Столыпин. Я думаю, что уже пора занять наши места. Скоро начало.

Соллогуб *(Столыпину)*. Вы были правы. Я вижу карету великой княгини. Извините меня, я должен встретить ее высочество.

Соллогуб кланяется и быстро отходит. Вдевает в глаз монокль и высоко подымает голову, чтобы монокль не упал. Все оборачиваются в ту сторону, куда ушел Соллогуб.

Входит великая княгиня Мария Николаевна. За ней почтительно идут статс-дама, Соллогуб и сын французского посланника Барант. Лакеи несут фонари.

Лермонтов *(глядя на напыщенного Соллогуба, смеется и говорит Мусиной-Пушкиной)*. Временами мне кажется, что я вернулся с Кавказа не в Петербург, а в город, населенный монстрами.

Мусина-Пушкина. Вы опять раздражены.

Все дамы склоняются перед Марией Николаевной в глубоком реверансе. Мужчины кланяются.

Мария Николаевна *(оглядывается и подзывает Соллогуба)*. Кто этот веселый офицер? *(Едва заметно показывает веером на Лермонтова.)*

Соллогуб. Это Лермонтов, ваше высочество.

Мария Николаевна. Вот он каков! Должно быть, у него вся сила поэзии в плечах. Какие мощные плечи и какой требовательный взгляд. *(Она почти вызывающе, в упор смотрит на Лермонтова.)* Он некрасив, но притягателен.

Соллогуб. Тончайший поэт, ваше высочество.

Мария Николаевна. Да. Как жаль, что нынче поэты чураются двора. А что иное, как не двор, могло бы придать полный блеск их поэзии. Времена менестрелей прошли.

Соллогуб. Как знать, ваше высочество...

Мария Николаевна. Я бы хотела видеть Лермонтова у себя.

Соллогуб. Лишний алмаз в ожерелье вашего высочества только усилит его сияние.

Мария Николаевна *(улыбается)*. Как вы любите выспренно выражаться. *(Проходит в театр мимо Мусиной-Пушкиной, на мгновение останавливается и здоровается с ней.)* Я слышала, что вы ухаживаете за бедными девушками в тифозном госпитале?

Мусина-Пушкина *(делая реверанс)*. Да, ваше высочество.

Мария Николаевна *(зло)*. Это похвально. Но берегите себя. Ваша прелестная жизнь нужна не только вашему супругу и родным, она еще дает пищу для развития поэзии. *(Кланяется и проходит в театр.)*

Мусина-Пушкина *(тихо)*. Какая дерзость!

Первая дама (*насмешливо*). Это очень мило со стороны ее высочества оказать вам такое внимание...

Все, кроме Лермонтова и Мусиной-Пушкиной, входят в театр. Звуки настраиваемого оркестра усиливаются. Мусина-Пушкина молча, отвернувшись, протягивает Лермонтову руку.

Лермонтов. Простите меня. Я часто не был в силах скрывать свое отношение к вам и дал повод для этих грубостей.

Мусина-Пушкина. Пустое, Лермонтов.

Лермонтов. Чем больше я встречаюсь с вами, тем тяжелее у меня на сердце. Вашу молодость и чистоту уже пятнают клеветой. Свет ненавидит любовь.

Мусина-Пушкина. Нам, кажется, придется не видеться друг с другом.

Лермонтов (*молчит, потом холодно кланяется*). Как вам будет угодно.

Мусина-Пушкина (*у нее на глазах слезы*). Вы сердитесь, Лермонтов?

Лермонтов. О нет. Но, очевидно, любовь слишком тяжелая ноша для таких слабых плеч, как ваши. Ну что ж! Должно быть, мир устроен так, что истинная любовь существует только в воображении поэтов.

Мусина-Пушкина. Это жестоко, Лермонтов.

Из театра доносится увертюра.

Лермонтов. Ежели бы вы знали, какою сердечностью были полны мои мысли о вас, вы бы не укоряли меня в жестокости.

Мусина-Пушкина. Как вы сказали, Лермонтов? Были? (*Прижимает к глазам кружевной платок.*) Ваши мысли были полны...

Лермонтов не успевает ответить. Входит Жерве. Он бледен, взволнован. Его шинель в пыли.

Жерве (*быстро кланяется Мусиной-Пушкиной и говорит задыхаясь*). Мишель, я тебя ищу весь день по городу.

Лермонтов. А что? Что случилось, Жерве?

Жерве. Дурные вести с Кавказа, Мишель.

Лермонтов. Говори!

Жерве. Получено известие... Саша Одоевский... *(Запинается.)*

Лермонтов *(кричит)*. Ну?!

Жерве. Саша Одоевский умер от горячки... Где-то в дырявой палатке, в походе...

Лермонтов *(хватает Жерве за плечи, трясет его и кричит)*. Убили Сашу! Откуда ты узнал?

Жерве. Он умер, Мишель.

Лермонтов. Нет, его убили! *(Оборачивается и видит плачущую Мусину-Пушкину)*. Плачьте! Он стоит многих слез. *(Поворачивается и, сгорбившись, идет в темную глубину сада.)*

Жерве пытается его остановить, берет за руку.

(Вырывается.) Оставь меня, Жерве! *(Уходит.)*

Мусина-Пушкина *(сквозь слезы)*. Как жестоко!

Жерве. Да! Его судьба была жестокой.

Мусина-Пушкина *(не слышит Жерве)*. Неужто он прав, что это слишком тяжелая ноша для моих плеч? Нет. Нет. *(Жерве.)* Куда ушел Михаил Юрьевич? Верните его.

Жерве *(зовет)*. Лермонтов! Мишель!

Никто не отзывается.

Я думаю, что будет лучше, если он сейчас побудет один.

Мусина-Пушкина. Будьбе добры, найдите мой экипаж.

Жерве. Но вы же приехали на спектакль!

Мусина-Пушкина. Нет. Я не могу сейчас слышать даже музыку. Найдите, я умоляю вас.

Жерве уходит. В театр поспешно проходит Васильчиков. Он замечает Мусину-Пушкину, останавливается в стороне и, играя тростью, следит за ней. Мусина-Пушкина сидит в тени на скамейке и, отвернувшись, прижимает платок к глазам.

Васильчиков. Однако, должно быть, весьма сомнительное счастье быть героиней поэта. И выскочки,

Васильчиков, напевая, входит в театр. Мусина-Пушкина сидит все в той же позе, потом тихо, как бы про себя, зовет.

Мусина-Пушкина. Лермонтов!

Зарница. Отдаленное ворчание грома. Тишина. Из театра долетает музыка.

Занавес

ПЕРЕД ЗАНАВЕСОМ

Бенкендорф и жандармский полковник с рукой на перевязи. Бенкендорф завязывает черный галстук. Лакей держит за его спиной мундир.

Полковник *(читает по бумаге)*. «Перед своей смертью солдат Александр Одоевский, находясь в горячечном возбуждении, непрерывно говорил и звал к себе прапорщика Лермонтова, называя его то по фамилии, то попросту Мишей. Значение многих слов Одоевского в точности понять не удалось, но ежели судить по отдельным выражениям, то речь его содержала надежду на Лермонтова как на великого поэта, могущего зажечь в сердцах пламя негодования против несправедливостей государственных и духовной пустоты господствующих кругов».

Бенкендорф *(причесываясь)*. Что у здорового на уме, то у помирающего на языке. Его величество справедливо заметил на днях, что поэзия есть вещество взрывчатое. Давно уже надо вам, батенька мой, кое-что предпринять насчет этого Лермонтова.

Полковник. Никогда не поздно, ваше высокопревосходительство.

Бенкендорф *(передразнивая)*. Никогда не поздно! Никогда не поздно! Знаю я вашу повадку смотреть сквозь пальцы, мирволить таким вот Лермонтовым. А что получится, батенька? Человек зарвется и никакого выхода нам с вами не даст, как только поставить его самого под пулю. Знаете ведь, как на такие дела смотрит его величество.

Полковник. Знаю, ваше высокопревосходительство.

Бенкендорф. Ну, то-то! Не надо быть телятиной, когда служишь жандармом. *(Надевает мундир.)* Установить строжайшее наблюдение за Лермонтовым и доносить мне обо всем.

Полковник. Слушаю-с, ваше высокопревосходительство. (*Хочет уйти.*)

Бенкендорф. Постойте! А вы знаете, батенька, что такое эпиграмма?

Полковник. Обидные стихи, ваше превосходительство.

Бенкендорф. То-то, что обидные. Эпиграмма — это, милый мой, заступ, которым беспокойный человек сам себе роет яму. Попади она в руки обиженного, да будь этот обиженный человеком чести — и готово. Тут уж нам с вами делать нечего, а только ждать благоприятного результата. И без нас дело сделают. Понятно?

Полковник. Вполне понятно, ваше высокопревосходительство.

Бенкендорф. А то все учишь вас, учишь, а толку на ломаный грош. Ступайте. А эпиграммы лермонтовские припасите, — этот красный товар вам всегда пригодится.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Комната Лермонтова в доме бабушки в Петербурге. Ранняя осень. Утро. Окна открыты настежь.

В комнате много старинной мебели и картин. Необыкновенная чистота и вместе с тем легкий беспорядок. Раскрытые книги брошены на диван, рядом с кавказской шашкой. На письменном столе среди бумаг — недопитые стаканы с вином. Ветер сдувает со стола листки со стихами.

Лермонтов сидит на подоконнике. По комнате из угла в угол ходит Столыпин.

Лермонтов
(напевает)

Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила.
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла.

Столыпин. Да, Миша. Смерть Одоевского должна, наконец, тебя образумить. Погоди, перестань петь хоть на минуту.

Лермонтов перестает петь.

Когда погиб Пушкин, ты своими стихами убил Дантеса и весь высший свет вернее, чем пулей.

(Берет кавказскую шашку, вынимает ее из ножен и рассматривает клинок.) Стихи твои острее этой стали.

Лермонтов. К чему ты все это говоришь мне, Монго?

Столыпин. Не разменивайся на борьбу со светом. Не поступай опрометчиво. Я знаю не хуже, чем ты, что Россия страшна, что ее засекли на конюшнях и в казармах, что несправедливость стала единственным законом управления, что нищета сделалась непрестанным состоянием простого народа. Пиши! Твой голос растопит слезы если не у нас, то у потомков наших. Ты веришь в будущее счастье России?

Лермонтов. К сожалению, верю, Монго.

Столыпин. Ну вот — готовь его. Готовь сердца человеческие к восприятию справедливости и благородства.

Лермонтов
(напевает)

Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила....

Столыпин. Перестань. Что толку, если тебе заткнут рот за насмешки, когда ты в полной силе сказать слова бессмертные. *(Подходит к Лермонтову и треплет его по плечу.)* Ты, Миша, родился, должно быть, не в срок, а слишком рано.

Лермонтов *(отбирает у Столыпина саблю и рассматривает ее)*. Я родился немного поздно, Монго, а заодно и слишком рано.

Столыпин. Объяснись. Я не понимаю.

Лермонтов. Мне бы родиться вместе с Сашей Одоевским. Бог мой, почему я был мальчишкой в грозном двадцать пятом году?.. Тогда негодование кипело в сердцах, тогда бы мне было весело жить. А слишком рано мы с тобой родились потому, что попали в безвременье. Будущее всегда чудится нам более прекрасным.

Столыпин. Подумай, Миша, и смирись. Хотя бы во имя людей, любящих тебя всем сердцем.

Лермонтов. Не говори чепуху, Монго.

Столыпин. Бабушка следит за каждым твоим движением. И, прости меня, Миша, но тебя любит прелестная женщина. Когда я вижу ее, то мне чудится, что меня обдувает теплый ветер.

Лермонтов (*задумавшись, режет шашкой в воздухе листки со стихами*). Замолчи, Монго. Ты ничего не знаешь. И ты очень плохой поэт.

Столыпин. Что ты делаешь?! Перестань! Что за мальчишество — уничтожать стихи.

Лермонтов (*усмехаясь*). Ничего, Монго. Я напишу их второй раз.

Столыпин

(*отбирает у Лермонтова листок и тихо читает*).

За все, за все тебя благодарю я,
За тайные мучения страстей,
За горечь слез, отраву поцелуя,
За месть врагов и клевету друзей.

Стук в дверь.

Лермонтов. Войдите.

Входит Соллогуб.

Соллогуб (*здоровается с Лермонтовым и Столыпиным*). Простите, что я ворвался в такой ранний час, Михаил Юрьевич, но поверьте, что дело, которое привело меня к вам, — весьма интересное.

Лермонтов. Ну что вы, граф. Садитесь.

Соллогуб (*отодвигает книги на диване и садится*). Я пришел, как римский воин с вестью о победе Цезаря.

Столыпин. Да, у вас очень таинственный вид.

Соллогуб (*смеется*). Вы находите? А я всегда думал, что, подобно английскому джентльмену, я бесстрастен во всех обстоятельствах жизни.

Лермонтов. Где же ваша новость, граф?

Соллогуб. Поручение мое — почти дипломатическое. Я очень прошу вас, Михаил Юрьевич, не отвечайте мне сгоряча, хорошо не подумав обо всех обстоятельствах дела.

Лермонтов. Вы меня заинтриговали. Лучше, чем самая ветреная дама в маскараде.

Соллогуб. Великая княгиня Мария Николаевна выразила желание, чтобы вы были ей представлены, Михаил Юрьевич.

Лермонтов все так же сидит на подоконнике, играет обнаженной шашкой и как бы не слышит слов Соллогуба.

Вам известно, конечно, что великая княгиня является просвещеннейшей женщиной и тонкой ценительницей искусств.

Лермонтов (*говорит скучно, не глядя на Соллогуба*). Мне все известно.

Соллогуб. Будем откровенны. Ваша участь — завидная. Бог дал вам талант, а тем самым славу и признание общества. Но, мне кажется, этого мало. Поэт должен употребить все средства для пышного развития своего мастерства. Он должен устранить все препятствия со своего пути. Он должен быть свободен.

Лермонтов. Святые слова. Вот поэтому я и решил выйти в отставку.

Соллогуб. Зачем? Можно осуществить эту свободу иными путями.

Лермонтов. Какими?

Соллогуб. Необходимо возродить благородное ремесло менестрелей. Близость ко двору, Михаил Юрьевич, развяжет вам руки. Под высоким покровительством великой княгини ваша поэзия расцветет необычайно.

Лермонтов. Так вот о какой свободе поэта вы говорили!

Соллогуб. Да. Таково не только мое мнение.

Лермонтов (*соскакивает с подоконника*). Но и великой княгини?

Столыпин. Миша!

Лермонтов подходит почти вплотную к Соллогубу, лицо Лермонтова искажено гневом, в руках у него — сабля. Растерявшийся Соллогуб встает.

Лермонтов. Неужто вы забыли, что это как будто бы я написал слова о палачах «свободы, гения и славы»?!

Столыпин. Миша!

Лермонтов (*смеется*). Не пугайтесь, граф. Извините меня. Спасибо за откровенность и доверие. Где и когда я буду иметь счастье быть представленным великой княгине?

Соллогуб (*улыбается*). Вы — великий актер. Вы чудно разыграли негодование. Я знал, что соображения поэзии возьмут верх над тем демоном бунта, который, не скрою, часто вселяется в вас, Михаил Юрьевич.

Лермонтов (*нетерпеливо*). Когда же я буду иметь возможность увидеть великую княгиню? Я сам передам ей ответ.

Соллогуб. Ее высочество будет на ближайшем маскараде в благородном собрании.

Лермонтов кланяется.

А теперь разрешите мне уйти. У меня встреча с Мятлевым. Он будет читать мне свои последние фарсы.

Соллогуб кланяется, идет к двери. Лермонтов не двигается. Столыпин, взглянув на Лермонтова, провожает Соллогуба до дверей.

Как только дверь за Соллогубом закрывается, Лермонтов яростно швыряет шашку вслед Соллогубу.

Лермонтов. Подлецы!

Столыпин. Миша, опомнись!

Лермонтов (*в ярости*). Много, неужели все, что я до сих пор написал об этих подонках, было так беззубо, что они осмеливаются приходить ко мне с такими предложениями? Неужели в том, что я писал, была розовая жижа, а не кровь? Неужели не я написал, что они, они (*кричит*) не смоют своей черной кровью праведную кровь Пушкина! Скажи, Монго! Или это насмешка надо мной и оскорбление?

Столыпин. Миша, он говорил искренне.

Лермонтов. Неправда!

Дверь отворяется. Входит бабушка.

Бабушка. Мишенька, чего это ты раскричался? Двое вас, а подняли такой шум, что я думала — невесть что у вас стряслось. Что с тобой, Мишенька?

Лермонтов *(бросается к бабушке, становится перед ней на колени, обнимает ее ноги и говорит умоляюще)*. Бабушка, вы все можете. Вы добились моего помилования. Бабушка, милая, добейтесь моей отставки. Я уеду из Петербурга.

Бабушка *(гладит Лермонтова по голове)*. Да что ты, Мишенька, Христос с тобой. Встань с колен сейчас же. *(Пытается поднять Лермонтова.)*

Лермонтов *(встает)*. Я не могу больше служить в армии. Сделайте для меня это последнее доброе дело.

Бабушка *(садится в кресло, голова ее дрожит)*. Опомнись, Мишенька. Ты принят в лучших домах, по службе тебя не стесняют, — рано тебе еще в отставку. *(Столыпину.)* Алеша, что с ним?

Столыпин. Он прав, Елизавета Алексеевна. В ваших силах избавить его от мундира.

Лермонтов. Я прошу немногого. Хотя бы краешек свободы.

Бабушка. Да что ты будешь делать в отставке? Зачем тебе эта свобода? Неужто тебя уж так утесняют?

Лермонтов. Я уеду в Тарханы. Помните, бабушка, какие там осенью дни... Помнишь, Монго, как туманы стелятся над прудом и желтые листья шумят на ветру.

Бабушка. Да что тебе в Тарханах-то делать при твоей молодости? Губить ее, что ли?

Лермонтов. Работать!

Бабушка. Не пойму я тебя, Мишенька. Стихи писать всюду можно. Да как у меня язык повернется просить об отставке, когда недавно только государь оказал тебе высокую милость: перевел тебя из корнетов в поручики.

Лермонтов. А скольких он перевел в мертвецы! Ну что ж, воля ваша. Но ежели вы не хотите хлопотать об отставке, то я буду просить, чтобы меня тотчас перевели на Кавказ.

Бабушка. Опять под черкесские пули. *(Плачет.)* Мишенька, друг мой, одно ты у меня утешение в жизни.

Смирись. Умру я скоро, смерть уже стучится в окошко, — неужто ты не дашь мне покойно закрыть глаза. *(Привлекает Лермонтова к себе, гладит и перебирает его волосы.)*

Столыпин осторожно поднимает шашку, кладет ее на диван и незаметно выходит.

Я старуха беспонятная, что скрывать. Стихи твои чудные, но разве это занятие для дворянина? Не соображаю я этого. Не гневайся на меня, Мишенька. Уж позволь мне любить тебя, старой дуре, попросту, без затей.

Стук в дверь. Лермонтов встает.

Кто там?

Голос за дверью. Елизавета Алексеевна, портной пришел.

Бабушка. Это я, Мишенька, решила сделать тебе сюрприз, заказала новый лейб-гусарский мундир. Покажи его, Дашенька.

Входит пожилая женщина — приживалка Дашенька. Она осторожно несет новый гусарский мундир.

Дашенька. Примерите, Михаил Юрьевич?

Бабушка. Примерь, Мишенька, впору ли?

Лермонтов берет у Дашеньки из рук мундир, подходит к бюсту Шиллера в углу комнаты и надевает на него мундир

Лермонтов *(смеется)*. Шиллер в гусарском доломане. Ему он как раз впору, бабушка. Глядите!

Бабушка. Ну вот ты и развеселился, друг мой. Ну вот и хорошо.

Лермонтов *(срывает мундир с бюста Шиллера и бросает его в угол комнаты)*. Оставьте меня одного, умоляю вас!

Бабушка испуганно встает и торопливо идет к двери.

Занавес

Бал-маскарад в Благородном собрании. В мраморных колоннах и паркете отражаются огни хрустальных люстр и кружащиеся пары танцующих. Под стенами сидят в креслах старухи в шелках и старики в орденах и лентах.

Плавная музыка. Треск вееров. Заглушенный смех. Легкий ветер, поднятый шлейфами, качает язычки свечей.

Лермонтов стоит с князем Вяземским около колонны. Он сумрачен, на лице его выражение усталости.

Величественная старуха. Кто этот хмурый гусар, что ни с кем не танцует?

Генерал. Это Лермонтов, матушка. Где ему танцевать. Должно быть, готовит на нас эпиграмму.

Старуха. Не тот уж свет. Ни ласки, ни улыбки.

Вяземский. Вы больны, Михаил Юрьевич? Или тоска?

Лермонтов. Да, пожалуй, тоска.

Вяземский. Тоска — тоска... Весь год балы, как некая нарядная дорога к смерти. Глядишь— и год прошел, а счастья будто мало.

Танец кончается. Мужчины отводят в кресла дам. К Лермонтову подходят Столыпин и Жерве.

Лермонтов *(продолжает разговор с Вяземским)*. Как внезапно происходят в нас перемены. Ведь вот еще недавно балы были для меня забавой. Я все любил в них — и ветер от женских платьев, и розы, упавшие на пол во время вальса, и блеск улыбок, и кипение человеческих страстей под этой маской любезности и смеха.

Столыпин. А теперь, Мишель?

Жерве *(смеется)*. Теперь уж мы не те!

Лермонтов *(Жерве)*. Эх ты, бомбошка! Теперь иное. Все эти страсти не тяжелее пудры на плечах красавиц. Мне почему-то все это напоминает верченье белки в колесе.

Вяземский. К чему ж вас тянет?

Лермонтов. К дружеской беседе. К тому, чтобы побродить с вами по облетевшему Летнему саду и по-

спорить о Фаусте. К стопе чистой бумаги, к простоте, к любви, лишенной рисовки.

Жерве. Ну, брат, это ты здорово хватил!

Мимо Лермонтова проходит в сопровождении Баранта высокая, очень изящная дама в голубом домино. Она небрежно задевает Лермонтова по руке веером, оглядывается и слегка улыбается. Лермонтов, вспыхнув, пристально смотрит на даму.

Васильчиков (*проходит вслед за дамой в голубом домино и на ходу говорит Лермонтову*). Ты осыпан победами, Лермонтов. Как Даная золотым дождем!

Лермонтов пожимает плечами.

Столыпин. Ты знаешь, кто эта дама?

Лермонтов. Какая?

Столыпин. Та, что задела тебя веером.

Лермонтов (*улыбается*). Нет, не знаю.

Жерве. Эх, Лермонтов, ты все хитришь!

Внезапно Лермонтова окружает рой женщин в масках. Они оттесняют Вяземского, Столыпина и Жерве и кружатся вокруг Лермонтова.

Первая маска. Говорят, что черкешенки так очаровали вас, Лермонтов, что вы с тех пор возненавидели русских женщин?

Вторая маска. Неужели вы никогда не улыбаетесь не только в стихах, но даже в жизни?

Третья маска. Я пришлю вам свой альбом, и вы напишите в нем мадригал в честь брюнетки.

Лермонтов делает нетерпеливое движение, чтобы избавиться от масок, но маски внезапно исчезают — к Лермонтову медленно подходит дама в голубом домино.

У одной из колонн стоит Бенкендорф и беседует с генералом. Он замечает даму в голубом домино, прерывает на полуслове разговор, кланяется генералу, медленно подходит к колонне, около которой стоит Лермонтов, и останавливается. Весь зал с плохо скрытым напряжением следит за Лермонтовым и дамой в голубом домино.

Дама. Послушай, Лермонтов (*она снова касается веером руки Лермонтова*), моя маска слишком про-

зрачна, а мой голос, надеюсь, тебе тоже знаком. Не притворяйся, что ты меня не узнаешь.

Лермонтов. Поверь, что я тебя не узнаю.

Дама. Ну что же. Ты прав. Мы на маскараде, а здесь игра есть игра. Под видом незнакомки мне даже легче будеть объясниться с тобой.

Лермонтов молча кланяется.

Я очарована твоей поэзией. Но я бы хотела, чтобы ты, Лермонтов, был окружен самым высоким блеском, ты заслуживаешь его. Только близость ко двору даст тебе этот блеск и свободу. Она придаст лишнее великолепие двору и особую силу тебе как поэту. Как прекрасно было бы, если бы при дворе существовал поэт, могучий, блистательный. Тогда наша эпоха могла бы считаться одной из самых просвещенных эпох в истории России. Что же ты молчишь?

Лермонтов. Я слушаю тебя с чрезвычайным вниманием.

Дама. В ближайшие дни я позволю себе оторвать тебя от вдохновений, чтобы поговорить с тобой об этом в другом, более уютном и спокойном месте.

Лермонтов. Это будет совершенно бесполезно, сударыня.

Дама. Почему?

Лермонтов. Потому что поэзией торгуют только подлецы, ваше высочество. А я не считаю себя в их числе.

Дама, закрывшись веером, в гневе отступает. Лермонтов почтительно кланяется ей. Дама оглядывается. К ней быстро подходит Соллогуб, подает ей руку и уводит ее из зала.

Дама *(выходя из зала)*. Выскочка!

Дама срывает с себя маску. Это — великая княгиня Мария Николаевна. Легкое смятение в зале. Бенкендорф машет перчаткой на хоры старику капельмейстеру. Оркестр начинает бравурную мазурку, но почти никто не танцует.

Бенкендорф подзывает к себе жандармского полковника с рукой на перевязи.

Бенкендорф *(спокойно)*. Ну, как насчет эпиграмм, голубчик?

Полковник. Есть несколько, ваше высокопревосходительство. Но они касаются лиц мало заметных.

Бенкендорф. Они могут касаться всякого, кого нам будет угодно. Дерзость Лермонтова перешла нынче все границы. Пора уже это прекратить, пока государь сам не взялся за этого поручика; а кстати и за нас с вами, голубчик. Эпиграммы при вас?

Полковник. Никак нет.

Бенкендорф. Сегодня вечером привезите их мне. Я слыхал, что из уст в уста уже ходит одна неприличная эпиграмма относительно господина Баранта. А Барант, батенька, этого так не оставит.

Полковник. Так точно, не оставит, ваше высокопревосходительство.

Бенкендорф уходит. Во время этого разговора Лермонтов стоит один и сумрачно смотрит на танцующих. Как только уходит Бенкендорф, к Лермонтову быстро подходят Вяземский, Столыпин и Жерве.

Столыпин (*взволнованно*). Миша, я тебя очень прошу. Уходи сейчас же отсюда. Не затягивай ты петлю у себя на шее.

Лермонтов. Иначе я не мог поступить, Монго.

Столыпин. Я не знаю, о чем вы говорили, но великая княгиня была оскорблена.

Вяземский. Теперь у всех наших врагов, Михаил Юрьевич, развязаны руки. Неблагоразумно оставаться здесь.

Жерве. Ты ставишь нас, своих друзей, в отчаянное положение.

Лермонтов (*усмехается*). Хорошо. Я уйду. (*Поворачивается и медленно, очень спокойно проходит через толпу к выходу.*)

Толпа расступается, давая ему дорогу.
Лермонтова провожают внимательными и недружелюбными взглядами.
Лермонтов встречается с возвращающимся Соллогубом. Соллогуб проходит мимо Лермонтова, как бы не замечая его.
Около выхода к Лермонтову быстро подходит дама в черном. Она слегка приподымает маску. Это — Мусина-Пушкина.

Мусина-Пушкина. Лермонтов, милый, зачем вы это сделали?

Лермонтов. Ну что ж, осуждайте меня.

Мусина-Пушкина. Нет! Никогда! Может быть, и вправду эта любовь слишком трудна для моих плеч, но я готова нести эту тяжесть.

Лермонтов. Я ждал этих слов.

Мусина-Пушкина. Прощайте. Мы скоро увидимся. Но одно вы должны обещать мне, как сестре.

Лермонтов. Что? Говорите!

Во время их разговора постепенно нарастает гул возмущенной толпы.

Мусина-Пушкина. Беречь себя. Не только как поэта, но и попросту как Мишу Лермонтова.

Лермонтов целует руку у Мусиной-Пушкиной.

Слышите, как гудит это гнездо? (*Улыбается и исчезает.*)

Лермонтов оглядывается на зал. Гул и шепот стихают. Лермонтов усмехается, пожимает плечами и медленно выходит.

Занавес

закрывается под возобновляющийся враждебный гул голосов.

ПЕРЕД ЗАНАВЕСОМ

Барант и Лермонтов.

Барант. До меня дошли слухи, что вы, господин Лермонтов, распространяете обо мне порочащие мою честь эпиграммы.

Лермонтов. Верить сплетням — удел неумных женщин. Я считаю излишним даже вступать с вами в объяснение по такому вздору. В конце концов это становится скучным.

Барант. Вы поступаете неблагородно. Советую вам взять свои слова обратно.

Лермонтов. Я не нуждаюсь в ваших советах, сударь.

Б а р а н т (*вспыхивая*). Если бы я был во Франции, я бы знал, как поступить с вами.

Л е р м о н т о в. В России правила чести соблюдаются так же строго, как и во Франции.

Б а р а н т. Однако вы пользуетесь тем, что находитесь в стране, где дуэли запрещены.

Л е р м о н т о в. Это ничего не значит, сударь. Я к вашим услугам. Сегодня же я пришлю к вам своего секунданта.

Б а р а н т. Но мы будем драться на шпагах?

Л е р м о н т о в. Как угодно. Пистолеты вернее и решительнее кончают дело. Я предпочел бы пистолеты, но выбор оружия принадлежит вам.

Лермонтов и Барант кланяются и расходятся. Лермонтов, уходя, напевает.

Через сцену быстро проходит жандармский полковник, скрывающийся в тени.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

КАРТИНА ШЕСТАЯ

Арестная комната. Грубый деревянный стол, заваленный книгами и исписанными листами бумаги. На столе — тарелка с хлебом и пустая бутылка из-под вина. На стенах углем написаны стихи. Железная койка. Табурет.

Зима. Ранние сумерки, туман. В тумане горят фонари. За окном ходит, гремя ружьем, часовой. Лермонтов лежит на койке, укрывшись шинелью.

Часовой

(*останавливается у окна и поет*)

Высох колос в поле сиротливом.
Плачет мать по сыновьям своим,
Плачет мать по сыновьям служивым —
По хлебам пустым.

Лермонтов подымается на койке и прислушивается. Встает, сбрасывает шинель и подходит к окну. На Лермонтове расстегнутый военный сюртук.

Тужит мать, что зори больно жгучи,
Застят глаз горючею слезой.
Да и как не плакать — царь могучий
Пригрозил войной.

Лермонтов *(открывает окно и спрашивает часового)*. Откуда ты? Какой губернии? Пензенской?

Часовой молчит.

Эту песню певала мне моя покойная мать.

Часовой молчит.

Все молчишь... *(Отходит от окна.)*

Часовой *(кричит печально и протяжно)*. Слуша-ай!.. *(Гремит ружьем и уходит.)*

«Слуша-ай! Посматрива-ай!» — откликаются соседние часовые. Лермонтов садится к столу и, сжав голову ладонями, задумывается. Потом говорит громко, как бы прислушиваясь к своему голосу: «Плачет мать по сыновьям служивым — по хлебам пустым». Слышны гулкие шаги, лязгает ключ в замке. Дверь распахивается. В ней появляется унтер.

Унтер. По разрешению его высокородия коменданта к вам допущен посетитель — господин Белинский.

Лермонтов встает, торопливо застегивает сюртук. Входит Белинский. Он явно смущен. Унтер захлопывает дверь.

Белинский *(протягивает Лермонтову обе руки)*. Простите, что я без вашего позволения навестил вас, но мне необходимо побеседовать с вами.

Лермонтов. Что за извинения. Я очень рад видеть вас.

Лермонтов пододвигает Белинскому единственный табурет, но Белинский не садится. Он нервно ходит по комнате. Лермонтов стоит у стены, заложив руки за спину.

Белинский. Чем окончился суд?

Лермонтов. Меня приговорили за дуэль с Барантом к разжалованию в солдаты. Но государь заменил эту кару ссылкой на Кавказ.

Белинский. Чем это грозит вам?

Лермонтов *(улыбается)*. Я думаю, что в худшем случае — смертью.

Белинский. Какая, однако, низость! *(Умолкает, ходит по комнате.)* Я многого в вас не понимаю, Михаил Юрьевич.

Лермонтов (*усмехается*). Только в мальчишестве своем я считал себя загадочной натурой.

Белинский. Я не понимаю вашего тяготения к высшему свету. За него вы платите новой ссылкой. Вам дан великий дар. Он ставит вас наравне с теми людьми, которых мы считаем вершинами человеческого духа, — наравне с Пушкиным, Гете и Байроном. А у вас хватает ветрености играть своей жизнью и подставлять себя под удары хлыща Баранта.

Лермонтов. Вы ошибаетесь. Барант только удобная игрушка в руках более могучих людей. Я давно уже подпал под удары венценосца и того света, который, как вы полагаете, так меня привлекает.

Белинский. Как давно?

Лермонтов. Со времени гибели Пушкина. (*Умолкает.*) Что свет! Вначале я отомстил ему за презрение ко мне. Отомстил тем, что заставил угодливо распахнуть перед собою двери самых аристократических салонов. Свет был нужен мне, как враг, — негодование дает едкость и мыслям и стихам. Но поверьте, что я отлично знаю истинную цену всему. И свету, и дружбе, и честности, и человеческим побуждениям.

Белинский. Какова же эта цена?

Лермонтов. Примерно около фальшивого рубля.

Белинский. Простите меня, Михаил Юрьевич, за грубый вопрос, — что же дает вам силу жить и писать великолепные стихи и прозу при таком ужасающем безверии?

Лермонтов. Это мне трудно рассказать вам. Мы ведь с вами так мало знакомы.

Часовой

(*снова подходит к окну*
и, опершись на ружье, тихо поет)

Высох колос в поле сиротливом.
Плачет мать по сыновьям своим,
Плачет мать по сыновьям служивым —
По хлебам пустым.

Лермонтов и Белинский прислушиваются.

Лермонтов. Этот солдат как будто ответил за меня.

Белинский. Я не совсем вас понимаю, Михаил Юрьевич.

Лермонтов. Что дает мне силу? Поэзия. И мой народ. Пусть в гостиных говорят о том, что я ненавижу отчизну. Это глупая и злая клевета. И я на нее скоро отвечу. Я люблю свою страну, как простой поселянин,— люблю ее леса, ее небо, дым ее деревень и каждый подорожник, раздавленный колесом телеги. Я знаю, что народ, поющий такие песни *(показывает на безмолвного часового за окном)*, найдет когда-нибудь дорогу к справедливости и счастью. Через разливы слез, через свою кровь и свою муку, но найдет. Что же касается поэзии, то говорить о ней я не могу. Каждое мое слово покажется вам ничтожным или темным. Как передать вам сущность того чувства, которое делает меня временами счастливейшим человеком на земле? Жизнь по существу прекрасна, — прекрасна в чистоте своей, в самой своей сердцевине. И вот иные видят лишь изредка проявления этого прекрасного, а я счастлив тем, что ощущаю его вплотную. Почти каждый день и каждый час. С чем бы это сравнить, чтобы быть понятым вами? Ну вот хотя бы так. Вы любите радугу?

Белинский *(озадаченный)*. Да.

Лермонтов. Вы видите ее издали, и она кажется вам небесной аркой, открывающей вход в прекрасные страны.

Белинский. Да, это верно!

Лермонтов. Как-то в горах, на Кавказе, я попал внутрь радуги. Это ощущение неслыханное. Я был окружен мириадами водяных алмазов, игравших всеми цветами, существующими на земле. Я был как бы внутри алмазного водопада. Вот то же примерно я ощущаю, когда, как принято говорить, мною овладевает демон поэзии. Я так же ощущаю жизнь.

Белинский *(взволнованно пожимает руку Лермонтова)*. Благодарю вас, Михаил Юрьевич. Как я счастлив узнать вас настоящего.

Лермонтов (*улыбается*). Я всегда настоящий. Не хотите ли стакан вина? Это «бордо».

Стук в дверь.

Белинский. Нет, благодарю. Неужто время нашей беседы иссякло?.. Какая жалость!

Лермонтов. Да, это обычное тюремное напоминание.

Белинский (*крепко пожимает руку Лермонтова*). Прощайте, дорогой мой. Берегите себя. Вы нужны России. Как часто наш народ сиротел, как часто терял драгоценные жизни. А то я знаю эту гусарскую повадку — бросаться на Кавказ, в бой, как в некую кровавую распашку.

Лермонтов. О нет, у меня слишком много замыслов, чтобы думать о случайной пуле. Боюсь только, что мне не дадут жить.

Белинский. Не смейтесь надо мной, но у меня это чисто отеческая просьба к вам — беречь себя.

Лермонтов (*улыбается*). Недавно просили меня об этом по-сестрински, а нынче вы просите по-отцовски. Значит, все же я не совсем сирота. (*Смеется.*) Прощайте, как жаль, что до сих пор мы были далеки друг от друга.

Лермонтов провожает Белинского до двери. Остается один, что-то думает, глядя на огонь свечи. Слышны заунывные крики часовых «слуша-ай!». Лермонтов берет уголь и пишет на стене. Гремит дверь — входит комендант.

Комендант. Сколько раз я просил вас, поручик Лермонтов, не марать стен стихами. (*Читает только что написанные стихи.*) «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, послушный им народ». Да еще такими непозволительными... Вы что это, поручик! Ей-богу, ума не приложу, что с вами делать?!

Лермонтов. Если вы не дадите мне бумаги, я испишу вам не только стены, но и потолок.

Комендант. Уж скорей бы вас выпустили. Дебошир, убей меня бог, дебошир. (*Кричит.*) Евстигнеев, принеси его благородию старые приказы из канцеля-

рии! *(Показывает на стены.)* Приказы на обороте чистые. Спишите все на бумагу, тогда я пришлю унтера, — он все это сотрет. А то и вправду жаль. Стихи, говорят, у вас превосходные.

Лермонтов, глядя на коменданта, по-детски хохочет.

Занавес

КАРТИНА СЕДЬМАЯ

Салон Карамзиных. За окнами — Летний сад в туманной весенней зелени. Сумерки. Блещущая закатом Нева.

За круглым чайным столом непринужденное и веселое общество. Софья Карамзина, Мусина-Пушкина, Вяземский, Александр Тургенев и Лермонтов. Екатерина Карамзина разливает чай.

Вяземский. Самое интересное зрелище, какое мне привелось видеть в жизни, — это обед у Жуковского, когда Крылов ел поросенка и от удовольствия мог только шевелить пальцами. Потом его отвели в кабинет, и он проспал на диване до утра. Проснувшись, рассказывал, что снилось ему, будто государь Николай Павлович стоит у стола, трет хрен с сахаром и плачет крупными слезами.

Все смеются, кроме Лермонтова и Мусиной-Пушкиной. Мусина-Пушкина только слабо улыбается. Лермонтов гладит мохнатого пса и незаметно дает ему тартинку. Мусина-Пушкина грозит Лермонтову пальцем.

Екатерина Карамзина. Страшен сон, да милостив бог.

Тургенев. А вы слышали новость, господа? На Булгарина в Нарве напали разбойники. Окунули его с головой в реку, и в кармане у него раскис очередной пасквиль на русскую литературу.

Снова все смеются, кроме Лермонтова. Мусина-Пушкина тревожно взглядывает на него. Лермонтов сидит сгорбившись, смотрит за окно, где в густых сумерках пылает странным желтоватым огнем зелень Летнего сада.

Софья Карамзина *(Вяземскому, тихо)*. Ничем не удается развеселить его.

Вяземский *(вполголоса.)* Вы видите, София Николаевна, мы уж с Тургеневым стараемся вовсю, как два старых рысака, но ничто не помогает.

Тургенев. А Мятлев будет сегодня?

Екатерина Карамзина. Обещался прийти.

Тургенев. Вы знаете, какую дерзкую штуку он на днях отколол на обеде у графини Щербатовой? Он сидел с молоденькой маркизой Траверсе. Маркизу преследовал поклонник, адъютант наследника, — он поднес ей огромный букет. Маркиза имела неосторожность пожаловаться Мятлеву на назойливость поклонника. Что же делает Мятлев? Он требует у лакея блюдо, берет букет, крошит ножом цветы и листья на мельчайшие кусочки, поливает маслом, солит, перчит и приказывает лакею отнести этот салат из цветов поклоннику в качестве угощения, присланного маркизой.

Софья Карамзина. Сразу узнаю Ишку Мятлева!

Лермонтов *(гладит пса и говорит, не улыбаясь, думая о чем-то другом).* Да, это очень забавно. *(После недолгого молчания.)* Софи, вы знаете, что сегодня я уеду на Кавказ прямо отсюда? Я распорядился, чтобы лошадей подали к вашему крыльцу.

Софья Карамзина. Это по-дружески, Мишель.

Слуга *(в дверях).* Наталия Николаевна Пушкина!

Мужчины встают. Екатерина и Софья Карамзины торопливо идут к дверям. Входит Наталия Пушкина.

Екатерина Карамзина. Какая редкая гостья!

Пушкина. У меня столько забот с детьми, что я с трудом освобождаю для себя только два вечера в неделю.

Здоровается со всеми. Все с ней очень почтительны. Лермонтов последним целует у нее руку.

Лермонтову.) Я слышала, что вас снова усылают на Кавказ?

Лермонтов кланяется.

Отчасти вы виновник того, что я приехала сюда. Я хотела проститься с вами.

Лермонтов (*холодно*). Вы слишком добры. Чем я заслужил такое расположение?

Пушкина. Не будем сегодня враждебны. (*Тихо.*) Я знаю, что вы в душе осуждаете меня из-за мужа, и, поверьте, благодарна вам за то, что вы со мною никогда не лицемерили.

Лермонтов. Если это заслуживает благодарности, то извольте, я ее принимаю.

Пушкина. Значит, мир?

Лермонтов. Моя любовь к Александру Сергеевичу так велика, что я переношу ее на всех людей, которые были ему дороги. (*Целует у Пушкиной руку.*)

Пушкина (*растерявшись*). Вы очень расстроены сегодня?

Лермонтов. У меня нет причин веселиться, сударыня.

Софья Карамзина. Право, Мишель, вы совершенно пали духом. Я вас не узнаю.

Лермонтов. Простите, у меня сегодня дурная голова.

Мусина-Пушкина. Вам нездоровится?

Лермонтов. Нет. Но у меня весь день такое чувство, будто я попал в железное кольцо, оно все время сжимается и вот-вот меня раздавит.

Вяземский. Кошмарный сон!

Тургенев. Забудьте эти нервические мысли. Когда вы вернетесь с Кавказа...

Лермонтов (*перебивает его*). Я не вернусь. В этом-то я единственно уверен.

Мусина-Пушкина (*нервно смеется*). Не надо, Лермонтов. Этак вы заставите всех нас разрыдаться.

Софья Карамзина. Я хочу, Мишель, чтобы вы увезли из Петербурга светлую память. (*Садится к роялю, играет, потом напевает*).

Кубок янтарный полон давно,
Пеной угарной блещет вино.

Екатерина Карамзина. Я прикажу подать вина. Сегодня у нас особенный вечер. (*Выходит.*)

Софья внезапно обрывает игру и встает.

Софья Карамзина. Вы весь вечер молчите, Мишель. Прочтите нам что-нибудь новое.

Лермонтов. Новое? Извольте! *(Облокотившись на стол и не меняя позы, говорит просто и тихо, глядя на Мусину-Пушкину.)*

Не смейся над моей пророческой тоскою.
Я знал, удар судьбы меня не обойдет.
Я знал, что голова, любимая тобою,
С твоей груди на плаху перейдет.
Я говорил тебе: ни счастия, ни славы
Мне в мире не найти, — настанет час кровавый,
И я паду, и хитрая вражда
С улыбкой очернит мой недоцветший гений,
И я погибну без следа
Своих надежд, своих мучений.
Но я без страха жду довременный конец.
Давно пора мне мир увидеть новый,
Пускай толпа растопчет мой венец:
Венец певца, венец терновый...
Пускай! Я им не дорожил...

Все слушают потрясенные. В конце чтения Лермонтов отворачивается и замолкает. Когда он читает, входит Екатерина Карамзина и останавливается у стены. Лакей с бокалами на подносе тоже замирает, и только изредка слышен звон хрусталя.

Вяземский. Какая мрачная сила! Превосходно!

Тургенев. Должно быть, тяжело носить в груди такое пламя.

Софья Карамзина. Неужто вы не могли прочесть что-нибудь светлое?

Мусина-Пушкина. Этого не должно быть, Лермонтов! Вы поклялись беречь себя. Нет, нет. Я не хочу даже думать об этом.

Вяземский *(берет бокал, чокается с Лермонтовым)*. Выпьем за неизбежную победу счастливых дней над минутами душевной усталости.

Тургенев. Счастливый путь!

Пушкина *(слегка подымает бокал)*. Возвращайтесь невредимым. *(Прикасается губами к вину.)*

Слуга *(появляется в дверях, Лермонтову)*. За вами приехали, сударь.

Лермонтов *(встает)*. Ну вот... Как быстро, однако, пролетело время. Я ничего не успел сказать.

Екатерина Карамзина. Погодите. Мы простимся по нашему старому семейному обычаю. *(Слуге.)* Принеси из прихожей шинель, фуражку и саблю Михаила Юрьевича. *(Лермонтову.)* Вы пристегнете саблю, наденеге шинель, и после этого мы простимся.

Лермонтов. Чудесно.

Слуга приносит шинель, саблю и фуражку, помогает Лермонтову надеть шинель.

Екатерина Карамзина. Мы сядем, помолчим, а потом все, кроме Михаила Юрьевича, уйдут в соседнюю комнату и будут по очереди входить, прощаться с ним, выходить в прихожую и там дожидаться, когда окончится прощанье.

Пушкина. Зачем это? Какой удивительный обычай!

Екатерина Карамзина. Его придумал еще мой дед. Он говорил, что каждый из близких людей должен побыть хотя мгновение наедине с тем, кто уезжает в далекую дорогу.

Вяземский. Превосходный обычай! Я непременно введу его в своем беспорядочном семействе.

Лермонтов *(смеется)*. Но это слишком торжественно. Это похоже на исповедь.

Софья Карамзина. Садитесь!

Все садятся. Молчание. Мусина-Пушкина сидит, низко опустив голову. Слышно, как за окнами лошади нетерпеливо звенят бубенцами.

Екатерина Карамзина. А теперь — пойдемте. *(Открывает дверь в соседнюю комнату.)*

Все, смеясь, уходят. Лермонтов остается на мгновение один. Входит Екатерина Карамзина.

Екатерина Карамзина. Ну вот, Мишель. Прощайте. О бабушке не беспокойтесь, — мы будем навещать ее и оберегать от огорчений.

Лермонтов. Я вам благодарен бесконечно. *(Целует руку Екатерине Карамзиной.)*

Карамзина выходит. Входит Тургенев. Он молча целуется с Лермонтовым и идет к двери. В дверях на минуту останавливается.

Тургенев. Если вы действительно любите всех, кто связан с Пушкиным, как я имел нескромность подслушать, то любите себя и не рискуйте понапрасну.

Входит Софья Карамзина.

Софья Карамзина. Будьте покойны, Мишель. Она войдет последней.

Лермонтов *(целует ей руку)*. Вы совершенно тронули меня.

Софья целует Лермонтова в лоб и выбегает. Входит Вяземский.

Вяземский *(крепко целует Лермонтова)*. Ей-богу, этот обычай прелестен! Я заставлю всех моих семейных каждый раз провожать меня таким вот манером. И напоследок пропишу каждому такую ижицу! *(Смеется.)* Ну, дай бог час, как говорят ямщики. Вспоминайте. А мы вас будем ждать.

Вяземский уходит. Входит Пушкина.

Пушкина. Ну что ж, исполним этот странный обычай и попрощаемся. *(Подает Лермонтову руку.)* Я так рассеянна, я хотела подарить вам маленький нагрудный крестик, но забыла его дома. Такая досада!

Лермонтов. Достаточно вашего желания, сударыня. *(Целует ей руку.)*

Пушкина уходит. Лермонтов бросается к дверям. В них появляется Мусина-Пушкина. Она кладет Лермонтову руки на плечи. Судорожно гладит его грубую пехотную шинель, потом подымает глаза, полные слез, притягивает к себе голову Лермонтова и целует его в глаза.

Мусина-Пушкина *(прячет голову на груди у Лермонтова и говорит шепотом)*. Как это страш-

но, Лермонтов. Но я не променяю эту любовь ни на что в мире.

Лермонтов подымает ее заплаканное лицо, одно мгновение смотрит на Мусину-Пушкину, потом целует ее глаза, лоб, губы.

(Крестит Лермонтова.) Теперь идите!

Лермонтов быстро выходит. В прихожей слышен гул голосов, прощальные возгласы, смех. Мусина-Пушкина делает движение к дверям прихожей, но опускается на кресло и сидит, закрыв лицо руками.

Звон бубенцов. Мусина-Пушкина вскакивает, подходит к окну и плачет, глядя на улицу. Быстро входит Софья Карамзина. Она обнимает Мусину-Пушкину за плечи и уводит в соседнюю комнату.

Софья Карамзина. Сейчас сюда войдут... Пойдемте ко мне.

Занавес

ПЕРЕД ЗАНАВЕСОМ

Слышна отдаленная ружейная перестрелка, крики. Потом так же далеко труба играет отбой.

На барабане сидит лекарь, знакомый нам по Тифлису. Он спокойно курит трубку и сплевывает. Солдаты вводят нескольких пленных горцев. Горцы — угрюмые и бесстрастные — садятся на землю и сидят неподвижно, поджав ноги, ни на кого не глядя.

Голос Лермонтова. Несите его к лекарю! Живо!

Солдаты вносят на шинели раненого. Он весь в земле. Лекарь подымает шинель и смотрит на раненого, потом снимает сюртук и засучивает рукава.

Лекарь. Эх ты, Иван-мученик! Как же это они так тебя поддели, азиаты?

Раненый *(едва слышно)*. Не могу знать, ваше благородие...

Лекарь. Ну уж молчи, молчи. Я тебя долго мучить не буду.

Входит Лермонтов. Он в расстегнутой рубахе, с хлыстом в руке. Горцы, увидев Лермонтова, начинают взволнованно гортанно говорить друг с другом.

Лермонтов (*лекарю*). Ну что?

Лекарь (*возится с раненым*). Слышите, как чеченцы взбудоражились? Все из-за вас. Говорят, заколдованный, — ни пуля, ни шашка его не берут.

Лермонтов (*нетерпеливо*). Да я не о том. Как он? (*Показывает глазами на раненого.*)

Лекарь. Что как? Сами видите. Да нешто этот Иван-мученик из вашего отряда?

Лермонтов. Нет. Незнакомый.

Лекарь. Так чего же вы беспокоитесь? Что солдату написано на роду от царя и от бога, то и сбудется.

Солдат (*стонет*). Мне бы водицы испить...

Лермонтов становится на колени перед солдатом, достает флягу и, придерживая голову раненого, дает ему напиться.

Лермонтов. Так это ты, братец? Я тебя сразу узнал.

Раненый. Да и я вас сразу признал, ваше благородие. Караулил я вас в Петербурге. Нехорошо поступаете, ваше благородие.

Лермонтов (*растерянно*). Что нехорошо?

Раненый. Пули ищете. Я вас в бою приметил. Грех на себя берете, ваше благородие.

Лермонтов. Да нет, что ты. Я смерти не ищу. Что ты, братец.

Раненый. Ну, глядите. (*Улыбается.*) А вы, ваше благородие, тогда правильно угадали, — я пензенский. (*Стонет.*)

Входит генерал, с ним адъютант.

Генерал. Поручик Лермонтов!

Лермонтов встает, подходит к генералу, вытягивается.

Вы, голубчик, прямо безобразничаете. Пошли на штурм завала и даже шашки из ножен не вынули. Так с одним хлыстом и штурмовали. Война есть война, поручик.

Лермонтов. Виноват, ваше превосходительство.

Генерал (*адъютанту*). Распорядитесь привести мне коня.

Адъютант уходит.

(Говорит тихо Лермонтову.) Что мне с вами делать, милый вы мой? Кому это вы стали поперек горла в Петербурге? *(Сердито говорит, почти кричит.)* Не велят вас ни беречь, ни награждать. Не велят! В отпуске в Петербург вам отказано. Довожу об этом до вашего сведения. Вы слышите?

Лермонтов. Так точно, слышу, ваше превосходительство.

Генерал *(тихо)*. Подайте рапорт о болезни, и я вас отпущу на месяц в Пятигорск. Там, кстати, собрались ваши друзья.

Лермонтов. Благодарю, ваше превосходительство. Разрешите идти?

Генерал. Да куда вы все торопитесь, поручик?

Лермонтов. Здесь умирает мой солдат, ваше превосходительство.

Генерал. А-а, ну идите, голубчик, идите. *(Уходит.)*

Лермонтов снова подходит к раненому. Раненый лежит неподвижно.

Лекарь *(вытирает руки и надевает сюртук)*. Царствие небесное, вечный покой. Отмучился, бедняга.

Лермонтов закрывает солдата шинелью и снимает фуражку. Он, видимо, потрясен. Старый горец-пленный берет горсть земли и бросает на шинель, которой укрыт раненый. Лермонтов оглядывается. Горец печально улыбается Лермонтову. Лермонтов так же печально улыбается ему в ответ и похлопывает горца по плечу.

Из-за каждого рядового горевать, Михаил Юрьевич, так этак и души не хватит.

Лермонтов *(не глядя на лекаря)*. Да я и не горюю...

Лекарь. Эх, душа моя, в бою вы всегда молодцом, а сейчас сдали. Хотите рому?

Лермонтов отрицательно качает головой, быстро поворачивается и выходит.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

КАРТИНА ВОСЬМАЯ

Дощатый ресторан в Пятигорске. За открытыми окнами видны горы, зелень садов. Доносится отдаленная музыка.

В ресторане шумно обедает компания офицеров и статских юношей во главе с князем Васильчиковым. Слуги подают шашлык, шампанское.

Пожилой улан. Первый стакан — за Кавказ, за наше российское Эльдорадо.

Седой капитан *(он уже пьян)*. Ротмистр, прошу доложить мне, что означает это тарабарское слово?

Пожилой улан *(с досадой)*. Живете вы, батенька, как старая тетеря...

Корнет. Позвольте я разъясню. Эльдорадо означает страну, где преуспевают все, у кого есть хоть капля мозгов в голове.

Седой капитан. В чем же вы здесь преуспели, сосуны? В чинах да в орденах?

Пожилой улан. А хотя бы и так. На Кавказе вступает в действие весьма любопытный закон монаршего благоволения — кого под пулю, а кому Станислава на шею.

Седой капитан. Эх вы, фазаны!

Пожилой улан. Второй стакан — за молодца Мартынова!

Крики «ура». Все пьют.

Васильчиков (*улану*). Не будьте так откровенны. Ежели слух дойдет раньше времени до коменданта, то все сорвется.

Улан. Чепуха. Весь Пятигорск уже шушукается, что Мартынов вызвал Лермонтова драться.

Корнет. Какой это Лермонтов? Пехтура? Штатский? Или гвардеец?

Улан. Пехтура, марака. Смеется над высшим дворянством. Пензенский Байрон.

Корнет. Ну и милашка Мартынов, что вызвал такого к барьеру. Туда ему и дорога.

Васильчиков (*стучит по стакану ножом*). Господа, умерьте ваш пыл. Это невозможно. Вы ведете себя в высшей степени неосторожно.

Улан (*Васильчикову, тихо*). А чего нам опасаться, князь? Ты же сам говорил, что Лермонтов торчит бельмом на глазу у двора и государя.

Васильчиков. Ты пьян. Замолчи!

В ресторан входит Мартынов. Он в черкеске с двумя огромными кинжалами. Мартынов угрюм и печален. Его встречают восторженными криками «ура». Мартынов морщится и машет рукой. Васильчиков пододвигает Мартынову стул рядом с собой. Мартынов садится.

Ты, я вижу, совсем раскис, Мартышка? Неужто испугался дуэли?

Мартынов. Ну что ты — испугался. Но, понимаешь, Васильчиков, все-таки... Лермонтов... Рука тяжелеет.

Васильчиков. И не подымется?

Мартынов. Не спрашивай меня. Нынче я сам ничего не знаю.

Васильчиков (*неожиданно кричит*). Качать его!

Крики: «Качать Мартынова!»

Улан. Шампанского! Шампанского в честь нашего героя!

Корнет. Качать его под самый потолок!

Все вскакивают. Падают стулья. Мартынов недовольно отмахивается, но его хватают десятки рук, и недовольная гримаса сменяется на его лице растерянной улыбкой.

«Раз-два, правой!» — кричат офицеры и высоко подкидывают Мартынова. «Раз-два, левой!»

Мартынов летит под потолок. Оба кинжала выскальзывают из ножен и с грохотом падают на пол. Один кинжал задевает по руке и слегка ранит корнета. Корнет перевязывает руку салфеткой.

Улан. Хороший знак! Ты прольешь кровь своего противника!

Мартынов (*кричит, взлетая на воздух*). А что же вы думали... Я предпочитаю... лить кровь... а не... шампанское...

Из-за стола не встает только старый седой капитан.

Капитан. Какого черта качают этого олуха? Отставить!

Улан. Эх, батенька. Ей-богу, живете вы, как старая тетеря. Неужто не слышали, что вчера на одном семейном вечере Лермонтов так насмешничал над Мартыновым, что тот вызвал его к барьеру.

Капитан. Ну и черт с ними с обоими. Пусть стреляются. А мы свое отстреляли.

В ресторан входит жандармский полковник с рукой на перевязи. Офицеры отпускают Мартынова и поспешно рассаживаются за столом. Слуга подает Мартынову оброненные кинжалы. Общее замешательство. Молчание.

Жандармский полковник. Ради бога, господа, извините меня за непрошеное вторжение. Но разрешите и мне присоединиться к вашему маленькому чествованию.

Крики «ура». Сильный шум. Льется шампанское.

Занавес

Небольшая деревянная терраса около маленького беленого дома. Терраса увита плющом. На террасе стол, заваленный бумагами. На столе догорает свеча. Дверь с террасы в комнату открыта.

Раннее утро — то время, когда солнце уже взошло, но на небе еще сверкает луна. Солнце освещает косыми лучами заросли сада. Оно просвечивает через листву сотнями разноцветных — то зеленых, то пурпурных, то золотых — пятен. Утренняя тишина.

Из комнаты на террасу выходит Лермонтов. Он в белоснежной рубахе. Над дверью висит ветка винограда. Лист винограда задевает Лермонтова по лицу. Лермонтов останавливается, осторожно трогает лист рукой и рассматривает его.

Лермонтов. Весь в росе.

Голос Столыпина *(за сценой)*. Миша, ты не спишь?

Лермонтов. Нет, Монго. Я еще не ложился.

Из сада на террасу входит Столыпин.

Столыпин. Все писал?

Лермонтов. Да. Какой-то бес поэзии вселился в меня. Он не дает мне отдыха. А ты что? Опять пришел браниться?

Столыпин. Миша, я тебя умоляю — уезжай в Железноводск, а я здесь улажу это дурацкое дело с Мартыновым.

Лермонтов. Ты все о том же. Да ничего не будет. Мы оба выстрелим в воздух, и все окончится бутылкой шампанского.

Столыпин. Дернула тебя нелегкая приехать в этот проклятый Пятигорск! Уж сидел бы лучше на Чеченской линии.

Лермонтов. Правда, Монго, здесь, на террасе, как будто внутри зажженной елки? *(Показывает на разноцветные солнечные пятна.)*

Столыпин. Уедешь ты или нет?

Лермонтов. Оставь меня, Монго. Если бы ты знал, какое время я переживаю, то не приставал бы ко мне со всяким вздором. Самое прекрасное в окружающем так трудно поймать словами. Но сейчас это

неуловимое стало для меня таким ясным, что я с легкостью переношу его в слова.

Столыпин. Я не точно тебя понимаю, Миша.

Лермонтов (*смеется*). До сих пор у меня был один только настоящий друг — ты, Монго. А сейчас у меня появилось много друзей. Вот этот лист винограда — смотри! — каждый раз, когда я выхожу из комнаты, он задевает меня по лицу, и в этом прикосновении столько ласки и тихого напоминания о себе, что я улыбаюсь ему, как своему старому другу.

Столыпин (*садится на перила террасы*). Странные мысли приходят тебе в голову, Миша.

Лермонтов. По утрам я часто езжу в горы, Монго.

Столыпин. Я знаю.

Лермонтов. И порой мне кажется, когда я смотрю с поворота дороги на цепи гор и долины, что весь мир сделан из чистого и звонкого стекла. Я часами могу смотреть, как облака курятся над вершинами. Среди камней и цветов журчат родники. Ты пил когда-нибудь на рассвете родниковую воду? У нее привкус счастья, Монго. Ты не смейся. Так редко земля кажется мне праздником. Может быть, потому, что какая-то смутная и счастливая буря замыслов бушует во мне в последнее время. Иногда мне даже страшно, Монго.

Столыпин. Чего ты страшишься, Миша?

Лермонтов. Своей силы. Как будто мне приказали поймать на лету все капли дождя, услышать все неисчислимые звуки земли, узнать все движения человеческих сердец и передать все это в стихах и поэмах. Я устаю от бесчисленных находок и волнений. Да ты не поймешь этого, Монго.

Столыпин (*с тоской*). Миша, милый! Прошу тебя — уезжай.

Лермонтов. Временами я вижу огромные эпохи в жизни людей, в жизни России так ясно, как если бы я сам был их участником.

Голос Васильчикова (*из сада*). А вы все спорите. И днем и ночью? Можно на минуту?

Лермонтов. Входи, Васильчиков.

Входит Васильчиков.

Здравствуй, мартышкин секундант!

Васильчиков. Здравствуй, Лермонтов. А я опять всю ночь не спал.

Столыпин. А что? Играли?

Васильчиков. Да. Играли. Я зашел сговориться. Почему бы нам после этой, — извините меня, друзья, за громкое выражение, — дуэли не устроить ужин с шампанским?

Лермонтов. Ну что ж. Я согласен.

Столыпин. Рано еще думать об ужине.

Васильчиков. Что ты чудишь, Столыпин? Я говорил с Мартыновым. Он выстрелит в воздух. А ты, Лермонтов?

Лермонтов *(улыбаясь)*. Я, кроме как в воздух, ни во что не стреляю.

Васильчиков *(Столыпину)*. Ну вот видишь. Ты нервничаешь, как старая дева. Ужин устроим, пожалуй, у меня.

Столыпин. Как хочешь. *(Тихо.)* Ты обещал привезти доктора на место дуэли.

Васильчиков. Зачем еще эта комедия? К чему посвящать в этот вздор постороннего человека?

Столыпин *(настойчиво)*. Ты обещал, Васильчиков.

Васильчиков. Ну и беспокойный же ты секундант, Столыпин.

Лермонтов. О чем вы шепчетесь?

Васильчиков. Да все об ужине. *(Столыпину, тихо.)* Хорошо, я привезу доктора. *(Громко.)* А сейчас надо выспаться, — ведь все-таки к вечеру дуэль. *(Прощается и уходит.)*

Столыпин. Последний раз прошу тебя, Миша, уезжай.

Лермонтов *(собирает со стола бумаги)*. Зачем, Монго?

Столыпин. Черт тебя знает, то ты смущаешь меня своим умом, то ты рассуждаешь, как форменный мальчишка.

Лермонтов (*смеется*). А что ж дурного? Я, Монго, съезжу сейчас верхом в горы и ко времени дуэли вернусь. А ты приготовь пистолеты.

Занавес

КАРТИНА ДЕСЯТАЯ

Подошва Машука. Старый дуб. Вдали густой кустарник. Над Машуком висит тяжелая грозовая туча. От тучи дует ветром. Зарницы. Медленный, все нарастающий гром.

Лермонтов стоит в расстегнутом сюртуке на поросшей травой дороге. Рядом с ним Столыпин заряжает пистолеты. Второй секундант — белобрысый офицер, почти мальчик — Глебов ест из фуражки спелые вишни.

Поодаль стоит Мартынов. Он снял черкеску, но снова надел пояс с двумя большими кинжалами. Около Мартынова — Васильчиков.

Лермонтов (*протягивает руку и пробует, идет ли дождь*). Начинается дождь. Слышишь, Монго, как хорошо запахло. Пора кончать эту историю.

Столыпин. Пистолеты готовы. Миша, я очень прошу тебя — прикрой локтем сердце.

Лермонтов. Ну, глупости. Успеем ли мы до дождя?

Подходит Васильчиков. Он заметно нервничает.

Васильчиков. Ну что ж? Начинаем?

Глебов. Кончайте, ей-богу. Ужин стынет.

Столыпин (*тихо Васильчикову*). Где же доктор? Ведь ты обещал, Васильчиков.

Васильчиков (*смущенно*). Да знаешь, они такие трусы, эти господа, — ни один не согласился ехать.

Столыпин (*пристально смотрит на Васильчикова, потом коротко, гневно говорит*). Считай шаги!

Васильчиков — высокий и длинноногий — кладет на дорогу белую военную фуражку Глебова и отмеривает от нее небольшие шаги. После десятого шага кладет на дорогу вторую военную фуражку — Лермонтова.

Васильчиков. Здесь барьер!

Столыпин подает Лермонтову пистолет.

Лермонтов (*Столыпину*). С Мартыновым бесполезно стреляться. Попадешь в лоб — пуля отскочит. Попадешь ниже — там броня из кинжалов.

Васильчиков (*подает пистолет Мартынову, кричит*). Сходитесь!

Лермонтов стоит на месте. Мартынов начинает медленно идти на Лермонтова.

Столыпин (*кричит*). Погодите! В последний раз предлагаю вам помириться и разойтись, господа.

Лермонтов. Я готов.

Мартынов (*продолжает идти к фуражке, лежащей на дороге*). Поздно!

Лермонтов стоит неподвижно. Быстро темнеет, начинается дождь. Молния. Мартынов подымает пистолет, целится и все так же медленно идет прямо на Лермонтова.

Столыпин (*Васильчикову*). Что это значит, Васильчиков?

Васильчиков пожимает плечами.

Мартынов доходит до барьера, продолжая целиться. Делает шаг за барьер. Лермонтов, который сначала с легкой усмешкой следил за Мартыновым, меняется в лице. Усмешка исчезает с его губ. Он смотрит на Мартынова напряженно и вопросительно. Потом быстро закрывает локтем сердце.

(*Кричит Мартынову.*) Что вы делаете?! Стреляйте или я вас разведу!

Удар грома и выстрел Мартынова. Смутно видно, как Лермонтов падает плашмя, безмолвно. Столыпин бросается к нему и становится перед ним на колени.

Миша, очнись!

В темноте трусливо и стремительно пробегают Мартынов, Васильчиков и Глебов.

Крик Столыпина. Миша, милый! Очнись! Миша! (*Кладет себе на колени безжизненную голову Лермонтова, отбрасывает волосы с его лба и рыдает.*)

Гром. Ливень усиливается

Занавес

КАРТИНА ОДИННАДЦАТАЯ

Комната Лермонтова в доме у бабушки Арсеньевой в Петербурге. Осень. За окнами низкие рваные тучи, буря, ненастье. Арсеньева сидит в кресле, прижав платок к глазам. Входит Дашенька. Она в черном платье.

Дашенька. Графиня Мусина-Пушкина.

Арсеньева (*шепотом*). Проси!

Далекий пушечный удар.

Дашенька. С ночи крепость стреляет. Как бы не было наводнения, матушка-барыня.

Арсеньева (*повторяет шепотом*). Проси!

Дашенька пропускает в комнату Мусину-Пушкину. Мусина-Пушкина в глубоком трауре, и от этого лицо ее кажется очень бледным. В руках у Мусиной-Пушкиной журнал.

Арсеньева, не отнимая платка от глаз, протягивает ей руку. Мусина-Пушкина целует руку Арсеньевой и прижимается лбом к плечу старухи.

Ну что вы, что, милая моя?

Мусина-Пушкина (*глухо*). Нет, ничего... (*Выпрямляется.*) На улице буря, дождь, Нева уже поднялась вровень с мостовыми. (*Замолкает.*) Ничего... Я принесла вам статью знаменитого нашего критика Белинского о Михаиле Юрьевиче. Быть может, она послужит вам хотя бы слабым утешением.

Арсеньева. Где мои очки? (*Отнимает от глаз платок.*) Что-то в глазах у меня темная вода. Нынче с утра я уже ничего не вижу. (*Шарит рукой по столику около кресла, опрокидывает стакан с водой и флаконы и растерянно бормочет.*) Что-то я ничего не вижу, родная моя?.. Жжение в глазах страшное. Неужто я слепну?

Мусина-Пушкина. Что вы, Елизавета Алексеевна! (*Наклоняется, заглядывает в глаза Арсеньевой, вскрикивает и отшатывается.*)

Арсеньева (*испуганно*). Что? Что?..

Мусина-Пушкина (*становится на колени около кресла, сжимает ладонями лицо Арсеньевой и с отчаянием смотрит в ее глаза*). Вы себе слезами со-

жгли глаза, Елизавета Алексеевна. Что же это, господи!

Арсеньева *(шарит по столу рукой)*. Не нужны мне глаза... Убили Мишеньку, и не на кого мне глядеть. Никто мне теперь не надобен. Прочтите мне, прочтите, что о Мишеньке пишут.

Мусина-Пушкина *(с трудом читает)*. «Давно ли приветствовали мы первое издание «Героя нашего времени» и, полные гордых, величавых и сладостных надежд, указывали русской публике на Лермонтова как на великого поэта в будущем, смотрели на него как на преемника Пушкина в настоящем. В сознании великой утраты, в полноте едкого грустного чувства, отравляющего сердце...»

Арсеньева закрывает платком глаза, плачет и машет рукой, чтобы Мусина-Пушкина перестала читать. Мусина-Пушкина кладет журнал на столик около Арсеньевой, подходит к окну и прижимается лбом к холодному стеклу.

По улице идут войска. Уныло гремит барабан. В окне видно, как равномерно качаются штыки.

Арсеньева нащупывает журнал на столе и гладит его дрожащей старческой рукой.

(Говорит с тоской.) Одни штыки, штыки, штыки...

Шум бури усиливается и постепенно переходит в заглушенные звуки торжественной и печальной симфонии.

1940

ПЕРСТЕНЕК

Пьеса-сказка в трех действиях
и шести картинах

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Дед Никита.
Варюша, его внучка тринадцати лет.
Прохожая девушка.
Кутыркин, сержант.
Анисья, болтливая старуха.
Страходер, старый медведь.
Леденцов, продавец в лавке сельпо.
Нюрка, его дочь, однолетка Варюши.
Паня, деревенский мальчик.
Колхозный конюх.
Деревенский сапожник.
Мужички-лесовики, лесные звери.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Изба лесника деда Никиты. В избе бедно, но чисто. На стене — портрет фельдмаршала Кутузова с пышными эполетами, календарь, пучки сухих трав. Топится русская печь. Около нее возится Варюша — светловолосая девочка лет тринадцати, кипятит в чугунке воду. Дед Никита сидит в тулупе и валенках у стола. Вечер. На столе горит жестяная керосиновая лампочка. За окнами поет вьюга.

Варюша. Ты бы лег, дедушка. Сейчас на печке тепло! А то сидишь у стенки, а она холодная, во все щели дует.

Никита. Мне лежать хуже... Была изба у нас теплая, да сороки всю пеньку повыдергали на гнезда. Бессовестная птица!

Варюша. Я тебе чай на печку подам.

Никита. Боюсь я лечь, Варюша. Как лягу — дыхание у меня пресекает. Так вот ляжешь, а потом и не встанешь. Нет уж, лучше я посижу.

Глухой вой за окнами.

Варюша. Опять волки!

Никита. Завыли. Теперь до утра.

Варюша. Отчего они воют, дедушка?

Никита. От зависти. У него, у волка, жизнь, правду сказать, никудышная. Шкура вся оледенелая, питания зимой никакого. Иной волк до того дойдет, что мерзлую бруснику из-под снега выкапывает. Вот и ходят круг избы, воют. Им тоже небось охота у печки посидеть, шкуру высушить, почесаться, позевать да поспать.

Варюша *(достает из печи чугунок, заваривает чай)*. Весь день мело. И всю ночь метет. Молодые сосенки снегом завалило до самой макушки.

Никита *(тяжело кашляет)*. Долгая зима... Неделя проходит, месяц, а ей нет конца. Все лютует, свистит ветром, сыплет снегом. Да-а-а... Пришла бы весна поскорей. Может, болезнь бы меня и отпустила. Да нет. Долго еще до весны. Где-то она еще далеко, за синими горами, за теплыми морями. *(Кашляет, ложится головой на стол.)*

Варюша подбегает к нему, садится рядом, обнимает Никиту за плечи.

Варюша. Ты не кашляй, дедушка. Сдержись, милый.

Никита. И рад бы... *(Задыхается, кашляет.)* Да разве смерть оттолкнешь?

Варюша *(сквозь слезы)*. А ты ей не поддавайся, дед. Ты про нее и не думай.

Никита. Как не думать! Об себе я не думаю. О тебе тревожусь. Живу я здесь лесником много годов. Мать твоя, Наташа, тут родилась и померла от простуды, я тебя здесь вырастил и, глупый человек, все надеялся, что проживу до ста лет. А вот, выходит, и до восьмидесяти не дожму.

Варюша. Что ты, дедушка! Ты не горюй. Выпей вот лучше горяченького. Я тебя выхожу, дед.

Никита. Куда там! Я не сегодня-завтра помру. Одна у меня забота — что с тобой будет. Ежели помру, ты уходи к добрым людям. Добрые люди всюду найдутся.

Варюша. Добрей тебя все равно нету.

Никита. Как так нету! Этого ты не говори. Это грех. Да-а-а... Был у меня в старое время один свояк. Отставной солдат. Корешки махорочные курил такой

крепости, что как затянется — тараканы из избы бегут опрометью на вольный воздух, да и там никак не отдышатся. А которые не поспеют за порог выскочить, те подыхают.

Варюша смеется.

Вот ты и развеселилась маленько. Да-а-а... Того солдата, бывало, нарочно в избы зазывали тараканов выкуривать. Однако и на солдата пришел срок: приплелась к нему Смерть — старушка такая, болтливая, костистая, въедливая. Села, значит, у стола и давай трещать про то да про се. А солдат на нее поглядывает и соображает: «Что-то ты, бабка, больно сладко поешь. Знаю я, что ты по мою душу пришла, старая ведьма. Ну, погоди, неужто я с тобой не справлюсь?» Протянул руку к кисету. Едва дотянулся, такая в том солдате была предсмертная слабость. Однако скрутил козью ножку, запалил, разок затянулся, дунул дымом Смерти в лицо, а она сомлела — и бряк на пол! Сгреб он ее в охапку, да и выбросил за порог. С тех пор, говорят, прожил еще сорок лет.

Варюша. Вот кабы тебе, дедушка, такой махорки!

Никита. Я к тому и клоню. Покурить бы мне, затянуться разок-другой, сразу бы болезнь меня отпустила. Да где ее взять, махорку?

Варюша. А может, осталась на донышке в горлаче? *(Достает с полки кувшин, заглядывает в него, переворачивает над столом, — на стол падает несколько махорочных крошек.)*

Никита. Эх, беда, беда!

Варюша. В Переборах, в лавке сельпо, должно, есть махорка.

Никита. Что ты! До Переборов далече. Не менее как двадцать километров. Нет уж, доживу без махорки. Мне и жить-то осталось всего ничего.

Варюша. Ты бы лег, дедушка. Может, дыхание не схватит.

Никита. Ну ладно. Попробую.

Варюша обнимает Никиту и осторожно ведет его к печке. Старик с трудом влезает на табурет и садится на печку.

Лес как гудит! Не дай бог, захватит кого в лесу такая погода. Пропадет человек. А у нас теплынь, чистота, ласковая ты моя! *(Гладит Варюшу по волосам.)* Помирать мне, Варюша, неохота. Век бы я жил. Ты тоже ложись. Час поздний.

Варюша. Я лягу, а ежели что, ты меня разбуди.

Никита. Ладно уж. Ложись. *(Ложится.)*

Варюша укрывает его тулупом, потом осторожно задувает лампу. Слышнее становится вой волков, гул леса и ветра. Слабый синеватый свет зимней ночи проникает в избу. Варюша торопливо надевает валенки, повязывает голову теплым платком.

Варюша. Ох и метет!.. *(Заглядывает в окно.)* Ну ничего... К утру добегу до Переборов. Куплю деду махорки. Может быть, и вправду ему полегчает.

Свист ветра, стук в стенку.

Что это? Стреха, никак, оторвалась, стучит... Небось не тронут волки. А страшно!.. *(Закрывает глаза ладонью, плачет, но тут же успокаивается.)* Как-нибудь добегу. *(Идет к двери, останавливается, туже заматывает платок на голове, прислушивается.)* Спит дедушка... *(Осторожно выходит в сени, прикрывает дверь.)*

Никита *(сквозь сон)*. Варь, а Варь! Ты где? *(Замолкает.)* Уснула. Намаялась со мной, дурочка. Откуль только дается людям такое сердечко, как у нее? Не пойму. Да-а... Последнюю ночь, должно, доживаю... *(Затихает.)*

Шумят ветер и лес, воют волки. Угасающий в печке огонь бросает отблески по стенам и шевелит на них большие тени.

КАРТИНА ВТОРАЯ

Лавка сельпо. На полках — посуда, мыло, стеклянные банки с конфетами и разные другие товары. На стене — несколько ходиков. Все они идут и тикают. Тут же висят связки веревок, косы, сбруя.

Кузьма Леденцов — рыжий человек — сидит за прилавком и пьет чай из большой чашки с алыми розанами. Наливает себе из медного чайника. Колхозный конюх — низенький, в нагольном тулупе — выбирает веревку для вожжей. Раскручивает ее, нюхает и, видно, сомневается, хороша она или нет.

Леденцов. Ты чего нюхаешь? Небось не одеколон покупаешь!

Конюх. Одеколон не одеколон, а мне требуется, чтобы из трубчевской пеньки была вожжа. Трубчевская пенька медом пахнет. А от этой дух прелый.

Леденцов *(сердится)*. Ну так повесь обратно. Медом еще чтобы пахло! От вожжей! Тоже выдумки!

Конюх. Товар, милый человек, понимать надо. Всесторонне! Я не для себя покупаю, не в свой двор. А для колхоза. Ежели бы для себя, так я нюхать бы вовсе не стал. А тут статья государственная.

В лавку входит Анисья. Втаскивает за собой на веревке козу.

Леденцов. Легкий запах ему, видишь ли, понадобился! Так бери вот эти духи, попрыскай на вожжи, и будет тебе запах. Духи московские, первый сорт: «Букет моей бабушки».

Конюх. Сам этим букетом прыскайся. Мне он ни к чему.

Анисья. Слава тебе господи, нашелся в Москве добрый человек и нас, старух, уважил. А то только и слышишь: бабка глухая, да бабка язык распустила, да у бабки молоко убежало. Чуть что, всё валят на бабку. А тут нам, старым, почет. Даже духи от нас название получили.

Леденцов *(Анисье)*. Опять ты с козой в магазин!

Анисья. Она смирная. Чего она сделает?

Леденцов. А мыло намедни с прилавка кто унес?

Анисья. Земляничное?

Леденцов. Ну да, земляничное. А то какое же!

Анисья. Ой, милый! Я не отрекаюсь. Был такой грех. Но я ж тебе заплатила. Рубль сорок. А она, подлая, весь тот кусок сжевала прямо с оберткой. А на обертке—картинка: красавица такая красноморденькая, умытая. Картинки, конечно, жалко. Потом цельный день у козы изо рта пена лилась. И такая духовитая, родимый, такая розовая да пышная — просто загляденье! И ничего! Выжила коза. Только от молока три дня земляникой разило.

Леденцов. Заработала молотилка!

Анисья. Ежели по справедливости говорить, так это твоя Нюрка мыло подсунула. Она у тебя озорная.

Леденцов. А ты видала?

Анисья. Этого не скажу. Грешить не буду. Только Нюрка при козе все время вертелась. А мыло лежало вот тут. *(Показывает.)* Вот тут оно лежало, сердешное. Вот так! На прилавке. Козе надо было на дыбки встать, чтобы его ухватить. А кабы она на дыбки встала, все бы приметили.

Конюх. Она скотинка цопкая. Ей на дыбки встать ничего не стоит.

Леденцов. Вот я Нюрку сейчас допрошу. *(Кричит.)* Нюрка! Ступай сюда!

Нюрка *(за дверью)*. Зачем?

Леденцов. Говорят тебе — ступай!

Нюрка *(за дверью)*. А на што?

Анисья. Вот оно, родительское послушание!

Леденцов. Русским языком говорю: ступай сюда!

Входит Нюрка — краснолицая, рыжая, растрепанная девчонка.

Нюрка. Чего надо?

Леденцов. Третьего дня коза тут была?

Нюрка. Ну, была.

Леденцов *(грозно)*. Кто ей мыло подсунул?

Нюрка *(скороговоркой)*. Провалиться мне на этом месте, я не подсовывала. Она сама ухватила. Как взовьется на дыбки, как зубами ляскнет, как схватит мыло! Я даже напугалась.

Леденцов. Ну, ступай. Я с тобой потом поговорю. Чего это в руке прячешь?

Нюрка. Да ничего я не прячу.

Леденцов. Покажь! *(Вырывает из руки у Нюрки рогатку.)* Вот я тебя этой рогаткой!

Анисья. Ну и яд девка!

Конюх. Мальчишкам проходу не дает. Бьет их дюже. А из рогатки целит метко. Вчерась как ударила по телеграфному проводу, так звон стоял не мене пяти минут. И как только попала, скажи на милость! Провод тонкий. Это не каждый стрелок подгадает.

Нюрка стоит и, угрюмо потупившись, ковыряет сыр на прилавке.

Леденцов (*Нюрке*). Отца только срамишь. Думаешь, не доберусь я до тебя? Доберу-усь!

Нюрка уходит, в дверях оборачивается и показывает Анисье язык.

Анисья (*пугается*). Накликала я беду на свою голову. (*Леденцову.*) А за козу ты меня не кори. Горе мне теперь с ней. Ты думаешь, я по своей охоте ее за собой таскаю? Я в лавку—и она в лавку. Я в сельсовет—и она в сельсовет. Я к колодцу — и она к колодцу.

Леденцов. Чего ж так?

Анисья. Будто не знаешь. Страходер-то по околице ходит.

Конюх. Медведь?

Анисья. Ну да, медведь. Ребята его Страходером прозвали. Потому, как увидишь его, — а у него ряшка косматая, зверская, — тебя страхом по спине так и продерет! Так и продерет! И ноги затрясутся.

Конюх. Медведь видный из себя. Престарелый. И как это объяснить? Зима, ему бы еще в берлоге спать, а он бродит круг деревень.

Анисья. Он небось унюхал, что сережки на вербе налились да дымком в берлогу потянуло, — к весне дымок всегда к земле припадает. Вот он и пробудился на наше горе. Вот и носись всюду с козой. А оставить ее одну в избе боязно. Он хитрый — щеколду подымет и утащит.

Леденцов (*Анисье*). Ты бы все-таки козу вывела, привязала к крылечку. Чегой-то она все принюхивается.

Анисья. А я, милый, не отрекаюсь. Я выведу. (*Выходит с козой.*)

В лавку входит Паня.

Паня. Кузьма Леонтьич, крючков у вас нету? Рыболовных?

Леденцов (*ставит на прилавок коробочку с крючками*). Пять копеек штука.

Паня (*выбирает крючки*). Мне самых мелких.

Анисья возвращается в лавку.

Анисья. И еще говорят, какая-то женщина по деревням ходит. Будто молодая... *(Вытирает кончиком платка рот, готовится к интересному разговору.)* Будто молодая, статная и такой милоты, как глянет...

Леденцов. Сколько вы мне за день нанесете в магазин этих самых происшествий! Не переслушаешь! Одна Анисья как начнет молотить — голова вспухнет.

Входит Варюша. Она вся в снегу, озябшая, похудевшая. Останавливается около двери, робко здоровается.

Анисья. Что люди говорят, то и я. Мне врать ни к чему. Седьмой уж десяток пошел.

Леденцов. Любит народ басни рассказывать. *(Варюше.)* Ну, как дедушка? Как Никита?

Варюша *(печально)*. Кашляет. Совсем хворенький сделался. Вот-вот помрет. И махорка у него вся вышла. Говорит, если бы затянуться разок-другой, так сразу бы полегчало. Я за махоркой и прибежала.

Анисья. Это за двадцать-то за километров! Через ночь! Из лесу! Вовсе отчаянная девица.

Леденцов. Есть у меня остаток. Махорочки. Стаканов пять. *(Варюше.)* Жалко деда небось?

Варюша *(тихо, сквозь слезы)*. Жалко.

Анисья. Как не жалко, когда у нее ни отца, ни матери. Один Никита об ней и печалится.

Леденцов *(Варюше)*. Тряпочку какую-нибудь принесла?

Варюша. Да вот мешочек. *(Подставляет мешочек.)*

Леденцов *(отсыпает махорку)*. Вся! До последней крошки.

Анисья *(Варюше)*. Ты навар деду вскипяти. Покрепче. Налей водицы в чугунок, всыпь туда сушеного брусничного листа...

За дверью — топот, шум, крик: «Пошла, проклятущая!»

Никак коза с кем-то схватилась!.. *(Семенит к двери, но не успевает дойти.)*

Дверь распахивается. В лавку входит сержант Кутыркин — крепкий, обветренный человек, с вещевым мешком за спиной.

Кутыркин (*гневно*). Это чья коза на крылечке привязана?

Анисья (*отступает, кланяется*). А что, батюшка?

Кутыркин. Твоя коза?

Анисья молчит.

Конюх. Ее коза. Такая ведьма коза, не приведи господи!

Анисья (*кланяется Кутыркину*). Прости, батюшка!

Леденцов. Безобразие!

Кутыркин. Понятно, безобразие. Главное, с тылу ударила. Кабы я не поспел за столбик схватиться, сшибла бы с ног. И шинель порвала. (*Показывает прорванную шинель.*)

Анисья. Я тебе, родимый, зашью. Ты остынь, не серчай.

Кутыркин. Остынешь тут с вами! Этой шинели цены нету. Я в ней всю войну прошагал, до Берлина дошел, — ее пуля ни разу не тронула. А от козы пострадала. Добро бы, коза была как коза, а то одни кострецы торчат и вся морда от чернильного карандаша пегая.

Анисья. Это я ее метила, родимый. Ну, давай шинель. Я зашью. Коза у меня, верно, лихая. Игривая.

Кутыркин (*снимает шинель*). Главное, жует чего-то. Меня ударила, а пищу изо рта не выпускает. Я глянул — селедка! Зало́м. Сроду не слыхал, чтобы козы селедками питались.

Анисья. Да тебе помстилось. Селедки она не брала.

Паня. Я тоже видел. Она с хвоста ее жевала.

Леденцов. А я смотрю, то-то она все на селедку зырк и зырк! (*Прикидывает на счетах.*) С тебя, Анисья, еще семьдесят пять копеек. Сейчас отдашь? Или погодить?

Анисья. Погоди уж, батюшка.

Конюх. Да-а, недешево та коза стоит!

Леденцов. И чтобы больше я не видел козы в сельпо. Кажный день с ней скандалы.

Кутыркин (*дает Анисье шинель.*) Вот, зашей.

Анисья. Ой, батюшки! А ниток-то нету.

Кутыркин (*снимает фуражку, достает из-за подкладки иголку с намотанной ниткой*). Боец по уставу без иголки и нитки существовать не может. Бери.

Анисья садится на ящик, начинает чинить шинель.

Леденцов (*Кутыркину*). Откуда к нам пожаловали? Личности вашей не припоминаю.

Конюх. Я и то дивлюсь, кто такой? Наши с войны давно воротились.

Кутыркин. Я человек прохожий.

Анисья (*вздыхает*). И с чего это столько прохожих людей развелось! То женщина ходит, то солдат навернулся. Ходят-ходят, будто свет им мал.

Паня (*с восхищением смотрит на гимнастерку Кутыркина с несколькими медалями*). Восемь медалей! Да как звенят!

Варюша. Как колокольчики!

Кутыркин. Я человек дальний. Вы меня знать не можете.

Леденцов. Чайку похлебать не желаете?

Кутыркин. Выпью, пожалуй. (*Садится, пьет чай, рассказывает.*) В гражданское состояние я перешел. Да... А в армии служил я сапером. Мое было дело понтонные мосты наводить. А вот теперь, значит, пробираюсь домой. Шагаю. До нашей деревни от железной дороги — сто километров.

Конюх. Натрудил небось ноги?

Кутыркин. Малость натрудил.

Конюх. Отдохнуть следует.

Кутыркин. Вот я и соображаю: может, пожить здесь у вас денька три-четыре. Местность у вас пересеченная, приятная. Воды и леса много.

Леденцов. Поживите у нас на здоровье.

Анисья (*Кутыркину*). А семейство у тебя большое?

Кутыркин. Один я, вот и все семейство.

Анисья. Сирота, значит. Вроде как вот она, Варюша.

Кутыркин *(смотрит на Варюшу)*. Выходит, так.

Конюх. Говоришь, сапер?

Кутыркин. Сапер.

Конюх. Паром наладить можешь?

Кутыркин. Сказано тебе, что я есть сапер? Сказано! А чего сапер должен знать? Перво-наперво наводку мостов, потом постройку паромов и прочих переправ. Через водные рубежи. Понятно?

Конюх. Понятно.

Кутыркин. Паром у вас в неисправности?

Анисья. На нем плавать — остатние нервы погубишь.

Кутыркин. Ну так без меня ничего у вас и не получится. *(Конюху.)* Вот попью чайку, и мы пойдем с тобой, браток, к председателю колхоза. Там все и уладим. Паром я вам починю и подамся к своим местам. У меня характер плохой. Чтобы сиднем сидеть, этого я не могу. Меня все куда-то тянет, будто я чего позабыл. Сосет вот тут и сосет. *(Леденцову.)* Махорочки мне продадите? Курить хочется — прямо скулы свело. Свою я с утра докурил.

Леденцов. Малость опоздали. Последнюю махорку девочка эта купила.

Кутыркин *(Варюше)*. Может, продашь?

Варюша. Дед Никита не велит продавать. Это ему от кашля. Он больной.

Кутыркин. Эх ты, цветок-лепесток в валенках! Больно серьезная.

Варюша *(протягивает Кутыркину мешочек с махоркой, ласково улыбается)*. А ты так возьми сколько надо. Покури.

Кутыркин отсыпает в карман добрую горсть махорки, торопливо скручивает цигарку, затягивается, потом берет Варюшу за подбородок и смотрит, посмеиваясь, в глаза. Из задней комнаты выходит Нюрка, останавливается около дверей, исподлобья глядит на Варюшу.

Кутыркин. Эх ты, анютины глазки с косичками! Чем же мне тебя отдарить? *(Анисье.)* Дай-ка на минуту шинель. *(Роется в карманах шинели.)* Разве вот этим? *(Достает из кармана стальное колечко.)* Все в

махре! *(Сдувает с колечка крошки табака, вытирает его о шинель и надевает Варюше на средний палец.)* Носи на здоровье. Этот стальной перстенек совершенно чудесный. *(Улыбается.)* Ежели ты будешь носить его на среднем пальце, принесет он здоровье. И тебе и деду Никите. А наденешь вот на этот, на указательный, — спасешься от неминучей опасности. А, к примеру, захочется тебе посмотреть весь белый свет с его чудесами — надень перстенек на безымянный палец. Непременно увидишь.

Нюрка. Будто! *(Смеется.)* Обманули дурака на четыре кулака!

Конюх. Ай-ай-ай! Видишь, какой человек говорит, а ты насмешничаешь.

Леденцов *(Нюрке)*. Ох, и доберусь я до тебя!

Нюрка исчезает.

Кутыркин *(смеется, Варюше)*. Я вроде как колдун. Слыхала такое слово?

Варюша. Слыхала.

Кутыркин. Ну, то-то!

Варюша. Вот спасибо! *(Поворачивает колечко на пальце. Оно вспыхивает ярким огнем. Варюша вскрикивает.)*

Анисья. Господи! Солнышка нету, а оно полыхает.

Конюх *(испуганно)*. Ты гляди, что такое?!

Ослепительный свет возникает за окнами, заливает всю лавку. Разноцветными красками вспыхивает посуда. Блестят бутылки. Медный чайник сверкает, как золотой. Свет быстро гаснет.

Анисья *(бросается к окну)*. Она! Глянь! Мимо прошла!

Леденцов. Кто?

Анисья. Да женщина эта молодая. Прохожая.

Леденцов *(вскакивает из-за прилавка)*. Где?

Анисья. Да вон она. К колодцу подходит.

Все теснятся около окна, смотрят.

Леденцов. Нету никакой женщины. Все выдумываешь, старая.

Конюх. И я не приметил.

Паня. Дым да снег, ничего больше не видно.

Кутыркин. А мне будто привиделось — блеснули вот тут за углом две косы. Золотые.

Паня. Догнать ее, что ли! *(Выбегает из лавки.)*

Варюша *(смотрит на кольцо)*. Потухло колечко.

Леденцов. Вот так всегда. Наговорят тебе всякой всячины, а потом и начнет мерещиться. Просто солнышко из-за тучи выглянуло — и все!

Кутыркин. Нет, хозяин. Это дело серьезное.

Варюша. Ну, я побегу. К дедушке.

Анисья. Беги, милая. Дед небось заждался.

Варюша убегает.

Кутыркин. В этом деле разобраться надо. На дворе облачно, снег моросит, а тут блеснул такой свет. *(Прислушивается.)* Стой! Послушай!

Слышно, как по селу тревожно мычат коровы, разноголосо и звонко поют петухи. Нюрка незаметно пробирается через лавку и вслед за Варюшей выбегает на улицу.

Леденцов. Совсем вы меня запутали. С вами свяжешься, так и в домового поверишь.

Конюх *(смеется)*. Это свободно! Деды наши говорили, что домовой в валенки любит забиваться. Там ему тепло. Как на печке. Ежели ты валенок натягиваешь, а тебя в пятку защекотит, значит, там домовой схоронился. Он маленький, вроде сверчка. Однако с бородой.

Леденцов. Да ну вас! Забирайте что кто купил да ступайте по своим дворам. Тут магазин, а вы мне сказки разводите. Нашли место!

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Пригорок в лесу. Согнувшиеся от тяжести снега тонкие березы и осины. За ними — темная чаща елей. Лесная дорога подымается из оврага. В лесу лежит мартовский туман. На березе над дорогой спит старая ворона, вся в снегу.

По дороге быстро идет Варюша. Останавливается на пригорке около пня, поправляет сбившийся платок.

Варюша. Ой, уморилась! *(Счищает с пня варежкой снег, садится, рассматривает колечко у себя на пальце.)* Оно, может, серебряное? *(Перебирает свои пальцы.)* На среднем — здоровье, на указательном — спасение от неминучей беды, на безымянном — вот он, безымянный, — весь белый свет с его чудесами. А на мизинце? Что ж солдат мне про мизинец ничего не сказал? Позабыл, должно быть. Попробовать разве?

Ворона отряхивается, осыпает Варюшу снегом.

(Подымает голову.) Ты что балуешься! Старуха, а балуешься.

«Карр!» — кричит ворона.

(Осторожно снимает со среднего пальца колечко.) Я только попробую. А потом опять надену, пока

деда Никиту болезнь совсем не оставит. *(Надевает колечко на мизинец.)* Оно на нем и не держится. Кто это? *(Сжимает руку в кулак, чтобы не потерять колечко, встает.)*

На дороге появляется Нюрка. «Карр!» — кричит ворона.

Нюрка *(подходит)*. Бежишь как полоумная. Тебя не догонишь. Куда торопишься?

Варюша. А я испугалась. Думала, кто чужой. К дедушке тороплюсь. Он третий день совсем помирает. А теперь выздоровеет.

Нюрка. Через перстенек?

Варюша. Ага! Я его на среднем пальце буду носить. А как дед выздоровеет, спеку ржаных коржей на меду. Как в праздник.

Нюрка. Ты чего в кулаке зажала?

Варюша. Колечко боюсь потерять.

Нюрка *(таинственно)*. Я знаю, тот солдат — бродяга. Обманщик. Он тебе всего не сказал.

Варюша. Чего не сказал!

Нюрка. На всех пальцах надо колечко попробовать. На всех до единого. И на какой-то палец наденешь колечко, так деньги и начнут сыпаться с неба. И золотые, и серебряные, и даже бумажные. А ты становись на коленки и собирай их в подол. Как грибы. И чего на те деньги купить мо-ожно!

Варюша. Чего?

Нюрка. Дай колечко! Я попробую.

Варюша. Нельзя. А то дед Никита помрет. Деньги мне не нужны.

Нюрка. Вот дуреха!

Варюша. Дед Никита говорит: «Всю жизнь прожил без богатства, а счастливее меня нету человека. Работаю, землей любуюсь и людям посильно подсобляю».

Нюрка *(хватает Варюшу за руку)*. Дай колечко!

Варюша. Что ты! Зачем?

Нюрка. Не дашь!?

Варюша. Не дам!

Нюрка *(старается разжать у Варюши кулак)*.

Отдай! Все равно отберу. Невидаль какая — твой дед! Ему давно на погост пора.

«Карр!» — гневно кричит ворона и хлопает крыльями.

Варюша. Пусти! Как дед выздоровеет, я тебе колечко отдам. Насовсем. Слышишь? Пусти!

Нюрка *(выворачивает Варюше руку)*. Знаю я, как ты отдашь. Разожми кулак.

Варюша *(кричит)*. Помогите! Кто тут есть? Дедушка! Помогите!

Варюша вырывается из рук Нюрки, но та ее снова хватает. Тогда Варюша в отчаянии забрасывает колечко в глубокий снег.

Нюрка. Все равно отыщу! *(Бросается к тому месту, где упало колечко. Начинает разгребать руками снег.)*

Варюша стоит около пня и плачет. Внезапно в том месте, где Нюрка разбрасывает снег, слышится глухой рев. Снежный сугроб начинает подыматься, обваливаться. Нюрка в испуге отскакивает. Из сугроба появляется сначала одна мохнатая страшная лапа, потом другая и наконец вылезает старый медведь Страходер.

(Кричит.) Дедушка, это она, Варюшка, в вас колечком кинула и разбудила. Провалиться мне на этом месте — она!

Страходер *(утирает лапой морду)*. День-деньской ходишь, изголодуешь, намаешься, а они еще и поспать не дают. А бежать и не думайте! Все равно догоню. *(Зевает.)* Задеру насмерть.

Варюша. Дедушка, вы ее не трогайте, Нюрку. Это я колечко уронила. А она кинулась искать и вас потревожила.

Нюрка. Она не уронила. Она его со зла в снег закинула.

Варюша. Отпустите нас, дедушка.

Страходер *(чешется)*. Стойте, где стоите. Вот маленько очухаюсь, тогда и подумаю, что с вами делать. Может, я вас обеих задеру. А может, и помилую. *(Потягивается, потом начинает кататься по снегу в том месте, где упало колечко.)*

Варюша. Совсем колечко затопчет...

Страходер. У меня аппетита сейчас нету. Пить только охота. А то бы я с вами иначе поговорил! *(Катается по снегу, рычит от удовольствия.)*

Нюрка. Я вам воды принесу. Холодной, сладкой. Там, в овраге, ручеек никогда не застывает. Бежит всю зиму.

Страходер *(встает, отряхивается)*. Ладно! Ведро под той елкой возьми.

Нюрка бежит под ель, ищет ведро.

Варюша. Она одна не донесет, расплещет. Я ей помогу, дедушка. Не знаю, как вас звать-то?

Страходер. Зовут меня Михайло, по отчеству Власьевич, а по фамилии Страходеров. Запомнила?

Варюша. Запомнила.

Страходер. Ты с ней не пойдешь. Пусти вас вместе — обе убежите. И ведро с собой унесете. А одна она вернется. Она тебя в беде не кинет. Я ваши человеческие повадки знаю.

Нюрка *(находит под елью берестяное ведерко)*. Ну, я побегу. За водой.

Страходер. Беги! Одна нога тут, другая — там. Не вернешься, я подружку твою задеру. А потом и тебя. Приду ночью, развалю избу и тебя выволоку.

Нюрка. Страх какой!

Страходер. Ну, то-то! Ступай!

Нюрка убегает.

Иголок еловых в шерсть набилось — пять пудов. Колются, проклятые. Вся шкура свалялась. Да-а... Пошел я намедни в баню в Переборы. Старик там какой-то мылся. Счетовод из колхоза. Тихий старик, робкий. На него замахнуться лапой — он на месте помрет. Ну, я походил кругом бани, порычал маленько. Старик, понятно, выскочил из бани — и в избу. Заперся в избе и так трясется, что слышно, как стекла в оконцах звякают.

Варюша смеется.

Ты еще погоди смеяться. Залез я в баню, а воды-то и нет! Кончилась вода! Одна пустая лохань стоит. А пол

от мыла скользкий, не устоишь. Поскользнулся я на том полу, а он неструганый. И лапу себе занозил. Здорову-ущую щепку в лапу загнал. Взял я лоханку, шваркнул ее со зла в оконце и пошел немытый. А после зимы, сама понимаешь, охота и помыться и погреться. Шкура вся в лохмах. Волки — и те надо мной смеются, не то что, скажем, лисы или вороны. Те всегда рады над стариком понасмешничать. Да... Дошел до берлоги, залег спать — и ничего. Нога не чувствительная. А сегодня с утра начала ныть. Распухла и так ноет, так ноет — сил нету.

Варюша. Нарывает, должно быть!

Страходер. Волк ее знает! Как бы не было антонова огня. Воспаления. Да... Что-то долго не идет подружка твоя. На язык она шустрая, а на ноги — не того, не больно ходкая. Пить хочется. Вся глотка пересохла.

Варюша (*встревоженно*). Может, у тебя жар, дедушка. От нарыва.

Страходер (*пугается*). Да ну! Господи спаси и помилуй!

Варюша. Дай я лапу тебе посмотрю. У меня булавка есть. Может, вытащу.

Страходер. Только поаккуратнее. А то я от боли могу лапой дернуть, тогда худо тебе придется. Или сомлеть могу.

Варюша садится рядом с медведем. Он протягивает ей лапу. Варюша осторожно берет ее и рассматривает.

Варюша. Ты когти убери. А то плохо видно.

Страходер. А теперь?

Варюша. Теперь хорошо.

Страходер (*качается*). А-а-а! О-о-о! Ой-ой-ой!

Варюша. А ты не дергай. Так больнее будет. Вот она, заноза!

Страходер (*бессильно прижимается головой к плечу Варюши*). Дай отдышаться. Чем это от тебя пахнет? Ржаными коржами, что ли?

Варюша. Ага! Хочешь поесть? У меня в кошелке один остался.

С т р а х о д е р. Давай. Давно я их не пробовал. А то все мясо да мерзлая брусника — скучная получается пища.

Варюша дает медведю ржаной корж. Он с наслаждением его жует.

Водицей бы этот корж запить, в самый раз. Подружка твоя, выходит, обманула. Никак не идет.

В а р ю ш а. Она придет, дедушка.

С т р а х о д е р. Поглядим.

В а р ю ш а. Ну, давай лапу. *(Осторожно вытаскивает занозу.)*

Медведь рычит. Вороны подымают неистовый крик.

С т р а х о д е р. И чего пугаются, дуры!

В а р ю ш а. Ну, вот и все! Погляди, какую ты щепку себе под коготь загнал.

С т р а х о д е р. И глядеть не желаю. Ох! Сейчас... Чуть полегчало. Снегом мне лапу протри.

Варюша трет ему лапу снегом.

Ой, хорошо! Вот спасибо так спасибо! *(Начинает зализывать рану.)* Ты чья? Деда Никиты, что ли, внучка?

В а р ю ш а. Ага.

С т р а х о д е р. Старик он хороший.

Варюша отворачивается, украдкой вытирает слезы.

Ты, дурочка, не пугайся. Я тебя не трону. Я теперь тебе первый друг.

В а р ю ш а. Да я не об том...

С т р а х о д е р. А об чем? Ты подружку свою не жалей. Все равно я ее задеру. Не за воду — волк с ней, с водой! — а за подлость. Меня обманула и тебя одну бросила. Небось бежит домой, радуется. Думает: «Страходер Варюшу уже задрал, за мной не погонится». Ишь какая! Тобой откупиться решила. Вот за это я ее задеру. Обязательно.

В а р ю ш а. Я сейчас не об ней плачу. Дедушка у меня помирает.

С т р а х о д е р. Что поделаешь! Раз родились, все равно помрем.

Варюша. Колечко бы его вылечило. Это колечко чудесное: оно от всех болезней спасает. Мне его прохожий солдат подарил. Да вот... обронила я его в снег. А в таком снегу разве найдешь!

Страходер (*чешет в затылке*). Да-а... задача! А надо бы его найти. Для тебя. Уж больно ты ласковая.

В лесу темнеет. Солнце уже зашло. Небо залито последним багровым светом заката.

Я злом за добро не плачу. Всю ночь буду снег разгребать. Может, найду перстенек. А тебе надо домой бежать. Темнеет, дорога дальняя. Дед небось тревожится.

Варюша. Я ему махорку несу. Он второй день не курил. Может, хоть от махорки ему полегчает.

Страходер. Ну, беги. Не боишься?

Варюша (*неуверенно*). Нет, не очень...

Страходер. А чего тут бояться? В этом лесу никого страшнее меня нету. Дай только напоследок закурить, побаловаться.

Варюша свертывает медведю цигарку, достает из кошелки коробок спичек, дает закурить.

Ну, счастливо! Деду поклон. Найду колечко, принесу.

Варюша убегает.

(*Садится, смотрит ей вслед, курит, дымит.*) Разные бывают люди. Ох, и терпеть я не мог до сей поры этих девчонок! Как идут в лес по малину или грибы, каждая пустой бидон с собой тащит. Чтобы меня, значит, пугать. Как завидят меня, как грохнут палками по бидонам, у меня сердце обрывается. Слышать этого не могу. Как дам ходу — один треск от кустов стоит. Потом сутки не могу отдышаться. А эта — душевная девочка. Рука у нее как былинка, а занозу вытащила. Да-а... Вот так и выходит: век живи — век учись. (*Затягивается, кашляет, машет лапой.*) До чего махорка забористая! Должно, государственная. Не самосад.

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Изба деда Никиты. Сумерки. За окнами — мохнатый от снега лес. Никита сидит на печке, свесив ноги, и тяжело дышит. Слышно, как в сенях хрипло поет петух.

Никита. Куда ж она убегла, господи! Ума не приложу. День прошел, смеркается, а ее нету. Неужто так вот и помру один, без ласкового ее слова. Ноги у меня отказали, не слухают, а то бы идти сейчас надо в лес, покликать ее, поискать. Мало ли что! Волки нынче голодные. *(С трудом слезает с печи.)* Эх, Варюша, Варюша! Неслух ты у меня. Маленькая девчоночка, вроде как зяблик, а без тебя трудно. *(Прислушивается. За стеной слышны голоса.)* Никак идет кто-то! Кому это быть? Зимой да в такой глухомани. *(Добредает до оконца; загородившись ладонями, всматривается.)* Будто никто по дорогам не шалит, разбою нету. А люди с ружьями.

Стук в стену.

Что надо?

Леденцов *(за окном)*. Отомкни, Никита Егорыч.

Никита. Никак Кузьма? Да там открыто, милок. Щеколду подыми. Мне до дверей не добраться.

В избу входят Леденцов и Кутыркин. Оба с ружьями. За ними семенит закутанная в теплый платок Анисья. Она низко кланяется Никите, с любопытством осматривается.

Леденцов. Варюши нету?

Никита. Нету. Уснул я малость от слабости, проснулся, а ее нету. Цельный день. Уж не знаю, что и думать.

Леденцов *(переглядывается с Кутыркиным)*. Та-ак!

Анисья *(сразу же начинает голосить, подперев подбородок рукой)*. И на что ты ее, болезную, отпустил одну-одинешеньку через темный, дремучий лес! Там лютый Страходер бродит, никому проходу не дает. И где теперь ее ясны глазыньки, белы рученьки!

Никита *(испуганно)*. Чего заголосила! Ровно по покойнику!

Кутыркин *(Анисье)*. Тихо! Театра здесь не представляй. Ничего еще не известно.

Никита. Кузьма... говори... что сталось с Варюшей.

Анисья *(вытирает рот рукой, начинает трещать)*. Я, значит, забегла в лавку, в сельпо к Кузьме Леонтьичу. Ядрицы надумала купить. Два кила. Да... А тут как раз и Варюша взошла. Такая приветная, такая приятная — ну, чисто цветок полевой...

Леденцов *(Анисье)*. Дай дело сказать. *(Никите.)* Прибежала Варюша, купила махорки. На семьдесят пять копеек. И побежала домой. Моя Нюрка за ней увязалась. Днем я, значит, магазин запираю на обед, гляжу — Нюрка несется обратно. Глаза белые, и губы трясутся. Что такое? Шли мы, говорит, с Варей вместе через лес, и встрелся нам Страходер. Я убегла, а Варя там и осталась.

Никита *(с трудом встает, шарит по стене рукой)*. Шапка здесь где-то... Треух мой. В лес я пойду. Милые, как же это допустить можно? Он же ее задерет.

Кутыркин. Мы сразу кинулись в лес. С вооружением. Всем колхозом. По разным дорогам. Однако ничего не нашли. Бабка нас вызвалась вести, да у нее от страху память отбило. Заплуталась.

Анисья. Бессовестный!

Никита *(шарит по стенке)*. Идти надо. Выручать. Кабы уже не поздно... *(Бредет к двери, придерживаясь за стенку.)*

Анисья. Да не пущайте вы его! Он помрет на пороге.

Кутыркин и Леденцов хотят остановить Никиту, но он успевает добраться до двери, распахивает ее. В сенцах стоит потупившаяся, плачущая Варюша.

Никита. Варюша! Воротилась! *(Шатается, вот-вот упадет.)*

Кутыркин подхватывает его и усаживает на скамью.

Варюша *(бросается к деду, гладит его косматые седые волосы)*. Дедынька! Милый! Тут я. Кто же это тебя так напугал?

Анисья. Кто ж, как не Нюрка. Бесстыдница. Небось все наврала. Прибегла как оглашенная, трясется, бормочет, что Страходер тебя ухватил и задрал.

Леденцов. Ну и будет же ей выволочка!

Варюша. Страходер меня отпустил, не тронул.

Никита. Кто ж такую тронет... Медвежье сердце — и то растаяло.

Анисья. Это он добряком только прикидывается.

Варюша (*гладит деда по лицу*). Я тебе табачку принесла. Сейчас чайку согрею, покормлю.

Никита (*оживляется*). Покурить сейчас, что ли? От болезни?

Кутыркин. Это можно! (*Свертывают цигарки, дымят. Кутыркин хитро смотрит на Варюшу.*) Я так понимаю, девонька, что мое колечко тебе помогло от медведя.

Варюша (*потупившись*). Нету у меня колечка.

Кутыркин. Как так — нету?

Варюша. Я как медведя увидела, обронила его в снег. Со страху.

Анисья. Батюшки! Дареное потеряла.

Кутыркин. А ты не горюй.

Варюша (*тихо*). Я из-за дедушки плачу. Как он теперь выздоровеет — без колечка.

Леденцов. Чем только люди в мыслях питаются! Вот ты, сержант, с медалями, а побаски выдумываешь. Несообразность!

Кутыркин. За что купил, за то и продал. Мне колечко один автоматчик подарил, костромской. Я с его слов говорю.

Леденцов. Ну что ж. Слава те господи, все обошлось. Пора и по домам.

Никита (*слабым голосом*). Что ж вы сразу и уходить! Варюша чай соберет. Только у нас небогато.

Анисья. Чувствительно благодарим, Никита Егорыч. Я бы и попила чайку, да сердце у меня не на месте: коза одна в избе замкнута. Боюсь, расколотит избу. В щепки. У нее развлечения такая: разгонится — и хлоп в стенку рогами. Постоит, пожует чегой-то, подумает, разгонится и опять — хлоп в стенку рогами. Вся изба ходуном ходит. Конопатка с потолка сыплется.

Н и к и т а. Благодари, Варюша, людей. Из-за тебя старались.

Варюша кланяется в пояс Анисье, Леденцову и Кутыркину.

К у т ы р к и н. Эх ты, василек синеглазый! Косицами пол подметаешь.

В а р ю ш а *(Кутыркину)*. А вы бы остались, дяденька. Вы ведь нездешний. Куда вам идти?

К у т ы р к и н *(колеблется)*. Что ж, остаться можно. Все равно шесты для парома в лесу надо срубить.

Леденцов и Анисья прощаются и уходят.

(Садится на скамью.) Как это Страходер тебя помиловал?

В а р ю ш а. Я ему занозу из лапы вытащила. Обещался колечко найти. Говорит, ежели найду, принесу беспременно.

Н и к и т а. Все вы про какое-то колечко... А мне невдомек.

К у т ы р к и н. Да так. Пустое дело. Девчонка твоя угостила меня махоркой, а я ей колечко в ответ подарил. Ходил такой слух промеж бойцов нашей части, что то колечко волшебное. Да вот, потеряла она его.

В а р ю ш а *(ставит самовар)*. Страходер обещал поискать.

Н и к и т а. Где найдешь! Снег глубокий, под самые стрехи. Вот весной снег сойдет, тогда, может, найдется. *(Кашляет.)* Да... Не дожить мне до весны. Во мне дыхания осталось, как в огарке — огня. А жалко. Жизнь, милая, дана для процветания. Вот я весь день один в избе пролежал. Будто скучать нужно, болезнью своей томиться. Так нет! Сижу, все примечаю. Скажем, сидит в сенцах петух. Прохор по имени. Спать-то он спит, а время чует. Лучше ходиков.

К у т ы р к и н. Только часы с заводом. А он без завода.

Н и к и т а. Вот, вот! Птица прямо волшебная.

К у т ы р к и н. Зря, значит, петухов дураками считают.

Н и к и т а. Вовсе зря... Или, скажем, лес шумит. Ну, шумит себе и шумит. А ежели ты человек примет-

ливый, так он для тебя шумит по-разному. Сейчас шум уже предвесенний, сырой. А летом шум веселый, продувной. Летом не поймешь, что и шумит, — то ли сосна, то ли лист осиновый играет, то ли тучи над головой несутся. Может, от них тоже шум. Иное облако летит и высматривает, где хлеб плохо всходит или огурцы повяли. Ну и прольется, конечно, дождем. А летний дождь, сам знаешь, — дело богатое. Каждая капля полный вес имеет. Да... Жить бы и жить. Да вот — привязалась болезнь. Сейчас только вот от махорки мне чуть-чуть полегчало.

Варюша (*сидит на корточках перед самоваром*). Дуреха! Испугалась. Нюрку не могла одолеть. Закинула колечко. Вот тебе за это! Вот тебе! (*Бьет себя кулаком по темени.*)

Петух в сенях неожиданно сильно хлопает крыльями и оглушительно кричит.

Что это? Поет без времени.

Кутыркин. Беспокоится.

Петух снова хрипло и протяжно кричит. Как только крик его затихает, становится слышно, что кто-то возится со щеколдой у двери.

Кутыркин (*подходит к двери*). Кто там?

Голос за дверью. Страходеров Михайло.

Кутыркин (*испуганно*). Кажись, медведь. Что делать?

Варюша (*подбегает к двери, распахивает ее*). Заходи. Тут все свои.

Входит Страходер.

Страходер. Почтение!

Никита. Почтение, Михайло Власьевич.

Кутыркин. Здравия желаю.

Варюша (*радостно*). Нашел колечко? (*Медведь смущенно молчит. Варюша теребит его за лапу.*) Покажи, где оно?

Страходер (*машет лапой*). Весь снег я перерыл. И вороны мне помогали, тоже рылись кругом. Да без пользы. Всю поляну я обнюхал — нет ли где от него запаха. Так нет! Чем хочешь пахнет: и мерзлым

корешком, и лисьими шкурами, и муравьиным шпиртом. А от перстенька запаха нигде нету. Не унюхал. *(Замолкает.)*

Все молчат.

Вот... Зашел, значит, про это рассказать. На огонек... Дай, думаю, зайду; может, вместе чего-нибудь сообразим. Опять же, скучно мне чего-то... одному. *(Никите.)* Растревожила она мне сердце, внучка твоя. Такая ласковая.

Н и к и т а. Спасибо на добром слове. Садись к столу, чайку попей с нами.

Варюша зажигает лампу, ставит на стол самовар.

С т р а х о д е р *(протискивается за стол, садится)*. Давненько я чаю не пил. Давненько! На дворе погода сыроватая. Шкурой своей я вам тут наслежу.

В а р ю ш а. Ничего, я подотру. *(Наливает всем чай. Страходеру.)* Ты что ж вприкуску пьешь? Сахар у нас есть.

С т р а х о д е р. Мне внакладку нельзя. Я внакладку должен вот в эту баночку *(показывает на чашку)* кусков десять кинуть. Невыгодно. *(Никите.)* Ты что ж это сплоховал, Егорыч?

Н и к и т а. Годы немалые.

С т р а х о д е р. Да... Старость, конечно. А я не жалуюсь. Когти, слава те господи, не затупились. *(Показывает когти.)*

Н и к и т а. Озоруешь помалу?

С т р а х о д е р. Зачем озоровать! Озоровать — это я ни-ни! Я когти только употребляю для добычи пропитания. *(Сосет с блюдечка чай.)* Ох, хорошо-о! *(Смотрит на Кутыркина, отставляет блюдечко, строго.)* А это что за человек?

К у т ы р к и н *(встает, держит руки по швам)*. Сержант Кутыркин, сто двадцать шестого саперного батальона. Демобилизованный.

С т р а х о д е р. Видать, службу знаешь. Ты передо мной не тянись. Я мужик простой. Здесь будешь жить?

К у т ы р к и н. Определился паромщиком. Временно. *(Садится.)*

Страходер. Иду я сторонкой по лесу и вижу: Кузьма из сельпо с какой-то старушкой в Переборы торопятся. Старуху эту я где-то видал.

Варюша. Это Анисья.

Страходер. Та, что с козой?

Варюша. Ага!

Страходер. Задрать бы ту козу следовало! Больно шкодливая. И еще есть у меня на примете одна девчонка. Я ее беспременно задеру.

Никита. Неужто на человека лапу подымешь?

Страходер. Человек в справедливости должен себя соблюдать, в правде. А она — обманщица, пустельга. Хулиганка такая — мочи нету!

Никита. Это чья же девочка?

Страходер. Этого я не скажу. Хоть и хороший ты человек, а выдашь. Вы, люди, друг за дружку держитесь.

Кутыркин. Так и следует.

Страходер. Будто?

Кутыркин. Это товариществом называется.

Страходер. Я с каждым медведем приятельствовать не стану. А ежели он вор? Или безобразник? Какой же он мне товарищ?! Я его сам первый проучу.

Кутыркин. У вас, у медведей, понятия неосновательные.

Страходер. А у тебя основательные! Спорщик нашелся.

Кутыркин. Я не спорю. Только я против этого — чуть что, сейчас же задирать. Что за мода! А может, она исправится.

Страходер. Попробуй исправь, волк те заешь!

Кутыркин. Исправлю.

Страходер. Пороть будешь?

Кутыркин. Зачем пороть! Я добром. А вы когтями.

Страходер. Ты когтей моих не касайся. То все будто робел, а сейчас расхрабрился.

Кутыркин. А вы что ж? Полагали, что я вас очень страшусь?

Страходер. Ишь какой храбрый! Когда с ружьем. Вот возьму твое ружьецо — да в щепки! *(Тянет лапу к ружью.)*

Кутыркин *(отталкивая лапу)*. Не хватай! Не твое! Затвор испортишь!

Страходер. А ты не толкайся. Смотри, как бы я не толкнул тебя по-медвежьему! *(Рычит.)*

Петух в сенях вскрикивает от испуга.

Варюша. Будет вам ссориться!

Страходер. Ну ладно! В чужом дому ссориться — последнее дело. *(Хлопает Кутыркина по плечу.)*

Кутыркин ежится, отсаживается подальше.

Да... Кузьма тоже с ружьецом шел. Хорош человек, а торговать не умеет.

Кутыркин. Это почему же?

Страходер. Настоящего товара у него нету. Скажем, меду маловато. И расчесок железных нету. Нечем шкуру вычесывать. И пластыря нету. Обдерешься о ветки, а заклеить-то рану и нечем. А ненужного товару невпроворот! Пороху, бидонов, пугачей для ребят...

Варюша. А я как в лавку зайду — все любуюсь. Книжки там есть. С картинками. И ленты. Всякие. Зеленые, синие, алые, желтые...

Страходер. А ну, тише! *(Прислушивается, повернувшись к окну. Приставляет лапу к уху.)*

Кутыркин. Чего слыхать?

Страходер замахивается на Кутыркина, делает зверские глаза. Все прислушиваются.

Страходер *(таинственно)*. Идет! Я ее шаг далече слышу.

Варюша *(шепотом)*. Кто идет?

Страходер. Хозяйка! *(Начинает торопливо вылезать из-за стола.)* Спасибо вам. Напился я и наговорился за целый год.

Никита. Месяц, что ли, взошел. Посветлело будто.

Кутыркин. Месяца не видать. А светлеет. Свет

какой-то чудной. Будто тот, что вчера мы в Переборах видали. В сельпо.

Страходер. Ну, мне пора.

Страходер делает движение к двери, но настораживается, становится на все четыре лапы и крадется вдоль стены к выходу. Дверь бесшумно распахивается. На пороге стоит высокая, красивая девушка с золотыми косами, в простом ситцевом платье. Она босиком. От золотых ее волос и юных глаз как бы излучается чистый блеск и освещает избу. Огонь лампочки меркнет. Никита всматривается в девушку, прикрыв ладонью глаза.

Девушка *(Страходеру)*. Ты что ж начал бродить раньше времени? Ведь я еще не пришла.

Страходер. Бессонница у меня. Не серчай, государыня.

Девушка. Ступай. Если надо будет, я позову.

Страходер осторожно, прижимаясь к полу, проползает мимо девушки и скрывается.

Девушка. Переночевать у вас можно?

Никита. Ночуй, красавица. Кто ты такая?

Девушка. Дальняя.

Кутыркин. А как в эти места попала?

Девушка. Этого я сказать не могу. Скоро узнаешь.

Кутыркин *(пододвигает девушке табурет)*. Да ты садись. К печке поближе. Как это можно—по снегу да босиком. Ноги небось зазнобила.

Девушка *(садится около печки)*. Девочка, дай мне теплой воды. Я ноги согрею.

Варюша торопливо наливает в лоханку теплой воды, подает девушке.

Никита. Ослаб я опять чего-то. Не обессудьте. *(Ложится на скамью.)*

Варюша укрывает его тулупом.

Кутыркин. От волнения сердца.

Никита. Хоть бы уснуть. *(Затихает.)*

Девушка полощет ноги. Свет в избе становится ярче. На подоконниках и на дощатых полках стоят в старых консервных банках разные растения. Они на глазах начинают расцветать. В одной из банок распускается огненная герань, в другой — бальзамин.

Кутыркин *(задувает лампу)*. И так светло. *(Девушке.)* Все хочу тебя спросить, да не решаюсь.

Девушка улыбается. От ее улыбки распускаются новые цветы. Уже вся изба в цветах и отблесках света.

Девушка. Солдат, весь в медалях, а спросить заробел.

Кутыркин. Я перед пулей не робел. И перед снарядами не кланялся. А вот перед тобой заробел. Надо полагать, что красотой твоей я смутился.

Девушка. Спрашивай. Я отвечу.

Кутыркин. Кто ты такая? Вот что нам желательно знать.

Девушка. Сколько тебе лет, солдат?

Кутыркин. Да, пожалуй, года тридцать два будет.

Девушка. Значит, тридцать два года ты меня знаешь. А не запомнил. Я каждый год сюда возвращаюсь. Когда зиме приходит конец.

Кутыркин *(удивленно)*. Тридцать два года! Быть не может! Ты же совсем молодая.

Девушка. Я всегда молодая. Сотни лет.

Варюша *(с надеждой)*. Ты волшебница?

Девушка *(улыбается)*. Какая я волшебница! Босиком хожу, в ситцевом платье. А волшебницы — в шелках и алмазах. *(Помолчав.)* Имя у меня вам знакомое: Весна.

Кутыркин. Весна?

Девушка. Да. Я всю зиму живу далеко отсюда. У синего моря.

Варюша. В избе?

Девушка. Лачуга у меня на самом берегу. Волна, бывает, добежит до порога, а то и захлестнет мне в окошко.

Кутыркин. Благодать!

Девушка. Нет, солдат. Там даже березки ни одной не увидишь. Вспомнишь среди зимы, как ветер качает черемуху, и такая подымается тоска! Не вытерпеть. А я креплюсь. Только, бывает, поплачу. Мне раньше срока сюда возвращаться нельзя. А в этот год не стала терпеть. Убежала. Раньше времени.

Кутыркин. Намного?

Девушка. Ждать мне своего срока еще десять дней. Вот и хожу по деревням, ночую у добрых людей. А через десять дней выйду в поле, на лесную опушку, крикну на все стороны света, что я воротилась, — и сразу зашумят ручьи, тронется лед, разольются реки и зацветет вся земля.

Варюша. А раньше нельзя?

Девушка. Нет. Раньше нельзя.

Варюша. А ежели очень нужно. Для спасения человека. *(Умоляюще.)* Весна, милая, растопи снег раньше времени. Вот сейчас.

Девушка. Как можно! Зима будет злиться. Мое время еще не пришло.

Варюша. Дедушка Никита помирает. Ему от силы два дня жить осталось.

Девушка. Что ж я могу? Ни трав еще нет, ни цветов целебных.

Варюша. Спасти его можно. Только колечко одно надо найти. Под снегом.

Девушка. Какое колечко?

Варюша. А ты послушай... *(Наклоняется к девушке и быстрым шепотом ей что-то рассказывает.)*

Кутыркин *(смотрит на девушку, говорит про себя)*. Главное, пропал я совсем. Со дня на день она уйдет, а я буду целый год дожидаться, когда она опять возвратится.

Девушка *(прижимает к себе Варюшу, гладит ее по волосам)*. Ты не горюй. Дедушку мы вызволим. И колечко тоже найдем. Я сейчас весь снег растоплю, сгоню из лесов и с полей. Пусть зима вся изозлится — ничего она поделать не сможет. Дряхлая она сейчас, в марте. Сила уже не та. Собирайся. Пойдем в лес на ту поляну, где ты обронила колечко.

Варюша начинает торопливо одеваться.

Кутыркин *(девушке, тихо)*. Колечко, конечно, самое обыкновенное, дешевенькое. Железное. Никакой силы в нем, понятно, нету. Это я сам выдумал, что оно волшебное, хотел порадовать девчоночку. А она поверила. Как теперь быть — и не знаю.

Девушка. Ты не беспокойся. Я сама деда вылечу. Своим теплом, своими цветами и травами. А она, Варюша, пусть верит. Ей со сказкой легче жить на свете. Она еще маленькая.

Кутыркин. Солдату — и то сказка нужна. На фронте нарвешься на сказочника — развеселишься, дух окрепнет.

Девушка. Без сказки нельзя жить ни людям, ни зверям. Пойдем, девочка.

Варюша. Скажи, ты вправду волшебница?

Девушка (*улыбается*). Я девушка простая, крестьянская. Еще увидимся, солдат. Я дедушку приду проведать. (*Уходит с Варюшей.*)

Кутыркин (*смотрит в оконце вслед девушке*). Главное — пропал я окончательно. Вот так история!

В оконце виден лес и озеро под снегом. Внезапно по лесу проходит ветер. Снег сыплется ливнем с деревьев и тут же тает. Уже слышен звон ручьев, плеск, стук капель. С крыши избушки струями льется талая вода. С треском отламываются сосульки. Сквозь весь этот весенний шум доносятся громовые, будто пушечные, удары.

Лед на озере трескается. Весь снег начисто сдуло. За одну какую-нибудь минуту. Дед!.. А дед! Слышишь?

Никита не отзывается.

А еще смеется, говорит, что она не волшебница!

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

КАРТИНА ПЯТАЯ

Лавка сельпо. Раннее утро. Ставни на окнах еще закрыты, но в щели бьет полосками солнечный свет. Из задней комнаты слышится густой храп.

В лавку входит, крадучись, Нюрка. Подходит к солнечной полосе около ставни, подставляет под нее руку и любуется — на ладони у Нюрки сверкает стальное колечко.

Нюрка. Ух и здорово! Я ночью глаза продрала, гляжу — светло! Я к окну. А снега нету. Ни крупинки. Я мигом в лес. На полянку. А оно, колечко, лежит около пенька, поблескивает. Поспела я раньше Варюшки. Пусть она теперь его поищет! Черта с два найдет! *(Поворачивается к двери, из-за которой слышится храп.)* Я теперь тебе покажу, папаня, как меня за косы драть! Машину себе куплю легковую, завалю конфетками и буду всюду кататься, сосать конфетки. В самую Москву поеду. Поглядеть на футбол.

Стук в ставень. Нюрка прячется за пустую бочку. Из задней комнаты выходит Леденцов, босой, растрепанный.

Леденцов. Чего колотите ни свет ни заря! Чего надо?

Конюх *(за окном)*. Открой, Кузьма Леонтьич. Происшествие!

Леденцов. Очертели вы мне со своими происшествиями. *(Открывает ставень и отступает, пораженный.)* Мать честная! А где же снег? Где зима?

Конюх *(за окном)*. Вот то-то и оно! А ты спишь. Я на телеге уже выехал. Не на санях.

Леденцов *(отворяет тяжелую дверь на улицу)*. Прямо весна!

Конюх *(входит)*. Река тронулась. Народ шумит по всему селу. Сроду такой быстрой весны не бывало.

Торопливо входит деревенский сапожник. Он в кожаном фартуке. В руках у него — сапог и колодка. На лбу — ремешок. Сапожник немного глуховат.

Сапожник *(кричит уже с порога)*. Какое этому может быть научное объяснение?

Леденцов. Ученые все объяснят.

Сапожник. Га? Не объяснят, говоришь? А я говорю, объяснят. Давай спорить.

Леденцов. Больно нужно мне с тобой спорить.

Сапожник. В науку не веруешь! Мозги прохлопал на счетах.

Появляется Анисья с козой. Привязывает козу к двери.

Анисья. Ой, милые! Ой, сердешные! Ой, родимые мои! Я ночью пробудилась, а земля так вся и гудит, так и гудит. Снег с нее сходит. Льет с крыш, с деревьев — прямо всемирный потоп. Даже коза маленько смутилась, присмирела.

Леденцов. Пойти умыться, что ли. Поспать уже не успею. Такое событие.

Конюх и сапожник продолжают шумно спорить.
Сапожник все кричит: «Нет, ты погоди! Мне не доказывай! Я и сам с усами!»

Нюрка *(за бочкой)*. Попробовать разве колечко? С какого только пальца? По порядку буду пробовать — с большого.

Нюрка старается надеть колечко на большой палец. Рука у нее срывается. Нюрка ударяет локтем по стене. Дребезжит посуда. Большая цинковая лохань, что стоит на верхней полке, медленно сползает с полки и падает на Анисью. Анисья опрокидывает бочонок с солеными огурцами и с размаху садится на пол.

Леденцов (*кричит из соседней комнаты*). Опять коза?

Анисья (*стонет*). Да какая там коза! Ой, смертушка моя! Ой, родимые, вся изломалась!

Входит Леденцов. Нюрка снова ударяет локтем в стену. С полки падает железное ведро, ударяет Леденцова и отлетает в сторону. Нюрка прыскает от смеху за бочкой. Конюх и сапожник отступают к дверям.

Сапожник (*кричит*). Какое этому может быть научное объяснение?

Анисья. Ох, косточки мои! (*Сердито.*) Встать бы пособили, невежи! Стоят, как истуканы. Старуха в рассоле валяется, а им хоть бы что!

Конюх помогает Анисье встать. Леденцов приходит в себя, слышит смех Нюрки.

Леденцов (*бросается к Нюрке*). Понятно! Опять ты нашкодила!

Нюрка. Да не я это. Не я! Это оно. Колечко!

Леденцов (*хватает Нюрку*). Ох и будет тебе выволочка!

С улицы доносится яростный лай собак. Испуганно кудахчут куры. Где-то поблизости тревожно бьют в рельсу. Взвизгивает лошадь, потом слышен топот и грохот колес.

Конюх. Лошадь никак понесла!

Анисья. Горит где, что ли?

Конюх бросается к двери. Навстречу ему врывается перепуганный Паня. «Идет!» — кричит он и мечется по лавке, ища, где бы спрятаться. Конюх отшатывается от двери и торопливо стаскивает шапку. Коза взвивается на дыбы, обрывает веревку и прыгает за пустые ящики. Слышен тяжелый скрип ступенек на крылечке. В дверях появляется Страходер.

Страходер. Тихо! Без паники. Разговор будет короткий.

Анисья (*низко кланяется медведю, взявшись за широкую юбку и стараясь закрыть юбкой козу*). Ой, родимец! Сколько про тебя наслышана, а только нынче сподобилась повидать.

Сапожник. Медведь в лавке! Какое этому может быть научное объяснение?

Страходер. Объяснение сейчас воспоследует. Двери все замкните, чтобы девчонка эта не убегла.

Леденцов, явно боясь, но стараясь не торопиться, чтобы соблюсти достоинство, идет к двери в заднюю комнату и затворяет ее. Конюх затворяет тяжелую дверь на улицу, но от нее не отходит. В опасные минуты он приоткрывает дверь, как бы желая удрать, но каждый раз передумывает и остается в лавке.

Леденцов (*Страходеру*). Разрешите спросить, по какому делу пожаловали?

Нюрка. Я боюся! Он тогда в лесу за мной гнался, да спотыкнулся. А то бы задрал.

Страходер рычит на Нюрку.

Леденцов (*Нюрке*). Помолчи!

Страходер. Дело у меня простое. Вот эта девчонка, Нюрка, меня обманула, подружку свою, Варюшу, в неминучей опасности кинула, сама удрала да еще наклепала на меня, будто я ту Варюшу задрал. А намедни утром стальной перстенек, что Варюша в лесу обронила, она, эта самая Нюрка, бессовестная, спозаранку украла.

Леденцов. Это, гражданин, доказать надо. А то я могу вас за клевету притянуть.

Страходер. Я по ее следам сюда и пришел. А доказательство — вон оно! Перстенек-то у нее на руке!

Анисья (*заискивает перед медведем*). Исхулиганилась девка. Чего только отец родной смотрит!

Нюрка. Он на меня наговаривает! Провалиться мне на этом месте — наговаривает.

Леденцов. Отдай колечко!

Нюрка. Не отда-ам! Я его нашла. Чего он ко мне привязался, медведь этот проклятый.

Сапожник (*Страходеру*). Твое дело — в лесу хозяевать. А до людей ты не касайся.

Страходер. А я желаю касаться.

Сапожник. Нету такого закона, чтобы медведь мозги людям вправлял.

Страходер. А я вправлю!

Сапожник *(подскакивает к Страходеру).* Ты мне не доказывай. Я сам с усами!

Страходер. А ты не шуми. А то я та-ак махну!

Сапожник отступает.

(Подмигивает Леденцову.) Ну, Кузьма Леонтьич, человек ты хороший, а девчонка у тебя — никуда! Врет и врет бесперечь да еще не краснеет. Не надо ей, значит, и небо коптить. И потому такое мое решение: задрать ее без отсрочки. *(Идет, переваливаясь, к Нюрке.)*

Леденцов *(заслоняет Нюрку).* Это как понимать, гражданин?

Страходер. А вот так! *(Хватает Нюрку, но она вырывается, вскакивает на прилавок.)*

Конюх. В ведра колотите чем ни попало. В ведра! Он этого слышать не может.

Паня начинает колотить в ведро. Сапожник бросается на Страходера, но тот легонько его отталкивает, и сапожник с грохотом падает на пол.

Страходер. Ага! Вот вы как! *(Снова бросается на Нюрку.)*

Паня повисает у него на одной лапе, а сапожник на другой и не дают ему двинуться.

Паня. Не надо, дедушка. Ты накажи ее, не задирай!

Страходер *(кричит с наигранной яростью).* Пуститя-я-я-я!! А то я за себя не отвечаю! Вам говорят, пуститя-я-я!

Коза вырывается из-за ящика и бьет медведя сзади рогами. Медведь, сапожник и Паня падают.

Конюх *(с восхищением).* Ну и яд коза!

Страходер *(садится, трет ушибленное место, оборачивается к Анисье).* Твоя коза?

Анисья *(кланяется).* Не гневайся, батюшка!

Страходер. Я той козе все равно рога обломаю. *(Замечает, что Нюрка пробирается в заднюю ком-*

нату.) Куда-а? *(Отшвыривает от себя сапожника и Паню и идет на Нюрку.)*

В это время в дверь мимо конюха протискивается Варюша. Платок у нее сбился с русой головы. Варюша, видно, быстро бежала и запыхалась. Вслед за Варюшей в дверях появляется девушка.

Девушка *(Страходеру)*. Брось! Ты это что?!

Страходер *(отпускает Нюрку, садится на пол, вытирает лапой пот)*. Я, государыня, ее только пугнуть хотел. Да разве я всерьез? *(Хихикает.)* И-и-и, господи! И подумают же люди такое! А пугнуть ее давно следовало.

Леденцов. Пугнуть следовало. Только ты, друг, принялся слишком круто.

Страходер. У меня характер такой.

Девушка *(Страходеру)*. Ступай в лес. И больше по деревням не шатайся.

Страходер. Сейчас, государыня. Взмок я, устал. Дай отдышаться.

Конюх. Нрав, конечно, вспыльчивый. А что с них взять — медведь и есть медведь.

Страходер *(конюху)*. Поговори у меня!

Конюх. Да я ничего... Я к вам всегда с уважением.

Анисья. Девчонку эту давно бы надо привести в сознание. Чего только выкидывает! Колечко вот украла. Думала небось, дуреха, что оно волшебное, что как наденет его, так и пойдет ходить в шелках-бархатах.

Паня. И Варюшу обидела. Ни за что.

Конюх. И медведя обманула.

Нюрка стоит потупившись и плачет.

Леденцов. Отдай Варюше колечко. И не стыдно тебе перед людьми?

Варюша *(тоже плачет)*. Может, к дедушке Никите пришел смертный час. А она колечко взяла. И не отдает.

Леденцов. У-у, бессовестная! Сейчас же отдай!

Нюрка *(медленно подходит к Варюше, отдает ей колечко)*. Ты не серчай. Дай палец. Я сама тебе на-

дену. *(Надевает Варюше колечко на средний палец, прижимается головой к плечу Варюши, всхлипывает.)*

Страходер. Пробрало! Я знаю, как действовать. Я, может, из нее человека сделал.

Нюрка. Я бы сама отдала. Без пугания. *(Варюше.)* Ты на меня не серчай.

Варюша. А я и не сержусь. Нисколько. Мне за дедушку страшно.

Страходер *(Нюрке)*. Тебе, рыжая, не только надо прощения просить. Тебе Варюшу еще и благодарить надо. Она тебя, не глядя на твою дурость, в обиду не давала. За тебя вступилась. Она подружка настоящая. А ты, выходит, кто? Пустельга!

Нюрка *(крепко держится за Варюшу)*. Я и сама знаю.

Леденцов. Все обошлось — и ладно! *(Девушке.)* Да вы садитесь, гражданочка! *(Пододвигает табурет, смахивает с него пыль.)* Видно, тоже устали.

Девушка. Мы по медвежьим следам опрометью бежали.

Леденцов. Слышал я про вас от людей, да не знаю, как вас величать?

Девушка. Я — Весна. Я каждый год тут бываю.

Анисья *(всплескивает руками)*. А я-то гляжу, будто что-то знакомое. Глаза у тебя синие-синие, будто наши небеса по весне. И косы золотые, как солнышко. И вся ты такая легкая, светлая, и голос у тебя, милая, звенит, как ключ весенний. *(Подпершись, любуется девушкой.)* Да-а... А я свою красоту давно растеряла. Я красивая была, врать не буду. Вот вроде тебя.

Леденцов *(насыпает на блюдце конфеты, ставит перед девушкой)*. Угощайтесь! Такая гостья — дорогая. Сделайте уважение.

Девушка. Спасибо. Надо идти. Проведать деда Никиту. А потом по полям, по лесам, по лугам. У меня дела сейчас много.

Леденцов. Желаю удачи. Вы к нам заглядывайте почаще.

Девушка *(улыбается)*. Да уж раз в год. Больше нельзя.

Варюша. Пойдем скорее. А то за деда мне боязно.

Девушка. Пойдем, милая.

Нюрка. А меня возьмете?

Паня. И меня!

Девушка. Идемте.

Нюрка. Я озоровать больше не буду. Я деду сахару понесу. И чаю. Он любит.

Леденцов *(отсыпает в кулек сахар)*. Вот так бы давно!

Страходер *(девушке)*. Я тебя провожу. Разрешишь, государыня?

Девушка. Хорошо.

Страходер *(Леденцову)*. Нюрка мое ведерко берестяное унесла. А я без него как без рук.

Нюрка. Я его на дороге кинула. Я его вам найду, дедушка.

Страходер. Пока найдешь, что я буду делать?

Леденцов. Да бери любое. Ведер много.

Страходер. Они жестяные. Гремят. Я их терпеть не могу, эти ведра. Мне бы берестяное.

Леденцов. Такого товара не держим.

Страходер. Ну ладно, давай. Покамест берестяное найдется.

Леденцов *(насыпает в ведро жамок и орехов, подает Страходеру)*. От меня. В благодарность. За то, что Нюрку мою проучил.

Страходер *(кланяется)*. А мы вас обратно благодарим, Кузьма Леонтьич.

Леденцов *(кланяется)*. Не стоит вашей благодарности. Я для вас всей душой.

Страходер *(кланяется)*. И мы к вам с полным расположением.

Леденцов *(кланяется)*. Захаживайте, не забывайте, мы вам завсегда рады будем.

Страходер *(кланяется)*. Беспременно как-нибудь забегу. На огонек. Покурить.

Леденцов *(кланяется)*. Чайку попить с баранками. Я для хорошего человека ничего не жалею.

Страходер (*кланяется*). И я остатнюю шкуру доброму человеку отдать готов. Премного вами доволен.

Девушка. Да будет вам кланяться. Идти пора, Михайло Власьевич.

Все низко кланяются девушке. Девушка, Варюша, Нюрка и Паня уходят. Страходер пятится к двери, кланяется, мотает головой.

Страходер. Нижайшее вам почтение. Не взыщите за беспокойство.

Все (*кланяются*). И вам также! Чем богаты, тем и рады!

КАРТИНА ШЕСТАЯ

Изба Никиты. Оконца завешены. Полумрак. Только слабо светятся распустившиеся в жестяных банках цветы. Никита, укрытый тулупом, лежит на лавке. Кутыркин топит печку.

Кутыркин. Окончательно помирает старик. Все ему холодно. Окна велел завесить. И печь затопить. А она дымит, в лесу ветер сырой, теплый. Весна!

Никита (*вполголоса*). Варь? А Варь?

Кутыркин. Нету ее. Еще не воротилась. Это я, дед, виноват. Придумал про колечко.

Никита (*едва слышно*). Известно, ребенок.

Кутыркин. Девчоночка доверчивая. Побежала в лес, чтобы перстенек найти и принесть. Снег-то сошел. (*Замолкает.*) Что-то долго они его ищут.

Никита. Будь другом... Там вот... на стенке, за портретом генерала Кутузова... ключик висит. От сундука. Возьми его, отомкни сундук...

Кутыркин (*осторожно снимает портрет Кутузова*). Хоро-ош полководец! Фельдмаршал! (*Снимает со стены ключ, вешает портрет на место.*) Смекалистый, видать, был старик, даром что с виду простой. (*Открывает со звоном сундук.*) Чего доставать?

Никита. Там егорьевский крест лежит. Мне был даден за Порт-Артур. Самим генералом Кондратенко. И свечечка еще там восковая. Достань.

Кутыркин (*бережно достает георгиевский крест*). Солдатский георгий. Да ты, видать, был герой.

Никита. Был, да сплыл. Крест этот ты мне на грудь приколи. Пущай со мной в могилу пойдет.

Кутыркин. А свечка зачем?

Никита. В ногах у меня засвети.

Кутыркин. Да ты что! Вправду помирать приготовился? Георгиевский кавалер, а перед смертью сдаешься.

Никита. Силы у меня нет сейчас с тобой спорить. Раз есть у человека последнее желание, ты, сапер, должен его исполнять. По воинской дисциплине.

Кутыркин. Это, конечно, так. Каждый умирает по своему усмотрению. (*Прикалывает георгиевский крест к груди Никиты, прилепляет у него в ногах на скамье свечку и зажигает ее.*)

Никита (*тихо зовет*). Варь?.. А Варь? Что ж это ты, бедовая какая! Деда кинула в последний час.

Кутыркин. Ты не тревожься. Варюшу я к себе возьму, выведу в люди. Это дело решенное. Так что ты помирай совершенно спокойно.

Никита. Спасибо, сапер.

Кутыркин. Не стоит благодарности.

Никита складывает на груди руки, закрывает глаза, затихает.

Эх, дела! Весна обещалась его вылечить, да, знать, забыла. Не идет. (*Замолкает. Трещит огонек свечи.*) Дед!.. А дед!

Никита молчит.

Ты бы откликнулся. Неужто уже успокоился? (*Подходит к Никите, медленно снимает фуражку.*) Так и есть! Помер герой Порт-Артура. Помер старик, да будет ему вечная трудовая слава. И память.

За стеной голоса, но Кутыркин, очевидно, их не слышит. Голоса приближаются. В избу вбегает Варюша. Останавливается, смотрит на Никиту, вскрикивает, бросается к нему, обнимает его голову, плачет.

За Варюшей быстро входит девушка, а за ней, стараясь не шуметь, — Нюрка, Паня и Страходер. Страходер взмахивает лапами, валится на колени и кланяется до полу Никите. Все молчат.

Варюша подымается, судорожно вертит колечко на среднем пальце, с надеждой смотрит на Никиту, но он лежит все так же неподвижно. Варюша бросается к девушке, прижимается к ней. Та ласково гладит ее по волосам.

Нюрка *(шепотом)*. Отказало колечко. Испортилось. Не берет.

Паня *(тихо)*. Замолчи, дуреха!

Варюша. Опоздали мы! Опоздали! *(Срывает колечко и бросает его на пол.)*

Нюрка быстро подхватывает колечко и прячет за пазуху.

Девушка. Погоди! *(Подходит к Никите, прижимается щекой к его губам, слушает.)*

Все смотрят на нее. Неожиданно девушка улыбается, оборачивается и гасит свечу в ногах у Никиты.

Кутыркин. Неужто живой?

Девушка. Чуть дышит. Отворите все окна. И дверь. Поскорей!

Все бросаются к окнам, отодвигают занавески, распахивают окна, открывают дверь наружу. Только Страходер все лежит, уткнувшись головой в пол.

Нюрка *(толкает его)*. Вставай! Ишь разлегся! Дед еще живой, не помер.

Страходер медленно подымается.

Девушка. Надо бы воздухом весенним и теплом всю избу продуть. Насквозь.

Страходер. Может, стенку выломать, государыня? А то оконца тут совсем ничтожные, воздуху не пропускают.

Девушка. Хорошо! Только потом поставишь на место.

Страходер. Обязательно. Это мы мигом! *(Кутыркину.)* Ты, сержант, валяй наружу, поддерживай. Чтобы стенку легко спустить. А я навалюсь.

Кутыркин с Паней и Нюркой выходят из избы. Страходер примеривается, нажимает спиной на стенку.

Кутыркин. Ты всей силой не жми! Аккуратнее!

Страходер. Нам это, брат, не впервой — избы разваливать. Нашелся учитель.

Стенка с треском отходит и валится наружу. Кутыркин, Паня и Нюрка поддерживают ее и осторожно опускают на траву.

(Вздыхает.) Ну, благодать!

В избу врывается утренний свет и веселый шум леса. Лес еще без листвы — сырой, апрельский. Никита лежит все так же неподвижно.

Одного весеннего воздуха, видать, маловато. Болезнь его еще крепко держит. Тут бы надо, чтобы цветами повеяло, медовыми травами.

Девушка. Хорошо! *(Выходит наружу, прикладывает ладони к губам, кричит: «Ау!»)*

Тотчас из леса выходят два очень низеньких и добродушных пожилых мужичка-лесовика.

Они снимают шапки и кланяются всем в пояс.

Мужички. Мы — здешние жители, берлог хранители, дятлов служители, лесных пожаров гасители, всяких птах и зверей покровители. Что прикажешь, государыня, то и сделаем, потому мы от работы не бегаем.

Девушка. Ступайте в лес. По оврагам, по норам звериным, по чащобам, по всем полянам лесным. Кланяйтесь на все стороны и говорите — я приказала: пусть тотчас прорастает трава и зацветают все, какие есть, цветы — и черемуха, и ландыш, и прилеска, и петров крест. Пусть птицы лесные подымутся к небу, разгонят все тучи, чтобы солнце жарко пригрело весь этот край.

Мужички исчезают. Тотчас из-под земли начинает прорастать трава, подымаются цветы, и уже качаются и звенят вокруг избы сотни белых колокольчиков-ландышей. Деревья одеваются на глазах свежей пушистой зеленью, расцветает черемуха, распрямляются свернутые спиралью листья папоротника.

Тучи расходятся. Огромное жаркое солнце горит над расцветающим лесом. Поют сотни птиц.

Страходер (*хлопает себя по бокам лапами*) Ах, волк те заешь!

Порыв ветра. Черемуховые лепестки густо летят в избу. Сквозь них почти ничего не видно.

Кутыркин. Черемухой метет. Будто снегом. А запах какой! От него от одного жизнь воротится.

Нюрка. Панька-а-а!

Паня. Чего?

Нюрка. Я боюся-я-я!

Паня. Стой, где стоишь, дуреха! Сейчас пройдет.

Голос Никиты. Варюша! Ты пришла ай нет?

Варюша. Дедушка! (*Бросается к Никите.*)

Порыв ветра проходит. Лепестки опускаются на землю. Никита медленно садится на лавке, опирается на Варюшу, глубоко дышит.

Никита. Жизнь из меня вытекла. Может, одна какая капля осталась. А сейчас чую, будто окунули меня в целебную воду. И дыхание легкое, и сердце колотится ровно, и глаза глядят зорко. До чего хорошо!

Страходер. Государыню Весну благодари. Это она для тебя постаралась. Раньше времени снег согнала, пустила в рост цветы да травы.

Никита. Спасибо великое!

Девушка подходит к Никите, садится на пол у его ног, рядом с Варюшей.

Был я как этот лес. Дерева в нем всю зиму стояли мертвые, прихватило их стужей до самого сердца, а пришла ты, Весна,— распушились и пошли одеваться клейким листом. Так и я.

Варюша прижимается к девушке, смотрит на нее благодарными глазами. В лесу начинает куковать кукушка.

Послушаем, сколько она мне годов напророчит.

Все (*считают до десяти*). Один, два, три...

Никита. Этого мне маловато.

Нюрка. А я, дедушка, сколько хочешь тебе жизни прибавлю. Вот через это колечко. (*Показывает колечко.*)

Никита. Колечко, милая, ежели вникнуть,— одно баловство. Сердце у человека должно быть широкое, руки должны работу любить, глаза — лицезрение, а голова — мысли. Тогда и без колечка сто лет проживешь.

Нюрка. А я хочу поглядеть через то колечко на весь белый свет с его чудесами.

Паня. Мне тоже охота.

Варюша. И мне!

Никита. Белый свет, конечно, вещь серьезная. Только по мне лучше этого леса, и села, и нашей реки нету ничего на земле. Сколько по свету ни езди, а всегда на родное место воротишься. Бегом, брат, прибежишь. Посмотришь там на какие ни на есть чудеса, океаны, дерева, что в поднебесье уходят, скажем, слонов, да китов, да великие разные города, а все равно милее этого горицвета, что пробился в щелке на пороге, ничего не узнаешь. Своя земля — как мать. Ее позабыть нельзя, и любить ее надо не на жизнь, а на смерть.

Кутыркин. Это точно. Вполне согласен.

Страходер. Да... Белый свет! Он кому белый, а кому и черный. Вот один из моих дядьев, Потап,— да ты его знаешь, Никита Егорыч, такой медведь, малость лысоватый — попал в цирк. И начал его возить тот цирк по всему белому свету, по Европам. Жизнь, рассказывал, прямо собачья. Никудышная жизнь! День в клетке сиди, а вечером перед народом выламывайся. Стой на передних лапах вниз головой на деревянном шару. А задними болтай. И бант еще тебе на шею привяжут. Так это еще милость. А то заставят на велосипеде круг цирка кататься. Спицы, рассказывал, всю шерсть из лап повыдерут. А народ хохочет. Прямо и срам и горе! И не обо что даже когти поточить. Ни одного дерева нету. А какие и есть на улице деревья, так вокруг них тоже железные клетки понаделаны. Потап терпел, терпел, да и убег. Воротился домой и, верите ли, заплакал. Сидит,

ревмя ревет, всю шкуру слезами замочил, а лапой по своей земле все гладит, радуется. Землянику сгребает и — прямо в пасть!

Кутыркин. Звери тоже к родному месту привязаны.

Из лесу появляются мужички-лесовики. Кланяются Никите.

Мужички. С выздоровлением вас, Никита Егорыч.

Никита. Спасибо вам, лесовики.

Мужички (*девушке*). Звери просятся прийти на тебя поглядеть. Разрешишь, государыня?

Девушка. Я их сама давно не видала. Соскучилась даже.

Из лесу выходят и подползают к ногам девушки лисы, барсуки и волки. Она треплет их по грубой шерсти. Страходер все время рычит.

Паня (*Страходеру*). Чего ты рычишь?

Страходер. Для острастки. Это звери лесные, серые. Они обхождения не знают.

За волками подползает молодой медведь.

Страходер (*кричит ему*). Как ползешь! Держи голову выше. Не забывай, где находишься!

Молодой медведь подползает. Девушка и дети гладят его по косматой голове. Медведь лижет Варюшу в лицо. Варюша смеется.

Он ничего, ласковый. (*Похлопывает молодого медведя по спине.*) Внучатный племянничек мой! Ну, ступай. На тебе на дорогу гостинец. (*Дает молодому медведю несколько жамок из того ведра, что подарил ему Леденцов.*)

Молодой медведь убегает, оглядываясь Все ласково смотрят ему вслед.

Кутыркин. За пять минут весь лес зацвел. Полная получилась весна. (*Девушке.*) И звери пришли тебя поздравить с благополучным прибытием. Чудесное происшествие!

Никита. Был бы ты человек приметливый, так знал бы, что все вот это *(показывает на лес)* идет своим ходом. Только нынче побыстрее, чем следует. Отсюда и твое удивление. А я, брат, удивляюсь с малых лет и никак наудивляться не могу — до чего хорош белый свет. *(Показывает на девушку.)* А все ее работа. Трудная, надо думать, должность. *(Варюше.)* Ну, Варенька, хоть ты и невелика хозяйка, а дорогих гостей надо угостить. Собирай на стол.

Мужички-лесовики выдвигают стол на середину избы. Варюша накрывает его суровой скатертью, расставляет на столе небогатую закуску. Паня приносит в ведре из озера воду. Кутыркин растапливает самовар.

Страходер *(Кутыркину)*. Так он у тебя до вечера не вскипит. Садись.

Кутыркин. Чего?

Страходер. Садись, говорю! Давай ногу! *(Стаскивает с ноги у Кутыркина сапог.)* Сапогом мы его мигом вздуем.

Кутыркин. Ногу не оторви, сиволапый.

Из-за угла в избу с опаской заглядывает Анисья.

Анисья. Батюшки! А я-то думала, что кончается Никита, спохватилась, бегла, бегла как одурелая. Надо, думаю, проведать деда. Самой тоже не бог весть сколько жизни осталось. А у них тут чаи да сахары! Да веселье! Неужто ожил, дед?

Никита. Ожил. Весна меня к жизни вернула.

Анисья *(входит с козой)*. А за мной Кузьма Леонтьич идет с приятелями. Тоже тебя проведать. *(Замечает Страходера.)* Господи, и Михайло Власьевич здесь! И сержант! *(Кланяется Кутыркину.)* А это кто такие? Николи не видала таких мужичков. Парамоновские, что ли? Или из Шилохвостова?

Мужички *(кланяются Анисье)*. Мы из села Лисья Нора, из района Лесная Гора, а из области Грибной да Дремучей.

Анисья кланяется мужичкам.

Страходер *(Анисье)*. Убери козу! Зрить я ее не могу. Опять бросится.

Анисья. Она второй раз не бьет.

Страходер. Уваженья мне сделать не хочешь.

Анисья. Да куда ж я ее дену?

Кутыркин. Привяжи к осине. Тебя же вежливо просят.

Анисья выходит из избы, привязывает козу. Входят Леденцов, конюх и сапожник.

Леденцов. Так сердце и чуяло, что пройдет твоя болезнь, Никита Егорыч. От моей махорки. *(Вынимает из кармана и ставит на стол бутылку вина.)*

Конюх. Чудеса!

Сапожник. Какое этому может быть научное объяснение? И кто это в избе цельную стенку отвалил? Для какой надобности?

Паня. Страходер.

Сапожник. Все безобразничаешь, силу свою показываешь?

Страходер. Ох, ответил бы я тебе по-своему, да сердце у меня сейчас не медвежье. *(Хлопает сапожника по спине.)* Выпьем лучше по маленькой за здоровье Никиты Егорыча. Да за нашу Весну. *(Бросает сапог Кутыркину.)* Наливай, сапер. А то я эту бутылку своей лапой вдребезги раздавлю.

Кутыркин натягивает сапог, наливает всем вина.

Все *(кланяются Никите)*. Жить вам, Никита Егорыч, двести лет, нас всех пережить и счастливому быть, вместе со внучкой своей, с Варварой Игнатьевной! *(Пьют.)*

Никита. Обратно и вам желаю здравствовать. Кланяйся, Варенька!

Кутыркин снова наливает всем вина.

Все *(кланяются девушке)*. За твою красоту да твою доброту от всех нас любовь и почтение! *(Пьют.)*

Страходер. Эх, Анисья Трофимовна, была же и ты молода. Есть тут гармонь?

Варюша достает из сундука гармонь. Конюх берет ее, растягивает и начинает играть плясовую.

Страходер пляшет с Анисьей, один лесовик — с Варюшей, а другой — с Нюркой; сапожник танцует сам по себе, покрикивает.

Кутыркин *(девушке)*. А ты что ж загрустила? Пойдем спляшем. Я пляшу хорошо.

Девушка *(тихо)*. Нет, солдат. Мне уже в дорогу пора. Я уйду незаметно.

Кутыркин. Куда?

Девушка. На север. Пока не дойду до холодного моря. Мне медлить нельзя.

Кутыркин. Меня возьми с собой. Я сапер. Огонь, воду прошел и медные трубы. Я тебе помогать буду.

Девушка. Не пожалеешь потом?

Кутыркин. Ты меня испытай. Нету для меня лучшего занятия, чем по своей земле скитаться, ко всему руку свою приложить. У меня характер такой.

Девушка *(колеблется)*. Уж и не знаю, солдат... Как же быть?

Кутыркин. Ты только позволь. Я тебя охранять буду, беречь — вроде как связной при Весне.

Девушка *(ласково улыбается Кутыркину)*. Ну что ж. Пойдем. *(Протягивает Кутыркину руку, и они незаметно уходят.)*

Пляска продолжается.

Паня. Глядите! Что такое? Вон, по-за озером.

Все останавливаются, смотрят. Голые леса за озером быстро одеваются пышной зеленью.

Леденцов. А где же гостья? Весна!

Страходер. И сержанта не видно.

Варюша. Неужто ушли?

Никита. Видать, ушли.

Паня *(показывая на озеро)*. Там она. Там. Оттого и дерева распустились.

Никита. Пошла Весна на север. Зашумят теперь там ручьи, запоют овраги, запестреют цветы.

Страходер *(подходит к озеру, пробует лапой воду)*. Холодна. А то поплыть, что ли? На тот берег. С ней попрощаться. Эх, не доплыву. Стар стал. А мне охота еще раз ей в глаза поглядеть. Может, больше ее не увижу. *(Закрывает глаза лапой, плачет.)*

Никита. Брось, Страходеров!

Страходер. Тебе хорошо говорить «брось». Когда у тебя Варюша есть. Такая ласковая. А у меня никого.

Варюша (*бросается к Страходеру, обнимает за шею*). А ты к нам переезжай. Правда, дедушка? У нас в сарайчике и жить будешь.

Никита. Что тебе одному бедовать! И нам веселее.

Анисья. Оно и вправду жалко. Старик бездетный.

Леденцов. Он свое отшумел. Озоровать больше не будет.

Страходер. Ни-ни!

Конюх (*смотрит на противоположный берег озера*). Ох и полыхает весна!

Все смотрят на противоположный берег. Он сверкает росой, зеленью, коврами цветов.

Никита (*кланяется в ту сторону, куда ушла Весна*). Прощай, милая, до будущего года. Спасибо тебе за добро, за привет!

1947

НАШ СОВРЕМЕННИК
(ПУШКИН)
Пьеса в восьми картинах

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Александр Сергеевич Пушкин.

В Одессе

Граф Михаил Семенович Воронцов, генерал-губернатор Новороссийского края.
Елизавета Ксаверьевна Воронцова.
Александр Николаевич Раевский, друг Пушкина.
Василий Иванович Туманский, поэт.
Филипп Филиппович Вигель.
Михайло Иванович Лекс, чиновник при Воронцове.
Барон Брунов, чиновник особых поручений при Воронцове.
Вера Федоровна Вяземская, жена друга Пушкина П. А. Вяземского.
Ольга Нарышкина, подруга Воронцовой.
Матрос.
Хозяин ресторации.
Девочка при ресторации.
Шкипер-итальянец.
Нищий.
Купец-украинец.
Молодой купец.
Англичанин.
Старый капельдинер.
Седой офицер.

Молодой поручик.
Офицер с повязкой на глазу.
Толстый офицер.
Кузьма Дерюков, солдат.
Матросы, грузчики в порту, публика в театре, солдаты, слуги.

В Михайловском

Сергей Львович, отец Пушкина.
Надежда Осиповна, мать Пушкина.
Арина Родионовна, няня Пушкина.
Иван Иванович Пущин, друг Пушкина.
Иона, игумен Святогорского монастыря.
Человек в скуфейке.
Суетливый мужичок.
Слепец.
Поводырь.
Пожилой ямщик.
Шулер.
Приказчик.
Чиновник.
Человек в треухе.
Седой ямщик.
Баба в платке.
Низенький ямщик.
Исправник.
Стражник.
Дворовые девушки, крестьяне, ямщики, посетители трактира.

Действие происходит в 1824 и 1825 годах в Одессе и селе Михайловском.

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Пристань в Одесском порту. Веранда ресторации. На пристани навалены тюки с товарами, старые якоря, канаты.

Раннее утро. В морской мгле видны парусники, стоящие в порту. Вблизи ресторации причален небольшой корабль-трамбак. Низенький заспанный хозяин ресторации накрывает на веранде столики. Ему помогает босая девочка в черном платье. На причальной тумбе около ресторации сидит загорелый матрос в бархатных потертых штанах, подпоясанный красным платком. Он высоко подкидывает монеты и ловит их на лету.

Девочка *(хозяину ресторации)*. Что ему нужно? Он сидит здесь уже целый час.

Хозяин. А, бродяга! Должно быть, выгнали с трамбака за пьянство.

Матрос *(весело)*. Здорово, хозяин!

Хозяин *(сердито)*. Здорово!

Девочка *(смотрит вдоль пристани, вскрикивает, улыбается)*. Смотри! Он уже идет сюда. Как рано!

Хозяин. Кто?

Девочка. Тот маленький, веселый. С железной палкой.

На пристань входит Пушкин. Пушкин без шляпы, в расстегнутом сюртуке. Волосы у него мокрые после недавнего купанья. Пушкин замечает матроса, подкидывающего деньги, останавливается и с любопытством смотрит на него. Потом высоко под-

брасывает свою железную трость и ловит ее в воздухе. Матрос оглядывается на Пушкина и не успевает поймать монету. Она катится по пристани. Пушкин и матрос пытаются схватить ее, но монета скатывается в море.

Девочка выбегает, ложится на край пристани и смотрит вниз.

Пушкин. Я только что выкупался. А то бы нырнул за ней.

Девочка. Здесь глубоко. Да ее уже и не видно.

Пушкин. А это что блестит? Вон там!

Девочка. Это скумбрия. А может быть, ставридка.

Матрос (*Пушкину*). Какого черта! Из-за вас я упустил последний золотой.

Пушкин. С незнакомыми надо разговаривать учтиво. Особенно, если они ходят с железной палкой.

Девочка. А зачем она вам, такая тяжелая палка?

Пушкин. Чтобы не дрожала рука.

Матрос (*насмешливо*). На что годится такая рука! Бренчать на гитаре! Вот рука! (*Показывает Пушкину свою широкую руку.*)

Пушкин. Да, рука матросская. (*Берет руку матроса и сжимает ее.*)

Матрос безуспешно пытается вырвать руку, корчится, потом садится на землю и хохочет. Пушкин отпускает его руку и улыбается.

Матрос (*машет рукой*). Да вы кто? Фокусник, что ли?

Пушкин. Просто я много пишу.

Матрос (*все еще машет рукой*). Ну-ну!

Хозяин (*кланяется Пушкину*). Ресторация открыта. Прошу вас.

Пушкин. Сейчас, Христо. (*Матросу.*) Вы здешний?

Матрос (*высыпает на ладонь оставшиеся мелкие монеты, пересчитывает их и потому отвечает не сразу*). Я? Погодите! Нет, я из-под Херсона. Плавал штурвальным на этом итальянском трамбаке. (*Показывает на причаленный корабль.*) Пусть его разобьет громом

со всей командой и капитаном! *(Снова пересчитывает деньги.)* Эх, не хватит даже на фунт маслин! *(С раздражением швыряет деньги в море, поворачивается и собирается уйти. Пушкин его удерживает.)*

Пушкин. Зайдем в ресторацию. Я вас хочу угостить.

Матрос *(протягивает Пушкину руку, но тотчас ее отдергивает)*. Ну что ж! Зайдем!

Входят на веранду, садятся за столик. На военном корабле в порту вспыхивает огонь, доносится пушечный выстрел.

Пушкин. Вот и солнце!

Воздух наполняется оранжевым блеском. В ресторацию входят два купца. Один — плотный украинец в парусиновом балахоне, другой — молодой, слащавый и вежливый. Хозяин подает на столик Пушкину вино, маслины и кофе.

(Наливает матросу вино, сам ест маслины.) Ну, рассказывайте! Как попали в благословенную Одессу? И по какой причине вас отставили от корабля?

Матрос. Чертова история! Вышли мы из Мессины. Порт такой есть в Сицилии. А на самом перевале, в Адриатике, прихватило нас штормом. Такой задул широкко...

Купец-украинец *(матросу)*. Вы, часом, не апельсины доставили к нам? Или коринку?

Матрос. Апельсины. Все трюмы ими набиты.

Молодой купец. О Мессина, Мессина! Померанцевый рай!

Матрос. Э-э, бросьте! Пекло, визг, вонь от горелого масла. Одуреть можно от того итальянского рая.

Купец-украинец *(матросу)*. А какая цена на апельсины? У вашего шкипера?

Матрос. Вон сам шкипер идет, собака. Его и спрашивайте.

В ресторацию входят толстый шкипер и матрос — итальянцы. Молча садятся за столик, заказывают вино и тотчас начинают играть в кости. Матрос пересаживается спиной к итальянцам. Купцы подходят к столику шкипера, и у них начинается оживленный, прерываемый стуком костей разговор.

Пушкин (*матросу*). Да! Так, значит, задул широкко?

Матрос. Еще как задул! Зашли мы укрыться от него в греческий порт Миссолонги. Ну и подлое ж место! Болото, грязь, полно греческих солдат-сулиотов. Мятежников. Воюют с турками.

Пушкин (*взволнованно*). Вы были в Миссолонги?

Матрос. Я же вам говорю — был! Ничего там нету интересного. Одна греческая водка — «мастика». Прямая отрава!

Пушкин. А вы не слышали там, в Миссолонги, про одного знатного англичанина?

Матрос. Это про какого? Может, про Байрона? Так я про него не только слышал. Я его один раз даже видел. Рядом. Вот так, как вас.

Пушкин (*хватает матроса за руку*). Не пейте! Сначала расскажите про Байрона.

Матрос. Да что рассказывать. Ничего интересного...

По пристани проходят Александр Раевский и поэт Туманский. Раевский что-то рассказывает. Туманский смеется.

Пушкин (*замечает их, зовет*). Раевский! Туманский! Подождите! (*Выбегает на пристань.*) Куда? Купаться? Успеете! Я встретил здесь матроса. Из Миссолонги. Он видел Байрона и обещался все рассказать. Пойдемте! (*Тащит Раевского и Туманского в ресторацию.*)

Туманский вежливо здоровается с матросом за руку. Раевский небрежно кивает матросу, садится и наливает себе вина.

Раевский (*матросу*). Ну, как лорд Байрон? Не потерял былую красоту? Любопытно, о чем вы беседовали?

Матрос. Поговорить нам не пришлось...

Раевский. Это прискорбно. Особенно для Байрона.

Матрос (*Раевскому*). А вы бы погодили насмешничать. Я человек простой. И ежели, скажем, выгнали меня с корабля за драку со шкипером и руки у меня

канатами стерты, так я все равно могу понимать, какой человек был Байрон.

Туманский. Почему был? Он есть.

Матрос *(ударяет кулаком по столу, он слегка пьян)*. А потому, что был! Вы слушайте как следует! Отстаивались мы в Миссолонги. Тоска такая — завоешь! Сошел я на берег. Думаю, хоть мастики хлебну, согреюсь в таверне. Только выскочил я из шлюпки на берег, как сорвался дождь! С неба хлещет, будто потоп. Рядом церковь. Я — в нее, чтобы укрыться. Вхожу. Свечи горят, и полная церковь греческих солдат. А посреди церкви стоит на помосте дощатый гроб, закрытый черным плащом. На крышке — зеленые ветки и шпага. Тонкая такая шпага, с золотой рукояткой. Я, конечно, спрашиваю солдат: «Кого вы хороните?» Говорят: «Лорда Байрона».

Туманский. Когда он умер? От чего?

Матрос. Да недавно. В апреле. От тамошней горячки скончался.

Раевский. Бред! Делириум! *(Пушкину.)* Охота тебе верить пьяным россказням!

Матрос *(Раевскому)*. Значит, не верите? Выходит, что я наврал? *(Встает.)* Эх ты, костлявый!.. Да я таких одним щелчком сшибаю с палубы!

Раевский. Потише, любезный!

Матрос *(хватает Раевского за фалды сюртука и сильно его встряхивает. Говорит Пушкину)*. С кем связались! *(Плюет.)* Спасибо за угощение. *(Уходит.)*

Раевский *(вскакивает, хватает железную трость Пушкина)*. Грязный хам!

Туманский отбирает у Раевского трость и усаживает его за столик.

Шкипер *(оборачивается к Пушкину)*. Этот матрос врет!

Пушкин *(радостно)*. Да?

Раевский. Как ты мог поверить первому проходимцу!

Шкипер. Си, синьор. Он врет всегда. Семпре! Но сейчас, должно быть, первый раз в жизни он сказал правду. Лорд Байрон умер. Гроб с его телом пере-

несли на бриг «Флориду» и отправили в Англию. Когда «Флорида» отошла в море, с берега дали тридцать семь пушечных выстрелов.

Пушкин. Ему было тридцать семь лет...

Шкипер. Да. Как это по-русски... Нивола... тучи в тот день упали низко *(показывает)*, цеплялись за мачты. И огонь пушек освещал, как фонари... коме лантерна... наши паруса.

Матрос-итальянец. Сэ вэро!

Молчание.

Пушкин *(говорит как бы про себя)*. Вот жизнь, подчиненная единому порыву... единой страсти. Он умер за свободу. В этом есть величие и сила духа.

Раевский. А мы здесь воюем с графом Воронцовым.

Пушкин. Ну что ж! Он стоит того! Кто он такой? Придворный хам, покрытый густым английским лаком. Он предпочитает любого лондонского шалопая всем русским. В том числе и мне.

Раевский. Не кричи, Саша!

Пушкин. А ты меня не береги. Уж больно меня охраняют любезные друзья. Добереглись до того, что хотят отстранить от самого достойного, чем живут лучшие люди России. Я знаю все!

Раевский. О чем ты говоришь?

Пушкин *(наклоняется к Раевскому)*. О тайном обществе. Оно ведь существует?

Раевский. Никакого общества нет!

Туманский *(хватает Пушкина за руку)*. Замолчите! Безумный человек! Вас надо беречь. Всеми силами. Вы — солнце нашей поэзии.

Пушкин. Что поэзия? Слова! А эти руки хотят держать оружие...

Туманский. Нельзя так клеветать на себя. Ваши стихи разят, как пули. И поют, как арфа! И шумят, как морская волна!

Раевский откровенно смеется.

Пушкин. Это немного выспренно сказано, Василий Иванович. Но все равно спасибо!

Туманский. В истории России вы сыграете бо́льшую роль, чем Байрон в истории Греции. Несравнимо бо́льшую. Помяните мои слова!

Порыв ветра с моря подымает скатерть, треплет волосы.

Пушкин. Как свежо!

К веранде подходит нищий с гитарой. Берет на гитаре аккорд.

Туманский. Что-то знакомое, Александр Сергеевич.

Нищий
(поет)

Гляжу, как безумный, на черную шаль,
И хладную душу терзает печаль...

Раевский. Поздравляю, Саша. С уличной популярностью.

Пушкин. Дай послушать.

Итальянцы, Туманский и босая девочка начинают подпевать нищему. Никто не замечает, что на пристани появляются две красивые, изящно, но просто одетые женщины — Елизавета Воронцова и Ольга Нарышкина. С ними входит высокий надменный человек с тяжелой челюстью — барон Брунов. Нищий кончает песню. В его рваную шляпу летят монеты. Воронцова бросает нищему горсть серебра. Воронцову замечают. Пушкин, Раевский и Туманский встают. Хозяин ресторации низко кланяется Воронцовой. Купцы снимают шляпы.

Пушкин бросается к Воронцовой. Целует руку ей и Нарышкиной. Небрежно здоровается с Бруновым. Подходят Туманский и Раевский.

(Воронцовой.) Как вы очутились здесь?

Воронцова. Я очень рано проснулась. Разбудила Ольгу. И мы решили пойти с ней в порт. Впервые. *(Улыбается.)* Посмотреть — «не белеют ли ветрила, не плывут ли корабли»?

Туманский. Очаровательное решение!

Пушкин. Чудесное!

Пушкин отходит с Воронцовой к краю пристани. Остальное общество оживленно беседует в стороне.

Как я рад, что вы здесь, в порту. Таким ранним утром. Вы вся как утренняя свежесть...

Воронцова. Почему так пахнет смолой?

Пушкин. От кораблей. Вы вошли сюда как воплощение счастья.

Воронцова. Не надо говорить мне этого.

Пушкин. Почему?

Воронцова. Потому, что я не могу понять, когда вы говорите от чистого сердца, а когда для того, чтобы вскружить голову женщине. Вы страшный человек, Пушкин. *(Оглядывается на ресторацию, читает вывеску.)* «Ресторация Христофора Думитраки». *(Смеется.)* Я узнала, что по утрам вы бываете здесь. И мне почему-то захотелось посмотреть этот ваш простонародный приют. Говорят, вы здесь даже пишете.

Пушкин. Да. Это удивительное состояние. Я просыпаюсь до утренней сигнальной пушки, сбегаю в порт, купаюсь в соленых волнах, потом пью здесь турецкий кофе и мараю бумагу. Новым романом в стихах. Нет лучшего места для этого.

Воронцова. Посмотрите мне в глаза. Вот так! И не делайте вида, что вам весело, Пушкин. Чем вы огорчены?

Пушкин. Как вы могли догадаться?

Воронцова. Об этом не спрашивают.

Пушкин. Да. Огорчен. Я только что узнал... В Греции умер Байрон.

Воронцова *(незаметно кладет свою руку на руку Пушкина)*. Как тревожно за вас... Какая всетаки непрочная жизнь...

Подходит Раевский.

Да, Александр Сергеевич, я хотела вам сказать: недели через две мы с Михаилом Семеновичем и со своими друзьями отправляемся на яхте в Крым, в Юрзуф. Вы, кажется, там бывали?

Пушкин. Да. Я очень привязался к Юрзуфу.

Воронцова. Тогда вы должны поехать с нами. Непременно.

Пушкин. Но как к этому отнесется его сиятельство граф Воронцов?

Воронцова *(вспыхивает)*. Я имею право приглашать тех, кто мне дорог. Помимо мужа.

Пушкин благодарно целует ей руку.

Раевский. Человек предполагает, а бог располагает, Елизавета Ксаверьевна.

Воронцова. Как вы любите выставлять свою иронию.

Подходят Нарышкина, Туманский, Брунов.

Нарышкина. Никогда не думала, что здесь так интересно! Можно сесть на эти канаты?

Туманский. Все можно!

Все рассаживаются на сваленных на пристани канатах.

Можно даже принести сюда столик из ресторации. И заказать кофе.

Пушкин (*кричит хозяину*). Христо! Давайте сюда стол! И газированную воду! И вино! И баклаву!

Хозяин и девочка тащат столик. Пушкин и Туманский отбирают у хозяина подносы с кофе и вином и сами подают их на стол. На палубе трамбака появляются матросы. Они облокачиваются на планшир и с веселым любопытством рассматривают общество на пристани.

Брунов. Напрасно мы разыгрываем спектакль перед этими черномазыми.

Нарышкина. Но это же очень забавно!

Воронцова. Как называется этот корабль?

Туманский кричит матросам по-итальянски. «Алессандро», — кричат в ответ матросы.

«Алессандро»! Александр! Удивительное совпадение. (*Пушкину.*) Пусть бог хранит этот корабль. С таким милым именем.

Пушкин (*вполголоса*). Я не могу ничего ответить. При вас я превращаюсь в мальчишку.

Воронцова (*смотрит, смеясь, в глаза Пушкину*). А я — в девчонку.

Раевский (*следит за Воронцовой и Пушкиным, зевает*). Все то же, то же, то же! Из века в век! Бесплодное кружение сердец.

Один из матросов бросает с палубы апельсин. Пушкин ловит его и подает Воронцовой. Второй апельсин ловит Туманский. Подает Нарышкиной. Матросы смеются. Женщины начинают тут же чистить апельсины. Пушкин наливает всем вина.

Воронцова *(Пушкину)*. Вот вы и развеселились.

На пристань быстро входит низенький запыхавшийся чиновник Лекс.

Пушкин
(шутливо представляет Лекса)

Вот Михайло Иванович Лекс —
Прекрасный человек-с!

Все преувеличенно приветствуют Лекса. Он смущен и почтительно кланяется.

Лекс *(Пушкину вполголоса)*. Нельзя ли нам отойти в сторону, Александр Сергеевич? Я вас ищу-с.

Пушкин. А что?

Лекс. Есть дело-с. Срочное. От графа Воронцова.

Пушкин. Идемте! *(Отходит с Лексом в сторону.)* Ну, что там у вас?

Лекс. Насчет саранчи-с.

Пушкин. Какой саранчи?

Лекс. Вам же известно, Александр Сергеевич, что в наших степях возродилась саранча.

Пушкин. Ну так что же?

Лекс. Имею на руках предписание. Его сиятельства. На ваше имя.

Пушкин. Давайте!

Лекс осторожно протягивает Пушкину бумагу. Пушкин читает.

«Состоящему при мне коллежскому секретарю Пушкину. Поручается вам отправиться в уезды Херсонский, Елисаветградский и Александрийский, явиться в тамошние уездные присутствия и потребовать от них сведения: в каких местах саранча возродилась и какие средства употребляются к истреблению оной».

Пушкин отрывается от бумаги, яростно смотрит на Лекса. Тот растерянно отступает.

Лекс. Предписание-с. Огорчительное. Не соответствует вашему дару. Но, как говорится, против рожна не попрешь.

Пушкин. А ну вас... *(Читает дальше.)* «После сего имеете осмотреть важнейшие места, где саранча возродилась...» *Комкает бумагу.)* Подлец ваш граф Михаил Семенович!

Лекс. Нельзя-с!

Пушкин. Чего нельзя?

Лекс. Так сильно выражаться, Александр Сергеевич.

Пушкин. Ну, хорошо — полуподлец! Это вам больше по душе?

Подходит Раевский. Пушкин протягивает ему бумагу.

Прочти. Воронцов издевается надо мной.

Раевский читает бумагу. Лекс кланяется и уходит.

(Кричит вслед Лексу.) Передайте графу Воронцову! Мне надоело зависеть от того, что у его сиятельства несварение желудка! И вообще мне надоело быть в подчинении у сановных холопов!

Лекс в ужасе исчезает. Все с недоумением смотрят на Пушкина. Воронцова встает, хочет подойти к Пушкину, Нарышкина ее удерживает.

Раевский *(Пушкину)*. Ты лезешь в петлю.

Пушкин. И очень хорошо! *(Расстегивает ворот сюртука, срывает галстук.)* Он думает, что я коллежский секретарь! А я думаю, что я немного больше этого чина. *(Вырывает у Раевского бумагу, читает.)* «Состоящему при мне...» *(Кричит.)* Я состою не при нем! Болван! Я состою при России. *(Быстро идет на веранду ресторации.)*

Раевский идет следом за ним.

Христо! Принесите чернил. Скорее!

Хозяин торопливо ставит на стол чернильницу. Пушкин стоя что-то набрасывает на обороте приказа, потом перечитывает написанное и начинает смеяться. Швыряет бумагу на стол.

(Раевскому.) Не ходи за мной. Извинись за меня перед всеми. *(Быстро уходит.)*

Раевский *(про себя)*. Ох, Саша, как ты занесся! *(Берет брошенную Пушкиным бумагу, читает написанное, усмехается.)*

Воронцова *(зовет)*. Александр Николаевич!

Раевский спохватывается и выходит на пристань. Его окружают.

Воронцова *(взволнованно)*. Что с ним? Страшно было смотреть на него.

Брунов. Бешеный темперамент!

Раевский. Вообще-то пустяки. Он получил не весьма приятное предписание от Михаила Семеновича. Пушкина отправляют на саранчу.

Туманский. Как?! Это чудовищно!

Воронцова. Ах, вот что! *(Нарышкиной.)* Пойдем, Ольга. Коляска, наверное, нас ждет.

Нарышкина. Что вы всполошились! Разве не знаете Пушкина? Он пробежит сейчас по солнцепеку десять верст и успокоится. Куда уходить? Мне тут так нравится!

Воронцова *(Нарышкиной)*. Мне надо поговорить с мужем.

Нарышкина. Фу, глупости! Поедет на саранчу и вернется. От этого не умирают. Но раз ты так хочешь... пойдем!

Воронцова, Нарышкина и Туманский уходят. Брунов идет за ними, но Раевский его удерживает.

Раевский. Одну минуту. Хотите знать, как Пушкин ответил на приказ Воронцова? Это великолепно! Прямо блистательно! *(Протягивает Брунову бумагу.)*

Брунов
(читает)

Полумилорд, полукупец,
Полуглупец, полуневежда,
Полуподлец, но есть надежда,
Что будет полным наконец.

Позвольте! Но если это дойдет до графа? *(Смотрит на Раевского.)* Хорошо. Я буду молчать.

Раевский *(смотрит на Брунова)*. Все равно. Каждое слово Пушкина доходит до ушей его сиятельства.

Брунов. Вы убеждены?

Раевский. Совершенно. А этот листок я могу оставить вам. На память. Вернее, чтобы вы не полагались только на свою память. Пушкинские стихи требуют дословной передачи. К тому же — автограф!

Брунов. Благодарю вас.

Брунов пожимает руку Раевскому. Раевский отдергивает руку и быстро уходит. «Поберегись, барин!» — кричат грузчики и бегут мимо Брунова с тюками товаров на спинах. Брунов отскакивает в сторону, тщательно складывает бумагу и прячет в карман.

КАРТИНА ВТОРАЯ

Коридор в одесском театре. Идет спектакль. Двери в ложи закрыты. Из зала доносятся звуки оркестра. Широкое окно в конце коридора распахнуто. За ним — теплая ночь. Низко над морем висит багровая луна. Свечи в настенных канделябрах мигают от ветра.

На широком подоконнике сидят Пушкин и Туманский. Оба во фраках. Рядом с ними стоит Вигель. Пушкин что-то вполголоса рассказывает. Туманский прыскает и прикрывает рот рукой. Вигель приседает от смеха. Подходит старый капельдинер.

Капельдинер *(умоляюще)*. Помилосердствуйте, господа! Ложа его сиятельства рядом. Во время представления в зале надобно сидеть. А не здесь.

Вигель *(машет на капельдинера рукой)*. Ступай, ступай! Душно нам в зале.

Туманский *(сквозь смех)*. О господи! Нет, Александр Сергеевич, не сносить вам головы. Писали бы лучше своего «Евгения Онегина». Право!

Пушкин. Проклятый роман. Без точности, без плана. Течет, как жизнь.

Туманский. Не понимаю.

Пушкин. Милый, я и сам не понимаю. Льется жизнь — льется роман. Я хочу включить в него все свои мысли. А они у меня, как известно, скачут.

Вигель. Всегда вы так! Смеетесь над собой. А работаете с упоением. Я видел. Подглядел в замочную скважину. Да-с! *(Туманскому.)* Валяется на ди-

ване, царапает на каких-то клочках. И то нахмурится, то засвистит, то захохочет, как безумный. Над своими собственными строчками.

Пушкин (*оборачивается, смотрит на ночное море, повторяет слова Вигеля*). Всегда я так! Всегда я так! Пустое! Вы лучше послушайте, как тянет акацией.

Вигель. А поездка на саранчу вам оказалась на пользу, Александр Сергеевич. Повеселели.

Пушкин. Кстати!.. Это можно положить на музыку? Или нет? (*Начинает читать, соблюдая неясный напев.*)

И чувствую, в очах родились слезы вновь,
Душа кипит и замирает;
Мечта знакомая вокруг меня летает;
Я вспомнил прошлых лет безумную любовь,
И все, чем я страдал, и все, что сердцу мило,
Желаний и надежд томительный обман...
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.

Капельдинер снова подходит, но, услышав голос Пушкина, останавливается, слушает, потом тихо удаляется.

Вигель. Вы способны заставить даже меня восторгаться стихами...

Пушкин. «Волнуйся подо мной, угрюмый океан...» Да... Мне просто весело! Вот и все! На днях поплыву в Крым, в Юрзуф.

Туманский. Вы получили приглашение от графа?

Пушкин. Нет, от графини.

Вигель. Этого недостаточно. Граф должен скрепить его своим изысканным голосом. И благосклонным жестом. Но, милый мой Александр Сергеевич...

Пушкин. Что «но»?..

Вигель. До него, кажется, дошли какие-то едкие ваши стишки. Насчет его персоны.

Пушкин. Не может быть! Они известны только моим друзьям.

Вигель. От сотворения мира так повелось, что нет худших клеветников, как закадычные дружки.

Пушкин. Я прошу вас, Филипп Филиппович, оставить намеки. Говорите прямо: кого вы держите на примете?

Вигель *(вздыхает)*. Я, грешный, могу ошибиться. Сами разберетесь. При вашей проницательности.

Из зала доносится глухой шум рукоплесканий. Двери из лож в коридор распахиваются. Виден нарядный зал в тусклом блеске золота и дыму свечей. Пушкин и Туманский соскакивают с подоконника. Из ближайшей ложи выходят Воронцова, Нарышкина, Раевский, барон Брунов. Позже всех выходит граф Воронцов — сухой и вежливый генерал. Воронцов пропускает вперед румяного и плотного англичанина в черепаховых очках.

Воронцов *(англичанину)*. Я вызову к себе Маразли и заставлю его назначить выгодную цену на пшеницу.

Англичанин. О. благодарю вас! *(Смеется.)* Великобритания не останется в долгу.

Во время последующей сцены коридор заполняется в глубине оживленной толпой. Пушкин кланяется Воронцовой. Она не протягивает ему руки, очень сухо встречает его поклон. Только слегка кивает ему в ответ. Пушкин, выпрямившись, пристально смотрит на нее. Воронцова отворачивается, обмахивается веером. Все наблюдают эту немую сцену. Замечает ее и Воронцов. Он оставляет англичанина с Бруновым и подходит к Воронцовой и Пушкину.

Воронцов *(подчеркнуто вежливо здоровается с Пушкиным)*. Здравствуйте, Александр Сергеевич. Вы уже прибыли! С обследования саранчи? Даже покрылись степным загаром. А мне об этом еще никто не докладывал. Надеюсь завтра получить от вас рапорт относительно вашей поездки.

Пушкин. Я могу представить его немедля, ваше сиятельство.

Воронцов. Ну зачем же! Излишнее усердие. Под упоительные мелодии Россини неохота читать деловые бумаги. Даже написанные вашим пером.

Пушкин. Я прошу вас принять от меня рапорт на словах, ваше сиятельство. Он короток. И совершенно ясен.

Воронцов *(пожимает плечами)*. Ну, если так... Не смею прекословить.

Пушкин. Так вот! Саранча летела, летела и села. Сидела, сидела, все съела и вновь улетела.

Нарышкина не может сдержать смех, отворачивается. Все остальные смущены выходкой Пушкина.

Воронцов (*побледнев*). Это все?

Пушкин. Все, ваше сиятельство.

Воронцов. Благодарю вас. (*Оборачивается к Туманскому, стоящему по правую руку Пушкина.*) Василий Иванович, я буду чрезвычайно рад, если вы согласитесь совершить с Елизаветой Ксаверьевной и мной увеселительную поездку в Юрзуф. На яхте. Мы отплываем на днях.

Туманский (*кланяется*). Почту за честь!

Воронцов (*останавливается на мгновение взглядом на Пушкине, переводит глаза на Вигеля, стоящего по левую руку Пушкина, и слегка кланяется Вигелю*). Филипп Филиппович, я надеюсь, что и вы присоединитесь к нашему обществу. Дамы без вас совсем заскучают. Я сочту за счастье показать вам свое крымское имение.

Вигель (*смущенно взглядывает на Пушкина, отвечает, помедлив, и тем самым невольно подчеркивает неловкость положения*). С охотой, ваше сиятельство. Хотя я и не мастер по части увеселения дам.

Воронцов (*поворачивается к Раевскому*). А вас я уже имел удовольствие пригласить несколько раньше.

К Воронцову подходят англичанин и Брунов. Воронцов знакомит англичанина с Вигелем, Туманским и Пушкиным.

Мои сотрудники. Господин Вигель, талантливый поэт господин Туманский, молодой поэт господин Пушкин.

Англичанин. Я очень рад.

Воронцов. Не скрою, что господин Пушкин является почитателем вашего прославленного поэта лорда Байрона.

Англичанин (*в ужасе подымает руки*). О, Байрон! Нет, нет! Не упоминайте его имени здесь. При дамах. Это безнравственный человек.

Пушкин. Клевета всегда грязнит память великих людей.

Англичанин. Это неслыханно! *(Отворачивается от Пушкина, разводит руками.)*

Брунов берет англичанина под руку и отходит с ним в сторону.

Воронцов *(Пушкину)*. Напрасно вы позволяете себе, Александр Сергеевич, дерзости по отношению к иностранцам. Они — гости нашей страны, России. Это обязывает к учтивости.

Пушкин. А ваше сиятельство напрасно отожествляет себя с Россией. Этот лондонский маклер — ваш гость. Позвольте мне думать о нем то, что я думаю. А Россию оставим в покое.

Воронцов. Признаться, я не понимаю вашего желания вступать в спор с таким полуневеждой и полуглупцом, каким я являюсь в глазах некоторых подчиненных мне лиц.

Пушкин *(бледнеет)*. Так как я не считаю себя подчиненным вашему сиятельству, то и не принимаю эти слова на свой счет.

Воронцов. Вы забываете, что по повелению государя императора вы подчинены мне!

Пушкин. Я подчинен своей совести. И благу своего отечества. *(Кланяется Воронцову.)* Так же, как, надеюсь, и вы, выше сиятельство. Это высокое назначение. И я только могу преклоняться перед вашей способностью среди трудных государственных дел находить время, чтобы подбирать клочки бумажек, исписанных мною для собственного развлечения.

Воронцов. Оставим это! *(Резко поворачивается и подходит к англичанину и Брунову.)*

Воронцова стоит побледневшая, теребит веер и смотрит в сторону.

Воронцова *(в смятении Раевскому)*. Да... я забыла... Вы не знаете... завтра... какой завтра будет спектакль?

Раевский собирается ответить, но Пушкин его опережает.

Пушкин (*Воронцовой*). «Пустое сердце, или Слишком покорная жена», ваше сиятельство. Совершенно новая пьеса.

Воронцова (*вздрагивает, тихо*). Какая дерзость! (*Поворачивается спиной к Пушкину и, нервно смеясь, начинает говорить с Раевским.*)

Вигель (*Пушкину*). Вот он с вами и расквитался. За ваши злые стишки. Ах, Александр Сергеевич, Александр Сергеевич! Какой бес толкает вас под ребро. И так вы висите на волоске. Совсем себя не жалеете!

Пушкин (*показывает Вигелю глазами на Раевского*). Это он? Разболтал эпиграмму?

Вигель. Не знаю. Поелику он ваш друг, то очень вероятно. Простите великодушно, но там, где замешана женщина такой живой прелести, как Елизавета Ксаверьевна, дружба теряет силу и верность. Друзья — соперники! Это очень опасно, дорогой Александр Сергеевич. Поверьте моей опытности. (*Отходит с Пушкиным к окну.*)

К Пушкину и Вигелю подходит Туманский. Пушкин внешне спокоен, но бледен.

Воронцов (*Брунову*). Я должен буду просить Петербург, чтобы они немедленно избавили меня от этого Пушкина!

Брунов. Безалаберный парень.

Воронцов. Безалаберный! Скажите лучше — наглец! И атеист! Московская полиция перехватила его возмутительное безбожное письмо. Государь рассержен. Безалаберный! В распространении вредных идей он не обнаруживает никакой безалаберности. А наоборот, упорство необычайное. Этот, знаете, из тех малых, что стали бы мылить петлю, если бы нас с вами, упаси бог, начали вешать.

Дребезжит колокольчик, возвещающий конец антракта. Коридор медленно пустеет. Нарышкина и англичанин уходят в ложу. Туда же направляются и Воронцов с Бруновым.

Воронцова (*Раевскому*). Зачем он написал эту мерзкую эпиграмму? Зачем?! И все, все испортил. И так возмутительно вел себя здесь.

Раевский. Неужели вы до сих пор не знали, что ради острого слова он не пощадит ничего?

Воронцова. Но есть же вещи, которые даже он, с его ветреным умом, должен щадить.

Раевский. Какие?

Воронцова. Вы — его друг. Вам я могу сказать это. Должен он щадить хотя бы... привязанность.

Раевский. Может быть.

Воронцова. Скажите ему. Я не могла поступить иначе. Зачем он поставил меня в такое невыносимое положение? Ведь у него же доброе сердце. А я... *(Замолкает.)*

Второй раз дребезжит колокольчик. Последние зрители торопливо возвращаются в зал.

Раевский. Мне вы можете совершенно довериться.

Воронцова. Вы сами должны понять... Мне очень больно. Я не хочу его терять. И не могу. Кажется, пора.

Раевский. Я останусь с ним?

Воронцова. Как знаете. *(Быстро уходит в ложу.)*

Раевский подходит к Пушкину. Вигель и Туманский, переглянувшись, тотчас уходят в зрительный зал. В коридоре остаются только Пушкин, Раевский и старый капельдинер. Снова возникает заглушенная музыка.

Раевский *(берет Пушкина под руку)*. Почему ты не идешь в кресла?

Пушкин *(отнимает руку)*. Я ухожу отсюда. Мне душно. Прощай!

Раевский. Погоди. Мне надо сказать тебе нечто для тебя не совсем безразличное.

Пушкин. Ну что ж... Говори.

Раевский. Ты знаешь, что она страдает. И велела мне передать тебе об этом.

Пушкин. Что ж! Она не могла найти лучшего посредника, чем ты?

Раевский. Почему?

Пушкин. Ну, баста! Мне надоело быть зрителем твоей комедии.

Раевский. Объяснись!

Пушкин. Изволь! Я готов изъясниться во всем. Ради прошлой дружбы. И ради моей привязанности к твоему семейству. Вот тебе набросок моей жизни здесь. Я ссыльный. Невольник. Я получаю свой скудный ссыльный паек. И достаточную долю унижений. От Воронцова, правой руки государя.

Раевский. Не горячись.

Пушкин. Нас же никто не подслушивает. Кого же ты боишься? Неужто себя?

Раевский. Опомнись, Пушкин!

Пушкин. Не знаю, кому из нас надо опомниться раньше. Здесь, в ссылке, я впервые понял с полнейшей ясностью, что вся моя суть — в поэзии. Былая лицейская игра в стихи окончена. Теперь не то! Я говорил тогда в ресторации: «Поэзия — звук пустой». Это была, конечно, глупость несусветная. Я знаю могущество слов. И я знаю, что способен дать русскому слову полную меру этого могущества. Полную меру! Я хочу жечь словами сердца.

Раевский. Но не такими эпиграммами.

Пушкин. Всем! И эпиграммами тоже! Которые доверительно передаются за моей спиной моим злейшим врагам. *(Замолкает.)* Здесь, в изгнании, я нашел любовь. Она вошла ко мне, как входит в каземат слабый луч солнца. Погоди! Я понимаю все. Ты тоже любишь ее. Если ты вообще способен кого-нибудь любить. Поверим в это. Я знаю, что не смею касаться этого предмета. Но погоди, не перебивай! И что же? Ради того, чтобы оттолкнуть от меня женщину, ты подогреваешь ненависть ко мне у ее сиятельного мужа. Ты забываешь, что он — наместник государя. Ты забываешь, что я — ссыльный. Ты — сын отца, известного своим благородством, — идешь об руку с холопами царя, со всем этим диким барством. Ради чего? Ради того, чтобы устранить меня со своего пути?

Раевский. Замолчи! Где доказательства этого?

Пушкин *(показывает себе на грудь)*. Вот здесь доказательства.

Раевский. Брось дурачиться! Я люблю твой поэтический дар. Неужели я могу действовать против тебя?

Пушкин. Ты любишь мой дар? То-то два года подряд ты вливал мне в сердце яд неверия во все, яд иронии, осмеяния всех простых движений души.

Раевский. Но ты же соглашался во многом со мной!

Пушкин. Да. Пока твой цинизм казался мне признаком мудрости. Но сейчас я вырос из этого платья. Оно теснит мне плечи.

Раевский. За что ты сердишься, не понимаю.

Пушкин. Не надо жалких слов. Это изобличает тебя.

Раевский. С тобой сейчас не сговоришься. Я лучше уйду.

Пушкин. Уходи. Но последним приговором будет твой собственный. А он придет. Бог с тобой, Шура. Иди! И оставь меня навсегда. В своих мыслях и заботах о собственных чувствах и удобствах. Я не хочу с тобой встречаться. Ни на каких дорогах. Даже на самой узенькой тропинке.

Раевский. Подумай. Не говори окончательно.

Пушкин. Нет, все обдумано. Все сказано. Прощай. И будь счастлив.

Раевский поворачивается и быстро уходит. Пушкин садится на подоконник, опускает голову на руки.

Опять один! Один! Когда же это кончится?

Музыка в зале усиливается, звучит торжественно и грозно. К Пушкину подходит старый капельдинер. Он несет стакан газированной воды.

Капельдинер. Выпейте, сударь.

Пушкин подымает голову, берет стакан, жадно пьет.

Я, извините, стоял поблизости, слыхал... Как говорится: страшен сон, да милостив бог.

Пушкин неожиданно обнимает капельдинера, на мгновение прижимается лбом к его плечу, но тотчас отстраняется и бежит по коридору к выходу

(Смотрит вслед Пушкину.) Горячая голова. А приклонить ее, видать, некуда. Эх, беда, беда!

Офицерская палатка в степи на берегу моря под Одессой. Полог палатки откинут. Видно взволнованное море — глухое и грозное от нависших туч. Изредка сквозь тучи пробивается солнце. Тогда картина бурного моря становится еще более зловещей. До палатки доходит шум прибоя.

За столом посреди палатки сидят за бутылкой вина несколько офицеров-артиллеристов в расстегнутых мундирах.

Седой офицер. Имен не писать и не называть! И ничего не поверять бумаге. Это непременное требование главы Южного общества полковника Пестеля. Поэтому, господа, следует все, что у вас имеется письменного касательно общества, немедленно сжечь.

Молодой поручик. Неужели надо сжигать и пушкинские стихи?..

Офицер с повязкой на глазу. А ты держи их в голове.

Седой офицер. Я знавал в гвардейской артиллерии в Петербурге пушкинского друга Ивана Ивановича Пущина. Вот был человек! Ушел из полка и поступил надворным судьей. Чтобы хоть на этом малом поприще принести народу наибольшую пользу. Сейчас, говорят, он вступил в Северное общество.

Толстый офицер. Молодчина! А то наши отставные больше метят в винные пристава, на тепленькие местечки.

Офицер с повязкой. Пойдешь и в винные пристава. Ежели тебя замучают парадировками да всей этой армейской акробатикой. Вот мой дядюшка из третьей дивизии. Боевой офицер, весь изрубленный, всегда был в походах. А не вынес, ушел из армии в пристава.

Молодой поручик. Чего ж так?

Офицер с повязкой. Поставили его солдатам на кивера стаканы с водой. Для плавности маршировки. Ну, а солдаты половину стаканов и расплескали. Рекруты! Необученные.

Седой офицер. Небитые, значит?

Офицер с повязкой. Небитые.

Седой офицер. Э! Все прогнило. От макушки до самых корней.

Толстый офицер. Плешивый царь — плешивое и государство. Добром это не кончится.

Молодой поручик. Да, добром не кончится. Помните предсказание.

Как адский луч, как молния богов,
Немое лезвие злодею в очи блещет,
И, озираясь, он трепещет
Среди своих пиров.

Офицер с повязкой. Дальше прочти. Там слова такие, что... Эх, мать честная! *(Машет рукой.)*

Молодой поручик.

Шумит под Кесарем заветный Рубикон,
Державный Рим упал, главой поник закон;
Но Брут восстал вольнолюбивый:
Кинжал, ты кровь пролил, — и мертв объемлет он
Помпея мрамор горделивый.

Седой офицер. Вот так поглядишь вокруг: одна мерзость, унижение человека да воровство. А услышишь слова Пушкина — и веришь, что все это кратковременно. Потому что только великому народу может быть дан такой поэт.

Офицеры. Браво! Браво!

Седой офицер. Ну что там «браво, браво». *(Сердито.)* Все сжечь! Есть опасение, что в Петербурге уже пронюхали. Как бы не заслали лазутчиков и к нам на батарею. *(Зажигает свечу на столе.)* Устав тоже надо спалить. А жаль... *(Достает из внутреннего кармана мундира бумагу.)* Жаль!

Офицер с повязкой. Савелий Петрович, прочитайте напоследок. Хоть первые строчки.

Седой офицер *(надевает очки, читает)*. «Опыт всех народов и всех времен доказал, что власть самодержавная равно гибельна для правителей и для общества; что она несогласна ни с правилами святой веры нашей, ни с началом здравого рассудка. Нельзя допустить основанием правительства — произвол од-

ного человека, нельзя согласиться, чтобы все права находились на одной стороне, а все обязанности — на другой».

Отдаленный крик: «Стой! Кто идет?» Седой офицер замолкает. Все прислушиваются. Снова отдаленный крик. Офицеры вскакивают.

Офицер с повязкой. Часовые кого-то задержали.

Седой офицер. Кто мог пройти на батарею?! Из посторонних! *(Начинает торопливо сжигать на свече устав.)* Пепел соберите и выкиньте наружу!

Офицер с повязкой собирает пепел и выбрасывает его из палатки. Толстый офицер смахивает остатки пепла со стола на пол. Молодой поручик разливает по стаканам остатки вина.

Как некстати! Какая нужна осторожность! *(Офицерам.)* Все к столу. У нас обыкновенная пирушка. От гарнизонной скуки.

Толстый офицер *(хватает гитару)*. Ловко, Савелий Петрович! *(Берет на гитаре аккорд, запевает.)*

Гусар забыл любовь и слезы
Своей пастушки дорогой
И рвал в чужбине счастья розы
С красавицей другой.

Все

(подхватывают)

Все здесь, друзья, изменой дышит,
Теперь нет верности нигде!
Амур, смеясь, все клятвы пишет
Стрелою на воде!

У входа в палатку появляется Пушкин в сопровождении двух солдат с ружьями. Пение обрывается. Все пристально смотрят на Пушкина.

Солдат *(докладывает седому офицеру)*. Вот, задержали, ваше высокородие! На батарее. Около крайних орудий. Говорит: «Шел берегом, братцы, заплутался».

Седой офицер *(снимает очки и строго спрашивает Пушкина)*. Как вы сюда попали, сударь?

Пушкин. От излишнего любопытства.

Седой офицер. Я бы вас попросил отвечать мне точно и не шутить. Вам известно, что пребывание посторонних лиц на береговой батарее возбраняется.

Пушкин. Ваша батарея стоит так укрыто, что я споткнулся о пушку. Я иду из Одессы на дачу Рено. И сбился со знакомой тропы.

Толстый офицер. Дача Рено? Ежели не ошибаюсь, летняя резиденция графа Воронцова.

Пушкин. Совершенно точно.

Офицер с повязкой. Да... Обстоятельство странное.

Пушкин. Прошу опросить меня и не задерживать. Я тороплюсь.

Седой офицер *(Пушкину)*. Да вы кто такой?

Пушкин *(смущенно)*. Я... Пушкин.

Молодой поручик *(вскакивает)*. Как?! Пушкин?! *(Бросается вон из палатки, кричит.)* Прислуга! К орудиям!

Мимо палатки бегут солдаты. Офицеры торопливо застегивают мундиры. Пушкин стоит в недоумении.

Голос молодого поручика (за сценой): «Слушать команду! Батарея! Огонь!»

Багровый огонь выстрелов озаряет палатку. Орудийный залп.

Офицер с повязкой *(кричит.)* Молодец, Петя! *(Пушкину.)* Уши! Заткните уши! Оглохнете!

Пушкин затыкает уши. Второй залп. Вход в палатку заволакивается дымом.

Пушкин. Зачем палят?

Третий залп.

Седой офицер *(крепко пожимает Пушкину руку)*. В вашу честь, Александр Сергеевич. Молодость! Она всегда бурлит. Вот не ожидал, что бог пошлет на старости лет такого гостя. Никак не ожидал! *(Не выпускает руку Пушкина, снова трясет ее; потом, решившись, целует Пушкина.)*

Пушкин (*счастливо смеется*). Но эти залпы против вашей субординации. И вашего устава.

Седой офицер. В воинском уставе нет статьи, запрещающей салют поэтам.

Пушкин радостный, взволнованный здоровается с офицерами. Входит молодой поручик, останавливается на пороге, смотрит на Пушкина сияющими глазами.

Офицер с повязкой (*молодому поручику*). Что, Петя? Не верится?

Молодой поручик (*тихо*). Будто сон...

За спиной молодого поручика теснятся солдаты.

Седой офицер (*обращается к солдатам, радостно*). Ребята, это Пушкин! Небось слыхали?

Солдаты. Ну, как не слыхали, ваше высокородие! Ихние песни известные.

Седой офицер. А что вы знаете?

Пожилой солдат. Нам больше всего приглянулась одна песня, ваше высокородие.

Пушкин. Какая?

Пожилой солдат. Про Наташу. «Вянет, вянет лето красно, улетают ясны дни».

Пушкин смеется.

Седой офицер (*солдатам*). А теперь — по палаткам. Ужинать. Часовым смотреть в оба!

Пушкин (*солдатам*). А что у вас на ужин?

Пожилой солдат. Печеная картошка, ваше благородие.

Пушкин. Нельзя ли и мне? Страсть как люблю печеную картошку.

Солдаты (*смеются*). Спечем! Постараемся!

Солдаты уходят. Остается один, болезненного вида, солдат.

Солдат (*Пушкину*). Александр Сергеевич! Неужто не признаете?

Пушкин (*вглядывается в солдата*). Кузьма! Да ты как сюда попал? Из Михайловского? (*Офицерам.*) Это человек моего отца, из его псковского имения.

Солдат. Да как попал. Обыкновенно, Александр Сергеевич. Папаша ваш, Сергей Львович, велели забрить...

Пушкин *(смущен и расстроен)*. Ты что, хворый как будто?

Солдат. Болею я тут, в этих местах. Не то от жары, не то от воды.

Пушкин. Да... Худы, значит, дела, Кузьма?

Солдат. Куда уж хуже, Александр Сергеевич.

Седой офицер *(солдату)*. Ну, ступай. Потом разберемся.

Солдат. Слушаюсь. *(Уходит.)*

Пушкин. Да... Отец у меня старых правил...

Седой офицер. Садитесь!

Пушкин садится вместе с офицерами к столу.

Что-нибудь с этим солдатом придумаем. Человек больной. Значит, есть основание для отчисления в чистую.

Пушкин. Снимите с меня эту тягость. А то уж очень много их набралось.

Толстый офицер откупоривает бутылку шампанского, разливает его по бокалам.

Седой офицер. Выпьем за нашего славного соотечественника!

Офицеры и Пушкин встают.

Молодой поручик. Друга вольности!

Офицер с повязкой. Властителя умов!

Толстый офицер. И сердец!

Все пьют до дна.

Пушкин *(растроган)*. Спасибо! Мне совестно принять ваши слова по отношению к одному себе. Я постоянно мучусь от несовершенства всего мною написанного.

Молодой поручик. Это неверно!

Пушкин. Не знаю. Может быть. *(Молодому поручику.)* Вы дали блистательный салют.

Молодой поручик *(радостно)*. Двадцать четыре выстрела, Александр Сергеевич. По числу ваших лет.

Седой офицер (*Пушкину*). Вы не окончили вашу мысль...

Пушкин. Встреча с вами поколебала меня в моих сомнениях. Если в моих стихах вы находите призыв к вольности и справедливости, то я счастлив. Трудно сознавать себя в одиночестве и в изгнании. А здесь столько дружеских рук!

Все офицеры протягивают Пушкину через стол руки. Руки соединяются над столом. Слышен рев прибоя. Снаружи уже темнеет.

Это похоже на клятву.

Седой офицер. Да. Пусть это будет нашей клятвой. (*Офицерам.*) Зажгите свечи.

Офицер с повязкой зажигает на столе свечи.

Молодой поручик. Выразим эту клятву вашими же словами, Александр Сергеевич: «Отчизне посвятим души прекрасные порывы».

Пушкан. Я кое о чем догадываюсь, господа. И это делает меня еще более счастливым. Ну что ж! (*Встает.*) Выпьем за жажду вольности, что горит и в молодых и в старых сердцах! За то, чтобы затих, наконец, над Россией кандальный звон. Чтобы мы могли, не стыдясь, посмотреть в глаза вчерашним рабам, а сегодняшним братьям и протянуть друг другу руки. Я знаю. И я верю. Так же, как и вы. Приближаются времена расплаты. За унижение, за рабский пот, за жестокости самовластия. Заря уже занимается. Над нашей Россией, над нищими ее селами. Значит, надо выпить за солнце.

Офицеры. Браво! (*Чокаются с Пушкиным.*)

В палатку заглядывает солдат.

Седой офицер. Тебе чего?

Солдат. Да вот, печеную картошку прислали... его благородию. (*Показывает на Пушкина.*)

Пушкин. Давай сюда, на стол.

Солдат (*высыпает печеную картошку из котелка на стол*). Горяченькая. Не ожгитесь, ваше благородие.

Пушкин *(берет одну картофелину, она очень горячая)*. Ах, хороша! *(Перебрасывает, смеясь, картофелину из руки в руку.)*

Офицеры
(поют под гитару)

Кубок янтарный
Полон давно.
Пеной угарной
Блещет вино!

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Дикий, запущенный сад на даче Рено под Одессой. Густые кусты акации нависают над полуразрушенной прибоем подпорной стеной. Вдоль стены тянется каменная балюстрада.

Сумерки. На море буря. Слышно, как прибой бьет в подпорную стену. Иногда пена захлестывает в сад.

На старой скамье сидят Воронцова и княгиня Вера Вяземская. Перед ними стоит Лекс. Шляпу он держит в руке.

Лекс. Обегал весь город, и нигде его нет-с. Ни в ресторации у Отона, ни у Думитраки, ни у Филиппа Филипповича Вигеля. Поэтому осмелился приехать. По наущению Филиппа Филипповича. Он утверждает, что Александр Сергеевич направился именно сюда, на дачу Рено. Но и тут его нет.

Вяземская. Да, он обещал здесь быть. А что за срочность такая?

Лекс. Виноват! Не расслышал. Море сильно бушует.

Вяземская *(громче)*. Я говорю: что за спешка такая... с Александром Сергеевичем?

Воронцова. Зачем он понадобился? Графа же нет в Одессе. Он еще в Крыму.

Лекс. Не могу знать. От графа пришло из Юрзуфа новое предписание. Относительно Александра Сергеевича.

Воронцова. Хороший вы человек, Михайло Иванович, но всегда является с какими-то предписаниями и неприятностями.

Лекс. Напрасно так говорите, Елизавета Ксаверьевна. Содержания этого пакета я не знаю. Что мне прикажут, то и делаю. В соответствии с местом, занимаемым мною по табели о рангах, мне рассуждать не полагается. Меня Александр Сергеевич даже окрестил «вечным титулярным советником». Но я на него не в обиде.

Женщины молчат, пена захлестывает в сад.

Девятый вал. Да-с!

Воронцова. Да вы садитесь, Михайло Иванович.

Лекс. Благодарствую. *(Садится.)* Весь день действительно бегаю, ног под собой не слышу.

Воронцова. Почему вы Александру Сергеевичу все прощаете, даже насмешки?

Лекс. За талант. Боюсь заслужить вашу ироническую улыбку, но смело скажу, что Александр Сергеевич — величайший поэт нашего отечества. Ежели не всего земного шара.

Воронцова *(слегка похлопывает Лекса по руке, ласково ему улыбается)*. Милый вы, Михайло Иванович.

Лекс. Не знаю-с. Жизнь у меня ничтожная. А Александр Сергеевич блистает в нашем мраке, как вот эта звезда-с! *(Показывает на яркую звезду в разрыве черных туч.)* Я, извините, сплю на полу под шинелькой, но поэзию воспринимаю до глубины сердца. Бывает, признаться, даже слезу прольешь. Вот недавно... Попалась мне «Полярная звезда». И там стихотворение Александра Сергеевича. Прелести невообразимой. Каждое слово — кристалл! Я прочел это стихотворение при самом Александре Сергеевиче. Не удержался. Он внимательно так это выслушал и говорит: «Да! Великолепно сказано!» Я, конечно, пришел в некоторое замешательство. «Позвольте, говорю, так это же вы сами сочинили, Александр Сергеевич». А он посмотрел на меня и отвечает как бы с сомнением: «Как будто я». Удивительный человек-с!

Вяземская. Какое стихотворение?

Лекс. Не решаюсь прочесть. Голос невыразительный.

Воронцова. Прочтите.

Вяземская. Самому Пушкину читаете, а нам нельзя.

Лекс. Ну, раз вы приказываете... Начинается оно так...

Редеет облаков летучая гряда.
Звезда вечерняя, печальная звезда,
Твой луч осеребрил увядшие равнины...

Воронцова встает, подходит к балюстраде, смотрит на море. Лекс замолкает.

Воронцова (*не оборачиваясь*). Что же вы? Читайте!

Лекс

...Твой луч осеребрил увядшие равнины,
И дремлющий залив, и темных скал вершины.
Люблю твой слабый свет в небесной вышине...

Воронцова облокачивается о балюстраду, наклоняет голову, незаметно прижимает к глазам платок. Вяземская замечает это.

(*Повторяет*)

Люблю твой слабый свет в небесной вышине...

Вяземская (*трогает Лекса за локоть*). Погодите!

Лекс (*испуганно*). А что? (*Замечает склонившуюся над балюстрадой Воронцову.*) Мне уйти?

Вяземская. Принесите с веранды фонарь, Михайло Иванович. А то в этих потемках мы потом не доберемся до дому.

Лекс вскакивает и уходит. Вяземская подходит к Воронцовой, кладет ей руку на плечо.

К чему эта хандра? Вот уж не думала, что вы способны на это.

Воронцова. Такой уж день... Буря... И эти непонятные пушечные выстрелы. Помните? И Лекс с его секретным пакетом. Зачем он здесь?

Вяземская. Ну, от него мы легко избавимся, от Лекса. (*Помолчав.*) Я не могу вас понять. Чего вам

не хватает? Самой прелестной, счастливой и богатой женщине, каких я встречала.

Воронцова. Ну что ж... вы правы. С детства меня учили блистать в свете и дарить свое расположение достойным людям.

Вяземская. То есть знатным?

Воронцова. Да. И то дарить по крохам. Поэтому я и сберегла свое сердце нетронутым. С некоторых пор все, что окружает меня в доме мужа, стало чуждым для меня. Вот я вернулась из Юрзуфа раньше Воронцова.

Вяземская. Вы заметили, что Пушкин увлечен вами?

Воронцова. Кем он только не увлекается! Он был влюблен в Амалию Ризнич, в какую-то гречанку в порту.

Вяземская. Неужели вы и вправду не заметили этого? Или вы так избалованы всеобщим обожанием, что даже любовь такого человека, как Пушкин, вам совершенно не льстит?

Воронцова. Мне кажется, вы заблуждаетесь. *(Усмехается.)* Я не смею надеяться на любовь великого поэта. Мы ведь с ним совершенно разные. Разве можно вообразить, чтобы я стала его подругой, его женой?

Вяземская *(резко)*. Нет. Это нелепость. *(Спохватывается, говорит более мягко.)* С его непостоянством, с его бурным и резким нравом? И с вашей капризностью, избалованностью? Да еще при такой разнице положений? Если бы это случилось, вы бы не были счастливы.

Воронцова. Я это прекрасно знаю. Ну, а если бы он был хоть чуточку другим?

Вяземская. Тогда бы он не был поэтом!

Воронцова. Я думала как-то, может ли женщина принести свою любовь в жертву поэзии. И решила, что за это можно возненавидеть поэзию.

Вяземская *(сердито)*. То-то вы расплакались от его стихов!

Возвращается Лекс с фонарем. Ставит фонарь на землю около скамьи.

Лекс. Чудно-с! Буря, а в воздухе ни ветерка.

Воронцова. Михайло Иванович!

Лекс. Что-с:

Воронцова. Возвращайтесь-ка лучше в город. Вы же совершенно измучены. А пакет оставьте. Александр Сергеевич будет здесь непременно. Я ему передам.

Вяземская (*Лексу*). Действительно, лица на вас нет. Смотреть тошно. До чего избегался, бедняга!

Лекс. Весьма благодарен, но... пакет этот секретного свойства.

Воронцова. Неужели вы могли подумать...

Лекс (*поспешно*). Нет-с! Нет-с! Я ничего не думаю. Не смею сомневаться в супруге его сиятельства. (*Достает пакет.*) Некоторое служебное упущение, конечно. (*Передает пакет Воронцовой.*) Но видимость должна быть такая, будто я самолично вручил этот пакет Александру Сергеевичу. В случае каких-либо вопросов. Со стороны графа.

Воронцова. Будьте спокойны, Михайло Иванович.

Лекс. Исключительно из расположения к вам. У меня ведь тоже сердце в груди, а не пуговица с казенным орлом.

Воронцова. Спасибо, Михайло Иванович. Я позабочусь, чтобы вы впредь не спали на полу на шинельке.

Лекс (*видимо, растроган славами Воронцовой*). Ну что вы! Это ни к чему-с. Честь имею кланяться. (*Уходит.*)

Воронцова, помедлив, пока скроется Лекс, быстро разрывает пакет, вынимает предписание. Бросает конверт на землю. Вяземская испытующе смотрит на Воронцову. Воронцова, нахмурившись, читает предписание, заметно бледнеет, прячет бумагу у себя на груди.

Вяземская. Ну что?

Воронцова. Мелкие придирки.

Вяземская. Но все же?

Воронцова (*улыбается*). Это же секретное предписание, Вера Федоровна. Не заставляйте меня быть нескромной.

Вяземская. Одна нескромность влечет другую.

В кустах раздается грозное рычание. Женщины вскрикивают. Из кустов со смехом выскакивает Пушкин.

Воронцова (*радостно*). Пушкин! Наконец-то!

Вяземская. Что это еще за новое ребячество!

Пушкин (*хватает Вяземскую за руки и кружит ее*). Вольно же вам пугаться! (*Оставляет Вяземскую, целует у Воронцовой руки.*) Мне сейчас все трын-трава! Хотите, я заставлю эту волну остановиться? (*Показывает на море.*)

Оттуда с плеском и гулом подходит большая волна. Она бьет в стену. Пена высоко взлетает над балюстрадой и заливает женщин и Пушкина. Пушкин хохочет.

Вяземская (*отряхивая платье*). Насквозь промокла. А он еще хохочет! Вот пустельга!

Пушкин. Да! Я дурак, пустельга, свинья! Сегодня я согласен на все!

Воронцова (*Вяземской*). Надо переменить платье, Вера Федоровна. Мои вам будут впору. Пойдемте в дом.

Вяземская. Ради бога, не беспокойтесь. Я пойду одна. Надеюсь, ваша Аннета мне что-нибудь найдет.

Воронцова. Конечно.

Вяземская уходит, погрозив Пушкину пальцем.

(*Протягивает Пушкину руки.*) Ну, здравствуйте! Я не видела вас целую вечность. Я так рвалась сюда из Крыма... Даже бросила там Воронцова. (*Садится на скамью.*)

Пушкин опускается на землю около ее ног, облокачивается одной рукой о колени Воронцовой.

Встаньте. Тут сыро.

Пушкин. Ни за что!

Воронцова. Вы сегодня какой-то особенный.

Над балюстрадой снова всплескивает пена.

Какие волны! (*Ворошит волосы Пушкину.*) Смешной!

Пушкин. Смешной?

Воронцова. Нет! Очень хороший.

Пушкин. Только няня вот так ворошила мне волосы. Когда прощала за какую-нибудь шалость.

Воронцова. А мать?

Пушкин. Никогда! *(Замолкает.)* Со мной только что случилось забавное происшествие.

Воронцова. Я боюсь теперь ваших происшествий.

Пушкин. Это особенное. Я шел сюда, заблудился и забрел на береговую батарею. Меня арестовали.

Воронцова. Ну конечно!..

Пушкин. Послушайте дальше. Меня привели в офицерскую палатку. Под штыками. Но когда офицеры узнали, кто я такой, они дали три залпа из пушек. В мою честь.

Воронцова. Так вот почему стреляли!

Пушкин. Да. Перед вами мне хочется хвастать.

Воронцова. Почему?

Пушкин. Может быть, потому, что вам я легко могу подарить свою славу. Больше у меня ничего нет за душой.

Воронцова. Встаньте, милый. Я боюсь за вас. Земля сырая.

Пушкин. Ничего! Я думаю сейчас об одном...

Воронцова. Да? *(Легко гладит Пушкина по волосам.)* О чем же?

Пушкин. О том, что я в конце концов счастлив. Это совершенно неожиданное открытие.

Воронцова. Если бы это было так!

Пушкин. Я предан своему народу. Я ему нужен. Сегодняшний случай меня в этом утвердил. В этом моя гордость. И моя сила. Перед ней меркнут мощь и блеск всех императорских дворов. Кто дал мне поэтический дар, я не знаю. Но я буду верен ему до последнего вздоха. И до последней крупицы я его отдам тому, перед кем я в неоплатном долгу.

Воронцова. Кому это, Пушкин?

Пушкин. Своему народу. Он создал меня. Я обязан ему всем счастьем поэзии, всей радостью славы, всей силой своего существа. *(Замолкает.)* И вы...

Воронцова. Как странно то, что вы говорите. *(Замолкает.)* Что я? *(Смотрит на море.)* Как быстро темнеет.

Пушкин. Подходит гроза. Видите?

Над морем мигает отдаленная зарница.

Да... странность и прелесть любви... в том, что мы с вами живем в одно время. А могло быть иначе. Тысячелетия были до нас и будут после нас. Они нас могли разделить. Но жизнь свела нас после многих лет неясного ожидания. А могло быть иначе. И вот надо же было так случиться, что меня сослали в Одессу, а вы приехали сюда из своих пышных Александрийских садов. И вошли в библиотеку вашего дома, когда я сидел там и писал свои заметки о цыганах. Вы остановились позади, я оглянулся и увидел свет ваших глаз. «Какой у вас неразборчивый почерк!» — это единственное, что вы тогда сказали, но я ощутил эти слова как слова... любви.

Воронцова *(порывисто)*. Родной мой!.. *(Наклоняется к Пушкину, но тотчас отстраняется.)* Нет не могу.

Пушкин *(восторженно)*. Что с вами?

Воронцова. Нет, ничего... *(Быстро опускается на колени рядом с Пушкиным, обнимает его за плечи, прижимается головой к его груди.)* Как мне страшно остаться... без тебя.

Пушкин *(тихо)*. Как ты сказала?

Воронцова *(едва слышно)*. Без тебя...

Пушкин поднимает голову Воронцовой. Она смотрит на него встревоженными глазами, потом снова прячет лицо у него на груди. Волна захлестывает в сад.

Пушкин. У тебя лицо холодное от бури.

Воронцова. Я не могу дольше скрывать это...

Пушкин. Зачем скрывать любовь?

Воронцова. Нет. Вот здесь... *(сжимает у себя на груди платье)* я ношу несчастье. Послушай. Только что приезжал Лекс. Он привез секретный пакет для тебя. Я отобрала его. И вскрыла.

Пушкин вскакивает, помогает подняться Воронцовой. Буря разыгрывается. Срывается ветер. Шумит сад.

Пушкин. Опять этот Лекс! Что было там, в пакете?

Воронцова. Я не в силах тебе рассказать. Прочти. *(Достает бумагу, протягивает Пушкину.)*

Пушкин начинает читать. Воронцова порывисто вырывает у него бумагу, но тотчас отдает ее обратно.

Все равно! Читай! Все кончено теперь!

Пушкин *(берет фонарь, светит на бумагу и читает; бумагу рвет ветром)*. «По повелению его императорского величества, сообщенному мне Новороссийским генерал-губернатором графом Воронцовым, вам надлежит не позже, чем на вторые сутки по получении сего, отправиться в имение ваших родителей в Псковскую губернию, где вы будете находиться под надзором местных властей без права перемены жительства. Прогонные деньги в сумме 389 рублей 4 копеек благоволите получить в моей канцелярии. Одесский градоначальник Гурьев». *(Начинает хохотать.)*

Воронцова. Что с вами?

Пушкин. Властители России! Лавочники! Рассчитали все до четырех копеек. Дешево же я обошелся его величеству — всего триста восемьдесят девять рублей четыре копейки. *(Перестает смеяться.)* О нет! Черта с два! Вся эта нечисть, в том числе и ваш сиятельный супруг, хочет заклепать мне рот. Дураки! Если пистолет дает осечку, то слово — никогда!

Воронцова делает движение, чтобы уйти. Пушкин ее удерживает.

Прости меня! Но это так подло.

Воронцова. Я не сержусь.

Пушкин. Если бы ты уехала со мной!

Воронцова. Нет! Не требуй от меня невозможного.

Пушкин. Чего же стоит тогда любовь?

Воронцова. Сколько раз я думала: что делать дальше? И не могла решить. Уйти к вам? Какое это было бы счастье!

Пушкин берет ее за руки.

Но непрочное. Мимолетное и всегда отравленное страхом.

Пушкин. Почему?

Воронцова. Потому что люди не позволят мне быть счастливой. Никогда! Все обрушится на меня и на вас. Клевета, презрение света, гнев родных, изгнание, месть, бедность. Все! Мне страшно об этом подумать.

Пушкин. Какие трезвые речи! Кто вам внушил эти мысли?

Воронцова. Что скрывать! Я люблю вас. И человека и поэта. Не знаю, кого больше.

Пушкин. Но отказаться от любви? Ради чего?

Воронцова. Я не отказываюсь от нее. Но наши жизни никогда не придут к единой гармонии. Поверьте, так нужно. Когда мы встретимся — а встретимся мы непременно, — вы первый же скажете, что я была права.

Пушкин. Я не могу представить себе свою жизнь без вас.

Воронцова. Дайте руку. *(Снимает со своей руки и надевает на палец Пушкину кольцо.)* Это старинный арабский перстень из сердолика. Он ограждает от несчастий. Никогда не снимайте его... даже если забудете меня. А теперь попрощаемся.

Сильный порыв бури. Грохот волн. Далеко в ночном мраке снова загорается и гаснет зарница. Воронцова обнимает Пушкина за плечи, долго смотрит ему в лицо, потом медленно целует Пушкина в глаза, в лоб, в губы.

(С отчаянием.) Что это? Родной мой! Неужели ты плачешь? *(Успокаивает Пушкина, как маленького мальчика.)* Не надо! Не мучь свое сердце из-за меня! Ну, милый!.. Ну зачем это?.. Мы увидимся — и тогда, может быть, я больше не покину тебя. Может быть, у меня хватит сил. Слышишь?

Пушкин. Да, это слабость. Но я не могу понять всех этих постоянных потерь в своей жизни.

Воронцова *(снова порывисто обнимает Пушкина)*. Бедный мой! Так надо. Прощай. И помни: где бы ты ни был, я всегда в мыслях с тобой.

Пушкин. Так надо... Ну что ж! Прощай! До сих пор я не знал, что ты такая...

Воронцова. Какая?

Пушкин. Такая хорошая... И такая слабая духом.

Слышны голоса.

Воронцова. Кто-то идет. Уходи. Но нет, нет!.. Не навсегда!

Воронцова торопливо крестит и обнимает Пушкина. Он скрывается в темноте. Воронцова облокачивается на балюстраду, смотрит на море. Все чаще мигают зарницы. Голоса приближаются. Люди идут с фонарем, его свет падает на мокрую листву акаций. Воронцова не оглядывается. Входит Воронцов со слугой. Слуга несет фонарь. Воронцов останавливается, молча смотрит на Воронцову. Делает знак слуге. Тот ставит фонарь на землю и уходит.

Воронцов. Вы меня сегодня не ждали?

Воронцова быстро оборачивается, смотрит на Воронцова, молчит.

Я вернулся в Одессу несколько раньше, чем предполагал.

Воронцова молчит.

Почему вы одна? Здесь? Даже без вашего вечного спутника господина Раевского?

Воронцова все так же молчит.

Я вас не узнаю, Элиз. Вы даже не здороваетесь.

Воронцова не двигается. Он наклоняется, берет ее руку и замечает на земле конверт, оброненный Воронцовой. Целует ей руку, потом подымает конверт, читает при свете фонаря надпись на нем.

Он был нынче здесь?

Воронцова. Кто?

Воронцов. Коллежский секретарь господин Пушкин.

Воронцова. Да, был.

Воронцов. Надеюсь, что вы его больше никогда не увидите.

Воронцова *(гневно и холодно)*. Я не остановлюсь ни перед чем, если вы позволите себе еще хоть раз так издевательски выразиться о нем. Можете быть спокойны, я остаюсь при вас. Но я требую, чтобы вы

не вторгались в ту область моего сердца, которая принадлежит только мне. И никому больше.

Воронцов (*несколько мгновений думает, потом пожимает плечами и почтительно кланяется Воронцовой*). Как вам угодно.

Воронцова берет у него конверт, рвет его на мелкие куски и бросает по ветру. Воронцов подает ей руку. Она отстраняет его и уходит. Воронцов напевает французскую песенку и смотрит ей вслед. Жалко мигает от ветра забытый на земле фонарь. Сильная молния. Первый тяжелый гром прокатывается над морем и заглушает грохот прибоя.

КАРТИНА ПЯТАЯ

Комната отца Пушкина, Сергея Львовича, в Михайловском: тесная, с низкими потолками, заставленная старой мебелью. Среди ветхой обстановки выделяется только одно яркое пятно — цветистый халат на Сергее Львовиче.

За окном видна речка Сороть, взгорья, лесистые дали. Пасмурный осенний день. Ветер несет листья.

Сергей Львович стоит около печки. Из печки валит дым. Сергей Львович в отчаянии всплескивает руками.

Сергей Львович (*кричит*). Сюда! Кто там есть! Ариша! Петька! Куда вы подевались?

В комнату вбегает человек в солдатской шинели, без шапки. Сергей Львович в страхе от него отшатывается.

Ты кто? Я тебя не знаю. Я слуг своих зову, а не тебя. Как посмел войти?

Человек. Вы сильно кликали. Я подумал, чего приключилось.

Сергей Львович (*приглядываясь к человеку*). Никак Кузьма Дерюков?

Человек. Так точно. Кузьма.

Сергей Львович (*успокаивается, отгоняет платком дым*). Полезай, открой вьюшку.

Кузьма подставляет табуретку, становится на нее, шарит в печке.

Кузьма. Вьюшка-то открыта, да наполовину. А она, эта печка, главное, сама по себе дымит.

Входит Арина Родионовна.

Арина Родионовна. Исусе Христе! Опять весь дом прокоптили, глаза у всех выело. Сколько раз я говорила, печи надо чинить. Так нет, не слушаются.

Сергей Львович. Чинить! Тебя не спросили! Вот уедем в Петербург, тогда и починишь. Я грязь при себе разводить не позволю.

Арина Родионовна. Да у вас и так мусорно.

Сергей Львович. Вьюшку ты открывала?

Арина Родионовна. Не открывала я.

Сергей Львович. Не открывала! Ничего полюдски не умеете делать. Ты у меня гляди, старая. Как приехал Александр Сергеевич, так ты только о нем, только о нем... Вокруг него одного семенишь. Я все вижу.

Арина Родионовна. Невелик грех.

Сергей Львович. Открой окно. И подай мне теплый халат.

Арина Родионовна подает ему теплый халат, открывает окно.

Октябрь на дворе, а тут сиди с открытыми окнами!

Входит Надежда Осиповна, мать Пушкина.

Не дом, а рыдван. Разбойничья трущоба!

Надежда Осиповна (*Сергею Львовичу*). Ты, очевидно, все позабыл, Сергей Львович. Это дом Ганнибала. И не тебе бранить его, раз ты им пользуешься.

Сергей Львович. Я ничего не говорю, душенька, относительно Ганнибалов. Семейство почтенное. А дом все-таки дрянь!

Арина Родионовна машет рукой и уходит.

Надежда Осиповна. Об этом мы еще поговорим. Кто этот человек?

Сергей Львович (*вспоминает о присутствии Кузьмы*). Да, братец. Тебя же забрили в войско. А ты опять здесь явился. Уж не беглый ли? А то смотри!

Кузьма. Никак нет, не беглый. Меня по нездоровью отпустили обратно.

Сергей Львович. Где служил?

Кузьма. В городе Одессе.

Сергей Львович. Та-ак!.. Значит, с Александром Сергеевичем в одной Пальмире. Ты там про Александра Сергеевича ничего не слыхал?

Кузьма. Как же! Слыхал! Был случай, встретились даже. Александр Сергеевич шли берегом мимо нашей батареи, да и заплутались. Зашли на батарею. Ну, а наши офицеры, как узнали, что это, значит, сами Александр Сергеевич, тотчас вызвали людей к пушкам и дали в его честь залпы.

Сергей Львович. Что ты врешь! Быть не может!

Кузьма. Как перед истинным, Сергей Львович. Сам палил.

Сергей Львович. Это в честь Александра-то! *(Кузьме.)* Ступай!

Кузьма выходит.

(Надежде Осиповне.) Слыхала? Салют в честь сына. Все-таки талант! Наследственный.

Надежда Осиповна. Уж не от вас ли?

Сергей Львович. Неужели возможно в этом сомневаться, душенька! Вспомни про брата Василия Львовича. Первоклассный поэт. Вся Россия зачитывалась его «Опасным соседом».

Надежда Осиповна. Поэма для дворни!..

Сергей Львович *(не слушает ее)*. Ежели посмотреть со стороны, то что представляется? Талантливый и блудный сын талантливого и достойного родителя. Он не ставит меня ни во что! Но я терплю. Из христианского смирения. А также из сознания, что славой своей он обязан мне. Хотя по гордыне своей этого не понимает. Потомство воздаст мне должное. Я займу свое место в памяти просвещенных людей.

Надежда Осиповна *(язвительно)*. А диким своим нравом Александр обязан, конечно, мне. Так, что ли, ты думаешь?

Сергей Львович. Вы, Ганнибалы, все какие-то такие... шалые.

Надежда Осиповна. Если у Александра и есть признаки таланта, то он исходит из нашего рода.

Сергей Львович (*не слушает ее*). Никто так не страдает от его скверных качеств, как я. Никто! Ты не можешь проникнуть в мою душу, а то бы ты содрогнулась. (*Бьет себя в грудь.*) Ты видишь перед собой самого несчастного отца!

Надежда Осиповна (*равнодушно*). Чем это ты несчастлив?

Сергей Львович (*возводит глаза, с аффектацией*). Кто может понять трагедию отца, призванного во имя долга перед отечеством и государем стать тюремщиком собственного сына! Вот тема, достойная Шекспира!

За окном слышится дробный, частый стук.

Это что? Опять рубят капусту! Тотчас прекратить это дурацкое занятие!

Надежда Осиповна. Не вмешивайся. Ты в этом ничего не понимаешь.

Сергей Львович. Все объединились, чтобы пустить меня по миру. Все! И ты с ними. И ты, Брут!

Надежда Осиповна сердито смеется.

Сколько раз говорено, чтобы квасить капусту целыми кочнами!

Надежда Осиповна. К чему это? Не понимаю.

Сергей Львович. Как — к чему? Мне ваша капуста не нужна. Можете потом выкинуть ее свиньям. Мне нужен крепкий капустный сок, что натекает на дно бочек. От кочнов.

Надежда Осиповна. Пить его, что ли, с похмелья?

Сергей Львович. Душа моя! Пойми! В этом секрет женской прелести. Какая женщина не стремится к свежести щек и гибкости кожи? В Париже нет красавицы, которая не мылась бы капустным соком.

Надежда Осиповна. Мы и так хороши. Без капустного сока.

Сергей Львович. Да я не о тебе пекусь, матушка. Тебе уж, слава господи, стукнуло за пятьдесят. А о нашем состоянии. Все имения заложены и перезаложены. Государь мне денег не даст. И не подступайся.

После такого сына, как Александр. А деньги где? Я тебя спрашиваю. Из ваших фижм и лент да туфелек денег не добудешь.

Надежда Осиповна. Ты что ж, предполагаешь торговать капустным соком?

Сергей Львович. Да. Представь! В лучших кауферных заведениях Москвы и Петербурга. Его процеживают, сдабривают лавандой, разливают в хрустальные флаконы. И все! И название можно придумать какое-нибудь такое... грациозное: «Поцелуй Нереиды» или «Рдеющие ланиты».

Надежда Осиповна. Ты просто глуп!

Сергей Львович *(опускается в кресло, он поражен)*. Ну, матушка! Хватит с меня одного Александра!

Надежда Осиповна. Кстати, об Александре. Ему пришло письмо. Из Петербурга.

Сергей Львович. Что ж ты молчала? Давай сюда! Да погоди, закрой окошко! И задерни занавески. Как бы он не заметил! Вот уж не способны вы, женщины, хранить государственные тайны.

Надежда Осиповна достает из-за корсажа и протягивает ему конверт. Закрывает занавески. Сергей Львович осторожно отламывает сургучную печать на конверте, вскрывает письмо.

Где Александр?

Надежда Осиповна. Стреляет из пистолета. В сарае. Нарисовал мелом какую-то зверскую рожу и палит в нее. Пуля в пулю.

Сергей Львович. Ох, душа моя, как бы не дострелялся он до новой беды! Кого готовится уничтожать? Подай мне чернильницу.

Надежда Осиповна подает чернильницу.

Что за дом! Чернила высохли, одни дохлые мухи на дне. Нет, так жить нельзя! *(Наливает в чернильницу немного духов из флакона.)* За душу берет этот запах.

Надежда Осиповна. Дворцовые духи?

Сергей Львович. Да... Помнишь, Надин, как лакеи прыскают эти духи на жаровни? Ах, прелесть! Пахучий такой дымок, игра хрустальная под потолками, белые плечи красавиц, музыка на антресолях,

а на улице — кареты с фонарями и храп коней! О боже, боже!

Надежда Осиповна. Ты бы не о плечах красавиц вздыхал, а привел бы в порядок несчастное свое хозяйство. В Петербург выехать не на что! Приказчики у тебя все мерзавцы. Только к себе в карман и тянут.

Сергей Львович. Не мешай! *(Начинает читать письмо.)* Ага! Это стоит заметить. *(Списывает что-то из письма.)*

Надежда Осиповна. Что тебе нынче был за пакет? От кого?

Сергей Львович *(прикрывает написанное ладонью, вполголоса)*. От генерал-губернатора графа Паулуччи. Требует от меня письменных сведений относительно переписки и поведения Александра. Вот это мы ему и пошлем! И пошлем! *(Напевает по-французски.)* Ничего особо предосудительного, но вместе с тем несколько вольно. Александру это совершенно не повредит, а я в глазах государя исполню свой долг.

Надежда Осиповна. Смотри не пересоли. Всегда увлекаешься.

Сергей Львович *(снова списывает)*. Свечку надо приготовить для сургуча. Снова запечатать письмо.

Надежда Осиповна *(зовет)*. Ариша! Свечку барину принеси!

Арина Родионовна *(вносит свечку)*. Дождик накрапывает. Ветер. А Александр Сергеевич в дом все не идет. Я уж кликала, кликала.

Никто ей не отвечает. Сергей Львович торопливо пишет.

Все он не спит, все мается, как безродный какой....

Надежда Осиповна. Ну, ну, все ты выдумываешь! Ступай!

Арина Родионовна уходит.

Удивительное пристрастие у Александра к мужикам. Как встанет утром, прежде всего бежит к Арине, с ней здоровается. А мы с тобой у него на втором счету.

Сергей Львович. Вот то-то! *(Прислушивается.)*

Слышен смех Пушкина.

Идет! *(Прячет письмо в конверт, начинает разжигать сургуч на свече.)*

Горящий сургуч капает на письмо. Письмо загорается. Сергей Львович прихлопывает его толстой книгой.

Надежда Осиповна. Боже, как ты все-таки неуклюж!

Входит Пушкин. Лицо его горит от ветра. Он, видимо, возбужден осенним холодом, стрельбой.

Сергей Львович. Что ж ты входишь, не постучавшись!

Пушкин. Простите! Я хотел попросить у вас летописи Карамзина. Они мне надобны для работы.

Сергей Львович. Неужто нечто историческое будешь писать? Трагедию, что ли?

Пушкин. Может быть. Какой у вас чад от сургуча!

Надежда Осиповна. Печка надымила.

Сергей Львович. По силам ли тебе трагедия? Трагедия, комедия, тарарамедия... Да-с! Значит, собрался писать. Вы, молодежь, все так, с кондачка...

Пушкин *(улыбается)*. Да как-нибудь справлюсь. Можно взять Карамзина?

Сергей Львович. Да я сам его искал. И все нету. Лева, должно быть, унес.

Пушкин. Так вот же он. У вас под рукой! Позвольте!

Берет толстый том со стола. Сергей Львович старается прикрыть письмо рукой, но Пушкин замечает письмо, берет его.

Это мне! Кто его вскрыл?

Сергей Львович *(вскрикивает, откидывается на спинку кресла)*. О-о-о!.. *(Хватается за грудь.)* Опять схватило! Боже! Надин! *(Закрывает глаза.)* Сжимает сердце... *(Громко стонет.)*

Надежда Осиповна. Где нюхательная соль? *(Пушкину.)* Подай! Там, на туалете!

Пушкин пристально смотрит на Сергея Львовича и не двигается. Надежда Осиповна хватает флакон с солью. Дает понюхать Сергею Львовичу.

Пушкин. К чему это? Я же все знаю.

Сергей Львович (*неожиданно выпрямляется, кричит тонким голосом, по лицу его текут слезы*). Не смей! Так говорить отцу! Да я тебя велю связать. Атеист! Ты учишь втихомолку безбожию своего брата. И развращаешь сестру преступными идеями. Бунтовщик! (*Подымает руки к небу.*) И это мне, мне ты, господи, послал такого сына! За что?! (*Пушкину.*) У тебя нет сердца! Ты хочешь погубить всех нас. Уж не идти ли нам по твоей милости в Сибирь?

Пушкин (*сдерживаясь*). Не вынуждайте меня сказать вам то, что не пристало слышать отцу и старому человеку.

Сергей Львович (*деланно смеется*). Вот, извольте, я уже старик! Развалина! Да я, сударь мой, моложе тебя. Душой. Во мне еще кипит кровь просвещенного века, времен матушки Екатерины. А ты кто? Атеист! Насмешник!

Пушкин. Не будем спорить. Я прошу вас выслушать меня. (*Ходит по комнате.*)

Надежда Осиповна. Александр, перестань ходить! У меня мельтешит в глазах. Что за манеры, господи! Откуда?

Пушкин (*останавливается*). Я живу здесь уже три месяца. И я хочу представить вам свое и ваше положение в том свете, в каком оно существует. Если вы сами этого не замечаете.

Сергей Львович в изнеможении валится на спинку кресла. Надежда Осиповна трет ему виски духами.

В Одессе я был в самых стесненных обстоятельствах. Вы не хотели помочь мне. Почему? Вы боялись навлечь на себя подозрение в помощи человеку, впавшему в немилость царя.

Сергей Львович. Не смей касаться царя. Он божий избранник. (*Крестится.*)

Пушкин. Хорошо. Оставим царя в покое. Я был сослан на юг, а потом сюда, к вам, в Михайловское. Сослан за приверженность тому, что составляет счастье народа. Но что вам до этого! Вам, неради-

вому хозяину голодных мужиков, владельцу этих истощенных полей и этих сел, где все соломенные крыши ободраны на корм скоту. Дичь! Мужики гнут хребет и гниют в навозе, чтобы вы имели возможность чирикать среди петербургских красавиц и душиться вот этими дворцовыми духами.

Сергей Львович. Надин! Что он говорит! Обо мне!

Пушкин *(с досадой)*. Да не только о вас!

Сергей Львович. Так о ком же?

Пушкин. Я ненавижу все это бездельное барство! Кто дал вам право распоряжаться судьбой честных людей, отбирать у них плоды их трудов!

Сергей Львович. Мужицкий апостол!

Пушкин. Их руками, однако, сделано все! А вы? Что в своей жизни сделали вы? И вам подобные?

Надежда Осиповна *(Пушкину)*. Не кричи так! Могут услышать люди.

Пушкин. С каких пор вы начали считаться с мнением дворни? Да... Но я говорю не то! Не то! Не в этом дело!

Сергей Львович. Ага! Признался! Так в чем же дело?

Пушкин *(останавливается против него)*. В том, что вы, мой отец, добровольно взяли на себя обязанность шпионить за собственным сыном! В том, что вы не побрезговали вскрывать мою переписку и сообщать ее начальству! В том, что вы не понимаете меры своего легкомыслия. *(Подходит вплотную к Сергею Львовичу, ударяет ладонью по столу.)* Я буду просить государя запереть меня в одну из крепостей. Это будет достойнее, чем жить здесь.

Сергей Львович *(встает)*. Остановись! Я — твой отец. Я отвечаю за тебя перед всевышним.

Пушкин *(неожиданно смеется)*. Полно! Что это вам пришло в голову! Ни перед кем вы за меня не отвечаете. Ни перед богом, ни перед дьяволом!

Сергей Львович машет руками, как бы отгоняя от себя страшное видение. Надежда Осиповна падает на колени перед иконой, сжимает в отчаянии руки.

Сергей Львович (*хрипит*). Люди! Сюда! (*Тянется трясущейся рукой к колокольчику на столе.*)

Пушкин берет из его руки колокольчик и ставит на стол.

Люди!

Надежда Осиповна вскакивает, удерживает его.

На помощь!

Торопливо входит Арина Родионовна, за ней Кузьма.

Пушкин. Чего вы добиваетесь? Новых обвинений против меня? Вы хотите погубить меня окончательно! (*Кузьме.*) Кузьма, голубчик, скажи, чтобы мне оседлали Чалого.

Кузьма. Я сам Чалого оседлаю. (*Уходит.*)

Арина Родионовна (*берет Пушкина за руку*). Сашенька! Не гневайся ты на них! Александр Сергеевич, любезный ты мой. Пойдем! Перемелется — мука будет. (*Пытается увести Пушкина.*) Пойдем, Сашенька!

Пушкин (*ласково отстраняет няню, оборачивается в дверях*). Я сказал вам все. В первый и последний раз. Прощайте. (*Уходит с няней.*)

Сергей Львович (*бросается следом за ним, распахивает дверь в коридор, рвет на себе халат, кричит*). Как ты посмел! Люди! Он ударил меня!

Надежда Осиповна. Замолчи! Сейчас же!

Сергей Львович (*плачет, потрясает пухлыми кулачками*). Он поднял руку на родного отца!

В коридоре толпятся испуганные девушки, слуги.

Отродье Ганнибалов!

Надежда Осиповна. Ах, так! (*Слугам.*) Вон! В людскую! Нечего тут торчать!

Слуги убегают.

(*Сергею Львовичу.*) Ты перестанешь паясничать? Фигляр!

Сергей Львович. Ты тоже за него! О боже! Он хотел меня ударить, а ты смолчала.

Надежда Осиповна. Не лги!

Сергей Львович. Он тут размахивал руками, как безумный. Это при родном-то отце. Он убил меня своими словами! *(Плачет.)*

Надежда Осиповна *(швыряет ему платок)*. На! Вытри лицо!

За окном слышен бешеный топот копыт. Надежда Осиповна бросается к окну.

Он ускакал! В Тригорское. К этим своим жалельщицам и поклонницам. К Осиповым. *(Опускается в кресло.)* Господи! Он к нам не вернется теперь!.. Никогда!

Сергей Львович *(внезапно приходит в ярость, топает ногами)*. В Петербург! Сейчас же укладывать вещи. И закладывать лошадей! Ноги моей не будет в этом доме. Пусть пропадает тут один. Как пес! Он мне не сын.

Надежда Осиповна. Бог мой, как ты все-таки жалок!

КАРТИНА ШЕСТАЯ

Комната Пушкина в Михайловском. Ломберный стол, заваленный рукописями и книгами. Простая деревянная кровать с кожаной подушкой. Диван.

Зимний вечер. Горят свечи. Жарко пылает камин. Около камина сидит и вяжет Арина Родионовна. Пушкин лежит на диване, читает. За окном воет метель, шуршит снегом по стеклам. Слышно, как в дальней комнате поют дворовые девушки:

Друг мой милый, красно солнышко мое,
Сокол ясный, сизокрылый мой орел,
Уж неделю не видалась я с тобой.
Уж неделю, как спозналась с горем я...

Пушкин *(откладывает книгу)*. Будто стучат, нянюшка.

Арина Родионовна. Это метель. Оторвала стреху и стучит. Ночь вьюжная, шумная.

Пушкин *(встает, подходит к окну)*. Как метет! Весь лес качается, гудит!

Арина Родионовна. Скучно тебе, Сашенька?

Пушкин. Да нет. Мне хорошо. Спокойно.

Песня девушек затихает.

Арина Родионовна. Перебудем как-нибудь зиму вдвоем. Лишь бы дал мне бог силы за тобой приглядывать! Как все уехали, уж так тихо стало в дому. Ночью мышь прошмыгнет, а я слышу...

Пушкин. Какое сегодня число?

Арина Родионовна. Да после крещенья будто пятый день. Или шестой...

Пушкин. Никто не пишет. Ни из Петербурга, ниоткуда. Не допросишься от них писем, от треклятых друзей!

В печных трубах протяжно воет ветер. Пушкин подкладывает в камин дрова.

Арина Родионовна. Воет, нечистая сила! Да... Ты, Сашенька, знаешь деда Михайлу из Зимарей?

Пушкин. Болтливый больно дед.

Арина Родионовна. Вот все так говорят: болтливый да болтливый... А слыхал, какая с ним оказия приключилась?

Пушкин (*садится на пол около камина, обхватывает колени руками*). Нет. Что-то не помню.

Арина Родионовна. В прошлый год об это время, в самый снег, плелся он из Святых Гор к себе в Зимари. Тверезый. Там через Сороть, через реку, тропка по льду была протоптана ниже Савкиной горки. Идет он. День сошел, а ночь еще не пришла, не приступила. И время, знаешь, такое смутное, тихое. А около тропки пролубь во льду, в реке. Вода в пролуби черная-пречерная. И видит Михайло: плавает в той пролуби золотой ковшик. Темнота уже, а ковшик светится, горит червонным жаром. Михайло остановился, потоптался, думает: «Ай унесть тот ковшик с собой? Все-таки золото». Да вроде неловко. Может, его кто нарочно в пролубь подкинул, чтобы Михайлу испытать, узнать — не вор ли он, не разбойник ли. Боязно ему ковшик унесть. «Ну, думает, тогда по крайности я из этого ковшика водицы напьюсь». Нагнулся он, полез за ковшиком, а бородища-то у него сивая, длинная. Помнишь?

Пушкин. Помню, помню. Что же дальше?

Арина Родионовна. Да!.. Тут высовывается из пролуби мохнатая лапища, цоп его за бороду и держит крепко.

Пушкин смеется.

А Михайле-то было не до смеху.

За дверью слышен шепот, скрип половиц.

Подслушивают, негодницы!

Пушкин. Оставь их. Рассказывай.

Арина Родионовна. И говорит ему из-под воды человеческий голос. Сиплый такой, сердитый: «Ты что ж это, чертов дед, за золотой ковшик хватаешься»? Михайло оробел, отвечает: «Да мне бы только водицы испить». — «Вот я тебе покажу — испить! — хрипит это самое подводное чудище. — Как дерну за бороду, как окуну тебя вместе с треухом в пролубь, тогда будешь знать, как царские ковшики цапать!»

За дверью слышен сдержанный смех.

Я вас — подслушивать! Озорницы!

Девушки за дверью шарахаются и затихают.

Пушкин. Ну, нянюшка! Рассказывай же. Что за прелесть!

Арина Родионовна. «Я, говорит, водяной царь. И теперь ты у меня будешь в услужении весь свой век. За невежливость твою. Будешь мне продухи бить во льду каждый день, чтобы мне тут зимой не задохнуться. А иной раз прикажу — сбегаешь в Святые Горы, расстараешься мне водочки. Погреться. Понял мой разговор?» — «Понять-то я понял, — отвечает Михайло, а сам тихонько вытаскивает из кармана острый ножик, — только у меня и так хватает бурмистров да господ. А ты еще на мою шею навязываешься! На это я не согласен. Иди ты, говорит, подальше, пресветлый водяной царь, лягушечье благородие». И ножиком себя по бороде — жик! Остался водяной с клоком волос в руке. А Михайло ему кукиш кажет и смеется: «Не-ет, говорит, слаба

у тебя жила псковского мужичка объегорить!» Борода-то у Михайлы, говорят, только нынче к осени выросла, сровнялась. А то все ходил обкромсанный.

Пушкин *(вскакивает, обнимает Арину Родионовну, целует ее в голову)*. Голубка моя! Да я готов жить с тобой в этой глуши хоть сотню лет. И откуда только у тебя все берется?!

Арина Родионовна. Век-то долгий. Сколько я перевидела этих ямщиков, странников, убогих и беглых — не перечесть. И каждый что-то свое мелет, каждый чегой-то выдумывает. Как выпьют водочки, так ты их только послушай — орлы! Будто у каждого в кармане сто целковых. А всамделе-то у них за душой один крест нательный, да и тот жестяной. Любит народ сказки. *(Спохватывается.)* Вот дура-то! Совсем память отшибло.

Пушкин. Ты чего всполошилась?

Арина Родионовна. Да Кузьма с вечера сидит в девичьей, дожидается. К тебе пришел. А я позабыла. Ах, грех, грех великий! *(Встает, торопливо уходит.)*

Пушкин. Это мы тотчас запишем. Оказию с дедом Михайлой. *(Подходит к столу и, не садясь, быстро пишет на клочке бумаги.)*

Входит Кузьма.

Здорово, Кузьма! Что же ты сидел три часа и не сказывался?

Кузьма. Полагал, вы заняты, Александр Сергеевич. Я-то в тепле сидел, песни слушал. *(Лезет за пазуху.)* Был я намедни в Тригорском у Прасковьи Александровны. Там письмецо прибыло для вас. Из города из Белой Церкви. *(Подает Пушкину письмо.)* Снежком его малость подпортило.

Пушкин. Спасибо. *(Смотрит на конверт и засовывает письмо в книгу на столе.)*

Кузьма *(подходит к Пушкину)*. Тут дело такое, Александр Сергеевич...

Пушкин. Какое?

Кузьма *(таинственно)*. Шатается по нашей округе один человек. В ватном картузе. Вроде как не-

мец. Ездит, прицениваeтся к гусям. А покупать не покупает. Все только народ опрашивает.

Пушкин. О чем?

Кузьма. Да все про вас, Александр Сергеевич... «У вас, мол, говорит, барин в Михайловском хороший, весьма известный господин. Он, должно, про будущую вольность крестьянского сословия вам уже все обсказал? Ну и про царя небось нет-нет да и перекинется веселым словом?» А мы, понятно, шапки мнем, покашливаем: «Что ты, ваше степенство! Да какой он хороший? Окстись! Он нас, мужиков, за людей не считает, по-французски сам с собой разговаривает, повсюду ходит с железной дубинкой девяти фунтов весом. Чуть что, сейчас замахнется этак дубинкой: «Я вас, мужичье! Больно много понимать об себе начали!» А про царя при нем слова не скажи. Тотчас кричит: «Шапки долой! Я, кричит, за государя императора каждую неделю молебен деру у себя в доме». Барин, прямо сказать, строгий».

Пушкин хохочет.

Так что вы, Александр Сергеевич, того... посматривайте. Поаккуратней!..

Пушкин *(протягивает Кузьме руку)*. Ну, спасибо тебе, Кузьма. У нас заночуешь. В такую выогу к себе в Зимари не возвращайся.

Кузьма. Куда там! Так снегом лепит в глаза — страсть! *(Уходит.)*

Пушкин закрывает за Кузьмой дверь на ключ, достает письмо, стоя читает его. Садится, сжимает голову руками.

Пушкин *(повторяет слова письма)*. «Любимый мой, единственная моя радость! Я готова плакать от горя и нежности, когда пишу вам... *(Замолкает.)* Мне трудно поверить, что все это было так недавно и так давно...» *(Прислушивается.)* Лес шумит... как там шумели морские волны. Видно, на роду мне написано терять любимых.

В дверь стучат.

Кто?

За дверью голос Арины Родионовны: «Чай будешь пить?»

Потом! *(Берет письмо, садится около камина, читает.)* «Я уехала из Одессы в Белую Церковь, к отцу. Сегодня Александрийские сады оделись снегом, но река Рось не замерзла и шумит у меня под окнами. Если бы вы могли быть здесь! Или в Одессе, куда я скоро возвращаюсь». *(Встает.)* Она требует, чтобы я сжег это письмо. Но нет! Только не сейчас. *(Прячет письмо в книгу.)* Как странно подумать: на тысячи верст шумят леса, валит снег, скоро зазвонят к утрене в сельских церквах... А там, за этими лесами, —там она... Я бы отдал полжизни, чтобы пробиться к ней сквозь этот снег и вьюгу.

Снова стук в дверь. Пушкин открывает. Арина Родионовна вносит самовар, накрывает на краю стола, достает из шкафчика бутылку вина. Пушкин ходит по комнате.

Арина Родионовна. Ты что? Все бегаешь. Похудел сразу. Выпей чайку да ложись. Ночь уже поздняя. А то опять до свету будешь брызгать пером. Ишь, всю скатерку забрызгал.

Пушкин. Спасибо, милая. Иди, отдыхай.

Арина Родионовна. Я ведь уснуть не усну. Все буду ворочаться, думать.

Пушкин. О чем это, нянюшка?

Арина Родионовна. Да все о том же. Разве я не вижу? Дождаться бы тебе счастья, ангел мой! Ну, ну, не буду, не буду. *(Уходит.)*

Пушкин *(наливает в стакан вина, постукивает по стакану пальцем, задумывается)*. Метель сразу стихла... Ну что ж! Выпью один. *(Пьет вино.)* За нее. И за себя. *(Усмехается.)* Как это сказано? «Да ниспошлет господь любовь и мир его душе, страдающей и бурной». *(Снова ходит по комнате.)* Почему я все же так спокоен? И счастлив и несчастлив в одно и то же время... Отсюда, из захолустья, мне понятнее жизнь, чем было в Одессе, в Петербурге. Должно быть, всегда так — надобно отодвинуться поглубже. Тогда можно все охватить взглядом. Вот так охватишь — и видишь одно: смутно на душе. И на Руси. Всеобщее брожение мыслей. Что же будет, дружки

дорогие! *(Снимает, не переставая ходить, сюртук. Остается в белоснежной рубашке. Напевает.)* «Ах, где те острова, где растет трын-трава, братцы!» *(Садится к столу.)*

За стеной бьют дребезжащие часы.

Тихо... Как на погосте. Да, смутно на Руси. *(Берет перо и небрежно, очень быстро, почти не глядя на бумагу, не то рисует, не то набрасывает слова. Перечеркивает все и снова пишет. Перечитывает написанное.)* «Что пользы в том, что явных казней нет, что на колу кровавом всенародно мы не поем канонов Иисусу, что нас не жгут на площадях, а царь своим жезлом не подгребает углей». *(Смотрит за окно, откуда падает в комнату смутный свет.)* Светает? Или взошла луна? *(Гасит свечи, оставляет только одну.)* Светает. Над рощей. *(Подходит к окну.)* Как много мне еще надобно сказать! И сказать так, чтобы я сам пришел в восхищение. Черт знает! Что за привычка болтать с самим собой! Как сорока!.. *(Замолкает.)* Заря уже проступает. А сна все нет. И никто не знает, что́ я, как я. Всегда наедине с собой. От этого, избави бог, мозги раскиснут. *(Прислушивается.)* Что это? Постой, брат Пушкин!

Далеко слышен звон колокольчика под дугой.

Фельдъегерь! Наверное, эта пустельга Левка опять распустил по свету мои стихи насчет царя. Из ссылки в ссылку. Чепуха! Я, как прадед Ганнибал, начал бояться колокольчиков. *(Всматривается в окно.)*

Уже видна заря, снега, очертания леса.

Как скачут с горы! *(Быстро подходит к свече, гасит ее, возвращается к окну.)* Тройка! Почтовая!

У крыльца, взрывая снег, останавливаются, храпят кони. В последний раз ударяет колокольчик. Пушкин отшатывается от окна.

(Кричит.) Ваня! Пущин! Откуда?! *(Бросается вон из комнаты.)*

КРЫЛЬЦО

Дверь из дома распахивается, на крыльцо выбегает Пушкин. К нему навстречу по ступенькам взбегает Пущин. Он в медвежьей шубе, весь в снегу. Ступеньки трещат под его ногами. Пушкин бросается на шею Пущину. Они крепко обнимаются и мгновение молчат.

Пушкин. Как... как ты попал сюда?

Пущин. Сумасшедший! Простудишься! В одной рубахе... Мороз же страшный. *(Хватает в охапку Пушкина и тащит его в комнаты.)* Ах ты Сверчок несчастный! Да не плачь, дурак!

Пушкин. А ты? Зачем же ты?

В КОМНАТЕ ПУШКИНА

Пущин *(растерянно)*. Озяб, должно быть? Накинь-ка шубу! *(Снимает с себя шубу, накидывает на Пушкина.)*

Пушкин *(смеется сквозь еще не высохшие слезы)*. Да она вся в снегу. *(Сбрасывает шубу, снова обнимает Пущина.)* Ваня, если бы ты знал...

Входит Арина Родионовна, пристально смотрит на Пущина, потом торопливо подходит, обнимает его.

Арина Родионовна. Не знаю вас, батюшка. Никогда не встречала. А вижу — свой.

Пущин. А я вас хотя и не видел, а знаю хорошо. И люблю крепко.

Пушкин. Нянюшка, буди людей! И давай свечи! Свечи!

Арина Родионовна. Сейчас все будет. Кофей, закуска.

Пущин. Где бы у вас умыться? Скачу из Пскова без остановки. В Острове только задержался, проник ночью в ренсковый погреб, купил три бутылки Клико.

Пушкин. Чудесно! Погоди, сейчас. *(Выбегает.)*

Арина Родионовна *(зажигает свечи, подкладывает в камин дрова)*. Дом-то у нас в расстройстве.

Похозяйничал здесь Сергей Львович. Оставил нас в такой лачуге. Уж не взыщите.

Пущин. Были бы люди хорошие. А дом — пустое.

Пушкин *(возвращается с тазом и кувшином воды)*. Ариша, милая, подай рушник.

Арина Родионовна уходит.

Пущин *(снимает сюртук, засучивает рукава)*. А я несусь в Москву. Решил заехать.

Пушкин. Вот мыло. *(Начинает сливать Пущину на руки.)* Не побоялся, Ваня?

Пущин *(моется)*. Все отговаривали, стращали. Ты же под двойным надзором. Но как же я мог, понимаешь, проезжать отсюда в ста верстах и не заехать. Ведь пять лет не виделись. Пять лет! Да жаль, я у тебя всего на несколько часов. Все служба!

Пушкин. Ах, как плохо! Да неужто это ты? Погоди, вот тут еще осталась мыльная пена. Кого видел в Петербурге? А я, представь, всю ночь не спал. Как будто чувствовал!

Пущин. Хорошо тут у вас. Места какие! Леса, холмы.

Пушкин. Почему ты ушел из армии? В надворные судьи? Баратынского видел?

Пущин. Всех видел.

В дверь просовывается девичья рука с чистым вышитым рушником. Пушкин берет рушник и подает Пущину.

Пушкин. Вышла ли первая глава «Евгения Онегина»? Не знаешь?

Пущин *(вытирается)*. Вышла. Ну, брат, спасибо за «Онегина»! *(Мокрый, целует Пушкина.)* Ты будешь умываться? Давай солью!

Пушкин. Да. Лей, не бойся.

Пущин. Вода у вас студеная. Со льдом.

Пушкин *(моется)*. Лесная. Про меня что-нибудь говорят там, в Петербурге? Или позабыли совсем?

Пущин. Ты, брат, и сам не подозреваешь, какая вокруг тебя любовь. Какая слава шумит над этой взбалмошной головой. *(Ерошит Пушкину волосы.)*

Пушкин. Трудновато поверить в собственную славу. В этой берлоге.

Пущин. Трудновато.

Входят Арина Родионовна и застенчивая девушка с длинными русыми косами. Девушка несет поднос с закусками. Ставит его на стол, кланяется Пущину и убегает. Арина Родионовна собирает со стола книги, расстилает скатерть, накрывает на стол. За окнами совсем рассвело. Утро ясное, тихое, и далеко на взгорьях снега уже озарены оранжевым блеском раннего солнца.

Пушкин. Садись к столу, Ваня.

Пущин. Начнем с напитка вдовы Клико? С шампанского.

Пущин откупоривает бутылку шампанского. Пробка летит в потолок. Янтарный солнечный свет уже заливает всю комнату.

Пушкин. Какое утро! Взгляни! Выпьем за тебя.

Пущин. И за нашу Россию.

Чокаются и пьют. Пьет и Арина Родионовна.

Арина Родионовна. День и вправду такой занялся, будто светлый праздник. Всю ночь мело.

Пушкин. Великолепный снег. *(Наливает по второму бокалу.)* За наш лицей, Ваня!

Пущин. За лицей!

Пушкин и Пущин встают и выпивают свои бокалы. Садятся.

Пушкин *(Арине Родионовне)*. Нянюшка, угости всех людей наливкой. И пирогами.

Арина Родионовна. И вправду. Пойти сказать. *(Уходит.)*

Пущин. Теперь рассказывай. За что тебя выслали из Одессы? В эту глушь?

Пушкин. Все Воронцов!

Пущин. Кого встречал на юге?

Пушкин. Многих. *(Смотрит, улыбаясь, на Пущина.)* Например, полковника Пестеля.

Пущин *(стучит пальцем по столу)*. Ну что ж... Пора бы тебе сказать. Сроки уже приближаются. Тут безопасно?

Пушкин. Как сказать! В доме — да, а в окружности — не очень. Бродят всякие людишки, принюхиваются.

Пущин. Ты знаешь, что я вошел... Ну, в общем, я избрал новый и, пожалуй, самый верный путь служения отечеству.

Пушкин *(вскакивает)*. Знаю. Давно догадался.

Пущин. И я не один. Многие.

Пушкин *(нервно раскуривает трубку)*. Многие! Кроме меня. Меня вы к себе не берете.

Пущин. С тобой нашему брату не велено даже пока что общаться. Ты же под надзором, Саша. Пойми, ты весь на виду.

Пушкин. И потому опасен для вас?

Пущин. Это как раз пустое.

Пушкин. Может быть, вы правы, что мне не доверяете. Я, конечно, не стою этой чести. По многим глупостям.

Пущин. Не горячись! Каждому свое, Саша. Мы — простые каменщики. Нас сотни. А ты один на всю Россию. Довольно того, что у каждого из нас хранятся твои стихи. Как заповеди.

Пушкин. Слабое утешение! Если бы ты сказал, что своими стихами я могу поколебать самовластие, вложить их, как кинжал, в руки мстителей, тогда я был бы спокоен. Но этого же нет!.. Ведь нет?

Пущин. Мало ты себя еще ценишь, Саша. Ох, как мало. А ежели я скажу тебе, что это есть, что твой голос звучит в самых глухих углах России как набатный колокол, — что тогда? Потерпи немного. Я клянусь тебе: когда приблизятся сроки, мы вызовем тебя. Я первый сообщу тебе: будь готов, мы ждем тебя, торопись, нам нужен твой голос. Да как же ты не понимаешь, что ты принадлежишь народу как поэт? Что твое поэтическое призвание выше всего, Саша. В кои-то веки дождалась Россия такого певца, а мы что ж — будем подставлять его голову под удар? Нет, Саша! Живи, пиши, негодуй, сверкай во славу вольности и своего народа.

Пушкин. Ну, спасибо.

Пущин. Будь спокоен. *(Встает, обнимает Пушкина за плечи, ходит с ним по комнате.)* Что пишешь?

Пушкин. Трагедию о Смутном времени. И своего кисляя — Онегина.

Пущин. Черт тебя подери! Да если бы кто другой сказал мне такие слова об Онегине, я бы вызвал его к барьеру. И всадил бы ему пулю в башку.

Пушкин *(смеется)*. Ты — дуэлянт. Не хуже Грибоедова.

Пущин. Да, слушай! Чуть не позабыл во всей этой сумятице. Я же привез тебе комедию Грибоедова. В списке.

Пушкин. «Горе от ума»? Давай скорей! Вот рохля! Кюхля! Как же ты мог забыть?

Пущин достает из дорожного мешка рукопись. Входит Арина Родионовна с кофейником.

Арина Родионовна. Вот всегда так. Не пьют, не едят, а только смех да разговоры. Та-та-та да ха-ха-ха... Кофей сначала выпейте.

Пушкин *(разворачивает рукопись)*. Нянька, не мешай. Не мешай, Аринушка!.. *(Быстро перелистывает рукопись, читает про себя, начинает смеяться.)* Чудо какое-то! Да это же бесподобно! *(Читает.)*

Нет-с, книги книгам рознь. А если б, между нами,
Был цензором назначен я,
На басни бы налег. Ох, басни — смерть моя!
Насмешки вечные над львами, над орлами!
Кто что ни говори:
Хотя животные, а все-таки цари!

За стеной слышен шум, пение.

Арина Родионовна. Ишь, наливка их разбирает, девчонок. Ну, прямо светлый праздник.

Пущин *(Пушкину)*. Ты лучше свое прочти.

Пушкин *(с увлечением просматривает рукопись)*. Куда там свое! Ура, Ваня! Наконец-то народился

в России комический гений! Надо выпить еще и за это. *(Наливает вино.)*

За сценой слышно, как пляшут девушки и поют:

Что ж любовь, что ж любовь не приходит
Ни при той, ни при этой погоде?

Какая изумительная чушь! Весь дом уже пьян.

Арина Родионовна. Как бы не развалили лачугу! Пойти их унять.

Пущин. Не надо! Мне через час уезжать.

Пушкин *(Арине Родионовне)*. Позови их. Пусть тут споют. И спляшут.

Арина Родионовна. Ой, что ж это! Никогда не бывало. *(Смеется.)* И я будто пьяная, Сашенька. Вправду позвать, что ли?

Пущин. Зовите, зовите, нянюшка.

Арина Родионовна уходит.

Пушкин. Хороша жизнь отшельника! А все по твоей милости, Ваня. Боже, как я рад!

Дверь распахивается. В комнату входят смущенные девушки. За ними Арина Родионовна. Девушки становятся в ряд, кланяются Пущину.

Арина Родионовна. Ну, чего испугались? Хоровод вокруг гостя надо водить. Ай забыли?

Девушки берутся за руки и начинают водить вокруг Пущина и Пушкина хоровод все быстрее и быстрее. Цветистые девичьи платья, посуда на столе, комната — все озарено ярким солнцем и огнем свечей: их забыли погасить.

Девушки
(поют)

Как у нас на улице,
У нас на широкой
Красны девки разыгрались,
Молоденьки расплясались.
Одна девка лучше всех,
У ней лента шире всех!
Ах, ах, ах, ах —
У ней лента шире всех!

Пушкин

(хватает за руку Арину Родионовну, вступает с ней в хоровод)

Ах, ах, ах, ах —
У ней лента шире всех!

Пущин

Эй, жги, говори, разговаривай!

В дверях появляется рыжий монах с острым носиком и едкими глазками. Его сначала не замечают. Монах укоризненно качает головой, потом кланяется на икону в углу, крестится и начинает пронзительным голосом читать молитву. Хоровод останавливается. Девушки в испуге бросаются вон из комнаты.

Монах. «Спаси, господи, люди твоя и благослови достояние твое! Победы благоверному императору нашему Александру Павловичу...»

Арина Родионовна. Ой, грех великий! *(Крестится и кланяется на икону.)*

Пущин *(Пушкину)*. Что это означает?

Пушкин. Еще один... наблюдатель. Игумен из Святых Гор. Когда только успел дознаться? Не беспокойся. Я его накачаю ромом. Он пьяница первостатейный.

Монах. «На супротивные даруя и твое сохраняя крестом твоим жительство».

Пущин. Это тебе повредит?

Пушкин. Не знаю. Нигде нет покоя от этих... *(Арине Родионовне.)* Нянюшка! Ром на стол! Для отца Ионы.

Монах *(кланяется Пушкину)*. Простите великодушно, Александр Сергеевич, ежели помешал. Но, как говорится, от духовного лица не ущерб, а чистый прибыток. *(Снова низко кланяется Пушкину и семенит к столу, куда Арина Родионовна ставит бутылку рома.)*

Пущин *(Пушкину, тихо)*. Ну, Сверчок, придется нам расквитаться кое с кем за тебя. И расквитаться жестоко.

Трактир в Святых Горах. За окнами — серенький зимний день. Дымно, шумно. Слышен заунывный колокольный звон из монастыря. За столом посреди трактира пьют чай ямщики. За отдельными столиками сидят крестьяне в зипунах, бабы, странники. В стороне молодой человек в клетчатом костюме с напомаженным коком — явный шулер — мечет карты. С ним играют безусый приказчик и старый чиновник в фуражке с оторванным козырьком. За стойкой — худой целовальник и его жена, пышная и сонная. У окна в клетке заливается канарейка.

Кузьма *(входит в трактир, останавливается, прислушивается к пению канарейки)*. Хорош у тебя кенарь, хозяин!

Целовальник. Кенарь ученый. Любительский.

Баба в платке. Декабрь на дворе, а он себе звенит и звенит. Да по жердочке скачет. То туды, то сюды! То туды, то сюды!

Суетливый мужичок. Веселое существование!

Человек в скуфейке. А ему что, кенарю? Барщину не отбывать! Вот и скачет.

Суетливый мужичок. Соловей против кенаря вроде бойчей.

Кузьма проходит и садится за столик.

Человек в скуфейке. Это верно. Только век-то больно короток соловьиный.

Кузьма. Я бы с ним в охотку поменялся, с соловьем. Хоть короток век, да голосист!

В трактир входит Пушкин, замечает Кузьму, идет к его столику. Некоторые из посетителей встают, снимают шапки, кланяются Пушкину.

Пушкин. Здравствуйте, здравствуйте! *(Подходит к столику Кузьмы, здоровается с Кузьмой за руку, садится.)*

Кузьма. На ярмарку приехали поглядеть, Александр Сергеевич?

Пушкин. Да, потолкаться между народом.

За столиком, где играют в карты, начинается шум.

Человек с коком *(кричит)*. Извольте тогда сами метать, коли так! Ужо я посмотрю, как вы передернете!

Чиновник. Я, сударь, не мошенник! Играю на кровные. И обкрутить себя не допущу.

Кузьма. Как бы не подрались!

Пушкин. Да ну их! Выпьем немного, Кузьма.

Кузьма. Я с вами всегда заодно, Александр Сергеевич.

Пушкин стучит по столу. Подбегает мальчик-половой.

Пушкин. Подай нам вина. И чего-нибудь закусить.

Половой. Есть сижок копченый. Крутые яйца. Грудинка.

Пушкин. Тащи всего. *(Кузьме.)* Что слышно нового, Кузьма?

Кузьма. Одна новость, да и ту вы знаете, Александр Сергеевич. Государь Александр преставился в Таганроге. Новости к нам ползут, как обозы с сеном. Покуда-то их клячи дотащат. По нашим-то по дорогам.

Пушкин. Да. *(Помолчав.)* Ты про железные дороги слыхал?

Кузьма. Это которые паром работают?

Пушкин. Да.

Кузьма. Слыхал. Только это не для нас, Александр Сергеевич.

Пушкин. Думаешь, не осилим?

Кузьма. Осилить, конечно, можно. Русский человек для всего годится. Только чьим горбом-то осиливать? Мужицким? Так мужику нынче лапоть подвязать — и то труд великий. Изголодал народ. Растерялся.

Разговор Пушкина с Кузьмой слушает за соседним столиком косматый человек в потертой скуфейке.

Человек в скуфейке *(оборачивается к Пушкину)*. Это верно, растерялся народ. Один оброк — шесть рублев серебром с души! Вот и поди, выко-

лоти его из дырявой мошны. Ты вот выколачивай, а я погляжу!

Половой ставит на столик Пушкину графин водки и закуску.

Пушкин (*человеку в скуфейке*). Садись, отец, с нами.

Человек в скуфейке (*подсаживается к столику Пушкина*). Подай вам господи!

Пушкин. Водочки выпьешь?

Человек в скуфейке. Как не выпить! На дворе ростепель, сырость.

За окнами слышен гомон ворон.

Воронье кричит. Такое есть рассуждение промеж народа, что не миновать новой беды.

Суетливый мужичок (*за соседним столиком*). Не-ет, браток! Ты сам привык, как ворон, каркать. Иное в народе говорят! (*Быстро пересаживается за столик Пушкина.*) Иное!

Кузьма. Чего там — иное, иное! Ничего иного не будет!

Суетливый мужичок. Ан будет. Послабления ждут. Будто недоимки нам скостят. Начисто! Царь-то помер.

Человек в скуфейке. Буде врать-то! Ничего он не помер.

Суетливый мужичок (*оглядывается*). Потише бы...

Человек в скуфейке. Ты не пужайся, сморчок! Ты лучше выпей!

Суетливый мужичок вежливо наливает себе стопку, пьет.

Уж на ком, на ком — а на царе невесть сколько грехов. Какие, скажем, наши мужицкие грехи? Чего уворовал от худости своей? Или шапку не поспел скинуть перед барином. А у царя, брат, не то! Да... Согнулся царь Александр от великих грехов и надумал: «Кину я этот самый престол к евоной бабушке, уйду в лес, в пустыню, буду жить затворником, каяться перед всевышним». Так и сделал. Поло-

жили заместо него в гроб унтер-офицера, никому не показали, запаяли гроб свинцом — и все тут! Иди догадайся. А царь-то давно ускакал за Енисей. Там его сам Аракчеев не сыщет.

Кузьма. А какая нашему брату выгода от царского покаяния?

Суетливый мужичок *(хихикает)*. Вот то-то. От него лебеда хлебом не станет. Это все монахи придумали.

Человек в скуфейке. Тебе все — монахи!

Суетливый мужичок. Да сам ты кто?

Человек в скуфейке. Я караульщик ночной. Монастырский.

Пушкин. Как же дознались об этом? О царе!

Человек в скуфейке. Эх, барин... Правда под землей по жилам течет. То тут пробьется, то там.

В трактир входит слепец с мальчиком-поводырем. Еще у порога слепец и поводырь начинают петь:

Расступися, мать сыра земля,
Приоткройся гробова доска.
Распахнися саван вытканный,
На лицо рукой накинутый.
Встань, родимый батюшка,
Пробудись от сна от крепкого,
От сна крепкого, вековечного!

Слепец идет с шапкой между столиков.

Целовальник *(слепцу)*. Повеселил бы лучше людей.

Слепец. Я, братие, всю землю исходил, а узреть ее так и не сподобил господь. Может, зрячему она и весела, а мне, убогому, все мнится — темно! Ой, темно у нас! С горем спать ложимся, горем покрываемся, с горем поутру встаем.

Суетливый мужичок. Доля-то счастливая, надо быть, где-то находится.

Кузьма. Раки ее съели, браток.

Пожилой ямщик *(оборачивается к Кузьме)*. Ты помалкивай. А то случится с тобой, как в песне поется: «Сотню палок закатят — так все кости затрещат».

Баба в теплом платке. Господи-милостивец! Нигде нету отдохновения; ни тебе в избе, ни на поле, ни в храме божьем, ни в трактире.

Слепец подходит к Пушкину. Пушкин берет его за рукав, сажает за свой столик. Мальчик-поводырь робко садится рядом со слепцом.

Пушкин *(поводырю)*. Ты ешь, мальчик. Не бойся. И слепца покорми. Ты что же, сирота?

Поводырь *(кивает головой)*. Ага!

Слепец. Сирый он. Из-под Онеги. *(Пушкину.)* А ты кто ж такой? Голос у тебя дивный.

Пушкин *(усмехается)*. Тоже вроде странник. Только зрячий.

Слепец. Ты меня не обманывай. По душе, может, ты и странник, а слышу — из высокого звания. Да... Про легкую юдоль тут кто-то доказывал.

Человек в скуфейке. Переждал ее народ, эту юдоль. Теперь бы дал господь только легкую смерть.

Слепец. Кто переждал, а кто и нет. Гневен народ, да гнев-то его за ста замками захован. На самом донышке.

Суетливый мужичок *(смеется)*. Не выковыряешь его оттоль. Ногтем.

Пожилой ямщик. Эх, приятели! Мелете вы языками как на паперти. А кто бы мне сказал, когда срок выйдет? Долготерпению нашему?

Слепец. Вскорости. Были знамения.

Пушкин. Какие?

Слепец. Разные. Вот нынче осенью город Петербург черной водой затопило. А на площади в Петербурге статуй стоит. Царю Петру. На скачущем диком коне. Вода подошла царю Петру по грудки, одна голова царская медная над волнами возвышается. И среди ночи заговорила та голова густым голосом сквозь бурю и водяной плеск. Позовите ко мне, говорит, всех чиновников, и генералов, и самого царя! Подъехали к голове на дощаниках царь с генералами и разные сановники. С фонарями. Холодно им, мокро, трясутся. И возговорила им медная голова: «Вы что

же, такие-сякие дети, потоп допущаете, все мое государство разорили, простой люд в ярме гноите! Через вас, говорит, Россия идет к погибели. Того ли я, говорит, добивался? Я хабарников батогами сек, а ты, благословенный царь Александр Павлович, им ленты атласные на шею навешиваешь! Даю вам, говорит, три месяца сроку на исправление. А не исправите — прошпорю коня, слечу с этой скалы, проскачу, говорит, по всему Петербургу и всех вас подковами стопудовыми истопчу, искромсаю».

Суетливый мужичок. Ну и ну!

Человек в скуфейке. Неужто испугались?

Слепец. Испужаешься, брат. Обещался царь и его вельможи всё в справедливость привесть. К весне, говорят, управимся, не ранее. Дело, говорят, затруднительное.

За столиком у картежников снова возникает шум. Чиновник вскакивает, хватает за рукав человека с коком.

Чиновник (*кричит плачущим голосом*). Что же ты, бесстыжьи твои глаза, делаешь! Без ножа режешь!

Ямщики (*оборачиваются на шум*). Чего там? Чего не поделили, ироды?!

Суетливый мужичок. Ох и жу-улики!

Человек в скуфейке. Гнать их помелом!

Чиновник. Помилуйте! Раз за разом передергивает. Обчистил меня, как сидорову козу.

Пожилой ямщик. Было, значит, что обчищать. Нашего брата не обчистишь, когда в кармане ветерок.

Кузьма. Крапивное семя!

Человек с коком. Чего не в свое дело встреваете, косопузые?

Человек в скуфейке (*вскакивает, подходит к играющим, сбрасывает со стола карты*). А ну, марш отсюдова!

Приказчик. Но-но! Нашелся генерал-губернатор!

Целовальник. Потише, почтенные.

Целовальница (*просыпается, зевает, крестит рот*). Каждый охальничает. Будто в собственном дому.

Ямщики (*встают, надвигаются на играющих*). Чего там потише! Житья от них нету, от ябедников!

Схватываются с играющими. Начинается свалка, Суетливый мужичок тотчас в нее ввязывается.

Суетливый мужичок. Вышибай их ко господу! Жми на них, на шпыней!

Голоса. Не хватай! Я те так хватану! Нагреб денег целую гору да еще куражится! Тут люди спину гнут за алтын, а они, видишь, десятками швыряются свинье в рыло! Гони их взашей!

Чиновника, приказчика и человека с коком вытесняют из трактира.

Человек с коком (*кричит в дверях*). Хозяин! Раскаешься! Я исправнику обскажу!

Целовальник равнодушно щелкает на счетах.

Баба в платке. Что ж вы вьюношу на мороз выкидаете без пальтеца. Его небось тоже мать родила. Бессовестные!

Пушкин смеется.

Молодой ямщик (*швыряет пальтецо, забытое шулером, через головы*). Эй, шилохвост! Держи! Пальтецо свое на цыплячьем меху!

Хохот. Во время общей суматохи и шума в трактир входит седой ямщик и с ним бледный человек в рваном зипуне с чужого плеча и треухе. Щека у человека в треухе завязана грязным бинтом.

Седой ямщик (*озабоченно говорит человеку в треухе*). Садись вон в тот уголок. Там неприметнее. Я сейчас чайку тебе закажу.

Человек в треухе. Спасибо, отец. Заплатить мне нечем.

Седой ямщик. Бог за тебя заплатит. (*Проходит с человеком в треухе за дальний столик позади Пушкина.*) Вот тут и садись, обогрейся. Только не засиживайся. Все-таки тракт! Неровен час, наскочат жандармы. Или исправник заявится. Место людное. Надо

быть, начальству здешнему уже все ведомо. Хоть мы и первые сюда доскакали.

Человек в треухе. Думаю, известно.

Седой ямщик (*роется в кисете, достает ассигнацию*). Вот тебе целковый. Бери, не смущайся. Дальше мне тебя везти невозможно. Как отдышишься малость, подавайся на Жадрицу, подале от большака. Там места глуховатые — лес, болото.

Человек в треухе. Спасибо тебе великое. Спас ты меня...

Седой ямщик. Чего там! Я пойду коней поставлю.

Седой ямщик уходит. Половой подает человеку в треухе чай. Пушкин пристально смотрит на человека в треухе, трогает Кузьму за руку.

Пушкин (*вполголоса*). Погляди, что за человек.

Кузьма (*смотрит на человека в треухе*). Вроде военный... С выправкой. А в зипуне...

Пушкин. На нем офицерские сапоги. Разве не видишь?

Кузьма. Беглый, что ли?

Пушкин. И раненый... Странно...

Слепец (*поводырю*). Подымайся, Васятка, кланяйся за угощенье.

Поводырь встает, молча кланяется в пояс Пушкину и Кузьме.

Благодарим за пропитание. Поминать вас будем в молитвах. Перед святителями. (*Медленно идет с поводырем к выходу.*)

Человек в треухе стаскивает треух, падает головой на стол. На грязном бинте проступает кровь.

Пушкин (*подходит к человеку в треухе, берет его за плечо*). Что с вами?

Человек не отвечает.

Кузьма, дай водки!

Кузьма торопливо наливает водку, подает Пушкину. Пушкин подымает голову человеку в треухе и вливает ему в рот водку. Посетители трактира перестают шуметь, оборачиваются, смотрят на эту сцену. Слепец останавливается.

Человек в треухе (*слабым голосом*). Благодарю вас.

Пушкин (*тихо*). Надо наново перевязать рану. Тут есть лекарь в Святых Горах.

Человек в треухе (*испуганно*). Нет, нет! Ради бога! Не надо лекаря! Меня просто растрясло. Дорога ухабистая...

Кузьма (*Пушкину, тихо*). Неладное дело, Александр Сергеевич.

Входит седой ямщик. Замечает Пушкина и Кузьму около человека в треухе, быстро подходит.

Седой ямщик. Вы, господа, идите-ка на свое место. Я с ним посижу. Человек хворый. Падучая у него. В Пскове свалился на почтовой станции. Всю голову размозжил.

Кузьма (*ямщику*). Ты нас не опасайся, папаша.

Седой ямщик (*сердито*). Чего мне опасаться? Я не злодей. И человек этот не злодей. Только его тревожить нельзя.

Слышен отчаянный звон бубенцов. Очевидно, к трактиру подкатывает тройка и с ходу останавливается. Дверь распахивается. В трактир вбегает низенький ямщик с кнутом.

Низенький ямщик (*кричит*). Ребята! В Петербурге бунт! Едва вырвался.

Смятение. Посетители трактира вскакивают, окружают низенького ямщика. Пушкин сильно бледнеет, прислоняется к стене.

Пушкин. Наконец-то!

Человек в треухе торопливо встает, делает несколько шагов к двери, но шатается и присаживается к столику, за которым сидит баба в теплом платке.

Седой ямщик (*трясет его за плечо*). Ваше благородие! А ваше благородие! Пойдемте!

Человек в треухе. Сейчас... Ослаб я что-то...

Седой ямщик. Опасно вам здесь, ваше благородие.

Голоса. Какой бунт? Чего мелешь? Толком рассказывай!

Седой ямщик *(бабе)*. Доведи его до саней... как отдышится. А я пойду коней приготовлю. Соображаешь?

Баба кивает головой. Седой ямщик уходит.

Человек в скуфейке *(крестится)*. Неужто бунт? Господи!

Низенький ямщик. Войска восстали. По всему городу — разъезды, караулы, бивачные огни. На Сенатской площади дотемна шел бой, братцы! Из пушек били по бунтовщикам... картечью.

Пушкин *(бросается к низенькому ямщику)*. А сейчас как? Сейчас что в Петербурге?

Низенький ямщик *(срывает шапку, с силой швыряет ее на пол, гневно кричит)*. Что сейчас? Я же тебе говорю! Картечью их всех расстрелял... новый царь... Николай. Я же тебе говорю! Дело — табак! Кончено! *(Разводит руками.)* А в Неве... В Неве сколько их утопили! Лед подломился. А царские войска с набережных все в них палят, все палят.

Все замолкают. Целовальник подходит к двери и закрывает ее на щеколду.

Пушкин. Кого видел среди мятежников?

Низенький ямщик. Кого? Больше офицеров. А простого народа почитай что и не было.

Пожилой ямщик *(кричит)*. Вот то-то и оно! Был бы в деле наш брат, разве нас картечью бы взяли?! Да нипочем! В двенадцатом году мы по лесам да пущам Бонапарта били, — а тут бы не сладили?

Пушкин. Они дрались за нас всех, за народ. Благородное дело. И такой конец.

Низенький ямщик. Их теперь ловят скрозь, по всем дорогам.

Пушкин *(подходит к человеку в треухе, говорит вполголоса)*. Вы оттуда?

Человек в треухе *(внимательно смотрит на Пушкина)*. А что?

Пушкин *(крепко пожимает ему руку)*. Позвольте вас поцеловать. *(Целуется с человеком в треухе.)* Вы

жертвовали своей жизнью не напрасно. Вы совершили подвиг. Он даст плоды. Кого вы видели на площади? Из частных лиц? Там были мои друзья.

Человек в треухе. Рылеева... И этого высокого, тощего...

Пушкин. Кюхельбекера?

Человек в треухе. Да. Он стрелял в великого князя Михаила Павловича.

Пушкин. Стрелял? Что с ним было потом?..

Человек в треухе. Кто знает... были живы. А вот ушли ли?

Слепец *(снимает шапку)*. Чего там спорить, братие! Да сотворит им господь вечную память. *(Начинает петь вместе с поводырем «Вечную память».)*

Все снимают шапки.
Кто-то с силой ударяет в дверь. Щеколда отлетает. В трактир входит исправник, за ним — стражник.

Исправник. Что за панихида? Прекратить!

Пение затихает. Баба в платке торопливо поднимает человека в треухе и ведет его к двери.

Стой! Никуда не ходи. Тут приезжие есть? Из Петербурга?

Низенький ямщик. Я оттудова, ваше благородие. Еле ноги унес.

Исправник *(презрительно)*. Тоже... самовидец нашелся! *(Поворачивается к человеку в треухе.)* Что за человек?

Баба в платке *(слезливо)*. Сыночек это мой. Хворый он, батюшка. К лекарю его привезла.

Исправник. К лекарю! То-то в трактир с ним пожаловала. Голову-то кто ему разукрасил?

Баба. Да сам, батюшка. Припадошный он. Как упанет, как зачнет биться головой об пол — не удержишь. Бес в него, что ли, вселился... И страх и горе.

Исправник. Погодь, погодь! Дай-ка я малость с ним потолкую, с твоим сынком. *(Подходит*

к человеку в треухе, распахивает зипун. Под ним виден мундир гренадерского полка. Кричит.) Петухов, вяжи!

Стражник хватает человека в треухе сзади за руки.

Припадочный... В Петербурге разберутся, какой он припадочный! *(Толкает человека в треухе к выходу.)*

Баба в платке, воспользовавшись суматохой, скрывается.

Пушкин *(бросается к исправнику)*. Да как вы смеете!

Кузьма *(хватает Пушкина за руки, говорит быстро, шепотом)*. Александр Сергеевич! Христом-богом молю... Не надо!

Пушкин *(вырывается, кричит вслед исправнику и стражнику, которые уводят арестованного)*. Ну погодите, подлецы!

Кузьма *(снова хватает Пушкина за руки, крепко держит его, почти плачет)*. Александр Сергеевич! Христом-богом... Не доводите себя до беды... Видать, дело кончено. Едем-ка лучше сейчас в Михайловское. А, Александр Сергеевич?

Пушкин *(опускается за стол)*. Сейчас, Кузьма... поедем... *(Подымает голову.)* Ты говоришь, кончено дело? А если я скажу, что нет! Не кончено! И не будет кончено! Рановато мы родились, это верно, но я на судьбу не в обиде, Кузьма.

Человек в скуфейке *(смотрит на Пушкина)*. Светлый ты человек. Пылкий. Дай тебе бог...

Доносится колокольный звон из монастыря.

Слепец *(начинает петь)*. «Упокой, господи, души невинно убиенных рабов твоих в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, идеже несть ни болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная...»

Все молча слушают пение слепца, вздыхают, иные вытирают рукавами глаза. Пушкин стоит, прислонившись к стене, закрыв ладонью глаза.

КАРТИНА ВОСЬМАЯ

Комната Пушкина в Михайловском. Вечер. Посреди комнаты под старенькой люстрой — стол. Дворовая девушка с русыми косами стоит на стуле и закрывает люстру простыней. Рядом Арина Родионовна.

Арина Родионовна. Сама бы догадалась люстру прикрыть. Прибираемся к празднику, пыль подняли, а люстра у тебя висит открытая. Потом небось не перетрешь каждое стеклышко.

Девушка. А я перетру, бабушка. Мне это нипочем.

Арина Родионовна. Перетрешь — да разобьешь! Вам все нипочем. А эта вещь подарена старому барину еще государем Петром.

В коридоре шум, шаги.

Кто это пожаловал?

Входит игумен Иона.

Иона *(крестится)*. Мир дому сему.

Арина Родионовна. Благослови, батюшка. *(Подходит с девушкой под благословение к Ионе.)*

Девушка уходит.

А Александра-то Сергеевича нету. В Святые Горы поехал.

Иона. Ай-яй-яй! А я из Святых Гор. По надобности к нему. Разминулись, значит. Скоро воротится?

Арина Родионовна. Не сказывал. Да, надо быть, скоро. Вечер уже на дворе.

Иона. Да, темно. И мороз крепчает. Погодка декабрьская.

Арина Родионовна. Может, чайку согреть?

Иона. Не откажусь. От чайку, ежели в него подкинуть сухой липовый цвет, в голове прояснение. А в телесах — жар.

Арина Родионовна уходит. Иона подходит к ломберному столу, на котором лежат рукописи Пушкина, крестится, отбрасывает длинные рукава рясы, берет тетрадку в черном переплете, раскрывает ее.

Хитер сочинитель! Ишь как нижет пером — не разберешь. Ишь как нижет! Вкось да с помарками. Нарочитое скорописание. «Би-о-графия»! Так, так! Сиречь, описание житейских препон и успехов. И скопище богопротивных мыслей. *(Осторожно вырывает из рукописи страницу, складывает ее вчетверо и прячет в карман рясы.)*

Слышны шаги няни.

(Кладет тетрадь на место, напевает.) «Благословен еси, господи, научи мя оправданием твоим».

Входит Арина Родионовна с чайной посудой.

Арина Родионовна. Что же ты стоишь, батюшка? Сел бы в креслице. *(Ставит посуду, собирает рукописи и кладет их на стул.)* Тесно у него на столе, у Александра Сергеевича.

Иона. Все пишет?

Арина Родионовна. Пишет, батюшка. Ночь за ночью — конца не видно.

Иона. Тебе читает написанное?

Арина Родионовна. Бывает, что и прочтет.

Иона *(со злым смешком)*. При нашей скудости умственной даже затруднительно догадаться — об чем они пишут, Александр Сергеевич?

Арина Родионовна. Да все сейчас про царя.

Иона *(настораживается)*. Про царя? И как о царе отзывается?

Арина Родионовна. Да как тебе сказать, батюшка. То так, то этак. Иной раз похвалит, а иной так осрамит — деваться некуда.

Иона. Так-так! Срамит, значит, царя, божьего помазанника.

Арина Родионовна. А ежели он до престола дошел через смертоубийство, царь-то. Как же его не срамить!

Иона *(оживляется, глазки его загораются злым огоньком)*. Кого же это государь умертвил? Ради престола?

Арина Родионовна. Да в Угличе-то царевича Дмитрия зарезали. По его наущению.

Иона *(явно разочарован)*. Так ты про царя Бориса! Вспомнила! Это, мать моя, когда было! *(Напевает.)* «Благословен еси, господи, научи мя оправданием твоим». Ничего нового не слыхать?

Арина Родионовна. Да нет. Тихо.

Иона. Что ж так? Обедняли новостями? Из Петербурга, что ли, не пишут?

Арина Родионовна. Писать-то пишут, да не мне, батюшка. А Александру Сергеевичу. Садись, сделай милость. Я чаек сейчас принесу. *(Уходит.)*

Иона *(уверенно вытаскивает из-под груды рукописей тетрадь, открывает ее, читает)*. Змий, истинный змий! Тут и сорок архиереев не сразу разберут, чего написано. *(Медленно читает.)* «Когда бы я был царь...» — гордыня какая бесовская! — «...то позвал бы Александра Пушкина и сказал ему: «Александр Сергеевич, вы прекрасно сочиняете стихи». Александр Сергеевич поклонился бы мне с некоторым скромным замешательством, а я бы продолжал: «Я заметил, вы стараетесь очернить меня в глазах народа распространением нелепой клеветы...» Вот уж истинно! Истинно так! Клеветник и насмешник. Ишь чего написал! Знает кошка, чье мясо съела!

Иона читает дальше и не замечает, что в дверях появляется Пушкин. Пушкин останавливается и, нахмурившись, смотрит на Иону. Потом роняет на пол железную трость. Иона вздрагивает, захлопывает тетрадь, кладет ее на кучу рукописей на стуле. Рукописи сползают и падают на пол.

Пушкин. Ловкости у вас нет. И привычки к такому занятию, святой отец.

Иона *(кланяется Пушкину)*. Простите великодушно. Сижу, дожидаюсь. Дай, думаю, почитаю прелестные стишки ваши.

Пушкин. Да уж вижу. *(Подходит, собирает рукописи, кладет их на стол.)* Почему это нынче вы стали интересоваться моими стихами? А раньше интересовались только ромом.

Иона. Х-хе! Ну и шутник же вы, Александр Сергеевич.

Пушкин. Со мной шутки плохи, святой отец. Знаете, есть народная приговорка: «Я еду, еду — не свищу, а уж наеду — не спущу!»

Иона. Что-с?

Пушкин. А вот то-с! Вам, как лицу духовному, не пристало исполнять жандармские обязанности. Лучше бы горланили молебны, кадили бы господу вашему да наливались ромом. Пастырь стада Христова!

Иона. Не могу преклонить слух к столь богомерзким речам, Александр Сергеевич. На мне сан.

Пушкин *(кричит в ярости)*. Какой сан! К чему он понуждает? К кротости? К справедливости? Блаженны жаждущие правды... Тех, кто жаждал ее, на днях перебили... картечью в Петербурге.

Иона. Скорблю. Скорблю, Александр Сергеевич, о заблудших овцах Христовых. Прости им, господи, прегрешения вольные и невольные.

Пушкин. Ладно! Ваш возок дожидается у крыльца. Езжайте! К себе в монастырь! И чем рыться в моих бумагах, лучше отслужите панихиду по убитым... заблудшим овцам Христовым! *(Отворяет дверь, придерживает ее.)*

Иона *(крестится)*. Помянем царя Давида и всю кротость его. *(Семенит мимо Пушкина в коридор.)*

Пушкин *(захлопывает за ним дверь)*. Мерзкий монах! *(Зовет.)* Нянюшка! *(Быстро ходит по комнате.)*

Входит Арина Родионовна. Она вытирает платком глаза.

Арина Родионовна. Что тебе, Сашенька? Где же отец Иона?

Пушкин. Я прогнал его. Он рылся в моих бумагах.

Арина Родионовна. Ой, срам какой! Что это только нынче с людьми делается!

Пушкин. Ты чего плачешь?

Арина Родионовна. Да рассказал мне Кузьма... про Петербург.

Пушкин. Ничего зря не проходит, нянюшка. Ни одна слеза впустую не падает. За все будет расплата.

Арина Родионовна. Оно-то так, Сашенька. Да людей жалко. Молодые все, горячие — вот как ты.

Пушкин. Не плачь. Не надо. Неужели и Ваня Пущин был там, на площади? И Кюхля? И Рылеев? Были, я знаю. Что же с ними сейчас? *(Арине Родионовне.)* Вели закладывать лошадей.

Арина Родионовна. Куда ехать-то? На ночь глядя?

Пушкин. В Петербург.

Арина Родионовна. Что ты! Самовольно! Беда будет, Сашенька.

Пушкин. Я должен знать, что с ними. Как ты не понимаешь? Может быть, они ждали меня. И сейчас ждут.

Арина Родионовна. Не пущу я тебя. Никуда!

Пушкин. Арина!

Арина Родионовна. Что — Арина, Арина? Не пущу — и все тут!

Пушкин. Я хочу добиться свидания с ними. Может быть, закрыть глаза умирающим. Сейчас же вели закладывать.

Арина Родионовна. Нет и нет! Погибели твоей не допущу!

Пушкин. Хорошо. Тогда я сам прикажу. *(Идет к двери.)*

Арина Родионовна *(падает на колени, загораживает дверь руками, кричит)*. Не езди! Не губи ты себя, ангел мой ненаглядный.

Пушкин *(ласково наклоняется к ней, пытается поднять ее)*. Встань. Что за глупости!

Арина Родионовна *(обхватывает ноги Пушкина, седые ее волосы падают в беспорядке из-под сбившегося на сторону платка)*. Пожалей ты себя! Не клади ты в петлю свою голову, Сашенька!

В двери заглядывает Кузьма.

Пушкин *(расстроен, пытается поднять Арину Родионовну)*. Встань, Аринушка. Ну что это такое? Помоги мне, Кузьма.

Кузьма. Чего убиваетесь, Арина Родионовна?

Арина Родионовна. В Петербург надумал ехать. На плаху. Не пущу нипочем... Такую-то голову — да в петлю! *(Снова начинает плакать.)*

Пушкин. Ну хорошо, нянюшка. И впрямь бесполезно скакать в Петербург.

Арина Родионовна *(встает, обнимает Пушкина)*. Ангел мой! Только уж не сердись, всю ночь от тебя не отойду. А то еще передумаешь. И Кузьма пусть нынче у нас заночует. А то одни девчонки в дому.

Кузьма. Я завсегда рад.

Арина Родионовна. Непутевый ты все-таки мужичонка, Кузьма. Все шлендаешь. То в Тригорское, то к нам, то в Святые Горы. А хозяйство небось в запустении.

Кузьма. Шут с ним, с хозяйством! Как бы тебе изъяснить, Арина Родионовна!.. Я около Александра Сергеевича не зря околачиваюсь. Слова хорошие я люблю. А где их услышишь, как не здесь.

Пушкин. Какие слова?!

Кузьма. Разные. Вот третьего дня девушки разучивали — да так тихонько, чтобы вы не услыхали, Александр Сергеевич, — новую песню. Вашего сочинения. Так я, поверите, три часа просидел на лавке, не шелохнулся. Даже ноги свело.

Пушкин. Какую песню?

Кузьма *(смущенно)*. Да вот... про Арину Родионовну... и про синицу, что жила за морем.

Пушкин. Что же они мне ее не споют?

Арина Родионовна. Стыдятся. Они за спиной только озорные.

Кузьма. Вот так и живу, болтаюсь тут день и ночь.

Пушкин *(подходит к столу, разбирает рукописи)*. Кузьма, затопи, братец, камин.

Арина Родионовна. Да его только что истопили.

Пушкин. Все равно. *(Кузьме.)* Принеси дрова.

Кузьма уходит.

Может быть, кто-нибудь из них спасся, бежал. Вдруг появится здесь? Видел же я в Святых Горах беглеца.

Арина Родионовна. Все может быть, Сашенька.

Пушкин. Приготовь тогда все. Лишнюю постель. И ужин. И накрой на стол.

Входит Кузьма с дровами, растапливает камин.

Спасибо, Кузьма. А теперь иди. И ты, нянюшка, иди распорядись.

Арина Родионовна и Кузьма уходят. Дрова в камине разгораются. Пушкин просматривает у стола рукописи.

Записки... Попади это в лапы правительству — сколько будет новых жертв. *(Подходит к камину, медлит, перечитывает рукопись.)* Нет, второй раз этого не напишешь. Сил не хватит. И памяти. Ну что ж, прощайте, милые мои страницы. *(Отрывает от рукописи половину, бросает в камин.)*

Ярко вспыхивает пламя. В комнату входит Арина Родионовна. Пушкин быстро оглядывается, замечает на стене тень от люстры, обернутой простыней. Тень эта похожа на висящего человека.

Что это? *(Бросается к люстре, срывает простыню.)* Кто повесил сюда этот саван?

Арина Родионовна. Да Христос с тобой! Чего ты испугался? К празднику мы прибирались — вот и повесили.

Пушкин *(садится в кресло около камина)*. Ничего... Просто так. А будут казни. Будут! Этот августейший щенок повесит многих... Господи, когда же мы избавимся от негодяев! *(Бросает вторую половину рукописи в огонь.)*

Арина Родионовна. Ты что это делаешь?! *(Пытается вытащить горящую рукопись.)*

Пушкин *(удерживает ее)*. Арина! Из-за этих листков могут люди погибнуть... невинные. Оставь!

Арина Родионовна. Ну, раз так... тогда жги. Только жалко мне, ангел, труда твоего. И песен твоих дивных жалко.

Пушкин. Песни остáнутся. Подай мне со стола вон ту пачку. Там письма.

Арина Родионовна подает пачку писем. Пушкин быстро просматривает их, некоторые бросает в огонь.

(Перечитывает одно из писем.) «Сегодня Александрийские сады оделись снегом...» Она приказала сжечь его. Ну что ж, пускай уж заодно! *(Бросает письмо в огонь, долго смотрит, как оно горит.)* Вот и сгорела моя молодость, Аринушка. И следа не осталось. Разве только в памяти... А память умрет вместе со мной.

Арина Родионовна. Ничего, Сашенька. Страшен сон, да милостив бог!..

Пушкин. Погоди. Кто-то говорил мне эти слова... Да... там в Одессе, в театре. *(Задумчиво разгребает пепел, достает обгорелый клочок бумаги, читает.)* «От горя и нежности...» *(Усмехается, прячет клочок на груди.)* Всю жизнь так: горе, и нежность, и дружба, и поэзия, а рядом опасность смертельная, ненужная, порожденная тупостью, злобой... Когда же конец?

Арина Родионовна накрывает на стол ужин, зажигает свечи.

Побольше свечей зажги. Как в наш лицейский праздник. *(Задумывается.)* «Чей глас умолк на братской перекличке? Кто не пришел? Кого меж нами нет?»

Арина Родионовна. Сашенька, будто едет кто-то... Послушай.

Пушкин встает, прислушивается. Слышен глухой говор бубенцов. Он приближается, потом постепенно замолкает.

Проехали... А я думала...

Пушкин. Ночь еще долгая. *(Наливает в стаканы вина.)* Выпьем, Аринушка.

Арина Родионовна. Хорошо, ангел мой. Не горюй. Не весь же год на дворе вьюга да ночь. Потянет вскорости над озером теплым ветерком, теплыми травами. Солнышко перевалит к лету.

В дальней комнате девушки начинают тихо петь.

П у ш к и н. Что это?

А р и н а Р о д и о н о в н а. Ай не узнал?

Слышно пение девушек:

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя.
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя...

П у ш к и н. Открой дверь. Плохо слышно.

Арина Родионовна открывает дверь, возвращается в комнату, садится в кресло у камина. Пушкин опускается на пол у ее ног, кладет голову на колени Арине Родионовне. Она ласково поглаживает его волосы.

А р и н а Р о д и о н о в н а. Один ты у меня, сердечный мой. Тяжко тебе. Я знаю.

П у ш к и н. Как ты думаешь, нянюшка, вспомнят их через сто, через двести лет?

А р и н а Р о д и о н о в н а. Вспомнят, милый.

П у ш к и н. И меня вспомнят?

А р и н а Р о д и о н о в н а. Господи! Да тебя и забывать никогда не будут.

П у ш к и н *(гладит руки Арины Родионовны)*. Хорошая ты моя!..

А р и н а Р о д и о н о в н а. Ты не томись, Сашенька.

П у ш к и н. Я верю, нянюшка. И знаю. Их подвиг не пропадет. Из этой искры разгорится пламя. Вот ты не знаешь, что написано еще до ссылки.

А р и н а Р о д и о н о в н а. Не знаю, Сашенька.

П у ш к и н.

Товарищ, верь, взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена.

А р и н а Р о д и о н о в н а *(целует Пушкина в голову)*. Взойдет, ангел мой. Утренняя звезда — чистая, прелестная. От твоих слов будто солнышко прогрело душу. Спасибо тебе, Сашенька. Спасибо, милый.

Девушки поют:

Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила.
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла...

На пороге появляется девушка с русыми косами.

Тебе чего?

Девушка (*шепотом*). Я спросить хотела... Эту песню вправду Александр Сергеевич сам придумал?

Арина Родионовна. Конечно, он. А кто же другой придумает?

Девушка, закинув тяжелые косы на грудь и прикрыв ими подбородок, смотрит на Пушкина. Громче доносится песня:

Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей.
Выпьем с горя, где же кружка, —
Сердцу будет веселей.

1949

ОЧЕРКИ РАЗНЫХ ЛЕТ



О ТРУДЕ И ДЕРЗАНИИ

ПОГОНЯ ЗА РАСТЕНИЯМИ

Над Баку воет мрачный норд. Пыль взвивается над городом, как извержение. На тесном базаре ветхозаветные старцы уныло продают «беликюм».

«Беликюм» — это жвачка. Бабочка, напившись соков неведомого растения, превращается в кокон. Кокон полон смолы. Его покупают и жуют от нечего делать. Этот кокон называется «беликюм».

Сначала я расскажу о «беликюме», а потом о норде. Вообще же, чтобы не вводить читателя в заблуждение, я должен оговориться, что этот очерк я пишу о работе института прикладной ботаники и новых культур.

«Беликюм» показался подозрительным, — он был тягуч и эластичен. Его исследовали и нашли в нем примесь каучука. Клубок начал разматываться. Выследили бабочек, откладывавших каучуковые коконы. Оказалось, что бабочки живут на корнях растения хондриллы и питаются соком этих корней. В корнях хондриллы был каучук.

Началась погоня за хондриллой. В одном Закавказье разыскали несколько ее сортов. Но каучука не получили, — все попытки были неудачны. «Беликюм» обманул.

Известно, что настойчивость ученых чудовищна и может вывести из себя даже самого спокойного человека. Поиски продолжались.

В песчаных пустынях Средней Азии нашли, наконец, новые, лучшие сорта хондриллы и добыли из них каучук. Корни песчаной хондриллы покрыты шишками и наплывами, как кости ревматика. В этих наплывах и лежит каучук.

Хондриллу нашли, но этого мало. Надо ее сделать домашней. Всем известно, что домашние куры, так же как и домашние свиньи, приносят гораздо больше пользы, чем дикие. Этот закон распространяется и на растения. Приручить их труднее, чем дикого кабана. Это искусство тонкое, требующее большого опыта, настойчивости и выдержки. Растению нельзя ни в чем уступать, иначе оно выйдет из повиновения.

О том, как приручают растения, лучше всего говорит история каучукового кустарника гваюлы.

Ни одна страна в мире не съедает столько каучука, как Соединенные Штаты. Там из каучука выделывают сорок тысяч разных изделий. Каждый американец, даже ребенок, требует около трех кило каучука в год. Четыре пятых каучука идут на автомобильные шины. Поэтому Северная Америка лихорадочно ищет новые каучуковые растения.

В степях Техаса был найден кустарник, седой, как полынь, — гваюла. В его стеблях, листьях и корнях был заключен каучук. Добыть его из гваюлы оказалось очень легко: он не растворен в соку растения, а лежит в стволе и листьях в виде сухих частиц.

Кусты гваюлы вырывают целиком из земли, прессуют, сушат, перетирают в порошок и порошок этот растворяют в воде. Легкий каучук всплывает белой пеной. Ее пускают через вальцы, и из них выползает тонкая каучуковая лента.

Способ добычи был найден. Тогда началась упорная работа, чтобы подчинить гваюлу культуре. Оказалось, что избыток влаги уменьшает количество каучука в гваюле. Когда много влаги, растение начи-

нает бурно расти, а каучук в нем накапливается только во время покоя.

Было сделано все, чтобы не нарушать покоя этого кустарника. Его тщательно берегли от чрезмерного роста, не давали ему много пить и сторожили его дремоту. Для посева и уборки гваюлы сконструировали машины. Придумали даже очень тонкую машину, которая сама, не причиняя никакого беспокойства кустарнику, собирает с него семена.

Но гваюлы Америке мало. Благочестивый Форд, вздыхающий о всеобщем мире, решил, что гваюла может подвести Америку во время новой войны. Гваюла дает каучук через четыре года. Во время войны некогда ждать, пока это медлительное растение накопит в себе каучук. Во время войны нужны военные темпы.

Форд начал поиски растения, обладающего военными качествами, — такого, которое давало бы каучук через год. Таким растением оказался ластовник. Во Флориде — влажной и пышной, как и ее название, — Форд открыл опытную станцию, где бессмертный старец Эдисон колдует над ластовником и применяет к нему потогонную систему.

Опыты Эдисона обставлены, как военная тайна. Плантации ластовника закрыты для всех, — там Америка готовится к будущим войнам.

Советские ученые приручают хондриллу. Гваюлу привезли к нам из Америки в 1925 году уже домашней. Ее семена высеяли в разных частях Союза. Гваюла прекрасно взошла, стойко переносит морозы и дает обильные плоды. В этом году она уже созреет и даст первый каучук.

Теперь о жестоком норде, несущем на Баку самумы пыли. Баку — гигантский город в желтой, растрескавшейся от зноя пустыне. Он окружен глиной и горами, серыми от копоти.

От норда Баку могут спасти только леса. Но какие же деревья согласятся расти на этой страшной земле, под дикими ветрами и ошеломляющим солнцем! В Баку нет деревьев. Воробьи собираются на трех тополях около вокзала, воробьи со всего Баку, — больше им негде собираться, — и подымают шум, заглушающий пыхтенье паровозов.

Ученые из Института новых культур утверждают, что Баку может быть спасен от нордов. И не только Баку, но и города Донбасса, открытые со всех сторон степным ветрам, пыли и газам с гигантских металлургических заводов. Спасет их айлант.

Айлант — красивое дерево. Оно, как это ни странно, не боится дыма, газов, заводской копоти и засухи. Из угара и норда оно ухитряется высасывать какие-то драгоценные для своего роста вещества.

В Пенсильвании, в Северной Америке, угольные районы покрыты рощами и парками из айланта.

Вокруг Баку должна быть создана защитная зона из айлантовых лесов.

Леса в СССР однообразны: береза, ель, сосна, береза, ель, сосна и так до бесчувствия. Нужны новые породы. Нужно брать деревья в Америке, в Азии, в Африке — всюду — и пересаживать их к нам в подходящий климат и на подходящую почву. Это не прихоть, это необходимость.

Мы все в глубине души испытываем страх перед истреблением лесов. Земля лысеет. Уничтожение лесов идет быстрее, чем они растут. На первый взгляд, нет выхода из этого тупика. Но это не так, выход есть прекрасный.

А нам, на наши северные протяжения и широты, — как хотите, но только не просторы («просторы» слишком комнатное слово, чтобы передать действительное величие этих ошеломляющих пространств), — надо перенести деревья, которые быстро растут и дают прекрасную древесину.

Есть бальзамическая пихта, — она растет в высоту на пятьдесят сантиметров в год. Есть сербская ель, —

в двадцать четыре года она дает деревья высотой в шесть метров. Есть сибирская лиственница и румелийская сосна. По сравнению с нашими тихоходами, елями и соснами, эти деревья — рысаки.

Есть деревья, высасывающие, как губка, болота. Их надо сажать в Белоруссии. Полесские болота неизмеримы, как небо. Я бывал там и на всю жизнь унес память об этих угрюмых далях, об этих лабиринтах воды и трясин, где смерть, безлюдье и мертвая тишина на каждом шагу на многие километры.

Канадский тополь и лиственница могут отсосать десятками тысяч насосов эти болота и выпитую воду выбросить, как пар, в пространство.

Есть деревья для солончаков и деревья для песков. В степях нужно сажать можжевельник и белую акацию, а на солончаках — тамариск.

Растения пришли к нам с юга. Юг — это исполинский конденсатор растений, родина тепла и человеческой культуры.

Юг черен от нагромождений листвы, где золотым слитком сверкает плод померанца. Глаза ботаников обращены к югу, как стрелка компаса стремится к ледяным пустыням Арктики.

Поэтому Институт новых культур ищет новые растения на юге.

Есть несколько очагов культурных растений, и все они совпадают с очагами цивилизации. Индия, Афганистан, Персия, Анатолия и Закавказье — родины ржи, пшеницы и льна, Китай и Япония — родины ячменя, овса и проса, побережье Средиземного моря — родина маслин и инжира, Абиссиния и, наконец, Мексика, Перу и Чили — родины картофеля, кукурузы, табака и хлопка.

Институт прикладной ботаники и новых культур отправляет в эти страны свои экспедиции. Они ищут растения, нужные Советскому Союзу. Директор института профессор Вавилов определил задачи института точно и коротко:

«Мобилизовать растительный капитал всего земного шара и сосредоточить в СССР весь сортовой запас семян, созданный в течение тысячелетий природой и человеком».

Эти слова звучат, как золотая латынь, — скупо, веско и торжественно.

Экспедиции института дают иногда «жестокие» результаты. Терпеливый селекционер бьется десятки лет, чтобы вырастить какой-нибудь сорт растения, например засухоустойчивую пшеницу, а экспедиция привозит готовые семена этой самой пшеницы. Труды селекционера идут прахом, но вместо разочарования он испытывает радость.

Экспедиции уже привезли в СССР множество семян новых растений: гваюлы и других каучуконосов, эфироносов, текстильных, кормовых и масличных растений.

Где были экспедиции института за последние годы? Я перечислю лишь несколько стран.

В Монголии, где экспедиция прошла караванным путем пять тысяч километров. Она нашла новый овес и пшеницу и собрала семена тысячи культурных растений.

Афганская экспедиция изучила всю историю ржи и вывезла семена семи тысяч растений. Экспедиция в Анатолию и Сирию привезла семена десяти тысяч растений, а экспедиция в страны Средиземного моря — двенадцать тысяч растений. Она работала полтора года. Между прочим, она привезла фотографии тысячелетних масличных деревьев.

Одна из крупнейших экспедиций — это экспедиция в страны Латинской Америки. Она привезла каучуковые растения и неслыханное множество семян новых сортов картофеля (сто видов), кукурузы, бобов и других растений.

Экспедиция на Памир в 1927 году нашла в холодных горных областях на высоте в три тысячи метров заросли кормовой травы — люцерны. Были собраны семена. Их отправили на север, где они должны взойти и дать урожай.

Я не буду продолжать этот блистательный список экспедиций. Довольно и этого. Американцы для своих научных экспедиций строят богатые яхты, сверкающие хрусталем и красным деревом. Наши экспедиции дешевы и скромны. Очень часто участники их ночуют в сараях и загонах для скота, считая тропические звезды и прислушиваясь к сопенью коров.

Привезенные семена высевают и пробуют на опытных полях института — от Полярного круга до границ Афганистана и от Владивостока до границ Литвы.

Институт, изучая растения, сделал много любопытнейших открытий. Некоторые из них на первый взгляд парадоксальны, например открытие растений «короткого» и «длинного» дня.

На севере, где белые ночи и летний день лежит между двух зорь, южные растения не вызревают. Почему? Не торопитесь отвечать. Вы скажете, конечно, что для южных растений на севере мало тепла, и попадете впросак.

Вовсе не от недостатка тепла, а, наоборот, от избытка света.

Летние дни на юге короче северных, и южное растение изнемогает от света, чахнет от него, ему нужна густая южная ночь. Институт сделал пробу. Он искусственно затенил южные растения, посаженные на северных землях, и получились поразительные результаты, — растения начали прекрасно вызревать. Так вызрел в СССР хлопчатник из Индо-Китая, дающий волокно, не отличимое от шерсти, так вызрела на севере южная репа.

Первыми начали погоню за растениями американцы. Они рыщут по всему миру и находят в Китае персики весом в полкило, а в Тибете — овес на камнях гор, где растут только лишаи.

Эпопея этих поисков заслуживает своего Джека Лондона. Американский ботаник Рок проник в гор-

ный Сиам, где до него не был ни один белый. Рок слышал, что сиамцы добывают из неведомого растения масло, которым вылечивают проказу. Рок играл в прятки с опасностями, риск неотступно шел за его спиной, но растение было найдено, и семена его Рок привез в Америку.

Американцы нашли сахарный тростник, легко переносящий зиму, растение, клубни которого дают крепкий клейстер для аэропланных пропеллеров, и дикие арбузы в пустыне Калахари.

Американцы нашли сахарный тростник, легко переносящий морозы. Это понятно, — Америка съедает сахара столько же, сколько иные страны хлеба. Есть страны, где каждый человек съедает восемьдесят два кило сахара в год, например Сандвичевы острова.

Через пятнадцать — двадцать лет Советскому Союзу понадобится от шести до тринадцати миллионов тонн сахара в год. Сахар будет стоить не дороже хлеба. Но свекла не может дать эти горы сахара, — свекла растет только на Украине, в полосе лесостепи. Сахара не хватит.

Нужны новые сахаристые растения, и они уже найдены. Прежде всего это «сладкие палки», сахарный тростник. У нас есть своя Арктика и свои тропики — Батумское побережье. Первые пробы доказали, что яванский тростник хорошо вызревает в Сухуме и Батуме.

Потом — кукуруза и сорго. Кукурузный сахар — самый дешевый. Он особенно хорош для фруктовых консервов. Громадные плантации кукурузы можно разбить около Днепростроя, где будут созданы фруктовые консервные заводы. Сорго прекрасно растет в южных степях и по берегам Азовского моря.

Пока только один завод во Владикавказе добывает из кукурузы и сорго сахар и сироп. Собираются строить второй большой завод около станции Беслан.

Синие цветы цикория напоминают о кофейном паре. Пар пахнет заморскими странами, а наивный цикорий скромно растет в полях срединной России.

Он наивен и прост, — он растет на скудной земле, не страдает от холода и не боится вредителей. Цикорий может давать хороший сахар. Завод Шенебека на Эльбе первый начал изготовлять цикорный сахар. Этот опыт должен быть перенесен в СССР.

Осень на Украине, на берегах Азовского моря пахнет свежестью и перезрелыми дынями. На многие километры лежат золотые бахчи, чуть седоватые от паутины. В куренях вздыхают беззубые сторожа-старики. Они сжимают арбузы трясущимися руками и по легкому треску узнают их вкус и зрелость. С моря приходят просмоленные байды и грузят горы арбузов в Севастополь, Ростов и Одессу.

Бахчи — это сахарные плантации. Крестьяне варят из дынь сладкий мед — бекмес. В некоторых сортах дынь — восемнадцать процентов сахара, а в арбузах и тыквах — двенадцать процентов. Тыква с одного гектара дает четыре тысячи кило сахара.

Так идиллические баштаны с идиллически воспетыми сторожами превращаются в сахарные плантации, и веянье индустриального века смывает сонный прадедовский покой баштанов.

На сухумском базаре продают куски лиловой кожи. Ее покупают на сантиметры. Кожа, если ее пожевать, очень острого и приятного вкуса. Это алыча, спрессованная мякоть дикой сливы. Из нее делают острую приправу к жирным азиатским блюдам и туземную горчицу — соцобели. От соцобели спирает дыханье и глаза наливаются кровью.

В 1922 году я уснул в горах около Цебельды, в громадном заглохшем саду, похожем на девственный лес. Синева, доведенная до блеска, стекала с гор свежими волнами. На лицо падали с исполинского дерева маленькие оранжевые плоды алычи. У них был сладкий и немного терпкий вкус.

Я не знал тогда, что вот этот плод нужен нашему полярному северу, как хлеб. Я не знал, что полярные путешественники ценят его дороже золота потому, что алыча — надежное средство против цинги.

Есть сорта алычи, которые вытягиваются вверх тонким и ровным стволом в четыре метра и лишь в самом верху дают крону. Эти сорта до войны вывозились из Сухума во Францию для украшения версальских парков.

Так дикое растение приобретает биографию.

Я знал человека, воспринимавшего все окружающее только обонянием. Он был близорук и рассеян. Рассеянность сродни глухоте, человек рассеянный не прислушивается к звукам. Поэтому вся жизнь для него состояла из запахов. Вечера пахли пылью и дождем, море — льдом, а чернила — ржавчиной. Как моряк видит береговые огни на полчаса раньше всех пассажиров, так он улавливал запахи на полчаса раньше обычных людей. Он был дегустатором запахов. Я вспоминаю о нем, когда пишу эти строки об ароматических растениях.

Экзотика преследует меня по пятам. Первое растение — это айован. Оно родом из Индии, но его можно очень легко разводить в Средней Азии. В нем много тимола. Тимол асептичен. Он обеззараживает, и потому из айованового сока делают мыло и зубную пасту.

Французский писатель Пьер Амп написал книгу «Песня песней», как бы продушенную насквозь. В ней он описывает парфюмерное производство на юге Франции. Он много пишет о лаванде.

Лавандовое масло идет в духи и на приготовление лака. Сухие цветы лаванды сжигают и окуривают их дымом меха и ткани от порчи. Жестокий запах нафталина, преследующий нас каждую осень, можно заменять едва заметным и теплым запахом лаванды. Лаванда дает крепкий мед. Она растет в южных странах на солнечных склонах гор. Ее собирают в полдень, в безветренные и знойные дни, иначе половина запаха улетучится. Сухие цветы лаванды сильно пахнут несколько лет. Их рассыпают под коврами.

У нас лаванда прекрасно может цвести на крымской яйле и на побережье Черного моря, от Новороссийска до Туапсе.

Голландия — классическая страна тмина. Хлеб с тмином, сыр с тмином, ликер с тмином — этот обычай пошел из Голландии. Раньше зерна тмина очень легко опадали от ветра. Пропадала большая часть урожая. Голландцы вывели сорта тмина с неопадающими зернами. Так в корне был изменен закон природы.

Захолустная герань — символ мещанского уюта, — краснеющая, как засидевшаяся невеста за чисто протертыми окошками, может, оказывается, заменить розовое масло. Герань родилась в Алжире. Алжир изнемогает от зарослей герани и ее настойчивого запаха. Вся ценность герани — в пахучих листьях.

Наконец, ирис и померанец, принесенные к нам из Флоренции и Калабрии, дают тончайшие ароматические экстракты для духов.

СССР может легко и в сравнительно недолгий срок наладить экспорт запахов. Запахи легко превращаются в валюту.

Я сознательно не упоминаю о серебристой мимозе. Заросли ее тянутся вдоль железнодорожной линии Батум — Ланчхуты. Эта мимоза — прекрасный дубитель. Я не упоминаю о кормовой траве тефф из Абиссинии. Она растет даже на песке. Я не упоминаю о новых сортах пшеницы и о многом другом. Работы института, даже изложенные скупым телеграфным языком, могут занять толстые томы по пятьсот — шестьсот страниц.

В сентябре начинается листопад. Страна бывает покрыта золотом и синевой. Тихие дожди листвы шуршат под холодным солнцем, и Москва-река несет ворохи листвы. Листва пахнет винными пробками.

Как умирает лист? У основания черенка нарастает пробковый слой, он отделяет лист, и при первом же легком ветре или утреннике лист падает, кружась, на землю.

Тонкий пробковый слой шуршит под ногами. На сорокалетней березе двести пятьдесят тысяч листьев. Они весят тридцать два кило. Гектар березового леса отряхает с ветвей каждую осень тридцать две тысячи кило сухой листвы. Сколько пробки, которую никак нельзя использовать, гниет в лесах!

Настоящую пробку добывают из коры пробкового дуба. Классические страны пробкового дуба — Испания и Алжир. Но есть пробковый дуб и в саду Смецкого, под Сухумом. Рощи пробковых дубов есть под Кутаисом. Этот дуб прекрасно растет не только в Закавказье, но и в Крыму.

Поиски пробковых деревьев начаты недавно. Но уже нашли на Дальнем Востоке и на Украине бархатное дерево. Его кора дает пробку, луб — желтую краску, а древесина — упругие лыжи и части самолетов. Нашли пробковый берест, на котором слой пробки лежит кольцами.

Нас окружают неслыханные богатства. Жизнь растений берет нас в плен, как сумрачные и пышные заросли. В ней спрессован драгоценный материал. Его хватит на сотни книг и на многие часы работы. Неподвижное растение заражает нас действительностью. Скука растворяется в свежих запахах, усталость проходит от прохладного прикосновения листвы, гениальная мысль заключена в прирученной гваюле. Поэтому я посвящаю этот очерк всем, кто не видит романтики нашей эпохи и оплакивает пафос недавних лет. Есть пафос борьбы и пафос упорной и талантливой работы. Есть романтика Перекопа и романтика селекции. И то и другое равноценно.

1930

РАЗГОВОР О РЫБЕ

На этикетках для сардинок изображено густое, как синька, море и багровые рыбаки, выволакивающие сеть. Лимонного цвета солнце блистает над этим идиллическим ловом, и пестрые флаги пароходов расцвечивают веселый горизонт.

Таков труд рыбаков в представлении бездельников.

Действительность не такова. Море редко бывает приятным, как курортное озеро, а рыбаки не скалят весело зубы. В действительности — мутные волны, ветры разных румбов и баллов, раздражающая мокрота повсюду, растертые сетями пальцы, кровавые пузыри и запах рассола, острый, как нашатырь, но полезный для легких. Так ловят сардинку.

У нас сардинку приготовляют из хамсы — обильной рыбки, живущей большими стаями. Весной эти стаи, похожие с самолетов на исполинские оловянные реки, льются мимо берегов Азова, Крыма и Одессы и застревают в узких бухтах.

В Балаклаве бывают годы, когда хамса стоит так густо, что можно воткнуть в воду весло, точно вилку в хлеб. От собственного обилия рыба задыхается и гибнет. Иногда северный шторм разрывает и комкает

эти реки хамсы и уносит их к югу, к берегам Турции. Тогда среди крымских рыбаков начинается паника.

Хамса — универсальная рыба. Ее солят, маринуют, коптят, из нее делают сардинки. Ее маслянистый и соленый запах вызывает представление о черноморской весне, о Керчи, о городах, омываемых мутными волнами и уютных, как театральные макеты. Ее свинцовый блеск сродни окраске миноносок.

Фирина идет, как хамса, — серебряными Волгами, Дунаями, громадными движущимися полями. Когда она появляется в Одесском порту, все набережные заполняются семействами рыбаков и кошками. Семейства сообща ловят фирину сетями, похожими на исполинские зонтики. Сеть опускают в воду при помощи доморощенных блоков. Блоки визжат. Кошки воруют фирину и дичают от улюлюканья и побоев.

Когда в дни лова фирины проходишь через порт, из-за чугунных пушек, из-за пакгаузов и ржавых якорей зеленым огнем блестят злые кошачьи глаза. Идешь, как на сцене перед толпой враждебно настроенных зрителей.

Но не на фирине, конечно, и не на хамсе построены планы рыбных трестов. Это — мелочь, хотя бы и очень прочно вросшая в приморский быт.

Трестам нужна красная рыба, рыба частиковая, многомиллионная, теряющая индивидуальность, перерастающая в товар, в цены, в центнеры. Это — сельдь, судак, вобла, белуга, треска, горбушка, кета, — прущие по весне баснословными косяками в устья рек и закупоривающие узкие протоки.

Советский Союз богат рыбой. Еще в средние века Московия славилась черной икрой и осетрами. Цари дарили иноземным послам для удивления пудовых карасей из зауральских озер и бронзовых стерлядок.

Во времена гоголевские появился «лабардан», иначе треска. «Лабарданом», а не только пресловутыми борзыми щенками, давали взятки. Селедка, на-

равне с картошкой, прочно вторгалась в быт. Тысячи крестьян пошли за рыбой, рабочие артели в течение столетий обрастали традициями и навыками.

Промысла росли. Путины гремели от Каспия до Мурмана, диктуя цены и обещая рыбным складам России и заграницы обилие своего холодного и ценного товара. Биржи нервничали из-за керченской сельди и камчатского сальмона. Иностранные пароходы везли в трюмах во льду бочонки с зернистой икрой, обернутой в пергаментную бумагу. Бочонки обрастали инеем. Этот груз считался таким же нежным, как живые цветы или фрукты. Икра была признана наилучшим кормом для человечества, — в ней были спрессованы ценнейшие питательные вещества.

Первая мировая война обрушилась на промысла тяжелым штормом. В гражданскую войну промысла — особенно каспийские — напоминали разинскую вольницу. Обозы браконьеров разбивали таборы около заповедных вод и опустошали омуты — «ямы», где стояла красная рыба. Ее глушили ручными гранатами и травили ядом. Сети истлевали на берегах.

Восстановление промысла началось примерно с 1922 года. Были объявлены районы заповедных вод и поставлена надежная охрана.

Рыбное хозяйство вошло в русло точного плана. С большим размахом начались работы по разведению рыбы, — мальки перевозились на самолетах. Пошла горячая постройка рыбачьих судов. На севере начался траловый лов. За границей заказали десятки тралеров.

С соседними странами были заключены конвенции, положившие конец хищническому лову. Возникли мощные рыбацкие кооперативы и рыбные тресты.

Наконец с промыслов был изгнан хитрейший частник, и началась коллективизация рыбачьих хозяйств.

Научные институты развернули интереснейшие работы. Они занялись составлением точных карт движения рыбы, мест ее размножения, поисками новых рыбных россыпей.

Консервные заводы перешли к работе с полной нагрузкой. Началась постройка новых заводов на Черном море, на севере и на Дальнем Востоке.

На Дальнем Востоке впервые начали работать плавучие консервные заводы.

Вобла — подруга революционных дней, надежная пища 1919—1920 годов — сменилась более питательными и тонкими сортами. Теперь на заграничных выставках блестит розовое и маслянистое мясо нашей лососины, черным жемчугом набухает в фарфоровых банках зернистая икра и красной крупной смородиной просвечивает икра кеты. Гигантские стерляди лежат на прилавках, окрашенные в серую синеву каспийской воды, и сотни коробок со скумбрией, омарами и бычками создают причудливые пирамиды этикеток.

Далекие рыбные промыслы снабжали в старое время рыбой только свой район, — в Москву, в центр страны, рыба не попадала.

Только в последнее время тихоокеанская рыба появилась в Москве.

Своеобразие наших рыбных районов так велико, что заслуживает целых томов для своего описания.

Начнем с Севера.

Начнем с Мурманского побережья, где теплая лента Гольфштрема приносит мягкие зимы и неслыханные стаи трески. Перед треской идет маленькая рыба — майва. В движении рыбьих стай есть закономерность. Так, на Черном море перед ходом скумбрии идет фирина, а на Дальнем Востоке перед ходом горбуши идут передовые крупные рыбы, своего рода квартирьеры. Рыбаки зовут их «гонцами».

Треска геологическими пластами движется около дна. Достаточно опустить бечевку с крючком, чтобы подцепить рыбу за хвост, за брюхо, за жабры.

Поморы в поисках рыбы и зверя открыли человечеству полярный архипелаг, что нисколько не умаляет заслуг Нансена и Амундсена. Поморы нашли остров Грумант (Шпицберген) и Новую Землю.

Кроме трески, Север дает навагу с костями, прозрачными, как желатин, — рыбу, оставшуюся от ледникового периода, дает дельфинов и зверя.

На Севере не только один Мурман богат рыбой. Несметные стаи рыб гибнут естественной смертью в устьях сибирских рек. На Лене начат промысел около Булуна. Он короток, как якутское лето, но дает ценнейшую рыбу — лососину.

Дальше идет Камчатка, Охотское море и Приморье. Они гремят на весь мир своей горбушей и селедкой иваси. Дальневосточные воды стали приманкой для хищников.

Не только японцы и американцы, но и норвежцы приходили к пустынным и туманным берегам Камчатки и брали баснословные контрабандные уловы. Сейчас охрана береговых вод усилена, хищничать нельзя, и японские рыбные фирмы скупают участки с торгов во Владивостоке. Провалившиеся на торгах подымают шум на всю Японию и требуют смены правительства. Отсюда видно, что наши рыбные богатства в тихоокеанских водах достаточно велики.

Перечисляя промысла, мы движемся по часовой стрелке. Стрелка идет к Аральскому морю. В зное, в песках, в горячих туманах лежит это индиговое море, полное рыбы и камышовых зарослей.

За Аралом — наша рыбная гордость Каспий, усеянный промыслами, увековеченный, каждый год весной привлекающий к себе внимание всей страны.

Сердце Каспия — Астрахань. Это мутная Азия, сети, клепка, соль и рыба. Каспий — это стерлядь, белуга, осетр и все то, что называется красной рыбой. Это и частиковая рыба: селедка, вобла, лещ и сазан. Но знаменит Каспий сельдью и воблой.

Сорта каспийской сельди очень разнообразны. Есть сельдь пузанок, есть волжская, есть синеморская, есть черноспинка, залом, бешенка, долгинская и астрабадская. Когда сельдь идет густо, то один невод захватывает ее иногда пятнадцать вагонов.

До половины XIX века селедку не ели. Ее даже считали вредной, дурной рыбой. Первый человек, начавший

есть ее в соленом виде, был академик Бер. С тех пор лов сельди начал расти с чудовищной быстротой, началась сельдяная горячка, едва не окончившаяся катастрофой — сельдь перестала ловиться, она была вычерпана.

Понадобились строгие меры, чтобы восстановить сельдяные стада.

И сельдь и вобла — проходные рыбы. Это значит, что они живут в море, а в реки приходят только метать икру. Ход бывает осенний и весенний, — по этому ходу и существуют две главные путины. Самый мощный ход — весенний.

Дальше стрелка идет к Азовскому и Черному морям. Это старые моря, старые знакомцы. В донских гирлах, обнесенных кое-где ржавыми цепями, свинцово и тихо стоят заповедные воды. Нет такого рыбака на всем побережье от Ейска до Кагальника и от Мариуполя до Таганрога, будь он трижды честным человеком, который не мечтал бы половить хотя бы раз в заповедных водах.

Под Таганрогом браконьеров звали «крутаями». Это было еще до революции. Они шли в гирла на легких байдах с парусами и веслами. В заповедных водах они на ходу закидывали сети, делали круг и уходили, выбирая сети. Уловы были баснословны, но не шли впрок, — рыбаки пропивали их и проигрывали в кости в таганрогских кабаках.

Не всегда, но очень часто их настигал сторожевой катер. Тогда частая пальба оглашала взморье, и единственное спасенье было в том, чтобы выброситься на берег и удрать от стражи, оставив ей байду, сети и улов.

Азовское море славится судаком и селедкой, знаменитой керченской селедкой. Когда в гирлах она идет мимо парохода, — кружится голова. Бесшумное движение сотен тысяч и миллионов рыб, — движение стремительное, стихийное и длящееся часами, — вызывает трепет.

Если вы услышите над морем глухой шум водопада, — значит, идет рыба. Шумит не она, а исполин-

ские стаи чаек, висящие низко над водой белыми облаками. Чайки дают знать на берег о ходе рыбы, — может быть, поэтому рыбаки считают убийство чаек величайшим преступлением.

Человек, застреливший чайку, становится отщепенцем, зачумленным, его выбрасывают из общества.

Наконец, Черное море, где рыбные промыслы носят, на первый взгляд, декоративный характер. Я уже говорил о хамсе и фирине, но не говорил о чудесных рыбах — скумбрии, камбале и кефали. Это рыбы теплых морей. Даже внешний их вид ясно говорит об этом, — в них много сиреневого, синего и густо-золотого цвета.

Кто ловит по берегам Черного моря? Украинцы — знаменитые рыбаки из Збурьевки и Херсона, с Кинбурна и Одессы — потомки «потемкинцев», вольнолюбивые и язвительные, смелые и полные достоинства, как английские шкипера.

Греки из Балаклавы — листригоны или пиндосы — воспеты многими писателями и поэтами.

Кроме греков и украинцев, на Черном море ловят турки из Анатолии, — коричневый и безропотный народ, украшающий свои фелюги, как невесту.

Черноморские рыбаки — особое племя, родственное левантийцам. Это смесь всех береговых племен и всей храбрости, воспитывавшейся веками у жителей моря. Жизнерадостность их рождена трудом, базарами и солнцем. Язык их сочен, как южные арбузы.

Рыбаки и рыбная ловля воспеты в литературе с древних времен. Вспомните Аксакова, Куприна, Ибаньеса, Лоти, Джека Лондона, Чехова, Пришвина.

Вспомните каприйских рыбаков, с которыми рыбачил Ленин. Они называли Ильича «синьор дринь-дринь». Объясняется это прозвище вот чем: на Капри ловят со шлюпок на длинные бечевки, опуская их с грузилом на дно. Когда рыба возьмет, то толчок передается пальцам в виде электрического разряда: «Дринь-дринь». Так объясняли рыбаки Ильичу. Он

смеялся каждый раз, когда клевала рыба, и кричал: «Дринь-дринь».

Он умел отдыхать, а ведь нет лучшего отдыха, как ловля рыбы в солнечное и тихое утро у скалистых берегов, окрашенных румянцем йода и водорослей. Свежесть и соль пропитывают легкие, а в драгоценной прозрачной воде бронзой и огнем сверкает пойманная макрель.

Отдых этот непередаваем, — его нужно испытать самому.

Воды всюду прекрасны: и на юге, и в тишине и песках наших северных лесов, и в зное Арала.

1930

ЗОНА ГОЛУБОГО ОГНЯ

Рабочий, с виду мальчик, небрежно сбросил со лба на глаза черные очки и низко нагнулся над железной балкой. Тотчас рядом с ним упала на землю с гулом и шипеньем ослепительная колючая звезда. Голубое пламя полилось по заводскому двору нестерпимой дрожью.

Звезда раскололась на части, отдельные иглы отлетели с треском и звоном, желтый дым окрасился в цвет морского утра — слегка фиолетовый, очень свежий, каким бывает солнце, пропущенное через хрустальную призму. Синие фейерверки автогена загудели во всех концах двора. Первая смена вступила в работу.

Рабочий был похож на лаборанта. Он сидел над горелкой, не шевелясь, как ученый за микроскопом. Черные очки, сосредоточенность и бледное лицо увеличивали сходство. Изредка медленная капля пота стекала на железо и так же медленно таяла, оставляя бледное пятнышко соли.

Рабочий отнял горелку, на железе вздулась кровавая рана разреза. Рабочего звали Николаем Грибковым. Ему было восемнадцать лет. Он резал автогеном металл.

Сосредоточенность его казалась излишней. На балке линия разреза отмечалась жирной белой чер-

той, — скривить было трудно. Сосредоточенность, конечно, объяснялась не этим. Из горелки рвалось пламя трех цветов. По краям оно было желтое, в середине — голубое, а при самом выходе из горелки — расплавленно-белое. Хорошую сварку давало пламя средней голубой зоны. Надо было ловить это пламя, следить за шириной огня, устранять дрожь руки. Эти навыки сварки въелись в сознание так крепко, что Грибков перенес их на резку металла.

Он резал и повторял про себя слова инструктора: «Работайте только средней зоной огня, работайте только синей зоной огня! Иначе вы не добьетесь доброкачественной сварки. Работайте только синей зоной огня».

Бессмысленное повторение одних и тех же слов — признак усталости. Грибков устал, но не от работы. Усталость пришла после случая в кино «Нептун». Усталость, раздражение и необъяснимая тоска.

Он работал и не заметил, что на железном щите с надписью: «Не смотри на пламя — испортишь глаза» — чья-то рука косо вывела мелом:

«Грибков — вор».

Выхлопные трубы дышали размеренно и часто, как дровосеки. Близорукий инженер-немец рассматривал через очки, как через лупу, плакат об экскурсии на Волховскую гидростанцию и задумчиво сосал сигару.

Завод гудел, как всегда. В этом гуле были непрерывность потока, скольжение невидимого конвейера, двигавшегося сквозь пар, пламя горнов, хлопанье молотов, запах кислот и шипенье автогенной сварки.

Конвейер выбрасывал мощные ребристые трансформаторы и хрустальный мир электрических ламп, сверкающих блеском прозрачного серебра.

Завод гремел по Москве и завоевал орден Ленина, а на заводе гремела ударная бригада сварщиков-комсомольцев имени Макса Гельца.

Грибков пришел к бригадиру Штейну. Штейн ругался в конторке с мастером-плановщиком из-за нарядов.

— Что тебе, Грибков? — спросил Штейн и взглянул, как всегда, исподлобья.

— Почему вы, честные комсомольцы, держите в своей бригаде вора? — глухо спросил Грибков.

— Какого вора?

— Да вот меня.

— Брось, Грибков. Ты же знаешь, как ребята к тебе относятся.

— Почему вы, честные, держите вора?—упрямо повторил Грибков. Он повторял эти слова несколько раз, настойчиво, зло, и губы его дрожали все сильнее.

Штейн взял его за локоть и повел в цех:

— Брось, успокойся. Как можно из-за такой чепухи...

На железном щите слова «Грибков-вор» кто-то замазал и белела новая надпись:

«Мерзавцу, стремящемуся оклеветать нашего товарища и внести разлад в бригаду, мы дадим такой урок, что он вспомнит свою прабабушку, как живую».

Слова «как живую» были зачеркнуты и рядом было написано «как таковую».

Штейн улыбнулся, стараясь скрыть улыбку от Грибкова.

В январе в сварочном цехе вышла задержка с трансформаторами.

В январе бывший сварщик Штейн, работавший в контрольном отделе, услышал по радио доклад о производственных коммунах. Громкоговоритель противным голосом изложил устав этих коммун. Штейн быстро схватывал сущность вещей, забывая о внешней их форме. Таково свойство поколения, выросшего после революции.

Сын часового мастера — Штейн в наследство от отца получил любовь к точным механизмам. Изменились только масштабы. Отец, выросший в тесноте и вони гетто, возился с часами, как аптекарь с унциями, а Штейн дышал воздухом революции и любил громадные механизмы заводов.

Он обошел сварочный цех, подумал, собрал комсомольцев и предложил им устроить ударную производственную коммуну.

Устав коммуны был очень прост: заработок поровну, за работу отвечают все. Штейн ушел из контрольного отдела, где получал двести рублей, в сварщики. Не только он, но и другие комсомольцы сознательно шли на понижение заработка. Не в этом было главное. Дело было в том, чтобы «показать класс» и внедрить в жизнь новые методы работы.

Цеховые скептики сулили провал. Скептицизм неистребим, как ирония. Скептицизм даже нужен, — при столкновении со скептиками бригада развязывала скрытую в ней энергию и удесятеряла удары — снаряд, как известно, взрывается при столкновении с препятствием.

Через короткое время бригада превысила нормы производительности труда на семьдесят процентов. Потом скептикам нанесли второй удар: заработок бригадников начал перегонять заработок скептиков, копавшихся каждый над своей «операцией».

Цех сдался, поглядел и вынес резолюцию: семьдесят процентов! Ну и дьяволы, как взялись за сварку!

Старикам было обидно. Мальчишки вставляли им перо за пером и учили ударной работе.

Возникло соревнование. Возникла вторая коммуна из беспартийных.

Штейн взял в свою бригаду трех беспризорников. В их числе был и Николай Грибков.

В кино «Нептун» шла картина «Курс — норд».

За Яузой в дыму и беспорядке кирпичных стен стыл закат, похожий на линялые полотнища оконченного праздника. В закате была одна только первая зона огня — багровая.

От беспризорности у Грибкова осталась любовь к живописным лохмотьям. Никакие убеждения не действовали. В город он выходил в рваной прозодежде и носил ее легко и уверенно. Каждая заплата и каждая дыра были не обыкновенными заплатами и дырами, а ранами и шрамами большого трудового дня. С завода он уходил, как с места боя.

Кино «Нептун» было хорошо знакомо. В годы беспризорности Грибков очень часто вертелся у кассы и говорил нарядным женщинам в светящихся чулках:

— Тетя, не заставляйте себя просить, дайте пять копеек сами.

Сейчас Грибков — сварщик и рабфаковец — стал в очередь.

Он засунул руки в карман и насвистывал «Марш Буденного». Он был полноправным гражданином, спокойным зрителем и оценщиком новой картины.

Милиционер с острыми серыми глазами, худой, как скелет, узнал Грибкова. Сомнений не было, — конечно, «Сверчок», имевший два привода за карманные кражи.

Женщина, стоявшая перед Грибковым, уронила сумку. Грибков быстро нагнулся, чтобы поднять ее, но милиционер схватил его за плечо. Грибков вырвался:

— Ошибся, мелитон. Не с тем дело имеешь!

Милиционер свистнул. Грибкова забрали. Все это видел подручный Петин из малого сборочного цеха. На следующий день пошли разговоры, что Грибкова арестовали за попытку украсть дамскую сумочку.

— Врете, черти, — сказал Штейн и поехал с двумя бригадниками в милицию.

Штейн возмутился. Грибков не вор и не может быть вором. Где доказательства?

Доказательств не было.

— Что же вы, товарищ? — сказал Штейн начальнику отделения. — Вся бригада с беспризорными работает, делает из них сознательных граждан, а вы нам все дело срываете.

Бригадник и староста Николаев—единственный старик в коммуне—угрюмо посмотрел на начальника отделения через очки в железной оправе и сказал сердито:

— Невежливо это, товарищ.

Начальник смутился, и Грибкова отпустили.

Жизнь бригад не течет так легко и безбурно, как думают иные присяжные описатели. Бригады не работают «с улыбками, гармошками и песнями» и далеки от хвастливых выкриков насчет закидывания шапками. Мутное море хвастовства иногда кипит вокруг стен завода, но завод строг и сосредоточен.

Бригады не верят хвастунам и не любят самомнительных людей. Человек шумит, а на подварке, глядишь, его трансформатор и даст течь. Грош цена таким разговорщикам.

У бригады имени Гельца был свой завистник. Кто он — бригада не знала, но догадывалась: кажется, один из мастеров. Семьдесят процентов и полное отсутствие брака не давали ему покоя. Зависть грызла его.

Случай с Грибковым завистник решил использовать, чтобы подорвать бригаду. Он пустил по цеху в качестве пищи для разговоров наивную тему.

— Вот глядите, какие у них ударники. Не рабочие, а карманные воры.

Тема потерпела провал. Тогда завистник начал раздувать слух, что в Ленинграде у трансформаторов, выпущенных бригадой, лопнули швы. Бригада взволновалась. Этот разговор был уже посерьезнее. В Ленинград послали представителей.

Оказалось, что часть швов разошлась, так как трансформаторы безобразно перевозили, роняли. От такого обращения лопнул бы не только хрупкий трансформатор, но и паровой молот.

Бригада была ни при чем — это было ясно каждому, но все же комсомольцы решили особенно тщательно относиться к подварке.

Когда трансформатор готов, его наливают водой и испытывают под давлением — нет ли течи. Потом испытывают на масло. Если течь есть, трансформатор «подваривают». После подварки трансформатор переходит из сварочной в другие цеха.

Грибков долго не мог успокоиться. Он всегда был одним из самых сдержанных бригадников, никогда не гнался за большим рублем и ни разу не нарушил мерный и непрерывный ход работы в цехе. Он варил, молчал, и ему все казалось, что рабочие, прячась за гулом горелок, говорят о том, что он вор.

Он видел, как Штейн бился с другим беспризорным, Васькой Петухом. Васька тосковал, — то просился в другие цеха, то хотел вовсе бросить завод, — иногда он прислушивался к шуму завода и толкал Грибкова:

— Слышь, море шумит.

Васька был по натуре «летун».

Комсомольцы внимательно поглядывали на обоих. Штейн морщил лоб и задумывался, как бы подойти к ним поубедительней и помягче: у обоих надо было загладить память о прошлом. Вся бригада была привлечена к этому делу. Очень медленно и осторожно им удалось втянуть беспризорных в культурную работу и послать их учиться.

Однажды в сварочную пришел инженер Братин. Он предложил всем бригадникам точно изложить на бумаге весь процесс сборки, сварки и подварки трансформаторов. Изложили. Тогда Братин сказал:

— Обдумайте каждый всю работу шаг за шагом и внесите поправки.

И Грибкову и Ваське до тех пор казалось, что работа в цехе однообразна, строго рассчитана и ничего в ней переменить нельзя. Думать над ней, по их мнению, было делом инженеров. Теперь предлагали думать им самим.

Грибков вырезал горелкой в донышке трансформатора дыры. В ламповом цехе он видел штамповочные машины. Они хрюкали, как сонные чугунные свиньи, и вырезали в листах золотой латуни ровные и частые дыры.

Грибков предложил дыры в донышке штамповать машинами. И скорее и чище.

Братин выслушал его строго. На сухом его лице Грибков не заметил ничего, кроме внимательности, а через неделю в сварочный начали приходить донышки со штампованными дырами.

Как-то, придя в цех, Братин сказал:

— Вы получили премию. Хотите поехать с экскурсией на Волховстрой?

Грибков покраснел. Васька свистнул и налег на рационализацию. Николаев совсем смутил его:

— Будешь лучший ударник — пошлют тебя кругом Европы на теплоходе. Читал в «Известиях»?

— Нет, не читал.

— А ты почитай, летун.

Тогда Васька придумал стол для сварки швов.

Штейн добился экономии в пять тысяч рублей, отменив контрольный листок, носивший название «форма 457». Листок этот путался под ногами и мешал работать. Сварщик варит 40 швов. Раньше на каждый шов составлялся контрольный листок. После сварки каждого шва листок надо было передавать контролеру. Сорок швов — сорок листков. Листки терялись, с ними было много возни. Штейн отменил эти листки и ввел один листок на весь трансформатор.

Рационализаторская работа увлекла всех. Она была особенно наглядной и точной.

С Ладоги дул ветер. К вечеру вокруг белых фонарей закружился первый снег. Он шел недолго, таял, тонул в Волхове и стекал мелкими каплями по голубым окнам гидростанции.

Грибков сидел в красном уголке. Тихо, но очень мощно гудели турбины. Голос громкоговорителя заглушал шелест газет. Станция Коминтерна передавала в эфир рапорт комсомольской бригады имени Макса Гельца.

Грибков слушал, радовался и удивлялся. Там, на заводе, жизнь шла в ежедневной борьбе, в ежечасных заботах, и за ними не было так отчетливо видно всех достижений, как со стороны. Рапорт подводил итог. Он свел всю работу бригады к нескольким точным формулам.

«Бригада поставила своей задачей воспитать коммунистические отношения к труду».

«Производительность труда бригадников превысила норму на 70%».

«Зарплата всех членов коммуны, независимо от квалификации, совершенно одинакова и превышает зарплату наиболее квалифицированных рабочих».

«У коммуны нет ни одного прогула и ни одного опоздания».

«Брака нет».

«Вслед за бригадой весь сварочный цех значительно улучшил работу».

«Бригада обучает четырех чернорабочих, делая из них высококвалифицированных сварщиков».

«Вся бригада постановила не покидать завод до конца пятилетки».

«План на 1930/31 год, данный администрацией, бригада увеличила вдвое».

«Бригада обязалась выполнить пятилетку в два с половиной года и свое обязательство сдержит».

Грибкову казалось, что рабочие гидростанции и молодой техник, сидевший в красном уголке, смотрят на него с добродушным почтением. Это сильно смущало. Хотелось поскорее удрать.

Через час отходил поезд на Ленинград. Грибков взглянул сквозь ноябрьскую ночь на здание Волховской станции. Оно пламенело голубым огнем, как средняя зона автогенного пламени, и пульсировало током, лившимся через трансформаторы на гигантские заводы Ленинграда.

Голубой и спокойный купол огня был виден из окна вагона очень долго. Ненастная ночь разбивалась об этот блеск, как разбивается птица, налетая на фонарь маяка.

1930

ОНЕЖСКИЙ ЗАВОД

В тридцатых годах Алексей Максимович Горький предпринял издание «Истории фабрик и заводов» и привлек к этому делу многих писателей. Работа над этой историей шла бригадным методом, но я не очень доверял этому методу (в применении его к литературе) и потому решил написать «единолично» предложенную мне историю Онежского завода в Петрозаводске.

Я собрал довольно большой материал об истории этого старинного завода, но когда начал писать, то ничего у меня не получилось, — живые люди вытеснили историю, отодвинули ее на второй план.

В итоге моей поездки в Карелию и Петрозаводск я написал две вещи — маленькую повесть «Судьба Шарля Лонсевиля» и несколько очерков под общим названием «Онежский завод».

БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ

Старый худой инженер — директор завода — готовился к докладу. Закусив мундштук, он чертил на листе бумаги ломаные линии. Инженер привык чертить, и любая мысль делалась для него ясной лишь

после того, как он изображал ее на бумаге в виде какого-нибудь непонятного рисунка.

Окончив чертить, инженер задумался. Над Онежским озером и Петрозаводском третий день безумствовал ветер. Он дул в щели, шевелил пожелтевшие инструкции на столе, сдувал на пол толстый пепел от стариковских крученых папирос. Уборщица гремела ведрами в пыльном коридоре и ругалась на погоду.

Но инженер не замечал ни серого света почерневшей угольной лампочки, ни ворчания уборщицы. Он думал, что делать с заводом.

Окончилась мировая война, пришла революция, и завод, приспособленный для военных заказов, очутился не у дел. Мастерские и заводские дворы опустели. У плотин бесполезно шумела лесная вода. Токарный цех сгорел. С каждым днем число рабочих убывало. Иные ушли в продотряды, другие — на юг драться с Врангелем. У станков делали зажигалки, чинили примусы.

Инженер вспомнил, как о расцвете, о том времени, когда завод в дни борьбы с интервентами-англичанами вооружал бронепоезда и ремонтировал пароходы Онежской флотилии, носившие громкое имя «канонерских лодок».

То было время частых тревожных гудков, непонятных перестрелок, кромешных ночей, пахнувших ржавчиной и кровью, визга старых револьверных станков, бессонницы и оперативных приказов. Сутки напролет люди проводили на заводе, как в крепости, куда каждого невольно тянуло из темных квартир.

Вчера, наконец, были произнесены слова «закрытие завода». Беспрерывное ожидание этих слов приводило инженера в состояние страшнейшей усталости. Но как только они были сказаны, инженер начал сопротивляться. Угроза укрепила волю. Необходимо было найти заказы и переключить обветшалый завод на новое производство.

Инженер вспомнил деревянные подъемные краны, установленные еще в XVIII веке, и усмехнулся.

— Что же делать? — сказал он вслух, хотя чертеж на столе говорил, что о спасении завода думать бесцельно.

Оставалось одно — превратить завод в жалкую ремонтную мастерскую Мурманской дороги. Половина станков обречена на бездействие, но другого исхода нет.

Основные положения доклада были готовы. Доклад инженера был принят. Пять лет после этого Онежский завод возился с ремонтом паровозов. Все эти пять лет и рабочие и инженеры чувствовали себя, как моряки, вынужденные работать на речном перевозе.

Но в 1924 году дорога отказалась от ремонта. Снова были сказаны слова о закрытии. Снова начались судорожные поиски заказов. Завод хватался за все. За два года он шестьсот раз приспособлял станки к разношерстным заказам, за которые платили сто — двести рублей, переучивал рабочих, увольнял их и набирал снова, тратил силы на освоение мимолетных производств и едва сводил концы с концами.

То была отчаянная борьба за существование, игра на нервах, оттяжка времени, вызванная надеждой на скорое облегчение.

По пестроте изделий завод приближался к екатерининским временам своей истории. Рабочие ругались и говорили, что, очевидно, пришло время заняться лужением самоваров и починкой поломанных велосипедов.

Жизнь страны перестраивалась. Зрелище было подобно стремительному геологическому процессу. Пласты оседали, смещались, нарастали, но завод стоял на отлете от этого.

Он не нашел своего места и подбирал жалкие крохи. Военное прошлое уходило и забывалось. Мирное строительство обидно шло мимо. Завод походил на полководца, уволенного в отставку за роспуском армии и вынужденного торговать газетами или делать сапожную мазь.

Старый инженер сидел в пыльном кабинете, подписывал грошовые заказы и молчал. Изредка он говорил, что не должно быть места отчаянию, что выход

будет, и набрасывал на столе непонятные чертежи. Все делали вид, что верят ему, — боялись его огорчить, — но каждый думал о том, куда бы поскорее удрать.

Завод застилал город жидким дымом из осевших труб.

Потом пришли первые известия об индустриализации страны, о планах ее перестройки. В этих планах на долю завода не было отпущено ни одной крупицы.

На заводе созвали открытое партийное собрание. Старый инженер пришел и сказал следующее:

«Я много думал над прошлым и будущим нашего завода. Что было в прошлом? Завод никогда не был органически слит с этим краем. Его ненавидели. Его проклинали. Разновременно завод был то застенком, то арестантскими ротами, то богоугодным заведением. В мирное время он засыпал. Оживал и работал он только во время войн. Прошлое завода мрачно, будущее как будто нам неясно. Но это кажущаяся туманность.

Необходимо прочно уяснить одну мысль, — завод может расцвесть и получить полную нагрузку лишь при условии, что он неразрывно сольется с жизнью Карелии и станет ей насущно необходимым. Карелия — страна бездорожья, озер и камней. Эти три слагаемых определяют будущность завода.

Бездорожье диктует нам необходимость производить дорожные машины. Озера и рыболовство требуют хороших лодочных моторов. Разработка камня вынуждает нас заняться изготовлением бурового инструмента.

Необходимо добиться реконструкции завода, расширить и омолодить эту дряхлую кузницу, создать здесь социалистическое предприятие, блещущее совершенством техники. Только после этого завод будет прочно впаян в экономическую ткань и Карелии и всего Советского Союза. Другого выхода, простите меня, я не вижу».

Это было правильно. Завод был спасен.

ЧЕСТВОВАНИЕ

С утра старый инженер волновался. От сильного волнения у него всегда ослабевал слух. Он видел за стеклянной перегородкой своего помощника Верхинена, шевелившего губами перед телефонной трубкой. Верхинен с кем-то говорил, но старик ничего не слышал.

Завод безмолвствовал. Все только шевелили губами и улыбались. Улыбки казались натянутыми. Даже улыбка секретаря комсомола Лены Мижуевой — всегда открытая и простая — была полна иронии.

«Я окружен недругами, — подумал инженер, но спохватился и покраснел. — Что за чушь приходит в голову!»

Разрывая пером бумагу, он подписал ведомость и спросил главного бухгалтера:

— Ну что, не раздумали меня чествовать?

Бухгалтер ответил поспешным пискливым голоском, как будто говорил по телефону из Владивостока:

— Что вы, что вы! Наоборот, все устроено!

Инженер пожал плечами и поднял брови. Он как бы говорил: «Воля ваша. Хотите делать глупости — делайте, но я умываю руки».

Волнение началось еще третьего дня, когда инженер узнал, что его хотят чествовать. Молчаливый и замкнутый, он ждал чествования, как пытки. Будут говорить речи, а он обязан сидеть истуканом, глупо улыбаться и краснеть, как мальчишка. Потом он должен по непонятной традиции отрекаться от своей работы и своих заслуг: «Что вы, что вы! Ведь это не я, а вы работали!», кланяться, слушать рев духового оркестра.

— Ну вас к аллаху! — пробормотал инженер и пошел на завод. Инженер рассеянно отвечал на приветствия и морщился.

В кузнице к нему подошла Лена Мижуева. Молотобойцы форсили и гремели по наковальням вразмашку. Сотни раз он говорил, чтобы это безобразие было немедленно прекращено! В кузнице тесно, кувалды срываются, долго ли убить человека.

— Как сегодня, — ничего не случилось?

Лена покраснела.

— Богданова слегка подбило чижиком, — прокричала она около инженерского уха.

— Что значит «чижик»? Что это за терминология! Когда вы научитесь говорить ясно?

Лена улыбнулась.

— Сергей Николаевич, вы же прекрасно знаете, что такое «чижик».

— Я знаю термин «обрубок металла». Никаких «чижиков» я не знал и знать не хочу. Вы — милая девушка, а усваиваете совершенно ненужный жаргон. Напрасно! Напрасно! — повторил инженер и посмотрел на Лену. Она смеялась.

— Чему вы смеетесь?

— Сергей Николаевич, — Лена положила руку на рукав инженерского пиджака. — Не волнуйтесь. Приветственную речь буду говорить я. Мне поручили. Совсем не страшно. А вы с утра ходите, будто на заводе покойник.

— Как вы?

— Так, я. Очень просто.

Инженер прищурился и отошел. Слух внезапно вернулся к нему, и завод обрушился на старика громоподобным ревом.

Чествование было назначено в городском театре. Лена пришла с журналистом Соболевым очень рано. В пустом зале стоял запах масляной краски. Солнечный свет бродил среди пыльных декораций.

Медленное лето с высоким небом, с зеленоватыми ночами, с мягкой пылью стояло над городом. Онежское озеро тускло сияло огромным куском слюды. На рассветах в зарослях старых садов шуршали, просыпаясь, птицы.

Все последние дни Соболев жил как бы под впечатлением свежего сна. Блеск в глазах Лены был печален, ее высокий голос часто срывался от волнения.

Завод, где Соболев часто бывал, разговоры с молотобойцами и споры с молодыми инженерами, загорелые лица лесорубов-канадцев, наводнявших Петрозаводск, запах воды и терпентина, белые пароходы на

озере — все это было неразрывными частями одного настроения. Соболев не мог подобрать ему названия. В нем заключалась и радость и сосредоточенность, но главной его чертой оставалась легкость.

Такое состояние Соболев переживал впервые. Оно очень резко раскрывало перед ним действительность — значительную, трудную, прекрасную — и порождало множество новых мыслей.

Вот и теперь в чествовании старого инженера он видел не скучную церемонию, а давно назревшую необходимость раскрыть всю теплоту, которой был окружен этот человек за годы его мучительной работы на заводе.

На чествовании все произошло совсем не так, как предполагал старый инженер.

Представитель Совнаркома — высокий светлоглазый карел с белой головой и твердым лицом — прочел постановление о награждении инженера орденом Трудового Красного Знамени. Он пожал инженеру руку и застенчиво улыбнулся. Он был гораздо больше смущен, чем инженер.

Инженеру пришлось делать доклад. Этот доклад был очень далек и по цифрам и по фактам от прежних докладов, нависавших над заводом угрозой.

Он говорил о начавшейся полной реконструкции завода. За этим неуклюжим словом скрывалось большое содержание. Реконструкция — это выздоровление от хронического худосочия, движение в ногу с эпохой, прекрасные станки, мастерские, новые люди, сознание своей полноценности в жизни страны, наконец это свободный размах технической мысли. И все это не прежние бесплодные мечты, порождавшие досаду, а реальность. Еще год, и от екатерининских времен на заводе останется только скверная память. Черные мастерские, похожие на казематы, треснувшие печи и допотопные станки мы сдадим в архив.

Лена взглянула на Соболева и улыбнулась.

— Куда же мы их денем, вот ужас!

Соболев сделал предостерегающий жест.

— Несколько лет завод был на шаг от гибели. Мы превратились в фельдшеров. Он умирал, и все наши силы были направлены к тому, чтобы не дать остановиться сердцу. Мы впрыскивали камфару и доставали подушки с кислородом. У завода не было специализации. Мы чувствовали себя нищими — теми нищими, что слоняются по улицам и готовы то подбирать окурки, то снести вещи на вокзал, — готовы на всякую копеечную работу, лишь бы не умереть с голоду. Сейчас специализация найдена. Наш завод стал единственным в Союзе по производству дорожных машин. Кроме того, мы делаем лодочные моторы, буровой инструмент, блоки и насосы. За последние десять лет годовая ценность наших изделий повысилась с двухсот тысяч рублей до четырнадцати миллионов рублей. Мы выпускаем сотни грейдеров, канавокопателей, снегоочистителей и других дорожных машин, отнюдь не худших, чем американские. Завод спасен, и будущий расцвет его является фактом неоспоримым. Как видите, старая поговорка, что мертвые повелевают, оказалась ошибочной. Мы сбрасываем с себя последние лохмотья прошлого. Имена строителей завода — Генина, Гаскойна, Фуллона, Армстронга — уходят в туман легендарности и истории. Страница перевернута, и, пожалуй, сегодня мы впервые делаем свежую запись, подводим итоги борьбы за будущность завода.

Инженер кончил. Лена встала. Ей хотелось сказать очень много, не не хватило терпения.

— До сих пор, — голос Лены стал особенно звонким и возбужденным, — есть еще подслеповатые люди. Они считают наше время мало подходящим для проявления человеческих чувств. При социализме, думают они, человек становится своего рода машиной. Труд — единственная ценность, а до человеческих чувств — этого добавочного блюда — нам нет никакого дела. Наоборот, мы им даже враждебны. Эти люди тормозят строительство и, очевидно, несовместимы с подлинно революционной борьбой. Вы смеетесь. Вы правы, конечно, но такие глуповатые взгляды, несмотря на ваш смех, еще распространены

и портят жизнь. Я не буду говорить о работе Сергея Николаевича. Я хочу сказать только о чувстве большой привязанности к нему, очень скрытом чувстве. Его испытывают многие из нас, в том числе и я.

Сергей Николаевич работал блестяще, но если вы добавите к этому еще его одиночество, скупость слов, — а в ней скрывается больше участия, чем в самой крикливой помощи, — способность хорошо волноваться при мысли о будущем, я бы сказала совсем не стариковскую, а нашу молодежную любовь к будущему и настоящему, мягкость, которой он сам напрасно стыдится, если вы вспомните эту непрерывную и добровольную каторгу, которую он сам так скромно назвал впрыскиванием заводу камфары, — тогда вы поймете, что мы стоим перед фактом не только блестящей работы, но и работы героической.

Я даже не приветствую его от работниц завода и стажерок, — неприятное это слово «приветствовать», а попросту хочу сказать — любим мы его и все!

Лена покраснела и поцеловала инженера. Оркестр некстати заиграл туш, но этого никто не заметил. Чествование окончилось поздно.

Соболев вышел. Над белой ночью, над заводскими корпусами сверкала электрическая надпись: «Передовому командиру машиностроительного фронта — горячий большевистский привет!»

Огни сияли в листве садов крупной росой.

— Да, — промолвил Соболев, — она права. Производственную работу надо насытить свежестью чувств.

ИСТОРИОГРАФ ЛИТЕЙЩИК АВДЕЕВ

Литейный мастер Онежского завода Петр Авдеев проводил свой отпуск в Пудоже.

Лето выпало дождливое. Над городом, над древней Пудогой, вечно писавшей московским царям жалобы на грабежи шведов, висел тяжелый дым. По утрам меня будил дождь, плескавшийся за окнами в зарослях бузины. По ночам тараканы падали с потолка в керосиновую лампу и сгорали с легким трес-

ком. Лампа тотчас начинала чадить и гасла. Днем проглядывало солнце и обливало тихим светом розовые дощатые дома. А перед вечером Авдеев заходил за мной, и мы шли на Водлу ловить рыбу.

Закат горел над лесными порубками почти до полночи, пока его не сменяло сверкание звезд.

— Вот вы историей интересуетесь, — говорил мне Авдеев, раскуривая в трубке ядовитую махорку. — Я сам большой любитель этого дела. Я историю этих мест знаю, конечно, не по книгам, а по жизни. На Онежском заводе работаю с тысяча девятьсот четвертого года, — нагляделся всякого. Вот, к примеру, здешний монастырь, — сюда иные рабочие до революции ездили к монаху Иннокентию. Наш завод был военный. Сами небось знаете, — на военных заводах рабочий был солидный, бородатый, говел каждый год великим постом. А с Иннокентием, если интересуетесь, дело случилось забавное. Сейчас я его вам представлю во всей подробности.

Иннокентий — монах Балтского монастыря на Украине — был сослан в Пудож незадолго перед войной. Сослали его за буйные проповеди, взбудоражившие крестьян Молдавии. Иннокентий кричал о близости страшного суда и лютой смерти и призывал крестьян бросать полевые работы и рыть впрок братские могилы. Тяжелое массовое наваждение охватило Балтский округ. Бабы рыдали, шили саваны и спали в чистых сорочках, — готовились к скорой смерти.

После ссылки сотни поклонников Иннокентия приехали в Пудож вслед за ним. В Пудоже проповеди продолжались. Кое-кто и из богомольных рабочих завода начал навещать Иннокентия, а жены рабочих ездили в Пудож толпами.

Олонецкий губернатор приказал немедленно выслать крестьян, приехавших к Иннокентию, обратно в Молдавию. Тогда тысячная толпа стариков и исступленных женщин с детьми на руках вышла пешком из Пудожа и во главе с Иннокентием пошла в Каргополь. Из Каргополя решено было идти на станцию Няндому Северной железной дороги.

Был февраль. Крутили метели. Толпа шла днем и ночью с пением заунывных псалмов. Дети замерзали. В Каргополе шествие остановилось, — обмороженные, обезумевшие паломники дальше идти не могли. Здесь Иннокентий был арестован, а крестьян разъединили и по частям отправили в Молдавию.

— Сами понимаете, — говорил Авдеев и сплевывал, — какой у нас существовал рабочий, — одна темнота. Захолустный завод. Революционной пропаганды почти не было, — перепадали кое-какие крохи. Первое время, конечно, в наибольшей силе оставались эсеры. Да и то — какая сила, одна видимость. Никакого научного понимания жизни нам никто не давал.

В 1904 году конторщик завода Кузьмин втянул Авдеева в партию эсеров. Кузьмин — угрюмый и экзальтированный юноша — кашлял кровью и мечтал об убийстве Николая Второго. По внешности он походил на монашка из заштатного монастыря. Льняные волосы торчали косичками, острый нос просвечивал синевой, и серые глазки поглядывали хмуро и недоверчиво.

Авдеев не считал Кузьмина способным на «крупное дело». Уж очень непонятной казалась любовь Кузьмина к церковной службе и пристрастие к «божественной» живописи.

В свободное время Кузьмин часами просиживал в своей каморке, копируя в красках «святые семейства» итальянских мастеров. Особенно тщательно Кузьмин выписывал пухлые облака над головами святых и незабудки у их жилистых ног, обутых в сандалии. Авдеев не мог сказать почему, но эти водянистые картинки его раздражали.

Вера в Кузьмина была окончательно подорвана после «Иннокентьевского дела».

Кузьмин считал иннокентьевщину народным движением и собирался ехать в Пудож, чтобы придать ей революционный характер. Но он опоздал. Эсеровская организация к тому времени была разгромлена. Кузьмин все чаще говорил о желании уйти в монастырь, чтобы изучить иконописное мастерство. Потом

он бросил эту мысль и начал носиться с идеей индивидуального террористического акта.

В это время в Петрозаводск приехал сенатор Крашенинников, прославившийся жестокими приговорами по политическим делам. Час для красивого, но бесцельного жеста пришел. Кузьмин решил убить Крашенинникова, но у него не было ни револьвера, ни бомбы. Он бросился на Крашенинникова с ножом и легко ранил сенатора в шею.

Кузьмин был повешен. Перед казнью, глядя, как тюремные надзиратели, суетясь, готовили виселицу, он сказал:

— Эх, вы, даже вешать не умеете!

Смерть Кузьмина не примирила Авдеева с эсерами. Он все больше отходил от них и все чаще наведывался в книжный магазин, открытый студентом Копяткевичем. Магазин этот был первым политическим клубом в Петрозаводске, центром местной группы большевиков.

В магазине Авдеев познакомился с молоденькой курсисткой Галиной Тушовской. С ней он пошел на первый большевистский митинг рабочих Александровского завода.

Митинг был назначен на Древлянке.

Догорала осень. В березовом лесу было сумрачно и тихо. Свет от палой листвы освещал снизу взволнованные лица собравшихся.

Тушовская читала последнюю статью Ленина. Она была больна туберкулезом, и чтение все время прерывалось кашлем.

Тушовская сидела на мокрой ржавой траве. Авдеев снял пиджак и укутал им курсистку. Она улыбнулась и подняла на Авдеева спокойные глаза,— лицо ее показалось ему совсем детским.

Под вечер на митинг пришел наборщик Лазарь Яблонский — основатель петрозаводской группы большевиков. Он сказал насмешливую речь против эсеров.

Петрозаводские эсеры — «народ бледный и тиховатый» — возражали вяло и неудачно. Кто-то крикнул, что едут стражники. Пришлось уходить вброд через ледяную Лососинку.

Авдеев во время наших неторопливых бесед на реке несколько раз упоминал о чувстве радости, оставшемся на душе после митинга. Он впервые столкнулся с биением революционной мысли, привезенной в это царское захолустье в трюмах грязных пароходов, в серых листовках, в горячих головах студентов, — революционной мысли, шедшей из-за рубежа, из Швейцарии, где жил Ленин. Имя это по самому своему звучанию казалось Авдееву надежным и крепким.

Лазаря Яблонского вскоре сослали в Вятскую губернию. Большевистская организация была разгромлена, тридцать рабочих-большевиков арестованы на заводе. Авдеев избежал ареста.

Наступило безвременье. После вспышки пятого года, после демонстрации у стен тюрьмы и массовок на кургане, где красный флаг прибивали прямо к дорожному кресту, на заводе стало безлюдно и угрюмо. Захолустье заливало жизнь скукой и безнадежностью. Вместо митингов рабочие ходили по воскресеньям в лес собирать грибы. В Закаменном опять начались кулачные бои. Лишь немногие хранили в сундучках прокламации, отпечатанные на гектографе лиловой бледной краской.

Летом 1914 года по сухим болотам вокруг города горело мелколесье. Из деревень шли хмурые растерянные ратники. Их сажали на пароходы, расцвеченные бумажными флажками, давали каждому по черносотенному листку «Карельского православного братства» и под вой баб и медные раскаты гимна отправляли в Вознесенье.

На заводе ввели военное положение. Рабочих объявили военнообязанными.

Население переходило на картошку. Хлеб шел по Мариинской системе туго, с перебоями.

Завод день и ночь сверлил снаряды. Из Парижа приехали французские офицеры-инструкторы. Заводскую контору завалили синими чертежами фугасных французских гранат, — завод приступил к их изготовлению.

За время войны была только одна попытка забастовки в механическом цехе завода. Авдеев, вспоминая о ней, злобно крякал. Правда — собирались,

правда — потребовали увеличить заработок, но начальник завода уволил токаря — председателя собрания, а рабочим посоветовал вести себя поспокойнее. На этом забастовка и кончилась.

— К нам и революция пришла с опозданием на четыре дня. Удивительно, как за последние годы переродился народ. Об этом можно целые доклады писать. Как мы завод после революции тянули из ямы! Страшно подумать. Теперешний директор старик Сергей Николаевич Эрихман на своих плечах вынес весь завод. Я добровольно перед ним за это шапку снимаю. За честность я его уважаю и за седую голову. Седому человеку в революцию поверить не так просто, — она вещь беспокойная. Было время — в двадцатом, скажем, году, — придет он в мастерские, а нас человек пять мучается около печей, и такая на заводе тишина, — прямо как в музее. Дворы травкой заросли, — одним словом, помирал завод. Старик спас, голова у него работает, как ни у кого. А теперь что? Видали? Кипение, если можно так выразиться, — молодежь бурлит. Машины делаем такие, что приходи, смотрись, как в зеркало. Но, конечно, не даром все это далось. И Эрихман мучался, и мы, старые рабочие, с ним мучались, но вера в нас жила, понимаете, вера, что никак невозможно погибнуть заводу. Бывало, тошнит тебя от слабости, на себя взглянуть страшно, а рука не дрожит, рука действует правильно. Бывали случаи, — расслюнится иной, скажет: «Дураки, прилипли к своему паршивому заводу, ни черта у вас не получится», — так за такие слова подчас били. И стоило, говоря по совести, бить. Не наводи тень на ясный день!

ЗАВОДСКОЙ МУЗЕЙ

Заводской музей помещался на Голиковке в церкви, построенной в память посещения завода Александром Первым. Мы пошли туда с Соболевым в конце рабочего дня. Сторожиха открыла нам белый гулкий храм и ушла, заперев нас снаружи.

В музее было холодно и тихо. За низкими окнами цвел чертополох.

Мы подымали маленькие морские пушки — «трикки», изготовленные на заводе в начале XIX века, стучали по кандалам и трогали холодную и пышную прическу Екатерины II на ее бюсте, отлитом из зеленоватого чугуна. Екатерина смотрела на нас выпуклыми надменными глазами.

Мы рассматривали модели грейдеров — исполинских скребок, прорезающих новые дороги, и жмурились от блеска слюды, сваленной около витрин.

Особенно долго я рассматривал камни. Самый древний в мире каменный уголь — «шунгит» был черен и матов, будто он впитал в себя темноту тысячелетних полярных ночей. Барит походил на слоистые желтые облака. Кварц напоминал прозрачный розовый лед. На изломах он блестел сиреневым огнем. Сургучный порфир, синеватый диабаз и мрамор сорока пяти раскрасок — от белой до черной — составляли необыкновенный каменный спектр.

Соболев потянул меня за рукав к витрине, где на тарелках лежали круглые мелкие камешки, похожие на горох. То была знаменитая озерная руда. На ней в старое время работал Онежский завод.

— Возможно, — сказал Соболев, — что завод опять перейдет на озерную руду. Запасы ее в Карелии громадны. До сих пор их никто не удосужился подсчитать. В одном Выгозере, по самым кустарным предположениям, ее лежит четырнадцать миллионов тонн, не говоря о сотнях других озер. В иных озерах слой руды бывает в метр толщиной.

Вы читали «Калевалу»? Там есть упоминание о железном горохе, рассыпанном по дну озер и подо мхом в болотах. Недавно в архиве я нашел приказ первого начальника завода Вильяма Генина о добыче озерной руды. Он говорит, что «для приискания руды более надежды имеется в тех озерах, в коих вода мутна и черновата».

Между прочим, в письме к Меньшикову Генин пишет о тщетных поисках руды вокруг Петровского завода и горестно восклицает: «Открытие Верхотурских

медных рудников приписывают быку. О, если бы такой же бык сыскался в Олонецких горах и разрыл там такую же богатую рудную жилу, — от коликих бы он освободил трудов олонецких рудокопателей».

Руду добывали из небольших озер. Крупные озера еще не тронуты. Это объясняется тем, что на малых озерах спокойнее, не бывает волны, а руду вытаскивали со дна черпаками. Плавали мужички на плотах и черпали, — дело медленное и тяжелое. Потом руду отмывали от песка и глины в ситах, складывали в кучи, обжигали дровами — и все.

Вот видите, здесь руда похожа на горох, а там — на лепешки. Эта называется бобковой, а та — черепо-ватой. Форма руды объясняется ее происхождением. Мы сталкиваемся с вопросом очень неясным. Об этом есть несколько теорий. Принята теория профессора Иностранцева.

Соболев посмотрел за окно и помолчал.

— Вы химию знаете? Что я хотел сказать? Да... В той химической реакции, какая приводит к образованию озерной руды, ничего сложного как будто нет. Происходит так...

Соболев опять пристально поглядел за окно. Он почему-то начал волноваться и изложил мне теорию Иностранцева очень коротко.

— Вода размывает богатые железом породы. В здешней воде много угольной кислоты. Вот ее формула, — Соболев написал на витрине пальцем CO_2. — Угольная кислота соединяется в воде с железом и образует железную углекислую соль. Как, однако, долго!

— Что долго?

Соболев покраснел.

— Я говорю, как долго длится этот процесс. В озерах железная углекислая соль при первом же соприкосновении с песчинками или галькой на дне теряет углекислоту и превращается в водную окись железа — в бурый железняк. Поэтому внутри каждой горошины и лепешки обязательно есть песчинка или галька. Если внутри лежит песчинка, то получается горошина, если галька — получается лепешка.

Как видите, все очень просто. Минералог Перфильев открыл, что в образовании озерной руды большую роль играют особые бактерии, живущие в воде. С его теорией я незнаком. Но и та и другая теория говорит о непрерывном образовании озерной руды. Запасы ее все время увеличиваются. Завод может быть обеспечен на многие годы.

Когда мы рассматривали старинные кружева из олонецкого жемчуга, в стеклянную дверь музея постучали. Я поднял голову и увидел взволнованную улыбку Лены Мижуевой. Я смутился. Очевидно, я некстати пришел с Соболевым и помешал их встрече. Сторожиха отперла дверь и выпустила нас из холодного музейного плена.

ЗАМЕЧАНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦ О ТАЛАНТЕ МЕТАЛЛУРГА

Я не делал тайны из своей работы над книгой об Онежском заводе. Поэтому нет ничего удивительного, что я получил несколько писем от людей, ставших действующими лицами этого повествования. Письма застали меня в среднерусской глуши на берегу лесных озер с черной торфяной водой.

Я отдыхал, слушая крики ночных птиц, плеск рыбы, гул надвигающихся гроз.

Старый инженер с Онежского завода писал коротко:

«Я не принадлежу к тем специалистам, которые считают нужным относиться к художественной литературе с пренебрежением. Я узнал, что вы пишете обо мне. Это меня смущает. Я очень прошу не делать из меня героя. Жаль, что вы не можете попасть на завод сейчас. Я показал бы вам литейщика Астекайнена. Весь завод приходит любоваться его литьем. По своей точности и изяществу оно превосходит все, что было отлито у нас до последнего времени. Даже мосты на Мойке и садовые решетки бледнеют перед великолепными частями грейдеров и насосов, изготовленными этим мастером.

Мне кажется, что было бы очень уместно написать о рабочем мартеновского цеха Иване Корсакове. Вы должны его помнить. Он стоит на чугунной площадке около печи, и вы, кажется, были удивлены его необыкновенным спокойствием.

Корсаков тридцать лет проработал на нашем заводе. Самое поразительное, что за эти тридцать лет у него не было не только одного часа, но и получаса прогула. Вот какова онежская северная кровь! Корсаков ни разу не болел.

О Корсакове рабочие говорят, что он видит металл насквозь лучше микроскопа. Это отчасти верно. У Корсакова развит особый талант металлурга. Корсаков варит сталь так же, как искуснейший художник составляет прочную и верную по своему оттенку краску.

Вообще должен вам сказать, что у нас на заводе немало людей, пропитанных, если можно так выразиться, запахом металлургии, в том числе и ваш покорный слуга.

В разговоре со мной в Петрозаводске вы мимоходом упоминали о не весьма приятной на ваш взгляд любви технических работников к сугубой точности. Могу вас успокоить. Конечно, гайка должна быть выточена по калибру, и малейшая ошибка на десятую миллиметра превращает ее в брак. Но не думайте, что с этим же калибром мы подходим к литературе. Я твердо памятую, что Ньютон открыл закон всемирного тяготения лишь благодаря своей фантазии. Я полагаю, что художественные образы должны носить характер действительности, но им нет никакой надобности точно с этой действительностью совпадать».

О БЕЗЖИЗНЕННОЙ МОРАЛИ

Письмо Лены Мижуевой начиналось с упрека.

«Слушайте, вы — писатель! Я очень зла на вас за то, что вы пишете обо мне. Но вместе с тем — не буду уж таить этот грех — я пропадаю от любопытства и хочу поскорее прочесть, что вы такое о нас всех написали. Только, пожалуйста, без бодрых девчат

в трусах, марширующих по улицам со звонкими песнями, грудью вперед и разговаривающих по учебнику политграмоты. Не делайте из нас плакатных комсомолок, смеющихся за работой, ибо это глупо. Не заставляйте нас разводить на каждом шагу принципиальную мораль. Вообще не подражайте газетам и не забывайте, что мы со всеми нашими недостатками и опрометчивостью гораздо умнее, чем нас усиленно изображают писатели.

Написали ли вы о Шарле Лонсевиле? Его жизнь вошла в мою память занозой.

Кстати, о себе. Я взяла приз на лодочных гонках в Ленинграде.

Кстати, еще о себе. Я вышла замуж за Соболева. Живем весело, но, как водится, безалаберно. Сейчас Соболев уехал в Сороку разыскивать материалы по истории гражданской войны, — как вам нравится этот муж — архивный червяк! Соболев говорит, что архивы — это история, а история — лучший иммунитет против скверного прошлого.

Ну, довольно. Я искренне желаю вам успеха и счастья. Живите и работайте хорошо.

Делаю приписку у себя в цеховой лаборатории. Вы спрашивали меня, как я отношусь к писательству. У меня на этот счет есть своя затаенная мысль. По-моему, писатель должен иногда показывать людей и вещи не такими, каковы они на самом деле, а такими, какими они будут или должны быть. Писатель должен предугадывать и предчувствовать, — не сердитесь на меня за это плохое слово. Если я нахожу у кого-нибудь эти черты, то мне ясно, что он писатель настоящий.

Боюсь, что по глупости своей пишу очень туманно. Ну, представьте себе, что вы долго и нетерпеливо ждете поезда. Если так ждешь, то отчетливо слышишь шум подходящего поезда тогда, когда никто из окружающих его еще не замечает. Напряженное ожидание обостряет слух. Так же должно быть у писателей. Напряженное представление о полноценной жизни обостряет способность выхватывать из действительности уже существующие и разрозненные черты этой будущей жизни. Это свойство я очень ценю».

Третье письмо я получил от человека, не попавшего в эту книгу. То был гранильный мастер Вершилло — консультант Онежского завода по буровым инструментам.

«Я забыл сообщить вам, дорогой товарищ, кое-что интересное о карельских камнях. Лучший по цвету здешний камень — шокшинский порфир. В Мавзолее на Красной площади в Москве им выложено слово «Ленин». Шокшинский порфир покрыт струями, за это его и ценят. Камень без струи — мертвый камень. В нем нет игры и жизни.

Не знаю, известно ли вам, что саркофаг Наполеона в Париже сделан из карельского порфира и мрамора. Вы подумайте, как по здешним гнилым гатям волокли до берега озера двадцать семь громадных порфировых монолитов для отправки в Париж.

Камней и всяческих ископаемых здесь великое множество. Всего не перечтешь — гранит, порфир, диабаз, горшечный камень, шунгит, всяческие железняки, медь, золото, шпат, минеральные краски, кварц и, наконец, слюда. Обратите особенное внимание на слюду.

Про диабаз, из которого делают московские мостовые, я не говорю. Об этом известно всякому. Между прочим, чертовски прочный камень, и по поводу этой его прочности я хочу вам рассказать любопытный случай.

Недавно совершил я на старости лет глупость, а втравил меня в это дело пожилой моряк, капитан Ерченко.

Жил я три недели в доме отдыха на Медвежьей горе. Жили со мной Ерченко и молодой ученый из Ленинграда Михельсон. И случилось досадное происшествие — Михельсон пошел на охоту с собакой Ерченко Тузиком, по своей близорукости принял Тузика, скакавшего в высокой траве, за зайца, выстрелил и убил наповал. Естественно, возникла ссора.

А надо вам сказать, что этот самый Михельсон изучал перед этим древние рисунки, выбитые на скалах в некоторых местах на берегу озера. Называются

эти рисунки петроглифами, и выполнены они не без мастерства, даром, что им, по определению Михельсона, по две тысячи лет.

Так вот, капитан Ерченко решил отомстить Михельсону. В планы своей мести он посвятил и меня. Даже больше, — взял меня к себе в эксперты, и мы две недели ухлопали на то, чтобы выбить на одной из диабазовых скал фигуру черта с телефонной трубкой. Вот тогда-то я и узнал подлинную крепость диабаза.

Потом, конечно, Ерченко пустил слух, что найден новый петроглиф, Михельсон побежал туда, а за ним весь дом отдыха. Что было, вы легко можете представить. От хохота люди прямо падали на землю.

Да, следует, конечно, заинтересоваться слюдой. Под Кандалакшей есть залежи мощностью почти в метр. Без слюды не может существовать ни радио, ни телефон, ни автомобильная промышленность. В старину, конечно, здешнюю слюду употребляли только как стекло и называли даже «стеклом святой Марии». Местная слюда прекрасного качества и чистоты — розовые пластинки попадаются редко.

Про шунгит вы, должно быть, знаете. Это самый древний по происхождению каменный уголь. Как топливо чистый шунгит слаб, — загорается медленно и горит не очень жарко. Но в золе его содержится три процента ценнейшего металла ванадия. А ежели шунгит смешать с донецким углем, то горит он великолепно.

Вообще богатства здесь — непочатый край. Простите за советы, но на камни, по моему скромному разумению, надлежало бы обратить внимание. Правду сказать, камень здешний основательно забыт.

В случае чего — пишите. Книга — дело деликатное, поэтому не обессудьте меня за вмешательство не в свои дела».

О БЕСПРЕРЫВНОМ ВОЛНЕНИИ

Капитан Тренер, командир пассажирского парохода, на котором я плавал по Онежскому озеру, прислал письмо, полное, по обыкновению, надежд и бес-

покойства. Оно не имеет прямого отношения к Онежскому заводу, но оно очень «онежское», и потому я решаюсь опубликовать его.

«Впредь я буду водить озерные пароходы из Ленинграда в Онежское озеро — самое подходящее занятие для престарелых капитанов. Озеро это, как вы знаете, я крепко люблю, но любовью странной. Я выкапываю много интересных вещей, имеющих к нему довольно отдаленное отношение, и вещи эти меня весьма радуют.

Сейчас я решил заняться восточными берегами, где до сих пор еще поют былины. Какие там леса! Какие озера! Какие древние слова и — самое интересное — какие своеобразные перемены происходят в этих дебрях теперь!

Мой лозунг — долой белые пятна как на карте земли, так и в научных системах! Нахальный лозунг, не правда ли? Когда я, наконец, успокоюсь?

Мне надоело испытывать беспрерывное волнение по поводу вещей, из которых, как говорит народная мудрость, «шубы не сошьешь».

Но это — самая постоянная из черт моего характера.

Приезжайте к нам в Ленинград. У нас на седьмом этаже закаты светят прямо в окна. Ленинград изнемогает под тяжестью садов и солнца, — лето стоит удивительно ясное, — и Наташа перестала, наконец, плакать по ночам над книгами. Итак, все в порядке. *Тренер*».

Последний раз я перечитывал эти письма у костра. Слепые зарницы в беспамятстве падали в черную воду. Над зарослями волчьих ягод переливалась каплей ключевой воды утренняя Венера — та звезда, чей свет я так часто видел над берегами туманного Онежского озера.

1932

СОЛЬ ЗЕМЛИ

Рассказ на протяжении четырехсот километров

Историю о том, как профессору Преображенскому надоело открывать богатства, я услышал в поезде между Котельничем и Вяткой.

Кончался октябрь. Низкое солнце освещало глухие просеки. Небо над ними простиралось подобно бледным рекам. Настоящие же реки казались черными от холода.

Солнечный свет отливал ржавчиной, как осиновая листва. Мохнатые безрогие коровы гремели колоколами в поредевших чащах. Вместо черноземных деревень, вросших в землю, среди полян подымались погосты, рубленные из корабельной сосны. Мы углублялись на север.

Под Вяткой в поезд влезла бригада кондукторов — кряжистых карликов с круглыми русыми бородами и лесными зелеными глазами. Они окали и бегали по вагонам тяжело и мягко, как медведи. Хвоя лилась за окнами темной рекой. Гудок пропадал в лесах. Казалось, паровоз кричал, боясь заблудиться.

В этих лесных пустошах, в Котельниче, где угрюмая река пахла снегами и над ней висела рыжая луна, мой сосед, профессор химии, рассказал необыкновен-

ную историю, как Преображенскому надоело открывать северные богатства.

Профессор сидел в темноте с закрытыми глазами. Луна освещала его редкие желтые волосы и пухлые руки.

— Дело в том, — промолвил он сонно, — дело, собственно, в том, что соль на Верхней Каме — так называемую «пермянку» — начали добывать еще во времена Ивана Грозного. Местность эта издревле гремела солью. Там и названия соленые — Соликамск, Усолье, Сысольск. Весь тот край отдали во владение купцам Строгановым, — между прочим, прекрасный пример феодализма, прямо просится в хрестоматию. Соль варили в бревенчатых варницах и везли обозами во все углы Московского государства. Это дело давнишнее. А вот недавно профессор Преображенский был послан в Соликамск обследовать тамошние соляные месторождения.

— Забавный город, —вздохнул химик и заглянул в окно.

Луна блеснула глухим пламенем в болоте и медленным метеором ворвалась в частый ельник. Она не отставала от поезда ни на шаг.

— Замечательный город, особенно зимой. Средневековые соборы, старики в голубых поддевках, снега да изразцовые печки. В этом сонливом городишке Преображенский заложил первую буровую скважину. Результаты получились неслыханные. Вот, смотрите, — химик провел пальцем по окну прямую линию, — это поверхность земли. В ста пятидесяти метрах от поверхности, вот здесь, Преображенский нашел поваренную соль, под ней — калий, — химик дернул меня за рукав, — под ним магний, а под магнием опять поваренную соль и каменный уголь. Толщина пласта пятьсот метров!

Химик перечеркнул окно от черты до самого низу и вытер палец о старые серые брюки.

— Так были открыты величайшие в мире залежи калия.

Над химиком на верхней полке лежал взъерошенный и любопытный профработник из Вятки. Он не

хотел пропустить ни одного слова. Он сел на полке, собираясь слезть, но в это время потухло зеленоватое вагонное электричество. Профработник выругался, поскреб ногой о стенку, нащупал железный выступ и уперся в него сапогом. Раздался противный визг, похожий на свист пара в прорванном флянце, вагон задергался, как человек, которого на полном ходу хватают за хлястик, уныло проскрежетал и остановился. Профработник в темноте наступил на рукоятку от тормоза Вестингауза.

Карлики-кондуктора прибежали, переваливаясь, как испуганные медведи, заохали, заокали и потребовали с профработника двадцать пять рублей штрафа. Митинг, устроенный пассажирами по этому поводу, помешал химику окончить рассказ. Воспользовавшись замешательством, химик уснул.

Я ждал его пробуждения, надеясь услышать конец истории о Преображенском, но утром мы промчались по головокружительному мосту над Камой, увидели белую Пермь, черные боры, похожие на кремлевские стены, Мотовилихинский завод, осеннее солнце, густые тени, первые волны Уральских гор. Рассказывать было некогда. Химик не отходил от окна. Казалось, он на всю жизнь хотел запомнить леса, где последняя листва, кора и мох походили на слитки железной руды.

Только в черной до сердцевины Чусовской, где Урал заволок нас кизеловским дымом, густым и сладким от серы, химик окончил так нелепо прерванный рассказ.

— Вы спрашиваете, как могло Преображенскому надоесть это дело? Очень просто. Надо было выяснить площадь залегания калия. Преображенский пошел к югу. Он начал закладывать скважины через каждые пять километров — и все то же, только пласт становился чем дальше, тем толще. Тогда Преображенский решил делать скважины через десять километров — все то же. А время — и немалое время — идет. Преображенский делает скачок в двадцать пять километров

до Березников, — пласт еще богаче! Как вы думаете, — химик засмеялся, — можно прийти в ярость. Преображенскому надоело рыть землю каждые двадцать пять километров. Он сделал прыжок на пятьдесят километров к югу, к Чусовским городкам, и... — химик не торопясь закурил, — наткнулся на уральскую нефть!

От Чусовской железная дорога, — ее здесь зовут Горнозаводской веткой, — поворачивает на север. Электричество гаснет. Свечей не дают. Кондуктор смиряет бунт пассажиров загадочными и неожиданно прекрасными словами:

— Зачем свечи? Здесь вам будут светить заводы.

— Какие заводы?

— Губаха, Кизел, Березники. Заводов хватит.

Пассажиры стихают. Ночь грохочет туннелями и непроглядными выемками. Луна проносится в черной воде болот. Мы ждем, но, кроме тьмы и гула, ничего не ощущаем.

Лишь в полночь поезд выносится с разгона всей многотонной тяжестью из выемки на гулкий мост. Пассажиры бросаются к окнам. Широко забирая по кривой, поезд мчится над ущельем, засыпанным доверху грудами электрических огней.

В огнях струится черная река. Серебряное зарево восходит над горами. Тормоза шипят, и вагоны останавливаются против новых домов, сверкающих подобно ночным кораблям. За их широкими окнами чувствуется спокойная продуманная жизнь. Трубы электростанции струятся конусами дыма более черного, чем ночь. Это Губаха.

Кизел разрывает ночь второй россыпью огней, а к утру открылись огни Березников. Были уже видны, но как бы со сна, низкий ельник, глина, жидко присыпанная снегом, и болотистая низина на берегу Камы. Дым простирался над ней, скрывая очертания заводских корпусов. Пересекаясь под острыми углами, сверкали линии фонарей. Перед нами лежала огненная ночная карта одного из величайших в мире химических комбинатов.

— Доехали, — сказал профессор, и ветер ударил в его заспанное лицо холодком редкого снега. — Смотрите, что творится. Два года назад здесь еще взрывали средневековые варницы Строгановых.

Станция Усольская, курившаяся, как пожарище, вонью махорки, приняла нас в свое расшатанное нутро.

Профессор слишком бегло рассказал историю Камских соляных месторождений. После Строгановых, в конце девятнадцатого века, этой солью заинтересовался мировой монополист содового производства бельгиец Сольве. Он решил прибрать камскую соль к рукам. Прикрываясь именем русского промышленника Любимова, Сольве выстроил в Березниках первый содовый завод. Сейчас этот завод смущенно дышит на краю исполинской площади Березниковского комбината.

Все дальнейшее походило на неправдоподобный рассказ. Если разъять его на составные части, то получится следующее.

Дряхлый возница-зырянин долго волочил нас в плетеной таратайке по ухабистой дороге. Дорога упиралась в разлив жгучих огней, казавшихся зелеными от снега и рассвета. Возница говорил с нами на языке времен завоевания Сибири.

Ночь гудела сдержанным гомоном людей. Черные толпы в треухах валили из полярной тьмы по тропам, по доскам, по широким дорогам, по кучам гравия и шлака к Березниковскому комбинату. Это шли рабочие из окрестных деревень — Дедюхина, Ленвы, Чуртана, Яйвы, Веретья, Зырянки.

Возница бормотал, что тысячи рабочих едут еще из-за Камы, из Усолья на перевозах и лодках, а Кама вот-вот станет. Вторую неделю идет шуга, — идет и идет, шут ее знает. Когда Кама застынет, рабочие все равно будут идти на стройку, не идти никак невозможно, об этом даже мысли быть не может. (Возница захихикал в ответ на наши сомнения, приняв нас, оче-

видно, за круглых дураков.) Как едут? Подкладают доски и ползут по ним, а то пробьют в тонком льду канал и кое-как догребают на лодках.

Но это — не все составные части рассказа. Мы увидели океанский корабль, превышавший «Аквитанию». Он застрял на суше. Он сверкал иллюминаторами и мачтовыми огнями. Ветер пел в вышине, в стальных тросах, державших три громадных трубы. Рабочие на палубе клепали болты. Корабль тяжело гудел и сотрясался. Казалось, он только что отдал якорь после ночного шторма.

В свете его фонарей трусила наша лошаденка, равнодушно помаргивая ушами.

Кораблем была ТЭЦ — теплоэлектроцентраль Березниковского комбината, величайшая в Европе станция высокого давления.

Около ТЭЦ полосы света падали на громадные ящики, сколоченные из гладкой сосны.

— Посмотрите на ящики, — профессор толкнул меня локтем. — Это простая тара, но присмотритесь к ней получше. Парад мировых промышленных фирм, самый блестящий парад, какой можно себе вообразить на берегах Камы.

Я читал черные надписи: Бабкок-Вилькокс, Ганномаг, Сименс-Шуккерт, Броун-Боверн, Павер Газ, Рейнкабель, Борзиг, — промышленники всего мира сложили в пустошах Северного Урала великолепные технические богатства.

— Что Москва! — пренебрежительно прохрипел профессор. — Разве в Москве можно понять, что значит индустриализация или овладение передовой западной техникой. Никогда! — убежденно выкрикнул он. — Это надо видеть, надо глупеть от недоумения, надо болеть от масштабов и контрастов. Только тогда вы поймете, что происходит в СССР. Происходят вещи, перед которыми мировая история не заслуживает внимания и вызывает зевоту.

— Стой, лешак тя раздери! — прокричал возница, явно бодрясь, и остановил лошаденку около дощатого дома. Дом звенел стаканами и ножами. Было пять часов утра.

Мы вошли. В прохладной столовой люди в синих комбинезонах пили чай. Их лица блестели румянцем свежей ночи и холодной воды, — ею они только что умывались. Пыхтя трубками и папиросами, они проходили мимо нас, и синяя ночь растворяла их за хлопающей дверью. То были монтеры химического комбината. Один из них твердо сказал другому по-английски:

— Я получил письмо из Бирмингэма. У Сузи родился мальчик.

Возница топтался около лошаденки, завязывая мокрый чересседельник.

— Мистеры, — продолжал он сокрушаясь, — в резиновых армяках ходят, а штиблеты у них на медных шипах. Благоустройство! Тпру, тараканы тя заешь.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ КУЛАК

«Торговые люди» Строгановых не только варили соль. Они открыли Камчатку и дошли до Берингова пролива. За проливом леденела в тумане Америка.

В Березниках и Усолье строгановские «людишки» оставили по себе память — бревенчатые высокие башни, изъеденные веками и солью. Это варницы. В них со времен Грозного качали из-под земли соляной раствор и выпаривали из него «торговую» соль.

Стены варниц размочалились и висят лохмотьями. Они похожи на поношенную овчину. В косых дверях уныло гудит ветер. Копоть от заводов комбината садится на бревна ломкими пленками.

Нет ничего угрюмее этих черных башен, вросших в рыхлые снега. По ним, как по истлевшей летописи, можно читать жестокую и немногословную историю древней Руси—холуйства, плетей, казней. Орудиями пыток, стрелецкими дыбами торчат в темноте деревянные насосы.

До революции в этих местах добывали соль и немного золота. Преображенский открыл величайшие в мире залежи калия. Но это не все.

Рядом с Березниками лежат Кизел и Губаха. Они расположены на краю богатого каменноугольного бассейна, на урезе пластов, спускающихся мощным изги-

бом под залежи соли. Во всем районе, вплоть до Вишеры, лежит под солью уголь. Кое-где он подходит к самой поверхности.

Выходы угля нашли и вблизи Березников, на берегах реки Глухой Вильвы. Река эта сочится из болот. Ее коричневая и прозрачная вода напоминает настой из сосновой коры.

Газеты любят выражение «на базе такого-то сырья возникло такое-то предприятие». Что такое база? Вот это счастливое сочетание природных богатств, как бы нарочно собранных в кулак и напластованных на одном месте. На базе соли, калия, каменного угля и Камы возник Березниковский комбинат.

Комбинат начали строить в 1929 году. Приехали неспокойные люди. Пермяки скребли затылки, — шут их знает, этих приезжих, им всего мало. Им оказалось мало мировых залежей калия, мало угля, мало Камы и лесов. Они искали еще чего-то, тревожили суровые леса, нюхали и ковыряли землю. Действия их смущали пермских людей, считавших, что всякое крепкое дело покоится на неторопливости и продолжительном размышлении.

Кроме соли и угля, неспокойные люди нашли вблизи Березников известняк, а совсем недавно медистый песчаник — серенький камень очень скромного вида, пропитанный медными солями.

В двухстах пятидесяти километрах вверх по Каме открыты богатые залежи фосфоритов. К ним от Березников дорог нет, — Кама в верховьях завалена корягами и несудоходна. Железную дорогу к фосфоритам еще не начинали строить. Березниковцы пожимали плечами. Консультант комбината, рассказывая мне об этом, постучал кулаком по столу.

— Дерево в голове! — воскликнул он, краснея. — Бревно в голове у тех, кто оттягивает постройку ветки к фосфоритам. У нас есть калий и есть азот, — его мы получаем прямо из воздуха. Нам не хватает только фосфорита, чтобы изготовлять самое ценное в мире азотно-фосфорно-калиевое удобрение. Азотно-фосфорно-калиевое! — повторил он и закрыл от восхищения глаза. — Вы же не понимаете, что это значит. Это рай земной, это поля с небывалым урожаем, это, наконец,

экспорт, валюта, тысячи новых машин. А мы волыним! У немцев нет ни грамма фосфора, нет ни черта. Что же они делают? Они везут фосфор через океаны из Африки и Австралии, покупают его там за чистые денежки, тащат его к своим калийным месторождениям, делают азотно-фосфорно-калиевое удобрение и отправляют его обратно в Австралию. И не считают это невыгодным. А тут фосфориты валяются в ста километрах, а мы не торопимся! Ветка окупится в шесть лет! А мы волыним!

Он замолчал и остановившимися глазами смотрел на меня, как бы стараясь угадать ход моих мыслей по этому поводу.

Если посмотреть на карту Северного Урала, то можно заметить, что верхнекамские залежи фосфоритов лежат километрах в двухстах к северо-западу от Березников по берегам Камы. Залежи соединены железнодорожной веткой Ярь-Фосфориты с Вяткой. Постройка линии Березники — Фосфориты решена, изыскания окончены. Линия соединит богатейший Верхне-Камский район с центром страны. Теперешняя горная линия на Чусовскую — необычайно петлистая и с трудом пропускает из-за «тяжелого профиля пути» (как говорят путейцы) мощные потоки грузов, идущие к Березникам и Соликамску. Ее решено электрифицировать.

С каждым днем я узнавал, что «база» Березниковского комбината становится богаче. Нашли белую глину, — из нее можно добывать алюминий. Нашли магний. Возможности росли, как полая вода. Становилось ясно, что первая и даже вторая очереди комбината не исчерпают этих возможностей, не возьмут из тощей на вид пермской земли всех ее богатств. Уже вырисовывались исполинские контуры будущей «химической республики», мирового центра калийной промышленности.

В здешнем обществе краеведов пылится множество докладов, написанных то карандашом, то бледными чернилами. Доклады повествуют о «недрах Березниковского района».

Краевед сродни охотнику. Он одинаково восторгается залежами гипса и зарослями малины в ураль-

ских лесах. Он расстилает под кустами малины брезентовый плащ, трясет кусты и в один прием набирает ведро душистых ягод. Он находит в лесу истлевшие вашгерды — ящики для промывки золотоносного песка — и узнает, что здесь некогда мыли золото.

Существование краеведов — величайшее благо для глухих окраин Союза. Краеведы — поэты и ученые вместе. Они пропитаны запахом болот, хвои, ветра, кизеловского дыма, едких химических паров и смазочных масел. Объем их исследований обширен, а энтузиазм может заразить самого скучного человека.

Я приведу выдержку из одного доклада.

«Совсем мало исследованы берега реки Глухой Вильвы и верховья реки Яйвы вблизи Березников. Пока мы знаем, что около села Палом есть выходы свинцовых руд. В прежнее время местные охотники приготовляли из них пули и дробь. Возможно, что и сейчас это имеет место. Если эти руды поддавались кустарной обработке, то они несомненно богаты.

Кроме того, на берегах этих рек есть выходы гипса. Большинство соликамских церквей оштукатурено алебастром, изготовленным кустарным способом из этого гипса.

Еще в старое время было сделано до пятнадцати заявок на каменный уголь по Пермскому лесничеству, но до сих пор никто не заинтересовался этим, хотя выходы угля находят и сейчас.

Есть основания говорить о наличии золота и платины. До революции скупщики золота и платины часто посещали этот район и, наверно, не зря. В лесах находят старые вашгерды.

Таким образом, налицо исключительное богатство района».

В качестве сырья Березниковский комбинат в первую очередь будет пользоваться кизеловским коксом, соликамским калием, найденным в самих Березниках (для его добычи строится рудник на полтора миллиона тонн), серным колчеданом и известняком.

Все остальные богатства пойдут в переработку во вторую очередь.

Комбинат будет изготовлять ценнейшие химические продукты (химикалии): аммиак, азотную и серную кислоту, соду, едкий натр, сульфат аммония и сложные и сильные удобрения...

Первая очередь комбината — десять химических заводов, ТЭЦ, самая мощная в СССР водонасосная станция и механический завод для собственных нужд.

Первая очередь даст химических продуктов и удобрений на сорок пять миллионов рублей в год.

Когда я узнал о богатствах Березников, эта скупая земля предстала передо мной в ином виде. Туманная ее угрюмость приобрела особую величавость. Комбинат был прекрасен заложенной в него идеей непрерывного и замкнутого производственного процесса, строгим равновесием отдельных частей, продуманностью лабиринта труб.

По ночам он рвал туман синими взрывами автогена. Средневековые варницы моргали пыльными глазницами окошек. Казалось, пермские старцы стояли, опершись на посохи, и в страхе и смятении наблюдали рождение гиганта.

КРЭК!

Англичанин Лоу, хранивший на сизом лице пресловутую невозмутимость британской нации, прогуливался по чугунной площадке около парового котла Бабкок-Вилькокс № 1, как по грохочущей сцене. Кучки наших рабочих стояли поодаль, зорко наблюдая за Лоу.

Котел грохотал и, казалось, хотел сорваться с буферов. Он уходил ввысь на двадцать семь метров. Вершина его терялась где-то в синей мгле. Дежурная, висевшая в воздухе, на узких корабельных мостках, была плохо видна. Чтобы увидеть ее, надо было смотреть вертикально, как смотрят на аэроплан, пролетающий над головой.

Изредка Лоу вытаскивал из топки факел пылающей пакли и скупым жестом тушил его о чугунный

пол. Приказы помощникам он отдавал кратко, — слово приказа всегда было одно и то же, похожее на щелканье клюва.

«Крэк!» — кричал Лоу, и создавалось впечатление, что у него во рту щелкнул о зубы мундштук старой трубки.

«Крэк!» — и помощники в синих комбинезонах бежали, как обезьяны, по воздушным лестницам.

«Крэк!» — и помощники бежали к вентилям.

Лоу изредка подносил руки к задвижке у топки жестом старого джентльмена, греющегося у камина, и отходил, — так на ощупь, не доверяя сложнейшим и безукоризненным приборам, он пробовал силу огня.

Котел испытывали, — первый в СССР котел Бабкок-Вилькокса, где давление пара рассчитано на шестьдесят семь атмосфер, котел судового типа, гигант «громыхало», как звали его наши монтеры.

При испытании давление внутри котла необходимо было поднять больше, чем до ста атмосфер. Серьезность и риск этого дела понимали все и жестоко волновались, ожидая, когда же взволнуется Лоу.

Наконец свершилось. Лоу выхватил трубку изо рта, засунул ее в карман замасленного резинового плаща и пронзительно свистнул. Свист заглушил космический гул топок. Он ударился о крышу и разлетелся по мостикам.

— Эксгаустер! — прокричал Лоу непонятное слово, побледнел и бросился к измерительным приборам. Даже простак мог понять, что наступила самая рискованная минута. С чудовищным гулом урагана внутрь котлов хлынула угольная пыль из мельниц.

Показатель давления дрогнул и быстро поплыл вверх: четырнадцать, двадцать пять, тридцать пять атмосфер. Атмосферы росли, а толпа зрителей около котла медленно отступала, — котел был страшен. Он дрожал и гремел, как бы готовясь взорваться с силой тысячетонного снаряда.

Вентиляторы выли штормом в двенадцать баллов. Девяносто атмосфер! Лоу вытер пот, свистнул наверх и ударил себя по горлу, — это значило, что в котле

слишком много воды. Когда воды было мало, Лоу хлопал себя по животу.

Взгляд Лоу был прозрачен. Он никого не видел.

Сто атмосфер! Гудел не только котел, — гудела вся исполинская теплоэлектроцентраль сложнейшим набором гигантских изогнутых труб.

— Довольно!

Котел, изнемогая, начал затихать. Корреспондент московской газеты нес на телеграф, пробиваясь через обширную путаницу стройки, наспех написанную телеграмму:

«Закончена проба первого котла высокого давления Бабкок-Вилькокса. Давление было поднято до ста атмосфер. Котел выдержал испытание прекрасно».

После ухода корреспондента в одном из флянцев вырвало прокладку — обыкновенная вещь при регулировании котлов. Пронзительный свист, казалось, вырвал мозги из черепной коробки. Пар заполнил доверху исполинское здание глухим туманом. Бежали, спасаясь, люди — струя пара обваривает и сжигает на месте. Все было залито голубоватым рассеянным светом, — пар мириадами частиц впитал в себя свет электрических солнц.

Я часто бывал у котла и видел молодых и старых инженеров, монтеров, чернорабочих, партийцев и беспартийных, зырян и американцев, украинцев и татар. У них на лицах была смесь уважения и восторга. Если бы это не было так старо и стыдно, может быть многие сняли бы перед котлом кепки и треухи. Как передать ощущение гениальности, спрессованной в его трубах и секциях, ощущение напряженного ударного труда, вложенного в эту величественную установку?

Ночью, после пуска котла, нашей комнатой в общежитии завладела бессонница. Только к утру пришел запоздалый и непрочный сон. Он длился несколько минут, но я запомнил его надолго.

...Полночь застала нас в котельном отделении. Черный уральский ветер лепил на стекла косматые хлопья снега. Котел гремел и дрожал всеми ста атмосферами.

Открылась дощатая дверь, и мимо пусковых аппаратов, где, подчеркнутые стрелами, краснели надписи «высокое напряжение — смертельно», в гуле вентиляторов, осыпанный снегом, вбежал Пушкин. Он снял перед котлом шляпу, как снимал ее перед портретами Байрона, Черным морем и памятью декабристов. Нестерпимый блеск пробегал по его желтоватым зрачкам. Он смотрел вверх. Вся станция пела величавой симфонией и голубела жестоким пламенем автогена.

Лоу сорвал кепку с головы и судорожно схватился за вентиль. Не тень ли Георга Гордона Байрона закрыла перед ним измерительные приборы?

Я проснулся. Восьмичасовой гудок требовательно кричал в темноте. Соседи по койке, чертыхаясь, натягивали брюки. За окнами летел неторопливый снег...

На березниковской теплоэлектроцентрали поставлено три котла Бабкока и два котла Ганномага. Котлы дают двести кило пара с каждого квадратного метра нагрева, или четыреста восемьдесят тонн пара в час. Пять лет назад специалисты не верили в возможность получить даже сорок кило пара с квадратного метра и называли разговоры об этом «ребяческой фантазией».

Монтажом ТЭЦ ведал молодой инженер партиец Захаров. Ему едва исполнилось двадцать восемь лет, но он ухитрился за короткое время прожить значительную жизнь.

Захаров исколесил Америку, Англию и Германию. В Америке он осмотрел все станции высокого давления (их всего одиннадцать). По пути из Америки в Европу он изучил машинное отделение океанской «Аквитании», где впервые крепко полюбил судовые котлы Бабкока.

В двадцать восемь лет ему поручили монтаж сложнейшей станции высокого давления, станции настолько совершенной, что не только наши ученые, но и ученые Запада приезжают ее изучать. Станция эта будет прекрасной школой для теплотехников.

Недаром мой сосед по общежитию инженер Фриш говорил:

— После этой станции нас будут всюду встречать с музыкой и с графином водки.

В монтаж станции Захаров внес юношескую бодрость, быстроту, тщательное изучение объекта. В каждом жесте и в каждом слове Захарова видна новая, законченная до последней мелочи высокая культура. Иностранцы недоумевают:

— О, если это тип человека эпохи социализма, то...

Они трясут головами, не находя точного выражения своим мыслям.

Бывало, что Захаров не спал по две ночи подряд и вместе с ним не спала армия монтеров и инженеров. Захаров был нестерпимо требовательным начальником и заразительно веселым собеседником.

Как это ни странно, но многие специалисты лишены размаха мысли. Далеко не каждый инженер покажет свое производство так, что оно запомнится на всю жизнь. Ежедневная возня с машинами заглушила новизну восприятия и притупила впечатлительность. Все хорошо знакомое кажется скучноватым, как скучен для горожан трамвай и пишущая машинка.

У Захарова этого нет. Рассказывая о ТЭЦ, он вскользь бросит несколько слов об угрюмых отрогах Урала, видных за круглыми окнами бункерного отделения, о смешной и старомодной конкуренции двух фирм — Бабкока и Ганномага, даст образные сжатые характеристики отдельных машин, инженеров, монтеров, поразит собеседника необычайными свойствами угольной пыли и окончит разговор любимым словом «точка», заменяющим рукопожатие.

Седьмого ноября 1931 года были пущены первый котел и первая турбина ТЭЦ. Секретарь Березниковского райкома осторожно включил рубильник, — ТЭЦ дала первый ток. Переливаясь хрусталем, засверкала над зданием станции надпись: «Ток дан». Мелкий снег летел из-за Камы.

К рубильнику стал на первое «дежурство» крошечный мальчик в желтом вязаном комбинезончике. Мальчик был похож на медвежонка. Румяные его щеки дрожали. В глазах застыли и никак не могли скатиться крупные слезы, — ему было и страшно и необыкновенно хорошо. Ослепительный огонь тысячесветных ламп превратил в золотой пух его легкие волосы.

Кинооператоры в страшных черепаховых очках приседали перед ним и никак не могли нацелить аппарат, — мальчик был слишком мал.

Над его головой гудела углеподача, выли котлы, безумствовал отработанный пар.

Мальчик не спускал глаз с Захарова. Когда кончилось дежурство, он подбежал к нему и уткнулся головой в его колени. Это был сын Захарова, маленький Вовка.

ЖИДКАЯ ПЫЛЬ

Обитатели гостиницы № 4 гордились инженером Фришем. За три месяца он прошел по этапу четыре тысячи километров и переменил десять тюрем. Вместо того чтобы отправить его из Свердловска в Пермь прямым сообщением, конвой вез его через Москву и Вологду.

Газета «За индустриализацию» назвала маршрут Фриша «путем, не отмеченным по карте».

Фриш — молодой советский инженер, бывший рассыльный одного из уфимских учреждений. Фриш — человек задиристый и резкий. На Нязе-Петровском заводе ему приказали поставить двигатель, купленный с кладбища Шлиссельбургского завода. Двигатель никуда не годился.

Фриш не только отказался его ставить, но кстати сказал директору завода несколько ядовитых слов по поводу покупки дрянного двигателя. Тогда директорские «благожелатели» вспомнили, что где-то под Пермью Фриш, монтируя маслобойный завод, якобы причинил государству убыток в шестьсот рублей.

Фриш был арестован, его обвинили во вредительстве и повезли через Москву в Пермь. Он сидел со «шпаной», выдавая себя за мошенника, так как с вредителей уголовные немедленно «снимали» все, вплоть до брюк и золотых зубов. В тюрьме Фриш перенес тиф и на несколько дней ослеп.

В Перми Фриша освободили за неимением улик.

В Березники Фриша пригласили заведующим котельной ТЭЦ. Принимая котлы, он ждал извещения

о показательном процессе над теми, кто поднял травлю против него — молодого и преданного делу советского специалиста. Процесс уже был назначен. Фриш сокрушался, что процесс может оторвать его от работы на ТЭЦ.

ТЭЦ он любил по-ребячески. Рассказывая о ТЭЦ, Фриш мог даже немного приврать.

— Химическое производство, — говорил он, — требует громадного количества пара. ТЭЦ дает ему пар и попутно вырабатывает электрическую энергию.

— Давление в шестьдесят семь атмосфер! — восклицал он и бросал с размаху какой-нибудь тяжелый предмет на свою койку. — Сорок атмосфер мы тратим на вращение своих турбин, а остальные двадцать даем химическим заводам комбината и станции постоянного тока. А коэффициент полезного действия! Восемьдесят процентов полезного действия! Взамен прежних тридцати. Старые инженеры потеют от удивления. Вот это махина! У нас есть, конечно, еще одна станция высокого давления — ТЭЖЭ. Детская мощность, специально для туалетного мыла. Наши насосы, те самые, что качают воду в котлы, обладают мощностью в три раза большей, чем вся станция ТЭЖЭ. Ха-ха и еще раз ха!

— Хотите, — Фриш рассекал воздух ладонью, будто распарывая полотно, — хотите, я разложу вам всю ТЭЦ на ее составные части, и вы увидите, какой это стройный организм. Здесь все использовано до последней возможности.

Все вставали с коек и собирались к столу. Даже мобилизованный из Мосстроя горемыка-бухгалтер, страдавший неизлечимым гриппом, шлепая босыми ногами, уныло приближался к Фришу.

— Работа начинается с углеподачи. Мощная схватывающая машина — грейфер слетает с громадной высоты в угольную яму, открывает пасть, набирает уголь, захлопывает челюсти, переносит и ссыпает уголь в вагонетки подвесной дороги. Так уголь идет в бункера ТЭЦ. Когда дорога работает, можно смотреть часами. Один раз мне пришлось прокатиться в вагонетке над всем строительством.

Здесь Фриш соврал.

— На ней прокатишься, — пробормотал старик со слезящимися глазами — специалист по изоляции трубопроводов и скептик.

— Подвесную дорогу строила германская фирма Блайхерта. Я увидел дорогу — здесь ее зовут углеподачей — ночью. Над головой, на страшной высоте, позванивая, бежали невидимые вагонетки. Я вспомнил такую же дорогу, выстроенную той же фирмой у мыса Куули на восточном берегу Каспийского моря. Там вагонетки возили ослепительную соль, здесь — кизеловский уголь. Там жаркий шторм навевал около стройных мачт бугры сыпучего песку, здесь около них дымились вихри снега. И там и тут дорогу строил немецкий инженер, ворчливый и медлительный старик Барон. И там и тут «сумасшедшие» большевики бесили Барона стремительными темпами работы. Спешка была не в интересах и не в привычках Барона. Но в конце концов Барон сдался, — большевики неукротимо обгоняли его. Наступил траурный день для немецких специалистов. В этот день Барон печально промолвил: «Я был учителем, вы — учениками. Трагедия старых учителей состоит в том, что ученики их опережают. Я отдал приказ крепить наши мачты советским способом. Это гораздо надежнее».

— Слушайте, — продолжал Фриш, — начинается самое интересное. Вагонетки ссыпают уголь в бункера под крышей ТЭЦ. Из бункеров он поступает в мельницы и превращается в угольную пыль. Пыль эта тоньше пудры. Ты пойми, балда, — Фриш брал за рукав агента Башжелдорстроя, тщетно разыскивавшего в Березниках какие-то трубы, — ты представь: на одном квадратном сантиметре должно поместиться четыре тысячи девятьсот пылинок, — это гораздо тоньше комариного жала. Мельница может перетереть в такую дьявольскую пыль только восемьдесят пять процентов угля. Остальной, более крупный, возвращается обратно и снова скатывается в мельницу. Понятно?

Фриш закладывал руки в карманы и обводил нас победоносным взглядом.

— Но этого мало, дорогие мои. Пыль такой тонкости приобретает свойства жидкости. По-нашему говоря, она работает по законам жидких тел. Если ты возьмешь ее в руки, она протечет на пол между пальцами, как протекает вода. Горячий воздух вдувает эту пыль в котлы. Вот вам одна часть производственного процесса.

Теперь будьте внимательны. Я расскажу вам о великом круговращении пара. Ни одного кило пара не пропадает зря.

— Ух ты, мать моя, пресвятая богородица! — сказал бухгалтер и лег на койку. Слабое его воображение не выдерживало фришевского натиска.

— Пар из котлов идет в турбины высокого давления, из них в газовый пароперегреватель, — он отапливается газами от котлов, — а из него часть пара мы даем «алхимикам» на заводы комбината, часть на станцию постоянного тока, а часть в турбины низкого давления. Из этих турбин и со станции постоянного тока пар возвращается в пароперегреватель и снова идет в котлы. Такой способ работы, друзья мои, называется замкнутым циклом. Пар, как белка, вертится в колесе и не может удрать.

Пошли в столовую пить чай. Каждая комната по традиции выходила «бригадой». Бригада Фриша была самой многочисленной.

За чаем Фриш увидел в графине коричневую камскую воду, постучал по графину ногтем и вынес приговор:

— Жесткая вода! Не годится. Наши котлы требуют дистиллированной. Даже больше — не только дистиллированной, но очищенной от газов, обезгаженной.

Бухгалтер фыркнул и подавился чаем. Фриш уничтожающе посмотрел на него.

— Для механической и химической очистки воды строится громадный «цех водоочистки». Но даже совершенно «кристальная» вода из этого цеха нас не удовлетворяет. На ТЭЦ есть вторичная установка для окончательной очистки воды. Она называется испарительной. Самая мощная, между прочим, установка в

СССР. Там вода превращается в пар, из пара снова в воду и только после этого идет в котлы.

После чая Фриш пошел на ТЭЦ. Станция требовала пристального изучения и каждый день давала Фришу новые радости и новую тему для коротких докладов в гостинице. Технические новшества на ТЭЦ были нескончаемы и начали тяготить соседей Фриша, отчаявшихся запомнить все, что он рассказывал.

На станции Фриш прошел в машинный зал посмотреть турбины. Турбина № 7 работала. Белобрысый немец электрик прислушивался к ее гулу, засунув в ухо слуховую трубку. Он следил за пением ротора. Высота тона говорила о безукоризненной работе, — не было ни тени вибрации.

На постройке «цеха водоочистки» работала бригада бетонщика Ардуванова. Вся бригада состояла из татар и башкир, почти не понимавших по-русски. Они пришли на стройку из волжских степей. Они не умели держать как следует лопату и робко топтались в рабочкоме. Дощатый барак с красными полотнищами и портретом Ворошилова казался им дворцом. Они опасались курить и осторожно кашляли в руку, чтобы не потревожить людей, заседавших за столами в этом великолепном помещении.

Бывший пермский грузчик Ардуванов внимательно осмотрел степных людей и пробормотал:

— Будет дело!

Он организовал татарско-башкирскую бригаду.

Профработники, любящие газетный жаргон и неудачные сокращения, тотчас же прозвали ее «бригада нацмен». Через несколько месяцев из вчерашних батраков-чернорабочих Ардуванов сделал квалифицированных бетонщиков. Через год Ардуванов получил орден Ленина. Орден запылен цементом и кажется зеленоватым.

Ни один бетонщик из бригады Ардуванова не прогулял ни одного дня. В узких добродушных глазах ардувановцев можно прочесть, как по букварю, об их честности, упорстве и выносливости.

Здешней суровой зимой при пятидесятиградусных морозах без теплой спецовки они работали с таким же легким сердцем, как и в душные летние дни. Их труд заражал даже вялых пермяков.

Но рядом с ардувановцами ходили бузилы. Бузила — это или истерик, считающий, что звание рабочего дает ему права и не налагает никаких обязанностей, ощущающий себя «борцом за революцию, загнанным в бутылку», или тупорылый малый, попахивающий самогоном, хулиганством, рекрутским молодечеством. Он кроет в бога и в гроб прорабов и инженеров, требует спецовку лучшую, чем все, обеды лучшие, чем все, курит среди стружек. Пестрая кепка лихо смята над морщинистым лбом, зеленое кашне кутает осипшую глотку. Он плюет вслед ударникам. Большевики его «разорили», где-то там, в семейном гнезде, и под толстой черепной крышкой чадят мысли о мести.

Бузилы вскинулись, — «татарва» учила их работе. На татар показывали пальцами, об их работе знало правительство, и из-за татар с бузил взыскивали строже; их лодырничество получило яркий контрастирующий фон.

Спрятаться было некуда. Тогда в ход пошла верная финка. Двоих из ардуванцев «подкололи», предварительно затеяв драку, как того требует хулиганская тактика. Бузилы думали отделаться простым «ранением в драке по пьяному делу», но просчитались. Их судили за контрреволюцию. Бригаду Ардуванова занесли в «Красную книгу» Урала — почетную книгу строителей новой индустриальной базы на Востоке.

АММИАК

Глухой химик Горштейн был прикомандирован в качестве советника к экспедиции Совкино. Экспедиция снимала Березниковский комбинат. Возник вопрос: как снять технологический процесс на аммиачном заводе.

— Если химическое производство можно снять, — сказал Горштейн, — то оно никуда не годится.

Он был прав. Весь процесс, где происходят чудовищные по силе реакции, растут и падают температуры, соединяются газы, работает давление в триста атмосфер, идет бесшумно внутри труб, башен и глухих насосов. Снять его невозможно.

«Надо снять работающих людей, — написал Горштейну на клочке бумаги режиссер экспедиции. — Людей на фоне новейшей совершенной техники».

— Не сердитесь, — ответил Горштейн. — Я глухой и поэтому люблю немое кино. Но где много людей — там нет и не может быть совершенной техники.

И он был дважды прав.

Химический процесс снять и увидеть нельзя, — его можно только описать.

«Задача Березниковского комбината — производство высококачественного аммиака и калийных удобрений. Первая очередь комбината даст восемьдесят пять тысяч тонн товарной продукции на сорок пять миллионов рублей».

Эту фразу вы встретите в любом описании Березников. К сожалению, их очень мало, этих описаний — всего две-три тощих статьи, испещренных формулами, сухих, как доклад математика.

Первая очередь Березников состоит из цепи заводов — ТЭЦ, завода синтетического аммиака, завода серной кислоты, заводов сульфат-аммония и селитры, водонасосной станции — самой мощной в Советском Союзе — и водоочистки.

Аммиак — кровь комбината. Завод синтетического аммиака — по-здешнему «синтез» — огромен, и путешествие по нему занимает не меньше пяти дней. Он состоит из пяти частей — газогенераторного цеха, газгольдера, конверсии, компрессии и синтеза.

Исполинские корпуса тонут в северном сумраке и тишине. Когда я бывал на аммиачном заводе, он ждал пуска, ждал последнюю партию измерительных приборов, высланных из Америки.

Пока эти микроскопические приборы, призванные улавливать миллионные доли процента каких-либо

газов, качались в трюмах океанских кораблей, монтеры завода пригоняли последние детали. Когда завод пойдет, только сто человек будут управлять его шестью гигантскими цехами.

Весь процесс производства аммиака, непрерывный, как течение реки, будет продолжаться шестьдесят три дня. Иными словами, если первого декабря пускается первый цех — газогенераторный, то первая струя жидкого аммиака польется из конденсаторов синтеза (последнего цеха) первого февраля. Но литься она будет непрерывно.

Газогенераторный цех. Здесь рождается газ. Черная башня высотой в пятьдесят метров. Внутри башни ходит скип-элеватор для подачи кизеловского кокса наверх, в бункера, вмещающие трехдневный запас кокса. На скипе, бункерах и автоматических весах, отвешивающих точные порции кокса для каждой газовой печи, работает один человек.

Из бункеров кокс пересылается в дробилку, а оттуда в мерные камеры. Это чугунные башни с большим круглым вырезом, заклеенным толстой резиновой плитой. Эта плита — предохранительный клапан. Если газ прорвется из печи в мерную камеру, — возможен взрыв. Он предотвращается тем, что резиновая плита раздувается от давления газа, как исполинский пузырь, лопается и газ свободно улетает в пространство.

Из мерной камеры кокс переходит в печь-генератор, встречается там с паром, и от этой встречи и рождается газ. Он называется сырым или полуводяным.

Около каждого генератора на высоте трех этажей висит в воздухе капитанская рубка. Чугунные решетчатые полы гремят под ногами. Рычаги и измерительные приборы окружают железный ящик, где за стеклом стоит машина времени — автоматический мозг всего цеха.

Образование газа длится три минуты. За это время надо очень точно, с ошибкой не больше, чем на десять секунд, открыть и снова закрыть в известной последо-

вательности пять главных задвижек, впускающих и выпускающих газ, дым, кокс и пар.

— Что будет, если опоздать на десять секунд?

— Каюк, — отвечают химики.

Неточных и ошибающихся людей сменила безошибочная машина.

Колесо времени медленно вращается и, нажимая то один, то другой контакт, управляет всеми задвижками.

Но и колесо времени поставлено под бдительный контроль. Если колесо времени ошибется и где-нибудь в сети случится неисправность, оглушительная электрическая сирена даст сигнал и остановит весь процесс образования газа.

Из генератора газ идет под сильный водяной душ-скруббер. Там его обмывают от пыли. Потом он мощными насосами нагнетается в газохранилище — газгольдер.

В газогенераторном цехе рождается триста пятьдесят тысяч кубических метров полуводяного газа в сутки.

Аммиак является соединением азота и водорода.

В газе, поступающем в газгольдер, тридцать восемь процентов водорода и двадцать два процента азота, а остальное приходится на углекислоту и окись углерода. Прежде чем получить аммиак, эти вредные примеси необходимо вычистить.

В башне газгольдера было гулко и пусто. Водолаз надел скафандр и полез вниз, в громадный бетонный бассейн с зеленой подогретой водой. Этот бассейн зовут водяным замком.

Инженер Спенсер смотрел вниз и волновался, — предприятие было явно опасное. На частые и быстрые вопросы Спенсера переводчик цедил сквозь зубы нечленораздельные ответы. Ему надоело переводить по десять часов в сутки. Его одолевала зевота. Он скучал и бродил мутным взглядом по узким балкончикам у стен башни и гигантскому куполу газгольдера, лежащему глубоко внизу.

Водолаз должен был заделать какое-то отверстие в водяном замке. Ему приходилось пролезать между бетонной стеной бассейна и железной стенкой газгольдера, описывающей гигантский круг.

Переводчик нашел, наконец, занятие. Он заметил нарисованный карандашом на стене чертеж газгольдера и начал рассматривать его с необыкновенным вниманием. Спенсер оставил его в покое.

Чертеж был прост. Каменная башня стояла над бассейном с водой, а в воде плавал перевернутый вверх дном железный стакан размером в семиэтажный дом. Стакан состоял из трех громадных частей, входивших одна в другую, как входят части телескопа или подзорной трубы. Наполняясь газом, эти части поднимались над водой на высоту в тридцать пять метров, причем первая тянула за собой вторую, а вторая — третью. Железный газгольдер рос, как воздушный шар емкостью в пятнадцать тысяч кубических метров. Купол его был равен куполу московского планетария.

Сейчас газгольдер был сложен и плавал на воде. Были видны приклепанные к его серым стальным выпуклостям направляющие колеса. Они бегут по рельсам, когда газгольдер идет вверх, и предохраняют это океанское сооружение от перекоса.

Подъем газгольдера на полную высоту продолжается три четверти часа.

Водолаз вылез, снял шлем и пробормотал:

— Передайте ему: все сделано. Лучше в Каму зимой нырять, чем в эту хреновину. Того и гляди прищемит, как крысу.

Водный бассейн устроен для того, чтобы прочно запереть газ в хранилище и не дать ему возможности улетучиться снизу. Водолаз заделал последнюю щелку в этом бассейне.

Меня поразило несоответствие цифр. Газогенераторы будут давать по триста пятьдесят тысяч кубических метров газа в сутки, а газгольдер рассчитан только на пятнадцать тысяч кубических метров. Но несоответствие объяснялось просто: газ в газгольдере будет все время в движении, его будут беспрерывно поглощать остальные отделения аммиачного завода,

и запас в пятнадцать тысяч кубических метров вполне достаточен.

В Германии есть телескопические газгольдеры для светильного газа емкостью в двести пятьдесят тысяч кубических метров. Из них газ идет для бытовых нужд, берут его только днем. Ночью расход газа падает почти до нуля. Поэтому и нужны мощные газгольдеры, вмещающие всю ночную выработку газа.

В цехе конверсии около сложных газодувок сидят на корточках толстые немецкие монтеры. Синие комбинезоны трещат на их упитанных спинах. Дым из трубок ест глаза, поэтому все немецкие монтеры смотрят одним глазом, второй у них всегда закрыт. Это делает их похожими на часовщиков.

В конверсии газ из газгольдера гонят по башням, обдают паром, греют, охлаждают и добиваются того, что процент нужного для производства водорода подымается с тридцати восьми до пятидесяти одного, а ненужной окиси углерода падает с тридцати четырех до трех. Получается новый газ — его зовут конвертированным, он идет в цех очистки, где его совершенно освобождают от углекислоты и окиси углерода. В нем остаются только водород и азот, и притом в том количестве, какое необходимо для получения аммиака.

Цех очистки — фантастический цех. Углекислоту вымывают из газа водой. В очистительные башни каждый час вливается десять тысяч тонн свежей пресной воды. После очистки она превращается в такое же количество тонн крепкой зельтерской воды. Это — отброс производства. Двести сорок тысяч тонн зельтерской в сутки — этого вполне достаточно, чтобы затопить все курорты Крыма и Кавказа и, в частности, Одессу, где зельтерская вода так же необходима, как хлеб, воздух и как черноморское солнце.

В очистительных башнях добиваются чистоты газа поистине поразительной, — примесь углекислоты допускается лишь в размере пятнадцати миллионных частиц. Если примесь будет больше, то весь процесс пойдет насмарку.

В цехе очистки есть свой собственный Днепрострой. В очистительных башнях вода падает с большой высоты под сильным давлением. По силе падения она дает такой же эффект, как, например, столб воды, падающий с высоты ста шестидесяти метров. Эта вода вращает турбины. Они в свою очередь приводят в движение моторы и насосы, подающие в очистительные насосы воду и газ.

Здесь особенно нагляден основной принцип комбината — использовать всю энергию до последней капли, замкнуть ее в величественный поток непрерывного круговращения, приблизить производственный процесс к идеалу замкнутого цикла, чтобы ни капли энергии не выбрасывать на воздух.

Иностранные специалисты поражены — только два мировых химических комбината имеют, по их словам, «столь гармоничное и красивое течение производственного процесса».

Я говорил с одним из этих специалистов. В сильные морозы он ходил в одном пиджаке, стремясь доказать, что большевики, кутающиеся в тулупы и валенки, — хилые и достойные сожаления люди. Он жаловался на «русских рабочих, не желающих подчиняться немецким монтерам», он намекал на «мальчишеское тщеславие молодых советских инженеров», но на вопрос о впечатлении от всего комбината только развел руками:

— Прекрасно. Столь продуманного и великолепного проекта я не ожидал.

Заведующий цехом конверсии — человек на редкость неразговорчивый — пробормотал:

— Ходите, смотрите. Вон компрессоры, где очищенный газ сжимают с силой до трехсот атмосфер. Одним словом, дело обстоит так: здесь мы должны десять тысяч кубических метров газа сжать и превратить в шестьдесят кубических метров. Это, собственно, и все.

Это «все» было невероятно, но такие масштабы стали будничным делом для здешних людей в презираемых немцами бахилах.

Их нельзя поразить ничем. Скажите им, что надо выстроить вторую Эйфелеву башню для нужд комбината, и они начнут ее строить, назвав «башней № 2 на первом аммиачном участке» или что-нибудь в этом роде.

Прорабы начнут писать отчаянные записки в отдел снабжения, землекопы будут вынимать назначенные им от века «кубометры» мерзлой каменной глины, котельный цех станет клепать фермы и укосины и требовать кислорода, в рабочкоме будут ругаться из-за норм, а начальник строительства Грановский издаст еще несколько приказов, где в энергичном стиле заявит: «Опять прораб башни № 2 Пономарев — известный волынщик — ввел меня в заблуждение относительно сроков сборки двух опорных ферм. Поэтому приказываю...» и так далее. Неискушенный человек прочтет все это и пожмет плечами — обычная производственная картина: прорабы, графики, сварщики, проба грунта, перекошенные болты — ничего особенного. Корреспондент московских газет даст телеграмму: «Сборка башни № 2 на первом аммиачном участке закончена на семь дней раньше срока, назначенного райкомом». Читатель отложит газету, — нашли чем хвастаться после Магнитостроев.

— Чего вы добиваетесь? — вправе спросить меня каждый, кто прочтет эти строки.

Я добиваюсь немногого. Я хочу, чтобы вы поняли, что под сухими словами «газгольдер», «газогенератор», «скруббер», «углеподача», «измерительная установка» и так далее и тому подобное скрываются сооружения, ошеломляющие своими размерами и гениальные по вложенной в их конструкцию мысли.

В последнем цехе аммиачного завода-синтеза живет катализатор. Это загадочное вещество, состав его известен очень немногим.

Очищенный и сжатый компрессорами газ проходит под сильным давлением через трубы, где лежит катализатор, и превращается в газообразный аммиак. В конденсаторах он сгущается в жидкость и стекает

по трубам в цистерны, распространяя удушье и слезливость.

Процесс окончен. При помощи жидкого аммиака получают селитру — облагораживать и обогащать неизмеримые хлебные и хлопковые массивы СССР.

ВОСЕМЬДЕСЯТ ТРИ МИЛЛИОНА ВЕДЕР ВОДЫ

Из Свердловска пришла срочная телеграмма: сообщить биографию слесаря водонасосной станции № 3 Николая Вотинова.

В постройкоме никто биографию Вотинова не знал, — не то он усолец, не то из Перми, толки были разные. Вотинова позвали в постройком, и на обороте одной из бесчисленных статистических сводок очень бледным карандашом он скупо написал: «Я сын рабочего. Отец работал на солеваренном заводе сорок семь лет. Помер он в 1921 году. Ввиду тяжелого материального положения семьи меня мальчишкой с двенадцати лет отдали на завод в слесаря. Образование мое сельское. Член ВКП».

В автобиографии не было ни слова о том, как Вотинов спас водонасосную № 3. Спасти маленькую водокачку и спасти величайшую в Союзе водонасосную станцию — по существу одно и то же. Но все же следует описать то, что спас Вотинов.

Московский водопровод громаден. Воду качают из Мытищ и Рублева. На Ленинских горах в колодцы водопровода льется мощная река холодной и прозрачной воды. Надо представить себе водонасосную станцию в два с половиной раза более мощную, чем весь Московский водопровод, — это и будет водонасосная № 3. Она могла бы питать водой весь Нью-Йорк.

На берегу Камы устроен водоприемник глубиной в двадцать два метра. Он делится, как трюм океанского корабля, на восемь отсеков, отрезанных один от другого глухими бетонными стенами. В каждом отсеке на уровне речного дна пробиты окна. В них вливаются рыжие потоки камской воды.

Глухие отсеки нужны, чтобы мощное давление Камы не перекосило здание. Возьмите спичечную коробку и сожмите ее между пальцами, — она перекосится и лопнет. Но вставьте в нее несколько поперечных дощечек-упоров, и сопротивляемость коробки увеличится. На этом принципе построены и отсеки. Кама давит на стенки водоприемника с силой четырехсот тонн.

На станции девятнадцать насосов. Все вместе они должны качать тридцать две тысячи кубических метров воды в час, или восемьдесят миллионов ведер воды в сутки, — почти половину всей Камы. Химические заводы требуют океанов воды.

Один досужий березниковский инженер вычислил, что если бы не было станции, то комбинату понадобилось бы двести двадцать пять тысяч водовозных кляч, чтобы снабдить заводы необходимым количеством воды.

Со станции вода пойдет на комбинат пятью мощными потоками по трубам диаметром в сто двадцать сантиметров. Особые пожарные насосы будут качать воду под давлением в одиннадцать атмосфер. Струя из пожарного насоса бьет в вышину на сто пятнадцать метров и убивает человека наповал.

Станция стоит на берегу Камы. Против натиска Камы выставлена броня — ледоломы, каменный берег и толстые стены. В земле толщина стен доходит до трех метров. Такую крепость Каме, конечно, не размыть.

Над отсеками устроена столовая и клуб. Под полом будут клокотать глубокие воды Камы. Из окон клуба видны закамские леса, седые от снежного дыма, и древние гостиные дворы Усолья.

Эту станцию и спас Вотинов.

Сухой рапорт об этом говорит так:

«В марте 1932 года в котлован водоприемника станции № 3 проникла вода из Камы. Она начала затапливать колодцы, потом пробила пол и хлынула в машинный зал. В это время испортились насосы, откачивавшие воду. Катастрофа приближалась

стремительно и казалась неизбежной. Котлован начало размывать.

На аварийный участок перебросили лучшую бригаду из двадцати шести слесарей во главе с Вотиновым. Было необходимо немедленно и во что бы то ни стало исправить насосы на ходу.

С Урала шел буран. Бригада работала двое суток по колено в воде и не отдыхала ни одной минуты. Она ушла лишь после того, как насосы начали работать с точностью часов».

Во время аварии у Вотинова в семье случилось несчастье: брат убил брата. За Вотиновым прислали из дома. Он оторвался от работы на несколько секунд и сказал присланному:

— Ступай, семья подождет, дело дороже.

Только на третий день Вотинов ушел домой. Там его ждала та жизнь, от которой он давным-давно оторвался, — остатки старого, забубенная окраина, дощатый гроб убитого брата.

Вотинов был награжден орденом Ленина.

Репортер местной газеты «Ударник» первый рассказал мне о Вотинове. Репортер был простой и славный юноша, но любил пышные сравнения и носил пестрые до рези в глазах вязаные шарфы. Рассказывая, он воскликнул:

— Это напоминает мне историю Архимеда!

Сравнение показалось мне диким. Но потом я понял, что оно не было плохим. Я вспомнил французскую революцию, когда якобинцы гремели речами о доблести древних римлян и призывали патриотов следовать их примеру.

Гражданское мужество римлян было любимой темой уличных ораторов. Имена братьев Гракхов знал каждый санкюлот. Вот почему репортер вспомнил об Архимеде, о великом римском математике, убитом солдатами.

Репортер рассказывал мне об этом на станции. Внизу, у насосов, стоял Вотинов. Я видел его замасленную спину и льняные волосы, выбивавшиеся из-под кепки.

— Расспросим его самого, — предложил репортер.

Я отказался. Я прекрасно знал, что Вотинов посмотрит на нас как на докучливых бездельников, пристающих к человеку с пустяками. Он был занят. Кроме того, он не хотел говорить о спасении станции, вовсе не считая это геройством.

«Не я один, все ребята работали», — только этот ответ мы бы от него и услышали. Недаром в своей автобиографии он ни слова не упомянул о мартовском событии.

С большой охотой он рассказал бы, как его бригада добилась работы всех насосов и механизмов на станции с полной стопроцентной нагрузкой. Раньше они работали на пятую часть своей мощности.

До прихода Вотинова паровой копер забивал восемь свай за смену. Вотинов отремонтировал его, и копер начал забивать двадцать свай. Бетономешалка Кайзера, похожая на голову ящера с разинутой пастью, залепленной зеленым тестом, делала за смену сто восемьдесят замесов. Вотинов заставил ее делать триста двадцать.

До водонасосной Вотинов со своей бригадой работал по сборке железной мачты Круппа высотой в семьдесят метров. Башня была готова на неделю раньше срока.

Инженер водонасосной станции Чайковский — неунывающий человек в ярчайших лиловых штанах — изобрел деревянные щиты, вполне заменяющие железные. Вместо тридцати двух железных щитов было поставлено восемь щитов Чайковского. Строительство сэкономило сто тысяч рублей.

Чайковский похож на земского врача чеховских времен, — от его румяных щек и смеющихся глаз веет свежестью, будто Чайковский только что принял душ под своими исполинскими водными потоками. Он самолично ужом пролез через сеть широких водопроводных труб, чтобы убедиться в их чистоте: промывке Чайковский не доверял.

— Моют, моют, вода идет чистая, а глядишь — в трубе дохлая кошка.

Чайковский романтик. Он расскажет вам о воде, о водонасосных станциях столько необыкновенных историй, что перед ними померкнут Жюль Верн и Уэллс вместе взятые.

Вотинов не один. Молодая история комбината знает десятки случаев героизма, достойных всесоюзной славы.

Электромонтер комбината Ужегов получил первую премию на всесоюзном конкурсе новостроек. Его бригада снизила себестоимость порученной работы на тринадцать тысяч рублей.

Плотник Громов вызвался в жестокий мороз (было пятьдесят градусов) влезть на крышу корпуса конверсии, чтобы настлать кровлю. Он полез, остался жив и выполнил работу безукоризненно. Северные плотники трясли бородами, — со времен Чердынского царства они не слыхали ничего подобного. Рукавицы примерзали к топорам, а в Чуртанских лесах гулко лопались от стужи столетние ели.

Водонасосную № 3 монтируют. Из Германии пришли машины. Они стоят запеленатые, как кутают в одеяла маленьких детей.

Кроме водонасосной № 3, у комбината есть уже работающая водонасосная № 2, равная по мощности московскому водопроводу.

На комбинате прежде всего бросаются в глаза трубы. Весь комбинат завязан узлами исполинских труб. Ни одно производство в мире не требует столько труб, сколько химическое.

Широкие желтые трубы переползают из цеха в цех, как чудовищные удавы. Они разветвляются подобно артериям на анатомическом атласе. Вдруг из-под ног бьет в лицо струя пара. Всюду: под ящиками с оборудованием, из-под рельс заводской дороги, из-за углов зданий — высовываются черные жерла и изогнутые спины труб. Чаще всего в Березниках слышны слова: «вентиль» и «задвижка», обязательная принадлежность труб. Трубы для воды, для газа, для кислот, для пара в две атмосферы, в семь атмосфер и шестнадцать

атмосфер, железные, стальные, свинцовые, гончарные, деревянные, бетонные, футерованные и нефутерованные, обмазанные изолирующим составом, как будто укутанные в желтый ватин, — лабиринт разноцветных исполинских труб, государство труб всех диаметров от тысяча двухсот до сорока миллиметров.

Все главные трубы введены в два туннеля — большой и малый. Туннели зовут «подземными Березниками». Большой туннель пропитан теплым запахом асфальта. Белые лампы горят над могучими линиями труб. В туннеле тропическая жара. Снег над ним тает.

Все линии труб в туннеле двойные: одна — работающая, другая — запасная на случай аварии. Запасную прозвали «страховкой». «Страховка» нужна аммиачному заводу, где малейший перебой в подаче воды, пара или электричества может остановить на два месяца весь производственный процесс.

Сначала к мощным трубам поставили задвижки (вентили), закрывающиеся вручную. Весит такая задвижка шесть тонн. Чтобы закрыть ее, нужно сорок пять минут. Если случится авария, то за это время может быть затоплена почти половина комбината. Поэтому к каждой задвижке поставили мотор, он закрывает ее в три минуты.

ГОСУДАРСТВО СВИНЦА

Иностранные инженеры и монтеры стали похожи в это утро на разбитую наполеоновскую армию. Тонкие коверкотовые пальто, шершавые галстуки, мягчайшие шляпы, скрипучие лайковые перчатки — весь этот набор заграничной одежды, распространявший на стройке легкий запах берлинских и лондонских кино и бир-халлей, — все это исчезло за одну ночь.

За Камой закатывалось лохматое солнце, потерявшее последние остатки блеска. Сахарные от инея лошади, привязанные к столбам около построечного управления, печально смотрели на него невооруженным глазом. Мороз набирал крепость, и по визгу снега под ногами можно было судить, что он перевалил за

тридцать градусов. Вся стройка пела тысячами разнообразных шагов — от решительного скрипа сапог до неуверенного подвывания валенок.

В это утро главный технолог комбината мистер Спенсер вышел в шляпе, подвязанной по-бабьи платком, в сапогах забойщика и ватном пальто, сшитом из клетчатого одеяла. Зеленые квадраты одеяла были ясно видны с одного участка стройки на другой, несмотря на обычный при морозах седоватый туман.

Англичане с аммиачного шли в треухах. Роговые очки примерзали к переносицам. Ноги вместо желтых ботинок, ласкавших глаз благородством материала и линий, обременяли пудовые бахилы. Казалось, стадо ломилось сквозь стройку, стадо мамонтов, бывших вчера еще стройными и румяными людьми.

Переводчицы перетягивали тулупы веревками и гремели сапогами. Из-под малахаев выбивались их седые от инея печальные локоны.

Наполеоновская армия вступила на стройку и растеклась по отдельным заводам. Часть пошла на сернокислотный. Говорили, что из-за морозов лопаются трубы и в бункерах ТЭЦ смерзается уголь. ТЭЦ действительно перестала дымить.

На сернокислотном непрерывно взлетал вверх и скатывался вниз по железным лестницам прораб Гаврилов. Он принадлежал к числу работников, которых принято ругать, ибо ругать их легко, — они дают для этого очень много пищи.

Гаврилов работал бестолково, но с таким размахом и волнением, что заражал всех суетой и особого рода безответственной веселостью. Он много и со вкусом кричал, крыл матом направо и налево, вытаскивал за шиворот из-под печей чернорабочих, забравшихся греться, хватался за голову, разводил руками, подписывал на услужливо подставленных спинах рабочие карточки, выгонял из конторы лодырей, сам лез, отпихивая машиниста, подтягивать гайки в станках, доказывал плотникам, что они сукины дети, не умеющие подогнать перила, и так далее и тому подобное. Одним словом, Гаврилов безумно действовал, не замечая, что дело стоит.

На технических совещаниях у начальника строительства Гаврилов недоумевал и возмущался, — все ругали его, будто сговорившись, его, Гаврилова, тащившего на себе всю тяжесть монтажа «этого завода, чтоб он пропал». Гаврилова обвиняли в неумении правильно расставить рабочую силу, в сутолоке, в занятиях галиматьей.

Гаврилов бросал кепку на стол, таращил на начальника строительства серые глаза и кричал:

— Ты сам не знаешь, что у тебя делается на стройке. Мне руки связывают! Мне ни черта не дают! Механизации работ нету. Я работаю на смердящем газу — вот на чем я работаю, ежели интересуешься знать.

В этом месте Гаврилова сурово останавливали. Все знали, что таким неблагозвучным газом он называл чернорабочих, ручную силу, заменявшую кое-где на стройке тракторы и транспортеры.

Гаврилова сняли. До сих пор он не может понять за что. Кажется, работал, кажется, из кожи вон лез, кажется, надрывался и перерывался — и вот благодарность!

— А ты бы меньше лез из кожи, тогда бы дело пошло, — сказал ему начальник строительства. — Ударную работу ты заменяешь толкучкой! Что у тебя творится на заводе? Что? Безобразие! — вдруг прокричал он и уставился на Гаврилова круглыми глазами. — Организации работ нет, плана нет, сотни людей шаландаются без дела, грязь, леса не убраны, а ты бегаешь, как бешеный кот, во все лезешь, ничего не кончаешь и думаешь, что я буду терпеть твою безответственность без конца. Скажите пожалуйста, какая невинная девушка!

Инженер Лойба, украинец и скептик, пытался защищать Гаврилова. Лойба обладал невозмутимостью, выводившей всех из себя. На вопрос, когда же, наконец, пойдет сернокислотный завод, он отвечал:

— Когда пустымо, тогда и пойдет! Понятно?

Защита потерпела жестокий провал, и начальник строительства даже обозвал Лойбу вольтерьянцем.

— Как? — переспросил Лойба.

— Вольтерьянец ты, скептик, вот кто, — резко отчеканил начальник строительства, и Лойба, не поняв, что это значит, обиделся: мыслимое ли дело швыряться такими словами!

После аммиачного завода сернокислотный кажется простым, как таблица умножения.

Дробилка с отчаянным грохотом размалывает зеленый и пыльный серный колчедан. В дробилке работают в респираторах. Густой зеленый туман оседает на лицах и машинах окисью меди.

Из дробилки колчедан идет во вращающиеся печи. Там он горит сиреневым пламенем, пересыпаясь с полки на полку ярко-золотым дождем, и выделяет сернистый газ.

На аммиачном заводе газ отмывают от пыли водяным душем, на сернокислотном его очищают электричеством. Пыль прилипает к наэлектризованным металлическим частям особой установки. Она называется катрелью. Из катрели газ передают в громадные башни Гловера и Гей-Люссака, заполненные доверху мелким кварцем.

Здесь газ «орошают» особой кислотной жидкостью — нитрозой. Под действием нитрозы он превращается в серную кислоту и стекает вниз, к желобам.

Кварцем башни засыпают для того, чтобы увеличить площадь соприкосновения газа с нитрозой примерно в семьсот пятьдесят раз. Если вычислить площадь всех осколков кварца, смоченных нитрозой и заполняющих башни, то получится огромная цифра.

На сернокислотном заводе — государство свинца. Свинцовые трубы, свинцовые желоба, свинцовые баки. Свинец — единственный металл, который серная кислота не может разъесть.

Сернокислотные заводы первое время обычно газят. Газ сочится через тончайшие щелки, проходит сквозь флянцы и заволакивает корпуса удушливым туманом. Из носу идет кровь, изо рта сладкая, как дешевая карамель, слюна. Поэтому на сернокислотном первое время работают в противогазах.

Но это пустяк по сравнению с заводом каустической соды. Если в глаз попадет хотя бы крупинка этой соды, — он лопается и вытекает. На вид каустик — твердая красивая масса из столбчатых молочно-белых кристаллов. Если растворить эти кристаллы в воде и положить в нее труп человека, то через двадцать минут от него ничего не останется, одна едкая прозрачная жидкость. Это называется «мокрой кремацией».

Тяжелый желтый дым ползет из труб сернокислотного завода. Этот дым называется «лисьим хвостом».

Гаврилов полез со мной на гей-люссак. Окислы азота сжимали горло чугунной клешней. Мы дышали как запаленные лошади. Под нашими ногами шла гигантская химическая реакция, превращавшая газ в серную кислоту. В кварце бушевала температура свыше двухсот градусов тепла. В пропасти на дне башенного отделения сварщики дымили ослепляющим автогеном.

— Сдам сернокислотный, — сказал Гаврилов, — поеду к себе в Торжок. Буду на лыжах кататься, ничего больше делать не стану. А потом в Севастополь, на морской завод.

И тут Гаврилов оказался верен себе. Он втайне мечтал о бегстве, об отдыхе, о самоварах, снегах, теплых провинциальных горницах.

ИСПОЛИНСКИЙ НЕГАТИВ

Весь вечер я провел за Камой в тихом городишке Усолье. Путь через Каму был труден. Река покрылась желтыми торосами. Со стороны Вишеры, с севера дул острый ветер. Я перешел на Усольский берег и оглянулся на комбинат. Исполинский негатив стоял передо мной. Небо было черно, как глухая черная ткань — таким его сделал тридцатипятиградусный мороз, — и на нем далекими клубами и мощными струями несся вверх тяжелый белый дым из невидимых труб. Только над сернокислотным заводом он был ядовито-желтого цвета, как бы окрашенный небывалым лимонным пожаром.

Сотни фонарей лежали почти на снегах. Движение дыма было настолько стремительным, что от взгляда на него кружилась голова. Мороз и ветрогонки сосали дым из труб торопливо и жадно. Гул ТЭЦ был слышен даже здесь. Ярость этой мощной станции сотрясала усольское затишье.

Около деревянных и сгорбленных гостиных дворов, около домишек, выпучивших готовые вот-вот обрушиться белые колонны, около музея горели одинокие и тихие фонари. Ночь подошла к ним вплотную — жестокая чердынская ночь, похожая на черную пропасть.

В музее — в старинном доме Строганова — тускло светилось окошко. За решеткой двигались тени. Собаки выли, как волки, испуганные светоносным видением на древних берегах Камы. Я зашел в музей. Заведующий красными от холода пальцами перебирал желтые документы. Трехсотлетний дом глушил наши голоса в крепостных сводах.

В углах, где розовели глыбы соликамской калийной соли — сильвинита, лежала ощутимая плотная тишина. Мы зажгли свет и ходили по тесным залам, где стыл кизеловский уголь и в розовой тусклой дымке, как бы припудренной сильвинитовым порошком, глядел со стены портрет седой красавицы Строгановой, бывшей владелицы девяти миллионов гектаров пермской земли.

Модели бетонных корпусов комбината бросали огромные тени, заглушая блеск перстней и орденов на портретах остальных Строгановых и сиятельных генералов.

Заведующий рассказывал. Он любил свой музей, любил комбинат, любил медистые песчаники и сильвинит, любил весь этот край, зеленый от лесов и белый от снега, — край, похожий на изразцы для строгановских печей, изготовленные пленными шведами в восемнадцатом веке. Изразцы лежали здесь же под стеклом.

— Необходимо, — говорил заведующий, — написать книгу об этих местах. Я давно ее задумал, но, видите, нет времени, да и языком я владею не так уж бле-

стяще. Прежде всего что нужно показать в этой книге? По-моему, так: сначала державу Строгановых, дарственные грамоты царей на землю. Иван Грозный им отрезал весь край от Чердыни вниз по Каме на девяносто верст. Девять миллионов гектаров! Кстати, вы не знаете, какому европейскому государству равна эта площадь? Потом — строгановские крепости, солеварни, заводы, — это уже девятнадцатый век, когда здесь был свой собственный суд — «заводская расправа», когда пороли рабочих по постным дням и всем делом заправляли строгановские воры-повытчики. Кто такой повытчик? Как вам сказать, вроде управляющего или надсмотрщика. Первые забастовки возникли в пятом году, их здесь звали бунтами. У нас есть об этом много материала. Потом — Соликамск с его изразцами и церквами и работа геолога Преображенского, открытие им самых мощных в мире залежей калия. Старые заводы — содовый, соляные варницы и новый социалистический рудник. Вы его еще не видели. Он весь взят в стальную броню и врезается в сверкающую розовую соль. Между прочим, блестящее зрелище. Блестящее зрелище, — повторил заведующий. — И, наконец, комбинат, ошеломляющий масштабами, не правда ли — исполинский. Вот отсюда его хорошо видно.

Заведующий потушил свет и подвел меня к узкому тюремному оконцу, забранному чугунной решеткой. Комбинат все так же стремительно уносил в небо необъятные столбы дыма и пара, насыщенные блеском электрических огней.

— Социализм упал вот здесь, именно здесь, в тайгу, как метеор, — сказал заведующий и нервно закурил. — Перед нами величайшая эпоха. Я чувствую ее каждым нервом. Я иногда сижу здесь до глубокой ночи, тушу свет, смотрю и думаю. Мне кажется, что океаны света льются на Каму, на Чердынь, на Печору. В этом освещении я ясно вижу будущее. Здесь, на севере, вот в этих бетонных корпусах, готовятся будущие урожаи. Я не могу вам привести цифр, но это сейчас и не важно. Я вам их найду. Урожаи хлопка, пшеницы, льна увеличатся во много раз. Земля каждый год будет обновляться, соки ее никогда не потеряют крепости и

силы, и все это сделает калий. Здесь его будут обрабатывать кислотами и аммиаком, и отсюда по рельсам и по Каме хлынут потоки лучших в мире удобрений. Мы будем давать лучшее из лучших удобрений — чейна-селитру.

Мы вышли вместе. Деревянная лестница пахла березовой корой и холодом. Шел снег. Он засыпал Усолье, склады пушнины и дичи, теплые дома, где еще всхрапывала заспанная жизнь, наглухо закрытая морозными узорами на окнах.

На берегу Камы мы встретили Гаврилова. Он шел ночевать в Усолье к приятелю.

— Отдохну от него, — сказал он, махнув рукавицей в сторону сернокислотного завода. — Он у меня колом в башке сидит.

— Знаешь, кто ты такой? — спросил Гаврилова заведующий.

— Прораб.

— Ты не прораб, а трепач!

— Посиди на технических совещаниях у хозяина, — равнодушно ответил Гаврилов, — и не то еще скажешь!

Гаврилов свернул за собор, превращенный в амбар. Из разбитых окон пахло хлебом и клейким ситцем. Казалось, собор бесшумно расползался от белых груд снега, наваленных ветрами на его ветхие крыши.

Айсор-фотограф привязал к соборной ограде размалеванный фанерный щит. На нем пылали дворцы вишневого цвета и не дым, а чистая черная нефть била фонтанами из труб зеленых пароходов. На щите белела надпись: «Привет из Баку».

Снег шуршал по щиту и по ограде. Темнота издавала запах сырого ветра, базара, холодной овчины.

ПОСЛЕДНИЕ СЛЕДЫ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Ночь как бы дробилась на осколки от пронзительного визга злых лошадей. Соликамские ямщики притопывали красными валенками и сдирали лед с русых бород. Строптивое ямское племя сохранилось

здесь со времен Грозного, когда через Соликамск лежал «великий тракт» — на Верхотурье и Тобольск.

Разливаясь колокольцами, дикие лошади с размаху вынесли пестрые сани на пригорок и, пыля снегом, вырвались в полярную ночь.

Весь Соликамск звенит, орет, свистит от бешеной зимней езды. Может быть, потому на соликамском пустынном вокзале в буфете рядом с портретами Ворошилова и Калинина висит портрет Гоголя. Память о его «птице-тройке», должно быть, до сих пор волнует соликамцев.

Времена переменились, и большинство ямщиков служит сейчас кучерами в калийном тресте, но что это за невыносимые и азартные кучера! Трест стонет от них, как от напасти. Производственная дисциплина для них так же непонятна, как и теория вероятности. Они гикают, стоя на облучках, и раскатывают сани, сшибая трухлявые афишные столбы — остатки царской провинции и летних захудалых театров. Они сидят на полу в стеклянном вестибюле треста, дожидаясь седоков и гуторя, как на почтовой станции прадедовских времен. Невольно кажется, что к директору треста пришли выборные люди от допетровских обитателей Пермского воеводства бить челом об отмене соляных оброков, ямской повинности и прочих стародавних вещей.

На взгорьях Приполярного Урала, засыпанный снегами, стоит этот древнейший посад, придавленный тьмой и холодным небом. Соликамская ночь ощущается как холодный туман, тяжело покрывающий землю. В угрюмой близости угадываются необъятные разливы лесов, обнимающие город со всех сторон. Ночью их не видно. Видны лишь редкие электрические огни по склону горы и прозрачные в их свете вековые алебастровые соборы. Их белизна кажется особенно резкой рядом с рубленными из черной сосны высокими купеческими домами.

Потом среди темноты, как невыносимый пожар, вспыхивает дом — весь из стекла и бетона, напоминающий последние постройки французских архитекторов. Мохнатые лошади скачут мимо него. Ямщик

успевает ткнуть кнутовищем в сторону как бы расплавленных от электрического огня окон и прокричать:

— Союзкалий-то! Трест-то!

Над крышами окаменелых от времени изб, над едва прочерченными вершинами низкого леса восходит, освещая бесшумно сыплющийся снег, далекая синяя заря. Это электрическое зарево первого в СССР калийного рудника.

Геолог А. Иванов пишет:

«Сейчас на разведанной площади в Соликамско-Березниковском районе, равной приблизительно шестистам квадратным километрам, общий запас сырых солей калия выражается в шестидесяти миллиардах тонн. При современном потреблении калийных солей всем миром этих запасов хватит более чем на три тысячи лет.

Первый калийный рудник будет добывать два миллиона пятьсот тысяч сырых калийных солей (сильвинита) в год».

Вот все, что я успел прочесть в Соликамской гостинице, похожей на монастырь. Электричество потухло. По коридору бегал пятилетний мальчик. Он встряхивал русыми волосами и изображал шахтера: сверлил карандашом стену, долго сопел и запихивал в щелку кусок газеты — шнур от воображаемого динамита, — потом взрывал его — бу-у-ум! — и от стены отваливались несуществующие куски розового сильвинита. Мальчик был один. Отец его, маркшейдер, уехал на рудник.

Внизу, в столовой, под многометровыми сводами пермские люди в необъятных тулупах и меховых сапогах пили крепкий чай. За окнами визжали полозья, и разбитый колокол на соборной колокольне старческим голосом отзванивал часы. Снег шел не переставая.

Я подошел к окну, но ничего не увидел, кроме седых от инея деревьев, освещенных керосиновой лампой из окна, и полярной ночи, дымившейся над городом с непередаваемой тяжестью.

Полярная тьма убивала сон. Неотвязное впечатление, что приход короткого серенького дня — дело чисто случайное, что этого дня может и не быть совсем, что ночь останется на многие месяцы, преследует здесь всех нервных людей. Успокоение приходит только к утру, когда часы показывают десять и за окнами появляется слабый намек на небо, промазанное густой кубовой краской.

Я узнал историю Соликамска в первый же день, поразительную историю, какой вправе гордиться любой северный город Союза.

Весь день я потратил на две вещи — я смотрел и слушал. Это был своего рода действенный и богатый содержанием отдых.

Что можно увидеть в Соликамске?

Времена Ивана Грозного. Легкие соборы, будто слепленные из снега. Крепостные колокольни и низкие неуклюжие колонны, похожие на купчих в толстых шубах, — все то, что называют музейными ценностями. Треснувшие фундаменты, решетки узких окон, чугунные кружки для сбора подаяний, запах острога и богатых некогда погребов.

Монахи и купцы владели этим Чердынским краем. Монастыри похожи на крепости и амбары, крепости похожи на церкви, — древнее христианство вместе с тяжелыми парчовыми обрядами принесло сюда запах богатств, тугих тюков пушнины, вкус к звону денег, первые чугунные пушки — «единороги», палицы и скверный первобытный порох.

Отсюда монахи-колонизаторы делали набеги на Тобольскую сторону. Здесь они сожгли во время морового поветрия несчастного пермского лекаря, требовавшего открыть голодающим смердам монастырские амбары.

В одной из древних церквей устраивается музей Соликамского края. Он еще не открыт. На его белокаменную лестницу ветер наметает через разбитое окно сухой снег. У дверей прислонена исполинская чугунная плита с могилы «благороднейшей госпожи советницы Феодосии Турчаниновой».

С завидной точностью в шестидесяти литых строках рассказана сытая и скупая событиями жизнь купчихи XVIII века Феодосии.

В этой плите — все захолустье, весь угарный сон древней Руси, горькая судьба крепостных литейщиков, неведомо сколько недель проработавших над отливкой этой чудовищной плиты.

Из-за открытой двери музея пахнет тлением церковных тканей, воском и снегом.

Это будет один из необычайнейших музеев СССР. Здесь рядом будут стоять средневековая Россия и вклинившаяся и расколовшая ее, как обугленную гнилушку, молодая социалистическая индустрия. Гул турбин Соликамской ТЭЦ и едкая кровь калия, облагораживающая поля, заглушат и вытравят гнусавый гомон колоколов, запах лаврского ладана и мироточивых святительских костей.

Рядом с историей Строгановых и Перми Великой в новом музее возникнет молодая еще, но блистательная история советского калия. На карту мира нанесут семь пятен, показывающих залежи калия, и самым обширным будет соликамское. Рядом с ним станут по нисходящей кривой Страссфурт (Германия), Мюльгаузен (Эльзас), Манроза (Испания), Соляная долина (Абиссиния), Калуш (Польша) и Мертвое море (Палестина).

Мальчик, игравший в гостинице, очень мал. Вряд ли он будет помнить первые годы рождения соликамского рудника. Он будет завидовать нам потому, что не так часто в жизни посчастливится быть участником и свидетелем рождения в глухомани, в непроходимых лесах, среди стареющих сотни лет домишек и церквей, величайшего промышленного центра, свидетелем рождения рудников, новых городов, железных дорог, теплоэлектроцентралей. Свидетелем того, как Соликамск, раньше неведомый никому, кроме седобородых историков, становится мировым центром и имя его повторяется тысячи раз в Германии, Испании, Соединенных Штатах.

В 1640 году в лесных дебрях на Верхней Каме, вблизи нынешних Березников, был построен Пыскорский медеплавильный завод.

Летом 1931 года несколько комсомольцев-следопытов из города Усолья нашли в тайге развалины этого завода. Кирпич, поднятый с земли, рассыпался красною пылью, горы шлака заросли малиной, а в ямах в непролазном кустарнике пели зяблики. Похождения этих комсомольцев заслуживают целых книг.

Комсомольцы сколотили кружок по изучению производственных сил всего Верхне-Камского края, где в крепкий кулак собраны залежи угля, камня, соли, гипса, фосфорита, медистого песчаника и алебастра.

Действовали комсомольцы так: сначала рылись в архивах, изучали старые изорванные карты и планы, где Чердынь называлась Пермью Великой, а Соликамск — Солями Камскими, потом расспрашивали старожилов. Кажется, впервые в истории старожилы, которым, как и очевидцам, принято не верить, получили внимательных и благодарных слушателей.

Синеватые архивные бумаги, исписанные гусиными перьями, и донесенья повытчиков, управляющих вотчинами купцов Строгановых, говорили о залежах меди и о «людишках», поротых за отказ возить на завод «медный камень». В архивах комсомольцы нашли рассказ о хитром английском инженере, уговорившем соликамского дурака купца дать деньги на разведку медистых песчаников для английской фирмы.

На картах, сплошь залитых зеленой краской лесов, крестиками были отмечены места старинных разработок, а старожилы передавали со слов дядьев и кумовьев слухи о баснословных богатствах, хранящихся в угрюмой пермской земле.

Комсомольцы-следопыты не пренебрегали никакими сведениями. Они советовались с геологами, но геологи пожимали плечами: все это басни, нельзя браться за серьезное дело, основываясь на стариковской болтовне и архивных загадках. Нужен научный подход.

Комсомольцы оказались неподатливым народом. Пренебрежение геологов их не испугало. Они решили открыть все то, о чем так скупо повествовали архивы.

Но не было денег. Березниковский райисполком и слышать не хотел о деньгах. И без комсомольских затей у него дела было по горло. Начинался монтаж заводов Березниковского химического комбината, строителей сменяли монтеры, монтеры требовали квартиры, квартир не было. Из конторы строительства начинали отчаянно звонить в пять часов утра. К десяти часам утра, не выдержав неслыханной нагрузки, портились все телефоны, сотрудники райисполкома теряли голоса, из горла вместо членораздельной речи вырывалось сипенье, к вечеру всех устраивали, но в пять часов утра приходил новый поезд, и все начиналось сначала. Комсомольцы повели наступление на райисполком по всем правилам осадной войны, и райисполком, наконец, внял их просьбам, махнул рукой и сдался. На всю экспедицию он отпустил шестьсот рублей.

Комсомольцы бродили по тайге все лето. Стояла жара и засуха, молочный дым лесных гарей наносило с севера за сотни километров, а солнце горело в дыму, как остывающий чугунный шар. Пахло хвоей, сухими болотами, гниющей перезрелой малиной.

Комсомольцы прошли шестьсот пятьдесят километров пешком. Других способов передвижения не было, да если бы они и были, то все равно на них не хватило бы денег. Каждый тащил на себе запас продовольствия на две недели. Бывали случаи, когда комсомольцы по целым неделям не встречали людей.

Руководил всей группой молодой партиец Коновалов, заведующий усольским музеем.

Комсомольцы обошли все районы, где, по слухам, были залежи медистых песчаников. Этих районов было четыре, и они достаточно удалены друг от друга. По материалам плановых организаций залежи песчаников на Верхней Каме занимают пятьдесят квадратных километров. Комсомольцы очень осторожно и тщательно проверили «в натуре» все четыре месторождения и сделали поправку — не пятьдесят, а тысяча квадратных километров.

Это уже был блистательный успех. Скептикам геологам пришлось краснеть. Комсомольцы принесли образцы песчаников из всех обследованных месторождений. Их подвергли анализу в лабораториях Березниковского комбината, и оказалось, что из двенадцати образцов восемь прекрасного качества.

В них было от семи до двенадцати процентов чистой меди, тогда как во Франции считают вполне выгодным разрабатывать даже тощие песчаники с содержанием меди в одну четверть процента.

Утомительное и опасное скитание по лесам прошло недаром.

Но на этом комсомольцы не успокоились. Они подняли вокруг песчаников законный шум. При райисполкоме была создана комиссия по разработке залежей. В эту комиссию включили Коновалова.

Лаборатория Березниковского комбината нашла способ извлекать из песчаников чистую медь. Около села Вижая добыли первые пятьдесят тонн песчаников и доставили в Березники

Старый профессор, консультант комбината, привыкший выражаться со старинной любезностью, вызвал Коновалова и сказал ему:

— Молодой человек, я вас сейчас очарую. Мы нашли возможность извлекать из медистого песчаника при помощи обработки его аммиаком медь и изготовлять так называемый медно-аммиачный шелк — металлическую материю. Мы ставим добычу меди из песчаников в заводском масштабе.

Профессор закатил от удовольствия глаза и пронзительно засмеялся.

Коновалов вздохнул. Самые тайные его мысли вдруг приобрели ощутимую реальность. Он пожаловался профессору, что на изыскания в будущем году следопытам не дают ни копейки.

— Во сколько вам обошлась экспедиция? — спросил профессор.

— Около шестисот рублей.

— А вы знаете, сколько стоил один только анализ ваших образцов? Не знаете? Полторы тысячи рублей,

милый мой юноша. Полторы тысячи рублей! И это мы считаем, извините за резкость, плевком в сравнении с ценностью ваших открытий. Да знают ли они, — профессор вспылил и начал кричать дребезжащим голосом, — знают ли они, что геологическая экспедиция такого масштаба обошлась бы в двадцать тысяч рублей, в тридцать пять раз дороже вашей? Ну, батенька, — профессор развел руками, — такого безобразного равнодушия к своим земным недрам я не ожидал.

Но не один только медистый песчаник нашли комсомольцы. Кто-то из них слыхал, что в лесах к северу от Соликамска есть залежи алебастра. Двинулись туда. Заблудились в тайге, но помог знаменитый тамошний колхозник-медвежатник, знающий тайгу, как лоцманы знают бурные и малоизвестные моря.

Следопыты пришли к нему, в заброшенную далеко от кержацких деревень лесную избу, когда медвежатник разделывал шкуру двадцать первого медведя. Шкура висела на стене и закрывала ее от потолка до пола вместе с низким оконцем.

Медвежатник рассказал, что залежи действительно есть, только далеко, километров за сорок. Деды и прадеды возили алебастр, но потом бросили. На следующий день пошли. По пути встретили кержацкие лесные села, не нанесенные на карты. Готовились встретить начетчиков, глухие молельни, власть суровых и темных старцев, но жестоко ошиблись. Молельни были закрыты, в них были устроены кооперативы и детские ясли. Вместо унылых единоличных хозяйств кержаки организовали колхозы, открыли две новые школы, а главного отца начетчика раскулачили. Так был обнаружен первый в СССР колхоз, нигде не зарегистрированный и даже не отмеченный на карте Верхне-Камского края.

В лесах комсомольцы нашли залежи чистейшего, тончайшего алебастра.

— Девяносто шесть процентов чистого сернистого кальция, — говорил потом всюду Коновалов и вынимал из кармана ослепительно белые осколки.

Геологи Союзкалия хмурились. Нелепая гордость специалистов мешала им радоваться новому открытию

«коноваловских ребят». Перед комсомольской экспедицией геологи утверждали, что алебастра в тайге, по всем геологическим данным, быть не должно.

Кончилось тем, что трест Союзкалий послал на место залежей буровых мастеров для проходки первых скважин. Трест предполагает построить цементный завод и провести к нему из Соликамска узкоколейку.

Попутно следопыты обследовали богатые пласты известняков на Яйве. Березниковскому комбинату при работе на полную мощность понадобится три миллиона тонн этого известняка.

Изучая архив, следопыты натолкнулись на интереснейшую «Усольскую летопись», написанную строгановским крепостным Волеговым, первым историком всего этого солеваренного края. Следопыты нашли в Усолье чугунную плиту с могилы Волегова, на ней была отлита тесными строчками биография этого замечательного человека. Плиту было решено сохранить, но Рудметаллторг сломал ее и пустил в переплавку. Тогда комсомольцы начали бой. Им не удалось сохранить память о крепостном историке, но они решили сохранить рядом с комбинатом, гигантом социалистической индустрии и новейшей техники, то, что необычайно оттеняло стремительный ход социалистического строительства, — древние солеварни, где до сих пор работают деревянные насосы времен Ивана Грозного (к ним только приделали электромоторы), и древние усольские здания (в числе их есть точная копия собора Петра в Риме, построенная по прихоти одного из Строгановых крепостным архитектором).

Комсомольцы создали комиссию по охране памятников искусства и природы.

Наконец они занялись тем, чтобы предохранить воды Камы от загрязнения и засорения отбросами производства. Но тревога эта оказалась напрасной.

Дело в том, что трест Союзкалий заложил в трех километрах от Березниковского комбината на реке Зырянке мощную калийную шахту. Около шахты на берегу Камы трест начинает строить фабрику для добычи из калийной соли хлористого калия (удобрения). В калийной соли только двадцать процентов этого ка-

лия, а остальные тридцать процентов составляют обыкновенную поваренную соль. С рудника на берег Камы соль будет подаваться подвесной железной дорогой.

Фабрика будет ежегодно перерабатывать два миллиона пятьсот тысяч тонн калийной соли — количество, совершенно неслыханное. После переработки она получит пятьсот тысяч тонн хлористого калия и в качестве отброса два миллиона тонн поваренной соли. На берегах Камы ежегодно будет сваливаться восемьдесят процентов того количества соли, каким можно весь год снабжать шестую часть мира.

Тут-то наиболее пылкие из следопытов и встревожились. Ясно, что эти горные хребты соли засолят Каму и превратят ее в реку с морской водой. Погибнет рыба, пропадет питьевая вода, зачахнут прибрежные леса и села.

Побежали к специалисту. Он долго смеялся и не давал точного ответа.

— Чего вы боитесь? — сказал он. — Ведь наша пермская соль считается самой лучшей солью в мире. Ею солят шотландскую селедку. Рыба в Каме будет малосольной и нежной на вкус. — Отсмеявшись, он сказал серьезно: — Все это чепуха. Соляные бугры очень быстро покрываются толстой каменной коркой, и дождь перестает их размывать. Кама в безопасности...

Комсомольцы успокоились.

Эту историю о комсомольских следопытах я узнал на Севере. Север, пропитанный острым запахом лесов, замыкается сейчас в резкие границы электрических огней. Эпоха стали, воли и уверенной смелости, эпоха социализма врезается в океан лесов и высылает вперед отряды разведчиков — комсомольцев.

1932

1080 ПАРОВОЗОВ

Мы отвыкли удивляться даже
тому, что должно потрясать.
Слова старого инженера.

Громоздкий шофер по фамилии Стукота принес начальнику строительства Луганского паровозного завода крохотную записку. Он держал ее с чрезвычайной осторожностью, как будто нес только что вылупившегося цыпленка.

Часы пробили полночь. В обстановке строительства они олицетворяли безделье — ленивые и бесшумные часы, неторопливо шагавшие маятником от рассвета к полночи и снова к рассвету. Хотелось щелкнуть по маятнику, чтобы заставить их поторопиться.

Над Луганским подольем, над древним Диким Полем лежал туман. В стороне Алчевска пульсировало глухое зарево доменных печей. За окнами с самого полудня падал беззвучный снег, ложился на высокие ветлы, и отблеск светофоров, зажженных на стройке, превращал эти ветлы в уродливые деревянные конструкции.

Начальник строительства посмотрел за окно: все то же, снега и огни. По дороге в Алчевск, куда его вызывала записка, потянутся огни, снега и зарево.

Весь Донбасс, вся степь похожа ночью на снежное море, куда упали с черного неба созвездия электростанции и звездные туманности электрических огней.

Фамилия шофера на редкость соответствовала его профессии. Она вызывала представление о стуке мотора и человеке, не вылезающем из этой напряженной трескотни.

Работники Луганстроя забавлялись между делом удивительным подбором фамилий на стройке. Кроме Стукоты, был еще инженер Пустильников, больше всех волновавшийся, чтобы пустить завод в назначенный срок. «Пустильников, тот, конечно, свое пустит», — говорили о нем даже скептики.

Был редактор газеты «Ударник Луганстроя» Беспечный, но фамилия эта, казалось, дана ему по контрасту, — Беспечный был всегда озабочен.

Наконец во главе не только Луганстроя, но и всех пяти сверхударных строек Донбасса стоял Гвахария — человек, столь же стремительный в работе и решениях, как стремительно, взрываясь внутренней энергией, звучала его фамилия.

Записка вызывала начальника строительства в Алчевск, куда на помощь алчевскому строительству было переброшено восемьсот рабочих Луганстроя и несколько инженеров. В самом Луганске работа шла с таким незатухающим напряжением, что возможность уснуть на пять-шесть часов казалась счастливой и незаслуженной случайностью. Несмотря на это, Луганстрой бросил в Алчевск помощь по первой же просьбе.

Надо было ехать. Начальник строительства попросил достать ему кожух. Эта просьба вызвала величайшее смущение среди присутствующих. Кладовые были заперты, и Стукота, красный от стыда, доложил, что в гараже есть, правда, один кожух, но без рукавов. Есть, конечно, и рукава, как не быть, даже четыре оторванных рукава, но все на левую руку. Так что пусть начальник возьмет его, Стукоты, кожух — очень теплый и новый.

Начальник рассеянно отказался и сел в машину в короткой легкой куртке. Стукота сердито крякнул сиреной, и две голубые реки автомобильных фонарей

тотчас же заплясали по длинному украинскому шляху. Машина ушла.

Начальник почти не спал уже неделю. Брился он, как сплетничали на строительстве, только в Москве, куда изредка ездил для докладов. Ел он преимущественно наспех и ночью. Поэтому путь до Алчевска он ощутил как отдых.

Инженер Пустильников разделял историю строительства Луганского паровозного завода на три эпохи. Первую он называл эпохой железа, вторую — бетона и дерева, а третью из скромности он не называл никак, но ее называли за него другие эпохой электробетона.

Все три эпохи Пустильников демонстрировал очень наглядно, показывая приезжим исполинские цеха — кузнечный, котельный, литейный и паровозосборочный.

В котельном цехе, построенном в эпоху железных конструкций (32 000 кв. метров), и в паровозосборочном цехе, представлявшем эпоху бетона и деревянных конструкций (55 000 кв. метров), внутри зданий заключены громадные протяжения, еще более громадный объем воздуха и света, свои горизонты и свои перспективы, тонущие в синеватом дыму. Мостовые краны и мартеновские печи затеряны в них, как модели из конструктора в выставочном зале.

Просторы цехов дрожат от розовых молний автогена. Просторы цехов поражают неопытного человека кажущейся нецелесообразностью. Зачем столько обширных площадей, вымощенных кафелем, где мог бы поместиться под крышей Курский вокзал со всеми его платформами и поездами?

— Интересно, — ядовито отвечает в таких случаях Пустильников, — посмотреть на вас в этом цехе, когда завод будет работать на полную проектную мощность. Интересно, как вы здесь пролезете между паровозными котлами.

Полная проектная производительность завода — 1080 мощных товарных паровозов серии ФД (Феликс Дзержинский) в год, или три паровоза в сутки. ФД победил на испытаниях лучшие американские товарные

паровозы — очень капризные и требующие высококачественного угля. ФД неприхотлив. Он работает с таким же эффектом на низких сортах угля.

Но в последнее время у ФД появился сильный противник — английский паровоз Гарад. Он на сорок процентов мощнее ФД при одинаковом весе и очень хорошо, как говорят путейцы, «вписывается в кривую». Поэтому возможно, что Луганский завод перейдет со временем на паровоз типа Гарад.

Паровозы ФД будут снабжены «механическими кочегарами» — стоккерами, — червячной передачей, автоматически подающей уголь в топку. На некоторых паровозах, предназначенных для горных дорог, установят бустеры — добавочные двигатели, передающие движение на тендерные оси. Бустеры будут включаться на подъемах.

Луганский завод будет самым крупным в Европе. Он оставит позади знаменитые германские паровозные заводы Геншеля. Геншель выпускал в период расцвета около тысячи паровозов в год, но не столь мощных, как Луганский ФД.

Из паровозных заводов СССР до сих пор самым большим был старый Луганский завод «Октябрьской революции», или, как его попросту зовут, ОЭР. Закопченный, курящийся столбами паровозного пара, зарастающий горами шлака, окруженный прудами и вековыми ветлами, он дымит рядом с Луганстроем и выпускает триста паровозов в год. Каждый из этих паровозов вдвое легче ФД, и, следовательно, новый завод будет не втрое больше старого, как может показаться на первый взгляд, а в шесть и даже в семь раз.

Стоимость постройки Луганского завода с рабочим городком превышает четыреста двадцать пять миллионов рублей. На нем будет пятнадцать тысяч рабочих и около двух тысяч инженеров. На нем установлено две тысячи крупных станков (около тысячи станков — советского производства).

Весь блеск технической мысли в области паровозостроения сконцентрирован на этом заводе в производственный кулак. Ни один из паровозных заводов всего

мира не имеет такого совершенного оборудования — машин для расточки цилиндров, фрезеров, манипуляторов и шаржирных станков.

Шаржирные машины заменяют кузнеца. Они зажимают в стальной исполинской руке раскаленную болванку и поворачивают ее под паровым молотом точно и столь же разнообразно, как самый искусный кузнец. В сталелитейном цехе они заменяют у печей рабочих. Машины эти со стальными хоботами похожи на башенные орудия линейных кораблей.

На Луганстрое уже работает лучшая в СССР газогенераторная станция и теплоэлектроцентраль мощностью в двадцать одну тысячу киловатт. Она дает заводу ток, пар и семьдесят пять тысяч кубических метров сжатого воздуха в час. Вода для котлов очищается не обычным сложным путем испарительных установок, а процеживанием ее через пермутитовый порошок. Ни одна электростанция в Союзе не получает такой хрустально прозрачной и химически чистой воды, как Луганская ТЭЦ.

Молодой инженер Пустильников не упоминал об эпохе электробетона из вполне понятной скромности. Электрический нагрев бетона придумал он, а называть даже в шутку эпоху в жизни строительства своим изобретением было неловко.

Чтобы бетон окреп, «схватил», надо поддерживать в нем больше недели температуру в двадцать градусов тепла. Для этого строили дорогие и опасные тепляки или грели бетон паром. И тот и другой способ раздражал своей неуклюжестью и дороговизной. Инженер Пустильников — человек неспокойный и насмешливый (скептицизм в технике вызвал к жизни много открытий) — решил подогревать бетон электричеством.

Первый опыт был сделан в строящемся инструментальном цехе. Пока возились на морозе с проводами, пока бетон упорно не хотел нагреваться, пока то да се, собравшиеся зрители разошлись, посмеиваясь и посвистывая. Пустильников остался. Бетон, наконец, начал прогреваться. Через семьдесят два часа его «схватило».

Энергии на прогрев уходило не больше, чем на ничтожную электрическую лампочку.

Первые швы, забетонированные на морозе электричеством, показали завидную крепость. Пустильников ограничился тем, что написал о своем открытии коротенькую заметку в местную газету. Ибо, как говорит главный инженер Луганстроя Дышко, «здесь мы потеряли представление, что обыкновенно и что необыкновенно. По-нашему, все обыкновенно».

Луганстрой опрокидывает стандартные, въевшиеся в кровь понятия о строительстве. На Луганстрое в сутках не сорок восемь часов, как любят писать специальные корреспонденты строительств, а двадцать четыре обыкновенных часа, заполненных, если можно так выразиться, спокойной спешкой. Время не мчится вперед с треском и грохотом, и строители отнюдь не похожи на пассажиров, мечущихся по вокзалу перед отходом поезда.

Здесь нет людей, говорящих только о строительстве, бредящих только строительством, видящих сны только о том же строительстве и превратившихся в механических манекенов, начиненных чертежами, замесами, коэффициентами, графиками и огнеупорным кирпичом. Работники Луганстроя живут стройкой, — она дает им простоту, веселость, определенность. Работа идет быстро, но без трагических перенапряжений, весело, но без хвастовства, спокойно, но без железно сжатых губ и свинцового взгляда.

Пора выбросить из описаний строительств лексикон трескучих слов, искажающих трудную и прекрасную действительность. Героизм не наряжается в пышные одежды или в нарочито скромные онучи. Героизм ходит в кепке, и лицо героя так же обыкновенно и чаще всего бывает красным от смущения, как и лицо любого смертного.

Героизм бывает разный, но выше всего тот, который нельзя ни сфотографировать, ни пышно описать. Конечно, рабочий Луганстроя, клепавший на головокружительной высоте железную ферму, качавшуюся от

ветра, — герой, но не худшие герои и комсомольцы из бригады Рыдченко, собравшие импортные станки почти без чертежей. Конечно, герой бригадир Рыбалко, смонтировавший один из агрегатов ТЭЦ без иностранной помощи (за эту помощь фирма Сименса просила много долларов), но не меньший герой один из инженеров, который нашел способ своими силами изготовлять отопительные приборы без применения цинка. Заводы-поставщики требовали восемнадцать тонн цинка, достать его было трудно, и оледенение уже грозило стройке.

История строительства дает обширный материал для исследования о том, что такое преодоление.

Строительство преодолело быструю смену проектных заданий, а смен этих было четыре, начиная с 360 паровозов в год до 1080 паровозов. Каждый раз задерживали стройку, наращивали новые части к уже законченным корпусам и заказывали новое оборудование.

Стройка шла на залежах шлака и золы с завода ОЭР, на воде, на самом русле реки Лугани, где пришлось вколачивать сваи и подсыпать десять тысяч вагонов земли.

У строительства за короткое время было четыре хозяина и великое множество самостийных и обидчивых контрагентов. Два раза стройка ставилась на консервацию. Только с мая 1932 года после смены старого руководства она пошла все ускоряющимся темпом и достигла своей предельной скорости в декабре, незадолго до пуска.

Особенно ощутительной была эта скорость в паровозосборочном цехе. Каждое утро лицо его менялось. Там, где вчера зияли траншеи, сегодня поблескивали серой эмалью станки столь изящные, что рабочие осторожно гладили их, как гладят по головкам детей. Над цехом по часам росло стеклянное небо. Двадцать тысяч квадратных метров стекла переливалось и горело цветом бледной морской воды. Сто пятьдесят стекольщиков были собраны на стройке, в Луганске, даже на окрестных базарах. В их ряды влились студенты индустриального техникума.

Самой большой популярностью у стекольщиков пользуется фамилия Доценко. Его зовут «заразой» и «бисовым сыном». Доценко — бывший директор Константиновского стекольного завода. Прежде всего он потребовал за стекло отступного лесом. Лес ему дали. Тогда Доценко пожаловался, что у него нет досок и гвоздей, чтобы изготовлять ящики для стекла. Дали досок и гвоздей. Доценко подумал и заявил, что это-то все хорошо, но у него нет плотников, чтобы эти ящики сколачивать. Луганстрой сделал ящики сам и послал их Доценко. Тогда Доценко телеграфировал, что у него нет вагонов для перевозки стекла. Доставили вагоны. Видя, что эту упорную стройку ничем не проймешь, Доценко стал откровеннее и категорически заявил, что стекла он вообще не даст, а сам выезжает в центр, чтобы проверить, не подложные ли наряды подсунул ему Луганстрой. Терпение лопнуло. Доценко сняли, и сейчас же после этого Луганстрой получил первую партию стекла.

«Народы сменяли народы, лицо изменялось земли», но один человек неизменно оставался на строительстве во все времена — главный инженер Дышко.

Уже четыре года он работает без выходных дней и отпусков. Дышко учился в Германии. Оттуда он принес навыки не только инженера, но и рабочего — токаря, плотника и литейщика. Его редко можно застать в фанерном кабинете. Он всегда на стройке, на кранах и на конструкциях, но это не значит, что Дышко занимается бригадирством. Это инженер широкого размаха, знающий не только свою специальность — механику, но и строительное дело и электрику. В любую минуту он заменит проектантов. Под его руководством за две ночи был запроектирован технологический процесс в арматурно-связевом цехе. Над этим технологическим процессом проектанты Мосгипромаша сидели в Луганске несколько месяцев и ничего не сделали.

Увидев брошенный в грязь болт, Дышко приходит в ярость. Дышко «странный» человек. Он радуется внезапным общественным нагрузкам и относится к ним

с тем же спокойным напором, как и к чисто производственной работе, и со всем тем он находит время, чтобы иллюстрировать специфические свойства любого из знакомых ему наизусть работников строительства неожиданным и метким анекдотом или, взяв рычаг у машиниста, показать ему, как надо владеть машиной.

Луганчане — народ говорливый, приветливый и особенный. Особенности в том, что они удачно соединяют простодушие и большие запасы насмешливости с органическим чувством производства, воспитанным из поколения в поколение на луганских заводах, впервые возникших еще в конце XVIII века.

Кстати о говорливости. Не потому ли из Луганска и вышел Даль, проживший здесь детство, что язык не только рабочих, но и простых обитателей этого богатого степного города блещет неожиданностями, юмором и меткостью.

На Луганстрое явственно существует как бы разлитое в воздухе чувство молодости. Много юных лиц, много юных глаз, много молодежи спокойной, уверенной в себе и приветливой той приветливостью, которую дает высокая культура.

Но и старики не сдаются. Был такой случай со старым рабочим-луганчанином. К годовщине пятнадцатого Октября завод ОЭР посылал в Москву новый паровоз. Кажется, не было рабочего, который бы не подошел к паровозу и не вытер паклей какое-нибудь масляное пятнышко на лакированной обшивке. В пути у паровоза начали греться подшипники. А становиться на легкий ремонт было невозможно, — это грозило опозданием.

Тогда старый рабочий-луганчанин без лишних разговоров кое-как зацепился около колес и провел весь остаток пути на весу, подливая в подшипники масло. А остаток пути выражался в добрый десяток часов.

1938

РЕЧНОЙ ШТУРМАН

(*Отрывок из дневника*)

Ночь на Оке. Вечер. Пустая пристань. Только что прошла гроза. Всё в дыму туч и блеске поздних осенних молний. Странно, октябрь и вдруг — гроза!

— Иван Пахомыч! — кричит с мостика вахтенный. — Есть у тебя пассажиры?

— Есть, — отвечает из темноты хриплый голос. — Пильщика придавило на Радовицкой лесной даче. Надо к утру доставить в Поляны. Там больница.

— Ты что, очумел? — спрашивает вахтенный. — Время осеннее. Ночью обязательно ляжет туман. Все равно заночуем под берегом. А ты говоришь — к утру.

— Мое дело сообщить, — виновато отвечает невидимый Иван Пахомыч, — а там уж сами смотрите... Идти ночью, понятно, нельзя. Риск.

— Вот то-то, что риск, — сердито говорит вахтенный. — Не задерживай. Давай твоего пильщика.

— Сейчас принесут.

Пильщика осторожно несут на носилках двое матросов. За носилками идет девушка в тулупчике, в теплом платке, поправляет выбившиеся из-под платка русые мокрые волосы. Медленная молния загорается над

рекой, и в ее свете лицо девушки кажется очень бледным и необыкновенно красивым.

— А это кто? — спрашивает вахтенный.

— Это дочка его, сопровождающая.

Пароход торопливо дает второй гудок, тут же — третий и отваливает в непроглядный речной мрак.

В салоне пусто. Зябнут на столике бескровные, чуть розовеющие флоксы. Около орехового пианино сидит штурман Евгения Петровна (за глаза все зовут ее Женей) и читает «Республику Шкид» Пантелеева.

Женя — молодая женщина с обветренным лицом, густыми ровными бровями и быстрым испытующим взглядом больших серых глаз. Ей скоро заступать на вахту, но она еще не переоделась, — на ней зеленое платье и черные туфли.

— Знаете, — говорит мне Женя и откладывает книгу. — Очень здорово написано, но я предпочитаю стихи. Стоишь на вахте всю ночь, вспоминаешь что-нибудь такое... «Ненастной ночи мгла по небу стелется одеждою свинцовой...» Очень правильно сказано. Особенно для ночной вахты.

На груди у Жени — ленточка орденов. Она получила их за Сталинград. Во время войны она командовала на Волге катером, доставляла в Сталинград с левого берега снаряды.

Я рассказываю Жене о пильщике. Она хмурится.

— Моя вахта ночью, — говорит она. — Туман, конечно, ляжет. Это уж будьте уверены. Но все равно — поведу пароход. Пусть капитан потом изругается. Он у нас только мастер кричать, а человек совершенно добрый.

— Наверняка будет туман? — спрашиваю я Женю.

— А мы осторожно, — улыбается в ответ Женя. — Чуть-чуть.

Мне что-то не верится, но я молчу.

Среди ночи я просыпаюсь, прислушиваюсь. Пароход медленно бьет плицами по воде. В каюте темно. Я отдергиваю занавеску. За окном радужным шаром чуть светит в тумане палубная лампочка. Что за черт! Как же мы идем в таком молоке?

Я поспешно одеваюсь, выхожу на палубу. Зябко, темно и тихо. Коротко кричит гудок. Помолчит минуту, — и снова кричит.

Я подымаюсь на мостик. Женя стоит в ватнике, в сапогах, в теплом платке.

— Не спится? — спрашивает она и, не дожидаясь моего ответа, говорит рулевому: — Тут бы полевее держать, Федя. Похоже, проходим Алпатово.

Рулевой хмур, сосредоточен. Он не столько смотрит вперед, сколько слушает.

— Вот то-то, что похоже, — отвечает он недовольно. — Алпатово. Петухи кричат. Пойдем мы с вами под суд, Евгения Петровна. Как бы не столкнуться.

— Я хорошо слушаю, — отвечает Женя. — Встречных гудков нет. Да и туман не такой, чтобы уж очень...

— Хоть бы развиднело скорей, — с тоской говорит рулевой. Он замолкает, потом замечает как бы про себя: — А девчонка сидит при нем, будто каменная. Я ее спрашиваю: «Много вас у отца?» — «Одна я», — говорит. Отвернулась от меня. Вот какие дела!

— Эй, на баке, — тихо говорит Женя. — Пробуй дно.

Тотчас с носа окунается в воду шест и глухой голос уныло кричит из тумана:

— Ше-есть... пять с половиной... пять...

— Плывем прямо в могилу, — бормочет рулевой.

— А нельзя ли без разговоров! — говорит Женя, и я не узнаю ее голоса, — он становится резким, холодным, почти грубым.

Рулевой замолкает.

— Шли бы вы лучше спать, — говорит мне Женя. — Тоже нашелся пассажир — любитель собачьей вахты. Простудитесь.

Но я не ухожу. Я уже во власти туманной поздней ночи, запаха похолодалой воды и увядших лугов, сонного хлопанья плиц, всей этой осенней бесприютности.

На рассвете пароход подваливает к Полянам. Пильщика выносят и осторожно несут по дощатой лестнице на крутой глинистый берег. Девушка идет

позади, и теперь при сереньком свете утра видно, что она действительно необыкновенно красивая.

Женя сменяется с вахты, открывает салон, приносит чайник кипятку, предлагает мне выпить с ней чаю. Я озяб и потому соглашаюсь.

— А капитан-то, — лукаво говорит Женя, — проспал. Сейчас кричит у себя в каюте, прямо разрывается на части. Слышите?

Я прислушиваюсь. Капитан действительно что-то кричит, но можно разобрать только отдельные возгласы: «девчонка», «безобразие».

— Как вы думаете, — спрашивает вдруг Женя, — выживет он, этот пильщик?

— Не знаю.

— Ничего вы не знаете, что ни спроси! — вздыхает она. — Только с вас и толку, что стихов помните множество. Вот высплюсь, тогда вы мне почитаете.

1940

ПУТЕШЕСТВИЕ НА СТАРОМ ВЕРБЛЮДЕ

В Казахстане, на берегу озера Зайсан, прозванного кочевниками «Озером колоколов» за чистый звон его волн, прожил всю свою жизнь старый казах Сеид Тулубаев.

Может быть, не все знают о Казахстане. Тогда им придется развернуть карту Азии и в самой сердцевине материка, между Каспийским морем и пустыней Гоби у подножья Небесных гор — Тянь-Шаня, найти очертания этой огромной страны.

Знающие люди говорят, что если отрезать от Европы все полуострова, то останется территория, равная Казахстану. Я не проверял этого, но знаю, что Казахстан занимает исполинскую площадь в три миллиона квадратных километров.

Границы этой республики заключают в себе не только пустыни, те бесплодные земли, над которыми, по словам простодушных кочевников, «пролетел ангел смерти», но и травянистые тучные степи, озера, похожие на моря, и оазисы, напоминающие оазисы Индостана, и, наконец, снеговые горы и альпийские пастбища. Там травы подымаются выше всадников, едущих на лошадях.

Казахстан богат углем, нефтью, медью, железом, золотом, серебром и драгоценными камнями, свинцом,

рыбой и солью, хлопком и рисом, стадами рогатого скота, овец и верблюдов, табунами лошадей, хлебом, фруктами, овощами, табаком и сахаром, наконец скромными корешками тау-сагыза, пропитанными каучуком.

Но старый Сеид ничего не знал о богатствах своей страны. Он видел только озеро Зайсан и Алтайские горы, — их вершины каждый вечер горели закатным огнем.

На Зайсан Сеид пришел из омских степей маленьким мальчиком. Это было шестьдесят лет назад. Он пришел с толпой русских крестьян, бежавших от голода. Крестьяне слышали, что за пустыней лежит страна по имени «Белые воды» — богатая и девственная. Там в лесах льются десятки светлых рек и непуганые звери подходят к людям и лижут им руки. Там золотоносный песок хрустит под копытами лошадей, а фазаны, будто вышитые из китайского шелка, стаями взлетают над травой.

Люди шли на «Белые воды» через пустыню. Обессилев, крестьяне падали и ползли на окровавленных коленях. Серое солнце превращало в пепел траву. Вода в колодцах была такая соленая, что ее не пили даже верблюды.

Но люди все же дошли. Однажды ночью они услышали гром. Он гремел в далеких горах. Они услышали запах дождя. Блистали молнии, и колокольным звоном звенели навстречу путникам озера пресной воды.

Места, куда пришел Сеид, были так хороши, что он прожил там всю жизнь и никуда не хотел уходить. Единственный любимый сын Сеида уехал в далекий русский город учиться и не вернулся. Жена Сеида умерла. А Сеид возил из года в год на одноглазом верблюде соль на рыбные промысла. Он редко говорил о сыне, но часто думал о нем. Он знал, что сын сделался мастером на Эмбинских нефтяных промыслах. Там, говорят, люди качают из земли черную грязь, и грязь эта горит, как дрова.

Летом 1941 года Сеид узнал о войне. Мужчины уходили на запад, где шла война. На запад гнали

табуны овец и лошадей. Однажды утром над лачугой Сеида пролетели невиданные серебряные гуси. Сосед кричал Сеиду, что это летят самолеты. Даже все птицы, казалось, улетели на запад.

Тогда двинулся на запад, на Эмбу, и старый Сеид. Он знал, что скоро умрет. Ему хотелось увидеть перед смертью сына и наговорить ему много сердитых слов за то, что он забыл отца.

Сеид то ехал верхом на верблюде, то шел пешком и вел верблюда за повод. Он пересек Казахстан с востока на запад. Он отдыхал только ночью вместе с пастухами около костров из сухого верблюжьего помета. Большие синие зарева пылали над краем степей, и пастухи таинственно говорили только одно слово: «Электричество!» «Электричество», — повторял Сеид и качал головой.

Он впервые увидел поезда и железные вагоны, нагруженные рудой и горами черного блестящего камня. Они шли все туда же, на запад. Пастухи рассказывали Сеиду, что это везут уголь из Караганды и железо из Карсакпая. В Караганде, где десять лет назад только ветер пылил над ковылем, сейчас день и ночь работают глубокие шахты.

Сеид качал головой, удивлялся, а верблюд тревожно прислушивался к крику паровозов.

Сеид увидел многое — заводы, где делали твердый сахар, и заводы, откуда вывозили на грохочущих машинах медные болванки, блестевшие, как золото. Раньше этого не было. Он видел заводы, где лился в стальные чаши тусклый свинец, видел поля хлопка и риса, сады и пашни, большие города и каналы, струившие речные воды в глубину голодных степей. И этого раньше не было.

Всюду работали казахи — мужчины и женщины, старики и дети. Все они говорили Сеиду, что работают для армии, что бьются с врагом далеко — за великой рекой Волгой, за Москвой. И все эти люди удивлялись путешествию Сеида, называли его «чудаком», а один старый казах даже обозвал Сеида «бездельником». Сеид поднял камень, чтобы ударить старика, но не

ударил, а отбросил камень далеко в сторону, заплакал и пошел своей дорогой.

На шестидесятый день пути Сеид увидел среди пустыни черные деревянные башни. Они стояли среди озер с розовой соленой водой, и ветер разносил по окрестностям свежий запах нефти. Это была Эмба.

Сеид сошел с верблюда и поклонился на восток, в сторону Зайсана. Здесь спускалась ночь, а там, над лачугой Сеида, может быть, уже начинался рассвет. Тогда впервые в жизни Сеид запел дрожащим голосом. Он пел, как все кочевники, о том, что думал: о богатой своей родине и своей жизни, похожей на жизнь шелковичного червя в коконе, о войне и о маленьком плешивом немце, — Сеид никак не мог запомнить его проклятого имени, — возомнившем себя Тамерланом.

После кровавого Тамерлана оскверненная земля веками тосковала по умелым человеческим рукам, по семенам, брошенным в борозды, по мотыгам, журчанию воды, по своему утраченному плодородью. Мирные люди своими трудами вернули земле ее молодость.

«И как бы ни был хитер и зол плешивый немец, — пел Сеид, — мы не отдадим ему эту землю и растопчем его полчища тысячными табунами своих железных коней».

На эмбинских промыслах Сеида окружили рабочие. Они дивились дряхлому старику, появившемуся из пустыни, и его облезлому верблюду. Сеид спросил их о своем сыне Габите Тулубаеве, но рабочие молчали.

Сеид укоризненно качал головой, — невежливо было не отвечать на вопросы старого человека. Тогда пришел инженер, и Сеид поклонился ему. Инженер взял Сеида за руку и сказал, что сын его погиб на войне и об этом говорили по воздуху из Москвы для всего мира потому, что сын Сеида был героем. И инженер поклонился Сеиду.

Сеид сел на землю, опустил голову, долго смотрел на свои желтые руки.

Потом он вытер рукавом глаза и сказал инженеру:

— Всю жизнь я трудился. Взгляни на мои глаза, — их съела соль. Шестьдесят дней я шел к сыну, чтобы

отдохнуть хотя бы несколько дней перед смертью. Но разве теперь, когда земля дымится от войны, человек может ходить по земле, как гость, со своим верблюдом, смотреть, как катится пот по лицу соседа, и надеяться на отдых в сыновнем доме?

— Нет, не может, — ответил инженер.

— Друг, — сказал Сеид, — как ты думаешь, пригодится ли тебе на работе этот старый верблюд, слепой на левый глаз?

— Я думаю, пригодится, — ответил инженер.

— Хорошо, — сказал Сеид. — Но этот верблюд без меня не будет работать. Он издохнет от неудовольствия. Если ты берешь его, — бери и меня.

— Хорошо, — сказал инженер.

Так старый Сеид стал рабочим на Эмбе. Он начал возить на своем верблюде не соль, а воду в глухие углы пустыни, где инженеры вели разведку нефти. И он был доволен.

Об этом в газете, выходящей на промыслах, была, может быть, помещена небольшая заметка, но никто не обратил на нее особенного внимания, так как в дни войны такие случаи перестали быть редкостью.

1941

ХРАНИТЕЛЬНИЦА

Я вычерпывал из лодки воду банкой от мясных консервов. Мальчишки считали эту банку золотой, потому что она была бронзированная и нестерпимым желтым огнем отражала солнце. Они предлагали мне обменять «золотую жестянку» на заржавленную банку от консервов, но я отказался, — жестянка мне самому нравилась. Я нашел ее на отмели под водой, где она переливалась чистым блеском и действительно была похожа на слиток золота.

— Недоверчивый! — говорили обиженные мальчишки. — Не все ему равно, какой банкой вычерпывать!

Чья-то тень упала на лодку. Я поднял голову. На пристани стояла седая женщина в очках, в черном, выгоревшем от солнца платье. Женщина держала большую стеклянную банку. Рядом с женщиной стоял белобрысый и очень серьезный мальчик — босой и без шапки.

— Товарищ, — сказала женщина, — разрешите на вашей лодке отъехать на середину водохранилища. На пять минут. Взять пробу воды. Вам не придется грести. Сеня за вас погребет.

Я согласился. Лодка отчалила. Пристань отодвинулась в сторону, и сразу же открылась синеющая

даль водохранилища, сжатая стенами смешанного леса. Издали по цвету зелени можно было отличить заросли ольхи от березовых рощ и сосен, стоявших на крутом сыпучем берегу.

Под водой у берегов покачивались заросли молодого стрелолиста. Солнце падало на дно тонкими лучами. Из лесов долетал теплый ветер, кружился, приносил запах цветов, — на берегах уже зацветала липа, — и уносил его дальше — к островам, к Волжскому каналу, к самой Москве.

— Водохранилище! — сказала женщина. — Хорошее придумали слово. Соответствует правде.

— А что? — спросил я.

— Здесь хранят воду, — ответила женщина.— Следят за ее чистотой. Видите, какая вода?

Она зачерпнула банкой воду и посмотрела на свет. Вода была очень чистая. В нее хотелось окунуть руку, чтобы ощутить осязанием ее чистоту и прохладу.

— Вы хранительница этой воды? — спросил я.

Женщина усмехнулась.

— Пожалуй, что так, — согласилась она. — Я слежу за чистотой воды, делаю анализы. Для водоснабжения Москвы.

— Ну и как?

— Чудесная вода! За время войны здесь было тихо, пусто, — вода и отстоялась. Никто ее особенно не тревожил.

— Вода, — сказал Сеня, — чудо природы! Нам учитель так объяснял.

— Не одна вода, — ответил я, стараясь вызвать Сеню на разговор. — И воздух — тоже чудо. И земля. И хлорофилл в листьях. И трава. Все в природе похоже на чудо.

— Вода всего чудеснее, — возразил Сеня. — Без воды все бы погибло и жизни вот нисколько бы не было на земле. И не нужен был бы вам этот воздух. И самая земля превратилась бы в пыль и камень. Раньше вокруг Москвы было мало воды, а теперь — глядите! Озеро вливается в озеро. Ширь такая, что чайки за один раз перелететь не могут. Садятся отдыхать.

Сеня помолчал, потом спросил пожилую женщину:

— Клавдия Сергеевна, неужели одна наша река, когда ее запрудили, могла образовать такое озеро?

— Еще бы! — ответила женщина. — Наша река полноводная.

— Почему же эта река ваша? — спросил я. — Вы здесь давно живете?

— Давно, — ответила женщина. — Сорок лет. Я учительницей здесь была. Потом служила хранительницей дворца в Маврине. Знаете?

— Знаю.

— Из-за дворца мы с Сеней и подружились, — сказала женщина. — Помнишь, Сеня?

— Помню, — ответил мальчик. — Всю жизнь буду помнить.

— А что? — спросил я.

— Да ничего особенного, — ответила женщина. — В октябре сорок первого года немцы подошли вплотную к этим озерам и к Маврину.

— Снаряды здесь кругом падали, — добавил Сеня.

— Да, обстреливали, — согласилась женщина. — Вы войдите в мое тогдашнее положение. Или, вернее, в мое настроение, — поправилась она. — Осень, дожди... Канал опустел. Связи с Москвой нет, хоть до Москвы и недалеко. И все притихло. Я одна во дворце и в парке. Хожу, как одурелая. Стою часами у пруда, слушаю. Где-то грохают пушки. Самолеты ревут. А в воде — тишина. Вся ряска упала на дно, и потому далеко видно. Если близко где-нибудь разрыв, — зазвенят во дворце стекла и из глубины пруда выплеснется рыба. Блеснет золотым боком и снова уйдет в глубину. Странно так было.

Парк облетел. Стоит голый, пустой, а во дворце — холод, пустота, и он, как приговоренный, ждет своего часа. И никого нет кругом. Одна я. Не знаю, что делать И посоветоваться не с кем.

Женщина помолчала, вылила из банки воду за борт и набрала свежей воды.

— Да... А потом пришла эта ночь. Самая страшная. К вечеру начался дождь со снегом. Ветер, ненастье! Пруд закачался свинцовой волной. И небо

свинцовое, почти черное. И ветер свистит в окнах и сучьях. Тучи летели, прямо как дым, по самой земле. Руку подымаешь — и кажется, зацепишь за тучу. А канонада все ближе. Хоть бы один человек пришел. Не с кем слова сказать, не у кого узнать, что творится. Но я понимаю, что дело плохо и к ночи немцы уже будут здесь. «Что же делать? — думаю. — Неужели оставить немцам на поругание всю эту красоту? Нашу красоту — вековую, русскую, подмосковную. Нет, — думаю, — нельзя немцам ничего оставлять. Раскрадут, загадят, увезут к себе в Германию. Ни за что не оставлю. Сама все уничтожу, а им не оставлю». Решила, — и откуда только силы взялись. Ночь, тьма, парк гудит, качается, а я таскаю в залы, во дворец солому и радуюсь, что остался у меня керосин. Десять литров керосина у меня было спрятано в погребе. Боюсь только, что сырая солома, трудно будет ее разжечь.

— Она не горит, а дымит больше, — сказал Сеня.

— Вот именно, дымит, — согласилась женщина. — Натаскала я соломы. Села на диван в одной из гостиных, как садятся перед прощанием, перед дальней дорогой. Сижу и ни о чем не думаю. Только слушаю, как ветки бьют по стеклам, стучат, будто хотят мне сказать: «Что же это ты задумала, Клавдия Сергеевна? На что это ты руку хочешь поднять?» И вот слышу, будто крадется кто-то по залам. Я испугалась, как бы мне не помешали. Вскочила, зажгла спичку — и в солому. Огонь пошел, и при свете вижу, — Сеня стоит в дверях, держится за бронзовую ручку. Белый весь, трясется. Говорит тихо, одними губами: «Что ж это вы делаете, Клавдия Сергеевна?» Я больше догадалась, чем услышала, что он говорит. «Уйди! — кричу. — Не твое дело! Я немцам здесь ничего не оставлю!» А он не отвечает. Бросился к соломе, растаскивает ее, топчет. Я схватила его: «Не смей тушить! Пусть все горит! Убирайся отсюда!» А он посмотрел на меня так это злобно и отвечает: «Эх, вы! Струсили! В немцев поверили! Наши их отобьют, нипочем сюда не пустят, а вы дворец спалите. Вам народ спасибо не скажет». И заплакал.

— Не плакал я, — сердито сказал Сеня. — Я только ругался. Это верно.

— Ну-ну, не плакал, — сказала Клавдия Сергеевна. — Подумаешь, какой герой! И тут меня будто молнией ударило. «Да ведь прав он, — думаю. — Прав. Неужели наши не устоят, не отбросят их назад из-под самого своего сердца, из-под Москвы?» В жар меня даже бросило.

Женщина замолчала.

— Ну и что же? — спросил я. — Не сожгли дворец?

— Как видите, — ответила женщина. — Затоптали мы огонь. Опомнилась я немного, успокоилась и слышу: весь парк гремит, будто деревья стали железными, сталкиваются друг с другом, лязгают, грохочут. «Что это?» — думаю. Оказывается, танки. Наши танки идут потоком, крушат, давят, сшибают немцев, гонят их в кромешную ночь. Тут и я заплакала. От радости.

— Да, ночь была страшенная! — сказал Сеня и засмеялся. — С сотворения мира не было такой ночи.

— Ну вот, спасибо вам за лодку, — сказала женщина. — Греби, Сеня, к берегу. Пора в лабораторию. Нравятся вам эти места?

— Очень, — ответил я. — Новый озерный край под Москвой.

— И какой край! — сказала женщина. — Вы посмотрите! Берега все в ромашке, как в первом снегу.

1946

ГЕРОИЧЕСКИЙ ЮГО-ВОСТОК

В 1952 году, после поездки на строительство Волго-Донского канала и по юго-востоку страны, я написал повесть «Рождение моря».

Повесть эта состоит из цикла очерков. Поэтому я и включаю ее сейчас в раздел очерка, сократив ее за счет сюжетных беллетризированных мест.

АЗОВСКОЕ ПОДОЛЬЕ

Летом 1916 года в Таганрогском порту стоял старый разоруженный корвет «Запорожец».

Корвет оброс красной ржавчиной. Куски ржавчины отваливались от его железных бортов, падали в воду и тонули, поблескивая на солнце.

«Запорожец» был предназначен на слом и дремал в пустынном порту, как в музее. Его охранял долговязый матрос по фамилии Галаган. Он невозмутимо следил за тем, как медленно разрушается старинный корабль.

«Запорожец» был одним из первых русских паровых кораблей. Поэтому он сохранял еще некоторые особенности парусников. На его мачтах были реи и

ванты. В низких каютах, казалось, застоялся солоноватый воздух кругосветных плаваний.

Сидя на палубе «Запорожца», я — тогда еще юноша — любил представлять себе далекие страны, где побывал этот корабль. Я смотрел на облепленный ракушками железный руль корвета и видел пенистые дороги, что тянулись некогда за ним по туманным морям. Они очень долго не исчезали, эти дороги, эти прочерченные корабельным килем следы.

Знакомый моряк объяснил мне, что следы за кормой держатся так долго потому, что пароходы грязнят морскую воду машинным маслом. Это объяснение мало меня устраивало в то время. Я предпочитал думать, что след за кормой образуется сам по себе, как некая живописная карта морских плаваний.

Я работал тогда в Таганроге подручным слесаря на маслобойном заводе. Завод изготовлял подсолнечное масло. Он стоял над обрывом на берегу моря, весь в зелени столетних акаций и запахе горячей макухи.

Крутая деревянная лестница вела с заводского двора вверх к особняку. Там жил в полном подчинении у своей тетушки владелец завода таганрогский миллионер Ваксов.

Это был рыхлый молодой человек, с рыжеватой бородкой. Таких людей принято называть «шляпами» и «тюфяками». Тетушка шила на Ваксова костюмы с запасом. От просторных чесучовых пиджаков Ваксов казался еще шире.

Старуха кудахтала над ним, как наседка. Она таскала Ваксова по церквам и зорко следила, чтобы племяннику не приглянулась какая-нибудь девица с городской окраины Бесергеновки — питомника таганрогских невест.

Когда Ваксов узнал, что я одно время учился в гимназии, он снизошел до того, что пригласил меня на ужин. Ваксову, очевидно, хотелось слыть вольнодумцем и меценатом: тогда это было модно среди купечества.

В жизни я не видел более скучного дома, чем особняк Ваксова. Хозяин водил меня по комнатам, оклеенным серыми обоями с лиловыми ирисами. Вдоль

стен стояли, боязливо прижавшись друг к другу, венские стулья. Посередине каждой комнаты торчал овальный стол, покрытый вязаной скатертью. Всюду висели гипсовые тарелки с акварельными изображениями диких уток, зайцев и глухарей.

На стеклянной террасе покачивались под потолком пустые железные клетки.

— Где же птицы? — спросил я Ваксова.

— Птички, слава те господи, подохли, — ответил он, усмехаясь, и толкнул одну из клеток. Она заскрежетала. — Надо бы все это выбросить на свалку. Но храню как память о папаше. Покойник был большим любителем попугаев и всяких редкостей. Поверите ли, держал на конюшне африканскую зебру, а на птичьем дворе — пеликана. Старое купечество всегда было с вывертами. Не то что нынешнее. Теперь нам всем в пример Третьяков, Савва Морозов и Мамонтов. Просвещенные деятели, жертвователи, устроители... Передовое купечество должно идти по ихним стопам. Только у нас в Таганроге ничего выдающегося не сделаешь. Провинция! Травянистая жизнь!

— А вы пробовали что-нибудь сделать?

— Пробовал. Картинки я начал скупать. Декадентские. Мечтал открыть картинную галерею имени Павла Ваксова. Сейчас это самое декадентское искусство — не разбери что! А может, лет через десяток картинки эти будут в цене... Кто знает!

— Интересно бы посмотреть.

Ваксов махнул рукой.

— Где там! Тетушка в мое отсутствие все картинки пожгла. Говорит, блуд! Опекой мне грозилась. Взять человека под опеку, да еще с таким гуманным характером, как у меня, — это в наше время раз плюнуть. Пришлось смириться. У тетушки на руках все мое дело. Она капиталом распоряжается по своему усмотрению. И моя ситуация, согласитесь, невыносимая. Шагу ступить не могу. В Париже, поверите ли, до сих пор не был! О Париже перед тетушкой и заикнуться нельзя. Говорит, блудный город! А попади я в Париж, так с моей щедростью я прогремел бы на весь земной шар. Я деньгам значения не придаю. Двадцать

тысяч — французской академии! Двадцать тысяч — парижской опере! Двадцать тысяч — президенту республики на вспоможение бедным! В газетах беседы бы со мной печатали. Знаменитые красавицы вроде Лины Кавальери или Сарры Бернар...

— Павлик, — проговорил за дверью басовитый старушечий голос, — лучше ужинать иди с гостем со своим. Заболтался!

Ваксов нагнулся ко мне и зашептал:

— Поверите ли, ходит за мной, как крыса. Особые туфли заказывает одной здешней вдовице, совершенно бесшумные, на двойной войлочной подошве. Я узник! Несчастнейший человек на земле!

Ваксов снова в сердцах толкнул пустую клетку. Она закачалась и завизжала. Тотчас в соседней комнате зашаркали торопливые шаги.

— Шмыгает! — подмигнул Ваксов. — Беспокоится! В кои-то веки пригласил к себе интеллигентного человека. Гнида! Ей-богу, гнида!

В полном несоответствии с этими словами он улыбнулся и произнес сладким голосом, распахнув дверь:

— Слушаюсь, тетенька. Покорнейше прошу! — пригласил он меня. — Чем богаты, тем и рады.

К ужину старуха не вышла. Но, судя по тому, что Ваксов ерзал на стуле, она подслушивала за дверью. Подавал к столу сонный человек с обвисшими усами.

Ужин был довольно скудный. Но мне он показался роскошным, так как питался я тогда преимущественно серым хлебом, помидорами и зельтерской водой.

Это была великолепная зельтерская вода, какую умеют изготовлять только у нас на юге. Запотевшие стаканы с этой водой шипели на цинковых прилавках и разбрасывали брызги. В брызгах дрожали на солнце маленькие радуги. Настоящих же радуг в Таганроге почти не было: дожди и грозы обходили стороной эти степные берега.

Я работал на заводе и потому мог приходить на корвет только по воскресеньям. С борта «Запорожца» я удил бычков или читал лежа на палубе.

Читал я преимущественно стихи, и притом торжественные. Такие строчки, как «Солнца диск золотой, уходя из лазурной пустыни, погружается медленно в светлое лоно зыбей», вызывали у меня трепет.

Книги я брал в городской библиотеке, основанной Чеховым. Иногда библиотекарша, пожилая женщина с черной бархоткой на шее, благоговейно показывала мне чеховские автографы. Я удивлялся изяществу его почерка. Удивлялся и тому, что Таганрог не оставил почти никакого следа в книгах Чехова. В них нет ни перистых акаций, ни бледного моря, ни ветров — трамонтан и низовок, — ни азовского говора.

По воскресеньям вместе со мной приходил на корвет еще один рыболов, отставной учитель географии Липецкий. Портовые мальчишки дали ему странную, но верную кличку «Моховой». Все на Липецком — фуражка, заплатанный китель и брюки — приобрело от старости зеленоватый цвет. Казалось, что этот добродушный педагог действительно сильно замшел.

Липецкий был местным краеведом, знатоком Азовского моря и окрестных степей.

Он снимал комнатушку на Греческой улице, в том доме, где, как он предполагал, останавливался некогда Джузеппе Гарибальди. Скудная обстановка комнатушки состояла главным образом из географических карт, книг и поблекших фотографий. Но самая удивительная вещь находилась во дворе. Это была скифская баба, высеченная из серого гранита. Липецкий привез ее еще в молодости из степи. Зернистый камень был отполирован тысячелетними ветрами, и потому плоское лицо скифской женщины блестело так, будто его смазали маслом.

Слушая рассказы Липецкого, я удивлялся множеству знаний этого старого человека и его любви к своему краю, к тем степям вокруг Таганрога, где ничего интересного я не замечал. Скучная глина, кое-где покрытая грязной коркой соли, пыльные ветры и пересыхающие мутные реки — вот все, что я знал об этих местах.

А я любил шум дождей, проселочные дороги, речные туманы, волны пшеницы и треск кузнечиков на

знойных баштанах. Поэтому такие однообразные области, как Приазовье, казались мне мертвыми кусками земли.

Но после рассказов Липецкого юго-восток как бы начал для меня оживать. Это были земли, повитые легендами. Десятки народов — сарматы, скифы, половцы, хозары, гунны, татары, турки — прошли по ним. Следы древних народов остались под ковылем, под курганами. Переплетение корней скрывало скелеты, окрашенные в черный цвет, поломанные копья, погнутые шлемы, глиняные кувшины с остатками семян, золотые скифские маски.

— Дон — это древний Танаис, а Азовское море — бывшая Тамаринда! — восклицал Липецкий и посматривал на меня сквозь толстые стекла очков.

Липецкий много рассказывал мне об истории края. Здесь, как он утверждал, было создано безвестным нашим пращуром «Слово о полку Игореве».

Здесь, на Дону и в Задонщине, по словам старинной казачьей «думки» (ее Липецкий любил напевать своим дребезжащим голосом), «засеяно поле невсхожими семенами, засеяно казачьими головами, заволочено поле казачьими черными чубами». Недаром появилось в этих степях сказание о бурьяне-татарнике. По весне степь покрывалась его алыми цветами, похожими на капли крови. И старики, вспоминая прошлое, рассказывали детям байки, что всюду, где пролилась казацкая кровь, вырос на ней и расцвел татарник.

Эх, далекое дело! Схватки с басурманами, закрученные в жгуты казацкие чубы, Чертомлыцкая Сечь! Еще с тех времен родились мерные, как топот копыт, забубенные песни:

Гей, казаки, за семью дубами
Заховала свою долю голытьба!

Старый учитель любил рассказывать о восстаниях Разина, Пугачева, Булавина — великих бунтах «голутвенных» людей, голытьбы. Сюда, за Дон, прорывалась бродячая Русь. Сюда ходили «бродники» воевать Туретчину, Азов, Кавказ, и турецкий султан жаловался, что русские не дают туркам «испить донской воды».

Потом начались первые морские походы Петра на неуклюжих кораблях из сырого воронежского дуба. Шла осада Азова. Новые крепости возникали на желтых глинистых мысах над мелководным и первым на юге российским морем.

— Русский народ так много пролил крови в придонских и азовских степях и вложил в них столько труда, — говорил Липецкий, — что эти жертвы даром не пропадут.

Липецкий, конечно, не мог предвидеть, что самая героическая и удивительная история края еще впереди. Мне суждено было стать ее свидетелем и современником, тогда как Липецкий давно уже умер.

Старый географ был почитателем Менделеева. Его, как и великого химика, занимали задачи, связанные с процветанием страны. Липецкого заботила судьба родного Азовского моря и Таганрога.

Азовское море умирало на глазах. Оно мелело. Большие морские пароходы уже не могли входить в Таганрогский порт. Они останавливались далеко на рейде.

Вместе с морем умирал и город. Липецкий еще помнил то время, когда через Таганрог потоком лилась в трюмы донская пшеница. Стаи голубей садились на звонкие каменные мостовые и кормились просыпанным зерном. Грохот окованных колес не затихал ни днем, ни ночью. Было похоже, что над Таганрогом перекатывается медленный гром. И в самом воздухе был как бы разлит слабый восковой блеск от гор пшеницы, наваленной на пристанях. Пароходы сутками дожидались погрузки.

Естественно, что у старого учителя возникла мысль о возрождении Таганрога... Шли годы, и чем сильнее мелело Азовское море, тем настойчивее эта мысль завладевала Липецким. Если можно так выразиться, это была мечта-одиночка, потому что никто не обращал внимания на разговоры Липецкого. К Липецкому относились как к курьезной таганрогской достопримечательности. В то время в каждом провинциальном городе были свои юродивые и чудаки.

Сейчас, когда весь юго-восток страны тонет в грохоте и звоне исполинских работ, преобразующих эту землю, я вспомнил о Липецком с его беспомощным проектом возрождения Таганрога. Вспомнил и подумал, что революция изменила все существо человека, вплоть до его способности мечтать. Размах мечты стал в уровень с размахом времени.

А мечтания Липецкого совпали с глухим и тяжелым временем в жизни России.

О своем проекте возрождения Таганрога Липецкий впервые рассказал мне и Галагану на палубе «Запорожца» в тот вечер, когда вблизи города сел на мель пароход «Трувор». Портовый буксир потащил к «Трувору» пустые шаланды, чтобы разгрузить пароход и снять его с мели.

Синеватый воздух лежал над степью. Маяк зажег свой красный огонь, хотя было еще светло.

Кто не бывал на Азовском море, тот не может представить себе тамошние сумерки. Бледная вода. Громады кучевых облаков в перламутровых просторах неба. И первые звезды, глядящие в морскую глубину, где более слабым огнем загораются их двойники.

Желтый дрок, присыпанный пылью, висит, цепляясь за щели, на подпорной стене Воронцовского спуска. И удивительно, что от каждой лужи на пристани, налитой за день прибоем, пахнет океаном, хотя в Таганроге море еще пресное от избытка донской воды.

В этот вечер на палубу «Запорожца» долетал с берега треск бильярдных шаров и жиденький звон мандолины. Галаган жарил в ведре с углями пойманных нами бычков. На пристани около чугунного причала мяукал охрипший от отчаяния белый кот — выпрашивал жареную рыбу.

— Вот, — сказал с горечью Галаган, — был когда-то наш порт, как все порядочные порты. А сейчас одни коты здесь шлендрают. И растет по молам будяк.

— Болезнь всегда начинается с пустяков, — заметил Липецкий. — Вот «Трувор» сел на мель. Надлежит выяснить, почему Азовское море так быстро мелеет за последние годы. Очевидно, Дон приносит гораздо больше ила, чем раньше.

— Тощает земля! — вздохнул Галаган. — Бывало, споймаешь сазана, так его двумя руками немыслимо ухватить. А сейчас вытащил его, он дрыгнул хвостом, мигнул глазом — все! Сморился!

— Чепуха! — сказал Липецкий. — Не об этом я говорю. Вы лучше слушайте и соображайте. Когда-то по берегам Дона росли вековые дубравы, знаменитые донские леса. Леса эти вырубили. Теперь каждый ливень смывает целые поля земли и уносит ее в Дон. А Дон выволакивает эту землю в Азовское море и намывает огромные мели.

Липецкий помолчал.

— Ясно, как апельсин! — сказал он и махнул рукой. — Пройдет еще лет сто, и порт в Таганроге превратится в болото.

— Сюрприз! — сказал Галаган, переворачивая ножом шипящую рыбу. — Рассказывают же старослужащие матросы, будто видели они такие города на свете: было около них море, а потом ушло, отсосалось, и остались те города, ровно камбала на мели. Уснули, как рыба, и спят уже многие сотни годов. И не поймешь, брешут старослужащие матросы или говорят точно. Сами знаете, старослужащие насмешку любят делать над сухопутными и как почнут рассказывать, так мозги у тебя сдвинутся с места...

— Это как раз верно, — ответил Липецкий. — Есть такие города. Таким вот городом, потерявшим море, скоро будет и наш Таганрог. А чего проще — прорыть глубокий судоходный канал от Таганрога до открытого моря. А потом протянуть этот канал и до самого Ростова. Сразу оживет весь здешний край.

— Никто до этого дела рукой не доторкнется, Николай Петрович! — возразил Галаган. — Кто же вам даст на это средства? Царю не до нашего Таганрога. Ему интересно, чтобы у донских казаков чубы были намаслены да сапоги стояли бутылками.

— Я и сам знаю, что люди считают это пустой фантазией, — уныло согласился Липецкий.

Галаган повернулся ко мне:

— Есть у меня брат Петро. Вдовец. Рыбачит он на Петрушиной косе. И имеется у него дочка Ганна.

Лет ей восемь. Так только она одна Николаю Петровичу без божбы верит. Честное слово! Кушали бы вы лучше, Николай Петрович, бычков, чем зря расстраиваться пустыми разговорами! Человек вы старый, отставной, живете на пенсию. Чего вам еще надо?

— Не мне надо, а людям надо, — строго ответил Липецкий. — Я писал об этом канале в Государственную думу. Два раза. Предлагал образовать для постройки канала акционерное общество. И, конечно, ни слуху ни духу. Послал статью в одну газету. Оттуда мне так ответил один нахал, что вспоминать стыдно: «С несравненно большим успехом вы могли бы составить проект отопления березовым дымом Северного полюса или попробовать сажать деревья корнями вверх. Выпиливайте лучше столики из фанеры».

— А вот я этому свистозубу всыпал бы сорок линьков, — сказал Галаган. — Да еще бы намочил те линьки в соленой воде. Чтобы чувствовал, как над старыми людьми насмехаться.

В половине лета я взял у Ваксова отпуск и поселился на Петрушиной косе у брата Галагана, Петро.

Петро жил в маленькой хате, крытой очеретом. От стен пахло сырым мелом. Около завалинки росла кустистая трава. Из нее рыбачки вязали веники. Волна во время свежей погоды подбегала к порогу хаты и оставляла на песке скачущих рачков — бокоплавов.

В маленьком садочке цвели желтые мальвы — «могашки» — и вялился на шнурах рыбец. В низкие окна задувал теплый морской ветерок.

Я почти забыл о разговоре с Липецким на палубе «Запорожца». Но, конечно, этот разговор не мог исчезнуть из памяти без следа. Он вызвал желание изучить окрестные степи, все это так называемое «Азовское подолье». Я начал пристально присматриваться к окружающему. А из пристального внимания родилась, как часто бывает, любовь.

У меня не было под рукой никаких книг, чтобы познакомиться по ним с Приазовьем. Я просто жил в

степях на побережье, смотрел, прислушивался и запоминал. И вскоре могучее спокойствие степей и моря завладело мною с такой силой, что я был готов променять на них любимые северные леса.

Все окружающее постепенно сроднило меня с этими местами. Я заранее тосковал при мысли, что когда-нибудь придется их покинуть.

Единственным моим собеседником была в то время маленькая Ганна. Петро уходил каждый день на рассвете на смоленой шаланде-байде в море выбирать сети, потом отвозил улов на базар в Таганрог, а когда приезжал из города, то заваливался спать. Вечером он снова шел в море ставить, или, как говорят рыбаки, «высыпать», сети. Петро я почти не видел, за исключением тех редких дней, когда он брал меня с собой.

Море било мутноватой волной в борта байды и шумело на всем своем пространстве однообразным гулом. Потом над донскими гирлами подымалось солнце, и разгорался желтый степной день.

Ганна тихонько пела во дворе, возясь около очага. Она готовила отцу и мне «снедать». Пела она колыбельные песни своим тряпичным куклам Одарке и Господарке. Солнце и морская вода выжгли у этих кукол былую их красоту. Единственное, что осталось на круглых кукольных лицах, — толстые брови, намазанные смолой.

Светлые косы у Ганны были уложены венком вокруг головы. Глаза у нее были чуть зеленоватые и прозрачные, как морская вода на песках, а руки такие тоненькие, что я каждый раз пугался, когда она поднимала с очага тяжелый чугун с кипящим борщом.

Первые дни Ганна дичилась меня, но скоро привыкла и начала без умолку рассказывать всякие небылицы.

— Слушайте, слушайте, — говорила она торопливо и держала меня за рукав, — что я вам расскажу! Есть у нас в море рыба. Зовется она «морское сердце». Потому что она колотится, как человеческое сердце. Вот так!

Ганна прижимала руки к груди и, широко открыв глаза, слушала, как бьется ее маленькое сердце.

— Вот так! Тук и тук! Тук и тук! Вы не думайте, что та рыба счастливая. Она, наоборот, несчастная и убогая. Потому что она слепая. А ослепил ее, насыпал ей соли в глаза злой один рыбак из-под города Геническа. Потому что эта рыба старалась для бедных людей, для таких небог, как мой батько, что имеет одну сеть, да и та кругом рваная.

— Чем же она помогала небогам? — каждый раз спрашивал я, хотя уже знал конец этой истории.

— Рыбу она до них пригоняла. Всякая рыба — будь то подсулок, селедка или лобан — слушалась ее без прекослова. Шла за ней рыба следом, и заводила она ту рыбу в сети к неимущим. Они, конечно, сети вытягнут, продажную рыбу выберут, а «морское сердце» непременно в воду отпустят. Да еще и шапки перед ней скинут, поблагодарят низко за сострадание. Так тот рыбак с Геническа ослепил ее. Из зависти. С той поры ой как трудно стало рыбалить неимущим! Никто им в сети рыбу не приводит. Тетеньки у нас по косе кажут, что надо «морское сердце» поймать и пустить в ведро с наваром из серебра. Тогда глаза у нее оживут, и снова начнется жизнь для маломощных. А то они, маломощные, голодуют и оттого идут в крутаи. А это, борони бог, какое рисковое дело — быть крутаем! Как вы скажете: правда это или просто брехня то, что я вам рассказала?

— Не знаю, — уклончиво отвечал я.

— Правда! — убежденно говорила Ганна, и глаза ее блестели. — Вот побожусь, что правда!

Я, конечно, не верил в эти старые рыбацкие басни, но все же, купаясь у берега, начал приглядываться к рыбам, шнырявшим по песчаному дну. Где-то в уголке сознания застряла мысль, что, может быть, я увижу среди них «морское сердце» — все золотое, с синими плавниками и красным хвостом.

В ответ на мои расспросы о крутаях рыбаки отнекивались или отшучивались. В конце концов они начали говорить, что никаких крутаев нет и все это бабьи выдумки.

Узнал я о том, что такое крутаи, при обстоятельствах довольно печальных. Узнал в одну из темных ночей.

Петро в этот день, после того, как «высыпал» сети, домой не вернулся. Я уснул в своей каморке, но среди ночи меня разбудила Ганна.

— Дядя, — шептала она и дергала меня за руку. — Может, вы проснетесь? А дядя!

Я вскочил.

— Что случилось?

— Батько, мабудь, с крутаями ушел, — ответила Ганна и, сев на глиняный пол, захныкала.

Ночник-каганец тихо мигал. По хате бегали колючие тени от полыни, подвешенной к потолку. И равномерно, занятое своей вековечной и великой думой, шумело, набегая на пески, ночное море.

— С какими крутаями? — спросил я спросонок. — Никаких крутаев нет. Это все бабьи выдумки.

— Не! Не выдумки! Крутаи идут в такие ночи, как эта, когда ни одной звезды нету на небе, в донские гирла, в запретную воду. На самых легких байдах. У тех байд ход быстрый, как у ласточек.

— Зачем они ходят в гирла?

— За рыбой. Там рыба лежит в воде, как просо в коморе. Крутаи туда заходят, кидают на ходу сети, заворачивают и на ходу выбирают. Тикают поскорийше до дому. Потому что там, в тех водах, стоит на моторках охрана. Чуть не поспел, или парус заполоскал, или стукнул чем по борту — охрана заметит и почнет стрелять. В прошлый год вот так старого Арсения насмерть забили.

И она заплакала уже в голос, вытирая слезы косой.

Я начал утешать Ганну, хотя и не поверил ее рассказу. Но вскоре над морем прокатились отдаленные ружейные выстрелы. Девочка бросилась вон из хаты. Я вышел следом за ней.

— Батько! — отчаянно закричала Ганна и по колени вошла в воду. — Батько! Сюда!

— Цыц, скаженная! — гневно прикрикнул из темноты женский голос. — И без твоего крику берег найдут. На то рыбаки!

Ганна затихла. Через несколько минут из морской мглы бесшумно вынырнула байда. Рыбаки молча соскочили в воду, вытащили байду на берег, быстро убрали сети и скрылись.

Среди рыбаков был и Петро. Он вошел в хату и тихо сказал Ганне:

— Дай тряпку чистую. Руку подбили, иуды! Гнались за нами до самой мигалки.

Тогда только я заметил, что рука у Петро замотана тряпкой и сквозь нее сочится и капает на глиняный пол темная кровь.

— Пол подотри! — сказал Петро и повернулся ко мне.

— Я ничего не видел, — сказал я Петро вполголоса.

— Спасибо вам, — ответил Петро. — Не от богатства мы на такое дело идем. Нужда под пули толкает.

Через несколько дней Петро вернулся с базара и рассказал о пышных похоронах, виденных им в Таганроге. Впереди похоронной процессии шли два соборных протоиерея и хор из греческой церкви. А покойница, даром что старая, а, должно, была девушкой, потому что лежала она в гробу, обитом белым муслином.

— А за катафалком вся знать таганрогская валит, — рассказывал Петро. — Генералы с лентами и медалями. И даже городской голова с цилиндром в руке. Богатые похороны! Я бы на те похороны жил двадцать лет. Да еще и Ганне осталось бы на приданое.

— Кого же это так хоронили? — спросил я.

— Да тетку Ваксова, вашего хозяина. Кажут, что заядлая была старуха. Держала его в кулаке. Вот теперь он погуляет, Ваксов! Полетят все его капиталы к черту на припечку!

Эта мысль о неизбежной растрате Ваксовым своих миллионов толкнула меня на поступок, казавшийся мне в то время очень смелым. Сейчас, естественно, он представляется совершенно нелепым. Единственное,

что оправдывает меня в собственных глазах, — это тогдашняя молодость.

Я тотчас вернулся с косы в Таганрог и помчался к Липецкому. Я рассказал ему о Ваксове, обуреваемом жаждой громких дел. Я был уверен, что, освободившись от тетушкиной опеки, он ринется с головой в заманчивое и сулящее ему славу сооружение судоходного канала от Таганрога до открытого моря. Надо было немедленно идти к Ваксову.

Липецкий оробел. Но я настаивал, и в конце концов мне удалось его уговорить.

Зеркала в купеческом особняке были еще завешаны, но Ваксов уже сидел за письменным столом и щелкал на счетах. К рукаву его чесучового пиджака была криво приколота повязка из черного крепа.

Будущий меценат возвел на нас слезящиеся глазки и спросил, приподнимаясь:

— Чем могу?

Липецкий молчал. Очевидно, по виду Ваксова он уже понял, что ничего из этой затеи не выйдет. Тогда я напомнил Ваксову о его мечте быть передовым и просвещенным человеком своего времени. Я говорил о славе, что покроет его имя лаврами, если он станет благодетелем своего края. Ваксов смотрел на меня внимательно, но в его глазах я не уловил ни тени удивления.

— Чем все-таки могу? — вежливо переспросил Ваксов, выслушав мою тираду.

Я рассказал Ваксову о проекте Липецкого прорыть канал от Таганрога до открытого моря. Правительство этим заниматься не будет.

— С таким правительством пропадешь, как капустный червь, — согласился со вздохом Ваксов.

Я обрадовался. Его сочувствие меня окрылило.

— Нужно, — сказал я, — чтобы просвещенный, влиятельный и богатый человек основал акционерное общество для сооружения канала.

— Так-с! — сказал, помолчав, Ваксов. Он теперь смотрел не на нас, а за окно, где ветер качал акации. — Так-с! Значит, вы меня избрали в просвещенные благодетели? За это чувствительно благода-

рен. А каков, — он повернулся к Липецкому, — по вашему разумению, должен быть мой денежный вклад в это дело?

Липецкий молчал. Он только с укором взглянул на меня.

— Тридцать тысяч? Сорок? Пятьдесят? — подсказывал Ваксов, сбрасывая костяшки на счетах.

— Я не знаю, — вмешался я, наконец, чтобы прервать эту сцену. — Я не могу судить об этом.

— Так-с! — повторил Ваксов, достал из бокового кармана пиджака бумажник, вынул из него две красные десятирублевые бумажки и положил их перед Липецким на стол.

— Вот! Не взыщите. Больше я на это дело уделить ничего не могу. Прошу иметь в виду, что у меня не судоходный надзор, а торговое дело. Не знаю, известно ли вам или нет, но мой папаша гонял со двора изобретателей. Как мух! И мне завещал. Не доверял, знаете ли. Ничего не поделаешь.

Липецкий поднялся. Голова его дрожала.

— Вот именно, как мух! — повторил Ваксов.

Липецкий разорвал трясущимися руками обе десятирублевки, пододвинул их Ваксову, повернулся и пошел к двери. Он даже не взглянул на меня. В голове у меня все смешалось от ярости.

— Жаль, — сказал я Ваксову, — что вы пережили вашу тетушку. Маслобой!

Ваксов закричал бабьим голосом:

— Вон отсюда! Недоучка!

За дверью стоял сонный лакей с опущенными усами. «Погодь!» — сказал он мне и крепко взял за рукав. Я наотмашь толкнул его в грудь и вышел вслед за Липецким.

Липецкого после этого случая я не видел. Мне стыдно было встречаться с ним.

В Таганроге мне больше нечего было делать. Я решил уехать. Денег оставалось немного, но все же их хватало, по моим подсчетам, чтобы добраться до Мариуполя. Там я надеялся найти работу в порту.

В последний раз я пошел к Галагану на корвет. Галаган собирался в город на именины к свояку. Он

выслушал мой возмущенный рассказ о Ваксове и сказал, прищурившись:

— Бамбуковое было, видать, у вас положение.

Я не понял:

— Как это бамбуковое?

— Да очень просто. Он же, маклак, золотая мошна, а вы до него лезете, как до порядочного человека. Надо же соображать. Смех, честное слово!

Галаган вскоре ушел. Я провел ночь на старом корабле в полном одиночестве.

Была уже осень. С берега долетал, то затихая, то усиливаясь, шелест подсыхающих акаций.

Через сутки я стоял на палубе колесного парохода «Керчь». Пароход шел из Таганрога в Мариуполь.

Был сизый тихий день. Степные берега затянуло мглой. Изредка солнце, прорвавшись сквозь низкие тучи, загоралось охрой и суриком на обрывах и мысах. Тогда вода у берегов зеленела, и были хорошо видны черные рыбачьи байды и белые стены хат на косе.

Я до боли в глазах вглядывался в берег, надеясь увидеть у порога Петровой хаты Ганну. Но я ее так и не увидел. Должно быть, девочка пошла в степь собирать сухой бурьян для очага.

Мгла сгущалась. Вскоре она закрыла берег, и вокруг ничего не осталось, кроме серой воды и серого неба.

ПОЛЕТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

В самолете, летевшем из Москвы в Калач-на-Дону, — там было сосредоточено управление строительством канала, — кроме начальника строительства Басаргина и его двух ближайших помощников, сидел у окна еще один пассажир — на вид совсем еще юноша — высокий, очень худой, с густыми рыжеватыми волосами и загорелым лицом.

«Неужели этот молодой человек и есть Старостин, тот ленинградец, — подумал Басаргин, — о котором вчера докладывал Земляной? Он, кажется, работает над проблемой поворота вод Иртыша и Оби в прикаспийские степи».

Басаргин внимательно посмотрел на молодого инженера. Старостин заметил это и слегка покраснел.

Летчик взял курс из Москвы через Куйбышев и Сталинград к Красноармейску, чтобы потом пройти над всей трассой канала. Басаргин хотел посмотреть трассу с воздуха.

Москва, окутанная мглистым утренним воздухом, слабо серебрилась под крылом самолета. Очевидно, после ночного дождя асфальтовые проспекты столицы и сады начали просыхать, и легкий пар, струившийся над ними, наполнял воздух этой мглой. Белые башни высотных домов прорезали мглу, подымались к синеве неба. В их зеркальных окнах пылало только что поднявшееся солнце.

Влажные тени лежали на земле. И в этих тенях, в косом, как бы омытом свете, в сверкании высотных домов и кремлевских звезд было ощущение такой свежести, что Басаргин с наслаждением вздохнул.

Он, почти не отрываясь, смотрел вниз. Только изредка с тревогой взглядывал на кучевые облака, громоздившиеся на горизонте немного в стороне от курса самолета. Он боялся, что они закроют от него землю. А сегодня Басаргину хотелось только смотреть и смотреть на эту удивительную землю, преображенную руками советского человека. Смотреть так же жадно, до боли в глазах, как он в детстве смотрел из окна вагона на проносившиеся мимо поля и леса.

Сейчас помешать этому могли не только облака, но и его спутники. Они были люди весьма разговорчивые, особенно начальник участка Земляной. Поэтому Басаргин сделал сосредоточенное лицо, как бы что-то обдумывая. Он знал, тогда помощники оставят его в покое. Так и произошло.

Летчик как будто догадался, чего хотел от него Басаргин. Он описал большую дугу к северу от Москвы. Внизу синели разливы водохранилищ на канале Москва — Волга. Белые створные башни чуть заметно отражались в них, и солнце вдруг сверкнуло на скульптурных бронзовых кораблях одного из шлюзов. Далеко слева отливало слюдой Московское море. Над зеленым кудрявым Угличем опрокинулась радуга.

«Откуда радуга, когда нет дождевых облаков?» — подумал Басаргин. Он увидел, что радуга переливается, дрожит и сверкает над Угличской плотиной. Там могучий поток Волги, низвергаясь, рассеивал тысячи брызг. И солнце, играя ими, создавало этот спектральный блеск.

По Рыбинскому морю северо-западный ветер гнал веселую пенистую волну. Наперерез ей, подымая перед носом белые буруны, шел мощный буксир и тащил вереницу железных барж. На их тонких мачтах были видны с самолета туго натянутые ветром красные флаги — сигнал, что баржи идут с полным грузом нефти.

Потом проплыла внизу Рыбинская гидроэлектростанция и открылись по горизонту высокие струящиеся дымы новых заводов — гигантов древнего Ярославля.

Летчик слегка отвернул к югу, не теряя из виду Волгу.

Басаргин заметил, что и его спутники так же, как и он, почти не отрываясь, смотрят на землю.

Как было не смотреть на эту живую, живописную и могучую карту расцветающей с каждым годом страны! Да еще в такое синее до глубочайшего блеска, прозрачное и ослепительное утро!

Направо уходила в туман Ивановская область. Басаргин подумал, что если бы стих шум моторов, то, может быть, оттуда, с земли, долетело бы до самолета мерное и непрерывное жужжание тысяч ткацких станков.

Он улыбнулся этой своей мысли и, перегнувшись в кресле, посмотрел наискось в окно. Впереди был Горький. Знакомый вид строительных работ, отвалы земли на берегах Волги на месте Горьковской плотины, штабели леса в Балахне и баржи, как бы груженные катушками белых ниток. На самом деле то были огромные рулоны бумаги.

Потом Кремль, пристани, плоты, пароходы, буксиры, изогнутое волнами стекло реки и зеленый пригородный поселок... Стаи гусей стояли на заросшей муравой улице и, подняв головы к небу, гоготали,

разговаривая, должно быть, о том, куда летит самолет.

А в стороне по блестящей маслянистой автостраде шла на Москву колонна новых машин с Горьковского автозавода. Зеркальные отражения от смотровых стекол бежали непрерывной рябью по асфальту.

Улица со стаей гусей! Знакомая улица. И домишко с зеленой крышей — тоже родной и знакомый. В нем Басаргин родился и вырос. Из него он впервые ушел на Сормовскую верфь — работать вместе с отцом.

По Каме около устья тянулись вереницей такие длинные плоты, что нельзя было увидеть их конца: он терялся в тумане.

«Все это к нам, на великие стройки», — подумал Басаргин.

Чем ближе самолет подходил к местам строек — к Куйбышеву, Сталинграду и Дону, — тем яснее было видно с высоты движение пароходов, плотов, буксиров, самоходных барж, бесконечных запыленных товарных поездов и грузовых машин. Все они двигались в одном направлении — к югу. Туда, где во мгле позднего утра уже угадывалось кипение исполинских работ. Даже дым из труб паровозов ветер нес к югу. И туда же катились, всплескивая на плоты и как бы подгоняя их, волжские волны. И пыль из-под колес бесчисленных машин тоже неслась к югу.

Жигули открылись зелеными, кое-где тронутыми ржавчиной ковригами сглаженных гор.

На западе тонули в золотом свечении хлебов просторы черноземных полей.

Куйбышевское строительство раскинулось внизу, отобрав у Волги оба ее берега. Самолет будто парил над ним, потеряв скорость. Это ощущение возникло потому, что фронт работ был огромен, — Басаргин знал, что самолет шел над строительством с обычной быстротой.

Какие-то зеленоватые ленты лежали, извиваясь, на земле рядом с берегами Волги. Басаргин всмотрелся. Не лесные ли это полосы? И тут же Земляной подсунул ему записку: «Новые леса. Если их растянуть в

одну линию шириной до трех километров, то они опояшут зеленой полосой экватор».

Басаргин кивнул.

А вот он, старый знакомец, Сталинград! Средоточие титанических работ на Волге.

Сталинград проносился внизу белой картой величавых проспектов, прямоугольниками заводов, коврами пестрых цветов на месте недавних развалин.

Самолет подошел к Красноармейску и отвернул направо вдоль Волго-Донского канала.

Длинный и сухой ров, пересеченный узлами гидротехнических сооружений, с белой россыпью поселков по глинистым берегам и едва заметными впадинами будущих озер, уходил, слегка изгибаясь, от Волги в стекленеющую воздушную дымку на западе.

Только отсюда, с высоты, было видно, как удачно вписан канал в рельеф местности. Трасса канала обходила все трудности, созданные в этих местах природой, и с наибольшей выгодой использовала все естественные преимущества, в частности русла пересыхающих степных речек Сарпы и Червленой. Это привело к тому, что из ста одного километра своего протяжения канал по искусственному ложу проходил только пятьдесят шесть километров.

Самолет летел над каналом к западу. Солнце не било в глаза, и потому панорама земли представала особенно выпуклой и четкой до мельчайших подробностей, вплоть до теней от стрел экскаваторов.

Два горных хребта красной глины тянулись по сторонам выемки от горизонта до горизонта. Это были отвалы грунта со дна канала.

Отсюда, с большой высоты, строительство являло величественную картину. Оно было похоже на старинную, выгравированную на меди и покрашенную водяными красками карту. Присмотревшись, можно было различить земляные плотины, решетчатую арматуру будущих бетонных шлюзов и станций. Все это было сейчас то желтоватого, то серого цвета, как бы сохраняя основную раскраску степей — желтой степной травы, желтоватого неба и серых с желтыми подпалинами степных птиц.

Сотни дымков вспыхивали внизу. Ветер уносил их вдаль. Это была пыль от непрерывно сбрасываемой экскаваторами и скреперами земли.

Даже с высоты ощущался равномерный пульс работ. Все строительство трудилось, как единое, живое существо, выдыхая изо всех своих пор клубы дыма, пыли и пара. Степь затягивалась дымкой строительных работ и как бы переставала существовать сама по себе. Она была теперь только гигантской площадкой для деятельности людей.

Долина Дона являла собой странное зрелище. Она напоминала дно огромного высохшего озера, где только посередине протекал ручей. Это впечатление создавалось оттого, что станицы были уже отодвинуты от реки вглубь, на берега будущего Донского моря, и между ними лежала широкая сухая впадина — приготовленное человеком морское дно.

Потом открылось цимлянское строительство. Исполинский кратер котлована был усеян живыми черными точками — людьми и машинами. Колючие звезды сварки резко вспыхивали в пыли. Портальные краны бежали по рельсам вдоль массива плотины. Зеленоватый цементный туман висел над мощным бетонным заводом.

Летчик убирал высоту. Стали отчетливо видны люди, дороги, даже дрожащие от ветра кусты акации.

СЛЕДОПЫТЫ

Худощавый человек в куртке цвета песка достал из заднего кармана брюк записную книжку, перелистал ее, нашел чистую страницу и начал что-то записывать тонким, как соломинка, карандашом. Вагон качало, но человек писал, не отрываясь.

— Мама, — сказала в соседнем отделении девушка лет семнадцати, с подобранными на затылке темными косами. — А мама!

— Что тебе, Леля?

— Ты заметила? Он все время что-то записывает. Он, должно быть, писатель, мама.

— Нет! — громко сказал человек в куртке. — Я не писатель. Я работаю на Волго-Донском канале. И фамилия у меня совсем не писательская — Карпов.

— А что вы записываете? — спросила Леля и так улыбнулась, что даже солнце как будто померкло на желтых стенках вагона.

— Леля! — воскликнула пожилая женщина со смуглым лицом. — Что с тобой? Как тебе не совестно!

— А что же я такого сказала, мама! — удивилась девушка.

— Привычка, — ответил Карпов и заглянул в отделение к Леле. — Просто привычка записывать все, что я хочу запомнить. Всем советую этим заниматься, товарищи.

— Котельниково! — прокричала проводница. Она шла по вагону с веником и мокрой тряпкой в руках. — Стоянка пятнадцать минут!

Поезд начало заносить на стрелках. Желтая степь сразу оборвалась. Вместо нее пролетела за окнами избитая осколками бетонная стена. Промчались черепичные крыши и пыльные вершины акаций. Поезд проскакивал мимо горячих, блещущих маслом паровозов. Они стояли на запасных путях и швыряли к небу короткими рывками клубы плотного пара. Потом по сторонам поезда начали нестись, пощелкивая и грохоча, бесконечные платформы с крупной галькой.

Леля высунулась в окно. В него врывался раскаленный воздух с удивительным запахом морских камней.

«Откуда здесь этот запах?» — подумала Леля и тут же догадалась, что так, должно быть, пахнет галька на платформах. Эти красные пыльные платформы принесли сюда, в Сальские степи, за сотни километров от моря, воздух Черноморского побережья.

— Мама, — сказала Леля, отвернувшись от окна, — послушай. От гравия, кажется, пахнет морем.

— Это гравий для канала, — объяснил Карпов. — Его действительно везут с берегов Черного моря. А через год свое, Донское море подойдет к этому поселку.

— Разве оно дойдет до этих мест? — недоверчиво спросила Леля.

— Дойдет. Здесь образуется большой залив. Вон там, где стоит грузовик с пустыми ящиками, кажется, будет берег.

— И вовсе не там, — сказал, осторожно слезая с верхней полки, пожилой человек в черном пиджаке с двумя орденами Красной Звезды. — А вон там, в балочке.

— В какой балочке? — живо спросила Леля.

— Да вон в той. Где пасется теленок.

— Откуда вы можете знать, — задиристо спросил пожилого человека обитатель верхней полки — вихрастый студент-филолог в толстых очках, — что берег будет именно там, где пасется теленок, а не там, где стоит грузовик?

— Да здесь каждому школьнику это известно,— невозмутимо ответил пожилой человек. — Можете сами убедиться. Пойдете, наверное, на станции в буфет, так по дороге спросите любого мальчишку. Он вам все объяснит досконально.

— Ну что ж, и спрошу! — ответил юноша с оттенком угрозы в голосе.

Поезд остановился. Пожилой человек достал с полки пыльный чемодан и брезентовый плащ, попрощался и пошел к выходу.

— Послушайте, — сказала Леля студенту в очках, — пойдемте, правда, на станцию и спросим первого попавшегося мальчишку. Хорошо?

— Идет! — ответил студент и с грохотом соскочил с полки.

Они вышли на платформу. Зной заливал станцию, поселок и степь.

На платформе, как назло, не оказалось мальчишек. Леля со студентом побежали искать их на привокзальную площадь.

Посреди площади росли в сквере акации. Они уже отцвели. На ветвях висели большие зеленые стручки. Около акаций из зарослей бархатцев подымалась деревянная пирамида с надписью: «Вечная слава верным

сынам нашей Родины, павшим в боях с фашистскими захватчиками».

Невдалеке от пирамиды двое мальчишек пили воду из водопроводного крана, торчавшего прямо из земли. Лица и рубахи у них были совершенно мокрые.

— Орлы! — сказал им студент. — Следопыты! Известно ли вам, до какого места дойдет здесь будущее Донское море?

«Следопыты» перестали пить воду и с недоумением уставились на Лелю и студента. Потом мальчик постарше основательно вытер лицо подолом рубахи и сказал младшему:

— Да ты не пугайся, Тарас. Это ж артисты. А до какого места достигнет море, нам известно. Только отсюда не видно: вокзал закрывает. Там, за путевой будкой, есть балочка, а в ней стоит дикая груша. Так мы давно уже высчитали, что вода дойдет в самый раз до той груши.

— Кто это «мы»? — спросила Леля.

— Да все наши хлопцы из школы.

— Вот видите, — сказала Леля студенту, — груша как раз растет там, где пасется теленок. Он даже привязан за веревку к этой груше.

— Это не имеет никакого значения, — с досадой ответил студент.

Мальчишка вытащил из кармана листок бумаги в клетку, вырванный, очевидно, из тетради.

— Гляньте сюда! Тут все обозначено.

На листке была нарисована химическим карандашом довольно грубая карта длинного залива. У этого залива был не один берег, а несколько, даже, пожалуй, довольно много берегов. Все эти берега сохраняли одну и ту же извилистую линию, но все больше и больше отступали в глубь степи, где чернел квадрат с надписью «Котельниково». Около квадрата последний берег был прочерчен синим жирным карандашом.

Вообще рисунок был очень рябой. В иных местах, когда химический карандаш слюнили, линии становились яркие, ядовитые и даже расплывались. В других местах линии были тощие и едва заметные.

— Что это за абракадабра? — спросил студент. — Леля, слушайте звонки. Как бы нам не остаться.

— Да поезд ще будет стоять не меньше как десять минут, — успокоил его мальчишка. — Это не кадабра, а карта. Тут все отмечено с того дня, как запрут в Цимле плотину и вода начнет подыматься. Отмечено по дням. В первый день вода дойдет вот сюда, гляньте! — Мальчишка показал на первую линию берега. — Во второй она дойдет до второй полосы. А синий берег — это уже окончательный, вечный.

— Здорово! — сказала Леля. — Ты сам это придумал?

— Не! — весело ответил мальчик. — Суслик за меня придумал. Сидел цельный день около своей норки и гадал: затопит ее или нет? И вот надумал нарисовать такую карту. Чтобы вода не захватила его как-нибудь посередь ночи.

— Однако ты зубастый, — сказала Леля.

— Да нет! — Мальчил широко улыбнулся. — Я не зубастый. Только никто мне не верит. А я, честное пионерское, никогда не брешу.

— Не, Степка не брешет, — строго сказал хриплым голосом младший мальчик. — Он не такой. Он даже письмо написал начальнику канала. Чтобы дали нам точный ответ, когда запрут Дон.

— А зачем это вам нужно?

— А то как же! С этого дня мы начнем следить за водой. И вешки ставить по краю берега. Вот только они там, в Цимлянской, тянут и тянут.

— То есть как это тянут? — вдруг рассердился студент. — От горшка три вершка, а тоже бросился в критику!

— Так и тянут, — убежденно ответил младший мальчик. — Еще цельный год ждать. Разве это мыслимо!

— Ничего, подождете! — беззаботно сказала Леля и вдруг схватила студента за рукав. На платформе продребезжал второй звонок. — Скорей! Спасибо, мальчики!

Леля с филологом промчались через прохладный, выкрашенный в оливковый цвет пассажирский зал,

выбежали на платформу и едва успели вскочить в вагон, как поезд тотчас же тронулся.

Леля, счастливая, раскрасневшаяся, ворвалась в свое купе, и мать ее Анна Петровна, взглянув на дрожащие от сдержанного смеха Лелины губы и потемневшие серые глаза, только покачала головой и не сказала ни одного из тех слов, какие в таких случаях принято говорить. Не сказала, что это — безобразие и неосторожность, что ей, Леле, уже семнадцать лет, что она взрослая девушка и должна понимать, что поезд не станет дожидаться, пока она будет, как безумная, носиться по вокзалу.

Пассажиры так же, как и Анна Петровна, были настроены благодушно. Поезд шел из Сталинграда в Новороссийск. Всем известно, что некоторые железнодорожные маршруты связаны с приподнятым настроением у пассажиров. В особенности маршруты, выносящие тяжелый состав к черноморскому прибою, к белым вокзалам, где по стенам шевелятся от бриза тени листьев и густой гудок морского теплохода перекрывает торопливые свистки паровозов.

Анна Петровна Галаган ехала с Лелей из Саратова в Новороссийск, а оттуда еще дальше — в небольшой поселок на Кавказском побережье.

У Лели только что начались летние каникулы. Анна Петровна приноровила к ним свой отпуск.

Сначала она думала отдохнуть у себя на родине, в рыбачьем колхозе под Таганрогом. Там доживал свой век ее отец, Петр Софронович Галаган, совсем уже дряхлый старик, бывший рыбак. Но подруга Анны Петровны — с ней она вместе училась в институте — зазвала ее к себе в поселок на Кавказ. Там у подруги была своя маленькая дача. И Анна Петровна решила поехать на Черное море, а уж на следующий год съездить к отцу.

Глядя на Лелю, Анна Петровна думала: в кого она пошла такая бурная, ласковая и смешливая?

Она, думая о Леле, забыла, как это всегда бывает, о себе. Леля пошла в нее, в Анну Петровну. Но не

в теперешнюю сорокалетнюю женщину, а в ту порывистую и пытливую девочку, какой она была когда-то. Росла она с отцом, с малых лет работала по дому, и долгое время единственной ее радостью была затрепанная книга русских сказок.

Научил Анну Петровну, тогда еще Ганну, читать старый отставной учитель из Таганрога Николай Петрович Липецкий. По бедности своей он не мог ездить летом на дачу в Карантин, а снимал за пять рублей до самой осени чистую каморку в отцовской хате.

Николай Петрович привозил с собой всякие удивительные вещи. То были старый, порыжевший бинокль, толстая книга с рисунками всевозможных деревьев и животных и красивая большая карта Азовского моря. Море на ней было нестерпимо синего цвета, а в правом углу на желтой полосе песчаного берега была даже отмечена коричневым кружочком Петрушина коса.

Как только Николай Петрович приезжал, он вместе с Ганной прибивал к шесту во дворе флюгер, а на стене хаты вешал в тени термометр и барометр. И начиналась интересная и таинственная жизнь.

По нескольку раз в день Николай Петрович записывал в тетрадку, откуда и с какой силой дует ветер (а ветров на Азовском море было много: трамонтан, низовка, гирловой, верховка, левант, керченский и горишняк), записывал, какие в небе стоят или быстро бегут облака, волоча за собою по морю сизые тени, жарко ли греет солнце, идут ли мимо берега косяки рыбы и на какой глубине, какие расцвели в степи травы, что за птицы поют по балочкам, был ли утром туман, и выпадала ли вечером роса. Николай Петрович собирал разные травы и сушил их между страницами книг. Ганна ходила с ним в степь искать эти травы.

Николаю Петровичу она рассказывала все свои горести и выдумки. Он никогда не сердился, как отец, не говорил, что она цокотуха и балаболка, а только тихонько смеялся, глядя на ее разгоревшееся от волнения лицо.

Выпадали дни, когда Николай Петрович записывал в тетрадку любимое свое слово «штиль».

Полный штиль! Что это были за дни! Они расцветали из голубоватого тумана, как легкие золотые цветы, и цвели в тишине до заката. Море боялось плеснуть даже самой малой волной. Оно только медленно вздыхало, подымая в чистой воде стебли подводной травы. Далеко за горизонтом стоял высоким столбом белый дым из трубы парохода. Но самого парохода не было видно.

Слабый звон лился над степью. Как будто звенел весь этот чистый и ласковый свет. Или то звенели жаворонки и кузнечики? Или звенела жара? Кто его знает!

Ганна расспрашивала Николая Петровича, зачем он записывает в тетрадку все, что меняется в воздухе и воде. Для чего это надо? Николай Петрович объяснял ей, что все это вместе называется климатом, что надо изучать климат, потому что придет когда-нибудь пора, когда люди научатся менять его и делать таким, как это нужно для процветания земли. И тогда, может быть, его тетрадка понадобится ученым.

Ганна все хотела спросить Николая Петровича, что такое «процветание», не не решалась. Ей думалось, что процветание — это земля, густо покрытая, как ковром, всякими цветами — не только портулаком и «кручеными панычами», как во дворе у соседки тетки Горпыны, но даже сиренью и розами. Эти цветы Ганна видела однажды в городском саду в Таганроге. И так и ахнула, так и простояла около них неизвестно сколько времени с полуоткрытым от восхищения ртом.

Когда Ганна подросла, Николай Петрович устроил ее в школу в Таганроге. Ганна на зиму переехала в город к Николаю Петровичу. Старый учитель шутил, что теперь в его темноватой комнате вырос маленький подсолнух. А отец Ганны так долго благодарил Николая Петровича, что тот в конце концов рассердился, даже затопал ногами и чуть его не прогнал. Едва они помирились.

Николай Петрович умер, когда Ганна была уже в четвертом классе. Тогда оказалось, что Николай Петрович оставил отцу Ганны по завещанию свои не-

большие сбережения с тем, чтобы на эти деньги она окончила школу.

После школы Ганна окончила институт — это было уже при советской власти, — стала метеорологом и начала работать над изучением климатов.

Анна Петровна очнулась от своих воспоминаний и услышала, как Карпов говорил Леле и студенту:

— Я еду на несколько дней в Новороссийск на тамошние заводы договориться о новой марке для некоторых сооружений на канале.

— Какая такая марка? — спросила Леля.

Филолог фыркнул, а Карпов спокойно ответил:

— Новая марка цемента. Новый сорт. Вообще должен вам сказать, молодые люди, что открытие цемента сыграло в жизни человечества не меньшую роль, чем открытие электричества. В наших строительствах цемент и электричество решают все. Это главная сила.

— Допустим, что так, — снисходительно согласился студент. Он был в том неспокойном возрасте, когда берут под сомнение все, вплоть до таблицы умножения. — Допустим, что это так, — повторил юноша и блеснул глазами из-под толстых очков, готовясь к нападению. — Но ставить знак равенства между двумя такими разными категориями, как цемент и электричество, это по крайней мере...

— Что вы пристаете к товарищу Карпову! — нетерпеливо сказала Леля. — Совсем это никому не интересно.

— Что же, по-вашему, интересно? — явно придираясь, спросил филолог.

— Мне, например, гораздо интереснее расспросить про канал.

— Ну и расспрашивайте.

— Какой смысл вам ссориться? — сказал Карпов. — О строительстве разве расскажешь! Это надо самому увидеть, своими глазами.

— Ну все-таки, — сказала умоляющим голосом Леля, — что, по-вашему, самое важное?

— Все! — ответил Карпов. — Все интересно. Все важно. И все замечательно. Меня, конечно, в первую очередь интересуют люди. Я с ними работаю.

— А позвольте узнать, в какой области? — спросил необыкновенно вежливо филолог.

— Догадаться нетрудно, — ответил Карпов. — Особенно при исключительной вашей осведомленности обо всем на свете.

— Вы партийный работник?

— Допустим, что так.

Карпов помолчал, посмотрел за окно. Оттуда врывался в вагон жаркий и липкий, как клей, воздух. Карпов вздохнул и медленно заговорил:

— Представьте себе глубокое русло реки, где нет еще ни капли воды. Вообразите себе эту пока еще сухую реку, что протянулась через степь от края до края. Глина на ее берегах растрескалась. Из трещин торчит колючая, как проволока, трава. Она перегорела от солнца и рассыпается под пальцами в бурый порошок. Все ждет воду: земля, трава, даже небо, выгоревшее от жары до грязного серого цвета. В тех местах, где хозяйничали пыльные суховеи и черные бури, сейчас бушует последняя пыльная буря. Она вызвана человеком. Тысячи машин кромсают и режут землю и подымают пыль до самого неба. И вот, представьте, какое нужно мужество, какая вера в будущее и сила воли, чтобы так упорно подымать на дыбы эту проклятую степь, сопротивляться совершенно невообразимому унынию тамошних мест и идти все вперед, все глубже в эти скифские глины.

— Это у вас тоже записано в книжке? — спросила Леля.

— Нет. Это я так, вообще... — неопределенно ответил Карпов. — Я записываю только цифры и факты.

Карпов раскрыл записную книжку и перелистал ее:

— Вот например... Вы всюду видите плакаты и надписи о том, что стройки коммунизма — всенародное дело. Это, конечно, — точное, но общее выражение. В свободное время я начал составлять список всех городов и заводов Советского Союза, что работают на строительстве канала и помогают ему. Выпи-

сал около трехсот городов и заводов и бросил. Нет никакой возможности их перечислить, от Мурманска и Свердловска до Одессы и Баку. И от Ташкента и Новороссийска до Ленинграда и даже до крошечного городка Зугдиди. Тамошние школьники прислали на строительство семена кавказского дуба, акации и золотого дрока, чтобы посадить эти деревья по берегам канала.

— Это очень здорово! — сказал студент, но тотчас спохватился и добавил, стараясь придать своему голосу оттенок язвительности: — Хотя дуб, кажется, не водится около Зугдиди.

Карпов взял студента за плечи и легонько встряхнул его. Студент, глядя на Карпова, покраснел и смущенно засмеялся.

Леля вспыхнула, но сдержалась. Она не сказала ни слова этому вихрастому несносному юноше, но потом жаловалась на него шепотом Анне Петровне.

— Подумаешь, — говорила она, — какой гений! Терпеть не могу заучившихся мальчишек!

Вскоре все в вагоне притихли, а многие и заснули, измученные духотой. Заснули Анна Петровна, Карпов, и в конце концов угомонился и «заучившийся мальчишка».

Только Леля, лежа на верхней полке, смотрела, не отрываясь, на степь, на суетливых сусликов, на охряную мглу и на грузовик, что мчался, виляя и вздымая тучи коричневой пыли, по дороге рядом с поездом и ни за что не хотел отставать.

Леля видела напряженное лицо молодого шофера, судорожно вцепившегося в руль. Она улыбнулась ему и помахала рукой. Шофер высунулся из кабинки, начал махать левой рукой вслед поезду, не выпуская из правой руки руль, потерял скорость и отстал.

Поезд скрылся в пыли. Шофер остановил машину, чтобы проверить свечи, и долго еще улыбался, вспоминая девушку в окне вагона.

Очевидно, этот шофер не знал о воспетой поэтами тоске мимолетной дорожной встречи. Если бы он знал

об этом, то, наверно, подумал бы, что поэты понимают, что к чему, и умеют заглянуть в глубину человеческого сердца.

Потом шофер вдруг покраснел, с грохотом захлопнул капот, ударил по нему кулаком, вскочил в кабину и дал машине такой газ, какого она еще не знавала за всю свою многострадальную жизнь в степном совхозе.

Случилось все это потому, что шофер сообразил: до станции Зимовники всего пять километров, а в Зимовниках пассажирский поезд Сталинград — Новороссийск стоит двадцать минут. Если бы не эти проклятые свечи, то он мог бы догнать поезд на станции, и так вообще, между прочим, пройтись около вагона и еще раз улыбнуться девушке, как старой знакомой.

— Вот, черт, обштопал самого себя! — бормотал шофер и гнал машину, подскакивая на ухабах до потолка кабины.

Но в Зимовниках он поезда уже не застал. После этого он обошел со всех сторон машину, подозрительно осмотрел ее, ударил изо всей силы сапогом по туго надутому колесу и сказал:

— Не ждал я, старая, что ты меня так подведешь! А я с тобой еще панькаюсь, как с малым ребенком!

Шофер вытащил из кармана измятую пачку папирос «Волна» и закурил, чтобы рассеять дурное настроение.

А Леля все еще лежала на верхней полке и смотрела в окно.

Вдали над степью подымалась серая туча.

— Вот хорошо! — вздохнула Леля. — Кажется, будет дождь.

Туча быстро росла, набухала и уже заволокла солнце. Цвет его сделался желтым и грязным.

«Пойти, что ли, умыться», — подумала Леля, соскочила с верхней полки и потянулась за полотенцем. В это время ей запорошило глаза бурой пылью, ворвавшейся в окно.

Песок зашипел по стенкам. Взвизгнули и завыли жестяным воем вентиляторы на потолке вагона.

— Окна закрывайте! — крикнула проводница, борясь с одним упорным окном.

Снаружи уже ревела пыльная буря. Казалось, что поезд, оторвавшись от земли, летит вместе с этим песком и пылью в мутную даль.

Встревоженные пассажиры просыпались, вскакивали, спрашивали, что случилось.

Изредка в желтой мгле возникали черные земляные смерчи. Они неслись наискось, обгоняя поезд. Даже сквозь стенки вагона проникал их тяжелый гул. Смерчи летели, подымая к небу десятки сухих шаров перекати-поля, мертвых полевых мышей и птичий пух.

Один смерч налетел с размаху на вагон. Задребезжали стекла. Пыль вырвалась длинными струями из всех щелей и вентиляторов. Поезд заметно сбавлял ход. Он тяжело скрежетал. Должно быть, рельсы уже перехватывало песчаными заносами.

Пыльная буря прошла так же внезапно, как и налетела. Но после нее еще долго висела в воздухе жгучая мгла. Болело горло. В висках туго и медленно стучала кровь. Очень хотелось пить. И все пассажиры пили без конца мутноватый чай и дружно завидовали старому, седому кавказцу в черкеске — обладателю огромного бугристого лимона.

Мимо Краснодара поезд проходил на рассвете. Леля спала и не видела степного рассвета, не видела, как солнце сверкало в окнах далекой станицы за Кубанью.

Анна Петровна проснулась задолго до Краснодара и все колебалась, разбудить Лелю или нет. Но Леля спала так спокойно и в ее ресницах, казалось, роились такие хорошие сны, что Анна Петровна не решилась разбудить дочь.

Но за час до Новороссийска Анна Петровна решительно разбудила Лелю. Когда поезд, прогремев по туннелям, вырвался, наконец, из желтых гор и как-то с размаху во всю свою даль и синеву развернулось море, Леля бросилась к окну, вскрикнула, потом оглянулась на мать, и в глазах ее Анна Петровна увидела неожиданные слезы.

А море росло вдали, туманное, как синяя туча. Над его синевой проступали нежные — золотые и розовые — облака, будто там, в небе, сверкала та сказочная страна, какую Леля только что видела во сне.

Анна Петровна с легкой грустью и вместе с тем с радостью смотрела на Лелю. Как она была хороша в своем смятении перед прекрасным и всегда необыкновенным зрелищем моря!

ПЫЛЬ

— Что такое земля, — это надо понимать. А понимание дается, конечно, опытом. Разная бывает земля. И по-разному она себя выказывает под резцом машины. Бывает такая земля, что даже скрепер с трудом ее берет, на что уж у скрепера толстый стальной нож. Например, красная здешняя глина. По ней пройдешь резцом, так она заблестит и заиграет, как зеркало. Хоть смотрись в нее и причесывайся. Не почва, а кирпич. Чтобы ее поднять, надо вперед пустить разрыхлитель — тяжелый барабан с шипами. Он ее разобьет, разроет, и тогда только можно идти по ней скрепером. Глина эта очень тяжелая, плотная, и даже удивительно, как это на такой почве вырастает трава.

Клава Гусева́ откинула со лба прядь волос и улыбнулась. Участники собрания — водители землеройных машин — тоже заулыбались, думая, что Клава скажет сейчас что-нибудь интересное. Но Клава, помолчав, сказала:

— Да разве это трава, товарищи! Это же не поймешь что! Одни занозы! Вот на моей родине трава — по самые плечи. Как зацветет, все глаза проглядишь!

— А ты сама откуда? — спросил из задних рядов черный юноша в пыльном берете.

— Из-под Калинина. Бывало, пошлет меня мать утром в луга за щавелем. В травах прохлада еще прячется. И еще не подобрало солнце росу. Так, правда, будто искупалась ты в этих лугах, как в реке.

— Лучше алтайской травы нету на свете, — сказал с места угрюмый водитель бульдозера. — Гущина́! Ма-

шины ее не берут, ломаются. Я сам две машины запорол на той алтайской траве.

— Гусева, ближе к делу! — недовольно крикнул экскаваторщик Прохоров. — У нас не вечер воспоминаний!

— А разве я не про дело говорю? — спросила Клава, и глаза ее сердито заблестели. — Скуку разводишь, Прохоров!

— Объясни, — насмешливо попросил Прохоров. — Не понимаю.

— И объясню, — ответила Клава. — Как раз вчера, к примеру, мы целину подымали на шестнадцатом участке. Там поблизости поселок. Ну, конечно, прибежали из поселка детишки, обступили машины. Глаза у них так и горят. Как огоньки, честное слово! Старшие держат на закорках младшеньких, чтобы и они видели, как мы работаем. Смеются. Да и как не засмеяться навстречу такой хорошей машине! Ну, конечно, и ты улыбнешься им в ответ, шутку какую-нибудь кинешь! Да! А Прохоров сидит на своем экскаваторе, как статуя. Лицо железное, и глаза деревянные. «Я, мол, при исполнении своих сверхответственных заданий. И у меня на сердце в таких государственных обстоятельствах ничего шевельнуться, конечно, не может». Так, поверите ли, вместо того чтобы посмеяться вместе с детьми, он взялся кричать: «Увести детей! Им здесь не место!» Стыд и срам, честное слово!

Водители засмеялись.

— Пустяками занимаешься, Гусева, — сказал ледяным голосом Прохоров. — Шутовством.

— Ну, уж это ты извини! — гневно ответила Клава. — Насчет пустяков. Я как посмотрю на эту степь, на эту сухость ужасную, так у меня каждый раз падает сердце. Как же, думаю, люди здесь до сих пор жили! Земля здесь как золото, только отняли у того золота блеск, а по-нашему сказать, воду. Нет! — Клава повернулась к Прохорову. — Смейся ты надо мной или не смейся, а я тебе скажу: наше дело такое, что его без сердца не выполнишь!

— Ты к характеру человека не цепляйся, если он исправно работает! — сердито закричал юноша в пыльном берете.

А Прохоров спокойно ответил со своего места:

— Ты, Гусева, поживи с мое, тогда на старшее поколение и наскакивай. А то хорохоришься на пустом месте!

— Ладно, ладно! — ответила Клава. — И про траву я вспомнила вовсе не зря. Надо ясную мысль держать в своей голове и вперед ее видеть и как бы воображать. Вот я и воображаю, как зацветет-заиграет эта степь, когда мы закончим канал. Что же касается вопроса о зимней работе, когда от мороза закаменеет земля, то без разрыхлителей с этой глиной не справишься. Каждым двум-трем скреперам нужно дать в подмогу по одному разрыхлителю и на этом настаивать. И про осеннее время есть у меня тоже одно маленькое соображение. Бывает, что тракторы буксуют в грязи на дне канала и никак не тянут за собой скрепера. Роешь гусеницами землю на одном месте, месишь ее, как тесто, без всякого толку. А время идет. Так вот я предлагаю в такую погоду брать трактор со скрепером на буксир второго трактора. Поставить второй трактор на сухом месте, зацепить буксующий трактор тросом и работать двойной тягой. Тогда дело пойдет.

— Это, пожалуй, верно, — сказал Прохоров, но его слова потонули в общем шуме одобрения.

Клава откинула со лба несносную прядь волос, подошла к открытому окну и села на подоконник. Из степи дуло теплым ветром. И тут только Клава заметила, что среди скреперистов сидит с каким-то незнакомым человеком начальник участка инженер Земляной. И услышала, как Земляной сказал незнакомому человеку:

— Девушка с характером!

Клава только повела плечами. Чудак этот Земляной! Хороший партиец и инженер, требовательный и знающий, но любит иногда разговаривать словами из кинокартин, опер и книг. Что это за привычка такая!

Действительно, инженер Земляной разговаривал именно так. Когда по утрам к нему сходились помощники с докладами о предстоящей работе, он встречал

их неизменным вопросом: «Что день грядущий нам готовит?»

Эта манера Земляного разговаривать настораживала новых людей. Но они быстро привыкали к ней, и она даже начинала им нравиться. Здесь не было и следа той сверхделовой сухости, которая, по мнению иных начальников, является единственным способом общения с людьми.

Пока Клава разглядывала сидевшего рядом с Земляным рыжеватого молодого человека в сером костюме и гадала, кто он такой, по комнате прокатился веселый гул: к столу продирался толстый и красный от негодования производитель работ на плотине товарищ Гармаш.

О таких, как Гармаш, принято говорить, что они «горят» на работе. И Гармаш в полном смысле этого слова горел. Он кричал, приходил в отчаяние, так же бурно радовался, тряс собеседника за плечи, жаловался и неистово требовал исключительного внимания к своему участку.

Маленькая порыжевшая кепка с пуговкой на макушке едва держалась на голове у Гармаша.

Гармаш снял кепку и швырнул на стол. От кепки поднялось облако пыли. Тогда Гармаш закричал:

— Товарищи! И, кстати, товарищ начальник!

Гармаш кричал, как в степи. Он привык надсаживать голос, чтобы перекрикивать грохот скреперов и экскаваторов.

— Я вас спрашиваю, товарищ начальник, может ли у нас на строительстве находиться человек без малейшего намека на совесть?

Гармаш в упор посмотрел на Земляного. Земляной только загадочно улыбнулся. Тогда Гармаш пришел в полное негодование и ударил кулаком по столу. Стакан на столе вздрогнул от неожиданности и звякнул, стукнувшись о графин.

— А такой человек определенно есть! — закричал Гармаш. — Есть! Такой, можете себе представить, бобик и доставало! Я говорю про товарища Зензинова, моего соседа по объекту. Поменьше бы таких соседей мне иметь в жизни, так я бы, может, прожил сто с небольшим лет. И не знал бы, почем кило лиха!

— На что жалуетесь, товарищ Гармаш? — невозмутимо спросил черный юноша в пыльном берете. Все рассмеялись. Но Гармаш юноше не ответил.

— Долги надо отдавать! — закричал он со слезой в голосе. — Долги! Мыслимое ли дело, чтобы я или кто другой занял у человека кровный рубль и отказался отдать! Да мне бы все вслед плевали, как самому последнему человеку на земле! А Зензинову все можно. Зензинов занял у меня еще зимой десять тысяч кубов привозного грунта. Крупнозернистого дубовского песка. Это же дефицитный материал, — вы понимаете. Взял этот песок из моей нормы. Занял и клятвенно обещал вернуть через месяц. И вот уже полгода, как не отдает. Да еще и прячется от меня, вражий сын! Вот и здесь, на совещании, я его что-то не вижу. А мне этот песок сейчас нужен для плотины, как воздух. Мне план надо выполнять или нет? Я вас спрашиваю, товарищ начальник.

— Еще как надо, — спокойно сказал со своего места Земляной.

— Так будьте настолько любезны, прикажите Зензинову вернуть мне песок. Вот, говорят, Зензинов — хороший производственник и общественный работник. Может быть, оно и так. Но прямо скажу, такого увертливого товарища я лицом к лицу еще не встречал.

Гармаш замолчал, отдуваясь.

— Так как же, товарищ начальник? — спросил он тонким голосом и просительно улыбнулся. — Какое будет ваше решение?

— Вы что же, — спросил Земляной, — хотите сказать, что Зензинов положил ваши десять тысяч кубов песка себе в боковой карман? Или они пошли в дело?

— Ну, ясно, пошли в дело. Кто же об этом спорит!

— Ну и баста! — решительно сказал Земляной. — Выполняйте план без расчета на эти кубы. Некогда нам сейчас заниматься отдачей долгов.

— Что же мне остается делать?! — горестно воскликнул Гармаш.

— «Пусть неудачник плачет, кляня свою судьбу». Знаете такое выражение? А кроме того, и первее всего

остается — работать! И наипаче всего не забывать, что вы с Зензиновым делаете одно дело. И что сотни лет люди бесплодно мечтали об этом канале. Понятно? Или нет?

— Понятно! — согласился Гармаш, виновато рассмеялся и надел пыльную кепку. — Мне просто было неловко, что меня Зензинов обкрутил, как цуцика. А работа за нами не станет, товарищ начальник.

— Это я знаю. Погодите, товарищ Гармаш. Здесь у нас гость из Ленинграда. Инженер Старостин. Он разрабатывает проект нового гидротехнического сооружения. Оно будет гораздо масштабнее нашего.

— Ого! — сказал кто-то в углу. — Нас перекрыть не так уж просто!

— Так вот. Товарищ Старостин приехал к нам, чтобы подробно ознакомиться со строительством и нашими способами работы. Для начала покажите ему плотину...

Земляной обвел глазами комнату и остановился на Клаве. Клава отвернулась и начала очень внимательно смотреть за окно, где как раз ничего интересного не было, а только стоял запыленный «газик» и шофер протирал его тряпкой.

— И товарищ Гусева тоже с вами пойдет, — сказал Земляной. — Так сказать, представительницей от передовых скреперистов. Ей это полезно!

— «Какой памятливый этот Земляной!» — подумала Клава и с благодарностью посмотрела на Земляного. Запомнил, как она ему говорила, что собирается после строительства учиться с тем, чтобы стать инженером-гидротехником.

Но вслух Клава сказала:

— У меня пропуска нет на плотину.

— «Разве для девушек двери затворены, входы заказаны?» — спросил Земляной. — Ничего! Устроим.

Когда Старостин, Гармаш и Клава вышли из длинного деревянного дома управления, к ним подошел сменившийся с работы подавальщик бетона Кондратий Сидоренко.

— Заранее извиняюсь за беспокойство, — сказал он, — но только разрешите и мне с вами пойти. Потому что я стариннейший здешний житель. Я в этих местах обитаю еще с той поры, когда люди и в уме не держали, что тут будет канал или орошение. Так что кое-что касаемо прошлого я тоже могу рассказать.

Старостин оказался человеком спокойным и молчаливым. Он только расспрашивал, но сам говорил мало. Улыбался он хорошо, немного застенчиво и был вежлив — всегда пропускал Клаву вперед. А Клава от этого очень смущалась.

Старостин расспрашивал Гармаша о плотине, новых способах бетонирования, о насосной станции и иглофильтрах, а Клаву — о работе скреперов. Клава удивлялась. Ей было совершенно ясно, что Старостин — крупный инженер и проектировщик — знает гораздо больше, чем Гармаш, а между тем он входит во все мелочи их строительной жизни.

Гармаш называл много цифр — просто сыпал ими, как горохом. Клава привыкла, что прорабы любят уснащать ими свою речь, и потому опять удивилась, когда Старостин намекнул, что с цифрами надо обращаться осторожно и тем осторожнее, чем более грандиозными числами мы оперируем в своих проектах и в работе.

— Ясное дело! — согласился Гармаш, хотя Клава была уверена, что он не совсем понял Старостина.

— А вот наш секретарь партийной организации товарищ Карпов, — сказала Клава, — человек по части цифр просто замечательный. Чуть что, сейчас же заглянет в свою записную книжку и так расскажет про цифры, что их потом всю жизнь помнишь. Он недавно подсчитал, что семнадцать человек экипажа большого шагающего экскаватора за первый год работы вынули столько земли, что семнадцати простым землекопам понадобилось бы для этого пятьсот лет.

Клаве Старостин понравился еще и тем, что замечал вокруг все интересное — не только сооружения и машины.

Когда они стояли на плотине, Старостин, глядя, как солнце спускается к краю степи и весь запад горит золотым сиянием, сказал:

— Смотрите, как хорошо! Какая сила света!

Гармаш заметил, как бы извиняясь, что свет несколько мутноват по той причине, что над строительством висит пыль, а Клава закивала и заулыбалась. Действительно, очень хорошо было сейчас в степи. Стрелы экскаваторов чернели на полосе заката, как мачты океанских кораблей. А Сидоренко вежливо покашлял и заметил:

— Свет по степу льется широко, без всякого препятствия. Солнце покамест за день всю степь обойдет, так, надо думать, совсем притомится.

Старостин засмеялся и начал расспрашивать Сидоренко о его жизни. Гармаш попрощался и ушел, а Клава осталась. Тогда Сидоренко, наконец, решился и пригласил Старостина и Клаву к себе. Хата Сидоренко стояла на склоне балки, на окраине степного поселка.

Старостин согласился, и они пошли к поселку целиной. Небо гасло, лиловело. От степи пахло чабрецом, и кое-где уже проступали из глубины меркнущего неба огни созвездий.

В хате Сидоренко среди комнаты стояло в кадке, касаясь ветками потолка, раскидистое дерево с бледными листьями — «китайка».

Старуха, жена Сидоренко, тихо улыбалась, поглядывая на гостей, и все расправляла складки на вышитой крестиком скатерти на столе, гладила скатерть сморщенной загорелой рукой.

— Дети наши, — сказал Сидоренко, — разлетелись по всему советскому свету, но, однако, теперь обратно тянут до дому. Как узнали, что будет в нашей местности канал. Вот вы спрашиваете меня про мою жизнь. А чего я могу рассказать, хоть мне и шестьдесят лет? Как на степу не на что кинуть глаз, так и в жизни моей ничего особого не было. Сеяли, сажали, поливали через силу огороды водой из криницы, пока она к половине лета начисто не высыхала. Жара и жара! Бывало, по три месяца ни одной хмары на небе не

увидишь, — одно это солнце. И ветер дует и дует, как поденщик какой-нибудь. Тут ветер ударно работает. Вот посмотришь на землю, как она лопается от сухости, поглядишь, как лист посредь лета жухнет и спадает, копнешь корешок, а он уже весь сморщился, и думаешь: «За каким чертом я тут мучаюсь! Неужели нет лучших местностей на земле? Чем я виноват, что мой батько выбрал это место для обитания?» Земля здесь, правда, хорошая, плодородная. Это верно. Только надо ее водой пропитать. А воды тут не было, извините за неподходящее слово, с самого сотворения мира. Волга рядом, Дон рядом, а ни тебе реки, ни тебе капли дождя. Правда, течет тут одна слабосильная речонка. Так к лету от нее остаются одни лужи. И смех и грех! Вот какая была наша жизнь. Цыгане — на что дерзкий народ — так и те здесь не кочевали. А как задует суховей — «астраханец», — хоть кидай все и тикай, куда глядят очи. Бьет песком и бьет. Верите ли, хату иной раз засыплет по самую завалинку. Колос из земли выдует, вырвет, спалит. И нет тому ветру конца. Ночью приткнешься, заснешь, — как будто полегчает. А утром пробудишься и слышишь: шумит и шумит проклятый. А за окнами муть. И стоит в той мути красное солнце и смотрит, как коршун, одним своим злым глазом на ту несчастную степь.

Сидоренко рассказывал, а старуха все гладила черными руками скатерть и только иногда кивала головой, соглашаясь со словами мужа.

Старостин смотрел на ее узловатые пальцы, и ему казалось, что они высохли от суховеев так, как перегорают от этого ветра листья. А когда-то это, наверное, были спорые, красивые руки.

Пустыня шла сюда годами и столетиями с востока, вздувая багровые, как солнечные протуберанцы, языки пыли. Пустыня наглая, безнаказанная, зловещая и убивающая все живое. «Одного только она не смогла уничтожить, — подумал Старостин. — Вот этих людей и их волю к труду, к созиданию».

Все сидели молча, задумавшись. Старостин почему-то вспомнил в этой низкой мазаной хате светлый

зал своего конструкторского бюро, туманное небо над Невою, карты и чертежи — точные и проверенные до последнего миллиметра.

Сидоренко осторожно скручивал папиросу из темного табака и смотрел себе под ноги. Клава, взволнованная всем, что сегодня происходило с ней, рассматривала старый номер «Огонька» на столе. Она боялась поднять глаза, чтобы, чего доброго, Старостин не подумал, что она украдкой его разглядывает. А Старостин смотрел за окно, где в темноте вспыхивали и гасли зарницы.

— Одной только жалостью, — вдруг тихо сказала старуха и улыбнулась, казалось, морщинками около глаз, — я и жизнь выжила в этом тяжком степу. Кондрата мне было жалко. Куда ему было с этих мест подаваться? А я уж с ним как была молодая, так и до сей поры — всегда заодно. А вот детей я не жалела. Любить любила, а чтобы жалеть, так этого у меня не было. У них, у детей, дорога вольная. Им с нами не жить. Трое у нас было детей. А четвертый — хлопчик — умер тому уже двадцать годов.

— Ну что, мать, — промолвил Сидоренко, — ворошить перед людьми свое старинное горе. Ни к чему это получается.

— Я ж не знаю, — виновато ответила старуха. — Может, ни к чему. А может, и к чему. Пусть люди сами рассудят.

— А вы рассказывайте, — сказала Клава. — Вам от этого будет легче.

— Разве что так! — согласился Сидоренко.

— Да как рассказывать? Я сама вышла сюда из-под города Таганрога, с Азовья. Места у нас морские, веселые. От этого мне тут еще горше было, чем какой другой женщине. У нас под Таганрогом всюду коло хат цветы сажают — барвинки, табак, подсолнухи. Такой еще есть низенький подсолнух, не полевой. Его только для красоты и сажают. Вот и хлопчик наш был, как тот цветок. Веселый был хлопчик и легкий, как ветерок. То он тут, то там — никогда его нету в хате. И все чего-то звенит да стрекочет, все ему надо знать. Не тут бы ему жить, а там, под Таганрогом,

у моря. Да не наша на то была воля. Из-за одного хлопчика хозяйство не кинешь! А в тот год ударил такой суховей, какого люди давно не видали. Голодуху по всему степу разнес, как черную пыль. Криницы посохли. Мы в то лето одну грязь, а не воду в ведрах до хат приносили. И занедужил мой хлопчик. От пыли. Воспаление у него в груди началось.

— Пыльная пневмония, — сказал Старостин.

— Многие от той пыли болели и выживали. А он сгорел у меня за двое суток. Кондрата дома не было. К вечеру второго дня схватила я хлопчика и кинулась на Кривую Музгу. Там, говорили, доктор жил, на Кривой Музге. Песок несет круг меня — ничего не видно. Ветер свистит в сухом бурьяне. И уже темнеет на небе. Я бегу, не пойму, что делается. А тут еще ударило с неба громом и пошло полыхать. А дождя нет и нет. На степу уже ночь, и як ударит молния — блискавица, — так кругом вижу одни белые дороги. И ведут те дороги в разные стороны. Я бегу с одной дороги на другую, совсем я стала беспамятная. Не знаю, куда кинуться. Сама уже вижу, что блукаю. Остановлюсь, послухаю, дышит ли хлопчик, и опять бегу. Так и промоталась по степу, покамест не розвидняло. Солнце поднялось за пылью. А хлопчик уже и не дышит. Глянула я кругом — не узнаю местности. В степу все видится одинаково.

Заховали мы его вот тут, — старуха кивнула за окно. — Там курган, и на том кургане растет кусточек. Один кусточек в пустоте. А года два назад ходили тут изыскатели — мерили землю, метили, где будет канал, где плотина, а где озера. И был с ними один человек, вроде как ихний начальник. Седой, небольшого росточка, в очках, и глаз у него был строгий, всевидящий. Пришел он как-то утречком до нашей хаты и говорит: «Это на степу, часом, не ваша могилка?» Ну, мы ему все объяснили. «Так вот, — он говорит, — перенести ее надо. Потому, что то место, где она находится, уйдет под воду. Там, говорит, будет водохранилище». Кондрат было собрался переносить, а я сказала, что на это не согласная. Пусть наш хлопчик лежит, как лежал. И пусть над ним разольется то

озеро. Пусть плещет над ним та светлая вода, что даст людям хлеб. А что не будет на его могилке имени, так что ж! Тут по степу после войны есть столько таких солдатских могил! Кто их знает, как звали тех солдат. А все одно — те могилы для нас свои.

Старуха замолчала. Сильнее мигали за окном зарницы, и где-то вдалеке пели девушки. Голоса их не приближались и не удалялись. Должно быть, девушки сидели на завалинке, смотрели, как вспыхивают в степи размытые небесные огни, и пели. И песня была старая, всем знакомая:

Нас утро встречает прохладой,
Нас ветром встречает река...

ПЕРВЫЕ ЛИСТЬЯ

Сталинград подымается среди бурых степей своими зданиями, аркадами, башнями, колоннами и вышками так легко и так ослепительно, что невольно кажется, будто он строится заново после войны из окаменелой морской пены. В просторах его новых улиц и проспектов лежит широкими срезами белое солнце, и рядом с ним — прохладная тень, насыщенная запахом цветов, вьющихся по стенам и балконам.

Бронзовый советский солдат в развевающейся плащ-палатке грозно поднимает руку на высокой гранитной колонне, как бы кладя предел движению врага на нашу землю. Раннее солнце горит на бронзовой руке солдата, тогда как город еще погружен в утренний сумрак и шум листвы.

В Сталинграде я встретился с одним угрюмым лесоводом.

Участок лесовода был расположен к северу от Сталинграда, около Дубовки. Мы условились поехать туда и встретиться для этого на окраине города, за Тракторным заводом, около брошенного немцами автобуса «Париж — Руан».

Странно было видеть этот автобус у берегов Волги. Он стоял здесь как символ разгрома фашистских армий.

Я ждал лесовода и смотрел на длинный дым сталинградских заводов. Дым уходил в степь. Его отжимал от города тот ветер, что издавна зовется здесь «сталинградским дождем». Он действительно шумит песком по крышам, как дождь.

Лесовод подъехал на «газике». Автобус «Париж — Руан» не произвел на него никакого впечатления: он видел его уже десятки раз.

Судя по всему, этот человек принадлежал к категории «профессиональных ворчунов». Он тотчас пожаловался мне, что для лесных посадок прислали желуди с Украины, из-под Белой Церкви. Все это хорошо, но лучше было бы присылать желуди не с Украины, где дубы растут во влажном и мягком климате, а из тех мест, где климат похож на здешний. Например, из Борисоглебска или из воронежских дубрав. А то этим украинским дубкам приходится туго в здешней безводной и обдуваемой ветрами степи.

— Если говорить по правде, — сказал лесовод, — то я боялся, что не выживут дубки в этой степи. Очень уж тяжелая степь. Прямо зловредная степь, если говорить откровенно. И к тому же никогда, даже в доисторические времена, при Тмутараканском царстве, дуб здесь не рос. Не рос и не рос! Что бы мне ни говорили ботаники, все равно не поверю. Я копался во всех исторических материалах и ничего не нашел. Так что те дубы, какие вы будете сегодня созерцать, — первые в этих местах еще с тех времен, когда геологически образовалась эта степь. Это прошу помнить. Пионеры, а, между прочим, герои!

— Почему герои?

— Сами увидите.

«Газик» бежал по гребню между степью и Волгой. Два мира, две разные карты земли лежали рядом. С левой стороны скучная степь с крутыми суглинистыми обрывами балок, с высохшей, несмотря на весеннее время, травой, с утомительным, плоским горизонтом. Кое-где на клочковатой траве из земли, похожей на облезлую щетку, где мало уже осталось щетины, торчали разбитые танки и остовы сгоревших грузовых машин. Над оврагом белела среди груды

битого кирпича сквозная от пробоин колокольня.

А справа, глубоко внизу, мощно лилась Волга. Ветер гулял тусклой рябью по ее воде. Противоположный берег Волги был сплошь кудрявый от кустарника.

Лесовод вытащил из кармана черной пыльной куртки сложенную во много раз карту, развернул ее и показал мне линии недавно посаженных лесов. Две зеленые лесные полосы Саратов — Астрахань и Камышин — Сталинград, изгибаясь по водоразделам и обходя овраги, тянулись на карте с севера на юг.

«Газик» проскочил через скучный посад Дубовку и ушел в сторону от большака. Я нетерпеливо ждал появления лесных полос.

Еще в детстве я постоянно слышал, что одно из самых благородных дел, какие совершает человек на земле, — это насаждение лесов. Я помнил наизусть слова Чехова о лесах, вложенные писателем в уста доктора Астрова:

«Леса учат человека понимать прекрасное и внушают ему величавое настроение. Леса смягчают суровый климат... Когда я слышу, как шумит молодой лес, посаженный моими руками, я сознаю, что климат немножко и в моей власти и что если через тысячу лет человек будет счастлив, то в этом буду виноват и я».

Но в детстве мне не привелось видеть настоящих лесов.

Впервые я увидел те леса, что зовутся дремучими, заповедными и корабельными, только в юности. С тех пор их величавость, могучая растительная сила, свежий шум и целебный воздух так завладели моим сердцем, что к каждому дереву я начал относиться почти как к живому существу.

Я напомнил лесоводу о Чехове.

— Да что там Чехов! — ответил он недовольно. — Читал я «Дядю Ваню». И даже видел на сцене у нас, в Пензе. Не люблю я у Чехова прекраснодушных разговоров, не в обиду будь ему сказано.

До встречи с лесоводом я ни от кого не слыхал таких слов о Чехове. Я возмутился и собрался обру-

шиться на него. Он, очевидно, понял это. Но тут что-то случилось с машиной. «Газик» остановился, и шофер полез ковыряться в моторе.

— Пойдемте вперед, а он нас нагонит, — предложил лесовод.

Мы вышли из машины и пошли по необыкновенно широкой пыльной дороге. Под ногами все время что-то трещало.

— Вы извините, — сказал я, — но все, что вы говорили о Чехове...

— Знаю, знаю, — недовольно перебил меня лесовод. — Погодите!

Он нагнулся, засунул широкую руку в пыль, вытащил горсть каких-то камешков, подул на них, вытер рукавом и протянул мне:

— Полюбуйтесь!

На ладони у лесовода лежали четыре черные разъеденные ржавчиной пули.

— Тут их миллионы! — сказал лесовод. — Я сам тут сражался, только немножко южнее. Здесь пуль посеяно больше, чем наших желудей. Если бы из каждой пули или осколка выросло дерево, была бы тут непроходимая тайга. А что Чехов? — вдруг сказал он, раздражаясь, без всякой связи с тем, что говорил недавно. — Никто не говорит, что он плохой писатель. Наоборот, великолепный! Только в те времена все это было, извините, маниловщиной — все эти разговоры Астрова о лесах. Обещать измученным людям прекрасное будущее через тысячу лет! Да на кой ляд оно им тогда будет нужно! Астров сам-то толком не знал, как это будущее добыть. Ты не сули мне счастья! Ты скажи, как и где его взять. Леса! Только сейчас мы можем сажать леса на тысячи километров. И имеем право говорить об этом мы, а не Астров. И обещать людям прекрасное будущее тоже имеем право только мы. А у Астрова не было для этого серьезных оснований. Не было! Я мужик из-под Пензы. Поэтому извините меня за грубость. Иначе я не могу. Говорю, что на уме, — и все! Меня леса научили понимать, что не нужно себя жалеть, если хочешь их вырастить в

полную силу, на полный, как у нас говорится, бонитет. А о прекрасном мы погодим разговаривать.

— Это почему же?

— А зачем? — спросил в свою очередь лесовод. — По сути дела, об этом и говорить не стоит. Оно и так понятно. Без словопрений.

Духота заполнила вплотную все пространство между землей и небом и не оставила ни одного глотка свежего воздуха.

Шофер догнал нас, и мы сели в пахнущую горячим бензином машину. Лесовод молчал и курил. Я тоже молчал и не смотрел по сторонам.

— А ну-ка останови, Вася, — сказал лесовод и повернулся ко мне. — Вот, пожалуйста! Первая лесная полоса.

Он вылез из машины и, не оглядываясь, тяжело пошел вперед.

До края земли, взбегая на увалы и спускаясь с них, тянулась, как зеленоватая река, широкая полоса молодых посадок. Но это не были дубки. Это были акация и татарский клен.

— Нагнитесь! — сказал мне лесовод. — Тогда увидите дубки. Они еще маленькие. А татарский клен и акация — это их охрана от солнца.

Я нагнулся до самой земли. Нагнулся и лесовод. Тогда стали видны как бы длинные красновато-зеленые шнуры, протянутые между акацией и кленом. Это были ряды молоденьких — в три-четыре листика — дубков.

Лесовод присел на корточки и поковырял землю перочинным ножиком.

— Видали? — сказал он. — Это же обожженная глина. Без единой капли воды. И все-таки растут. Растут дубочки, дружки мои милые!

Он неожиданно широко и застенчиво улыбнулся и удивительно осторожно для его больших, грубых пальцев дотронулся до тоненького, как былинка, совершенно детского ствола маленького дуба с прозрачными от молодости листочками. Улыбнулся и шофер. Он тоже сидел на корточках и рассматривал молодые дубки.

— Успокоились теперь, Степан Сидорович? — спросил он.

— Успокоился. Теперь знаю: выживут. Выживут, молодцы, герои!

Лесовод повернулся ко мне.

— Ведь это же что такое! — заговорил он быстро и возбужденно. — Камень, ни капли дождя, ветры. Солонцы наседают со всех сторон. Я как приехал, посмотрел — и пал духом. Какой, думаю, может быть разговор о дубках! Только желуди зря будем жечь в этой почве. И вот видите — выжили! Разве же это не герои! Ведь детвора! Первые три года они и расти даже не смогут, а будут только укореняться в земле.

— Через сколько лет эти посадки будут настоящим лесом? — спросил я. — С тенью, с подлеском, с грибным запахом?

— Ишь чего захотели! Когда сомкнутся кроны, не раньше. Лет через сорок.

— Так на какой же ляд, как вы недавно выразились, вам эта работа? Если вы, может быть, не увидите ее плодов.

— Мы не только для себя стараемся, а еще и для будущих поколений, — строго ответил лесовод.

— То же самое астровское счастье?

— Ну, знаете, — ответил лесовод и усмехнулся. — Есть разница. Мы работаем, а Астров декламировал.

Он искоса, как птица, посмотрел на меня и спросил шофера:

— Гипсу сколько привезли? На базу?

— Да тонн десять, не больше.

— Ерунда! Детишкам на молочишко не хватит. Ну, поехали дальше.

В машине лесовод сказал:

— Вот вы собираетесь, кажется, писать о лесных полосах. Читал я всякие такие вещи о нашем деле, да толку от этих писаний пока что маловато. Восторгаться легко. Ваш брат-писатель любит восторгаться, а мы пока что без гипсу здесь мучаемся. С солонцами мы боремся гипсом. Разбрасываем его по солонцам. Гипс съедает соли. Ну-ка, Вася, остановись! Вон, ви-

дите, дикая груша цветет в балочке. Пойдемте посмотрим.

Мы подошли к дикой груше. Разлапистая и низкая, она шумела по ветру всеми листьями, трепетала всеми белыми душистыми лепестками, но ни один лепесток не оторвался и не улетел, хотя ветер был упругий и сильный. Шершавый ствол дикой груши казался бронзовым. Груша стояла совершенно одна в голой степи. Насколько хватал глаз, не было видно ни одного кустика.

Лесовод похлопал ладонью по груше, и ее ствол чуть зазвенел.

— Приятельница моя! Видите, какая! Будто из высококачественной стали. Не сдается. Вот и моим дубкам придется выработать в себе ее железные качества.

Лесовод прислушался.

— Летит, — сказал он. — Летит наш Михалыч!

Из-за увала вынырнул, лениво погромыхивая мотором, маленький самолет, «огородник». Он шел низко над лесной полосой, изредка виляя от порывов ветра, и густой струей выбрасывал на землю зеленоватую пыль.

Самолет пролетел над нами. Летчик обернулся и помахал рукой.

— Здорово, Михалыч! — закричал лесовод. — Залети на четвертый участок! Четвертый! Понятно? Чет-вер-тый!

Летчик, конечно, ничего не расслышал. Тогда он повернул самолет и снова низко прошел над нами. Лесовод четыре раза махнул ему рукой. Летчик в ответ поднял руку.

— Вот и договорились, — сказал с облегчением лесовод. — Он отравленный овес разбрасывает по полосе. Против сусликов и тушканчиков. А они, дьяволы, все на четвертом участке сбились. И что их туда манит, не пойму.

Весь день до сумерек мы провели на лесной полосе. Там, где не было солонцов, посадки разрастались сочные и густые. На солонцах они были еще слабенькие и редкие. И каждый раз, увидев солонцы, ле-

совод вздыхал, сердился и поминал недобрыми словами какого-то работника из министерства, который «ни черта не понимает и ни черта не хочет понимать».

Впечатление было такое, будто именно этот работник целиком виноват в том, что глина в степи покрыта местами серой пленкой соли. А он, пренебрегая солонцами, беззаботно ездит на службу в комфортабельных троллейбусах, а по вечерам даже позволяет себе ходить в театр, может быть, даже в балет. И это все, конечно, — сплошное безобразие.

— Видите, какие солонцы, будь они неладны! О чем они только думают там, в министерстве? Где гипс? Мы им писали и людей посылали, и гипс все равно отпускают нам, как из аптеки. По граммам. Внутрь его будем принимать, что ли? Вместо витаминов.

Шофер усмехнулся. И я понял, что, сколько бы ни прислали сюда гипсу, лесовод все равно будет шуметь и ругаться, что ему ничего не дают и режут на корню всю его работу. Он был жаден до всего, что могло пригодиться, хотя бы в малой степени, для его лесных посадок.

Вечером мы приехали на самый отдаленный участок, где лесовод решил заночевать. Там степь была веселее. Среди пологих холмов даже блестел пруд. В пруду этом отражался закат.

На берегу пруда сидел с удочкой мальчик лет восьми, а рядом с ним лохматая рыжая собачка с настороженными ушами. Когда машина остановилась и мы вышли, собачка испуганно взвизгнула и помчалась, поджав хвост, к деревянному вагончику. Он стоял в степи, невдалеке от пруда. В этом вагончике жили работники участка.

Мы подошли к мальчику. Он вынул из воды удочку, встал и, обдернув рубашку, смущенно с нами поздоровался.

Глаза у шофера Васи хищно блеснули. Он тотчас взял удочку, поплевал на червяка, закинул и, нагнувшись, чтобы видеть поплавок на светлой полосе отраженной зари, замер. Мальчик с тревогой посмотрел на шофера, потом на нас.

— Не журись, Степа! — сказал шофер, не оглядываясь. — Сам ловишь тут с утра до самой ночи, так дай и другим товарищам половить. Будь человеком!

— Да ловите себе, пожалуйста, — вежливо ответил мальчик, но губы у него задрожали. — Только у меня последний крючок. И леска старая.

— Ну что ты? Разве последний? — спросил лесовод и с сомнением посмотрел на мальчика. — А я, понимаешь, иду сегодня по улице в Сталинграде и вижу: валяется на тротуаре вот такой пакетик, совсем маленький.

Лесовод вынул из кармана пыльной куртки небольшой пакет.

— Я его и подобрал. «Что там, думаю, может быть?» Развернул и вижу — сорок крючков окуневых золоченых, четыре лески из сатурна и десять перяных поплавков. «Что же, думаю, делать? Хозяина все равно не найдешь: Сталинград — город огромный». Ну и взял. Решил, может быть, пригодится. Бери, не стесняйся.

Мальчик взял пакет, развернул его, и все маленькое веснушчатое лицо его вдруг залилось румянцем. В пакете были, должно быть, действительно волшебные вещи для рыболова. А шофер только помотал головой, сказал: «Ну и ну, Степан Сидорович!» — и издал неопределенный, странный звук, отдаленно похожий на смех.

— Ты чего? — строго спросил лесовод.

— Придумщик вы, Степан Сидорович! Ей-богу, придумщик!

— Смотри! — грозно сказал лесовод. — Дорвался до своего клева! Завтра в пять выезжаем. Имей это в виду!

— Ладно! — ответил шепотом шофер, вытянулся так, что казалось, он вот-вот свалится в воду, и затих. Потом он резко подсек, сказал: «Ага, есть!» — и вытащил на берег линя величиной с ладонь.

Мы пошли к вагончику. Мальчик пошел вместе с нами. Сейчас у него горело от волнения не только лицо, но даже шея и руки. Пакет со снастями он дер-

жал обеими руками. Так носят пойманных маленьких птиц.

На высоком пороге вагончика стояла черная от загара молодая женщина в синей робе. Мальчик уткнул ей голову в колени, а женщина, смеясь, потрепала его по волосам, протянула мне руку и сказала:

— Некрасова.

Потом она обернулась к лесоводу и спросила:

— Были на посадках?

— Были. Вот показывал ваш участок леса товарищу литератору. Одобряет. И даже весьма.

Я вдруг сообразил, что вокруг был действительно лес. Я вспомнил его едва заметный шелест. Первый шелест леса в степи. Вспомнил, что сейчас, к вечеру, от лесной полосы вдруг потянуло свежестью, едва уловимой и неясной, как запах где-то далеко выпавшего дождя.

Мы вошли в вагончик. Женщина, зажигая керосинку, чтобы вскипятить нам чай, сказала:

— Спасибо вам за книги, Степан Сидорович. Особенно за вашего любимого Чехова. Я его давно не перечитывала.

Лесовод покраснел, искоса взглянул на меня и пробормотал:

— Ну, ладно! Пока вы тут будете хозяйничать, я пойду на пруд выкупаюсь. А то пропылился насквозь.

Лесовод вышел. Я с невольной симпатией посмотрел ему вслед. В степи быстро темнело. И все ярче проступала на небе звездная карта.

ЦВЕТ ЗАСУХИ

Каждый раз, возвращаясь ночью с участка, Земляной брился, принимал душ и, растираясь мохнатым полотенцем, говорил Старостину:

— Ну ж был денек! Сквозь дым летучий машины двинулись, как тучи, и все — на новый шлюз!

— Почему вы всегда бреетесь ночью? — спрашивал Старостин.

— Утром некогда, — отвечал Земляной. — Кроме того, я бреюсь каждый день потому, что младенческие времена строительства давно канули в вечность. Вы еще мальчик. Вы не помните первых строек в нашей стране. Они были на заре вашей туманной юности. А если бы вы помнили их, то могли бы сделать много поучительных выводов. Первые строительства напоминали первозданный хаос. Бараки с размытой дождем штукатуркой и вытоптанная земля. И было, между прочим, совершенно непонятно, как из этого хаоса, из размолотых грузовиками гор глины, из куч строительного мусора, из курганов извести и навалов щепы, из ржавой проволоки, досок, облитых мазутом, и невероятной путаницы ям появлялись строгие здания заводов и городов. Уборки было, пожалуй, столько же, сколько и строительства. Вот как обстояли дела, молодой человек! А пройдите сейчас по строительсгву. Что вы увидите вместо бараков? Чудесные, уютные дома. И клумбы цветов. Если бы моя воля, то я даже временные товарные склады и бетонные заводы построил бы в том же южном, жизнерадостном стиле, как и эти дома. На строительстве нужен корабельный порядок. Нужна чистота. Это, между прочим, сразу же сказывается на темпе работы. Человек не теряется и не раздражается от беспорядка, от вида всклокоченной земли. И сам он не должен быть всклокоченным. Так что вы к моему еженощному бритью не придирайтесь. Кто-то мне рассказывал, будто один большой писатель, не помню кто, да это и не суть важно, не мог сесть за письменный стол, не выбрившись и не вымыв тщательно руки. Я это понимаю. Наша жизнь — работа. Что же получится, если мы будем работать среди мусора? Кстати, вы интересуетесь только плотиной и дренажем и еще не осмотрели как следует мой поселок. Завтра я его вам покажу.

Старостину нравился Земляной. Он всегда был подтянут, выбрит и даже элегантен. О своих личных делах он говорил мало, да ему и некогда было об этом говорить. Все свободное от строительства время (а времени этого почти не было) Земляной тратил на шумные споры. Старостин знал только, что Земляной

не женат и что у него есть сестра-певица. Возможно, что этим и объяснялось пристрастие Земляного к оперным ариям и музыке.

В комнате его вперемежку с книгами о гидродинамике, бетоне, подпочвенных водах, о расчете плотин и кальками валялось множество нотных тетрадей, а на стене висела гитара.

На следующий день Земляной взял Старостина с собой на участок.

Прежде всего Земляной показал Старостину ближайший поселок на стрелке между каналом и будущим водохранилищем. Поселок был действительно великолепно построен. Но Земляной не дал Старостину возможности высказать свое восхищение. Он сам восхищался и радовался совершенно по-детски, искренне и шумно.

— Вы поглядите! — говорил он Старостину. — Как они сверкают, все эти поселки, когда подъезжаешь к ним из степи! Как грядки белых и красных цветов! Белые стены! Красные черепичные крыши! Какой легкий орнамент! И какие светлые террасы с колоннами! Мы в этих домах только гости. Когда окончим строительство, здесь поселятся работники канала, речники. Завидую им! Если у меня будет хоть небольшой перерыв между Волго-Доном и работой у вас в Сибири, то я как-нибудь исхитрюсь и поживу здесь месяц-другой, в этих поселках. Отдохну.

На террасу одного из домов вышла молодая женщина с тазом мыльной воды в руках. Она выплеснула воду на землю и случайно облила стену дома. Земляной остановился и пристально посмотрел на нее. Женщина улыбнулась Земляному.

— Зря вы улыбаетесь, товарищ Петухова, — сказал Земляной. — Совершенно нечему, по-моему, улыбаться. Особенно вам, молодому технику. Посмотрите на стену около себя. Сами строите и сами же портите!

Женщина обернулась. Стена была залеплена хлопьями крутой мыльной пены.

— Я сотру, — сказала женщина виноватым голосом. — За всем не уследишь. Тот, кто будет жить

после нас, наведет красоту. А нам некогда этим заниматься. Мы люди рабочие.

Земляной вспылил.

— Конечно, вы думаете, что я придираюсь, — сказал он. — Хорошо! Пусть будет так! Мы вообще привыкли оправдывать свои недостатки тем, что после нас, мол, придут другие, лучшие люди. А мы работаем на них, и нам не очень-то нужно за собой следить. Мы вроде как чернорабочие. Все это вздор и галиматья! Будущее, будущее! Все вы любите петь, что работаете для будущего человека. И забываете, что вы сами уже люди этого будущего. Как же вы думаете, товарищ Петухова, будущему человеку мы построим дворцы, а сами будем жить в тесноте и беспорядке? Нет уж, извините!

Земляной долго не мог успокоиться. Когда он сердился, то делал вид, что ничего не понимает, и придирчиво переспрашивал собеседника об одном и том же по нескольку раз.

Так было и сейчас. Около бетонного завода к Земляному подошел инженер с соседнего участка и очень вежливо попросил, чтобы Земляной одолжил из своих запасов электрический кабель какого-то редкого сечения. Земляной так долго и испытующе смотрел на инженера, что тот покраснел. Тогда Земляной сказал раздельно и медленно:

— Не по-ни-маю!

— А я не понимаю, что в нашей просьбе непонятного! — ответил, раздражаясь, инженер.

— Не по-ни-маю! — повторил Земляной. — Каждый день на строительство приходит восемьсот вагонов со всякими материалами и оборудованием. Восемьсот вагонов! Во-семь-сот! А вы побираетесь. Действовать надо, товарищи, а не мямлить. Действовать! Слышали такое русское слово? А в общем, так и быть, присылайте машину. Я дам вам этот кабель. Но только потому, что с удовлетворением замечаю, как на вашем участке декада спячки сменяется декадой раскачки.

Инженер сухо поблагодарил и ушел, пожав плечами. А Земляной сразу успокоился и сказал Старостину:

— Строительство — это вам не конструкторское бюро с видами Сухуми на стенах. Проектировать — одно дело, а осуществлять — это, пожалуй, посложнее. Там вы орудуете точными цифрами, ясными научными положениями, своим воображением конструктора и инженера. А здесь вы имеете дело с живым и разнообразным материалом — с человеком. Так-то, дорогой мой!

Земляной и Старостин шли к плотине и насосной станции вдоль уже готового и облицованного донецким камнем канала.

Старостин прикинул на глаз его глубину, и ему вдруг нестерпимо захотелось сейчас же увидеть на месте этого сухого русла глубокую и чистую воду. Воду там, где желтела на дне канала сухая глина и скреперы срезали последний, узкий гребень земли, тянувшийся по этому дну.

— Вот здесь будет урез воды, — сказал Земляной, нагнулся и провел ребром ладони по камням. Пыльный камень поблескивал на солнце крупинками синеватой слюды.

— Скорей бы! — ответил Старостин.

Палящая жара простиралась над степью. От нее перегорали все краски — синева неба, свежая зелень травы — и оставался вокруг только цвет засухи. Только вода — чистая, бегучая, прохладная и обильная — могла спасти эту жаждущую землю. Как хорошо будет присесть вот здесь, у края воды, опустить в нее руки и чувствовать, как она медленно охлаждает жар перегретого тела! И ощущать у себя под руками, как некое чудо, сырую землю.

Старостин посмотрел вдоль канала. Он возникал из полуденной мглы и снова уходил в нее. Он напоминал ложе большой и высохшей пустынной реки.

Вдали, на дне водохранилища, кильватерной колонной шли, пыля и лязгая, скреперы. Они прорывали в этом еще сухом дне будущий фарватер для пароходов.

Земляной и Старостин пошли к скреперам. Тяжелые тракторы тащили за собой машины, похожие на

огромных бронированных жуков. Широкий нож скрепера резал грунт. Давление от хода машины подымало срезанный грунт по лотку в большой ковш скрепера. Набрав землю, скрепер уходил в сторону и высыпал ее вдалеке от выемки.

Пыль сгущалась. Грохот тракторов и скреперов перешел в непрерывный железный гром. Старостин увидел Клаву. Она вела скрепер, подавшись вперед, прищурившись и закусив губу.

— Посмотрите, как работает наша Клава, — сказал Земляной. — Станем здесь, чтобы она нас увидела.

Они остановились в двух-трех метрах от полосы, по которой Клава, как по шнурку, ровно и легко вела скрепер. По выемке, остававшейся в земле от ножа ее скрепера, было видно, что Клава берет землю уверенно и очень точно.

Скрепер Клавы прошел около Земляного и Старостина, обдал их пылью и бензиновым дымом, но Клава не заметила ни Земляного, ни Старостина. За скрепером Клавы шли впритирку, ревя и надсаживаясь от натуги, остальные.

— Вот размазня! — сказал Земляной.

Старостин с удивлением взглянул на него. Земляной внимательно и насмешливо смотрел на потного низенького водителя, который перевернул на повороте скрепер.

— Вот разиня! — повторил Земляной и пошел к перевернутому скреперу. Старостин пошел следом за ним.

Но пока они подходили, Клава быстро подвела к перевернутому скреперу свою машину, соскочила, накинула стальной трос на крюк лежавшего на боку скрепера, быстро села к себе в кабину, дала ход и ловко и бесшумно, даже не очень напылив, подняла и поставила скрепер.

— Отцепляй! — крикнула она низенькому скреперисту и тотчас повела свою машину навстречу Земляному и Старостину.

Скрепер Клавы во второй раз поравнялся с Земляным и Старостиным.

Она неожиданно обернулась и увидела их. Внезапное удивление в ее темных больших глазах тут же сменилось открытой и сверкающей улыбкой.

Машина рванулась в сторону, но Клава удержала ее, снова оглянулась и приветственно подняла руку.

— Ну и прелесть же скреперистка! — повторил Земляной. — Таких бы тридцать скреперисток на участок, так я бы не знал никаких земных огорчений.

НЕКОТОРАЯ ПОМОЩЬ

Уже вторую неделю стояла удивительная погода. С половины ночи небо затягивалось облаками и начинал моросить теплый дождь. Он постукивал по крыше дома, по твердым листьям магнолии и шептался с таким же тихим, как и он сам, прибоем, набегавшим на берег.

Дождь возился в кустах, где вместе с ним возились, отряхиваясь, маленькие птицы — «подорожники». Дождь прижимал в открытом море к серым медленным волнам дым из трубы парохода, а утром сразу стихал. И с юга, с моря, начинало расти, подниматься к зениту синее легкое небо.

Дорожки быстро просыхали, и единственное, что оставалось от ночного дождя, — это свежий запах цветов. Когда Леля сбегала в сад и морские голыши разлетались у нее из-под ног, все голыши снизу были совершенно сухие. Дождь даже не мог промочить их со всех сторон.

Леля сбегала в сад, выскакивала за калитку и неслась по каменистой тропинке к морю, размахивая мохнатым полотенцем. Следом за нею мчался, едва поспевая, лохматый старенький песик по имени Боржом. Песик на бегу неистово лаял и потому задыхался.

На пляже, сидя около наспех сброшенного Лелей платья, Боржом громко и часто дышал, высунув набок язык. Когда Леля слишком далеко отплывала, Боржом подбегал к воде, нюхал ее и принимался так тоненько выть, что Леля волей-неволей должна была раньше времени выходить на берег. Растираясь полотенцем, она ругала Боржома за плаксивый характер.

Боржом униженно мотал хвостом по песку и прижимал, извиняясь, седенькие мохнатые уши.

Иногда над морем появлялись длинные и прямые, как лучи, облака.

По самому их хрупкому и прозрачному строению Леля знала, что это очень высокие облака, сложенные из ледяных кристаллов. Недаром Леля была дочерью метеоролога.

Анна Петровна часто рассказывала ей не только об облаках, но и о дождях, туманах, сложном движении воздушных масс.

Леля уже привыкла к тому, что все, связанное с метеорологией, зримо и полно красок.

Это была, пожалуй, единственная наука, где по цвету неба и воздуха, по очертаниям облаков, силе мерцания звезд и шуму древесной листвы, а не только по приборам и вычислениям, можно было делать выводы. И предупреждать об изменении погоды всех, чья деятельность, а иногда и жизнь, зависит от этого, — сельских хозяев, мореплавателей, летчиков, работников железных дорог, рыбаков.

Ни одна наука, говорила Анна Петровна, так тесно не соприкасается с поэзией и живописью, как метеорология.

Анна Петровна выписывала в общую тетрадь стихи и прозаические отрывки из произведений разных поэтов и писателей, связанные с метеорологическими явлениями.

Леля любила перечитывать эту тетрадь и поражалась певучей и точной силе стихов:

Уже мороз сребрит скудеющие долы.
И от селений синий дым
Восходит ввысь. Поют, поют эолы
По рощам золотым...

Около этих строчек рукою Анны Петровны было написано: «Осенний антициклон».

Леля переворачивала страницу:

Но силой ветра от залива
Перегражденная Нева
Обратно шла, гневна, бурлива,
И затопляла острова...

Под этими строчками Анна Петровна записала: «Подпор воды сильными западными ветрами — причина наводнений на Неве».

В это утро над морем протянулись длинные облака, вылетавшие, казалось, из одной точки на ослепительном морском горизонте. Леля сидела на берегу после купанья и смотрела на них, пересыпая в руке теплый песок.

Она вспомнила, что в тетради у Анны Петровны есть запись и о таких облаках: «Редеет облаков летучая гряда...» Слова «летучая гряда» были подчеркнуты, очевидно, потому, что являлись точным метеорологическим определением высоких перистых облаков. Они были похожи на тонкие пряди шелка-сырца. Ветер вытягивал их вдоль неба и осторожно разрывал на отдельные тающие клочья.

В песке попадались интересные вещи: крупинки синего стекла, куски побелевшей от соли пробки — обломки рыбачьих поплавков («балберок»), пересохшие и пахучие веточки водорослей и сломанные клешни крабов. Иногда попадались обкатанные волной круглые голыши из розового мрамора и кованые корабельные гвозди, заросшие колючей ржавчиной.

Леля пересыпала песок и не заметила, как сзади подошел Юрка — веселый и болтливый мальчик с соседней дачи.

— Смотри, — сказал Юрка и дернул Лелю за руку. — Ты знаешь, как они называются, такие облака?

— Конечно, знаю, — ответила, не задумываясь, Леля. — Высокие перистые.

— А вот и нет! Они называются «розой ветров».

— Брось ты выдумывать! — ответила Леля. — И вовсе это не «роза ветров». «Роза ветров» — это чертеж на морской карте. Он показывает, какие ветры чаще всего дуют в каком-нибудь месте земного шара.

Она хотела объяснить Юрке, что такое «роза ветров», но оказалось, что сделать это на словах было трудно. Тогда она начала чертить пальцем на песке большую звезду с неравномерными лучами. Каждый луч означал направление и силу ветра.

Но Юрка ей не поверил и по своему обыкновению закричал:

— Совсем даже не так! Не так! К нам вчера приехал моряк, папин товарищ. Он командует на Черном море грузовым пароходом. Он мне все объяснил про «розу ветров». Вот она!

Юрка показал в морскую даль, на ту сверкающую точку, откуда поднимались облака:

— Там начинается ветер. Он разлетается оттуда во все стороны и вытягивает за собой облака. Вот та точка, где начинается ветер, и называется «розой ветров».

— Бе-ли-бер-да! — раздельно и внятно сказала Леля. — Твой моряк путает.

Они заспорили. Юрка сейчас же начал приставать, чтобы Леля «побилась» с ним на пари. Боржом ни с того ни с сего рассердился и начал лаять, отбрасывая с оттяжкой задними лапами мокрый песок.

— Ну ладно! — согласилась Леля. — Пари так пари! Только если ты проиграешь, то подаришь мне... Что бы такое с тебя стребовать?

Леля задумалась.

— Сушеного краба, — подсказал Юрка.

— Нет! — твердо ответила Леля. — Ты найдешь мне на берегу горный хрусталь. Их всегда выбрасывает после шторма. А я тебе подарю морского конька. Идет?

— Идет! — согласился Юрка. — Пойдем к нам и посмотрим в энциклопедическом словаре.

— Ну что ж, пойдем!

Но разыскивать в энциклопедическом словаре «розу ветров» им не пришлось, потому что во дворе Юркиной дачи сидел на ступеньке террасы и привязывал крючки к самолову моряк с медным крепким загаром.

— Она спорит, — сейчас же пожаловался Юрка моряку и показал на Лелю, — что «роза ветров» — это чертеж на морской карте, а совсем не вот эти облака, как вы говорили. И мы пошли на пари.

— Значит, ты проиграл, Юрка, — сказал моряк и засмеялся.

— А зачем же вы мне неверно сказали? — обиженно и даже, пожалуй, грубо спросил Юрка.

— Юрка! — крикнул Юркин отец из комнаты. Он брился. Зеркало стояло перед ним на подоконнике. — Как ты разговариваешь с Павлом Петровичем! Ты у меня смотри!

— Это я виноват, конечно, — сказал моряк, обернувшись к Юркиному отцу. — Просто мне показалось, Саша, что такое объяснение будет интереснее.

— Что ты оправдываешься, — ответил Юркин отец. — Я же тебя не первый год знаю. Фантазер!

— Конечно, интереснее, — неожиданно согласилась Леля. — Там, где-то в море, как будто есть место, где начинается ветер. И называется это место «розой ветров». А вы не знаете, почему чертеж на картах называется «розой»?

— Потому что он похож на цветок, — объяснил моряк, сматывая самолов. — Осторожнее! Вы зацепитесь за шнур.

— Хорошие слова — «роза ветров», — заметила Леля.

— У них, у моряков, Леля, все хорошее, — сказал из окна Юркин отец. — И слова, и корабли, и карты. И сами они хорошие. И труд у них хороший. Весьма живописный и здоровый труд.

Вдруг он хлопнул ладонью по подоконнику.

— Погодите, — сказал он, таинственно понизив голос. — Я совсем позабыл. Сегодня должна распуститься ипомея. Вон там, около террасы. Я видел на ней много бутонов. Пойдемте!

Леля вспомнила рассказы Юркина отца об этом цветке. Все цветы ипомеи открывались сразу, на глазах, и первое время быстро шевелили прозрачными лепестками. Со стороны казалось, что на куст ипомеи села стая живых бабочек.

Но Юркин отец поздно вспомнил об ипомее. Цветы уже раскрылись. Леля взглянула на них и тихо сказала:

— Я их знаю. Мне в Новороссийске кто-то подарил букет. И там были точно такие цветы.

Она вдруг повернулась и быстро пошла к калитке.

— Ты куда? — спросил Юркин отец.

— До свиданья! Я завтра приду! — крикнула из-за калитки Леля.

Леля вернулась к себе взволнованная.

— Послушай, — сказала ей Анна Петровна, — что пишет дедушка Петр Софронович. Только что принесли письмо. Старик что-то уж очень расхорохорился. Не по возрасту.

Леля села в плетеное кресло, сложила руки на коленях и приготовилась слушать, что пишет дед Петр Софронович.

«Дорогая моя доченька Анна Петровна и дорогая внучка Елена Михайловна, — писал дед. — По слабости зрения я самолично писанием не занимаюсь, а пишет заместо меня небезызвестный вам Панченко, Игнатий Мусиевич, наш рыбак, такой же старый, как я, только глазами покрепче и характером повеселийше. Кланяемся мы вам с Игнатием Мусиевичем низко-пренизко и желаем доброго здоровья, многих лет благополучия и успеха в трудах ваших на благо отечества нашего и сообща также и всем людям».

Анна Петровна оторвалась от письма и засмеялась:

— Ну и Игнатий Мусиевич! Что выкамаривает!

«Я так думаю, что ты была в то время еще совсем малесенькой дивчиной и потому не помнишь про Парасю Жильченко, ту, что вышла замуж за дальнего человека, за Ивана Сидоренко, и уехала с ним по-за Дон, кудась к самой Волге. Там она с ним всю жизнь и прожила. И нашу косу с той поры ни разу не навестила. Однако всегда сердце человеческое тянется к родительским местам, к своему, как говорится, тыну. И у Параси сердце до нас сейчас обратилось, и получили мы от нее знаменательное письмо. И об том ее письме — главная наша речь.

Вам, конечно, известно, что роют сейчас канал, водяной ход из Волги в Дон и оттуда к нам, в Азовское море. И на том канале и Дону будут запружены великие воды для питания канала водой и напоения

сухого тамошнего степного места. Будут те великие воды вроде как моря и заполнятся, понятно, несметной силой всяческой рыбы. А народонаселение по тем новым морям, конечно, кругом сухопутное и рыбацкого нашего дела и обихода понимать пока что не может. Им что кливер, что сейнер, что румпель — все одно. Вот и пишет Парася, что у них идет подготовка к сотворению рыбачьей артели, однако никто в ум себе не возьмет даже такого пустого дела, как оснастить или, скажем, засмолить шаланду. «И как давно стало известно у нас в поселении, — пишет Парася, — что я происхожу родом с Азовского берега, то и навалились на меня люди с просьбой отписать вам, старейшим рыбакам, не может ли быть от вас нам некоторой помощи. Прошу вас сердечно не отказать в моей просьбе, так как я есть и остаюсь и здесь, в голом степу, азовской рыбачкой и меня даже зовут все здешние люди Парася Приморская». Так вот! Получили мы то письмо с берегов будущего моря и надумали вдвоем с Игнатием Мусиевичем поехать подсобить хорошим людям. Игнатий Мусиевич, как вам известно, старый парусный мастер и такелажник, а я кое-чего маракую по части засмолки и сетевого хозяйства.

Ждал я вас на косу этим летом, да так и не дождался. Мои годы на земле считанные. Потому при первой возможности приезжайте. Вот и все наши новости. Судак этим летом шел сильно, отягчал сети. Завелась у нас в колхозе новая моторка. Зовется «Азовчанка». В хате у меня все по-старому, только трошки похилилась стенка после зимнего шторму. Обнимаю вас и благословляю навеки. *Петр Галаган*».

Анна Петровна отложила письмо и долго молча смотрела в темный сад, улыбалась.

— Что ж ты, старый? — сказала она так, будто Петр Софронович сидел тут же рядом с ней на террасе и виновато ее слушал. — Что ж ты, старый чудак, задумал? Нету с тобой никакого сладу. Как раз тебе только и ездить, в твои семьдесят лет. Это все Игнатий Мусиевич тебе крутит голову — такой суетливый и развязный старик, просто ужас!

Леля заметила за Анной Петровной одну странность: каждый раз, когда она вспоминала о Петре Софроновиче, у нее появлялись в голосе мягкие южные интонации и она начинала говорить, как исконная азовская рыбачка.

Этим она как бы приближала себя к своему детству. А о нем Анна Петровна всегда вспоминала с улыбкой. Хоть и трудное было оно, а, как всякое детство, было хорошее — мечтательное и доверчивое. И такое простое, совсем простое, как белая отцовская мазанка, как бархатцы в садочках, как само Азовское море. Разве сравнить его с Черным! Черное перед Азовским — это блистательная и надменная красавица. А Азовское — это наша рыбацкая девушка, застенчивая, с веснушками. Только и красоты, что синие глаза да загар.

— Чего доброго, еще простудится в дороге, заболеет, — сказала Анна Петровна. — Ведь семьдесят лет, а не сорок! Правда, годы его на земле считанные. А я вместо того, чтобы поехать этим летом к нему, забралась сюда, в эту кавказскую пышность.

— Знаешь что, мама, — протяжно сказала Леля, — ты не волнуйся, пожалуйста. Нам осталось здесь жить еще месяц. А мы уедем на две недели раньше и заедем к деду туда, на его будущее море. Это нам почти по дороге.

Анна Петровна притянула к себе Лелю и погладила ее блестящие волосы. «Прелесть моя, — подумала она. — Радость моя. Что-то с тобой будет в жизни?»

ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС

Из Сталинграда я проехал на Волго-Донской канал, а оттуда — в Калач. Из Калача я хотел попасть на Цимлянское строительство. Туда можно было добраться или на машине через степи, или длинным кружным путем по железной дороге. Пассажирские пароходы на этом плесе Дона не ходили.

На мое счастье, в Калач пришел с верховьев буксирный пароход. Он шел в Цимлянскую. Капитан

буксира — седоусый толстяк с насмешливыми глазами — согласился довезти меня до Цимлы. Буксир взял еще нескольких пассажиров. Среди них был инженер Старостин.

Мы оба — Старостин и я — были довольны, что попали на буксир. Нам хотелось увидеть в последний раз Дон. Через год в этих местах Дона уже не будет. Вместо него раскинется Цимлянское водохранилище — Донское море.

Весь день мы проводили на палубе. Опрокинутое в речной воде небо, покрытое отарами белых облаков, медленно плыло навстречу. Нос буксира резал его надвое, а волны от колес качали отражения облаков и уносили их к берегам. Там они рассыпались в пене, набегавшей на пески.

Буксир шел до Цимлы без остановок. Останавливаться было незачем, да и негде: станицы и поселения уже перенесли с берегов Дона в глубину степей, на бугры. Только по широким улицам без домов, заборов и деревьев, по кучам золы, колеям дорог, штабелям старого кирпича, ямам от выкопанных деревьев и кое-где еще не разобранным мазанкам и плетням можно было догадаться, что тут стояли станицы. Заканчивались работы по очистке дна будущего моря. Вырубались последние рощи, переносились последние дома.

Я представлял себе, как Дон начнет затоплять эту покинутую людьми землю. Жители дальних станиц придут посмотреть на вторжение воды. Они будут отступать перед ней шаг за шагом, зачарованные этим зрелищем.

Вода остановится у рубежей, намеченных человеком, и покорно ляжет у предназначенных берегов.

Неизмеримая гладь водохранилища вздохнет и накатится на степь первой волной. Новое море начнет свою вечную работу — будет намывать берега и выбрасывать на них щебень, водоросли и перемытые до белизны остатки человеческих поселений: доски, битый кирпич, осколки стекла и среди них какую-нибудь игрушечную тележку на деревянных катушках-колесиках.

Первые огни бакенов загорятся во тьме и лягут по взволнованной зыби полосами красного и белого света.

Дни, месяцы, годы начнут сменяться бесконечной чередой над вновь созданным морем. И прибой будет выбрасывать уже не остатки давнишней жизни, а шелковистые коробки хлопка, куски антрацита с черным алмазным блеском и кожуру донских лимонов.

Голубоватое зарево недавно рожденных городов засияет над ночными водами, как таинственный зодиакальный свет.

Ночь была душная, и все мы, пассажиры, сидели или лежали на палубе буксира и вели между собой неторопливый разговор. Спать никому не хотелось. В другое время монотонные удары пароходных колес и журчанье воды давно усыпили бы всех.

Капитан подсел к нам.

Говорили о будущем море.

— Мой старик, — сказал капитан о своем буксире, — подастся этой осенью в Ростов. Там его переделают для рейсов по водохранилищу. Сейчас он, понятно, слаб для такого назначения. Корпус ему надо укрепить, а то разобьет волнами. На самой глубине, под Цимлянской, валы будут гулять, как на Черном море. Будьте спокойны! Простора для этого хватит. Разгон у волны огромный. В длину почти двести километров, а в ширину — до тридцати. Другой берег не всюду увидишь.

Капитан помолчал.

— В Сормове сейчас строят для нас новые буксиры. Один наш капитан ездил туда, смотрел. Винтовые буксиры. Прямо звери! Воду будут рвать, как крейсеры! Только дым да флаг за кормой — и поминай как звали!

— По Волге такие буксиры уже ходят, — сказал худой человек и зажег спичку, чтобы закурить. Спичка горела спокойно, как свеча в тихой комнате. — И зовут их «музыкантами».

— Почему «музыкантами»? — спросил я.

— На них радио. Привалят к пристани, включат радио и закатят такой концерт из Московской консерватории, что все береговое население сбегается.

— Красота! — завистливо вздохнул кто-то из темноты.

— Ясно, красота, — согласился капитан. — А пассажирские теплоходы будут ходить здесь такие, что не сразу, говорят, и поймешь, из чего они сделаны: не то из стекла, не то из серебра. Блеск, просторные палубы, огни, концертные залы!

— Что красота, то красота! — повторил из темноты тот же голос.

— А ты до нее дойди, — сказал капитан. — Попробуй. Не так все просто, как тебе думается: «Сел да поехал — ах, хорошо!» Вот, скажем, создается наше водохранилище. Так тут, знаешь, сколько геодезистов работало? Сила! Нужно было выяснить точнейший рельеф местности и, зная глубину будущего водохранилища, определить, как оно вольется в этот рельеф, как ляжет посреди этих балок и степей, какие будут у него пределы и границы. И нанести эти границы на карты. То-то! Всякие были трудности. Взять хотя бы переселение. Отодвинули поселки подальше от Дона. А там воды нету. В колодцах один мокрый песок. Пока это дело наладили, сколько времени прошло!.. Строим и учимся.

— Вам тоже придется переучиваться, речникам? — спросил я.

— Не очень. Морское плаванье против нашего речного не в пример легче.

— Как это легче?

— На реке опасностей больше. Ведешь пароход, с мостика не слезаешь. Потому что у тебя под днищем воды всего десять сантиметров. А то и меньше. Вот-вот заденешь и сядешь. А на быстрине только и поглядывай, чтобы не прижало к берегу, не стукнуло и не разбило. И фарватер на реке меняется чуть не каждый день. Дон — река капризная. Он все время играет. Вот и плаваем мы с неполной осадкой. Тысячи тонн груза зря оставляем на пристанях. А когда запрут Дон, будет раздолье. Воды под нами десятки

метров! Ничего не страшно. Ни перекатов, ни коряг, ни ударов о берег. И течение нас не замучит. Что вниз идти, что вверх — все равно по спокойной, тихой воде.

— Крой через море полным ходом! — сказал из рубки рулевой.

— Ну, а штормы?

— Что штормы? Если очень разыграется, так зайдешь в порт-убежище или глубокую бухту и отстоишься. Тут их много появится, этих бухт, по устьям бывших притоков. И обстановка будет совершенно морская: маяки, створные знаки, электрические бакены. По приборам начнем ходить. Как в море. Не так, как сейчас, когда иной раз говоришь лоцману: «А ну-ка, Сеня, держи вон на ту сухую вербочку или на тот вон курень на бахче!» Там вместо вешки сидит всем нам известный сторож Трофим и курит свою заветную кременчугскую махорку.

— Это точно! — согласился из будки рулевой. — Бывает.

Рядом со мной лежал на палубе на подстеленном ватнике мальчик лет десяти. Отец его — высокий застенчивый украинец, плотник из Каменец-Подольской области — ехал на работу в Цимлянскую. Он все время вполголоса разговаривал с сыном и все беспокоился, что мальчик бегает по палубе босиком и не хочет надевать «черевички».

— Так-то ж неловко перед людьми, — говорил он ему шепотом. — Ты ж не у себя на селе, Илько, не в нашей Карпиловке. Обуй черевички.

— Та они мне давят, — тоже шепотом отвечал ему мальчик. — Как же я их обую?

— От беда! — вздыхал плотник. — Чего это бабка глядела, когда купляла?

Мальчик не спал. Он прислушивался к разговорам, часто подымал голову и спрашивал отца:

— Про что они рассказывают?

— Да про всякое, — отвечал отец. — Спи, не ворошись!

Но мальчик уснуть не мог. Он все прислушивался. Когда пассажиры, наконец, затихли, мальчик сказал:

— Батько, тут и вправду будет море?

— А как же! — тихо ответил отец. — Я тебе расскажу один случай, но только чтобы потом ты спал. Не обдуришь меня?

— Не, не обдурю.

— Так вот, слухай. Будет тут море. Вода подступит к самым хатам. И рыба як ударит хвостом, як плеснет, так и забрызжет всю стенку хаты. От как будет, сынок! Вода будет чистая-пречистая, вроде слеза. И не будет той воды вкуснийше на белом свете. И сады будут кругом. Зацветут кущи, и зацветет тот старый плетень, что притащил с собой на новое место один старый сердитый дед. Переселяли станицу, так тот упорный дед погрузил на машину свой плетень. «Ни за что, говорит, я тот плетень не кину, хоть считайте меня окончательно сумасшедшим. Я сам его плел. Старуха моя на нем свои рушники сушила. Нет и нет! Плетень я не кину, хоть вы и говорите, соседи, что он пересох в труху, и надо мной шуткуете и смеетесь».

— Так и перевез? — спросил тихо мальчик.

— Перевез. И поставил коло своей новой хаты. В степи. А через год подошла к самой той хате вода. Пришло до ее порога новое озеро. Люди его зробили для наикращей жизни, и такое то было широкое озеро, что как солнце клонится, так другого берега не видно. Один солнечный огонь по воде играет. И слепит очи. Да-а... Чего только не сделает наш человек, колы у него доброе сердце! Все сделает, сынок! А через неделю или две проснулся тот дед раным-рано, чуть развиднять начало и по-над озером еще лежал туман. Проснулся, вышел из хаты и так и сел на пороге: плетень его стоит весь в молодых липучих листочках. И цветет. Сережки-баранчики на нем висят, и сыплется из них желтая пыль.

— С чего же он зацвел, батько? — спросил мальчик.

— Вода к нему подошла. Напился он той воды и ожил. Минет небогато времени, и будет та дедова хата стоять в густом зеленом лозняке и прохладе. А теперь спи!

— Вот так каждый раз! — сказал мне плотник и виновато засмеялся. — Не спит, покамест чего-нибудь ему не расскажешь. От беда!

Он закурил и задумался. Была уже поздняя ночь. Дон в темноте казался необыкновенно широким — гораздо шире, чем днем.

— Славная сказка, — сказал я Старостину.

— Да, — согласился он. — Раз на то пошло, то и я могу рассказать вам кое-что интересное. Все равно не спим. Вы знаете, сколько в Советском Союзе рек?

Мне не хотелось признаваться в своем неведении. Поэтому я сказал наугад:

— Тысяч тридцать, я думаю.

— Вот именно! — насмешливо согласился Старостин. — А если у нас больше ста тысяч рек? Тогда что?

— Сто тысяч рек! Это точно?

— Совершенно. Конечно, если считать все реки от Волги, Енисея и Невы до какой-нибудь заросшей ряской Вертушинки или Мошки. Пожалуй, нигде нет такого частого переплетения рек со множеством притоков. И нигде реки, текущие в разные моря, так близко не подходят друг к другу. На канале я познакомился с одним партийным работником, любителем чисел. Он подсчитал, что если взять речную карту Союза, похожую на густую и причудливую сеть, и расплести эту сеть в одну нитку, в одну водяную полосу, то она вытянется на два с половиной миллиона километров.

— Так то ж прямо как от нашей земли до звезды! — сказал плотник. Он, оказывается, слушал наш разговор.

— Вот вы гидротехник, знаток рек, — спросил я, как будто между прочим, Старостина. — А вы много читали стихов о русских реках?

— По-моему, их вообще очень мало.

— Наоборот, — сказал я с некоторым злорадством. — Их очень много. И, между прочим, стихов превосходных.

— Например?

— Пожалуйста! Был такой поэт Языков. Волгарь, из Симбирска. Друг Пушкина. У него есть замечатель-

ные стихи о русских реках. Он писал, что они текут «блистательно и плавно». Он говорил о Волге:

По царству и река! Тебе привет державный
Ее, властительницы вод,
Обширных русских вод, простерших ход свой славный,
Всегда торжественный свой ход.
Между холмов, и гор, и долов многоплодных
До темных Каспия зыбей!
Приветы и ее притоков благородных,
Ее подручниц и князей...

А дальше идет изумительное перечисление русских рек: Тверцы — «лелеющей тысячи судов», Оки — «поемистой, дубравной», Суры — «красавицы, задумчиво бродящей», Свияги — «пажитной, игривой и бессонной», и, наконец, Камы, «чей сильный бурный водобег, под криками орлов свои валы седые катя в кремнистых берегах, несет железо, лес и горы соляные на исполинских ладиях».

— Здорово! — с восхищением сказал Старостин.

— А мы Пушкина в школе учили, — вдруг сказал мальчик. — «Горит восток зарею новой...»

— От беда! — промолвил, сокрушаясь, плотник. — Так ты не спишь?

— Ни, батько, — тихо ответил мальчик, — Я слухаю.

— Ну что ты сделаешь с таким хлопчиком? — воскликнул плотник. — Нету никакого повиновения!

— Правильный мальчик, — заметил Старостин. — Возраст такой. Ему сейчас все интересно.

— Оно, может быть, и так, — согласился плотник.

— Поэзия поэзией, — сказал Старостин. — А вам известно, что эти поэтические и задумчиво бродящие русские реки могут дать три биллиона киловатт-часов электрической энергии в течение года и что эти реки уносят каждый год в моря около четырех тысяч кубических километров воды?

— Где же нам все это знать! Рассказывайте дальше.

— Что ж вы обижаетесь? Вы вовсе и не обязаны знать. Это — наше дело, гидрографов и гидротехников.

— А я так думаю, — заметил плотник, — что нету теперь ни нашего, ни вашего, а есть всеобщее. Наука теперь достигает до человеческой жизни. Скрозь это видно, куда ни сунешься в нашем государстве. Скрозь!

Светало. В предутренней степи, затянутой седой дымкой, зарождалась заря. А впереди, за поворотом Дона, открылись несметные огни Цимлянского строительства. Они перегораживали Дон стеной из света. Густым частоколом тянулись черные стрелы экскаваторов. Над ними курилась на еще темном западном небе белая мгла. Буксир сбавил ход.

— Ну, сынок, — сказал мальчику плотник, — собирайся. Надень черевички.

Низкий свет солнца лег на реку, ударил в рыжие берега и в огромную земляную плотину. Она начиналась на высоком, правом берегу Дона, шла через всю его пойму и оканчивалась где-то далеко в степи.

— Западный берег Донского моря, — сказал нам капитан из своей застекленной рубки и показал на плотину. — Подходим.

Буксир начал описывать широкую дугу, чтобы подвалить к пристани. Все строительство вдруг быстро понеслось слева направо, как бы нарочно сдвинувшись с места, чтобы показать нам громады бетонных массивов, исполинский вал плотины, эстакады, подъемные краны, мосты и сквозные стены арматуры.

СУЕТЛИВЫЕ СТАРИКИ

— Да як же, скажи мне на милость, — спросил Петр Софронович Игнатия Мусиевича, — люди будут кликать-называть то море чи озеро, которого ще немае?

— Кто его знает!.. — неуверенно ответил Игнатий Мусиевич. — Придумают. На это люди у нас проворные, на названия.

— А вот и нет, — возразил Петр Софронович. — Другой раз и скучновато получается. Чтобы название

целому морю придумать, превеликую мечту надо в себе иметь, Игнатий Мусиевич. То ж море, а не простая улица или село.

Разговор этот происходил в вагоне поезда между Лихой и Сталинградом.

С верхней полки смотрел на стариков, свесив голову, белобрысый юноша в черной тужурке с якорями на золоченых пуговицах — ученик речного училища Леня Бобров. Он никак не мог сообразить, что это за чудные старики и куда и зачем они едут.

Расспрашивать стариков было бесполезно. На все вопросы они отвечали замысловатыми шуточками и держали себя как заговорщики.

По некоторым признакам выходило так, что старики едут на строительство Волго-Донского канала. Но на что они там нужны? Рассказывать басни? Или приглядывать за младенцами? А может быть, они едут погостить к своим сыновьям или замужним дочкам? Так зачем же это скрывать?

В конце концов Лене надоело ломать голову над этой загадкой, и он решил действовать так же хитро, как и старики.

— На станции Кривая Музга, — сказал он небрежно, — отцепят наш вагон и подадут на Калач. Так что если вам, деды, ехать дальше, на Сталинград, то будьте готовы — в Кривой Музге у нас пересадка.

— Это безусловно правильно, — сказал Игнатий Мусиевич.

— Что правильно?

— Что отцепят. Железнодорожное начальство безусловно знает, что ему полагается делать. Имеет инструкции.

— Значит, поедем мы с вами в Калач? — с наигранной беззаботностью спросил Леня.

— А что ж, — вздохнул Петр Софронович, — и в Калаче и подале, за Калачом, неплохо люди живут.

— Ну и веселые вы, деды! — сказал даже несколько льстиво Леня. — Сразу видно, к детям своим едете погостить.

— Наши дети — заводные сети! — ответил Игнатий Мусиевич. — Вот кто наши дети.

— Была такая стариннейшая солдатская песня, — добавил в свою очередь Петр Софронович. — Сам я ее пел, будучи в царской армии: «Солдатушки, браво, ребятушки, где же ваши сестры? Наши сестры пики-сабли востры, вот где наши сестры!»

— Ну да, дело у вас рыбацкое, — догадался, подумав, Леня Бобров. — Дело ясное.

— Дело наше ясное и с народом согласное. Вот ездим, ума набираемся. А наберемся, до своей хаты вернемся.

— А вы часом не из Темрюка? — спросил наугад Леня.

— До того Темрюка не дотянулась ще наша рука, — ответил Игнатий Мусиевич.

— Значит, без роду, без племени? — спросил, наконец, в сердцах Леня.

— Ну, нет. Мы роду рабочего, а племени к работе охочего, — снова так же складно ответил Игнатий Мусиевич и этим ответом привел Леню Боброва в совершеннейшее расстройство.

«Мало у меня своей заботы, — подумал Леня, — а я еще буду с этими стариками играть в кошки-мышки!»

В самом деле, он ехал на практику, на Донское строительство, на новейший в мире землесос. Прежде всего надо было подумать о том, чтобы не осрамиться на землесосе после школьной скамьи, а не связываться с этими стариканами. Какое ему до них дело!

В этих мыслях Лени Боброва было все же несколько капель горькой обиды. Дело в том, что Лене Боброву казалось, что весь вагон должен если не завидовать ему, юному речнику, едущему на такое ответственное и знаменитое дело, то по крайней мере относиться к нему, Лене, с уважением и некоторым удивлением.

Да оно так и было. Кому бы из попутчиков Леня ни рассказал о своем назначении, все радостно удивлялись и говорили:

— Вот, совсем еще мальчик, а уже едет на строительство! Да еще на землесос! Повезло, значит, молодому человеку.

И потом шли приятные для Лени рассуждения, что на строительство, конечно, посылают самых отборных людей.

Так говорили все, кроме этих двух упорных стариков. На них назначение Лени Боброва на землесос не произвело никакого впечатления, хотя Леня и рассказывал им, что эта мощная машина заменяет труд нескольких тысяч человек. Должно быть, старики просто ему не поверили. Между собой они называли Леню «детыной». Это тоже было до некоторой степени обидно.

Поэтому Леня почувствовал даже известное удовлетворение, когда в Кривой Музге старики вышли из вагона и сразу, как только ступили на платформу, оробели, засуетились и начали без толку всех расспрашивать, как проехать на водохранилище.

В конце концов какой-то мрачный шофер забрал их, усадил в кузов грузовой машины и умчал со станции в клубах пыли. А Леня так и остался в недоумении, что это за старики.

Старики, трясясь на машине, понемногу успокоились и даже начали посмеиваться над любопытным юношей из вагона.

— Ох, и цикавый же парень! — говорил Игнатий Мусиевич. — Ему требуется все знать, что до его носа не касаемо. Ну и накрутили же мы ему голову! Попомнит он нас, Петр Софронович.

— Я тоже так думаю, что попомнит, — отвечал Петр Софронович, но отвечал неуверенно: ему было сейчас не до Лени Боброва.

Чем ближе они подъезжали к будущему водохранилищу, тем сильнее удивлялся старик. Все было здесь ново и непонятно: великолепное асфальтовое шоссе и рядом огромные курганы глины, грохочущие ковшами экскаваторы и нарядные поселки из розовых, белых и голубоватых домов, седой налет цемента на всем и машины, похожие на черных железных крабов. Кто его знает, как даже зовутся эти машины и какое они имеют предназначение!.. На тех машинах управляются девушки в красных косынках. И как это может

девушка своею слабой рукой двигать такую машину!

А когда Петр Софронович увидел в степи большой мост, стоявший на высоких бетонных устоях, прямо над землей, над большой канавой, где не было ни капли воды, и когда шофер остановил машину, чтобы почистить что-то в моторе, и сказал, что это мост через будущий канал, через будущую реку, то Петр Софронович окончательно смутился. Он вылез из кузова, потрогал колючий бурьян, что рос около устоев нового моста, и недоверчиво спросил шофера:

— Да неужто тут хлынет вода?

— Раз я говорю, — ответил даже несколько высокомерно шофер, — значит, так и будет.

Петр Софронович смотрел на мост и удивлялся. Удивлялся и Игнатий Мусиевич.

В это время около грузовика остановилась легковая машина «ЗИС-110». Дверца машины отворилась, и из машины вышел плотный человек в сапогах и в костюме бетонного цвета. Только присмотревшись, можно было заметить, что костюм этот был коричневый, но до того пропылился, что казался серым.

Шофер, увидев плотного человека, быстро опустил над мотором покрышку и сказал неестественно громким голосом:

— Доброго здоровья, товарищ Басаргин!

— Здравствуйте, — ответил плотный человек и усмехнулся. — Вы с какого участка?

— С участка товарища Земляного, — ответил шофер и явно у всех на глазах стал робеть, даже голос у него как-то притух.

— Ну, что ж, — сказал Басаргин. — Не теряйте времени. Чините мотор. А кто эти почтенные граждане?

— Да вот... двое... — ответил шофер и с досадой посмотрел на стариков.— Престарелые люди, не здешние... Приехали на водохранилище, а дороги не знают. Я и решил их туда подкинуть. Старикам, как говорится, товарищ начальник, везде у нас почет.

— Теперь вижу, — снова усмехнулся Басаргин, — что вы действительно работаете на участке у товарища Земляного. Он вас всех научил говорить по-своему.

Басаргин обернулся к Петру Софроновичу и Игнатию Мусиевичу. Шофер делал им свирепые знаки глазами, стараясь предупредить стариков, что перед ними стоит очень большой начальник. Но старики догадались об этом и без подмигиваний шофера.

— Вот, — сказал Петр Софронович, — любуемся, товарищ начальник, на произведение рук человеческих — на этот мост. И не тому дивимся, что мост этот хороший, а тому, что стоит он уже готовый посередь степу, а воды под ним еще нету.

— Предусмотрительности людской дивимся, — пояснил Игнатий Мусиевич.

— А у вас что на водохранилище? — спросил Басаргин. — Есть дело какое-нибудь?

— Безусловно, есть маленькое дельце в ваших палестинах,— сознался Игнатий Мусиевич и рассказал начальнику, зачем он вместе с Петром Софроновичем прибыл в эти палестины.

На усталом лице Басаргина появилась улыбка.

— Садитесь ко мне в машину, — сказал он. — Я вас довезу до водохранилища. Куда вам трястись на этаком драндулете!

Басаргин кивнул на грузовик и засмеялся. У грузовика был смущенный и отчасти даже виноватый вид, такой же, как у шофера.

Старики переглянулись, забрали с грузовика свои вещи и, кряхтя и дивясь просторности машины, осторожно влезли в нее. Дверцы захлопнулись, и машина, выстрелив из-под колес струей пыли, умчалась в сторону водохранилища. А шофер, глядя ей вслед, сказал:

— Так что же, что драндулет! Зисы сто десять водить — не звезды с неба хватать. Это мы тоже умеем, товарищ начальник строительства.

РЫБОЛОВНЫЕ БОТЫ

Три новых колхозных рыболовных бота стояли прямо в степи около кургана. Вокруг них валялись стружки. Под стружками не видно было даже травы.

В этот день Игнатий Мусиевич и Петр Софронович кончали конопатить последний бот. Надо было его смолить, но вышла задержка: в поселке не нашлось вара.

Шел разговор, чтобы послать за ним к инженеру Земляному. Вызвался ехать счетовод колхоза Ваня Савушкин, человек, как говорили о нем, «не имеющий задержки». Никакие препятствия для Вани не существовали. Что бы ему ни поручали, он, сдвинув на затылок кепку и торопливо роясь в карманах в поисках спичек, отвечал без запинки: «Это можно! Раз, два — и наколем дрова!»

Сейчас Ваня вместе со старухой Парасей Сидоренко помогал старикам конопатить бот, и между ними шел неторопливый разговор.

— Два дня, как приехали с Черного моря моя дочка и внучка, — говорил Петр Софронович. — Пускай отдохнут. Их, молодых, жалеть следует сильнее, чем старых.

— Я-то хорошо это знаю, — согласилась старуха Сидоренко. — Молодости ни у кого не позычишь.

— Что правда, то правда, — заметил Игнатий Мусиевич. — Вот слушайте, какую я вам расскажу историю про молодость.

Леля в это утро проснулась рано и пошла к ботам, чтобы набрать стружек и растопить очаг. На очаге Анна Петровна готовила с утра обед, помогала старухе Сидоренко. Кондрат Сидоренко весь день проводил на строительстве и возвращался только к ночи.

Леля незаметно подошла к наваленным стружкам со стороны хаты, села в тени бота на землю и начала слушать рассказ Игнатия Мусиевича.

Солнце еще низко висело над землей. По степи бегали хохлатые жаворонки. Было свежо, ясно.

— Так вот, — говорил Игнатий Мусиевич, — какое случилось сугубое происшествие. Была у нас на косе рыбачка Маруся. Да ты ее, Парася, безусловно должна знать.

— Как же не знать! — ответила старуха Сидоренко. — Она со всех наших детей была наикращая.

— И приехал к нам на косу один художник. Не с Ростова и не с Москвы, а с Ленинграда. Веселый человек! Сядет коло твоей хаты с красками, посмотрит одним глазом, посвистит, а потом ударит немногое число раз по холсту кистью — и смотришь: уже горит на том холсте твоя хата не иначе как солнце. Прожил ты в той хате с малолетства, безусловно каждый сучок знаешь, а стоишь и дивишься, будто и не твоя она хата, а какой-то райский чертог. Вот какой был человек тот художник! И написал он с нашей Маруси портрет. Она, бывало, сидит у моря на перевернутой шаланде, штопает сеть, а он ее пишет. Детвора толчется за его спиной, но даже дохнуть боится: у нас на косе народ уважительный к чужому занятию. Что старый, что малый — все одно. А Маруся, видно, стесняется сильно перед тем художником. Все глаза опускает. А он на нее сердится. Случалось, даже прикрикнет, чтобы глаза она не ховала. Потому что глаза у нее были, как те синие звезды над морем.

— Видать, Игнатий Мусиевич, — шутливо заметил Петр Софронович, — что не совсем вы сами были равнодушные до Марусиной красоты.

Ваня Савушкин засмеялся, а Игнатий Мусиевич строго сказал:

— Безусловно, был неравнодушный. А ваши, Ваня, смешки, как те дырявые мешки. Бесполезная вещь!

— И отчего это люди взяли себе моду надо всем смеяться? — вздохнула старуха Сидоренко. — Никакого я в этом не вижу геройства.

Ваня покраснел и пробормотал, извиняясь:

— Да я так... вообще... Я без осуждения.

— Ага! — с удовлетворением сказал Игнатий Мусиевич. — Нарисовал он ее портрет и не оставил на косе, а увез до себя в Ленинград. А Маруся с той поры стала какая-то слишком задумчивая. Запал ей на сердце тот художник. Один раз призналась она моей дочке: «И на что он меня только рисовал! Вот время идет, меркнет моя молодость, а ему там, в Ленинграде, я вижусь такой, как колысь была, — молоденькой да ясноглазой. Не дай бог, приедет он до нас опять и увидит меня не такой, как на том портрете.

И смотреть на меня не захочет. И слова не захочет сказать. Приедет, я в степь убегу, пропаду, сховаюсь». Однако случилось не так.

Игнатий Мусиевич замолчал. Он, очевидно, начал свертывать папиросу. Свертывал он ее основательно.

«Что же дальше?» — хотела крикнуть Леля, но сдержалась.

— А оно случилось, безусловно, не так! — повторил, наконец, Игнатий Мусиевич. — Как после революции женщины у нас тоже пошли по рыбацкому делу, то начала и Маруся плавать на байде. Сначала за подручного, потом за рыбака, а по истечении времени сделалась она бригадиром. И уловы у нее были, правду сказать, богатые. Ну, понятно, ей от этого произошел почет. Даже в газетах про нее пропечатали, в московских. Вот один раз возвращается Маруся с моря — в сапогах, в винцераде, вся мокрая, потому что прихватило ее свежим штормом. А председатель колхоза дожидается ее на берегу и приглашает с собой до правления. За какой надобностью, ей это неизвестно. Входит она в правление, а там на белой стенке, над столом с красной скатертью, висит тот самый ее портрет. Маруся как увидала, так и зарумянилась. «Что это? — говорит. — Откуда?» Сняла с головы платок, поправила волосы и смотрит на себя, смеется. «Вот, — говорит председатель, — какое получилось дело! Прочитал, говорит, художник про тебя, Маруся, в газетах и прислал нам в подарок твой портрет. И пишет, что, безусловно, этим летом хочет опять до нас приехать, чтобы написать тебя уже в новом твоем звании. Запала ты ему на душу, должно быть». Это он шутит, конечно, председатель. И тут происходит такое явление, что помолодела наша Маруся на двадцать лет. Кто его знает, куда девались морщины. И глаза загорелись, и голос позвончел, и опять ходит она промеж нас в былой своей красоте.

— Радость с человеком чего хочет сотворит, — заметил Петр Софронович. — Десяток годов скинет, как гирю с весов.

— А приехал художник или нет? — спросил Ваня Савушкин.

— Приехал. Предупредил. Маруся его встретила на краю косы. Шаль накинула и вся светится, как мальва на заре. А художник увидел ее, остановился и говорит: «Вот, говорит, я приехал новый портрет с вас писать. А писать, выходит, мне совсем нечего. Как будто и годы не прошли. Вы все такая же, Маруся». А Маруся только смеется тихо и слова сказать не может. И глаза опустила, чтобы сховать слезу, что на них набегает.

Игнатий Мусиевич замолчал.

— А дале что было? — спросила старуха Сидоренко.

— А про то, что было дале, — ответил за Игнатия Мусиевича Петр Софронович, — мы вам не обещались рассказывать. Сами соображайте.

— Неужто поженились? — радостно спросила старуха Сидоренко.

— Всякое на свете бывает, — уклончиво ответил Игнатий Мусиевич. — Вот, Петр Софронович, как погляжу я на вашу внучку, на Лелю, так, безусловно, вспоминаю про Марусю. Сходству их я удивляюсь.

— Пожалуй, что так, — согласился Петр Софронович.

Леля встала и осторожно пошла, стараясь, чтобы ее не заметили, к хате. Лицо у нее горело.

— Что он только говорит! — шептала Леля. — Ну и болтун же этот Игнатий Мусиевич!

Леля приехала в степь с Анной Петровной с Кавказского побережья два дня назад.

Петр Софронович не ждал их и по-стариковски прослезился, когда увидел дочь и внучку. Особенно он был рад тому, что они застали его «при деле».

Жили все у Сидоренко. В хате было тесновато и жарко, но спокойно и весело.

Старуха Сидоренко гордилась, что старики не осрамили ее перед людьми, приехали и помогают степнякам готовиться к новому для них делу. И она, хотя и старая, а тоже помогает новой жизни. Раньше рабо-

тал один Кондрат, а теперь она сама вносит свою долю в общее дело.

В свободные часы старуха помогала Игнатию Мусиевичу и Петру Софроновичу в их работе — вспомнила свое девичье время, когда ей приходилось конопатить шаланды, чинить сети и заниматься всякой другой рыболовецкой справой.

Анна Петровна, как только встретилась с Петром Софроновичем, тотчас заговорила с ним «по-азовски».

— Батько, — говорила она, — вы свои годы, пожалуйста, не забывайте. А то уж очень вы петушитесь. Да и табачищем дымите не по летам.

— А ты не журись! — отвечал Петр Софронович. — Я, Ганна, каленый и ветрами дубленый. Я еще поживу хорошенько на этом свете. Большие дела происходят. Каждому лестно руку до них приложить.

Леля была в это лето в совершенно новом и удивительном состоянии. Она перешла в десятый класс. Годы до этого прошли в учении, увлечении литературой, занятиях в драматическом кружке, — прошли очень быстро. Длинные зимы в Саратове, изредка театр, лекции, концерты, а летом отдых на Волге, лодочные гонки и пешеходные экспедиции. И только в это лето Леля впервые увидела то, что она называла «миром», — увидела море, Кавказ, степи, народное строительство, встретилась с новыми людьми, со старыми рыбаками и жителями степного поселка на берегу будущего озера. И время пошло гораздо быстрее, чем раньше.

Нужно было, как говорила Анна Петровна, уже определять себя в жизни, выбирать трудовую дорогу.

— Будь кем хочешь, — говорила Анна Петровна, — врачом, инженером, актрисой, геологом, агрономом, но только будь деятельным, честным и щедрым человеком.

Леле хотелось найти такую профессию, что соединяла бы много качеств, захватывала бы большие и необыкновенно интересные области жизни. Но все это было еще очень неясно.

— Отложу выбор до осени, — решила Леля. — Может быть, жизнь сама подскажет.

Леля принесла стружки и начала растапливать во дворе глиняный очаг со вделанной в него самоварной трубой. Потянуло дымком. Из щелей в очаге побежали врассыпную черные жучки — «пшеничные комарики».

Леля разводила огонь, стоя на коленях перед очагом. Она не видела, как от остановившегося невдалеке «газика» к хате Сидоренко шел Карпов.

Он подошел к Леле, постоял, посмотрел на ее длинные косы с темными лентами, услышал, как Леля сказала: «Дедушка тоже хорош! Во всем соглашается с этим своим Игнатием Мусиевичем», — и кашлянул. Леля быстро обернулась.

— Ах, вот вы куда попали! — с удивлением сказал Карпов. — Здравствуйте!

Леля встала и с недоумевающей улыбкой смотрела на Карпова.

— Это вы? — спросила она наконец.

— Это я, — ответил Карпов.

— Достали вы свою марку бетона?

— Достал.

— Мама! — закричала Леля. — Иди сюда! Скорей! Здесь товарищ Карпов из поезда.

Анна Петровна вышла на порог хаты, заслонилась ладонью от солнца, посмотрела на Карпова и тоже его узнала. Карпов поздоровался с Анной Петровной и Лелей так просто, будто они только вчера расстались на вокзале в Новороссийске.

Когда Карпов узнал, что Анна Петровна — дочь рыбака Петра Софроновича, он обрадовался. Сам он был из семьи рыбаков с озера Ильменя.

— Значит, мы с вами вроде как родственники, — сказал Карпов. — Славный у вас отец. Душевный старик. Мы с ним подружились. Он мне помог в моей работе. А я вот приехал помочь ему.

— Ну вот, — ответила с сомнением Анна Петровна. — Чем он может помочь? Он же совсем старенький.

— Примером, — ответил Карпов. — Весь наш участок строительства знает об этих стариках. Ни у кого теперь не поворачивается язык, чтобы поныть или пожаловаться на трудности. Этих стариков у нас и прозвали ласково и шутливо «соцстариками».

— Как? — спросила Анна Петровна.

— «Соцстариками». Социалистическими стариками. Потому что при социализме все старики должны быть такие, как они.

Анна Петровна засмеялась.

— Да, правда, — сказала она. — Они хорошие. Только чересчур разговорчивые. Но в старости это простительно.

ВОРОБЬИНАЯ НОЧЬ

Самым важным участком работы считался шлюз. Бетонное основание шлюза, его днище, было готово. По сторонам днища поднималась сквозная и легкая на вид арматура шлюзовых стенок.

Бóльшую часть времени Земляной проводил на шлюзе. Бетонная каша непрерывно ползла по толстым хоботам с бетонного завода и тяжело лилась в лотки. Ее тут же сбрасывали на днище и обрабатывали свежий бетон электровибраторами, чтобы придать бетонному тесту однородность.

Стоя на дне шлюза и отдавая распоряжения, Земляной иногда взглядывал вверх и видел сквозь стальную сетку арматуры бледное от пыли небо и неподвижные облака. А скоро здесь ляжет прозрачная толща воды и в ней повиснут над слегка позеленевшим от тины днищем шлюза пароходные кили, выкрашенные суриком.

Так и будет, конечно. Но сейчас Земляного тревожило небо над степью. Оно линяло на глазах. Его основной, синий цвет только угадывался сквозь сизую муть. А дальше, к горизонту, небо приобрело угрюмый грифельный оттенок.

Чем больше тускнело небо, тем мучительнее становилась жара. Пот уже стекал по лицам рабочих не каплями, а струями.

Клава Гусева работала в этот день вблизи шлюза на выборке земли. Тяжелая пыль висела над выемкой. Воздух не шевелился. Не шевелилась и пыль. Она медленно оседала на машины, сухую траву и прилипала к мокрым лицам. Бурые сгустки пыли свисали с бурьяна

лохмотьями. К лицу нельзя было прикасаться: только вотрешь пыль в кожу и тогда не отмоешь ее и за два дня.

Чем ближе к вечеру, тем гуще делалась духота. В ней было что-то угрожающее. От тяжелого неба, как бы подернутого дымом пожара, тянуло легкой гарью. Близкая пустыня готовилась нанести людям удар. Она собиралась с силами.

Казалось, стоит бросить зажженную спичку в траву, и вся степь вспыхнет багровым палящим огнем.

Солнце ушло в слоистые дымы. И ровно в шесть часов десять минут — Земляной хорошо запомнил время, так как взглянул на часы, — далекий мрачный гул зародился в непроглядных далях, начал медленно катиться к зениту и перекрывать все видимое пространство неба и земли резким и грозным своим раскатом. Это был первый гром.

Потом в тех же мутных далях возникло и тут же погасло мгновенное ослепительное видение гигантского дерева с сотнями перепутанных синих ветвей. Это была первая молния.

Земляной знал о разрушительной силе редких степных гроз. И теперь, глядя на небо, загроможденное непроницаемыми навалами туч, он понял, что строительство вот сейчас, может быть, через какие-нибудь полчаса примет смертельный бой со стихией.

Звон телефонов по всем объектам работ предупреждал о приближении опасности. Чего надо было ждать? Потоков ливневых вод и оплывов грунта.

Ливень мог повредить берега канала. Надо было немедленно вывести из русла машины, чтобы они не завязли и не утонули в грязи.

Кроме того, запертая наглухо перемычками и изрезанная на части, безобидная степная речушка Карповка могла превратиться в бешеный поток и смыть перемычки.

Земляной отдавал распоряжения совершенно спокойно. Он даже ни разу не повысил голоса. Но в его спокойных словах все слышали один только приказ — собрать все человеческие силы и исполинскую силу машин, чтобы отразить нападение природы.

Отряд скреперов, где работала Клава, перебросили на перемычку. Ее надо было наращивать. Никто не мог угадать, до какого уровня дойдет вода в Карповке.

Около перемычки работали и экскаваторы, в том числе и малый экскаватор Прохорова. С Прохоровым у Клавы до сих пор были натянутые отношения.

Клава вела свой скрепер к перемычке. Она прорывалась к ней через слепящие взрывы — то полыхали, как бы надвигаясь заградительным огнем, десятки молний.

Мысль о заградительном огне пришла в голову не только Клаве. Об этом же подумали и Земляной и старый фронтовик Карпов.

— Стена огня! — сказал Земляной. — Лишь бы не было ветра. Иначе людям на машинах придется очень туго.

Земляной вышел на крыльцо управления. Его ждал «газик».

— Нет, — сказал Земляной. — Давайте трактор. С «газиком» мы засядем.

Пока подходил трактор, Земляной смотрел на небо. Ему казалось, что оно медленно падает на землю.

По всей трассе канала вспыхнули огни. Из-за грозы свет был дан раньше времени. Строительство как бы облеклось в световую броню.

Опасения Земляного сбылись. Перед фронтом грозы шел ветровой вал. Вихрь превратил воздух в кромешное месиво из тьмы и пыли.

Непроницаемая пыль ударила в лицо скреперистам. Машина Клавы, лязгая и скрежеща, шла как бы наугад, пока не остановилась у земляного вала. Это была перемычка.

Клава развернула машину, набрала в ковш земли, двинула скрепер на перемычку и услышала стремительно набегающий гул ливня.

Ливень обрушился сразу. Уже нельзя было разобрать, где земля, где небо, где перемычка и где соседние машины. Казалось, что скрепер вертится на крошечном клочке суши. Вокруг чудились пропасти, кипящие черной водой.

Клава, сжав губы, вела машину прямо в эти пропасти, набирала в ковш землю, вползала на перемычку и там сбрасывала свой груз. Она с тревогой думала, что через несколько минут глина под гусеницами трактора превратится в липкую замазку, скрепер завязнет в ней и перестанет работать.

Клава ничего не видела и потому не знала, как подымается вода и близка ли опасность. Она только знала, что машина не должна подвести. Она выжимала из нее всю силу.

Но машина с каждым заходом работала со все большей натугой и даже, как показалось Клаве, начала тяжело стонать.

— Ничего, ничего! — торопливо говорила Клава, успокаивая машину. — Не сдавай! В разлив было хуже. Не сдавай!

Но тянуть скрепер становилось уже не по силам для тягача. Тогда Клава закричала в ярости:

— Ну что ж ты! Буксовать, что ли, будешь? Тяни, тебе говорят! Тяни!

Машина забуксовала на подъеме, остановилась, начала медленно сползать назад и заваливаться на бок в жидкую глину.

Клава резко повернула машину, но она продолжала сползать и заваливаться.

«Ну вот! — подумала Клава. — Сейчас перевернется, вдавит меня в землю — и конец!»

Клава знала, что совсем рядом с ней работает экскаватор Прохорова. Она видела сквозь ливень мутный свет его фар. Но свет этот падал на перемычку в стороне от скрепера, и Прохоров, конечно, не мог знать, что происходит с Клавой.

— Прохоров! — закричала Клава.

Она закричала без всякой надежды, что Прохоров ее услышит сквозь грохот собственной машины и шум ливня. Да если бы он ее и услышал, то чем бы мог ей помочь? Правда, он мог бы достать своей стрелой до скрепера. Ну, и что с того? Ковшом скрепера не зацепишь и не удержишь.

Клава из последних сил держала машину, чувствуя, что от малейшего неосторожного движения она

перевернется и ее засосет в грязь. Время как будто остановилось. И как будто очень медленно луч света с экскаватора начал поворачиваться, пока не упал на скрепер. И так же страшно медленно ковш экскаватора набрал землю, пронес ее над головой Клавы, обдав Клаву потоком жидкой глины, и опрокинул землю под гусеницу Клавиного трактора с той стороны, куда он заваливался.

Клава почувствовала, что машина уже не сползает.

Прохоров привалил к трактору второй ковш земли, быстро увел стрелу в сторону и снова начал наращивать перемычку.

Произошло все это стремительно, хотя Клаве и казалось, что прошло много времени. Клава отвела со лба слипшиеся от глины волосы, сказала срывающимся голосом в пространство: «Ну спасибо, Прохоров», — и вытерла рукавом мокрое лицо.

Глаза сильно жгло. Должно быть, в них попала глина. Не может же быть, чтобы их жгло от слез. В этом Клава не хотела признаваться. Но она плакала, сидя в кабине. Плакала и от пережитого напряжения и от благодарности к Прохорову, которого она недавно обидела, посмеялась над ним перед всем собранием.

«Ишь, — подумала о себе Клава, — чистоплюйка какая! Учительница! Собой залюбовалась на этом собрании. Дура и есть дура!»

Она вспомнила слова Земляного, что в каждом человеке надо прежде всего искать хорошее. А мы сплошь и рядом ищем дурное, как бы оправдывая этим себя в собственных глазах.

Клава прислушалась, пораженная внезапной тишиной.

Ливень так же внезапно стих, как и начался. Только молнии мигали почти непрерывно. От этого все небо над головой горело мутным перебегающим огнем.

В свете молний были хорошо видны перемычка, и экскаватор Прохорова, и тяжело идущий вдоль перемычки незнакомый мощный трактор.

Клава достала из-под сиденья паклю и вытерла лицо.

Вдали на юге небо посветлело. Клава заметила на зеленоватой полосе этого вечернего неба трепетный свет звезды. Она висела, как серебряная капля дождя, на краю черной облачной громады, неторопливо уходившей на север.

Клава с глазами, еще полными слез, засмеялась и расстегнула ворот тяжелого, промокшего комбинезона.

Ясность и тишина омытой ливнем ночи казались ей просто чудом. От земли тянуло прохладой и слабым удивительным запахом, похожим на запах жасмина. Это был запах озона, грозовых разрядов.

Мощный трактор подошел к скреперу и остановился. Из трактора, увязая в грязи, вышли Земляной и Карпов.

— Жива? — спросил Карпов Клаву. — Сама не вылезешь? Постой, я тебе помогу.

Он помог Клаве выбраться из кабины. И тут только Клава увидела, что машина ее стоит на краю глубокой рытвины, залитой водой.

— Прохоров меня спас, — сказала Клава. — Подвалил эту землю и остановил скрепер. А то лежать бы мне в воде под машиной.

— Все кончено, — сказал Земляной, должно быть, не расслышав слов Клавы. — «Буря прошла, гром унесла». Воду сбросили в старое русло Карповки. И завязли всего три машины.

— Прохоров меня спас, — повторила Клава, но Земляной опять ничего ей на это не ответил, а сказал как будто совсем не к месту:

— Знаете, как называются такие ночи с беспрерывной молнией?

— Нет, — ответила Клава.

— Воробьиными. Потому что от ярких вспышек воробьи просыпаются, начинают метаться в воздухе, а потом, когда молнии гаснут, разбиваются в темноте о деревья и стены. Садитесь к нам на трактор. Утром тягач вытащит вашу машину. Тогда отмоете ее и проверите. А что касается Прохорова, то ничего особенного в его поступке я не нахожу. Естественное дело! Ну, поехали!

— Ну и ночка! — сказал Карпов и захлопнул дверь. Ветер рванул ее и попытался открыть, но Карпов схватился за ручку и начал тянуть дверь к себе. Ветер в конце концов уступил, но все же грохнул напоследок в филенку с такой силой, будто ударил тяжелым сапогом. Дверь затрещала.

Карпов прошел в кабинет к Земляному.

— Ну что? — спросил Земляной. — Лепит?

— Еще как!

— Ничего, теперь нам черт не брат! — Земляной улыбнулся и посмотрел на чугунного медведя с озабоченной мордой, сидевшего на чернильном приборе. — Дуй, свисти, беснуйся, вали небо на землю! Мы в бетоне, как в броне. Об него этот степной ветерок пообломает себе зубы.

— Долгожданное время, — заметил Карпов. — Кстати, почему оно называется предпусковым периодом? А не пусковым?

— Не знаю. Спроси Басаргина. Он ревнитель русского языка.

— Ну и правильно, что ревнитель. Поехали!

Они вышли на крыльцо. Ветер воспользовался этим и так размахнулся дверью и с треском припечатал ее к стене, что они вдвоем едва ее закрыли. За это время ветер нанес в коридор столько снега, что он кружился, как туман, около лампы под потолком.

«Газик» смело ринулся в снег и выскочил, весь побелев, на шоссе. Там почему-то было тише, ветер дул спокойнее и снег летел медленно, как по косым линейкам. Множество фонарей сверкало и качалось в степи.

— Представляешь,— спросил Земляной Карпова,— какие здесь случались отчаянные ночи, когда не было строительства?

— А теперь все это ерунда! — ответил Карпов. — И эти бураны и эти ночи. Одна декорация!

С тяжелым воем проносились встречные самосвалы. Чем дальше бежал «газик», тем гуще становились огни. Над ними горела красная звезда.

— Насосная! — сказал Карпов.

Здесь все было знакомо Земляному, до последней выбоины на дороге. Он мог, как ему думалось, пройти тут с закрытыми глазами. Но этой ветреной ночью он не узнавал очертаний насосной станции и других сооружений. Во мраке все они казались громадами окаменелой и изломанной под разными углами тени.

В темноте чувствовалось напряженное движение, катился глухой шум, изредка требовательно покрикивали машины. И снег как бы присмирел от этого. Он падал торопливо, стараясь не задерживаться и не мешать людям. И так же поспешно таял.

«Сейчас, — подумал Земляной, — налево от дороги будет валяться вросший в землю изогнутый рельс и рядом с ним старая покрышка от автомобильного колеса».

Этот рельс и покрышку Земляной видел по двадцать раз в день. Сначала они его раздражали, но он понимал, что не стоит придираться к таким мелочам, и потому не распорядился их тотчас убрать. Потом он привык к ним, а однажды весной даже обрадовался, когда увидел, что в совершенно ничтожной тени от покрышки вырос какой-то желтый замухрышка-цветок.

Земляной вглядывался в обочину дороги, освещенную фарами. Рельса все не было.

— Здесь валялся рельс, — неуверенно сказал он шоферу. — Проехали мы его, что ли?

— Да его сегодня убрали, — ответил шофер.

— Как убрали?

— Да это ж временная дорога, товарищ начальник, — сказал шофер. — Ее завтра закроют. Вот и прибрали все по сторонам.

— Спасибо за новости! — насмешливо пробормотал Карпов, а Земляной подумал, что действительно временная эта дорога будет завтра закрыта за ненадобностью, к весне она зарастет травой, по каналу откроется движение, строители уедут и никто никогда и не вспомнит о такой малости, как этот рельс. А вот он будет его иногда вспоминать — ведь каждый раз, когда он ехал на плотину, шлюз или насосную станцию, он видел этот рельс. Странное существо человек! Вот закончен канал, шлюз, завтра будет пущена на-

сосная станция, и он, Земляной, конечно, понимает, что это уже конец огромных работ, длительных усилий. Но почему-то особенно ясное ощущение конца строительства вызывает у него исчезновение этого старого рельса.

На станции было людно. Монтаж гигантских пропеллерных насосов закончился. Сегодня ночью решили опробовать их и проверить в действии.

Монтажники в последний раз осматривали механизмы. Земляной с Карповым прошли сначала к подходному каналу. Там землесос снимал последнюю земляную перемычку, чтобы открыть донской воде путь к станции. Убедившись, что все в порядке, Земляной прошел с Карповым в здание насосной станции, в маленькую бетонную комнату, где помещались пусковые приборы.

Там было очень светло. Лампа под потолком сверкала, как белый бенгальский огонь. Снаружи на стеклах быстро таял снег и сбегал извилистыми ручейками. Казалось, что он так быстро тает от нестерпимого света этой лампы.

Около приборов возился старый монтажник Захар Петрович. Он посмотрел на Земляного поверх очков.

— Нижайшее почтение, — сказал он. — Вот сейчас последнюю точность подгоним и тогда пустим. Точность, насколько я понимаю, — основа технического прогресса, товарищ Земляной.

— Волнуетесь? — спросил Земляной.

— Примерно, как и вы, — ответил Захар Петрович. — Как-никак, а рождается механизм. Его надо собрать и обрядить, как мать собирает сына в дорогу. С заботливым сердцем. Вот, скажем, сердце. Точнейший прибор! Сдвиньте на миллиметр сердечный клапан — и все! Безвозвратная смерть. Только сердце у человека одно, а у наших машин их у каждой по нескольку. И все они должны биться удар в удар.

Земляной слушал рассуждения старого монтажника и усмехался. Он уже много раз испытывал невыносимую тревогу при пробе новых мощных механизмов. И хотя он знал, что в конце концов все наладится, но не мог заставить себя не волноваться.

Земляной закурил и начал ходить из угла в угол белой бетонной комнаты. Он взглянул на окно и увидел, что снег уже не падает. Это почему-то его успокоило. Как будто снег имел какое-то касательство к работе насосов!

Послышались голоса. В комнату вошел Басаргин с несколькими инженерами-монтажниками.

Басаргин зажмурился от яркого света, вынул платок и вытер мокрое лицо.

— Не выдержал, — сказал он Земляному и вздохнул. — Хотел приехать завтра к пуску станции, но решил посмотреть первую пробу. Благо есть время.

— Последняя перемычка только что срыта, — сказал Земляной. — Донская вода заполнила камеры станции.

— Так! — сказал Басаргин и сел к столу.

Все ждали, что он скажет, но он задумался и только чуть слышно постукивал пальцами по пустой коробке от папирос, валявшейся на столе. Он думал об огромном количестве усилий, приложенных тысячами строителей к сооружению канала. И вот среди миллионов этих усилий, среди миллионов ковшей земли и кубометров бетона, среди неисчислимого количества ударов электровибраторов возникает одно последнее усилие, вынимается последний ковш земли — и строительство с этой минуты прекращается, а начинает жить во всей своей сложности и грандиозности новое сооружение. Для нас трудно, пожалуй, почти невозможно увидеть последнюю каплю дождя. Так же трудно уловить это последнее усилие человека, дающее жизнь сооружению.

— Да, — сказал Басаргин. — Пуск! Как будто простое слово...

Земляной встал.

— Разрешите включить первый насос? — спросил он Басаргина.

— Включайте!

Земляной подошел к контакту. Он положил на него руку и оглянулся. За открытой дверью толпились рабочие. Среди них Земляной увидел Клаву, Гармаша,

Прохорова и неуловимого товарища Зензинова — краснощекого и всегда сияющего человека.

— Ну, в час добрый! — сказал Захар Петрович и сдернул с головы кепку.

Басаргин нажал контакт, и он вдруг как бы тихо запел у него под рукой. Постепенно это пение перешло в широкий, нарастающий гул, в могучий, торжественный голос машины. Под ногами у Земляного начала бушевать и биться вода.

Он держал руку на контакте и как бы чувствовал вздрагивающий, стремительный, уносящийся в пространство ход насоса.

Карпов подошел к окну, поднял его, и в комнату ворвался плеск и гром водопада: донская вода наполняла первое водохранилище на канале. Свет красной звезды, зажженной над насосной станцией, струился в потоках этой воды, как бы пытаясь оторваться и уплыть вместе с ней, но тотчас возвращался обратно.

Все молчали, слушая живое биение воды, заполнявшее ночь. Гул катился в степные дали, будто свежий морской прилив.

В этот ночной час проснулась у себя в хате старуха Сидоренко. Она встала, накинула платок и подошла к окну. Она прижалась к нему лицом, отшатнулась и крикнула:

— Кондрат!

— Что тебе? — спросил спросонок старик Сидоренко.

— Вставай, Кондрат! Вода пошла по степи.

Величественный гул воды уверенно несся над землей, захватывая ее все шире, все дальше. И как бы от этого гула сами по себе зажигались огни в домах. Люди просыпались, торопливо выбегали в ночь, кричали друг другу: «Вода! Слушайте!» По всему поселку взволнованно лаяли собаки, без времени перекликались встревоженные петухи, мычали, захлебываясь, коровы, просили, чтобы их выпустили из темных загонов.

Вода шла. Несмотря на темную ночь, ее движение было видно людям. На присыпанной снегом белой впадине — сухом дне водохранилища — быстро росло

черное пятно. Оно расползалось, вклинивалось языками в снег, подступало к берегам. Вода съедала снег. Он шуршал и таял на глазах. В мелкой воде уже засверкали и заколебались во всю ширину разлива огни насосной станции.

Утро пришло туманное, тихое. Снег за ночь растаял. И неведомо откуда — то ли от сырой земли, то ли из балок, а может быть, от донской воды, заливавшей водохранилище, — тянуло запахом ранней весны: слежавшихся листьев, мокрой лозы, горьких подземных стеблей.

Сквозь редкий слой облаков просвечивало бледное солнце. Под ним белой фольгой светилась только что появившаяся на свет гладь нового озера. И все так же мерно и мощно гудела, прибывая, вода.

НОВЫЙ ПУТЬ

Перегоревшая степная земля впервые почувствовала холодноватое прикосновение донской воды.

Карповское водохранилище все ширилось, становилось все глубже. Железные плавучие бакены, что вчера еще лежали на земле, уже поднимались на воде, как поплавки, и их покачивали первые волны.

Так зарождался новый великий водный Волго-Донской путь, призванный соединить с Азовским и Черным морями тридцать тысяч километров наших судоходных рек — от Невы до Северной Двины и от Оки до Урала.

Приближались те удивительные дни, когда от Охтенской пристани в Ленинграде и белых набережных Архангельска пароходы будут отваливать в прямые рейсы до далекого южного Ростова, а затем и до прибрежных городов Азовского и Черного морей.

Мачты морских пароходов с сигнальными огнями будут проплывать через лесные и луговые просторы России, через те места, что еще недавно были вековой

глухоманью. Лоси будут испуганно прядать ушами, прислушиваясь к морским величавым гудкам. Эхо будет перекатывать эти гудки над непролазными чащами волчьей ягоды и над разливом лесов, и от этого эха будет вздрагивать внезапной черной рябью вода ночных болот.

Знаменитые шекснинские соловьи будут приветствовать морских гостей своим переливчатым громом, а приокские луга — запахом цветущего росистого шиповника.

Из задумчивого сумрака белых ночей эти пароходы уйдут под черное, пылающее крупными звездами южное небо. Запах виноградных листьев, полыни и акации смешается в каютах с запахом сосновой коры и медуницы.

Пароходы как бы будут брать огромные разрезы Советской страны в пространстве. Десятки наречий будут слышны на их палубах. Десятки городов будут проплывать мимо пароходов, уходя в речные дали, — городов, овеянных и древней и новой славой, кипучих и живописных.

Пожалуй, не будет ничего более заманчивого и увлекательного, чем эти плавания. И ничего более поучительного для нашей молодежи.

Эти пароходы станут своего рода плавучими «университетами», теми университетами жизни, о которых говорил Алексей Максимович Горький.

И с зеленеющих круч приволжского города будет с суровой нежностью улыбаться нашей молодежи, опираясь на трость и сняв широкополую шляпу, высокий, чуть сутуловатый бронзовый человек — великий гуманист и писатель.

ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА

Пришли назначенные сроки. Строительство закончилось. Новый водный путь был открыт. Люди убрали последние строительные леса. Мощные триумфальные арки шлюзов поднялись к южному небу во всей торжественности своих архитектурных линий и объемов.

Солнце впервые вставало в синеватых туманах над только что рожденным и тихо шумящим Донским морем.

Каждый человек, вложивший свой труд и свое сердце в это величественное сооружение, на минуту замолк и задумался. О чем? О том, что нет в мире большего душевного удовлетворения, чем сознание достигнутой цели. О том, что выполнен долг перед современниками и перед потомками. О том, что мало любить Родину, а нужно жить и работать так, чтобы Родина любила тебя.

Только что было закончено и сооружение триумфальной арки над входом в канал на участке Земляного. Бетонщиков и монтажников сменили каменщики, гранильщики, лепщики и мастера по бронзе.

Земляной с увлечением изучал архитектурные чертежи. Его кабинет был теперь завален образцами мрамора, порфира и бронзы. Это были, как с легкой грустью говорил Земляной, «последние гости на строительстве».

Действительно, это были последние строительные материалы, призванные закрепить в монументальном сооружении содержание и мощные пропорции эпохи.

Арка была готова. Земляной ждал Басаргина. Начальник обещал приехать к концу дня, чтобы ее осмотреть.

Начинало уже темнеть, а Басаргин все не ехал. Земляной начал нервничать. Ему хотелось, чтобы Басаргин увидел арку во время заката. Она казалась в свете заходящего солнца отлитой из темного тяжелого золота.

К Земляному зашла Клава. Она изменилась за последний месяц, стала строже. И глаза у нее были теперь спокойные, прозрачные, без прежнего задора.

«Повзрослела наша Клава», — подумал Земляной, а вслух сказал:

— Собираешься?

— Да. Завтра еду в Москву. Буду учиться, товарищ Земляной.

— Ну, смотри, не упускай его... свое счастье.

Он протянул Клаве руку. Клава схватила руку Земляного и прижалась к ней лбом.

— Ну, ну! — сурово сказал Земляной. — Счастье найти не так уж трудно. Вот сберечь его гораздо труднее.

За дверью послышались голоса. Клава крепко пожала руку Земляного и выпрямилась. Вошел Карпов.

— Что же это Басаргин? — спросил он. — Что он думает? Осматривать арку при дымных факелах, что ли? А, Клавочка! Здравствуй, голубушка, перелетная птица. — Он повернулся к Земляному. — А ты сидишь среди этого мрамора и бронзы, как полководец. Вот так бы написать твой портрет. Очень бы получилась выразительная картина.

Карпов взял обломок розового с черными жилками мрамора и взвесил его на руке:

— Чудесный все-таки материал!

— Мне вспомнился, — сказал Земляной, — случай с Маяковским. Он проезжал ночью на машине по одной из московских улиц и увидел вывеску над магазином: «Сказочные материалы». Дома он все время думал об этой вывеске и создал в своем воображении целую поэму об этих сказочных материалах. Наутро он пошел к этому магазину, чтобы проверить, действительно ли есть такая вывеска, и увидел вывеску: «Смазочные материалы». Вот какая получилась история!

— Это ты к чему рассказал? — спросил Карпов. — Куда ты гнешь? Не понимаю.

— Я гну к тому, что нет разницы между смазочными и сказочными материалами. И к тому, что самый сказочный материал даже не эта бронза и мрамор, а бетон.

Карпов настроился было поговорить, но в кабинет вошел Прокофьев, а за ним Гармаш, и разговор пошел совсем о другом, — о том, как осветляется вода в водохранилище.

Басаргин приехал уже в темноте. Он извинился, сказал, что задержался из-за разговора с Москвой и что арку можно посмотреть и ночью.

— Зажжем прожектор, — предложил он не совсем уверенно. — Пожалуй, увидим даже кое-что лучше, чем днем.

— Это мысль! — согласился Земляной.

Все пошли к арке. Последний отблеск дня угасал в степной дали. Громада арки темнела над каналом.

Потом белый, как бы сотканный из множества живых серебряных нитей, свет прожектора упал на подножие арки, прошел по ее могучим обводам, по спокойным линиям колонн, по слабо блеснувшим бронзовым капителям, по плавному и торжественному своду и широкому фризу.

Все молча смотрели на арку.

— Ну что ж, — сказал, наконец, Басаргин и закурил. Рука его с зажженной спичкой вздрогнула. — Поздравляю вас всех, товарищи, с окончанием большого труда! И благодарю. И от себя и от всех...

Басаргин быстро повернулся и пошел в степь, в темноту, где стояла машина.

Земляной сделал несколько шагов вслед Басаргину и остановился. Он понял, что сейчас нельзя ни о чем говорить с Басаргиным и лучше оставить его наедине с собой.

1952—1956

ВЕШНИЕ ВОДЫ

Магазин сельпо помещался на втором этаже старого кирпичного дома. Полая вода подошла к самому косогору около магазина. Из широкого окна магазина был хорошо виден рябой от ветра разлив, терявшийся в теплом сером дыму. Дым стлался по воде из прибрежного села.

Во время разлива в сельпо всегда было особенно людно и шумно. Народ приходил и за покупками к первомайским праздникам и просто так — посмотреть на большую воду и поговорить о разных разностях. Такой разговор всегда был очень интересным, потому что задевал множество неожиданных вещей, или, как выражался продавец сельпо Семен Иванович, «обстоятельств быстротекущей человеческой жизни».

Семен Иванович, прислушиваясь к разговорам, просыпал иной раз на прилавок крупу или ошибался, щелкая костяшками на счетах. Тогда он говорил без злобы, но со вздохом:

— Мелют и мелют под руку. Как только языки не отсохнут! Откуда у людей материал берется для этакого словесного помола!

— А ты не слушай! — кричал в таких случаях Семену Ивановичу кто-нибудь из посетителей. — Ты свое

дело делай, не зевай. Народ разговаривает, его не остановишь.

— Факт! — говорил колхозный плотник Иван Потапыч. — Пойди останови полую воду, когда она что ни день, то прибывает. Жизнь нынче размахнулась, как большая вода. Вот и шумит народ.

А иная сердитая старуха гневно шамкала, поглядывая на Семена Ивановича:

— Ишь чего выдумал! Перед праздником людям рот затыкать!

— Да ну вас! — отмахивался Семен Иванович. — Говорите, хоть перервитесь! Мое какое дело.

Разговорщики обычно рассаживались на деревянной, блестящей от старости скамье и, прежде чем вступить в беседу, обязательно скручивали цигарки из махорки и замечали:

— Да-а! Вот, значит, нынче какие дела!

— Дела как смола! — соглашался кто-нибудь из завсегдатаев сельпо. — От них языка не отлепишь.

После этого вступления начинался самый разговор. Говорили о разливе, семенах, о том, что пришли новые торфяные машины, о том, что коровы, чуя весну, просятся на волю и ревут целыми сутками по хлевам, о празднике — сейчас, говорят, в Москве будет такое веселье, что и здесь будет слышно, о новых пароходах на Оке («белые, ну, прямо, как невесты какие-нибудь»), о новом доме для учителей, о том, как сажать сады и настаивать целебные травы.

В сельпо висел дым от курева, а снаружи в серости и тишине остановилась весна, как бы прислушиваясь к тонкому звону сока в стволах деревьев. Говорят, если приложить ухо к березе, то можно даже услышать этот слабый звон. Да мало ли что говорят! Бывает, и придумывают. Но весна все равно над землей притихла, как бы стараясь уловить собственное дыхание. И, может быть, от этого неприметного дыхания осыпается в чистую воду желтая пыльца с цветущих распушившихся верб.

Мне все кажется, что тот человек, какой не видел цветущей вербы над затихшей водой и не заметил ее чистого отражения в этой воде в такой теплый денек

с нависшим серым небом, никогда не поймет, что такое наша русская застенчивая весна. Так же, как и тот человек, что не вдохнул холодноватого, почему-то чуть пахнущего нефтью воздуха над разливом. Или не приметил, как на глазах ползут из-под перепрелого палого листа, нагретого еще не набравшим полную силу солнцем, зеленые иголки травы.

Есть много признаков весны, но один из самых верных — это пристальное и радостное внимание, пробуждающееся в человеке к каждой лопнувшей почке, к каждому еще бледному и сморщенному листку, к каждой капле воды, слетевшей наискось с крыши и на мгновение блеснувшей в глазах, как маленькое белое солнце.

Поэтому и разговоры в сельпо были больше всего о весне.

Как-то в сельпо пришла девочка Паша. Была она сиротой, воспитывалась и выросла в колхозном детском саду, а потом ее удочерила почтальонша Груня, известная в селе своей степенностью.

Колхозный сторож Дмитрий Макарыч, человек старый и незлобивый, купил большой розовый леденец и подарил Паше. Девочка потупилась, покраснела, взяла леденец и сказала шепотом: «Спасибо вам, дедушка Митрий».

Поступок Дмитрия Макарыча, естественно, вызвал всестороннее и оживленное обсуждение, тем более что, подарив Паше леденец, Дмитрий Макарыч не удержался и рассказал девочке одну из тех незамысловатых сказок, какими так богата наша среднерусская область.

— Ты его, леденец этот, — сказал Дмитрий Макарыч Паше, — прибереги к празднику. Сейчас не надкусывай.

— Нет, дедушка, — радостно ответила Паша, — я его пробовать не буду. Я его схороню.

— Послушная! — сказал Дмитрий Макарыч, обращаясь ко всем посетителям сельпо, и повторил: — Тихая девочка, послушная. А почему? Потому, что росла сиротой.

— А ты бы полегче, — заметил белый, как лен, старик Малявин.

— Да она же это знает, про свое сиротство, — возразил, оправдываясь, Дмитрий Макарыч. — Очень даже прекрасно знает. Так вот, Паша, ты слушай. Бывало и так в старое время, что мачеха над сиротами бесперечь измывалась. И день и ночь. Тебе это неизвестно, потому что выросла ты, как говорится, за счет государственной заботы. Я сам сиротой был. Я старое воспитание хорошо знаю, — где скалкой по загривку, а где и ухватом по черепку. Вона! Шрам у меня на всю жизнь остался от мачехиного ухвата.

Дмитрий Макарыч снял шапку, но шрама не показал, а снова небрежно надел шапку на косматую голову, где седина смешалась с рыжим волосом и потому никак нельзя было определить, к какой же «масти», как он сам выражался, принадлежит Дмитрий Макарыч.

— Так вот слушай. Измордует, изобидит мачеха сироту. А ему податься некуда. Из дома не сбежишь. Кто тебя приютит, пригреет, когда голь была по селам такая, что голову прикрыть нечем, не то что лишний рот прокормить. Одно утешение — уйдет сирота в луга, сядет на холодную землю, выплачется. Пожаловаться — и то некому. Ветер по лугам пробежит, покачает всякую траву и улетит озоровать на озера, гонять волну, трепать ольшаники. У него один ветер в голове, у ветра. В одно ухо впустил, в другое выпустил. Вот и пойди, пожалуйся ему, ветрогону. Бесплодное занятие! Кому же еще жаловаться? Тучи плывут над головой в небесах, так и им нету никакого толку жаловаться. Что они могут! Поплачут вместе с тобой, прольются дождем и только тебя намочат. Продрогнешь ты от ихней ласки, застудишься. Зуб на зуб не будет попадать. А трава глухая. Она голоса человеческого не поймет. Вот и сидит сирота, плачет, потом вытрет глаза рукавом и поплетется обратно к мачехе, — хоть ночь на полу у печки провесть, не в холоде, не в сырости. Вот, значит, какая слагалась жизнь у сирот.

Паша слушала Дмитрия Макарыча, глядя на него испуганными глазами.

— А ты не пугайся, — сказал Дмитрий Макарыч. — Земля как-никак, а сирот жалела. Недаром зовем мы

землю от самой древности матерью. Так и пели: «Мать — сыра земля». Ты этого не помнишь. Да и знать тебе этого не следует.

— А как же она их жалела, дед Митрий? — спросила Паша хриплым от волнения голосом. — Привечала или кормила?

— И то и другое. Где упадет сиротская слеза, там обязательно вырастет цвет мать-и-мачехи. Небось видала? Лопух у него большой. Сверху темный, а внизу — вроде в серебряном ворсе. Сверху тот лопух холодит, а ты подсунь под него руку, так там он теплый-теплый, и от него жар идет. Как от печки. Вот вырастет такой лопух, прикроет сироту — ей и теплее становится. Глянет сирота по сторонам, а кругом луговая клубника лежит на листочках, просится, чтобы сирота ее съела. Ну, а теперь ступай. Неси леденец в избу, прячь.

Паша несколько мгновений стояла потупившись, потом подняла голову, улыбнулась Дмитрию Макарычу и убежала. Улыбка у нее была, как солнечный луч, что внезапно упал в хмурый день на куст цветущего боярышника. Стоял куст тихий и незаметный и вдруг весь вспыхнул, весь засветился росой, белым блеском цветов. И, будто засияв, даже сказал вам шепотом: «Здравствуйте! Счастливой вам дороги по нашим лугам и лесам!»

— Ты это к чему побаску такую рассказал? — спросил Дмитрия Макарыча продавец Семен Иванович. — Все мудришь, все водишь вокруг, плетешь, а особого смысла в твоих словах не видно.

— Эх ты, работник торговой сети! — с досадой ответил Дмитрий Макарыч. — Тебе бы все на рубли считать. Да на вес. Смыслу не видно! — передразнил он Семена Ивановича. — Я к тому говорю, что были мы сиротами? Были! Гнуло нас в дугу, как лозинку? Гнуло! Кто нам помогал, как полагаешь? Ни черт, ни царь, ни бог. Кулик один на болоте посвистит, пожалобится с нами вместе, — у него тоже жизнь невеселая, ходи по колени в стылом болоте. А теперь от этого сиротства осталась одна память, как старый навар на воде.

— Это, Семен Иванович, по-своему понимать надо, — сказал дед Малявин. — В каждой побаске или там сказке содержится переносное понимание.

— Намек? — спросил Семен Иванович.

— Вот-вот! — закричал Дмитрий Макарыч. — Намек! Кисли мы в сиротстве своем, а пригрело нас хорошей жизнью да заботой, мы и выпрямились. Я о стариках говорю. Молодым — тем с колыски новая жизнь свое лицо кажет.

— С вами, — сердито сказал Семен Иванович, — окончательно мозги спутаешь. Вроде как и правильно у вас получается, но только неясно.

— Что с нас взять, с сиволапых! — насмешливо ответил Дмитрий Макарыч. — Свой брат поймет, а кто не поймет — с тем нам чарку не пить.

— Верно! — зашумели завсегдатаи, а Семен Иванович плюнул и сказал:

— Мелют и мелют! Откуда только оно берется, красноречие ваше? Пришел ты, Дмитрий Макарыч, в сельпо, так и делай дело, покупай товар к празднику.

— А что ж, — согласился Дмитрий Макарыч. — Я и куплю. Старуха мне список дала. Так что вот давай по этому списку.

Дмитрий Макарыч положил на прилавок длинный листок бумаги, исписанный красным карандашом.

— А сказки, брат, ты не черни, — сказал он спокойно.

— Нету мне времени ваши побаски выслушивать! — ответил Семен Иванович. — Я при деле.

— А мы не при деле? — спросил Дмитрий Макарыч. — Ты что-то, милок, зазнаваться стал. Я давно примечаю, — живет человек, как человек, а допусти его до товару, до сахару и вина, так он и начинает нос драть. Не твой товар! Государственный.

— Ну, будет, будет! — зашумели слушатели. — Не к чему нынче ругаться.

Семен Иванович надел очки, с сердитым видом начал разбирать список Дмитрия Макарыча.

Все замолчали. За окнами посветлело. Весь разлив вдруг засинел, заиграл, пошел загораться блеском, и над ним, разрываясь в дымные пряди, понеслись легкие облака.

1953

ДНЕПРОВСКИЕ КРУЧИ

Все прошлое лето я прожил на Днепре, недалеко от Триполья, в хате старого рыбака «дида» Мыколы.

Дед этот был хорошо известен на двадцать километров от Триполья и вверх и вниз по Днепру как опытный рыбак и пасечник, как балагур и певец.

Когда дед Мыкола, выпив добрую стопку калганивки, запевал на приступке своей хаты «Распрягайте, хлопцы, коней, та лягайте спочивать!», то громовой его бас был слышен даже по ту сторону Днепра, на Полтавщине.

Престарелые рыболовы в соломенных шляпах-брылях, удившие с валких своих челнов по протокам-«скризнякам» и глухим заливам, крякали от восхищения и говорили:

— Ну и голосище! Щось страшнэ! Мабудь, от того голоса и в самом Киеве де яка людына злякаеться.

Больше всего дед Мыкола любил петь про высокую гору и гай, что стоит под этой горой — «зеленый гай густесенький, неначе справди рай».

Песни свои Мыкола пел обыкновенно под вечер, когда пламенели от заката рудым золотом и медью далекие днепровские горы и кручи, а за ними вздымались к небу громады разноцветных облаков.

И, медленно вспыхивая и угасая, полыхали в тех облаках и тучах зарницы.

Почти каждый вечер они без устали мигали по-над Днепром, и отдаленный гром перекатывался над темнеющими речными плесами. От этих протяжных перекатов вечер, казалось, сразу свежел, и все затихало, дожидаясь дождя. Изредка слух улавливал то тут, то там удары тяжелых, как олово, капель по густой листве прибрежных дубов.

Но дождь никак не мог разойтись. К полночи тучи редели, небо покрывалось рябью легких облаков-чешуек, и сквозь них начинали просвечивать звезды. Они медленно разгорались и потом уже спокойно сияли над смутной белизной песков и зарослями до самой утренней зари — зеленоватой, туманной и одинаково прекрасной под всеми широтами.

Рядом с хатой деда Мыколы жил на берегу Днепра, на своей новой даче, известный драматург — человек веселый и деятельный. И вот однажды осенью произошел у этого драматурга с дедом Мыколой некоторый неожиданный разговор.

Осенью, как водится, бывает по ночам много падающих звезд. В давние-предавние времена люди выдумывали про эти звезды всякую всячину. То будто чистые души младенцев слетают к нам на грешную землю, то будто сиротка уронила с неба ворох райских цветов. Но больше всего люди верили в то, что падающие звезды приносят счастье. Стоит только задумать, пока не погасла звезда, самое заветное свое желание, и оно будто бы непременно исполнится.

Драматург подозревал, конечно, что дед Мыкола в глубине души верит всякой всячине про падающие звезды, и, как человек интеллигентный, решил разоблачить эту всячину и приобщить деда Мыколу к астрономии. В этой науке была ясность, свойственная безоблачной ночи, и блеск, свойственный кристаллическому блеску звезд.

И вот однажды вечером, когда дед Мыкола зашел к драматургу поговорить про жизнь и всякие происшествия и они вдвоем сидели на темной террасе, как на грех медленно пролетел над Днепром огненный

шар и упал, закатился в непроглядную тьму. Это был, должно быть, метеор.

Лучшего случая, чтобы изложить деду Мыколе основы астрономии, нельзя было и придумать. Драматург начал тотчас, сам увлекаясь своими познаниями, рассказывать деду про метеор. Мыкола терпеливо слушал и соглашался: «Оно, конечно, так! Это, конечно, правильно».

Когда драматург, наконец, остановился, чтобы перевести дух, дед Мыкола сказал вежливо, но твердо:

— Оно, конечно, так. И вам как будто виднее, чем мне. Но только скажу вам, что то упал никакой не метеор, а болид, а между ними есть некоторая разница. И ту разницу я вам сейчас объясню так, чтобы было совершенно понятно.

Драматург взглянул на деда Мыколу с испугом и недоумением. По мере развития разговора драматург даже начал краснеть от смущения.

Дед Мыкола помолчал.

— Якой же то метеор, когда он летит не спеша? Так летит только болид. Я вам все это могу представить в полном соответствии с наукой, поскольку у меня в хате двенадцать годов подряд жил летом известный астроном профессор Делоне со своим телескопом. И я то самое небо знаю с той поры, как собственную клуню. Вот вам, может, неизвестно, как люди открыли планету Нептун, так я сейчас и об этом объясню по всей строгости знания. Кабы был тут телескоп хороший, то, может, я бы и нашел на небе тот Нептун, хоть он и представляется очам вроде самой что ни на есть малесенькой песчиночки.

Драматург, по его собственным словам, совсем «прижух» от неожиданности, а дед Мыкола, раскуривая цигарку, начал рассказывать ему про всякую всячину — и о переменных звездах и о галактике... Окончив астрономический разговор, дед сказал на прощание:

— Так что прошу прощения, но только нет в этой астрономии никакой великой трудности. И если взяться за дело как полагается, так и самый наш престарелый и бестолковый колхозный дед Цвирка все зрозумеет и до всего докумекается.

Со мной дед Мыкола астрономических разговоров не вел, но любил поговорить о людском труде и земледелии. На этот счет у него были на первый взгляд неожиданные мысли.

Разговор начался по пустому поводу — из-за коз, обглодавших на берегу Днепра всю лозу. Вместо пышных зарослей, еще недавно купавших в воде узкие и как бы присыпанные серебряным налетом листья, теперь на берегу стояли сухие и поломанные прутья.

— Вот,— сказал дед Мыкола, — какая была тут прелесть, а теперь торчит одно безобразие! Я бы тех коз, гадюк, порубал бы своими руками. Истинно говорю вам, пострелял бы их без всякого сомнения.

— Чего же это так? — спросил я.

— А потому, что они людей печалят, и человеку делается противно проживать в тех местах, где вместо лозы лезут из земли те чертовы дрючки. И скажу вам откровенно, — человеку противно не только проживать в тех местах, где посохли да вырублены кущи, а еще и трудно работать. Один труд — в зеленой леваде, а совсем инший труд — на поганом болоте. Где тот труд лучше — сами должны понимать. Как говорится, окружение действует на человека. Лоза эта, вы скажете, пустяки. Да от тех пустяков скребет у людей на сердце.

Я сначала удивился этой чувствительности деда Мыколы к столь незначительному явлению, как гибель лозы. Но из дальнейшего я понял, что Мыкола, заговорив со мной о лозе, только «делал надлежащий подход», как он любил выражаться, к большому разговору.

— Вот, — продолжал он, помолчав, — к примеру, пчела. Она в грязный или, скажем, в сырой улей меда не принесет. Так и человек. Работать следует споро, весело, прытко, особенно в нашем деле, в колхозном и хлеборобском. А для такой работы нужно, чтобы человек жил посередь красоты. И хата должна быть у него чистая, как невеста, — вся в шитых рушниках. И печь должна быть теплая и расписанная пивнями и мальвами. И пахнуть должно в той хате мятой и очеретом. И сад должен сыпаться белым цветом

по весне за порогом. И по тыну должен завиваться кудрявый хмель. Тогда на душе делается хорошо и привязанность рождается до своей земли и своего дела. А дай человеку для проживания барак или, скажем, сунь его в такое село, где нечем глаз приласкать, он зажурится, или, как говорится по-русски, затомится, и будет ему работа казаться тяжелей. Так-то! Вот был у нас лес, а теперь мало осталось того леса, и у людей болит на сердце, и якось хуже стало существовать и работать в наших местах.

Дед Мыкола подозрительно посмотрел на меня.

— Вы над этой моей думкой не смейтесь и не шуткуйте. Я уже живу седьмой десяток годов. Пустое думать или говорить мне было бы совестно. Все в своем соответствии имеет значение. Как заскучает человек — ему копейка цена. И работе его — копейка цена. Соображать надо, чтобы устройство нашей жизни было приятное, чтобы человек весело ходил по земле, чтобы ему хотелось петь и в хате и в поле. Это — слухайте внимательно! — дело проверенное.

Я вскоре забыл об этом разговоре с дедом Мыколой. Мало ли было разных разговоров с ним и в хате и на реке. Но поздней осенью я вспомнил этот разговор в Киеве на съезде писателей Украины.

Осень выдалась небывалая — сухая, хрустящая палым листом, густо залитая небесной синевой и почти не тронутая ветрами. Но об этом я рассказывать не буду, потому что осень тут совсем ни при чем.

На съезд приехал с Каховского строительства известный наш кинорежиссер и писатель, человек, как говорится, «чертовски» талантливый и неспокойный.

Если бы дети могли понимать до конца разговоры взрослых, то они, конечно, считали бы этого режиссера настоящим колдуном и волшебником. Потому что, где бы и когда бы он ни появлялся, он всякий раз привозил с собой множество новых мыслей и удивительных рассказов. Слушать его можно было бы сутками, лишь бы хватало у людей для этого сил.

Иные люди говорили, что режиссер этот мог бы тягаться по части острых наблюдений и чудесных рассказов с самим Николаем Васильевичем Гоголем.

Режиссер жил на Каховском строительстве и писал об этом строительстве сценарий, с тем чтобы самому его и поставить.

По своему редкому качеству быть всегда шире намеченной для себя работы режиссер, живя в Каховке, много думал об орошении земель и о подъеме нашего земледелия.

И вот, объехав все строительство и изучив его, он пришел к некоторым удивительным на первый взгляд выводам. Он изложил их в форме докладной записки и привез с собой этот доклад в Киев.

Сущность этого доклада сводилась к следующему. На дне будущего Каховского моря снесено много тысяч крестьянских хат. Людей переселяют на возвышенные места, на днепровские кручи, где строят сейчас новые колхозные села.

Вот об этих новых селах режиссер и писал. Они были построены по типовым проектам и выглядели казарменно и уныло.

Одинаковые скучные дома стояли в степи длинными шеренгами в три-четыре линии на математически точном расстоянии один от другого. Дома эти не были огорожены, потому что архитектурный проект даже не предусматривал никаких оград. Получался шахматный поселок, расставленный на огромном выжженном пустыре.

В этих селах не было центра и не было хотя бы одного приметного высокого сооружения, — никакого ориентира. В старину такими ориентирами были колокольни. Сейчас нужно было строить хотя бы башни с часами. Плоская степь невольно наводила на мысль об одном-двух таких приметных вертикальных зданиях в каждом селе.

Режиссер справедливо писал, что у людей нет и не может быть никакой охоты жить в этих угрюмых и неотличимых друг от друга домах, где не росло вокруг ни одного деревца.

В нашей гигантской работе по подъему земледелия, говорил режиссер, нужно думать не только о новых, совершенных методах работы, но и о настроении и состоянии людей.

В этом мысли режиссера соприкасались с мыслями деда Мыколы. И тем и другим руководила простая народная мудрость.

Новые села, писал режиссер, должны быть живописными, разнообразными и уютными. Почему в новых селах нет переулков, поворотов, зарослей, садов? Почему живописность уступила место деляческой сухости и какой-то мертвой скаредности мысли у архитекторов, строивших эти села? Почему при постройке их не была принята во внимание живая душа человеческая? Неужели мы можем мириться с таким пренебрежением к колхозникам, которые, как, очевидно, думают строители таких сел, только рабочие руки, не чувствующие красоты и нисколько в ней не нуждающиеся. Пока не поздно, нужно в корне переменить это дело и приостановить насаждение уныния в нашей такой шумной и богатой жизни.

Когда я слушал режиссера, мне невольно припомнились слова деда Мыколы: «Один труд — в зеленой леваде, а совсем инший труд — на поганом болоте».

Разговор этот происходил в одном из пышных киевских садов над Днепром. Летняя зеленая пышность этого сада сменилась сейчас пышностью осени.

В голубеющем тумане сверкали внизу голубеющие воды Днепра в оправе бронзовых рощ и лесов. И вся даль поблескивала серебряным свечением, должно быть от летящей по воздуху паутины.

Седой режиссер поднял трость и показал на юг. Там сверкало уже низкое по осени, но ослепительное солнце.

На лице режиссера я заметил сосредоточенное и радостное выражение. Таким всегда бывает лицо человека, взволнованного зрелищем любимой родной земли.

— Мы хотим, — сказал режиссер, — добиться расцвета труда. А для этого мы должны украсить жизнь людей и украсить нашу землю. Это бесспорно.

1954

СТРАНСТВИЯ

ПРИАЗОВЬЕ

ПОРТ В ТРАВЕ

Над Таганрогом темнеет ночь, дует «сгонный» ветер и на широких молах шелестят степные травы.

Степь придвинулась вплотную к порту и к морю, занесла белой пылью Рыбацкую слободку. На молах стоит по колено колючий бурьян. Чугунные причалы рыжеют от едкой ржавчины, и только маяк говорит, что порт еще жив, что кто-то зажигает огни для редких пароходов, приходящих ночью, тускло освещенных и пустых.

В смоляной тьме белеет корабельная контора, шумят акации, и человек в белом — единственный человек, которого я встретил в этот час в порту, — стоит у флагштока и что-то кричит в ночь, в морской плеск, в звездную темноту. Он поет. Слов я не могу разобрать.

Утро встает в зеленом рассоле моря, в степной тишине и теплоте. Прошел короткий ливень, и на улицах запахло метеолой, горькой сладостью каких-то не наших цветов.

Вспомнились рассказы старых таганрожцев, переживших Чехова, о том, как весь Таганрог был засы-

пан тучным зерном и деньгами, заселен греческими и итальянскими «негоциантами». Они слушали по вечерам итальянскую оперу, а днем перебирали янтарные четки в сухих амбарах, откуда меднолицые таганрогские «дрогали» вывозили тугие мешки на шаланды.

На улицах пахло кофе, корицей, заморскими запахами. На мутном рейде за Беглицким маяком иностранные пароходы сосали в свои удушливые трюмы золотое зерно. Весь порт звенел от окованных пудовых колес, дымил черными трубами, спугивал стаи голубей.

Потом прогремели новые порты — Одесса, Мариуполь, Новороссийск. Хлеб, что везли к Таганрогу на синеглазых, сивых волах, пошел в сторону. Золотая река уже лилась в корабельные трюмы мимо Таганрога. И порт умер.

Теперь он напоминает музей, памятник былого, и невольно кажется, что ведает им не начальник торгового порта, а комиссия по охране памятников искусства и старины.

Закрылись ярко-желтые, голубые, зеленые и красные кофейни с важными седыми хозяевами за прилавком. Порт захватила степь, и только в рыбачьей гавани в полдень оживленно: уходят на лов рыбаки. Черные с оранжевой полосой смоляные паруса вздуваются медленно и торжественно, кренятся байды, и за молом их встречает вечный плеск азовской волны.

Шуршит на молах густая трава, дрожат под ветром полевые цветы — не то одуванчики, не то болиголов, — их орошают морские брызги, и порт и окрестные берега веют музейной и тонкой тишиной.

СТЕПНАЯ СТАНИЦА

Мариуполь — это для непосвященных, для «иногородних». Туземцы же веселые и голосистые упрямо называют этот город — степной базар «Маруполем».

От Мариуполя до Керчи слово «гражданин» теряет право на существование. Граждан нет, а есть

«дяди» и «тети». Все мужчины неизменно «дяди», а женщины «тети», за исключением мальчишек, которые просто «пацаны».

«Феодосия» останавливается на зеленом рейде у устья Калмиуса, и «раздолбанный», по определению собственной команды, катер «Таганрог» волочит к ней баржу, груженную сеном.

Но бойтесь, вступив на палубу «Таганрога», упомянуть слово катер. Нет большей обиды для капитана — добродушнейшего из капитанов на Черном и Азовском морях. «Это вам не катер, а пароход!» — вот лозунг капитана и команды.

На рейде начинается семейная посадка пассажиров.

— Тетя, — кричит капитан смешливой девушке. — Тетя, какого дьявола вы претесь наоборот! Имейте совесть! Дайте ж мне спустить пассажиров!

— Мадам, — говорит он изысканно любезно старухе в стеклярусовой шляпе, — киньте ваше барахло на палубу, а то вы с ним вместе скупаетесь в воде. И идите осторожно, потому вас зашибут и будете плакать.

А толстому «дяде» он говорит укоризненно:

— Перекиньтесь на правый борт, потому вы потопите мне пароход. У вас своих глаз нету, да? Имейте же, наконец, совесть! Чистое наказание с этими пассажирами!

Смеется команда, смеются пассажиры, смеется сам капитан и смеется море, качая в жидком малахите солнечное утро и теплый, шумливый рейд.

Мариуполь — звонкий, пестрый, как платок молодухи, базар, красный от помидоров, синий от баклажанов, росистый и свежий от капусты и арбузов, пахнущий топленым молоком, вишнями и сдобными ватрушками.

В палисадниках желтеют бархатцы и слепцы, на «сопилках» поют забытые легенды о Саур-могиле.

Мариуполь — большая станица в степи у Азовского моря. Ветры, пески, вкрадчивые голоса украинок, а вдалеке — обширный порт, жирный от антрацита.

В порту, рядом с мазанками, подсолнухами и цветущими мальвами, полощутся итальянские и греческие флаги, ходят в безукоризненно выутюженных брюках поджарые матросы — ливерпульцы, марсельцы и бретонцы, улыбаются, глядя на рыбачек, на просторную степь, на красные флаги над белеными портовыми домами.

В дощатой таверне, где сквозь щели синеет небо и дует по скатертям свежий ветер, матросы с «Краснодара» в таких же выутюженных, как и у иностранцев, брюках пьют чай и шумно спорят о венецианской жизни. Они только что были в Венеции, стояли на Лидо-порт и видели собор св. Марка и Большой канал. Венецианскую жизнь они разбирают по косточкам, анализируют, как опытные хирурги, и приходят к выводу, что город прекрасный, что жизнь на наши деньги необычайно дешевая, а на итальянские «как раз хватит, чтобы не спеша умереть», что рабочие в Италии получают за свою каторжную работу «рукава от жилетки» и, «как дураки», чего-то ждут со стороны — будто бы им с неба революция свалится прямо в рот. Мимоходом вспоминают родственников капитана-фашиста с итальянского парохода, стоящего в порту, и говорят осоловевшему корабельному провизионеру, что сидит за бутылкой вина:

— Ты, Ваня, больше не пей, потому вдарит в голову и будет неловко. Хотя оно и дома, но, однако, не годится.

Ветер треплет чистые скатерти. В порту хрустит антрацит, хохочут рыбачки и сверкает море, качаясь у берегов.

МОРЕ В ЦВЕТУ

За Мариуполем море засветилось яркой, режущей глаз луговой зеленью. Казалось, что пароход медленно покачивается в огромной весенней степи. Море цвело. Вода переливалась под винтом, как жидкий хризолит, и пенилась густой, долго тающей пеной.

Азовское море цветет в начале августа, как цветут реки и пруды. Микроскопическая ряска плавает по

его поверхности обширными островами, иногда в несколько миль длиною. Пароходы режут по ней пенные дороги, а береговые жители перестают купаться, — вода в море во время «цвету» будто бы ядовитая.

Древние римляне, увидав это цветущее море, дали ему название Меотийского болота.

Цветение моря кончилось только под Бердянском — пустынным и притихшим городком, высушенным степной жарой.

Бердянск зноен, как весь азовский юг, все это поморье, горькое от полыни, богатое дынями и кавунами, ветрами и тишиной. Бердянск пустынен, удивительно чист и покоен.

На главной улице спят, растянувшись на асфальте, рыжие кошки и спит парикмахер-грек около своего пустого и чистого «койпейона».

Золотой сумрак солнца сеется сквозь низкую и пышную зелень акациевых бульваров. Иссыхают от зноя лица. Степи переходят прямо в море. Ковыль шумит у ветхих портовых кранов, и бледная синева воды сулит безветрие и густую, но уже осеннюю теплоту ночей.

Ночью, когда мы шли в Керчь, сорвался шторм. Я проснулся от дикого танца бутылок, катавшихся по кают-компании, от скрипа переборок, грохота волн и свиста ветра в снастях. Ванты пели. «Феодосия» набирала бортами воду. На палубе разбило бочонок с маслом, и матросы, желтые от масла и красные от яростного ветра, крепили палубный груз.

Была ночь. Азовское море — древнее Меотийское болото — грохотало, вскидывая крутые валы.

Матросы с «Краснодара», ехавшие со мной, не добром поминали Бискайский залив, где их «поймала и чуть не задавила крепкая французская погода». Они сообща успокаивали растрепанную девицу, которая безуспешно молила «сказать капитану, чтобы он повернул к берегу», и каждую минуту спрашивала — перевернется пароход или нет, на что заспанный кок Ваня неизменно отвечал:

— Как сказать? Бывает, такая погода и побольше пароходы валит.

Сухощавый боцман проклинал морскую профессию, но, убегая на свисток капитана, все же успел сказать:

— Тяжело, конечно, но опять же и на берегу нет мочи сидеть. Тянет тебя и тянет на море, как пьяницу до самогона. Привычка сказуется у человека.

Только к рассвету, когда открылся керченский маяк и берега Крыма, поросшие редкой сгоревшей травой, мы вошли в зеленый и мутный пролив и шторм утих.

1924

ПОДВОДНЫЕ ВЕТРЫ

I

Старик с лицом сухим и пыльным — такие лица у всех обитателей Астрахани — предсказал к вечеру «подводный ветер». Старик служил сторожем на пристани и по скучной своей обязанности постоянно сидел у ворот, изучая невеселое астраханское небо.

Предсказанье сбылось. Днем небо затянулось дымом. Кислый угар наполнил выщербленные улицы. На глазах прохожих происходило превращение солнца из белого пятна в багровый пятак.

Знакомый астраханский журналист объяснил мне значение загадочного термина «подводный ветер».

Подводным он называется от слова подвод, подвох, обман. Этот ветер накачивает между облаками и землей горячий мутный воздух, и в этом воздухе всего легче рождаются миражи.

Вечером подводный ветер задул с монотонной и раздражающей силой. К ночи Астрахань преобразилась. Ртутный дым опустился на крыши.

Как сон маньяка, как пыльный пейзаж, написанный выцветшими красками, затлел рядами тусклых

фонарей Варвациев канал. На его горбатых мостах всю ночь скрипели архаические блоки; старики цедили серую воду сетями, похожими на исполинские зонтики, и с злобой плевали в неизменно пустые сети.

Сон был труден и беспокоен. Снились миражи — мелкие красные моря и белая луна над ними на головокружительной высоте. От луны исходил жестокий жар. Духота качалась в комнате слоями, спускаясь с низкого потолка.

Лариса Рейснер писала, что нужно было особое мужество, чтобы во времена гражданской войны защищать Астрахань. «Много ли найдется людей, способных нести вся тяготы войны в безлюдных, сыпучих, проклятых астраханских пустошах?»

В дни мучительных подводных ветров, подымавших неисчерпаемую пыль с городских пустырей, я узнал нескольких людей, мужественно бьющихся над созданием Новой Астрахани.

Мне посчастливилось, и один из них — назовем его Бобровым — был моим проводником, или, вернее, я всюду его сопровождал, впутываясь в астраханские дела.

Этот человек с потным от радости лицом первый сообщил мне, что в море, около Жемчужного маяка, аэропланы заметили громадные косяки сельди, идущие к устью Волги. Я помню величайшую его радость, а потом величайшее озлобление, когда обманула нас нефть.

Виноваты были в этом профессор Православлев и инженер Нешель, умерший лет восемь — десять назад.

Нешель обнаружил в городе, когда рыл артезианский колодец, нефтяной газ. Нам удалось найти желтые от старости доклады Нешеля, где, между прочим, рассказывалось, что к буровой был приставлен сторож, готовивший себе обед на нефтяном газе.

Тут, кстати, в редакцию астраханской газеты пришли рабочие с завода Карла Маркса и рассказали,

что на заводском дворе из трещины в земле бьет газ. Геологи сделали анализ и нашли этот газ прекрасным.

Газа было немного.

Оснований для надежд оказалось достаточно. В это время профессор Православлев нашел на глинистых берегах Волги пятна жирной нефти. Надежды перешли в уверенность. Возник мираж Новой Астрахани — не только селедочной и икряной, но и нефтеносной, залитой черным золотом, — Астрахани, стремительно идущей к расцвету, как стремительно развернулись Маракаибские нефтяные промыслы в Венецуеле.

Подводный ветер дул всю ночь. На следующее слепое утро Бобров встретил меня около кремля и прокричал:

— У электростанции бьет из-под мостовой нефть! Идемте!

Мы побежали мимо унылых домов, где у ворот чернели зловещие надписи: «Берегись лошадей». Над электростанцией в белесоватом зное столетиями иссыхал и каменел кремль. Стены его были избиты пулями. Тощая трава, задыхаясь от глины, росла у его подножий, где волжский люд играл в орла и решку. Из-под трамвайных рельсов сочилась нефть — коричневая, с золотым жирным блеском. Студенты-геологи бережно собирали ее в бутылки. Толпа пророчила Астрахани неслыханные богатства. Трамвайное движение приостановилось. Бобров был светел, как победитель.

Вечером к нам пришел начальник астраханской геологической партии и принес черную весть: под мостовой лопнули старые нефтяные трубы, — о существовании их никто не подозревал. Геолог, как и все ученые, был недоверчив. Он «позволял себе» не верить Православлеву. Пятна нефти почтеннейший профессор видел на берегах Волги только вблизи крупных нефтехранилищ. Кроме того, нефтеналивные баржи часто дают течь, нефть плывет по реке и оседает на берегах. Заложенная в Астрахани первая буровая ни нефти, ни газа пока не дала.

Бобров был смущен, но все же спорил. Геолог должен был признать, что Астраханский район если не нефтяной, то во всяком случае газоносный.

Так в дни подводных ветров нарастал в жаре и тревоге этот нефтеносный мираж. Он продолжался три дня.

В виде компенсации за обманутые надежды мы поехали с ним на новый утилизационный комбинат. Он стоял на берегу реки Балды, мутной от рыбьих внутренностей, и жаркой, как кипяток.

Комбинат встретил нас жестокой вонью; он перерабатывал рыбные отбросы, всякую гниль и чешую. Из всего этого он делал искусственный жемчуг, рыбную муку, тук, клей и технические масла. Кроме того, из свежей рыбы комбинат изготовлял консервы.

Жемчужная фабрика пахла яблоками и сладкими эссенциями. В баках промывалась соленая сухая чешуя. С нее смывались нежнейшие и тончайшие кристаллы блеска — гуанина. Его сгущали в центрифугах в серую краску и покрывали этой краской круглые стекляшки. Лучший блеск дает чешуя чехони.

За год фабрика выпускает около шестисот километров бус, если их растянуть в одну линию.

Розоватые, опаловые и голубые тяжелые гроздья жемчуга отправляют в испепеленные страны Востока. Крепкие нити переплетают экономику земного шара. Вещи действуют с силой стихийных явлений — ураганов и землетрясений. Вещи странствуют причудливее многих людей.

Циклон, зарождаясь в Балтийском море, доходит до Иерусалима, а розовый жемчуг из Балдинского комбината заставляет арабов из Занзибара — ловцов жемчуга в Персидском заливе — менее охотно нырять в его смертельные глубины.

Странствование вещей поразительно. Недавно в степном, заросшем чертополохом городке Ливнах хозяйка принесла мне гречневую кашу в горшочке, покрытом чугунной крышкой. На крышке была отлита надпись — Caustic Soda, названье английской фирмы,

и место — «Остров Святой Елены». Чугунок с содой совершил загадочное плавание от гробницы Наполеона в Ливны. История этого плавания занимает меня не меньше путешествий Миклухи-Маклая.

На комбинате — третьем в мире и первом в СССР — нам насыпали в руки тончайшую и жирную рыбью муку и показывали клей, прозрачный, как пластинки льда. Гигантские цилиндрические печи лежали на боку вдоль цеха и мололи и сушили гнилую рыбу. Муку хотелось есть, — она пахла свежим ржаным хлебом.

Десятки рыбачьих моторных ботов с разноцветными и замысловатыми флагами (у каждого колхоза свой флаг) подвозили к пристани серые и желтые горы чешуи.

Бобров опять был светел, как поэт, окончивший прекрасную эпическую поэму. Он снял кепку, и неожиданный дождь — скупой и осторожный — пролился на его волосы, на серые гущи садов за Балдой, на плоты рыбных промыслов, где девушки в синих морских штанах таскали корзины с бронзовыми тупорылыми сазанами.

Бобров взял реванш за нефть.

II

Начальник автомобильной станции в Калмыцком базаре Овчинников, внушавший страх населению поселка своими чудачествами, крикнул пассажирам на Элисту:

— Вас шестнадцать человек! Безобразие! Посажу только двенадцать. Станьте в очередь! Так. Вот этого беру, этого не возьму. Этого, пожалуй, беру.

Он толкал портфелем, свернутым в трубку, счастливых избранников.

Начался скандал. Обойденные потребовали, чтобы Овчинников объяснил, чем он руководствуется при отборе пассажиров. Шоферы смеялись, накачивая в камеры горячий воздух. Овчинников от объяснений отказался. Он коршуном налетел на старого дорожного

техника и крикнул в его инженерскую старорежимную бородку:

— По командировкам катаетесь, трюмо с собой из Саратова приперли, а я вас вези! У меня машины для государственных надобностей, а не для барахольщиков.

Техник равнодушно сплюнул. Он был прав, — после яростного крика Овчинников внезапно размяк, взял всех шестнадцать пассажиров, мокрых от пота и испуга, и даже самолично погрузил их багаж на машину.

Амовский грузовик вырвался в степь из серой глины Калмыцкого базара. За грязной Волгой, будто сквозь желтое стекло детской панорамы, умчалась вкось далекая Астрахань.

Овчинников был забыт. Началось торжественное разворачивание степей. Горизонты быстро отодвигались. Величие пространства возбуждало.

Горечь полыни ударяла в лицо из-под колес грузовика. Длинные полосы озер то белели рапой, покрытой дорожками птичьих следов, то проносились чистыми водами, где медленно таяли круги рыбьих всплесков. Озера чередовались: сначала слева шли пресные, а справа соленые, потом озера поменялись местами — и соленые перешли налево.

Широкий тракт был пустынен. Мы встретили только караван верблюдов, как бы распятых на крестах. Они тащили связанные крест-накрест телеграфные столбы. Столбы были приторочены к верблюжьим сизым бокам. Верблюды шли плавной походкой женщин, несущих полные ведра с водой, и с неизъяснимой тревогой вглядывались вдаль, где степь уже зеленела житняком и серебрилась ковыльным прибоем.

Тридцать километров — и бесшумные моря трав залили все пространство. С глухим рокотом грузовик уносился в изумительные океаны свежего воздуха, в росистые увалы. На закате он остановился у сторожевой будки, одиноко белевшей в степи и видной за десять километров. То была почтовая станция Давсны-Худук.

Мотор замолчал. Обрушилась легкой массой степная тишина, подчеркнутая бесшумными вспышками зарниц. На западе заходила сизая и розовая, головокружительно высокая гроза.

Это не была просто туча, — это был праздничный многоцветный материк, возникший на вечернем небе. Пряди дождя ниспадали из яркого облачения тучи. Нежный запах влаги долетал с горизонта.

Что сказать о попутчиках? Они были оглушены тишиной и говорили вполголоса. Они смотрели на грозу, на травы, слушали, как ударяли по пыльной дороге редкие капли дождя, и вздыхали. В Москве и Саратове, получив командировку в Калмыкию, они решили вычеркнуть из жизни те пять-шесть месяцев, на которые их посылали в степь. Теперь они исподволь улыбались: пять-шесть месяцев, оказывается, нельзя было считать пропащими, — степь встретила их целительная и величественная, как море. Стояла ранняя весна.

Напившись калмыцкого чая, пассажиры уснули на глиняном полу. Ночью меня окликнул землемер Головин. Он был самым незаметным попутчиком. Он один не задавал глупых вопросов шоферу.

Головин попросил у меня папиросу и начал рассказывать. На конкурсе одного из журналов в Москве он получил первую премию за случайно написанный рассказ. Пять лет он живет в степи, меряет землю и читает хорошие книги. Больше ему ничего не нужно. Очевидно, наравне с полярной болезнью, которой страдают полярные исследователи, есть степная болезнь, и ею был болен Головин. Первый диагноз этой болезни дал Чехов в своей «Степи».

Ночной разговор, фонарь на столе, запах вымазанных мелом стен, крик медведок за окнами и храп соседей напоминали прадедовские времена карантинов и путешествий на перекладных.

— Вам надо посмотреть ночь в степи, — строго сказал Головин и поднялся. Мы вышли. Тощая калмыцкая борзая обнюхала наши ботинки и из любопытства попробовала их на зуб.

Магический свет звезд — до них, казалось, можно было дотронуться рукой — дымился над нами. Звезды лежали в густых травах, и яркость их напоминала далекие автомобильные огни. Тишина достигала мучительного предела.

На рассвете нас разбудил гром жаворонков. В чистейших далях узкой полосой белела дорога. Птицы пили росу, разбрызгивая ее фонтанами.

Степной калмык подошел к нам от далекой, едва заметной кибитки, положил ладони на толстые шины грузовика — так кладут руки на голову детей — и засмеялся.

— Хорош верблюд! — сказал он, и желтое солнце просветило до самого дна его старинные темные зрачки. — Летом ходит, зимой ходит, не линяет!

Он сел на корточки перед машиной и застыл в молитвенном созерцании.

Над кибиткой курился кизячный дымок. Заспанные пассажиры полезли в машину, как на крепостные валы. Мотор взревел, и мы помчались к Элисте. До нее оставалось двести километров.

III

С утра пошли смерчи и миражи. Столбы пыли с тяжелым шумом вертелись среди дороги, разбрасывая полынь и мертвых от ужаса сусликов. Тусклая вода миражей сулила прохладу и купанье. Степные жители называют мираж по-своему. Говорят: «Степь показывает», или: «Опять начало показывать».

В полдень перед нами предстал мертвый поселок Яшкуль, окруженный венцом пыльных смерчей. Домá его, слепленные из красной глины, походили на детские свистульки. Мы промчались по улице сквозь запах паленой шерсти и снова вырвались в степь. Старики с изъеденными трахомой веками сидели у глинобитных стен.

Сифилис и трахому калмыки получили в подарок от царских времен, а туберкулез — от монгольских обычаев. Причина туберкулеза — женская одежда —

камзол, стискивающая грудь туже корсета. От матери калмыки унаследовали узкую грудь, от отцов кривые ноги конника. Одним из первых декретов советской власти было запрещение под страхом лишения свободы носить камзол.

Царская Россия ценила в калмыке его дикость и лихое наездничество. Калмыцкий полк в 1814 году первым вошел в Париж на Вандомскую площадь. Чтобы облегчить посадку на лошади, мальчикам с первых же дней рождения втискивали между ног ведро или кошму, а пятки притягивали одну к другой. Уродование детей продолжалось веками.

Знаток Калмыкии Середа (в его кабинете в Элисте висят на стенах высохшие степные травы) говорил мне, что причина болезненности калмыков — в неправильном питании. Каждый калмык съедает в день около трех кило мяса и запивает его соленым чаем. Ни хлеба, ни овощей калмыки не знают. Величайшим лакомством считаются сухие баранки.

«Мясное питание делает организм крайне неустойчивым против многих болезней», — утверждал Середа, и был, конечно, прав.

Революция в Калмыкии приобрела своеобразные формы. Население приучается есть хлеб и овощи, степь впервые в истории начали косить; учителя, выезжая в хотоны, везут в обязательном порядке не только буквари, но и жестяные рукомойники.

Середа, поглядывая за окно, где над спокойными балками дрались в небе орлы, раскрывал передо мной Калмыкию страница за страницей, как книгу. Книга эта слагалась из многих тем.

Первая тема — борьба с «зудом». Зуд — это сложное стихийное бедствие. Его нельзя объяснить одним словом.

В степи есть Черные земли. Черными их зовут потому, что на них очень редко, раз в пятьдесят лет, выпадает снег. На зиму сюда сгоняют скот. Он питается высохшими травами.

Зимой 1931 года на Черных землях внезапно выпал снег, потом прошел ливень и ударил мороз в двадцать градусов. Землю сковала толстая ледяная броня.

Скот не мог пробить ее копытами, чтобы достать траву. Громадные стада разметали бураны. Начался падеж. Чабаны замерзали, и голодные овцы жевали их кожаные полушубки. Стаи волков растаскивали падаль по всей степи. На розыски стад послали самолеты. Летчики возвращались и рассказывали о «стогах» палого скота.

Вся Калмыкия была поставлена на дыбы. В буранах метались десятки машин. Сквозь пургу на Черные земли прорывались из Астрахани и Прикумска громадные обозы с овсом.

Трагедия этой борьбы до сих пор еще заставляет содрогаться привычных к степи людей.

Единственное спасение от зуда — заготовка на зиму сена. В этом году степь впервые начали косить. Калмыки съезжались за десятки километров, чтобы посмотреть на это удивительное зрелище. Трава — раньше ей было предназначено сгнивать на корню — превращалась в исполинские скирды душистого и душного сена.

Вторая тема — калмыцкая молодежь. Ей одной принадлежит сейчас Калмыцкая степь. Все ответственные посты заняты молодежью, все учителя — почти мальчики, весь тягчайший культурный поход на степь молодежь вынесла на своих плечах.

Юноша поэт Сузеев читал мне свои стихи о Ленине и Пушкине. В них был хриплый крик и протяжность монгольских песен.

Пророчество Пушкина исполнилось: имя его знает теперь каждый калмык — «друг степей».

Третья тема — Элиста.

Экономист, присланный в Элисту из Москвы, называл этот город «дешевой экзотикой». Сморщенный, похожий на мартышку в роговых очках, одетую в белый костюм, он вообще был зол.

Элиста — не дешевая экзотика. Это степной мираж, получивший плотную, вполне осязаемую форму. В этом «мираже» работают сотни людей. Появляется Элиста так: триста километров степей начинают тяготить, как бесконечный лабиринт. По пути всего две встречи, два тощих саманных поселка — Яшкуль и

Улан-Эргэ. Потом балка, — в ней нехотя сочится серный ручей. В нем не могли бы жить даже караси. Подъем на увал — и внизу, в золотой пыли и в синих озерах тени от облаков, спрятан игрушечный город.

Молочно-белый, блистающий зеркальными окнами, праздничный, он поражает в этой девственной степи, где шоферы должны объезжать беркутов, не слушающихся сигналов, и грозить им кулаком. Тысячелетние крики «цоб-цобэ!» висят над городом. Чумаки понукают волов, волокущих лес и камень, — город строится.

Если хотите, в Элисте есть экзотика, освежающая голову, как самый воздух этих весенних полынных полей, — экзотика строительства, создания. На глазах растет маленький, точный, облуманный город — радиостанция, гаражи, музей, гостиницы, столовые, телеграф, типография, больница, диспансеры, ясли, кооперативы.

Улиц в Элисте нет. Дома стоят прямо в степи на склоне балки. Их отделяют друг от друга насаждения акации и айланта. Теплый ветер надувает желто-черный колпак на мачте аэродрома.

Дома со всех сторон открыты ветру и солнцу. Особенно хороши вечера, когда закат затопляет степь и Элисту светоносным наводнением. Он сотни раз зажигается вновь и вновь в клетках легких домов, наполняет весь воздух красной пылью и гаснет в электрических огнях, висящих над степью тяжелыми белыми гроздьями, и в бесшумных взлетах далеких синих молний.

Высоко над городом в небе кричат орлы...

IV

Старый колесный пароход речного типа «Подарок Первого мая» скрипел и качался на самой ничтожной волне.

Шли открытым морем. Берегов не было видно, но капитан боялся посадить пароход на мель. Круглые

сутки матрос на носу мерил глубину шестом и угрюмо кричал в рупор: «Восемь». Эта цифра «восемь», то есть восемь футов глубины, тянулась двое суток до самого Гурьева, где упала до четырех.

Мелкое это море серо-синего цвета опасно для плавания. Свежий южный ветер — «моряна» — гонит волну со всего моря, по мелководью волна идет крутая, задевает подошвой о дно и может, раскачав пароход, ударить его о грунт и разбить.

Мы шли в Гурьев в полный штиль. Налево на слепом блеске воды чернели рыбачьи суда, стоявшие на мертвых якорях. Направо, над далекими берегами Азии, подымался купол багрового зноя. Жарко, монотонно и мутно шел день, — мутно, как каспийская волна, и монотонно, как пение старых киргизов, лежавших на палубе.

Берега зовут здесь «чернями» потому, что они сплошь заросли высоким камышом с тугими черными головками, похожими на валики пишущих машин. Камыш этот называется «чакан». Из него изготовляют великолепный искусственный фетр.

Издали берег виден черной тонкой полоской камышей. В этих камышах, в протоках среди островов, в этом мелком и теплом море — рыбный рассадник.

Из Астрахани мы вышли в море единственным судоходным рукавом (банком) Волги — Бахтемиром. Есть еще Белинский банк, сокращающий путь до Гурьева на сто пятьдесят километров, но он судоходен только весной. Им мы возвращались обратно.

На обратном пути мы попали в беспорядочный шторм, пароход черпал воду и суетливо бил плицами по крутой волне.

Я уснул в шторме, а проснулся среди ночи от кваканья лягушек и плавного хода, — мы шли мимо дельтового заповедника. Пели соловьи, низко летали жирные, как бы квадратные, дикие утки, над зеленью и разливами Волги подымалось солнце, светившее сквозь прозрачную занавесь мошкары.

Заповедник знаменит тем, что это единственное место в СССР, где цветут розовые лотосы. От девственных сырых зарослей заповедника долетал острый запах корней осоки, тихих вод и рыбы.

Это было на обратном пути. Пока же мы качались в море, с тоской дожидаясь неуловимого Гурьевского рейда.

V

Гурьевский рейд открылся к вечеру обширным тихим озером. В нем плавали белые облака и пески. Старый киргиз с повязанной ситцем головой вышел на палубу и, вцепившись жилистыми руками в поручни, смотрел на берега и плакал, — родина предстала перед ним во всем величии своей угрюмости и однообразных пространств. Мглистые горизонты Востока наплывали с равномерной медлительностью. Стаи тюленей плыли мимо парохода, перевернувшись вверх брюхом и выставив из воды короткие толстые ласты. Тюлени спали.

Здесь и под Мангышлаком их бьют каждую весну, когда тюлени выводят детенышей. Как только образуется первый лед, тюлень пробивает в нем небольшой лаз и поддерживает его все время, не давая ему замерзнуть. Около этих лазов самка тюленя лежит с детенышами-белками. Когда подходят люди, самка ныряет в воду, а белки остаются на льду, — они еще боятся воды и доверчиво ползут к людям. Их бьют беспощадно ради золотистой пушистой шкурки. Раненые белки плачут, как маленькие дети.

Истребление молодых тюленей идет в неограниченных размерах. Старого зверя бьют реже, — это труднее и хлопотливее.

Надо положить конец этому хищническому промыслу, иначе каспийский тюлень очень скоро будет уничтожен без остатка.

Черной полосой «черней» и белыми шнурками песков обозначилось устье Урала. Буксир пошел с рейда вперед, показывая нам дорогу через бар. В дымном воздухе пустыни зарождалась густая сизая ночь.

Вошли в узкий Урал, в шум камышей, в тучи зеленой, только что родившейся мошкары, сгоравшей с невыносимой вонью на горячих частях машины.

В сухой глине и серой зелени тощих садов открылся далекий Гурьев. Над скучными лачугами на азиатском берегу Урала особенно ярко в пустынном вечере зажглись электрические солнца Эмбанефти.

Пароход медленно вплывал в Азию — в приторный дым кизяка, в туманы пыли, в огни прибрежных костров, в кочевья, раскинутые вокруг города, в заунывные крики киргизов, тянувших на песке мокрые невода.

Шелудивые псы бежали по берегам с хриплым лаем, за ними мчались голые киргизские дети. Пестрое тряпье, развешанное на шестах, приветствовало нас подобно знаменам Тамерлановых полчищ. Рыдали, как двери на тугих пружинах, облезлые верблюды.

По берегам брели киргизы, волоча хвостами по пыли трепещущих сазанов и судаков. По их грязной чешуе стекали чистые капли крови.

Чигири скрежетали во внезапной темноте, похожей на кофейную гущу. Огненная надпись «Эмбанефть», висящая в воздухе, как бы открывала вход в тяжелую пустыню.

VI

Общепринятое понятие о героизме неверно. После скитаний по пустынным берегам Каспийского моря я убедился, что героизм — это нечто незаметное и на первый взгляд даже скучное.

Героизм — это Доссор. Доссор — промысел Эмбанефти, расположенный в ста километрах от Гурьева, в классической пустыне.

Пустыня — угрюмая равнина, кое-где покрытая холмами. В ней растет только редкая полынь и солянка. Цвет земли — коричневый. Местами глина покрыта струпьями серых солончаков. Обширные соляные лужи зовут озерами (по-киргизски «сор»). В глине свистят суслики — источник чумы, отвратительный толстозадый зверек. Могилы, слепленные из

глины. Выгоревшее от зноя небо. Оно кажется грязным.

Вокруг Доссора останавливаются кочевники, когда перегоняют стада. Истертая ими в порошок земля рождает невиданную пыль. Горячие вихри несут ее плотными занавесами на Доссор. Все, не исключая кочевников, ходят в автомобильных очках.

Полюс ветров. Нет дня, чтобы в Доссоре — этой сухой яме — не дули ветры. Очень часто они переходят в ураганы. Северный ветер опустошает, после него теряешь ощущение собственного тела, юго-восточный ветер приносит удушье. Пустыня дышит песком и серой.

Безводье. Пресной воды нет ни на земле, ни под землей. На земле — солончаки, под землей — пласты каменной соли толщиной до ста метров. В колодцах вода соленая. В пустыне текут (вернее, стоят болотами) три засоленные реки — Эмба, Уил и Сагиз. Воду в Доссор возят из Гурьева в цистернах (по узкоколейке) и берегут, как вино. Зимой растапливают тощий пыльный снег. Дождей здесь почти не бывает.

В этих бесконечных унылых пустошах, похожих на вытоптанный выгон, в едких солончаках нашли нефть. Нефть есть в верхних пластах над солью и внизу под солью. Пока ее берут сверху, но надо брать снизу, с большой глубины. В пустыне эта задача превращается в нечто героическое.

В устье нефтеносного района лежит Доссор.

Черные от копоти бараки, пыль на широких улицах, оцинкованные сараи на перекрестках — общественные кухни, озеро и сотни вышек над ним и в нем — в отражениях рыжей воды. И над всем этим властвует ветер, пыль и серый свет.

Сваи, вбитые в дно мелкого озера, зарастают красными и фиолетовыми полипами. Ночи кажутся полярными вечными ночами, несмотря на духоту.

Почти у всех доссорцев одна болезнь — тоска. Они молчат о ней. О тоске не принято говорить. Ее надо преодолеть, и ее преодолевают.

Тоска носит характер навязчивой идеи о заросшей кувшинками реке, лесах, травах, мокрых рощах, где с веток брызжут в лицо крупные капли дождя.

В этих условиях надо бороться за нефть, спрятанную именно здесь, в этой проклятой земле. За нефть бьются, не спят по ночам, идут на верблюдах в глубь пустыни, думают о тысячах производственных мелочей, подхлестывая усталых, тянут на себе многотонный груз этой борьбы и одиночества. В пустыне человек всегда чувствует себя одиноким, хотя бы он и был окружен сотнями людей. Таково свойство этих пространств.

Борются за Великую Эмбу. Эти слова — Великая Эмба — звучат в Доссоре, в еще худшем Макате, в Бейчунасе, как для моряка звучит Рио-де-Жанейро — самая безопасная и самая красивая гавань в мире.

В Доссоре я встретился с инженером Лисовским.

Он переживал одну из стадий туберкулеза. Он старался кашлять очень тихо, чтобы не беспокоить соседей за дощатой перегородкой общежития. На днях он возвратился в Доссор из Америки, куда ездил в командировку. Через двадцать дней его срочно вызвали обратно: в Доссоре началась производственная революция — глубокое бурение под соль. Без Лисовского осуществить его было трудно.

До поездки в Америку Лисовский прожил в Доссоре пять лет, после поездки проживет неизвестно сколько, — должно быть, всю жизнь, так как он энтузиаст Великой Эмбы.

Я ночевал в его комнате. Ветер сотрясал оконные рамы. Он летел вместе с ночью с востока. Он казался дыханием глин и солончаков. Я смотрел в темноту и старался представить себе ночную пустыню, освещенную неверным светом звезд, и одинокую палатку разведчиков, утонувшую в этом ночном океане.

Потом я разглядывал карту пустыни. Пески, пунктиры заброшенных караванных путей, соленые колодцы и множество красных точек. Эти точки были воплощением мечты о Великой Эмбе.

Лисовский сказал, покашливая:

— Красные точки — известные нам выходы нефти. Вся пустыня усеяна ими, как сыпью.

Красные точки были похожи на капли крови, — казалось, пустыня выпустила ее из всех своих пор.

— Высосать из пустыни всю ее кровь — вот единственная наша задача.

Лисовский заговорил о Венецуеле. На берегу Караибского моря лежит Маракаибская лагуна. Вокруг лагуны — тропические саваны и соляные озера, — геологически это очень похоже на Эмбу, внешне совсем не то. Там теплое море, в воздухе постоянный запах вянущей зелени, дожди, экваториальный блеск воздуха, кофейные плантации, смесь всяческого бродячего люда. Расцвет маракаибских промыслов был поистине фантастическим. В три года вырос богатейший нефтяной район.

Здесь, на Эмбе, есть все для такого же стремительного расцвета.

В Маракаибе лихорадка — ее зовут там «черной водой», здесь — безводье. Но это как раз легче всего преодолеть. Водопровод из Урала вполне решает задачу.

Нефть взять трудно — она лежит глубоко под пластами соли, и под соль Эмбанефть в этом году впервые повела глубокие скважины.

— Если под солью стоит нефть, Эмба будет одним из величайших нефтяных районов в мире, — сказал Лисовский.

— А если там ее нет?

— Тогда все пойдем под суд, — ответил он серьезно. — Но нефть там должна быть. Конечно, бурение под соль — производственный риск. Вообще говоря, вся работа в пустыне — это риск. Завтра мы поедем с вами в Иман-Кару. Если посреди дороги машина испортится, то мы с вами рискуем пропасть — до воды мы пешком не дойдем. Наши разведочные партии работают в степи за сто километров от базы. Воду им везут на верблюдах. Представьте, вода почему-либо не пришла, вот вам и крышка всей партии. И так во всем, так каждый день. Я могу вам составить целый список здешних бед: тоска, безводье, пыль, жара, фаланги, ветры, безлюдье, бездорожье, отсутствие книг, газет, дырявые нобелевские лачуги и так далее и тому подобное. Но этот список мы ликвидируем, — видали новые дома из камышита? Дома прекрасные. Но, глав-

ное, этот список перетягивает нефть — легкая эмбинская нефть одна из лучших в мире.

На следующий день к полудню машина домчала нас до Иман-Кары, где шла разведка.

Ученый Никитин описывает Иман-Кару очень точно. Описание это я нашел в Гурьеве.

«За много верст среди ровной пустыни неясной черно-синей громадой виднеется гора Иман-Кара. Она напоминает столовые горы с крутым падением во все стороны.

Ослепительно белое полукольцо меловых холмов окружает мрачную массу Иман-Кары с севера. На южном обрыве под влиянием солнечного зноя выступает наружу гудрон. Песчаник пропитан гудроном на глубину в семь метров.

Иман-Кара крута и малодоступна. Почва вокруг нее напоминает пепел.

Мрачные краски слагающих гору пород, обрывы и овраги, зловещие орлы, парящие в высоте, и безлюдье пустыни действуют угнетающе».

В Иман-Каре я, наконец, понял, почему известный путешественник Карелин прожил двадцать лет в Гурьеве на границе пустыни. Раньше пристрастие Карелина к этим местам казалось необъяснимым.

Здесь пустыня обволокла нас глубочайшей, как бы кристаллической тишиной и запахами диких трав, растущих у подножья Иман-Кары. Воздух лежал стекловидной массой. Орлы реяли над нами. Казалось, время стоит. Ветер осторожно обдувал воспаленные лица.

Из Доссора в Гурьев я возвращался по узкоколейке, в моторном вагоне. Широкие окна были опущены. Инженер напротив меня читал «Дымку времени» Анри де Ренье. Киргизы дремали, убаюканные монотонным качанием вагона. Пустыня вечерела. На соляные озера опускался нежнейший дым. Воздух был чист, и в нем зарождалась прохлада. Закат застывал в сырой синеве. После пустыни даже Гурьев показался мне пропитанным влагой.

VII

«Зиновьев» был похож на самодельный пароход «Дюранду», так подробно описанную Виктором Гюго в «Тружениках моря». «Зиновьеву» было шестьдесят пять лет. Колесный, тесный, как курятник, он лениво, лежа на боку, пересекал море. Капитан турок посиживал на мостике, перебирая янтарные четки. Стюард был желчен, подобно всем стюардам в мире, и расшвыривал тарелки по столу в кают-компании, как опытный шулер мечет крапленые карты. В кубрике весь день рыдала гармошка. Пассажиры то спали в темных угрюмых каютах, то бродили по палубе, забрызганной соленой каспийской водой.

Около Махачкалы «Зиновьев» встретил в море новый советский наливной пароход «Лафарг». «Зиновьев» жалобно завыл и далеко обошел «Лафарга», поджимая руль. Казалось, он стыдился своей старости и неказистого вида. «Лафарг» прошел изящно и быстро, сверкая ранними огнями и желтой свежей краской.

Пять дней я провел на «Зиновьеве», на этом старинном корабле, где снасти были перепутаны так густо, что несколько раз в день кто-нибудь разбивал о них голову.

Во время сильных порывов ветра «Зиновьев» ложился на бок, и одно его колесо глупо вертелось в воздухе. Спящие палубные пассажиры автоматически перекатывались с одного борта на другой. Капитан умоляюще кричал с мостика:

— Прошу вас на левый борт, прошу, пожалуйста!

При этом он делал изысканный жест, каким обычно предлагают гостю садиться. Пассажиры, матерясь, переползали на левый борт, и равновесие медленно восстанавливалось.

На двенадцатифутовом рейде пароход долго и зло била грязная волна. В сером дыму начинающегося шторма качался и гремел на якорях странный плавучий город, носящий название «Двенадцать фут», — больница, почта, землечерпалки, нефтяные баржи, буксиры и шаланды.

Потом Каспийское море, где так редко бывают штили, приняло нас на свою волну, и начался томительный путь до Красноводска.

Всю ночь среди измученных морскою болезнью пассажиров бегал, оказывая всем энергичную помощь, маленький крепкий человек с лицом морского волка. Он был заражен альтруизмом свыше меры. Когда из запертой каюты неслись стоны, он настойчиво стучал в дверь и спрашивал, не нужна ли помощь. Он выводил на палубу женщин и клал мокрые полотенца на голову мужчин. Уснул он только утром, когда качка стихла. Его сон оберегало двенадцать человек, спасенных им от морской болезни. Днем, выспавшись, он дал мне книгу об охоте на каспийских тюленей — свой труд. Он оказался специалистом по тюленьему промыслу, вытребованным на Каспий с Белого моря. Сейчас он ехал к берегам Гассан-Кули, чтобы найти места летнего залегания тюленей.

Фамилия его была Раппопорт. Он был еврей, родом из Витебска. Первой школой, какую он окончил, был хедер, не имевший ничего общего с его теперешней профессией.

У берегов Дагестана нас встретил штиль. Он плыл над морем. В желтоватой дымке вырастали дагестанские горы — свежие, как темная зелень, только что побрызганная водой.

На следующее утро упал туман. Мы шли как бы в стеклянном шаре, наполненном серебристой пылью. Вода отливала бледным цветом лимона. Каждые пять минут пароход гудел, и в его брюхе что-то тяжело хлопало и скрежетало.

Девушка с громадными серыми глазами смотрела на туман с нескрываемым восторгом и часто кашляла в маленький носовой платок. Она родилась и выросла в Доссоре и впервые в жизни уехала из пустыни.

Она знала жизнь только по книгам, но знала лучше многих из нас. Я говорил с ней о «Цементе» Гладкова и об английской оккупации Баку. Ее отец был буровым мастером.

После Баку на пароходе стало пусто и жарко. Мы медленно качались, погружаясь в сухую сизую мглу,

наплывавшую с востока. В стороне Ленкорани мигали зарницы — отблеск последней грозы на этом сухом и тусклом пороге Азии. Летаргия сковала пароход, писк чаек долетал сквозь сон. Оцепенение бродило по палубам, наталкиваясь на спящих людей.

Утро пришло совсем иное, чем всегда, — мертвое и немое. Неустранимое ощущение новизны наполняло все тело. Так, должно быть, чувствуют себя моряки в тех водах, где еще никогда не было кораблей.

Мы медленно шли, огибая низкие пески. За ними в черноватом тумане открылся залив. В туман были вкраплены блестки мутного золота — отдельные вершины красноводских гор.

Красноводск надвигался изломами острых, как осколки снарядов, черных сиенитовых скал. У их подножья плескалась зеленая вода. За черными скалами желтел пояс верблюжьих гор, покрытых прахом и пеплом, и теснился город из белых кубических домов. Он был мал и тощ, как военное поселение. От него тянуло зноем, как от раскаленной докрасна плиты.

Горячая вода лилась мимо ржавых бортов «Зиновьева», смывая блевотину. Море на горизонте розовело отблесками песчаных островов.

Мимо скал Уффра и казарм карантина мы вошли в порт и отдали якорь. Земля приветствовала нас вихрями серого праха, поднятого с дорог, и терпкими желтыми цветами, умиравшими на солнцепеке в захолустных палисадниках.

VIII

Доведенные до ярости топографы вскакивали, становились в ряд, хватали полотенца и, размахивая ими, двигались к дверям. Эта операция изгнания мух повторялась несколько раз за день. Комната общежития гудела мухами, как стосильный мотор. Забытые стаканы мгновенно наполнялись мушиной гущей. Мощные потоки мух хлестали в лицо каждого, кто входил с улицы. Человек непривычный в испуге отступал.

— Восточная экзотика! — говорил ему в таких случаях топограф Левин. — Входите, не бойтесь!

Экзотика была не только в этом. Она была в густой (казалось, ее можно было ощупать) вони. Воняло преимущественно старым козлом и падалью. Экзотика была в хриплом сипенье старых дроздов, висевших в поломанных клетках на базаре, в серых от пыли сушеных персидских фруктах, в стенаниях линяющих верблюдов, в безжизненной очереди из ведер у водоразборной будки, в самой воде из опреснителей — пустой и мутной.

Была она и в чайхане, где желтые от старости пиалы ждали очередных губ, липких от дешевой конфеты; была в резких библейских лицах туркмен, отправлявших свои естественные надобности среди улиц. Они закрывали при этом от стыдливости головы халатами и напоминали страусов, прячущих голову под крыло.

Спасали вечера. Низкое небо пахло степью и морем. По ночам мы купались. Огни гасли, и мы не видели воды, — мы лишь слабо чувствовали ее уровень на разгоряченном теле.

Топографы вели дорогу из Красноводска в Карабугаз. Во главе их партии стоял инженер Хоробрых.

В средние века этот человек неизбежно стал бы конквистадором, добывал бы серебро в Латинской Америке, торговал с Великим Моголом или пиратствовал у берегов Голландии. Это был человек каменной воли и хватки. Он брезгливо сторонился малодушных людей, любил хитрость, опасную игру, новизну впечатлений, размах, пустыню. Он заслуженно считался знатоком Карабугазского залива — этого почти белого места на карте СССР. В его комнате стояли чучела двух фламинго, убитых им на косе Кургузуль. Фламинго были мутные и розовые, как штормовые утра в пустыне.

Хоробрых знал Карабугаз вдоль и поперек, от Умчалла до Сартаса и от пролива до мыса Кулан-Гурлан. Он рассказывал об этом необычайном, почти

фантастическом заливе со спокойствием эпического певца.

В один из красноводских душных вечеров топографы во главе с Хоробрых заседали в столовой Горпо, где в этот вечер давали чай из ключевой джебельской воды. Обрадованные посетители заказывали чай оптом, по десяти — двенадцати стаканов.

Хоробрых заказал только восемь стаканов. Как истый старожил тех мест, он считал, что вода из опреснителей приятна на вкус и может вполне конкурировать с ключевой.

В столовой, как почти во всех общественных зданиях Туркменистана, висела на стене репродукция картины «Расстрел двадцати шести комиссаров». Взглянув на эту картину, Хоробрых рассказал потрясающую историю гибели ста шестидесяти пяти революционеров.

Зимой 1920 года деникинцы бежали из Порт-Петровска. С собой на пароход они взяли сто шестьдесят пять политических заключенных из тамошней тюрьмы.

Заключенные были высажены на необитаемый остров, обломок скалы, Кара-Ада. Остров лежит вблизи мыса Бекташ, у восточного берега Каспийского моря, невдалеке от Карабугаза.

Эта часть моря совершенно пустынна, — лишь летом, да и то редко, там появляются туркменские парусные лодки.

Остров — остаток пустыни. На нем нет ни воды, ни растительности. Голый черный сиенит, вокруг которого непрерывно кипят буруны. В камнях множество змей.

Заключенным не оставили ни пищи, ни воды. Среди заключенных было много сыпнотифозных. В первый же день умерло несколько человек. С каждым днем число трупов росло. На третий день оставшиеся в живых сосали мокрые соленые камни и пили собственную мочу. Несколько человек пыталось переплыть широкий бурный пролив, отделявший остров от берега. Они утонули.

На пятый день кочевники-туркмены, проходившие по побережью, заметили на острове дым. Они поняли,

что случилось неладное, и дали знать в ближайший аул, где были лодки. Зимой в шторм лодки шли к острову спасать неведомых людей. Имена туркмен, отважившихся на это, так и остались неизвестными.

Туркмены привезли на берег немногих оставшихся в живых. Часть умерла на берегу, часть пошла пешком в Красноводск через пустыню. До Красноводска дошло только девять человек.

Такова была эта простая история, никем еще не написанная страница гражданской войны.

— Так-то, ребятки! — сказал Хоробрых. — А вы спрашиваете, что такое драка!

Он ушел в пригородный аул покупать седла для верблюдов.

Вечер лег на медные горы, и ветер стих, как бы приветствуя меловую звезду, равнодушно блиставшую над пустыней.

1930

НОЧЬ В ДОССОРЕ

Высокий старик, похожий на Виктора Гюго, лежал на скрипучей койке и читал рассказы Алексея Толстого. Слой тончайшей глинистой пыли покрывал парусиновый костюм старика.

Ровный и упругий ветер работал с настойчивостью моторного вентилятора и накачивал через проволочные сетки соленую пыль. Ветер дул со стороны Каспийского моря. Он нес тучи гнуса из прибрежных камышей, хотя до моря было сто километров. Сейчас, ночью, гнуса не было видно, но днем он пролетал над Доссором черными извивающимися облаками. Сетки на окнах общежития для холостых были устроены от гнуса.

Старик кряхтел, садился на койку и тщательно вытирал полотенцем потное лицо. Потом он с неодобрением посматривал на полотенце, где отпечатывалась, как на негативе, черная пятерня. По числу оттисков можно было судить, что старик вытирался часто.

Толстого он читал как опытный инженер — строго и медленно. Он придирчиво следил за изгибами сюжета и отмечал ногтем те места, где авторская «формула» была недостаточно оправдана. Со стороны казалось, что он проверяет научный доклад, испещренный

цифрами. Иногда он возвращался вспять, перечитывал старые куски, сопоставлял их с новыми и удивленно хмыкал.

— Сроду у Толстого не было такого въедливого читателя, — сказал в потолок инспектор труда, валявшийся на соседней койке. — Хотите партию в шахматы?

Старик грузно встал и оказался похожим на зебру. В складках его костюма пыли не было, и они белели причудливыми полосами на мятых брюках и куртке.

Электрическая лампочка то желтела, то наполнялась светом. Играть было трудно. Когда лампочка тускнела, старик сердился и отмахивался от нее, как от назойливой мухи.

За стеной заведующий бурением инженер Лисовский говорил надтреснутым тенором, что работа идет прекрасно. Старик прислушался и шумно вздохнул:

— О-хо-хо! Никакого тут нет героизма, и никакого тут нет достижения! — сказал он, помахивая конем и не зная, куда пойти. — Если интересуетесь знать почему, то с моей стороны последуют пункты. Пункт первый: план буровых работ Москва нам обкорнала, а станков мы запасли много — для большого плана. Пять лишних станков! Поработайте без них, тогда и хвастайтесь. (Гордэ вашей королеве!) Пункт второй: жалобы на пустыню. Пустыня как пустыня, самая обыкновенная, другой она никогда и не бывает. Что ж вы думали, здесь Гагры или парк культуры и отдыха? Пункт третий: нет воды. (Раз вы взялись за фигуру, должны ходить, вы не маленький.) Скажите вернее: не было воды. Во времена Нобеля воду в Доссар качали по нефтепроводу из моря пополам с нефтью, опресняли и пили. А сейчас вам возят воду в новеньких цистернах из Урала и дают по ведру на человека.

— Что вы говорите! — рассердился инспектор труда. — А жара, ветры? А пыль? Неделю назад мальчишка, сын бурового мастера, пошел в степь ловить ящериц, его захватило ураганом, он сутки пролежал на земле, боялся заблудиться. Пыль сверхъестественная. В пяти шагах ни черта не видно. Думали, пропал мальчишка.

— Надрать ему уши, чтобы не отходил от поселка.

Инспектор труда пожал плечами и сказал раздраженно:

— Шах!

Старик сделал страшные глаза и закрыл короля турой. На пороге выросла низкая и молчаливая тень.

— Это кто, Саид?

— Саид. Я за тобой пришел.

Саид был замерщиком на промыслах, на третьей дамбе, а старик — главным инженером треста. Он встал, со скрипом упершись руками в стол, надел автомобильные очки и кепку и, заметно припадая на ногу, двинулся к двери.

— Пошли!

За дверью ударил в лицо теплый песчаный гул. Звезды моргали в тяжелом небе, будто старались стряхнуть с себя пыль. От промыслов разило едким запахом нефти и горькой соли. Вышки торчали на дамбе среди мелкого соленого озера. Ветер продувал насквозь парусиновый костюм старика, но даже не высушил испарину, — ветер был горяч, он не успел остыть от дневной жары. Изредка в его ровный поток впутывалась шалая прохладная струя. Старик со свистом втягивал в легкие эту струю почти без остатка, кашлял и плевался.

Ветер относил вкось от столбов мутные шары фонарей.

Промысел работал будто во сне. Глубокие насосы сонно сопели, выплевывая густую нефть. В дизельных заунывно пели казахи-масленщики.

Старик не торопясь прошел по дамбе к вышке «128». Ругаясь, он влез по липкой лесенке на помост, где стоял резервуар с нефтью, и зажег электрический фонарик. Через мутный конус света пролетело разорванное облако гнуса. Мерно лилась в озеро отстоявшаяся в резервуаре пенистая вода. Старик померял уровень нефти в резервуаре, слез и осветил грязный клочок бумаги, исписанный цифрами. Клочок этот ему протянул Саид.

— Так и есть, — сказал старик озадаченно. — Теперь за час прибавляется по два сантиметра.

Саид радостно забормотал:

— Верно. Днем ничего не прибавлялось, когда ты проверял. Потому он, собака, приказал на два часа остановить насос. Потом, как только увидел, что ты идешь, — сам пустил. Ты пришел, мерял — ничего не прибавилось, а ты не знал, что насос не работал. Стрелять надо таких людей.

Старик промолчал. Он прикидывал в уме. Дело было так: утром замерщик Саид Бабаев пришел к нему и попросил прийти на третью дамбу. Старик приехал на промысел на два дня из треста, из Гурьева, и ему не хотелось возиться с мелочами. По натуре скептик, он мало верил разоблачениям.

Саид жаловался на управляющего промыслом Гордеева. Гордеев был на вид прост, ходил в скрипучих сапогах и чесучовом пиджаке — «под подрядчика», считался большим «практиком», знатоком дела, но старику не нравились его рыжие глаза и ласковая скороговорка.

— Что там? Должно быть, чепуха? — сказал старик Саиду.

Саид угрюмо бубнил о насосах, которые стучат и выливают нефть на землю.

В конце концов старик пошел на дамбу. Саид привел его к вышке «128». Новый глубокий насос действительно стучал, и сальники брызгались нефтью. Около вышки натекла большая нефтяная лужа. Саид повел старика дальше. Почти у всех насосов на третьей дамбе пропускали сальники, и нефть медленно лилась мимо труб.

— Ай-яй-яй! — шептал Саид. — Видишь — золото тикет. Я ему неделю об этом говорю.

— Да, золото, — повторил старик, и детские его глаза сделались синими и злыми. — Действительно, золото!

Нефть стекала вдоль труб тонкими буро-золотыми пленками.

Старик приказал Саиду проследить, сколько нефти в час дает вышка «128». Через два часа Саид принес ему в общежитие запись на мятой коробке от папирос. Старик позвонил Гордееву и лениво спросил:

— Почему на третьей дамбе падает добыча?

— Буровые играют. То даст за сутки одну тонну, то десять. Там всегда так.

— Насосы в порядке?

— Насосы новенькие.

— Проверьте, и если пропускают, — исправьте сейчас же.

Днем старик пошел проверять дамбу. Насос на «128-й» уже не бил, и сальники не пропускали, но прибыли нефти не было.

— Да, — пробормотал старик, — или я идиот, или это дело будет иметь несколько весьма неприятных пунктов.

А к ночи все буровые на третьей дамбе увеличили добычу. Одна «128-я» дала за час два сантиметра.

Теперь все было ясно. Гордеев исправил насосы, но днем остановил их на время, пытаясь удержать цифры добычи на прежнем уровне.

— Какая цель? — спросил старик Саида.

Саид задрожал и ничего не ответил, — голос старика был ужасен.

— Если человек добросовестно ошибается, — старик взял Саида за пуговицу и оттолкнул от себя, — он не скрывает своей ошибки. Если же он ошибается сознательно, — старик рванул Саида к себе, — он хитрит и останавливает насосы, чтобы разница в добыче не била в глаза. Значит...

Пустыня дышала ровными, но слабыми вздохами. Ветер стихал. Старик зашел в дизельную, позвонил в контору и сонно пробормотал в трубку, чтобы Гордеева немедленно нашли и прислали в дизельную к вышке «128». Он вынул карандаш и сделал подсчет на стене.

«Два сантиметра в час = 300 кило нефти. 300 кило нефти примерно дает 8 тонн в сутки. Насос, по словам Саида, пропускал 7 дней. Значит, из одной только «128-й» вылили на землю, к черту, на воздух 56 тонн нефти».

Гордеев пришел торопливо и насупленно. Начальство не давало спать по ночам.

— Что, Станислав Сергеич? — спросил он хмуро и остановился в тени.

Старик молчал.

— Вы меня вызывали, Станислав Сергеич? — повторил Гордеев и отступил к стене.

— Я человек старый, — тихо сказал главный инженер. Его мохнатые брови и борода затряслись, и трудно было понять, от волнения это или от гнева. — Как и вы, я работал у Нобеля. Я знаю пласты в Бинагадах и Сураханах, как свою квартиру. Но у меня хватило ума понять и оценить новых людей. Они любят нефть не меньше меня. Они нюхом понимают в этом деле больше, чем сотни таких практиков, как вы. Нобель доил Эмбу, как корову, а новые хозяева ищут большую нефть, убивают пустыню, проводят дороги, бурят под соль, поставили все на дыбы.

Я, — старик подошел вплотную к Гордееву, — я работаю с ними и горжусь, что мне, шестидесятилетнему хрычу, доверили из этой сусликовой пустыни создать Великую Эмбу. Я буду биться над ней, пока не подохну! Поняли?

Гордеев молчал.

— Люди идут в пустыню, за сто километров! — крикнул старик. — Без воды, без верблюдов! Люди ищут нефть в Каратоне, где каторга — понимаете, каторга, а не жизнь, — пекло, тоска. Шапку надо снимать перед такими людьми! А вы что делаете!

— Я не пойму, к чему разговор, — сказал Гордеев.

— Завтра же к чертовой матери с промысла, вот к чему! Нефть спускаете в землю. «Хоть сто тонн, да я им не дам, я, Гордеев, нобелевский приказчик!» Сволочным делом занялись, гражданин Гордеев. Думаете: пустыня, дичь, директора-выдвиженцы ни черта не понимают, главный инженер — старик, спит на производственных совещаниях. Довольно! Вон с промысла и под суд! Формула вполне ясная!

Саид дрожал. Вытаращенные глаза старика налились кровью. Он хрипел и поминутно хватался за горло.

Гордеев, что-то бормоча о месткоме, выскочил из дизельной.

Старик вышел на дамбу. Ветер продувал седую щетину волос. Пронзительные звезды плавали в озере кристаллами соли.

Саид шел позади и бережно нес стариковскую кепку, — старик забыл ее в дизельной.

— Ну, прощай, спасибо тебе, — сказал Саид, когда они дошли до конца дамбы.

— Ты куда?

— Домой. Я ночью не работаю. К тебе только пришел.

Старику не хотелось возвращаться в общежитие. Надо было успокоиться, немного прийти в себя.

— Я с тобой пойду. Покажи, как живешь.

Саид испугался.

— Грязно очень, — промолвил он тихо. — Сын болен.

— Ничего.

Саид жил на седьмом участке. Молодые инженеры не без язвительности называли его «седьмым небом».

Снова начался ветер. Он вырывал из-под ног густые клубы пыли. Выли тощие киргизские псы, и недоуменно среди дороги стояли верблюды, всматриваясь в прохожих печальными глазами.

Наступало лето — месяцы верблюжьей тоски. Верблюды линяли, шерсть сползала с них клочьями, плешивое тело кусали слепни. Древнюю и пыльную кожу, похожую на переплет старинных книг, покрыли гнойные струпья. Горбы свисали пустыми и грязными мешками.

— Надо бы их отпустить сейчас в степь за Урал, пускай пожируют, — сказал старик. — Иначе осенью все передохнут.

На кормежку верблюдов приходилось гнать очень далеко, за Урал. Вокруг промыслов, кроме горькой и редкой солянки, ничто не росло.

Седьмой участок был похож на груду рассыпанных коробок из глины. Серая ночь мутно дымилась над ними, — это была пыль, окрашенная светом звезд.

Сладкое зловоние кизячного дыма и сального ватного тряпья густо облепило ноздри. Старик смотрел направо, на пятый участок. Там в огне ярких фонарей призрачно белели легкие камышитовые дома.

— К осени снесем ваши саманки, — пообещал он Саиду. — Привезем камышит. Будет просторно.

В доме Саида, похожем на свистульку из обожженной глины, тлела лампочка. Старик втиснулся в дверь и закупорил комнату, — даже лампочка приглохла и потускнела. Ядовитая гарь свела рот, как щелок. Комната была полна желтоватого дыма и запаха паленых волос.

Маленький голый мальчик сидел на столе и плакал, а казачка с испуганным лицом затаптывала на полу тлеющую кошму.

— Чуть пожар не наделали, — промолвил старик с облегчением. Но Саид закричал на женщину, вырвал кошму и унес ее во двор.

Мальчик продолжал плакать негромко и горько. Он даже не взглянул на старика. Было ясно, что, покажи ему сейчас лучшую в мире игрушку, он не взглянет и на нее, а будет так же тихо плакать от боли и непонятного предчувствия смерти. Ему ничего сейчас не было нужно, кроме холодной чистой воды (шепотом он просил пить) и хотя бы короткого сна. Бок у мальчика был в красных больших волдырях.

— Ты что? — пробормотал испуганно старик и нагнулся к мальчику.

Женщина дико смотрела из угла. Саид вернулся и стал у порога.

— Что с ним?

— Сердечная болезнь. Бок болит. Она лечит его по-нашему, — Саид злобно взглянул на жену.

— Чем лечит?

— Кошму зажжет, прикладывает к боку. Табибы (знахари казахи) говорят — так надо. Первый умер,

второй умер, этот тоже умрет. Все делала, — мясо собачье к боку прикладывала, кошму жгла. Порошки доктор дал — выбросила! Верит табибам. Глупая женщина, надо ее много учить.

— Ну, прощай, — глухо сказал старик и вышел. Он быстро пошел, прихрамывая, к общежитию. Он даже забыл о Гордееве.

В общежитие он вошел шумно, окликнул врача и попросил тотчас же пойти к Саиду и захватить с собой кстати бутылку нарзана. Врач удивился, — нарзан считался неслыханной роскошью в тех местах. Завтра же отправить жену Саида в Гурьев — будет идти моторный вагон. Дать записку управделами треста, чтобы отвел ей комнату. Мальчика положить в больницу.

Врач кивал головой и недоумевал: мало ли народу, особенно детей, перемерло здесь от воспаления легких и туберкулеза.

Волнение старика казалось неоправданным.

Врач ушел, дверь за ним хлопнула.

Старик вернулся в свою комнату. Инспектор труда спал. За столом сидел и что-то подсчитывал Ермилов — заместитель управляющего трестом, выдвиженец.

— Ну что, отец? — спросил он, посмеиваясь. — Где бродите?

— Так, небольшая прогулка по промыслам, — ответил старик, вытираясь полотенцем. — Я снял Гордеева и отдаю его под суд, — сознательно льет нефть в землю, мерзавец! Не возражаете?

— Еще что? — спросил Ермилов и перестал улыбаться.

— Еще с завтрашнего дня надо приступить к постройке водопровода из Урала. Хотя бы за счет сокращения разведок, за счет самого дьявола, но деньги надо достать. Без воды идти в пустыню — идиотство!

— Правильно! — Ермилов взъерошил волосы. — Гордеев гад, я к нему давно приглядываюсь, только зацепки не было. А вода будет, будет, отец, чего бы это ни стоило.

— Да, еще один пустяк. Не забыть бы. Замерщика Саида Бабаева надо перевести в буровые мастера — он справится.

Старик разбудил инспектора по труду и сказал ему сердито:

— Ну что же вы! Будете кончать партию?

Инспектор зевнул, сел и посмотрел за окно. Ветер с неизменным упорством нагнетал облака пыли. По оттенку пыли можно было догадаться, что близок рассвет, — пыль посерела.

— Пыль, бессонница, — пробормотал инспектор. — Ну что ж, давайте!

Гурьев. 1930

МУРМАНСК

В XIX веке архангельские купцы задумали создать «Полярную компанию» для боя морских зверей и лова рыбы у берегов Мурмана.

На прошении купцов архангельский губернатор маркиз де Траверсе написал тонким французским почерком: «Глупо замышлять торговое предприятие на земле, могущей прокормить только двух петухов и трех куриц».

Купцы повздыхали и, побаиваясь рассердить губернатора, все же подали прошение повыше — в Санкт-Петербург.

Купцы писали о Гольфштреме, омывающем скалы Мурманского берега. Они «позволяли себе мыслить, что означенное теплое течение привлекает в наши северные воды богатые стаи трески, палтуса, зубатки, окуня и другой промысловой рыбы».

Александровский вельможа, раздраженный домогательствами аршинников, положил на их прошении резолюцию:

«Никакого Гольфштрема там нет и быть не может».

Царское правительство изъяло Гольфштрем из обращения на многие годы.

Ни один край прежней царской России не находился в таком пренебрежении и не был облеплен столькими количеством глупейших резолюций и высказываний, как заполярный Мурман. О нем не помнили. К нему обращались редко.

Когда у чинов Адмиралтейства иссякала скудная фантазия в придумывании названий для новых транспортов, канонерских лодок и миноносцев, вытаскивали атлас и делали открытие: «Ба! Остался еще север. Там есть озера, реки и становища с очень звучными и подходящими именами — Иоканга, Поной, Имандра». Названия эти тщательно выписывались золотой славянской вязью на стальных бортах.

Чины Адмиралтейства не верили, что Кольский залив не замерзает круглый год. Его незамерзаемость расценивалась сначала как случайность. Только в начале XX века она была признана как явление постоянное.

Во время первой мировой войны французские газеты шумно сообщили, что «обширная Россия — союзница прекрасной Франции» отныне не нуждается в Дарданеллах, так как открыты «Вторые Дарданеллы» и называются они «Мурманской железной дорогой».

Дорога эта была закончена к весне 1915 года. Она упиралась в холодные скалы. У их подножия качалась зеленоватая океанская вода. Зимой от воды шел густой пар. То был незамерзающий залив.

В 1914 году никакого Мурманска не было. Был только «конечный пункт Мурманской железной дороги», и в этом пункте валялась на берегу разбитая рыбачья барка. В барке жили, покрякивая от холода, два молчаливых плотника финна, первые строители Мурманска,

Лопарь Яковлев пас оленей на ягельных горах около разбитой барки. Он спустился к плотникам. Говорили они мало. Лопарь курил. Финны тоже курили, перебрасываясь отрывочными фразами. Потом лопарь встал и погнал оленей дальше в тундру, испуганно оглядываясь на залив, — он освобождал свои пастбища для нового города.

В летописи Мурманска, составленной краеведом Алымовым, сказано: «1914 год. На месте Мурманска

последний раз пас своих оленей кильдинский лопарь Яковлев».

А в апреле 1915 года в «конечном пункте железной дороги» выстроили несколько бараков и пристань.

Дорогу строили китайцы и пленные австрийцы, несчастные «солдаты Швейки».

Китайцы первые начали селиться в Мурманске и назвали невообразимое скопление досок, конур и ящиков от машин «Шанхаем». Он сохранился до сих пор наравне с «Портовой Нахаловкой», беспорядочно выросшей на захваченной без разрешения земле.

Шанхай и Нахаловка вместе с несколькими пристанями были объединены названием «город Романов». После революции Романов переименовали в Мурманск.

Во время войны военные транспорты крадучись доставляли в Мурманск знаменитые французские фугасные гранаты и снаряжение для армии.

После Октябрьской революции в Мурманске стали лагерем интервенты — англичане, американцы, французы и сербы. Они привезли бараки из гофрированного железа, так называемые «чемоданы», и построили из них военный городок.

В феврале 1920 года Мурманск восстал. Интервенты бежали. С этого времени началась новая, подлинная история города. В доказательство этого можно привести четыре цифры: в 1920 году, ко времени советизации Мурманска, в нем было 2400 жителей, в 1930 году их было 14 000, в 1931 году — 22 500, а сейчас, в 1932 году, — 42 000 жителей. В 1946 году в Мурманске будет 200 000 жителей. Уже сейчас Мурманск — самый крупный из всех городов мира, лежащих за Полярным кругом. До 1930 года первым по величине был норвежский город Тромсе.

Летняя полярная ночь отличается от дня только водянистостью света. Она похожа на угрюмый дождливый день в Москве, когда в комнатах зажигают электричество.

Такою ночью поезд остановился на станции Полярный круг. Дул ледяной ветер с Хибинских гор, от Кандалакши. Мокрый снег лежал серыми лишаями на черных валунах. Изуродованные ветрами чахлые сосны торчали косо, во все стороны, и окна станционных бараков слезились яркими желтыми каплями от света керосиновых ламп.

— Вот он, край земли! — сказал проводник, пронося через вагон запах снега. Было начало мая.

Лампы в бараках были совсем не нужны, серый день длился бесконечно. Их, очевидно, зажгли, чтобы создать иллюзию ночи, тепла и уюта.

Но Полярный круг обманул. Я был уверен, что дальше пойдет жестокая муть, угрюмость, тундры, похожие на тяжелые сны. Но в Кандалакше ослепительные горы закрыли горизонт снежными серебряными куполами. У полотна дороги ревела непрерывным водопадом река Нива с черной прозрачной водой. Среди снегов, как огонь костра в пасмурный день, рвались по ветру красные флаги и экскаваторы выдыхали высокие струи пара, — разворачивалась панорама строительства мощной гидростанции — Нивстроя.

Потом прошло озеро Имандра — не озеро, а море — все в посиневшем льду, окруженное ступенями синих и белых гор. Грело солнце. Ручьи несли зеленоватую воду, пахли хвоей и как будто первыми фиалками.

Хибины медленно уходили к югу сглаженными куполами. В них врезались рельсовые пути и телеграфные провода.

К утру поезд промчался по непрерывным кривым по берегу шумной Колы и вырвался к заливу.

Залив лежал в горах, заросших карликовой голой березой. Солнечный туман скрывал горизонты. Начинался отлив, и около подводных камней тихо ворчала океанская вода. Далекие дымы пароходов и паруса северных шхун возвестили о близости Мурманска, похожего издали на полярный бревенчатый Севастополь.

Старый Мурманск обречен на слом. Вместо него рождается новый город. Я попал в Мурманск как раз на переломе этой смерти и этого рождения.

Старый Мурманск походил на временную стоянку людей. Недаром на Мурмане рыбачьи поселения называют «становищами». Люди здесь только останавливаются, но не думают жить долго.

Таков был и старый Мурманск. Он весь состоял из пришлых людей и напоминал ночлежку. До сих пор человек, проживший в Мурманске два года, считается старожилом. Таких старожилов подсчитывают по пальцам.

Людей, живущих в Мурманске с самого его основания, всего несколько: Алымов, Дроздов, Кашмилов. Их знает весь город. Это ходячие энциклопедии города и всего Мурманского края.

О характере города говорит состав его населения. В Мурманске почти нет стариков. Преобладают люди цветущего возраста. В Мурманске живут только те, кто может работать. Поэтому, пожалуй, Мурманск — самый пролетарский город в СССР.

В Мурманске женщин заметно меньше, чем мужчин. Город сугубо холостой и, как все холостые, мало заботящийся о жизненных удобствах.

Сейчас цифры быстро меняются. Последние подсчеты говорят, что число женщин и детей быстро растет и прилив населения не сменяется регулярным отливом: город перерастает из лагерного в оседлый. Это заметно не только по составу населения, не только по тому, что белой ночью шумные дети играют в три часа ночи на улицах в орла и решку, но и по внешнему виду города, — в шеренги бревенчатых и скучных домов врезается первая кирпичная кладка и первые дома из гранита.

В 1946 году на месте теперешнего скопления бараков, между которыми летом растет морошка, будет построено четыре больших города, связанных трамваями и автобусами: Кола, Горелая гора, Старый город и Порт. Все четыре города вместе будут называться «Большим Мурманском». Проект нового города уже утвержден.

Дыхание Атлантического океана, влажное и теплое, как мятый пар, создало из Мурманска незамерзающий порт. Прозрачная вода, то приливающая, то отливающая под дощатые настилы громадных пристаней, вода, пахнущая сосновой корой и рыбой, принесена сюда из Мексиканского залива, из стран жарких и желтых, как трубы океанских пароходов, грузящих тонкие и гибкие доски.

Воздух океана, запах океана и дым океанских кораблей властвуют над Мурманском. Мировые океанские пути сошлись к этому полярному порту, где даже в отлив глубина не меньше двадцати восьми футов. Мурманск — самый близкий из портов СССР к портам Северной Америки, Канады и Норвегии. От Мурманска до Нью-Йорка всего 6500 километров, и пароход делает этот рейс на пять суток скорее, чем до Нью-Йорка из Ленинграда.

Час ночи. Солнце медленно передвигает закатный блеск с северо-запада на север, чтобы через час подняться с северо-востока. Розовый дым падает с гор на залив световым холодным водопадом. Карты Баренцева моря в рубках кораблей — белые, как полярные льды, — окрашиваются в цвет старой сосновой смолы. Таким бывает снег в Хибинах, когда на него к весне ложится плесень лишаев.

В домах холодно и светло, — с пятнадцатого мая по пятнадцатое июля электростанция выключает свет.

С океана пришел шторм, и снег сливается на улицах с торфяной землей в липкое тесто. Даже рыбаки с натугой вытаскивают из него исполинские сапоги с отворотами, похожие на ботфорты рыцарских времен.

Сквозь свист ветра в рамах прорываются резкие и частые взрывы, — на горах рвут гранит. Камень этот в Мурманске зовут «рваным». Из него будет построен Большой Мурманск, и заранее можно сказать, что Мурманск будет красив.

«Рваный камень» напоминает гранит серебристо-серого цвета, но с одной замечательной особенностью: в толщу его густо вкраплены кристаллы фиолетового, почти красного прозрачного камня, очень похожего на аметист. Из «рваного камня» сложены все массивы гор, простирающиеся от Мурманска на девяносто километров вплоть до океана.

— Довольно легко представить себе, — сказал мне знакомый мурманский экономист, — каким величественным будет этот полярный город из серого гранита на берегу зеленоватых океанских вод. Особенно во время незаходящего солнца. Я думаю, что, когда Большой Мурманск будет построен, сюда начнут приходить океанские корабли с туристами, вроде знаменитого «Кап Полонио», и Мурманск станет ко всему прочему полярной климатической и лыжной станцией.

За Полярным кругом строятся два города — Мурманск и Хибиногорск. Мурманцы к строительству Хибиногорска относятся как к сравнительно легкой задаче. Чем определяется рост Хибиногорска? Апатитами — и только. Другое дело Мурманск. Развитие его определяется очень пестрым «комплексом факторов», как любят выражаться докладчики, выступая с речами о будущем Мурманска. Дальше идет перечисление этих факторов: незамерзающий океанский порт, центр рыбной промышленности, конечная точка железной дороги, столица Кольского полуострова, зверобойная база, залежи руды вблизи города и, наконец, научный центр для всей Арктики, — такова сложная сеть условий, которые будут влиять на развитие Мурманска.

Основа рыбной промышленности — это траловый флот. Сейчас в Мурманске около пятидесяти траулеров, но в 1946 году в Мурманске должен собраться самый исполинский рыболовный флот в мире — свыше шестисот траулеров.

Траловая база должна будет перерабатывать пятнадцать миллионов центнеров рыбы. И не только со-

лить, как это делается сейчас, а заготовлять рыбу свежей, мороженой и консервированной.

Кстати, о соленой рыбе. В январе в Баренцевом море погиб французский траулер. Шторм доходил до двенадцати баллов. Траулер успел дать только две первые буквы «соса» — СО. Ветер сорвал антенну, и крик о помощи утонул в ночном урагане.

Через несколько дней наш траулер прошел над местом гибели француза. Трал вытащил много очищенной (как здесь говорят, «ошкеренной») и засоленной рыбы. Моряки догадались, что это улов с погибшего француза, выброшенный волнами из трюмов.

Так узнали место гибели. Партия ошкеренной рыбы была ссыпана в трюмы, а на кормовом флагштоке был приспущен флаг в память погибших, чьим уловом с горечью воспользовались оставшиеся в живых.

Кроме всего прочего, в Мурманске должна быть построена судостроительная верфь.

Морские елы и шняки, промышляющие до сих пор в океане, будут сданы в музей.

Самым древним судном, сохранившим свою форму еще со времен норманнов, является ел. Нос его причудливо выгнут в виде лебединой шеи. Елы, качающиеся стаями около берегов, невольно вызывают мысль о набеге викингов на суровые северные берега России.

Большой Мурманск будет построен на правом берегу Кольского залива — единственном удобном месте среди тесноты низких, поросших умирающим кустарником скал.

Тяжелый рельеф берега очень усложняет задачу правильной планировки будущего города. Нет ни одной достаточно обширной для постройки города площадки. Поэтому город будет строиться вдоль берега залива четырьмя гнездами и растянется в длину почти на пятнадцать километров.

При составлении плана Большого Мурманска была тщательно изучена «роза ветров» Кольского залива. Здания будут строиться так, чтобы стоять к преобладающим ветрам не фронтом, а боковыми стенами. Чаще и сильнее всего в Мурманске дуют ветры нордостовых, нордовых и зюйдовых румбов. Поэтому дома будут выходить окнами преимущественно на запад и восток, а от ветров их будут защищать глухие стены. От направления ветров будет зависеть и направление улиц.

Но где взять воду для нового громадного города — не только сухопутного, но и плавучего? Уже сейчас, когда траулеры перед уходом в море накачивают в свои трюмы пресную воду (каждый траулер берет запас воды на полтора месяца), в Мурманске не хватает воды.

Сейчас Мурманск получает прекрасную воду из двух пресных озер — Семеновского и Среднего. Из них вода идет в город по трубам самотеком, создавая в конце своего пути давление в восемнадцать атмосфер.

Будущий Мурманск, кроме озер, будет брать воду из незамерзающей шумной реки Колы. Она впадает в залив в двенадцати километрах от города. Падение ее так велико, что поезд Мурманской дороги, идущий из Мурманска в Петрозаводск, с трудом ползет двойной тягой рядом с кипящей рекой.

В Мурманске будет открыт ипподром для оленьих бегов. Олень — пока единственное средство передвижения по засыпанным снегом тундрам.

Не так давно в Мурманске были устроены первые оленьи бега. Победительницей оказалась лопарская девушка в меховой малице, расцвеченной белыми и красными полосами. Девушке выдали приз — зеркало, кусок туалетного мыла и никелированный самовар — неслыханные для тундры богатства и невиданные по красоте вещи.

До сих пор в Мурманске ничто не росло, кроме березок высотою в метр. Два года назад сделали первый опыт и посадили несколько южных деревьев. Все деревья погибли, за исключением каштана и клена.

Своеобразие этого случая можно будет понять лишь через несколько десятков лет, когда под бледным золотом незаходящего солнца расцветут густые каштановые сады.

В XVI веке первые голландские корабли пришли в Колу. Шкипера записали в своих судовых журналах: «Место убогое и холодное». В половине XX века электрическое зарево Мурманска будет видно с океана, повторенное на небе светоносной игрой полярных сияний. Моряки не сразу поверят в реальность этого социалистического города в Арктике и, может быть, назовут его, как и сейчас иногда называют, «Прима Полярэ» — первой полярной столицей, социалистической столицей Арктики.

Петрозаводск. 1932

СТРАНА ЗА ОНЕГОЙ

С давних времен у нас на Руси повелось прибавлять к названиям далеких и малоисследованных земель приставку «за» — Заонежье, Заволжье, Зауралье.

Эта приставка как бы определяла черту, за которой кончался привычный мир и начиналась пустынная и заманчивая страна. Там, за Онегой, в Заонежье и Заволочье — за новгородскими волоками, по рассказам бродячих людей, светили чистой водой несметные озера, и путь туда был труден, — кони падали, ломали ноги, скользили от налипшей на копыта давленой ягоды — брусники и клюквы.

Такой древней «новгородской пятиной», лежащей за краем обжитых земель, и была некогда Карелия — старинное Заонежье. Сейчас это название исчезло с наших карт. Оно сохранилось только за большим лесистым полуостровом, вдающимся с северо-запада в Онежское озеро.

Полуостров этот населен потомками новгородцев. Они сохранили чистый новгородский язык, сохранили старые сказания, песни, былины. Пушкин советовал учиться русскому языку у московских просвирень. С полным основанием можно учиться подлинному русскому языку и у жителей Заонежья.

Как-то ранним летом я приехал в одну из заонежских деревень к сказительнице Захаровой. Цвела черемуха, и было холодно. Летние холода на севере всегда совпадают с этим цветением. Поэтому у многих, кто побывал в северных местах, надолго остается странное представление, что черемуха — холодный цветок.

В деревне мне показали срубленную из толстой сосны высокую избу Захаровой с резьбой на оконных наличниках. Во дворе румяная старуха катала вальком белье. Это и была Захарова. Она увидела меня, отложила валек и вытерла потное лицо. На вальке были вырезаны цветы, травы, колосья, какие-то птицы.

Захарова не сразу согласилась петь.

— Я пою, — сказала она, — когда родина во мне затоскует.

Я не понял.

— Ну, как тебе это растолковать, желанный, — огорчилась Захарова. — Вот так иной раз к вечеру выйдешь на озеро. Лежит оно перед глазами, как серебряный плат. Лист на осине — и тот не трепещет. И так-то сладко станет на сердце, затоскует родина во мне, — и я запою.

Я догадался. Сказительница называла тоской по родине то чувство, которое мы, горожане, называем любовью. «Родина во мне затоскует». Очевидно, это означает, что чувство родной страны доходит до такой остроты, что требует немедленного выражения.

Захарова пела мне песни очень древние, очень величавые — и рекрутские, и плачи, и песни невест.

А невдалеке от Заонежья слепой певец Пертуев пел недавно руны Калевалы. Он ходил из избы в избу, садился на скамью, брал за руки хозяина и так, глядя перед собой тусклыми, невидящими глазами, пел великолепную сагу, рожденную среди валунов, водопадов и белых ночей.

Летом белые ночи превращают Карелию в страну необыкновенной прелести. В гранитных берегах озер стоит налитая до краев белая вода. Будто огромные куски фольги впаяны в камень. В этой прозрачной фольге отражаются небо с его непотухающей зарей и мохнатые лапы елей, но очень редко отражаются зве-

зды. Их свет так слаб в эти ночи, что вода не в силах поймать его и чуть-чуть покачать на легкой озерной ряби.

Лесной сумрак полон тишины и запаха мхов. Из-под корней сочатся крепкие родники. Вода в них коричневая и холодная. Она пахнет железом. В озерах, в болотах лежат на дне зерна железной руды.

В озерах вода пахнет сосновой корой. Стоит подняться волне — и Онежское озеро тотчас начнет выбрасывать на берега горы сосновой коры. Пароходы идут по озеру с величайшей осторожностью из-за множества плавающих сосновых бревен.

Карелия все годы до войны сплавляла лес. Вся карельская суша представляет из себя сплошной массив лесов. Это страна лесорубов, дровосеков, звона пил, мощных буксиров, волокущих плоты, лесопильных заводов, бревен, досок, теса, скипидара, канифоли. Запах сосны преследует вас всюду, даже в проносящихся через Карелию вагонах «Полярной стрелы».

В этих лесах, в самой их глубине, путешественника по Карелии поражают светлые и просторные бревенчатые дворцы, построенные нашими и канадскими лесорубами. Карелы-лесорубы сотнями возвращались из Канады в свою страну. В их сердце, как и в сердце Захаровой, «тосковала родина». Они привезли с собой канадские пилы, ловкие способы рубки и пилки деревьев.

Бревенчатые дворцы были украшены фризами, вырезанными из дерева. На фризах были северные олени, ели, сцены из Калевалы, и все это отливало бледным цветом меда, едва заметной полировкой, проложенной по дереву.

Рядом с дворцами для людей были другие дворцы — для птиц, для коров, для лошадей. Я приехал к лесорубам в три часа дня. Заведующий фермой не хотел показывать мне коровника, так как у коров был в это время «мертвый час».

В конце концов он согласился, и мы вошли в светлый и длинный зал, где в стойлах лежали все одинаковые — рыжие с белым, коровы. Чистота была такая же, как и в домах для людей.

Изредка какая-нибудь из коров вставала, нажимала мордой на большую кнопку над эмалированной раковиной, и в раковину из крана лилась вода. Корова отпускала кнопку, вода переставала течь, и корова долго, вздыхая, пила из раковины воду.

И тут же рядом, в нескольких километрах, я наткнулся в лесу на смолокурню. Огромный старик сидел около земляной кучи и курил носогрейку. Из кучи шел желтый дым. Там тлело смолье, и из него стекал в яму деготь.

Старик долго приглядывался ко мне, потом разговорился. Была весна, в лесу куковали кукушки.

— Ишь кричат! — сказал старик. — Монашки.

— Почему монашки?

— А потому, что одеяние у них, у кукушек, — сказал старик, — темное с коричневой пестринкой, как у богомолок. И кланяются они, когда поют, в пояс, на все стороны света. По монастырскому уставу.

Старик помолчал и добавил:

— Монастыри были у нас знаменитые. Северные монастыри. Может, слыхали? На озерах. Трава под самые стены. Колокольный звон над водой. Церкви деревянные, таких церквей ни в одной стране нету. Сооружали те церкви мужички с аршином, да с отвесом, да с кружкой квасу. Так-то! А теперь люди разные ездят, на пластинки эти церкви снимают, восхищаются ими безмерно.

Из этого короткого разговора со смолокуром стало ясно, как органичны и глубоки в этом краю истоки народной поэзии, народного зодчества.

Великолепные деревянные шатровые церкви (всемирно известная церковь в Кижах), резные кресты, ставни, наличники — все это сообщает даже самым пустынным погостам-деревушкам то особое очарование, которым отличаются все памятные исторические места — Новгород, Углич, Суздаль. Отблеск многовекового народного искусства, отблеск истории лежит на всем облике Карелии.

Карелия за последние годы перед войной очень быстро превращалась из глухомани, из лесных дебрей в богатую, обдуманно развивающуюся республику.

Культура вошла в леса, дороги врезались в болота и скалы. Начали работать гидростанции и заводы. Один из важнейших в мире каналов прорезал Карелию, соединяя Белое море с Балтикой. Он прошел как раз по тому пути, где Петр Первый тащил волоком на катках с Белого моря в Петербург военные корабли. Культура отвоевала у севера его дикие земли. Огороды, сады, поля колосистой ржи сменили болотную траву. Древние заводы — низкие, угрюмые, выстроенные два века назад — засверкали электрическими огнями и вместо старинных чугунных ядер и грубых якорей начали изготовлять современные точные машины.

Все это будет восстановлено после войны. Все это вернется. Мы снова создадим все это своим трудом, народной одаренностью и любовью к родной земле.

Будут восстановлены города Карелии — своеобразные города, где валуны лежат на улицах и рыболовы ловят лососей на задах огородов, где всегда господствовали труд, тишина и особое мудрое спокойствие жителей, свойственное северянам.

Будут восстановлены Петрозаводск, раскинутый амфитеатром над Онежским озером, Вознесенье с его разводными пешеходными мостиками через каналы, Повенец, Медвежегорск, Олонец.

Петрозаводск — столица Карелии — был освобожден от немцев и финнов не только с суши, но и с любимого петрозаводчанами Онежского озера. Оно накладывает своеобразный, почти морской отпечаток на жизнь города. Мимо Петрозаводска проходит великий водный путь на север. Теплоходы причаливают к дощатым пристаням города, а рядом с теплоходами качаются на якорях старинные лодки — новгородские ладьи с черными изогнутыми носами, похожими на гусиную шею.

Смешение прошлого с настоящим поражает в Петрозаводске на каждом шагу, так же как и слияние города с окружающей его северной природой.

Дом правительства — построенный полуциркулем ампирный дворец работы неизвестного, но талантливого архитектора. Скромный домик Державина. Ря-

дом с Онежским заводом, где еще недавно существовали древние «водяные машины» (мельничные колеса, приводившие в движение станки), — великолепный зеленый стадион и рабочая слобода Голиковка.

В Голиковке — музей природных богатств Карелии. Поучительный и живописный музей. Когда входишь в его залы, то уже на пороге слышен запах опилок, смолы, сухих лесных ягод — характерный запах страны. Рядом с рыбачьими сетями, голубыми и тонкими, как паутина, рядом с карельской рожью, грибами, ягодами и рыбой лежат полированные плиты знаменитых карельских камней — шошинского порфира, гранита и куски розовой и желтой здешней слюды.

Разглядывая эту слюду, невольно сопоставляешь ее чистый и светлый блеск, отливающий то желтизной, то синевой, то серебром, с блеском воды в северных озерах, с цветом карельского неба, карельского воздуха, и тогда кажется, что слюда — самый характерный минерал для этих мест, что она «идет» северу, как идет человеку та или иная одежда.

Когда я вспоминаю о Карелии, то вижу ранний летний вечер в Вознесенье, тихие сумерки, воду, усеянную отражениями фонарей, гроздья черемухи над заборами, светловолосых девушек в ситцевых платьях, их песни, маленький оркестр, встречающий на пристани все приходящие пароходы, и два белых огромных шара, низко висящих в небе, — один на западе, другой на востоке — заходящее солнце и поднимающуюся луну. Смешение солнечного и лунного света придает воде, небу и воздуху необыкновенный цвет розового, чуть туманного золота. Сквозь это золото летели на север над Свирью журавлиные стаи.

1932

МИХАЙЛОВСКИЕ РОЩИ

Не помню, кто из поэтов сказал: «Поэзия всюду, даже в траве. Надо только нагнуться, чтобы поднять ее».

Было раннее утро. Накрапывал дождь. Телега въехала в вековой сосновый лес. В траве, на обочине дороги, что-то белело.

Я соскочил с телеги, нагнулся и увидел дощечку, заросшую вьюнком. На ней была надпись черной краской. Я отвел мокрые стебли вьюнка и прочел почти забытые слова: «В разны годы под вашу сень, Михайловские рощи, являлся я».

— Что это? — спросил я возницу.

— Михайловское, — улыбнулся он. — Отсюда начинается земля Александра Сергеича. Тут всюду такие знаки поставлены.

Потом я натыкался на такие дощечки в самых неожиданных местах: в некошеных лугах над Соротью, на песчаных косогорах по дороге из Михайловского в Тригорское, на берегах озер Маленца и Петровского — всюду звучали из травы, из вереска, из сухой земляники простые пушкинские строфы. Их слушали только листья, птицы да небо — бледное и застенчивое псковское небо. «Прощай, Тригорское, где радость

меня встречала столько раз». «Я вижу двух озер лазурные равнины».

Однажды я заблудился в ореховой чаще. Едва заметная тропинка терялась между кустами. Должно быть, по этой тропинке раз в неделю пробегала босая девочка с кошелкой черники. Но и здесь, в этой заросли, я увидел белую дощечку. На ней была выдержка из письма Пушкина к Осиповой: «Нельзя ли мне приобрести Савкино? Я построил бы здесь избушку, поместил бы свои книги и приезжал бы проводить несколько месяцев в кругу моих старых и добрых друзей».

Почему эта надпись очутилась здесь, я не мог догадаться. Но вскоре тропинка привела меня в деревушку Савкино. Там под самые крыши низких изб подходили волны спелого овса. В деревушке не было видно ни души; только черный пес с серыми глазами лаял на меня из-за плетня, и тихо шумели вокруг на холмах кряжистые сосны.

Я изъездил почти всю страну, видел много мест, удивительных и сжимающих сердце, но ни одно из них не обладало такой внезапной лирической силой, как Михайловское. Там было пустынно и тихо. В вышине шли облака. Под ними, по зеленым холмам, по озерам, по дорожкам столетнего парка, проходили тени. Только гудение пчел нарушало безмолвие.

Пчелы собирали мед в высокой липовой аллее, где Пушкин встретился с Анной Керн. Липы уже отцветали. На скамейке под липами часто сидела с книгой в руках маленькая веселая старушка. Старинная бирюзовая брошь была приколота к вороту ее блузки. Старушка читала «Города и годы» Федина. Это была внучка Анны Керн — Аглая Пыжевская, бывшая провинциальная драматическая актриса.

Она помнила свою бабку и охотно рассказывала о ней. Бабку она не любила. Да и мудрено было любить эту выжившую из ума столетнюю старуху, ссорившуюся со своими внучками из-за лучшего куска за обедом. Внучки были сильнее бабки, они всегда отнимали у нее лучшие куски, и Анна Керн плакала от обиды на мерзких девчонок.

Первый раз я встретил внучку Керн на сыпучем косогоре, где росли когда-то три знаменитых сосны. Их сейчас нет. Еще до революции две сосны сожгла молния, а третью спилил ночью мельник-вор из сельца Зимари.

Работники пушкинского заповедника решили посадить на месте старых три новых, молодых сосны. Найти место старых сосен было трудно: от них не осталось даже пней. Тогда созвали стариков колхозников, чтобы точно установить, где эти сосны росли.

Старики спорили весь день. Решение должно было быть единодушным, но трое стариков из Дериглазова шли наперекор. Когда дериглазовских, наконец, уломали, старики начали мерить шагами косогор, прикидывать и только к вечеру сказали:

— Тут! Это самое место! Можете сажать.

Когда я встретил внучку Керн около трех недавно посаженных молоденьких сосен, она поправляла изгородь, сломанную коровой.

Старушка рассказала мне, посмеиваясь над собой, что вот прижилась в этих пушкинских местах, как кошка, и никак не может уехать в Ленинград. А уезжать давно пора. В Ленинграде она заведовала маленькой библиотекой на Каменном острове. Жила она одна, ни детей, ни родных у нее не было.

— Нет, нет, — говорила она, — вы меня не отговаривайте. Обязательно приеду сюда умирать. Так эти места меня очаровали, что я больше жить нигде не хочу. Каждый день придумываю какое-нибудь дело, чтобы оттянуть отъезд. Вот теперь хожу по деревням, записываю все, что старики говорят о Пушкине. Только врут старики, — добавила она с грустью. — Вчера один рассказывал, как Пушкина вызвали на собрание государственных держав и спросили: воевать ли с Наполеоном, или нет. А Пушкин им и говорит: «Куды вам соваться-то воевать, почтенные государственные державы, когда у вас мужики всю жизнь в одних и тех же портках ходят. Не осилите!»

Внучка Керн была неутомима. Я встречал ее то в Михайловском, то в Тригорском, то в погосте Вороничи, на окраине Тригорского, где я жил в пустой

прохладной избе. Всюду она бродила пешком — в дождь и в жару, на рассвете и в сумерки.

Она рассказывала о своей прошлой жизни, о знаменитых провинциальных режиссерах и спившихся трагиках (от этих рассказов оставалось впечатление, что в старые времена были талантливы одни только трагики) и, наконец, о своих романах.

— Вы не смотрите, что я такая суетливая старушка, — говорила она. — Я была женщина веселая, независимая и красивая. Я могла бы оставить после себя интересные мемуары, да все никак не соберусь написать. Кончу записывать рассказы стариков, буду готовиться к летнему празднику.

Летний праздник бывает в Михайловском каждый год в день рождения Пушкина. Сотни колхозных телег, украшенных лентами и валдайскими бубенцами, съезжаются на луг за Соротью, против пушкинского парка.

На лугах жгут костры, водят хороводы. Поют старые песни и новые частушки:

Наши сосны и озера
Очень замечательны.
Мы Михайловские рощи
Бережем старательно.

Все местные колхозники гордятся земляком Пушкиным и берегут заповедник не хуже, чем свои огороды и поля.

Я жил в Вороничах у сторожа тригорского парка Николая. Хозяйка весь день швырялась посудой и ругала мужа: больно ей нужен такой мужик, который день и ночь прирос к этому парку, домой забегает на час-два, да и то на это время посылает в парк караулить старика тестя или мальчишек.

Однажды Николай зашел домой попить чаю. Не успел он снять шапку, как со двора ворвалась растрепанная хозяйка.

— Иди в парк, шалый! — закричала она. — Я на речке белье полоскала, гляжу, какой-то шпаненок ленинградский прямо в парк прется. Как бы беды не наделал!

— Что он может сделать? — спросил я.

Николай выскочил за порог.

— Мало ли что, — ответил он на ходу. — Не ровен час, еще ветку какую сломает.

Но все окончилось благополучно. «Шпаненок» оказался известным художником Натаном Альтманом, и Николай успокоился.

В пушкинском заповеднике три огромных парка: Михайловский, Тригорский и Петровский. Все они отличаются друг от друга так же, как отличались их владельцы.

Тригорский парк пропитан солнцем. Такое впечатление остается от него почему-то даже в пасмурные дни. Свет лежит золотыми полянами на веселой траве, зелени лип, обрывах над Соротью и на скамье Евгения Онегина. От этих солнечных пятен глубина парка, погруженная в летний дым, кажется таинственной и нереальной. Этот парк как будто создан для семейных праздников, дружеских бесед, для танцев при свечах под черными шатрами листьев, девичьего смеха и шутливых признаний. Он полон Пушкиным и Языковым.

Михайловский парк — приют отшельника. Это парк, где трудно веселиться. Он создан для одиночества и размышлений. Он немного угрюм со своими вековыми елями, высок, молчалив и незаметно переходит в такие же величественные, как и он сам, столетние и пустынные леса. Только на окраинах парка сквозь сумрак, всегда присутствующий под сводами старых деревьев, вдруг откроется поляна, заросшая блестящими лютиками, и пруд с тихой водой. В него десятками сыплются маленькие лягушки.

Главная прелесть Михайловского парка в обрыве над Соротью и в домике няни Арины Родионовны — единственном домике, оставшемся от времен Пушкина. Домик так мал и трогателен, что даже страшно подняться на его ветхое крыльцо. А с обрыва над Соротью видны два синих озера, лесистый холм и наше вековечное скромное небо с уснувшими на нем облаками.

В Петровском парке был дом пушкинского деда — строптивого и мрачного Ганнибала. Петровский парк хорошо виден из Михайловского за озером Кучане (оно же Петровское). Он черен, сыр, зарос лопухами,

в него входишь, как в погреб. В лопухах пасутся стреноженные лошади. Крапива глушит цветы, а по вечерам парк стонет от гомона лягушек. На вершинах темных деревьев гнездятся хриплые галки.

Как-то на обратном пути из Петровского в Михайловское я заблудился в лесных оврагах. Бормотали под корнями ручьи, на дне оврага светились маленькие озера. Солнце садилось. Неподвижный воздух был красноват и горяч.

С одной из лесных полян я увидел высокую многоцветную грозу. Она подымалась над Михайловским, росла на вечернем небе, как громадный средневековый город, окруженный белыми башнями. Глухой пушечный гром долетал от нее, и ветер вдруг прошумел на поляне и затих в зарослях.

Трудно было представить себе, что по этим простым дорогам со следами лаптей, по муравейникам и узловатым корням шагал пушкинский верховой конь и легко нес своего молчаливого всадника.

Я вспоминаю леса, озера, парки и небо. Это почти единственное, что уцелело здесь от пушкинских времен. Здешняя природа не тронута никем. Ее очень берегут. Когда понадобилось провести в заповедник электричество, то провода решили вести под землей, чтобы не ставить столбов. Столбы сразу бы разрушили пушкинское очарование этих пустынных мест.

В погосте Вороничи, где я жил, стояла деревянная ветхая церковь. Все ее звали церквушкой. Иначе и нельзя было назвать эту нахохленную, заросшую по крышу желтыми лишаями церковь, едва заметную сквозь гущу бузины. В этой церкви Пушкин служил панихиду по Георгу Байрону.

Паперть церкви была засыпана смолистыми сосновыми стружками. Рядом с церковью строили школу.

Один только раз за все время, пока я жил в Вороничах, приковылял к церкви горбатый священник в рваной соломенной шляпе. Он осторожно прислонил к липе ореховые удочки и открыл тяжелый замок на церковных дверях. В тот день в Вороничах умер столетний старик, и его принесли отпевать. После отпе-

вания священник снова взял свои удочки и поплелся на Сороть — ловить голавлей и плотиц.

Плотники, строившие школу, поглядели ему вслед, и один из них сказал:

— Сничтожилось духовное сословие! При Александре Сергеиче в Вороничах был не поп, а чистый бригадный генерал. Вредный был иерей. Недаром Александр Сергеич и прозвание ему придумал «Шкода». А на этого поглядишь — совсем Кузька, одна шляпа над травой мотается.

— Куда только их сила подевалась? — пробормотал другой плотник. — Где теперя их шелка-бархата?

Плотники вытерли потные лбы, застучали топорами, и на землю полетели дождем свежие, пахучие стружки.

В Тригорском парке я несколько раз встречал высокого человека. Он бродил по глухим дорожкам, останавливался среди кустов и долго рассматривал листья. Иногда срывал стебель травы и изучал его через маленькое увеличительное стекло.

Как-то около пруда, вблизи развалин дома Осиповых, меня застал крупный дождь. Он внезапно и весело зашумел с неба. Я спрятался под липой, и туда же не спеша пришел высокий человек. Мы разговорились. Человек этот оказался учителем географии из Череповца.

— Вы, должно быть, не только географ, но и ботаник? — сказал я ему. — Я видел, как вы рассматривали растения.

Высокий человек усмехнулся:

— Нет, я просто люблю искать в окружающем что-нибудь новое. Здесь я уже третье лето, но не знаю и малой доли того, что можно узнать об этих местах.

Говорил он тихо, неохотно. Разговор оборвался.

Второй раз мы встретились на берегу озера Маленец, у подножия лесистого холма. Как во сне шумели сосны. Под их кронами качался от ветра лесной полусвет. Высокий человек лежал в траве и рассматривал сквозь увеличительное стекло голубое перо сойки. Я сел рядом с ним, и он, усмехаясь и часто останавливаясь, рассказал мне историю своей привязанности к Михайловскому.

— Мой отец служил бухгалтером в больнице в Вологде, — сказал он. — В общем, был жалкий старик — пьяница и хвастун. Даже во время самой отчаянной нужды он носил застиранную крахмальную манишку, гордился своим происхождением. Он был обрусевший литвин из рода каких-то Ягеллонов. Под пьяную руку он порол меня беспощадно. Нас было шестеро детей. Жили мы все в одной комнате, в грязи и беспорядке, в постоянных ссорах и унижении. Детство было отвратительное. Когда отец напивался, он начинал читать стихи Пушкина и рыдать. Слезы капали на его крахмальную манишку, он мял ее, рвал на себе и кричал, что Пушкин — это единственный луч солнца в жизни таких проклятых нищих, как мы. Он не помнил ни одного пушкинского стихотворения до конца. Он только начинал читать, но ни разу не оканчивал. Это меня злило, хотя мне было тогда всего восемь лет и я едва умел разбирать печатные буквы. Я решил прочесть пушкинские стихи до конца и пошел в городскую библиотеку. Я долго стоял у дверей, пока библиотекарша не окликнула меня и не спросила, что мне нужно.

— Пушкина, — сказал я грубо.

— Ты хочешь сказки? — спросила она.

— Нет, не сказки, а Пушкина, — повторил я упрямо.

Она дала мне толстый том. Я сел в углу у окна, раскрыл книгу и заплакал. Я заплакал потому, что только сейчас, открыв книгу, я понял, что не могу прочесть ее, что я совсем еще не умею читать и что за этими строчками прячется заманчивый мир, о котором рыдал пьяный отец. Со слов отца я знал тогда наизусть всего две пушкинские строчки: «Я вижу берег отдаленный, земли полуденной волшебные края», — но этого для меня было довольно, чтобы представить себе иную жизнь, чем наша. Вообразите себе человека, который десятки лет сидел в одиночке. Наконец ему устроили побег, достали ключи от тюремных ворот, и вот он, подойдя к воротам, за которыми свобода, и люди, и леса, и реки, вдруг убеждается, что не знает, как этим ключом открыть замок. Громадный мир шу-

мит всего в сантиметре за железными листами двери, но нужно знать пустяковый секрет, чтобы открыть замок, а секрет этот беглецу неизвестен. Он слышит тревогу за своей спиной, знает, что его сейчас схватят и что до смерти будет все то же, что было: грязное окно под потолком камеры, вонь от крыс и отчаяние. Вот примерно то же самое пережил я над томом Пушкина. Библиотекарша заметила, что я плачу, подошла ко мне, взяла книгу и сказала:

— Что ты, мальчик? О чем ты плачешь? Ведь ты и книгу-то держишь вверх ногами!

Она засмеялась, а я ушел. С тех пор я полюбил Пушкина. Вот уже третий год приезжаю в Михайловское.

Высокий человек замолчал. Мы долго еще лежали на траве. За изгибами Сороти, в лугах, едва слышно пел рожок.

В нескольких километрах от Михайловского, на высоком бугре, стоит Святогорский монастырь. Под стеной монастыря похоронен Пушкин. Вокруг монастыря поселок — Пушкинские Горы.

Поселок завален сеном. По громадным булыжникам день и ночь медленно грохочут телеги: свозят в Пушкинские Горы сухое сено. От лабазов и лавок несет рогожами, копченой рыбой и дешевым ситцем. Ситец пахнет, как столярный клей.

Единственный трактир звенит жидким, но непрерывным звоном стаканов и чайников. Там до потолка стоит пар, и в этом пару неторопливо пьют чай с краюхами серого хлеба потные колхозники и черные старики времен Ивана Грозного. Откуда берутся здесь эти старики — пергаментные, с пронзительными глазами, с глухим, каркающим голосом, похожие на юродивых, — никто не знает. Но их много. Должно быть, их было еще больше при Пушкине, когда он писал здесь «Бориса Годунова».

К могиле Пушкина надо идти через пустынные монастырские дворы и подыматься по выветренной

каменной лестнице. Лестница приводит на вершину холма, к обветшалым стенам собора.

Под этими стенами, над крутым обрывом, в тени лип, на земле, засыпанной пожелтевшими лепестками, белеет могила Пушкина.

Короткая надпись «Александр Сергеевич Пушкин», безлюдье, стук телег внизу под косогором и облака, задумавшиеся в невысоком небе, — это все. Здесь конец блистательной, взволнованной и гениальной жизни. Здесь могила, известная всему человечеству, здесь тот «милый предел», о котором Пушкин говорил еще при жизни. Пахнет бурьяном, корой, устоявшимся летом.

И здесь, на этой простой могиле, куда долетают хриплые крики петухов, становится особенно ясно, что Пушкин был первым у нас народным поэтом.

Он похоронен в грубой песчаной земле, где растут лен и крапива, в глухой народной стороне. С его могильного холма видны темные леса Михайловского и далекие грозы, что ходят хороводом над светлой Соротью, над Савкиным, над Тригорским, над скромными и необъятными полями, несущими его обновленной милой земле покой и богатство.

1936

НОВЫЕ ТРОПИКИ

Начинался дождь. Он тяжело и медленно бил в стены домов, обшитые жестью. Сидевшим в комнатах, очевидно, казалось, что по стенам барабанит пальцами и напевает рассеянный человек. Но пел не человек — пела дождевая вода, лившаяся с крыш по водостокам.

Ненастные сумерки висели над Поти. Это было в 1923 году. Наш старый заржавленный пароход стоял, накренившись, около каменного мола. Морская вода превратилась в желтую жижу. Рион сносил с гор, переливаясь буграми, потоки глины и ила, коричневую пену, мусор, корни деревьев, торчавшие над водой, как щупальцы черных окостеневших спрутов.

— Ну и страна! — сказал мне капитан и плюнул за борт. — Недаром французские моряки зовут эти места «черноморской клоакой». Вы только взгляните!

Он показал на плоский город. Свайные его дома стояли в обширных лужах, темный дым из труб несло низко по земле в сторону гор, и дождь уныло гудел, плескал и струился по крышам, по обвисшим, промокшим насквозь веткам акаций.

Грузчики-мингрелы прятались под цинковыми крышами портовых складов. Зеленые их лица казались в

сумерках зловещими, глаза блестели сухим, напряженным огнем, руки дрожали.

— Все — малярики, — сказал капитан. — Здесь не разгрузка, а сплошное мученье. Человек не в силах поднять и одного пуда, — ноги трясутся. Провозимся до утра.

На облезлой конке я поехал в город. Улицы текли, как мелкие реки. От костлявых лошадей шел пар.

Мост через Рион дрожал, — густая вода неслась под самым настилом и отражала то вспыхивающий, то гаснущий огонь маяка. Маяк казался злым и равнодушным зверем, — он открывал глаз, чтобы взглянуть, цел ли еще этот угрюмый город, построенный среди непролазных болот, вплотную прижатый трясинами к морю. Город был цел, его еще не смыло в море, и маяк спокойно закрывал глаз, чтобы через минуту открыть его снова.

Около городского базара конка остановилась. В пустых лавчонках и духанах горели лампы. Свет ламп был желтый и тусклый.

Я зашел в духан. У стены сидели крестьяне в черных войлочных шляпах. Они сидели неподвижно, смотрели на глиняный пол, покрытый лужами, и молчали.

— Слушай, — сказал мне старик с толстой деревянной палкой. — Ты приезжий. Слушай, что я тебе скажу. Два моих сына и брат умерли от лихорадки. Люди плавают на пароходах, люди выдумали такой свет, что горит, если надавить на сучок в стене одним пальцем, люди учатся в больших городах и сделали революцию. Почему они не выдумали ничего, чтобы дождь не смывал каждый год наши поля? Ай, я вижу, что ты тоже ничего не знаешь.

— Не приставай к человеку, — сердито крикнул из-за стойки духанщик. — Что могут сделать люди с дождем и болотом? Ничего они не могут сделать, кацо.

— Ничего,— покорно согласился старик и вздохнул.

— И лихорадку никто не уведет из нашей страны.

— Никто, — так же покорно согласился старик.

Я представил себе эту умирающую от лихорадки страну, затянутую стеной проливного дождя и скверными, совсем осенними сумерками, хотя был июль. Я старался представить себе толщину этой водяной стены, упорно льющейся с неба на болота, на жалкие деревушки, на гниющие нищие поля, на заросли ольхи и ситника, представить себе банный, тяжелый воздух, теплоту этих джунглей, пропитанных до сердцевины ненужной влагой, наконец реки, лишенные берегов, потому что берега уже давно превратились в грязную, засасывающую человека гущу.

Я старался представить себе все это, но за окнами плотно стоял серый мрак, слышался унылый шум дождя, и ничего не было видно.

Было в этой стране что-то пугающее, заставлявшее желать только одного — поскорее отсюда уехать, бежать, выйти в море, прорваться сквозь завесу дождей к иным, веселым берегам, еще горевшим на горизонте полоской закатного света. Я взглянул на нахохлившихся крестьян и понял, что это тягостное ощущение было ощущением болезни, апатии, простиравшейся над этой землей, над ее ласковым и несчастным народом, как дожди простирались над ее мокрыми кукурузными полями.

Старик усмехнулся.

— Сорок дней и сорок ночей будет идти этот дождь, — сказал он в пространство. — Какой глупый человек выстроил в этом месте город! На земле — вода, в небе — вода, кругом вода.

Я вернулся на пароход. Ночью мы отошли в Батум. А на следующий день пришли телеграммы о том, что реки Колхиды вышли из берегов, вся страна — под водой, и нужно высылать в Поти все пароходы и парусники, чтобы спасать жителей.

Второй раз я попал в Колхиду через десять лет — в 1933 году.

Страну, как любят писать очеркисты, нельзя было узнать. Эти беспомощные слова ни разу не пришли в то время на память. Очевидно, потому, что не было

никакого желания узнавать еще сохранившиеся кое-где черты прошлого. Наоборот, хотелось узнать облик необыкновенной, расцветающей Колхиды, ставший настолько ощутимым, что мысль невольно опережала действительность и все время тянулась к будущему.

В непроходимых некогда болотах чавкали и скрежетали экскаваторы. Линии каналов перерезали хмурые джунгли. По ночам в бывших трясинах сверкали тысячи огней, то гаснущих каждую минуту, то неподвижных и ярких. Гаснущие огни принадлежали светлякам, неподвижные — электричеству, тому хорошему свету, что горит, если надавить на сучок в стене. Сырая и затемненная болотными зарослями земля Колхиды впервые почувствовала прикосновение солнца и ответила на него буйным цветением.

Веселый и шумный народ перекликался на улицах Поти.

Тысячи мингрелов в прежних войлочных шляпах рыли каналы, загораживали реки валами, прокапывали новое русло Риона, в обход Поти, затопляли болота мутной рионской водой, — и у всех на глазах происходило создание новой плодоносной почвы из этой мутной воды.

Это явление было названо невыразительным словом «кольматаж», а между тем оно заслуживает книг, поэм, заслуживает иного названия, способного выразить преклонение перед человеческой мыслью, перед гениальностью революции, меняющей в Колхиде все — почву, растительность, климат, самое население этой некогда несчастной страны.

Кольматаж прост, как все гениальные вещи. Мутной водой Риона затапливают болота. Ил оседает. Отстоявшуюся чистую воду спускают в море.

На колхидских болотах нарастает земля более плодородная, чем знаменитые земли, созданные в Египте разливами Нила. До революции Рион каждый год бесполезно уносил в море десять миллиардов кубических метров драгоценного ила. Сейчас из этого ила создается новая тропическая страна.

На небольшом клочке советской земли происходят удивительные дела. Мы недостаточно их знаем. Нужно

вдуматься в то, что переживает Колхида, — рождение новой почвы, освобождение от болот громадных земель от Кобулети до устья реки Кодор в Абхазии, создание богатой и всегда кажущейся нам, северянам, таинственной тропической растительности.

Несколько лет назад в книге о Колхиде я привел слова старого потийского извозчика. Он сказал мне: «Скоро, дорогой товарищ, пароходы будут входить по темным ночам в наш порт не на свет маяка, а на запах лимонов».

Критики сочли эти слова преувеличением, но как раз эти подлинные слова лучше всего передают реальное будущее этого края.

Миф об Одиссее, искавшем в Колхиде золотое руно, тысячелетиями оставался только мифом. Воплотить его в жизнь было дано большевикам. Они нашли — вернее, создали это золотое руно — исполинский тропический сад, действительно золотой от плодов.

Трудно перечислить все разнообразие тропической растительности, уже разрастающейся в Колхиде. На осушенной земле можно вырастить самые разнообразные тропические и субтропические растения.

До сих пор еще никем не раскрыт до конца список необычайнейших свойств хотя бы одного эвкалипта, — этого, как зовут его англичане, «алмаза лесов», с неслыханной быстротой высушивающего болота. В Колхиде за два года эвкалипты вырастают в вышину на шесть метров. Древесина эвкалипта считается почти неразрушимой.

Кудрявый чай, лимоны, мандарины, грейпфрут, бамбук, бататы, кинканы, рами, криптомерии, персики, пальмы, тюльпановое дерево, драцена, великое множество лекарственных трав и цветов — все это уже цветет и зреет в Колхиде, и недалеко то время, когда Колхида будет давать стране двенадцать миллиардов плодов одних только цитрусов — апельсинов, лимонов и мандаринов.

В Колхиде растет новое, здоровое поколение. Наводнения окончились. Колхида превращается не только в тропический сад, но и в лучшее место отдыха.

Воздух Колхиды, очищенный от болотных испарений, уже и сейчас пропитан холодноватым и тонким запахом цитрусов. Этот запах, смешиваясь с солеными морскими ветрами, создает тот особый неповторимый воздух, что целебно действует на людей, на их психику и вызывает ощущение полноты жизни, — ощущение, свойственное людям нашей социалистической действительности.

В Колхиде человек и природа облагорожены и подчинены одной величайшей идее — созданию счастливого и разумного существования на земле для нового человека социалистического общества.

1937

ЖЕЛТЫЙ СВЕТ

Я проснулся серым утром. Комната была залита ровным желтым светом, как будто от керосиновой лампы. Свет шел снизу из окна и ярче всего освещал бревенчатый потолок.

Странный свет — неяркий и неподвижный — был непохож на солнечный. Это светили осенние листья. За ветреную и долгую ночь сад сбросил сухую листву, она лежала шумными грудами на земле и распространяла тусклое сияние. От этого сияния лица людей казались загорелыми, а страницы книг на столе как будто покрылись слоем воска.

Так началась осень. Для меня она пришла сразу в это утро. До тех пор я ее почти не замечал: в саду еще не было запаха прелой листвы, вода в озерах не зеленела, и жгучий иней еще не лежал по утрам на дощатой крыше.

Осень пришла внезапно. Так приходит ощущение счастья от самых незаметных вещей — от далекого пароходного гудка на Оке или от случайной улыбки.

Осень пришла врасплох и завладела землей — садами и реками, лесами и воздухом, полями и птицами. Все сразу стало осенним.

В саду суетились синицы. Крик их был похож на звон разбитого стекла. Они висели вниз головами на ветках и заглядывали в окно из-под листьев клена.

Каждое утро в саду, как на острове, собирались перелетные птицы. Под свист, клекот и карканье в ветвях поднималась суматоха. Только днем в саду было тихо: беспокойные птицы улетали на юг.

Начался листопад. Листья падали дни и ночи. Они то косо летели по ветру, то отвесно ложились в сырую траву. Леса моросили дождем облетавшей листвы. Этот дождь шел неделями. Только к концу сентября перелески обнажились, и сквозь чащу деревьев стала видна синяя даль сжатых полей.

Тогда же старик Прохор, рыболов и корзинщик (в Солотче почти все старики делаются с возрастом корзинщиками), рассказал мне сказку об осени. До тех пор я эту сказку никогда не слышал, — должно быть, Прохор ее выдумал сам.

— Ты гляди кругом, — говорил мне Прохор, ковыряя шилом лапоть, — ты присматривайся, милый человек, чем каждая птица или, скажем, иная какая живность дышит. Гляди, объясняй. А то скажут: зря учился. К примеру, лист осенью слетает, а людям невдомек, что человек в этом деле — главный ответчик. Человек, скажем, выдумал порох. Враг его разорви вместе с тем порохом! Сам я тоже порохом баловался. В давние времена сковали деревенские кузнецы первое ружьишко, набили порохом, и попало то ружьишко дураку. Шел дурак лесом и увидел, как иволги летят под небесами, летят желтые веселые птицы и пересвистываются, зазывают гостей. Дурак ударил по ним из обоих стволов — и полетел золотой пух на землю, упал на леса, и леса посохли, пожухли и в одночасье опали, а иные листья, куда попала птичья кровь, покраснели и тоже осыпались. Небось видел в лесу, есть лист желтый и есть лист красный. До того времени вся птица зимовала у нас. Даже журавль и тот никуда не подавался. А леса и лето и зиму стояли в листьях, цветах и грибах. И снега не было. Не было зимы, говорю. Не было! Да на кой она ляд сдалась нам, зима, скажи на милость?! Какой с нее интерес? Убил дурак первую птицу — и загрустила земля. Начались с той поры листопады, и мокрая осень, и листобойные ветры, и зимы, — и птица испугалась, от нас

отлетает, обиделась на человека. Так-то, милый, выходит, что мы себе навредили, и надобно нам ничего не портить, а крепко беречь.

— Что беречь?

— Ну, скажем, птицу разную или лес. Или воду, чтобы прозрачность в ней была. Все, брат, береги, а то будешь землей швыряться и дошвыряешься до погибели.

Я изучал осень упорно и долго. Для того чтобы увидеть что-нибудь по-настоящему, надо убедить себя, что ты видишь это впервые в жизни. Так было и с осенью. Я уверил себя, что эта осень первая и последняя в моей жизни. Это помогло мне пристальнее всмотреться в нее и увидеть многое, чего я не видел раньше, когда осени проходили, не оставляя никакого следа, кроме памяти о слякоти и мокрых крышах московского трамвая.

Я узнал, что осень смешала все чистые краски, какие существуют на земле, и нанесла их, как на холст, на далекие пространства земли и неба.

Я видел листву, не только золотую и пурпурную, но и алую, фиолетовую, коричневую, черную, серую и почти белую. Краски казались особенно мягкими из-за осенней мглы, неподвижно висевшей в воздухе. А когда шли дожди, мягкость красок сменялась блеском: небо, покрытое облаками, все же давало достаточно света, чтобы мокрые леса могли загораться вдали, как багряные пожары. В сосновых чащах дрожали от холода березы, осыпанные сусальной позолотой. Эхо от ударов топора, далекое ауканье баб и ветер от крыльев пролетевшей птицы стряхивали эту листву. Вокруг стволов лежали широкие круги от палых листьев. Деревья начинали желтеть снизу: я видел осины, красные внизу и совсем еще зеленые на верхушках.

Однажды осенью я ехал на лодке по Прорве. Был полдень. Низкое солнце висело на юге. Его косой свет падал на темную воду и отражался от нее. Полосы солнечных отблесков от волн, поднятых веслами, мерно бежали по берегам, поднимаясь от воды и потухая в вершинах деревьев. Полосы света проникали в гущу трав и кустарников, и на одно мгновенье берега вспы-

хивали сотнями красок, будто солнечный луч ударял в россыпи разноцветной руды. Свет открывал то черные блестящие стебли травы с оранжевыми засохшими ягодами, то огненные шапки мухоморов, как будто забрызганные мелом, то слитки слежавшихся дубовых листьев и красные спинки божьих коровок.

Часто осенью я пристально следил за опадающими листьями, чтобы поймать ту незаметную долю секунды, когда лист отделяется от ветки и начинает падать на землю, но это мне долго не удавалось. Я читал в старых книгах о том, как шуршат падающие листья, но я никогда не слышал этого звука. Если листья и шуршали, то только на земле, под ногами человека. Шорох листьев в воздухе казался мне таким же неправдоподобным, как рассказы о том, что весной слышно, как прорастает трава.

Я был, конечно, неправ. Нужно было время, чтобы слух, отупевший от скрежета городских улиц, мог отдохнуть и уловить очень чистые и точные звуки осенней земли.

Как-то поздним вечером я вышел в сад, к колодцу. Я поставил на сруб тусклый керосиновый фонарь «летучую мышь» и достал воды. В ведре плавали листья. Они были всюду. От них нигде нельзя было избавиться. Черный хлеб из пекарни приносили с прилипшими к нему мокрыми листьями. Ветер бросал горсти листьев на стол, на койку, на пол, на книги, а по дорожкам сада было трудно ходить: приходилось идти по листьям, как по глубокому снегу. Листья мы находили в карманах своих дождевых плащей, в кепках, в волосах — всюду. Мы спали на них и насквозь пропитались их запахом.

Бывают осенние ночи, оглохшие и немые, когда безветрие стоит над черным лесистым краем и только колотушка сторожа доносится с деревенской околицы.

Была такая ночь. Фонарь освещал колодец, старый клен под забором и растрепанный ветром куст настурции на пожелтевшей клумбе.

Я посмотрел на клен и увидел, как осторожно и медленно отделился от ветки красный лист, вздрогнул, на одно мгновение остановился в воздухе и косо начал

падать к моим ногам, чуть шелестя и качаясь. Впервые я услыхал шелест падающего листа — неясный звук, похожий на детский шепот.

Ночь стояла над притихшей землей. Разлив звездного блеска был ярок, почти нестерпим. Я зажмурился. Осенние созвездия блистали в ведре с водой и в маленьком оконце избы с такой же напряженной силой, как и на небе.

Созвездия Персея и Ориона проходили над землей свой медлительный путь, дрожали в воде озер, тускнели в зарослях, где дремали волки, и отражались на чешуе рыб, спавших на отмелях в Старице и Прорве.

К рассвету загорался зеленый Сириус. Его низкий огонь всегда запутывался в листве ив. Юпитер закатывался в лугах над черными стогами и сырыми дорогами, а Сатурн поднимался с другого края неба, из лесов, забытых и брошенных по осени человеком.

Звездная ночь проходила над землей, роняя холодные искры метеоров, в шелесте тростников, в терпком запахе осенней воды.

В конце осени я встретил на Прорве Прохора. Седой и косматый, облепленный рыбьей чешуей, он сидел под кустами тальника и удил окуней. На взгляд Прохору было сто лет, не меньше. Он улыбнулся беззубым ртом, вытащил из кошелки толстого очумелого окуня и похлопал его по жирному боку — похвастался добычей.

До вечера мы удили вместе, жевали черствый хлеб и вполголоса разговаривали о недавнем лесном пожаре.

Он начался около деревушки Лопухи, на поляне, где косари забыли костер. Дул суховей. Огонь быстро погнало на север. Он шел со скоростью поезда — двадцать километров в час. Он гудел, как сотни самолетов, идущих бреющим полетом над землей.

В небе, затянутом дымом, солнце висело, как багровый паук на плотной седой паутине. Гарь разъедала глаза. Падал медленный дождь из золы. Он покрывал серым налетом речную воду. Иногда с неба слетали березовые листья, превращенные в пепел. Они рассыпались в пыль от малейшего прикосновения.

По ночам угрюмое зарево клубилось на востоке, по дворам тоскливо мычали коровы, ржали лошади и на горизонте вспыхивали белые сигнальные ракеты — это красноармейские части, гасившие пожар, предупреждали друг друга о приближении огня.

Возвращались мы с Прорвы к вечеру. Солнце садилось за Окой, и между нами и солнцем лежала серебряная тусклая полоса. Это солнце отражалось в густой осенней паутине, покрывшей луга.

Днем паутина летала по воздуху, запутывалась в нескошенной траве, пряжей налипала на весла, на лица, на удилища, на рога коров. Она тянулась с одного берега Прорвы на другой и медленно заплетала реку легкими и липкими сетями. По утрам на паутине оседала роса. Покрытые паутиной и росами ивы стояли под солнцем, как сказочные деревья, пересаженные в наши земли из далеких стран.

На каждой паутине сидел маленький паук. Он ткал паутину в то время, когда ветер нес его над землей. Он пролетал на паутине десятки километров. Это был перелет пауков, очень похожий на осенний перелет птиц. Но до сих пор никто не знает, зачем каждую осень летят пауки, покрывая землю своей тончайшей пряжей.

Дома я отмыл паутину с лица и затопил печь. Запах березового дыма смешивался с запахом можжевельника. Пел старый сверчок, и под полом ворошились мыши. Они стаскивали в свои норы богатые запасы — забытые сухари и огарки, сахар и окаменелые куски сыра.

Глубокой ночью я проснулся. Кричали вторые петухи, неподвижные звезды горели на привычных местах, и ветер осторожно шумел над садом, терпеливо дожидаясь рассвета.

1938
Солотча, Рязанской обл.

СПОР В ВАГОНЕ

Спор начался около Барнаула, когда поезд медленно проходил, громыхая на стыках, по мосту через Обь.

Пассажиры бросились к окнам, чтобы посмотреть на великую сибирскую реку, но ничего не увидели, кроме мокрого снега. Ветер нес его белым дымом, и только внизу, у самых устоев моста, можно было увидеть свинцовую воду. От нее поднимался холодный пар.

Боец с костылем отвернулся от окна, сплюнул, скрутил цигарку и сказал с досадой:

— Ну и климат у вас в Сибири. Второй день валит снег с дождем, будь он проклят!

— Гляди, какой самокритик! — пробормотал высокий небритый боец. — Сибирь ему не с руки. Богаче Сибири нету страны на земле. Я, бывало, еду через лес к себе на кордон, так у меня на колесах одной давленой ягоды на два пальца налипнет.

— Какой ягоды? — спросила девочка с двумя косичками.

— Известно какой — земляники.

— Эх ты, челдон, — вздохнул боец с костылем. — Пожил бы у нас под Владимиром, тогда бы иное запел.

— Каждая курица, милые, свой насест хвалит, — сказала старуха в огромных валенках. — По мне, лучше Алтая нет земли ни в каких государствах. Алтайские кони — огонь! У кого сердце слабое, тот на них ездить не смеет.

Спор разгорался. Раненые бойцы, ехавшие в недолгий отпуск, и пассажиры начали наперебой хвалить родные места. И удивительно было то, что каждый из них был прав. Молчал только боец-казах с рукой на перевязи. Сначала он застенчиво улыбался, потом наклонился ко мне и сказал шепотом:

— На родину еду!

Я взглянул на него, и он повторил:

— В Джаркент, на родину еду. На месяц. Одни люди говорят: твоя страна — пустыня. Другие говорят: твоя страна, Исмаил, засохла от солнца, в ней дождь не падает с неба. Ай, мало знают люди!

Он помолчал.

— Казах едет верхом, поет, — снова сказал он мне тем же таинственным шепотом. — Его не видно в степи, так далеко он от тебя едет, а голос его слышно совсем здесь, рядом. Как думаешь, почему? Потому что нигде нет такого воздуха, как в Казахстане. Много воздуха. Песня летит далеко, никто ей не перебегает дорогу. Песня любит мою страну.

Боец казах был прав. Не оттого ли так любят петь казахи, что как бы стеклянный воздух этих пространств придает особую звонкость человеческому голосу? Немногие народы стоят так близко, как казахи, лицом к лицу с девственной природой. Этим объясняется склонность казахов к поэзии. Недаром казахский поэт Чокан Валиханов писал, что постоянное созерцание природы — всегда открытого звездного неба и беспредельных зеленых степей — было причиной поэтического и умозрительного расположения духа степных народов.

Боец с костылем услышал слова Исмаила и сказал:

— Отчего же песне не лететь далеко, браток, ежели в твоей стране одна пустота? Пожил бы ты у нас под Владимиром, послушал шум лесной, знал бы, что такое рай.

Исмаил промолчал.

После Семипалатинска за пологом низких туч заблистало чистое небо, и поезд сразу вошел в иную страну. Сибирь как будто отрезало. Сухая земля, прогретая солнцем, лежала вокруг. На остановках ветер шелестел в высокой окаменевшей траве, и на горизонте стояли желтые невысокие горы. Сарычи кружились над степью. В прохладном воздухе перекликались невидимые птицы. Должно быть, они были так малы, что их нельзя было заметить среди густой синевы.

— Тургаи, — сказал мне Исмаил. — Жаворонки.

Боец с костылем притих, все время стоял у окна, смотрел на полынные просторы, что-то думал. А Исмаил все чаще уходил на площадку, садился на ступеньки вагона и пел, покачиваясь и улыбаясь. Сквозь грохот колес и лязг буферов эта песня доносилась и к нам в вагон. И тогда боец с костылем вздыхал и говорил:

— Поет казах, встречает свою землю. А чего он поет, вы не знаете? Жалко. Я тоже ихнего языка не разбираю. Надо думать, он вроде как здоровается со степью и говорит: «Вот, мол, повстречались мы снова, и ты меня принимай, как сына, потому что и я за тебя пролил на переднем краю несколько крови».

Где-то за Акжалом поезд долго стоял на разъезде. Бойцы вышли размять ноги, легли у полотна на жесткую траву, слушали, как дышит в тишине пустыни паровоз. Невдалеке подымались из земли серые скалы. Они казались вершинами гор, пробившими толщу земли и лишь немного поднявшимися над равниной. По скалам бродили черные овцы. В овечьей шерсти было много седины, но потом, когда овцы подошли к поезду, то оказалось, что это не седина, а пыльца полыни, густо усыпавшая шерсть.

Вместе с овцами подошел и пастух — старый казах в меховой шапке с наушниками, свисавшими до пояса, и желтыми смеющимися глазами.

Он постоял около бойцов, посмотрел на них, потом вынул из-под кафтана сыр, завернутый в линялый ситцевый платок, подул на сыр и молча протянул бой-

цам. Бойцы взяли сыр, чтобы не обижать старика, и в ответ угостили его табаком. Синий табачный дым улетал в небо, где не было ни одного облачка и только сверкало белое солнце здешней зимы.

— Эх, — сказал боец с костылем и хлопнул Исмаила по плечу, — жить здесь просторно. Жить мне здесь хочется, понимаешь. Кончится война, приеду сюда, слезу на этом разъезде со своей торбой и пойду далеко, — боец показал на юг, — покамест не дойду до воды. Есть там вода?

— Есть, — ответил Исмаил. — Ала-Куль. Озеро, камыши, птицы много. Как подует ветер, несет по воде к берегу целые горы птичьего пуха. А ты говорил: не земля, пустота.

— Пустота пустоте рознь, — смущенно пробормотал боец с костылем.

Я смотрел на странные скалы и вспоминал открытие академика Ферсмана. Он установил, что почти вся поверхность Казахстана занята размытыми и засыпанными песком горными хребтами. Эти подземные хребты тянутся огромными дугами от Урала до Тянь-Шаня и Алтая. Они богаты медью, цинком, свинцом, серебром, золотом, оловом. Значит, здесь, под этой пустынной землей, заросшей полынью и чием, похоронены исполинские горы и залежи драгоценных металлов.

Прав был Исмаил, — Казахстан велик, как море, и неисчерпаемо богат. Если до войны богатства Казахстана добывались из земных недр по плану и наравне с этим быстро расцветала Казахская республика, то война довела использование богатств Казахстана до неслыханной быстроты и размаха.

Достаточно только перечислить эти богатства, чтобы понять мощь этой страны и величину той помощи, какую она оказывает фронту. Медные рудники и заводы на берегу Балхаша и в далеком Джезказгане, свинец в сухих горах Ачи-Сая, вблизи древнего города Туркестана, никель около Актюбинска и Мугоджарских гор, железные руды в Карсакпае, марганец на полуострове Мангышлак, нефть на Эмбе, где вышки стоят в розовой воде соляных озер, уголь

в Караганде, фосфориты в Прикаспийской пустыне, сурьма в Тургае, редкие металлы и золото на Алтае...

На станции Лепса песок намело кучами к стенам станционных зданий. У входа в буфет стоял на перроне мохнатый двугорбый верблюд и надменно смотрел на бойцов, бежавших с чайниками к кубу с кипятком. Вдали между песками и небом протянулась полоса лакированной, нестерпимо яркой синевы. Это было озеро Балхаш — одно из озер-морей Казахстана.

Солнце садилось за барханами. Пески горели теплым сумрачным блеском. Зажглись огни семафора, и тотчас в небе запылали созвездия. Они шевелились в небе, блеск их с каждой минутой становился ярче. Казалось, что звезды приближаются к земле.

Исмаил стоял на площадке. Я вышел покурить, и Исмаил сказал мне, улыбаясь:

— У нас ночью очень светло от звезд. Дорогу в степи видно, тушканчиков видно. Тушканчик ночью выходит на дорогу, играет в пыли.

— Ты часто вспоминал родину на фронте, Исмаил? — спросил я его.

— Каждый день, — ответил он. — Как можно не вспоминать? Иначе драться нельзя.

Поезд мчался в неясную даль, и я вспомнил зимнюю ночь в горах Алатау около Алма-Аты. В лесах из дикой яблони шумела в снегу горная река, снег слетал белыми светящимися прядями с тяньшаньских елей. И то тут, то там над вершинами возникали голубые яркие зарева, — то были зарева от звезд, закрытых вершинами.

— Иначе драться нельзя, — повторил Исмаил. — Мой отец был нищий, собирал сухой верблюжий помет для хозяина, делал кизяк; а я научился читать умные книги — я читал Абая и Пушкина и знаю, как работает мотор и как земля ходит около солнца. Отец был нищий, я — сержант, а моя сестра — артистка в Алма-Ате. Мой отец всегда говорил: расцветет наша

земля, будет богат наш дом, и вечером не хватит огня, чтобы показать его нашим дорогим гостям.

Исмаил помолчал.

— Наши деды дрались за счастье и велели драться за это и нам. Мой дед знал самого Исатая Тайманова, был у него в отряде, видел, как Исатай плюнул на горячую бомбу — и она не взорвалась, потухла. Мало осталось живых, кто помнит восстание Исатая, а дед его помнил хорошо. Исатай дрался за то, чтобы султаны не грабили нищих. Его убили. Но он не выпустил из руки свою саблю.

Я смутно знал о восстании Тайманова, случившемся в начале XIX века. У восставших было два вождя, два друга — Тайманов и акын Мухамбед Утимисов. После встречи с Исмаилом я нашел старые архивные материалы об этом восстании и прочел их.

Это было смелое и упорное дело, восстание бедняков. «Султаны и баи, — писал Исатай русским властям перед восстанием, — всюду нас притесняют безвинно, мучают побоями, своевольно отнимают у нас собственность нашу. Заступников у нас нет».

Исатай поднял кочевников-ордынцев и пошел на ставку султана Букеевской орды около Гурьева.

Были жаркие бои, жестокие схватки. В одной из них Исатай погиб. Он дрался смертельно раненный, стреляя из лука и отбиваясь шашкой от наседающих врагов. Даже враги склонили головы перед телом народного трибуна и храбреца и записали в своих воспоминаниях: «Он сделался жертвой своей отважности».

Исатай был так же отважен, как и его потомки, теперешние бойцы Красной Армии. Недаром средневековый монах Карпини, ездивший послом от римского папы к внуку Чингис-хана и пересекший казахские степи, писал о казахах: «Всем надлежит знать, что, завидя неприятеля, они тотчас открыто бросаются на него и поражают и язвят его стрелами».

На станции Сары-Озек Исмаил сошел с поезда, и мы расстались, может быть, навсегда. На прощанье Исмаил крепко пожал руку бойцам, старухе в вален-

ках и девочке с косичками. Меня же отвел в сторону и сказал:

— Я вижу, товарищ, что вы любите мою землю и пишете в газетах. Напишите об этой земле. Пусть наши бойцы читают на фронте. И пусть каждый вспомнит свою степь, и свои горы, и свои леса, и свое детство. И Алма-Ату пусть вспомнит. Красивый город, очень красивый — мой отец в нем был, когда там еще стояли деревянные дома и щели в стенах конопатили сеном. Птицы выклевывали это сено, и потому в домах было очень холодно зимой. Ну, прощайте!

Исмаил вскинул на спину вещевой мешок и пошел к дороге, что вела к Джунгарским горам.

1943

ВОСПОМИНАНИЕ О КРЫМЕ

Несколько лет назад мне пришлось плыть зимой на теплоходе из Батуми на север. После Туапсе теплоход ушел в открытое море, чтобы обойти ледяной шторм, бушевавший у берегов Новороссийска.

Все же шторм захватил нас крылом. Волчьим воем пели снасти. Лицо резала колючая снежная крупа. Ветер стремительно проносил над мачтами черные тучи. Они казались обрывками тьмы.

На рассвете я проснулся от тишины. Монотонно гудела машина. Я вышел на палубу. Шторм стих. В необыкновенной ясности всходило солнце.

Впереди, в голубоватой светящейся мгле, медленно вырастали из моря очертания желтых гор, освещенных низкими, но яркими лучами. Это был Крым, но я не сразу узнал его. Он показался мне огромным островом, тонущим в утренней синеве.

Впервые я увидел из морской дали весь Крым, весь торжественный разворот его берегов от мыса Фиолента до Карадага. Впервые я понял, как прекрасна эта земля, омытая одним из самых праздничных морей земного шара. И, может быть, то чувство, которое испытали в это утро и я и мои спутники,

глядя на выступавшие из шумящих волн берега, было сродни ощущению людей, впервые открывших новые страны. Так, очевидно, представляли себе обетованную землю наши пращуры.

Мы подходили к берегам, расцвеченным сухими и резкими красками крымской зимы. Уже пылали ржавчиной виноградники, уже видны были покрытые снегом вершины Чатыр-Дага и Ай-Петри и над ними, как дым, струились к зениту и таяли облака. А море несло к подножью каменных мысов розоватую утреннюю пену и шумело сонно и заунывно — так же, как сотни и тысячи лет.

Есть уголки нашей земли настолько прекрасные, что каждое посещение их вызывает ощущение счастья, жизненной полноты, настраивает все наше существо на необыкновенное простое и плодотворное лирическое звучание.

Таков Крым. Поэтому он стал, как говорили в старину, «источником вдохновения» для многих писателей и поэтов, художников и музыкантов.

Прелесть крымской земли раскрывается для иных медлительно, исподволь, но завладевает надолго, навсегда. И каждый, кто побывал в Крыму, уносит с собой после расставания с ним сожаление и легкую печаль, какую вызывают воспоминания о детстве, и надежду еще раз увидеть эту «полуденную землю».

Крым оставил глубокий след в нашем искусстве. Достаточно вспомнить имена Пушкина, Мицкевича, Чехова, Горького, Толстого, Сергеева-Ценского, Вересаева, Куприна, Грина, Волошина, Малышкина, художников — Богаевского, Кончаловского, Дейнеки. Этот список людей, полюбивших Крым и обязанных ему многими откровениями в своем творчестве и многими радостями, можно длить без конца, так же как и список вещей, написанных о Крыме.

Что такое вдохновение? Это полнота сил, располагающая к наилучшему восприятию впечатлений и передаче их другим. Таково, в общих чертах, пушкинское определение. Эту полноту сил, это вдохновение

Крым дарит нам щедро во всем, — не только в широких пейзажах, покрытых солнечной желтой дымкой, но и в каждой даже незначительной вещи — в цветке миндаля, в стрельчатом освещении сосновых лесов, в куске разбитой черепицы, в колючем ржавом дубняке, в запахе водорослей, намытых прибоем. Во всем — в весенних туманах и прогретой солнцем каменистой земле, в самом воздухе этого чудесного уголка нашей страны.

1948

ВЕТЕР СКОРОСТИ

Из путевого дневника

Под Москвой леса были насквозь просвечены золотом. Особенно много этого лиственного шумного золота скопилось в оврагах, куда не проникал ветер. А на холмах ветер начисто срывал сухую листву, кружил ее и уносил вдаль. И там, в этой дали, в холодном блеске октябрьского солнца листья временами летели по ветру так густо, что воздух казался от них желтоватым.

В такой день начался наш путь из Москвы на запад.

Путь шел мимо Бородинского поля. Над ним курился туман. Он был похож на дым сраженья.

Сухие взгорья Бородина расстилались вокруг. К ним были обращены мысли Пушкина, Лермонтова, Льва Толстого и многих тысяч русских людей. «Недаром помнит вся Россия про день Бородина».

На этих полях Пьер Безухов мог бы встретиться с интендантом наполеоновской армии Стендалем. Я написал слово «мог» потому, что сила толстовского гения сделала Безухова существующим. Нельзя даже представить себе, что не было на свете этого добродушного увальня.

Ветер скорости гудел в крыльях «победы». Под этот гул хорошо было думать о разных разностях, хотя бы об этой невозможной встрече Безухова со Стендалем.

О чем они могли говорить? Может быть, о том, что рядом со старой кровавой историей, с ее войнами и бессмыслицей живет простая повесть любящих сердец, где-то близко бьется милое сердце Наташи Ростовой. И ради этого сердца стоит броситься очертя голову в любую опасность.

Мало ли мыслей приходит в голову под гул дорожного ветра! А здесь ему было где разгуляться — на автостраде Москва — Минск, серой бетонной ленте, туго натянутой от края до края земли.

Дорога эта проходит в стороне от городов и деревень. Города возникают и проносятся по ее сторонам, как виденья.

Таким виденьем прошла на вечереющих холмах героическая Вязьма. И снова помчались километры красной по осени болотной травы, березняка и равномерно сменяющих друг друга перелесков.

Днепр под Смоленском блеснул узкой извилиной. Берега его дымились паром.

Около Днепра мы остановили машину. Пастух гнал навстречу пестрое стадо. Вопреки тысячелетней привычке, он не кричал на коров осипшим, отчаянным голосом: «Куды, дьяволы!» Он заменил этот возглас более современным: «Алло, красавицы! Алло!» И коровы, проходя мимо машин, ласково поглядывали на нас, помахивали хвостами и, казалось, хотели сказать: «Вот видите, какой у нас чудный пастух».

К вечеру показался Смоленск — многострадальный город, раскинутый на кручах над Днепром.

Не прошло и десяти лет после войны, а понятие «разрушенный город» почти исчезло. Разрушенных городов больше нет. Нет и разрушенного Смоленска. Новый город поднялся над развалинами. Уцелевшие дома вошли в ансамбль новых зданий. Только смоленские пращуры — крепостные валы, собор и кремлев-

ские стены — хранят в своем каменном молчании память о прошлом.

Всю ночь за окнами маленькой смоленской гостиницы шумел дождь. На столе в номере стоял букет гладиолусов удивительно нежной раскраски.

Ничто в этой гостинице не напоминало пресловутые «номера для приезжающих» с их застарелой вонью дешевого одеколона и хлора, сквозняками и скрипучими лестницами.

Было очень чисто, тихо, спокойно. На стене висела литография «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Эта литография встречалась нам на всем пути. И не только она одна, но еще «Утро в сосновом лесу» Шишкина и «Девятый вал» Айвазовского. Почти не было такой гостиницы, столовой или кафе на протяжении четырех тысяч километров дороги, где бы не висели эти литографии. Всюду нас радостно приветствовал схватившийся за живот от смеха сивоусый запорожец — в Витебске и Пскове, в Нарве и Каунасе. Он просто преследовал нас своим зычным безмолвным хохотом.

В конце концов нам стало не по себе. И потому мы искренне обрадовались, когда в столовой в Опочке впервые увидели на стенах превосходные пейзажи местного художника. Имя его нам так и не удалось узнать.

Утром серый дождь все еще висел над Смоленском. Я вышел в город. Среди земляных валов и старых ив тускло поблескивал большой пруд. С деревьев слетали сизые листья и ложились на воду. Она даже не вздрагивала от их прикосновенья.

Посиневший от холода вихрастый мальчик сидел на корточках на берегу пруда и удил рыбу. Я почувствовал невольное уважение к этому мальчику за его жестокую страсть и терпение.

Город в этот ранний час был почти пуст, безмолвен. Я подумал о том, сколько бурь пронеслось над ним и сколько одаренных русских людей выросло здесь,

под стенами Смоленского кремля, на горбатых улочках, заросших травой.

Как будто нарочно, чтобы подтвердить эти мысли, из отдаленного громкоговорителя послышались звуки рояля и мужской голос запел:

Не искушай меня без нужды
Возвратом нежности твоей...

Томительные эти слова и музыка Глинки — уроженца Смоленска — наполнили утренний холодок печальной поэзией. Я вспомнил стихи другого смоленского уроженца, Твардовского: «За далью даль». Места поэзии! Здесь она рождалась — на суглинистых дорогах, в сырых лесах Смоленщины.

Вихрастый мальчишка-рыболов напомнил мне замечательного смоленского человека, Василия Тихоновича Бобрышева. Он был редактором журнала «Наши достижения». Его многие знали — худого, со смеющимися глазами и светлой прядью, падавшей на лоб. Было в нем что-то от старых русских мастеров, от лесковского Левши. О таких людях, как Бобрышев, говорят: «золотые руки».

Он прекрасно составлял журнал. Он собрал вокруг него всю даровитую литературную молодежь. Как все талантливые люди, Бобрышев любил все делать сам — чинить всякие приборы, часы, особенно старые музыкальные ящики с их перезвоном простых мелодий («В милые годы ты возвратишься...»), выращивать у себя в комнате на улице Горького диковинные цветы и собирать грибы в подмосковных лесах.

В свободное время он вытачивал из дерева необыкновенно тонкие вещи. Однажды он вырезал перочинным ножом из цельного куска липы сомкнутую цепь.

Он погиб в народном ополчении под родным Смоленском.

Как за далью открывается новая даль, так смоленская земля непрерывно дарит нам незаурядные русские характеры — от Пржевальского и Глинки до

Твардовского и от писателя и охотника Соколова-Микитова до безусловно существующего Василия Теркина — тоже, судя по всем ухваткам, уроженца Смоленщины.

Дорога на Витебск резко сворачивает около Орши на север и уходит в песчаные холмы и болота. Шоссе проложено по гатям, залитым асфальтом. От тяжелого хода машин шоссе чуть прогибается и покачивается, как на тугих рессорах.

Исчезли большие смоленские села. Их сменили короткие белорусские деревни. Мальчишки уже не швыряли под колеса машины пыльные кепки, как это было на буйной Смоленщине. И косматые псы уже не мчались, сатанея от хрипа, вслед за проклятой машиной.

В деревнях было пусто и тихо, — повсюду копали картошку.

Мы остановились в лесной деревушке и зашли в хату попить молока. На пороге сидел на огромной железной цепи заплаканный щенок. Увидев нас, он полез спасаться в сени, повизгивая от страха и громыхая цепью.

В хате висели на стенах колхозные плакаты. В углу стояла почерневшая прялка.

Я тронул колесо прялки. Оно повернулось и жалобно заскрипело. И хозяйка-старуха пожаловалась, что вот уже много годов, как никто не ткет полотна, а прялками, как «лялькими», играют дети. Домотканое полотно было хотя и узкое и суровое, но очень прочное.

Сколько сказок и песен родилось под шум прялки и свист метели за окнами, сколько открылось чистейшей народной поэзии. Мы забываем об этом. Забываем, что и пушкинские стихи «Буря мглою небо кроет» тоже были вызваны к жизни вечерами за прялкой:

> Или бури завываньем
> Ты, мой друг, утомлена,
> Или дремлешь под жужжанье
> Своего веретена?

Давно, еще в детстве, мне почему-то очень хотелось попасть в Витебск. Я знал, что в этом городе останав-

ливался Наполеон и что в маленьком местечке под Витебском жил художник Шагал. Во время моей юности этот художник прогремел по всей Европе своими картинами из жизни давно уже исчезнувшего затхлого «гетто». Об этом художнике много говорили и спорили взрослые.

Мне нравилась его картина «Парикмахерская в местечке». На картине были изображены кривая вывеска с пышно намыленным жгучим брюнетом во фраке, чахлый фикус и пятнистое, как ягуар, трюмо, похожее на окно в потусторонний мир, — так в нем все было искажено плесенью, разъевшей зеркальную амальгаму.

Так случилось, что за всю свою жизнь я не встретил ни одного человека, который был бы родом из Витебска. Поэтому некая дымка таинственности окутывала в моих глазах этот город.

Редко бывает, что наше представление о чем-нибудь совпадает с действительностью. Но с Витебском случилось именно так.

Мы приехали в Витебск в сумерки. Закат догорал за Двиной. В позднем его огне холмистый город показался очень живописным.

В памяти остались овраги среди города, каменные мосты над ними, старинные здания бывших католических или униатских семинарий, колоннады новых домов и ослепительные огни. Нигде я не видел таких ярких и напряженных электрических огней, как в Витебске.

Но особенно был хорош Витебск вечерним оживлением своих узких и уютных улиц. В городе соединились черты запада и юга.

В Витебске мы впервые вплотную столкнулись с шоферами. Началось с того, что наша старая «победа» с утра не заводилась. Немедленно вокруг машины собрались шоферы со всех стоявших на улице машин, и начался митинг.

У каждого шофера была своя теория насчет того, почему не заводится машина. Одни утверждали, что «садится аккумулятор», другие — что «отказало реле», третьи уверяли, что «ток замыкает на массу», четвертые доказывали, что наверняка засорился карбюратор,

пятые сомневались в исправности трамблера, шестые, молча, но презрительно улыбаясь, чистили от нагара свечи, седьмые ссылались на мистические причины («Она постоит и заведется. Это она свой характер показывает»), восьмые вообще что-то сосредоточенно щупали и крутили в моторе, пока, наконец, не пришел старый седой шофер и не сказал: «Даже ребенку ясно, что эту машину надо заводить «на прямую».

Но каждый шофер, ковыряясь в моторе, все же не преминул сказать, что, откровенно говоря, лучшей машины, чем «победа», нету на свете. И это нас утешало.

Потом мы сообща толкали машину по главной улице Витебска под свист мальчишек. Но и это не помогло — машина не заводилась. Тогда шоферы остановили проходящий грузовик, он взял нашу «победу» на буксир и начал неистово гонять вдоль одного и того же квартала. Тогда машина наконец завелась, «изрыгая (как пишут авторы научно-популярных романов) клубы белого дыма».

Нам надо было ехать, мы торопились, но шоферы не отпустили нас, пока не протерли до блеска машину и не надавали нам десятки советов.

В дороге было еще много встреч с шоферами и всяких мелких происшествий с машиной. Сейчас мне уже начинает казаться, что все без исключения шоферы северо-запада участвовали в починке нашей машины. При этом выяснилась одна из самых хороших черт шоферской профессии — любовь к автомобилю, как к живому существу. Каждый шофер находил по отношению к своей машине много ласковых и снисходительных слов. Были всякие машины: и «терпеливые до черта», и «послушные», и «обидчивые», и «работяги», и «мученицы», и даже «не машины, а просто малые дети».

К северу от Витебска начинается обширный край лесов и озер.

Я не подозревал, что в Средней России есть места такой девственной красоты и такого живописного разнообразия.

Бесчисленные и синие до черноты озера, каменные «гривы», высокие холмы, плавно подымающие к небу шатровые вершины елей, валуны на полянах, пенистые холодные реки, их шум и плеск, резкий воздух с запахом клюквы и хвои, стеклянное треньканье и пересуды синиц, маленькие деревни-погосты с милыми именами — «Соловьи», «Звоны», «Бесенята», сиянье протяжной зари над болотами и звезды в блекнущем и как бы навсегда замолкшем небе — все это казалось нам необыкновенным, будто мы заблудились в старинной сказке.

По сторонам асфальтовой дороги, то взлетавшей по просекам ввысь, то стремительно опускавшейся в овраги, было много братских могил, особенно около Невеля. Здесь шли тяжелые бои.

Могилы были завалены грудами сухой хвои и шишек. Сквозь хвою прорастали белые сухие гвоздики. Они еще не совсем увяли и слабо пахли.

И невольно думалось, что солдаты, погибшие за эти поля и леса, за бревенчатые деревни и говорливые реки, лежат здесь, в зернистом песке, рядом с Пушкиным — нашей гордостью, нашим счастьем и любовью. До Пушкинских гор и Михайловского отсюда было уже недалеко.

В селе Пустошка мы остановились на бугре над серым озером, уходившим извилистой полосой в туман. Надо было заправиться бензином. Разговорились с двумя женщинами, спокойными, сероглазыми, чернобровыми. Должно быть, это были сестры. Они удивились, что машина пришла из Москвы («Ну и даль-то кака-ая!»), и пожалели нас («Ведь это сколько же приходится ехать, мучиться в машине!»).

— Красивые у вас места, — сказал я женщинам.

— Да, здесь хорошо, — ответила женщина постарше. — Только наша Пустошка и в сравнение не идет с Алолью. Вот там прелесть! Как доедете до Алоли, непременно остановитесь и поглядите.

Место с таким странным названием — Алоль — появилось внезапно. Машина пронеслась, чуть накренившись, по крутому повороту у самого края озера, и казалось, что она непременно зачерпнет темной озерной воды.

Озеро подымалось к горизонту. Оно стояло как бы чуть набок, и в нем мимолетно отразилось множество багровой листвы, желтые стены камышей и гаснущий огонь заката. Круги от рыбьих всплесков превратили эти отражения в путаницу всех мыслимых красок северной осени.

Все это сверкнуло и ушло, чтобы снова начали открываться одна за другой суровые колоннады корабельных лесов с их вечереющей далью.

Над Опочкой дул сумрачный, порывистый ветер. Низкие тучи проносились, клубясь, над черепичными крышами. В забрызганные известкой окна гостиницы били капли дождя.

В темной прихожей гостиницы сидел на деревянном диване худой низенький старик в мятой шляпе. Он курил самодельные папиросы и читал книгу. Под потолком горела электрическая лампочка, тоже забрызганная известкой.

В гостинице только что окончили ремонт. Пахло мелом и вымытыми полами. Трещали, разгораясь, печи.

Хозяйка гостиницы со звучной фамилией Шаляпина рассказывала мне историю своей фамилии. У ее мужа, рядового сельского работника, был мощный бас. За это его прозвали Шаляпиным. Это прозвище так привилось к нему, что при выдаче паспорта милиционер ошибся и вписал в паспорт вместо фамилии прозвище, а муж хозяйки гостиницы промолчал, — фамилия Шаляпин нравилась ему больше, чем его настоящая.

Старик в мятой шляпе оторвался от книги и сказал:

— Я слышал Шаляпина. Неоднократно. Я окончил Московскую консерваторию. По классу композиции.

Старик снял шляпу и неожиданно запел дребезжащим, но приятным баритоном, явно подражая интонациям Шаляпина, шубертовского «Двойника».

Хозяйка гостиницы нахмурилась, но, посмотрев на меня, снисходительно усмехнулась, — ничего, мол, не поделаешь с этим чудаком-композитором.

— Служители искусства, — сказала хозяйка, — очень какие-то вольные и всегда нарушают правила внутреннего распорядка. Просто кошмар с ними! Администрации приходится смотреть на это с поблажкой.

Зачем ты повторяешь вновь,
Что пережил я здесь недавно, —
Любовь мою,
Страдания мои! —

пел композитор, сжав сухие руки и вытянув их перед собой.

Ночью над Опочкой буйствовал ветер. Дуло в окно, скрипели от сквозняков двери. Плотная тьма лежала над землей. Ее не могли отодвинуть за город даже яркие электрические фонари.

Я проснулся, прислушался к шуму непогоды, представил себе эту ночь над окрестными болотами, ощутил огромный неуют этой осени, тьмы и подумал о композиторе: как тяжело, должно быть, одинокому человеку в такую ночь.

Часы пробили шесть. За дверью кто-то прошел, потом застучал медный стержень рукомойника в коридоре и знакомый голос композитора запел вполголоса:

Пусть плачет и стонет осенняя вьюга
И волны потока угрюмо шумят...

И я понял, что никакие осенние ночи и никакое кажущееся одиночество не смутят этого чистого сердцем человека.

Утром мы пошли на базар и впервые рассмотрели как следует просторный и тихий городок Опочку.

Два огромных здания времен Александра Первого стояли по сторонам мощеной площади. На крепостном валу ронял последние листья городской сад. Внизу шумела, пенясь и вытягивая в струны подводную траву, река Великая.

Через Великую был перекинут цепной мост. За мостом в лицо подуло сладковатым запахом антоновки и сосновой щепы.

Дождь прошел. Облака поднялись и поредели. Вялый солнечный свет блестел в лужах. И сладковатый

и прохладный этот запах, казалось, исходил от пасмурного утра, от окружавших Опочку лесов и пустошей.

Базарные рундуки были завалены антоновкой. Яблоки были как на подбор — крупные, покрытые на выпуклостях желтизной, похожей на старый воск. Рядом с яблоками лежали горы свежего и чистого товара, который зовут «щепным», — деревянных некрашеных ложек, деревянных лопат, бадеек, грабель и плетенных из лыка лукошек. От этого товара пахло корой, подмерзшим листом, так же как и от торговавших им обветренных колхозников.

По пути в Псков начали попадаться около шоссе желтые приземистые дома— почтовые станции пушкинских времен.

Перед одной из таких станций стоял на постаменте бюст Пушкина. Мы почему-то решили, что именно здесь и произошли те горестные события, какие Пушкин описал в «Станционном смотрителе».

У поворота на Пушкинские Горы выстроились вереницей около чайной высокие самоходные машины — льняные комбайны. Псковский край издревле был льняным. Весной, когда лен зацветает, вся Псковская область кажется с самолета залитой голубой водой.

А сейчас, осенью, земля была цвета обожженной глины. Тяжелая мгла на горизонте грозила снегом. Казалось, он вот-вот беззвучно полетит над скошенными полями и прикроет их сухой пеленой.

Чем ближе мы подъезжали к Пушкинским Горам, тем больше волновались, будто нам предстояло встретиться с живым поэтом.

Впереди появились две легкие колонны. Дорога проходила между ними. На колоннах были укреплены деревянные лиры. Отсюда, от этих колонн, начинался Пушкинский заповедник.

Давно уже отзвенели лиры, их нет даже в музеях, но они милы нам потому, что о них упоминал Пушкин. «Душа в заветной лире мой прах переживет и тленья убежит», «Державин и Петров героям песнь бряцали струнами громкозвучных лир».

На холмистой гряде показался Святогорский монастырь. Под его стенами похоронен Пушкин.

Мы вглядывались в монастырские здания, серевшие вдалеке. Неужели через несколько минут мы будем стоять около могилы поэта?

Луч солнца прорвался сквозь тучи и озарил землю. И она вдруг запестрела скрытыми до тех пор красками последних осенних дней — коричневого бурьяна, красного конского щавеля, желтых, как лежалая пряжа, волокон репейника.

Но нам так и не удалось попасть на могилу Пушкина. Сонная служащая в гостинице Пушкинского заповедника сказала нам, что «могила закрыта на ремонт». Услышав эти казенные слова: «закрыта на ремонт», сказанные о могиле Пушкина, мы возмутились и хотели было наговорить сонной девице много горьких слов, но поняли, что это бесполезно.

Огорченные, мы поехали в Михайловское, и оно вознаградило нас за неудачу в Пушкинских Горах.

Там нас встретил беззвучный серый день, весь в вялом золоте и запахе сырой земли. Он как бы с раннего утра еще дремал, этот пушкинский осенний денек.

Михайловский парк отряхал последние листы, но на клумбах перед домом-музеем доцветали астры. И так же трогателен, как всегда, был домик няни, восстановленный нашими войсками после изгнания из Михайловского фашистов. Так же трогательны были его низенькие потолки и деревянные колонки на крылечке.

Неясный туман лежал, отсвечивая легким серебром, между вековыми елями главного въезда (большую часть этих елей срубили немцы), над черными прудами, над липами в аллее Анны Керн и над свинцовой водой двух озер — Маленца и Петровского. В тумане едва угадывался песчаный холм, а за ним — Тригорское.

«Вновь я посетил тот уголок земли, где я провел изгнанником два года незаметных...»

В парк пришли цыгане. Их табор мы видели около Пушкинских Гор.

Цыгане подошли к домику няни, о чем-то тихо поговорили между собой, потом ударили в ладоши,

и цыганки вдруг начали плясать. Разноцветные шали и юбки разлетелись, будто ветер закружил охапки красных, желтых, лиловых, белых и синих цветов.

Эта безмолвная пляска цыганок в совершенно безлюдном парке около дома Пушкина, да еще поздней осенью, когда кочевая жизнь должна давно окончиться, была неожиданна и удивительна. Казалось, что цыганки плясали перед самим Пушкиным и только для него одного.

Цыганки перестали плясать и присели на крылечке, обмахивая разгоряченные лица платками. В наступившей тишине было слышно только позвякиванье монист и стук еловых шишек, падавших на землю.

Над Псковом гремела поздняя осенняя гроза.

Молнии перебегали по черным садам и белым соборам. Суровые эти соборы были недавно восстановлены после войны. Вспышки молний отражались в меловых лужах около соборных стен.

Наутро, когда мы выехали из Пскова в Лугу, в небе снова начали накапливаться тучи.

Меня, конечно, могут упрекнуть в пристрастии к описанию гроз и других небесных явлений. Но эту грозу под Псковом я, очевидно, буду помнить долго и потому не могу промолчать о ней.

Это была стремительная гроза в самый разгар золотой осени, в ту пору года, когда гроз почти не бывает.

В этом была ее мощь — в невиданном пожаре солнечного света, бившего в осеннюю заржавленную землю через прорывы бешеных туч.

Взрывы солнечного огня, его косые лучи проносились и тотчас гасли в угрюмой дали. Там узкими домоткаными холстами уже лились на леса и пустоши короткие ливни.

Каждый взмах солнца выхватывал из сумрака то одну, то другую отлитую из чистейшей меди березу.

Березы вспыхивали, пламенели, дрожали, как исполинские факелы, зажженные по сторонам дороги, и мгновенно гасли за серой стеной дождя.

Машина рвалась через эти полосы дождя, чтобы снова вынестись в разноцветный пожар мокрой листвы и промчаться сквозь него до новой встречи с широкошумным пенистым дождем.

Свет, золото, багрянец, тьма, пурпур и снова — быстрый свет! Синий блеск молний, длинные перекаты грома и вдруг вдали, в путанице поваленных ветром берез, — рыжая огненная лисица с поджатой лапой и настороженными ушами.

Удары грома совпадали с переменами света. Казалось, что гром оркестровал перед нами эту ошеломляющую грозу.

— Смотрите! Вот здорово! — вскрикивал шофер и останавливал машину. А это что-нибудь да значит, когда шофер забывает о сцеплении и стартере и протирает смотровое стекло, чтобы не пропустить ни одной перемены в зрелище октябрьской грозы.

Только под Лугой — уютным городком, очень чистым, очень домовито-архитектурным — гроза прошла.

Несмотря на наше преклонение перед Пушкиным, мы все же решили, что он был несправедлив к Луге, когда написал о ней:

Есть в России город Луга
Петербургского округа:
Хуже не было б сего
Городишки на примете,
Если б не было на свете
Новоржева моего.

За Сиверской в мокром тумане, наползавшем с низин, в радужном сиянии фонарей пронеслась Гатчина — дворец, ограды, пруды, — и с Пулковских высот открылись, наконец, от края до края ненастного горизонта несметные огни Ленинграда.

Сколько раз ни приезжаешь в Ленинград, всегда волнуешься, как перед свиданием с любимым человеком, которого не видел много лет.

Узнает ли он тебя? Не скажет ли, что ты растерял за эти годы веселье и доброжелательность к людям? Примет ли он тебя с прежней простотой? Или будет

молчать, сдерживая зевоту, как всегда бывает, когда умирают старые связи?

Но каждый раз этот величественный город встречает тебя, как друга.

Даже кажется, что он сетует, что тебя так долго не было. Он как бы спрашивает: где же ты был в белые ночи, когда отражения золоченых шпилей струились в невской воде? Где ты был в хрустящем сентябре, когда воздух пригородных садов заполнил до краев весь город и остановился у берега Финского залива, как бы боясь двинуться дальше в северную даль?

Где ты был в зимние дни, когда торжественные здания, колоннады и арки покрывал иней и казалось, что неведомый мастер посеребрил их за одну только ночь?

Почему так долго ждали тебя в гулких залах Русского музея и Эрмитажа великие художники мира?

Каждый раз с жестоким сожалением о потерянном времени выходишь на набережные и проспекты, но через несколько минут наступает успокоение. Гармоническая стройность Ленинграда снимает все заботы, все тревоги. Начинаешь не умом, а сердцем понимать, как прав был поэт, когда сказал, что «служенье муз не терпит суеты; прекрасное должно быть величаво». Начинаешь понимать, что прекрасное несовместимо с суетой. И суета уходит, оставляя сердце свободным для восприятия чистых впечатлений.

В Ленинграде пришлось на время поставить машину во дворе Союза писателей.

Возясь с машиной, я все время рассматривал этот двор, замкнутый четырехугольником старого здания. Он был тесен, живописен и угрюм.

Угрюмость ему придавали темные стены, когда-то окрашенные в красный цвет. Время зачернило их копотью. Красная краска проступала только на выпуклостях лепных украшений.

Продырявленные осколками листы кровельного железа были свалены в углу. На воротах наросла ржавчина. Она кое-где отслоилась, и под ней был виден ноздреватый чугун.

Ветер с залива волочил над двором водянистые тучи. Из них по временам начинал сыпаться крупный снег. Он тут же таял, оставляя на плитах двора темные пятна.

Было слышно, как беспокойно плещется рядом Нева и где-то над крышами гудит мокрый флаг.

Я подумал, что если бы привести в этот двор человека с завязанными глазами и если бы этот человек был проницателен, то, не выходя со двора, он мог бы восстановить не только примерную историю города и его возраст, но и догадаться об его топографии.

Флаг говорил о близости моря, плеск воды — о том, что рядом большая река, ржавчина — о сыром климате и столетьях, прошедших над этим зданием, листы железа — о недавней блокаде, а лепка на стенах — о замечательных зодчих, не пожалевших отдать свой талант на то, чтобы воплотить свое представление о совершенстве не только в великом, но и в малом — в любой оконной ручке или резной филенке двери.

С тех пор я начал заглядывать в ленинградские дворы и убедился, что история города сохранилась в этих дворах не хуже, чем на фронтонах прославленных зданий.

Незадолго до нашего приезда в Ленинград произошел такой случай. В комиссионный магазин на Невском приплелась старушка и притащила в мешке мраморную голову.

Старушка рассказала, что служила много лет нянькой в большой семье, но семья вся разбрелась, а последние ее представители погибли во время блокады. Остались только кое-какие вещи, и среди них вот эта мраморная голова.

Мраморную голову вытащили из мешка, взглянули на нее и тотчас вызвали в магазин сотрудников Эрмитажа.

Оказалось, что старушка принесла бюст композитора Глюка работы великого французского скульптора Гудона.

Сейчас бюст Глюка уже выставлен в Эрмитаже.

Лицо Глюка, покрытое следами оспы, бугристое, крепкое, полно ума и экспрессии. В этом лице воплощена мощь хоралов, громы органа, вся аскетическая суровость этого композитора.

Эрмитаж берет в плен крепко, на всю жизнь.

Пушкин писал о «священном сумраке» царскосельских садов. Это определение — «священный сумрак» — можно с полным правом отнести и к залам Эрмитажа.

Их торжественный полусвет заполнен великолепием красок. Кажется, не хватит жизни, чтобы проникнуться этим живописным богатством, изучить россыпи мастерства.

Блестящая галерея героев 12-го года, лоджии Рафаэля, осенние краски Тициана, средневековые харчевни фламандцев с их гулом волынок и треском колбасы на раскаленных жаровнях, вырванные из мрака лица на полотнах Рембрандта, мерцающий, как старое стекло, воздух Венеции у Каналетто, зловещая сила Эль-Греко, дым, изгибы развеваемых одежд, румяные итальянские зори, мрак кудрявых лесов, девичья печаль мадонн Леонардо! Нужны сотни страниц, чтобы перечислить все, что так мгновенно входит в память и потом вновь и вновь настойчиво возвращает к себе.

У каждого есть свои любимые пути по Ленинграду.

Из Эрмитажа мы пошли в Летний сад. Зеленоватый туман стекал каплями с мокрых ветвей. Бронзовый баснописец Крылов добродушно дремал, окруженный этим туманом. Вдалеке поблескивали наново позолоченные пики знаменитой ограды.

Из Летнего мы прошли в Михайловский сад. В Лебяжьей канавке виднелось дно, покрытое сгнившими ветками. Зябко покрикивая, проходили мимо машины.

Через Михайловский сад мы вышли к Русскому музею. Снова знакомые картины обступили нас тесной толпой.

Но каждый раз среди этих старых знакомцев появлялись находки. На этот раз я как бы впервые увидел волшебный портрет Самойловой работы Карла Брюл-

лова. И увидел нового Куинджи — обрывистый берег Азовского моря, пышущий степным пламенем, кобальтовым морским зноем.

Я давно знал, что в Ленинграде у некоторых любителей живописи есть свои «Эрмитажи на дому». На этот раз мне посчастливилось, и я попал в такой «домашний Эрмитаж» к одному чудесному человеку, режиссеру кино.

Режиссер этот превосходно снимал научные и документальные фильмы, но почти в каждый фильм ухитрялся вставлять куски пейзажа или интерьера, как бы взятые с картин известных наших художников.

В этом обстоятельстве не было ничего плохого. Но оно все же смущало некоторых работников студии. Смущало именно тем, что они никак не могли понять, хорошо это или плохо, законно или незаконно, «влетит» ли им за это, или «не влетит».

Режиссер сильно сердился на своих противников и обзывал их несколько витиевато «сомнительными местоимениями».

Все свободное время он тратил на поиски картин и на их реставрацию. Работал он в кладовке, пропахшей лаком и красками. Жил режиссер с женой в комнатушке, но рядом, в большом зале, висели на стенах от потолка до пола превосходные картины. И среди них гордость режиссера — женский портрет кисти Рубенса и итальянский пейзаж Александра Иванова.

Весь вечер режиссер рассказывал мне удивительные истории, связанные с находкой картин.

У стены бесшумно шли старинные часы с годовым заводом работы забытого мастера из Бердичева. Огни речных фонарей за окнами дрожали от озноба в ледяной воде Мойки.

Перед отъездом из Ленинграда мы пошли бродить по городу без всякой цели.

Ненастье кончилось. Вернулись светлые дни. Проспекты и Нева были задымлены слабым туманом.

Мы вышли к новой Голландии — удивительному сооружению, где мысль архитектора соединила казар-

менные здания, триумфальные арки и каналы в один ансамбль.

Густые ивы на правом берегу Мойки только что начали желтеть. Навстречу им с левого берега протягивали свои огромные ветви облетавшие липы.

Желтые листья сыпались легким роем в Мойку. Стройный морской катер из красного дерева несся по этим листьям, оставляя за кормой темную водяную дорогу.

У штурвала стоял высокий молодой матрос с прищуренными глазами. Черные ленточки его бескозырки — ленточки Балтийского флота — вились по ветру и как бы играли с падающими листьями лип...

Потом начались окраины, крупный булыжник мостовой, дровяные склады, звон круглых пил, запах стружки, гнилые сваи в воде, сжатые железными обручами, заброшенные особняки с обвалившимися гербами, с кровавыми ранами от осколков на стенах и прозрачными чугунными воротами. Каналы разветвлялись под черными горбатыми мостами. Гранитные берега исчезли. Кое-где посреди набережных росли могучие деревья, тоже избитые осколками.

Наконец мы вышли на безлюдную набережную реки Пряжки. Увядшая трава покрывала откосы. На мостках сидели молчаливые рыболовы.

За Пряжкой дымил завод.

Дома вдоль Пряжки были старые, низкие, и только один дом выделялся среди них. Он был в четыре этажа — обыкновенный доходный дом со скучными балконами, выходившими в сторону взморья.

На этом доме мы увидели мраморную доску с надписью, что здесь жил и умер поэт Александр Блок.

Сначала показалось странным, что Блок выбрал для жизни место, столь несвойственное его поэзии. Это была заводская дымная окраина. Дом стоял далеко от шума и огней Невского. Он был вынесен, как передовой форт, в устье Невы и первый встречал удары бурь и наводнений.

Странность этого блоковского жилища требовала объяснения. Оно заключалось, очевидно, в желании поэта уйти в свой дом, как в крепость, приблизить его

к заливу, к рано затихающей окраине, где по ночам шумит за стеной терпеливый обветренный вяз.

Можно, отложив книгу, слушать шелест его холодных листьев и скрип горячей воды в батарее отопления и думать о том, «как мы, поэты, ценим жизнь в мимолетных мелочах».

Кто знает, может быть это желание и руководило Блоком, когда он выбирал свое жилище.

Мы выехали из Ленинграда в Нарву в яркое льдистое утро. Крутая синяя волна плескалась в невский берег.

Мы ошиблись дорогой, поехали на Пулково и потом долго выбирались по проселку, заваленному валунами, на Нарвское шоссе.

Слева от дороги виднелись в тумане Дудергофские высоты. Потом осталось позади просторное Красное село и пошли низкорослые сосновые леса и рыжие пески. Они тянулись до самого Кингисеппа, до старого Ямбурга — старинного города, не собранного, как все города, в одном центре, а разбросанного отдельными домами по обширной низменности, перерезанной рекой.

Ближе к вечеру над теснинами пенистой реки Нарвы показались громады крепости в Ивангороде, а на другом берегу — стрельчатый средневековый город Нарва.

Когда-то он был, должно быть, тесен. Но сейчас, после разрушений войны, его дома подымались среди пустырей. Цементная пыль лежала на мостовых. Город строился.

В Нарве началась Эстония.

Каждая новая страна всегда кажется очень заманчивой. Невольно происходит смещение зрительных восприятий. Обыкновенный валун кажется здесь совсем другим, чем такие же валуны вблизи дороги из Ленинграда в Нарву.

Он почернел от сырых ветров Прибалтики. Желтые лишаи на нем напоминают пышные рыцарские гербы. И невольно слышишь протяжный звон, будто верховой конь, дожидаясь всадника, нетерпеливо бьет по валуну копытом.

Сложенная из булыжника ветряная мельница, окруженная кустами боярышника, представляется местом, где разыгрывались захватывающие сцены из романов Вальтера Скотта. Но, к великому сожалению, Вальтер Скотт никогда не писал об Эстонии.

«Победа» мчится. Первые впечатления так же быстры, как бег машины. Узкие и извилистые асфальтовые дороги. Одинокие дома-мызы из дикого камня, похожие на форты. Замшелая черепица. Старые вязы.

Угрюмый воздух. Множество хорошо одетых, строгих сероглазых женщин и девушек, едущих на велосипедах с бидонами, подвешенными к рулю. Чистые перелески, потом такие же чистые леса.

Пески. «Глинт» — обрыв над Финским заливом, ровный, как стена. Красные автобусы, напоминающие старые почтовые кареты. Внезапно мелькнувший город с рыцарским замком, собором и разноцветными дощатыми домами. Кисейные занавески и множество цветов за стеклами. Уют устоявшейся жизни. Юноши в каскетках с оранжевой ленточкой на околыше — школьники и студенты. Афиши о постановке «Тани» Арбузова на эстонском языке. И красные с голубым флаги молодой советской республики, реющие в тишине полевых мыз.

А потом на горизонте неожиданно подымаются серые терриконы, совсем как в Донецком бассейне. Черный дым заволакивает даль. Это Кохтла-Ярве, знаменитый сланцевый район. Здесь сланцы перерабатывают в газ, и отсюда он идет по трубам в Ленинград и Таллин.

Шоссе из огромных цементных плит шло через заболоченные леса. Цемент гулко пел под баллонами машины.

Леса срезало сразу. Вдали над равниной появился высокий Таллинский маяк.

Мы выходили к морю. Впереди был большой портовый город. Он начался сразу, без плоских предместий, свалок, без облезлых окраинных бараков — непременной принадлежности большинства городов.

Высокая площадь, а за ней — нагромождение башен, шпилей, крутых аспидных крыш, дым и мглистая даль залива.

Залив вплотную сливается с небом. Черные корабли на рейде как будто висят в воздухе. Над ними и под ними залегли синеватые облака. Глаз не сразу может привыкнуть к этому зрелищу, и трудно еще догадаться, где настоящие облака, а где их отражения в воде.

Потом началась такая живописная и головокружительная путаница узких улиц — даже не улиц, а переулков, — что шофер растерялся и остановил машину. Как тут проедешь, когда угол древнего дома закрывает перекресток и негде развернуться, чтобы объехать его и не зацепить!

Мы не ехали, а протискивались по темным щелям этих улиц, по коротким мостам, мимо серых башен с бойницами, мимо витрин, заваленных разноцветными товарами, задевая верхом машины ветки деревьев, с опаской пробирались по краю крутых каменных спусков или у подножья подпорных стен, заросших ползучими кустами. Из этих стен сочилась и журчала вода.

Наконец сумятица кончилась и открылась спокойная площадь, а над ней на горе — Вышгород: древний квартал, окруженный поясом садов.

Я до сих пор не знаю, какие деревья облетали в этих садах. Кажется, липы. Но листья у них были больше ладони.

Да, Таллин, конечно, принадлежит больше морю, нежели эстонской суше с ее скромными травами и размытым белесоватым небом.

Над портом ровными колоннами подымается дым из пароходных труб. В морской дали, приглядевшись, можно различить очертания островов. Они похожи на расплывшиеся по воде темные пятна.

В улицах около порта пахнет каменноугольным дымом и рыбой. И всюду моряки — молодые матросы с военных кораблей и медлительные русые люди в расстегнутых куртках и тельниках — эстонские рыбаки. Глаза у них цвета балтийской воды — серые, спокойные, с легкой голубизной.

Таллин — город мореплавателей. История многих открытий и морских походов началась здесь, на этих игрушечных улицах, в городе, похожем по вечерам на освещенную изнутри большую елочную игрушку.

На второй день после приезда в Таллин мы осматривали собор Святой Девы в Вышгороде.

Он ушел от старости в землю почти на два метра. Внутри собор казался вылепленным из сумрака. Только рыцарские щиты блестели на стенах золотом, фольгой и разноцветной эмалью.

Под плитами пола были похоронены члены магистрата, рыцари, начальники ремесленных цехов и председатели гильдий.

О том, кто лежит под ногами, можно было судить по барельефам на плитах пола. Над могилами рыцарей были плоские их изображения в забралах и латах. Над могилой начальника цеха башмачников был высечен огромный ботфорт, а над могилой начальника цеха мясников — могучий бык.

Седой смотритель, эстонец, бывший учитель истории, подвел нас к двум мраморным надгробьям. По сторонам их склонялись выцветшие от тропического солнца, потрепанные бурями андреевские флаги.

Это были могилы адмиралов Беллинсгаузена и Врангеля — уроженцев Эстонии.

Беллинсгаузен открыл вместе с Лазаревым на другом конце земли ледяной материк Антарктиды.

С жестоким мужеством на русских маленьких парусных кораблях он обходил по кругу этот неведомый материк. Его «негостеприимные» воды привели в содрогание даже такого морского бесстрашного волка, как капитан Джемс Кук. Он в нерешительности остановился перед ними.

Дневник Беллинсгаузена об этом плавании — почти классическое произведение нашей литературы. Он точен, скуп на слова. И прекрасен тем, что сквозь эту скупость неожиданно прорываются слова о мрачной красоте Антарктиды и величии русского матроса.

Тут же, под сенью таких же андреевских флагов, лежит адмирал Врангель — исследователь Арктики,

провидец, догадавшийся по ряду едва заметных признаков о существовании в океане около восточных берегов Сибири большого острова.

Этот остров открыли после смерти старого адмирала и назвали его именем.

— Вот видите, — сказал нам бывший учитель истории, — хорошие дела всегда увенчиваются славой. Извините, что я так несколько возвышенно говорю, но я изучал русский язык по книгам больших русских историков. Они умели находить в истории настоящие возвышенные мотивы. Здесь, в Вышгороде, все, как говорится, дышит историей. Но вы приехали поздно, перед самой зимой. Приезжайте весной, когда Вышгород будет весь в сирени. Тогда этой милой девушке, которая приехала с вами, очень милой девушке с такими красивыми косами, я смогу позволить себе подарить букет этих цветов. Смогу вспомнить свою молодость и сделать этот галантный жест. Девичий возраст и сирень — они одинаково благоухают. Прошу извинить меня за эти стариковские шутки. Прошу извинить!

Мы простились с учителем и вышли на средневековые улицы Вышгорода.

Все поражало здесь. Не только каждый дом, но и каждый наличник на окне, железный шестигранный фонарь, каждое крыльцо и каждый лепной фриз над этим крыльцом.

Снизу доносился ровный гул города, порта, заводов, заглушенный говор людских толп.

— Пойдемте скорее вниз, — попросила наша юная спутница. — Смотрите, сколько людей! Как интересно побыть среди них!

Жизнь шла своим путем. И я вспомнил слова Короленко: «На одну и ту же старинную башню каждое поколение смотрит иными глазами».

Конечно, это был уже север

Где-то за Пярну мы остановились отдохнуть в сосновом лесу. За грядой дюн вполголоса шумело море. Кричали гагары. И лес вокруг был северный — мшистый, весь в спелой бруснике и старых грибах. Белый

мох на сосновой коре пропитался водой, как губка, — должно быть, с моря по утрам наносило туман.

И воздух был северный — серый и холодноватый.

Песок на дюнах похолодал. Почему-то стало жаль невзрачных цветов, еще доцветавших около пней, — там, должно быть, было теплее, чем на открытых местах.

Быть может, некстати говорить здесь об этом, но в лесу среди дюн пришло сожаление об едва еще дышавшем северном лете — прообразе собственной жизни.

Кто знает, сколько осталось этой жизни? Для мысли, для сердца, для работы нужны сотни лет. Но законы природы суровы. Она не дает нам отсрочки.

И тут же вспомнились слова старого писателя. «Все людские возрасты по-своему хороши, — сказал он, — но, может быть, лучше всех старость».

Прожитая жизнь принесла щедрость, понимание. Окончилась мнимая погоня за недостижимым. Оно оказалось незаметно достигнутым в каждом простом явлении: в замухрышке-цветке, в крике гагар, в смеющихся глазах женщины, в тишине бесконечных сосновых лесов.

Есть старое, давно уже «изъятое» слово — благословение. Его легче почувствовать, чем объяснить.

Благословение — это благодарность и напутствие всему хорошему, что будет жить, когда тебя уже не станет. Это, наконец, преклонение перед красотой земли, когда, уходя, любишь все: «и одинокую тропинку, по коей, нищий, я иду, и в поле каждую былинку, и в небе каждую звезду».

Машина тронулась. Дорога вышла к морю.

В прозрачной воде лежали огромные валуны. Вода была тонкая, как стекло. На шестах сушились сети. Даль поблекла, — на нее медленно надвигался вечер. Хвойной стеной стоял замолкший лес.

В маленьком рыбачьем поселке зажигались огни. На крыше дощатого дома сидела овчарка и ревниво вглядывалась в залив — ждала хозяина.

Вспыхнул, рассыпался звоном и тотчас умчался назад, за машину, женский смех.

Вот бы остаться здесь! Но машина уже пронеслась через поселок и врезалась в туман. Он шел с за-

лива. Редкие огни сторожевых домов тлели в тумане, как угли.

Под Ригой в полночь туман сошел, и сотни огней, перебегая, начали путать перед нами карту незнакомого города.

Мы въехали в широкую улицу и остановились под тенью деревьев. В ушах еще долго гудел дорожный ветер.

В Риге гостиницы были переполнены. Пришлось остановиться на взморье, в закрытом на зиму доме отдыха в Дубултах. Нам отвели один из флигелей в глубине парка, прибрали его и протопили.

Мои спутницы целые дни проводили в Риге, я же с наслаждением оставался в безлюдных Дубултах, в гулком и светлом доме.

Есть своя прелесть в опустевших дачных поселках. Недаром покинутые дачи были даже предметом литературы. Вспомните хотя бы осенние фонтаны под Одессой в «Гранатовом браслете» Куприна.

Три обстоятельства ощущались сейчас в Дубултах, почти как счастье: покой, сосредоточенность и возможность в любую минуту выйти в парк, где все шуршит и вместе с тем все дремлет в легчайшей воздушной мгле.

Мгла эта наплывает с Рижского залива. До него — несколько шагов. Он пустынен, тих. На песчаном дне видна рябь, похожая на рыбью чешую.

Низкие берега исчезают в тумане. Ветра нет, но все же изредка откуда-то потянет солоноватым запахом открытого моря.

Пески перемыты прибоем. На них ничего не осталось от многолюдного и шумного лета. Валяется только промокшая обертка от «Беломора» да обрывок афиши о концерте тенора Александровича.

Пляж отдыхает. Крошечные сосны смело выглядывают из песчаных нор. Там они прятались летом, боясь, что их затопчут.

Почему-то эти заброшенные дачи вызывают воспоминания о юношеской любви, гимназистке со слезами

на глазах, ее потерянной ленте, молчаливой разлуке. В воспоминаниях этих нет горечи. Они приходят, как улыбка. И вместе с ней уходят.

Дубулты расположены на узком перешейке между заливом и рекой Лиелупе. Можно пойти к реке. Плавным поворотом она подходит к поселку. Вдалеке виден лес, откуда Лиелупе льется широко и полноводно. Вдоль берега проходит железная дорога, и полупустые электрички мерно несутся по ней, покрикивая сиренами.

Снова тишина. Потом доносится неясный ропот волн, — с моря задувает ветер.

Дни стоят короткие. Свет иссякает. Солнце идет к западу, прижимаясь к земле.

В сумерки я ухожу на станцию встречать своих. На станции пусто. Только стая голубей сидит на платформе и вместе со мной ждет поезда.

Далеко виден прожектор электрички, вылетающий, как звезда, из леса в Дзинтари. Поют, позванивая, рельсы. Голуби начинают волноваться. Электрическое зарево Риги дымится на горизонте.

Потом мы долго идем через темный парк и не всегда сразу находим свой дом. Кажется, что море шумит со всех сторон, и это нас путает.

Но вот дом найден. Поскрипывает винтовая лестница, вспыхивают лампы, от камина тянет теплом, и начинаются рассказы, споры, смех и выдумки.

— Мы как в таинственном замке из романа Стивенсона, — говорит наша юная спутница.

У Стивенсона, кажется, такого замка нет. Но не все ли равно, — уже поднялась смертельно бледная луна. И парк превращается в призрачный лес с провалами полной темноты и серебряными пятнами света.

Ночью я просыпаюсь. Море молчит. Молчание такое глубокое, что хорошо слышно легкое, юное дыхание за стеной.

Бывают города-труженики, города-коммерсанты, города-ханжи, города-музеи, города-венценосцы. И бывают, наконец, города-авантюристы.

Все эти определения относятся к городам Запада, а у нас — к далекому прошлому. Москва была городом-купчихой, равно как и «порфироносной вдовой», Петербург — венценосцем, Одесса — негоциантом, Новгород — музеем, а Митава, теперешняя Елгава, была городом-авантюристом.

Трудно сказать, в силу каких причин этот городок — бывшая столица Лифляндии — стал надежным приютом для авантюристов всей Европы, для французской знати, спасавшейся от революции, и для низложенных королей.

В Митаве жил Калиостро и блистала красавица авантюристка герцогиня Кингстон с выжженным на плече клеймом английского каторжника.

В Митаве скрывались последние Бурбоны и проводил время в полной праздности и роскоши польский король без королевства Станислав Понятовский.

Сейчас от этого прошлого остался только полуразрушенный дворец. Он восстанавливается. В нем будет размещен сельскохозяйственный институт.

Город сильно разрушен. Поэтому он выглядит непривычно просторным.

От прошлого остались еще извозчики. На всем нашем пути мы встретили извозчиков только в Елгаве. Это были, конечно, последние, но настоящие извозчики — разговорчивые, любопытные, с ременными кнутами за поясом.

Пролетки их играли на ходу, как скобяной оркестр, а в глазах худых лошадей отражалась мировая тоска.

Мы не заметили пограничную арку между Латвией и Литвой. А между тем все вокруг изменилось.

Появилось много фур. Их катили по шоссе крупной рысью сытые, сильные кони. На фурах сидели белокурые женщины в ярких платках и приветливо улыбались нам, когда мы их обгоняли.

Появились деревенские избы — такие же, как и у нас в России. Появились села вместо одиноких усадеб, деревянные ветряки, белобрысые дети, ко-

лодцы-журавли, даже обыкновенные наши дворняги с репьями на морде.

Пахнуло чем-то родным и чуть-чуть стародавним, и мы догадались, что мы едем уже по Литве. Только черные распятья на перекрестках, маленькие узорчатые часовни-каплицы, похожие на голубятни, да кровли сельских костелов отличали Литву от наших мест.

Мы с нетерпением ждали первого попутного города. Всегда ведь ждешь этого первого города в каждой новой стране.

И он, наконец, появился. Назывался этот город Ионишкис. Он совершенно пленил нас своим уютом и простодушием. Тесные торговые ряды, постоялый двор, мостовые, усыпанные сеном, илистая речушка, мальчишки с неизменными удочками, седые продавцы-патриархи в подтяжках на пороге темных магазинов-«склепов» и высокий костел — белый с черным — в зарослях лопухов.

Совершенно другим городом оказался Шяуляй. Новенький, чистый, с хорошими небольшими зданиями, он стоял на горе, как крепость.

Пасмурное небо расчистилось. Легкая синева опустилась на землю, и в этой синеве необыкновенно жарко заблистало солнце.

Это случилось очень кстати, так как после Шяуляя начались такие места, что мы только ахали от изумления.

Дорога шла, как на качелях — с холма на холм, — среди разукрашенных сусальным золотом березовых лесов.

Синева неба, воздуха, ручьев, даже синева каждой лужи придавали напряженную яркость пышной, необозримой, как море, и почти невесомой листве. Каждая ветка свешивалась над дорогой, как кисть золотого винограда.

Сначала мы считали подъемы и спуски, но потом бросили, — было не до этого.

Каждый раз, когда машина взлетала на высокий перевал, перед нами открывалась такая драгоценная лесная даль, такая праздничная, волшебная страна,

такое свежее дыхание врывалось в открытые окна машины, что у нас захватывало сердце. За всю дорогу мы не видели ничего подобного.

Мы завидовали всем, кто жил в этих местах: путевому сторожу, каждой девочке, бежавшей с кошелкой по обочине дороги, каждой птице, пролетавшей сквозь заросли. Она как будто купалась в золоченой воде. Листья, как крупные брызги, разлетались в стороны, но богатый наряд на дереве от этого не редел.

Солнце уже склонялось к земле. Соединение его янтарного огня с раскраской лесов вызвало такой феерический блеск, что временами терялось ощущение действительности.

Вот когда бы надо остановить время!

Может быть, отчасти из этого страстного желания остановить мимолетное время и закрепить то, что скоро исчезнет, и родилось искусство. Так по крайней мере думалось там, в этих лесах.

К ночи засияли огни Каунаса. Начался спуск к Неману среди таких поднебесных ив, что ночь под ними сразу стала во много раз плотнее. Даже сильные автомобильные фары не могли отогнать эту ночную темноту за край шоссе.

Ранним утром я вышел на балкон гостиницы и увидел на горе над Каунасом исполинский костел из красного кирпича, похожий на элеватор. Над кирпичным остовом костела вздымался большой черный крест. Зрелище было угрюмое.

Мне рассказали, что костел этот начал строиться во времена буржуазной Литвы, но закончить его не успели. Внутри костел пуст. Жители Каунаса прозвали его «костелом святого Элеватора» — «Свентэго Элеватожа».

Появление этого кирпичного ковчега над Каунасом не вяжется со всем видом города — старого, уютного и губернского. Этот губернский облик Каунас сохранил до наших дней.

Есть города, где кажется, что все жители хорошо знают друг друга. Такое же впечатление остается от

Каунаса. Этот город патриархальный в хорошем смысле слова.

В вечер приезда мы пошли поужинать в ресторан. Официанты были добродушны и деликатны. Оркестранты играли под сурдинку, и не надо было кричать, чтобы расслышать друг друга. За соседним столиком юноши, похожие на студентов, попросив разрешения у соседей, тихо напевали литовские песни.

У Каунаса — старые художественные традиции.

Лучшие литовские народные вышивки и вязанье — из Каунаса.

В Каунасе жили и работали художники Добужинский и Чурлянис.

Мне рассказывали, что в Каунасе была лучшая в мире коллекция бабочек всех стран земного шара. Она не уступала в ценности и красоте хорошей картинной галерее. Ее собрал ученый, уроженец Каунаса (фамилию его я, к сожалению, забыл). Он объездил весь мир, особенно долго прожил на островах Тихого океана и вернулся под старость в свой родной город. Куда девалась эта коллекция — никто не знает.

В одном из магазинов Каунаса я видел картину неизвестного местного художника — портрет девочки. Картина поражала чистотой и спокойствием красок, бледным и очень серьезным лицом маленькой девочки. Но фон у картины был странный. Он был составлен из больших кругов, окрашенных в бледные цвета. И я подумал: не ученик ли Чурляниса написал эту картину?

Чурлянис был замечательным живописцем. Многие его картины, правда, фантастичны, как сны. Но если отбросить их, то у Чурляниса останутся удивительные вещи.

Пожалуй, никто из художников не передавал с таким мастерством ночь и звездное небо, как это сделал Чурлянис в серии своих картин «Знаки Зодиака».

Я запомнил еще одну картину Чурляниса — «Сказка».

Волшебник держит в ладонях хрустальный граненый шар. Вокруг — ночь. Шар излучает напряженный магический свет. Он прозрачен. Внутри шара виден старинный город, переливающийся, как алмаз, всеми красками радуги.

Почти все картины Чурляниса хранятся в Каунасе.

Днем мы выехали из Каунаса в Вильнюс по дороге над рекой Нерис. Дорога извилиста и разнообразна. Холмы, кряжистые леса, крошечные не то городки, не то села. Трокские озера... Все это сменяется быстро и неожиданно.

На этом небольшом клочке земли как будто нарочно собраны все приметы страны. И опять хочется остановиться и пожить здесь, чтобы проникнуть в самую гущу литовской народной жизни, — судя по первому впечатлению, жизни очень простой, трудовой и честной.

С Замковой горы, с башни Гедемина виден весь Вильнюс, окруженный по возвышенности темными лесами.

Город лежит как бы в чаше, наполненной туманным воздухом и ворохами лимонных листьев. То, что сверху кажется нам ворохами листьев там, внизу, — большие сады. Из этих садов то тут, то там подымаются башни церквей и кровли домов.

Много есть хороших городов, но нет такого города, как Вильнюс, где бы прекрасная архитектура была так тесно собрана на небольшом пространстве и вплотную окружена сельским простодушным пейзажем.

Почти у самого собора святого Станислава бежит, позванивая по гальке, река Вилейка. Берега ее поросли гусиной травой.

Всюду зелень, всюду узловатые стволы столетних деревьев, всюду последние цветы.

Мы долго сидели на парапете башни Гедемина и смотрели на этот город, напитанный своей историей и культурой до мельчайших пор, до каждой подворотни.

В одну из таких маленьких подворотен, кажется на Бернардинской улице, мы вошли с тем чувством, какое называют, за отсутствием более точного слова, благоговением.

Над этой подворотней, на старенькой, потрескавшейся стене была прибита доска с короткой надписью: «Здесь жил Мицкевич».

Подворотня вела в крошечный двор, замкнутый со всех сторон стенами невысокого дома с деревянной обветшалой галереей над первым этажом. Дикий виноград оплетал галерею. Между булыжниками во дворе росла трава.

Над воротами висел старый герб Вильнюса: святой Христофор переносит через ручей младенца.

Пройдя подворотню, мы сразу переступили больше чем на столетие назад. Все здесь оставалось таким, каким было при Мицкевиче.

Я не знаю, в чем очарование мест, связанных с памятью замечательных людей. Но оно бесспорно.

В нем соединяются гордость за силу человеческого духа, пение стихов, доносящихся как бы из глубокой полевой дали, ясное ощущение, что время теряет в таких случаях свою разрушительную силу, что забвения нет. И, наконец, радостное сознание необыкновенного блеска и мужества мысли, оставленной нам в наследство прекрасным предшественником.

«Отчизна милая, Литва, ты, как здоровье: тот дорожит тобой, как собственною кровью, кто потерял тебя!»

Да, вот она вокруг, любимая его Литва, погруженная в трепещущий от легких ветров воздух, наполненная щебетом птиц, спокойная и сильная, как рука пахаря.

У Мицкевича был большой импровизационный дар. Возможно, что этот род таланта является самым свободным и богатым. Он возникает от большой внутренней наполненности, от щедрости, оттого, что человек легко находит поэзию даже в самых прозаических явлениях жизни.

Мне кажется, что прогулки по Вильнюсу с некоторым правом можно назвать прогулками по «маленькому Риму».

В Вильнюсе живет милейший человек, архитектор Ян Александрович Кумпис, влюбленный в город, в Литву, ее архитектуру и природу. Нам повезло: Кумпис нам показывал Вильнюс.

В его ведении как архитектора находится не только все новое строительство в республике, но и охрана старинных зданий. Денег на охрану и реставрацию этих зданий не хватает. Кумпис нашел выход. Он прибил буквально ко всем зданиям Вильнюса, — а им несть числа, — охранные доски. Это хотя и не всегда, но все же действует. Люди начинают с уважением относиться к тем домам, где они живут, и сами берут на себя заботу о них.

Мы смотрели в Вильнюсе башню Гедемина, костелы, усыпальницу Сапеги, университет, Острую Браму, старинные кварталы и сады.

Невозможно описать все это. Но самым поразительным был костел святой Анны.

Я видел его еще в детстве, восьмилетним мальчиком, и запомнил еще с тех пор. Но сейчас он показался мне лучшим, чем по воспоминаниям детства.

Это чистейший образец готического стиля, когда готика была еще очень простой и ясной. Большой костел кажется легким, не имеющим веса. Недаром Наполеон говорил, что он осторожно перенес бы его на ладонях в Париж.

Есть еще один костел святого Петра и Павла со множеством мраморных статуй. Я не помню их числа. Кажется, их около полутора тысяч.

До сих пор не удалось выяснить имена скульпторов, создавших это причудливое собрание скульптур. Должно быть, это были итальянцы.

Работали они независимо. Возможно, что это были весельчаки и даже богохульники. Они покрыли стены замечательным растительным орнаментом. Особенно хороши длинные пряди травы. Большинство изображений святых они делали, все же придерживаясь канона. Но иногда им это, очевидно, смертельно надоедало. Тогда они высекали томную и чувственную Марию Магдалину в корсете и средневеко-

вом платье или фавна, обнимающего полногрудую нимфу.

Весь костел залит слабым и теплым отсветом мрамора.

...Мы попрощались с Вильнюсом, с тем чтобы обязательно вернуться в этот милый город.

В утро отъезда продолжали падать с деревьев розовые листья. Снова литовские дали раскинулись перед нами, затянутые слабым дымком.

Леса, холмы, местечко Сморгонь, где Наполеон бежал от своей разбитой армии, потом Белоруссия, Молодечно, новый нарядный Минск, знакомая Смоленщина и родная московская земля, звонкая от первого мороза.

Круг сомкнулся. Усталая горячая машина остановилась у подъезда московского дома, покрытая пылью четырех тысяч километров пути.

Наша поездка была больше похожа на полет. Она прошла стремительно. Но она наполнила нас ощущением разнообразия жизни, новыми знаниями и чувством неиссякаемой красоты земли.

Будем же благодарны за это старой терпеливой «победе» за номером 91—83.

1954

ПИСЬМО ИЗ ТАРУСЫ

Есть у нас в стране много маленьких городов. В прежние времена их называли захолустными — все эти Новосили, Сапожки, Хвалынски и Тарусы. Отзывались о них пренебрежительно («медвежьи углы», «сонное царство», «стоячее болото») или, в лучшем случае, с некоторым снисходительным умилением перед их живописной провинциальностью — перед домишками с пылающей на окнах геранью, водовозами, церквушками, вековыми дуплистыми ивами и заглохшими садами, где буйно разрастались крапива и лебеда.

Жизнь в этих городах была большей частью действительно сонная, скопидомная и незаметная. Трудно было подчас понять, чем занимаются и как прозябают их обитатели.

Сейчас почти все эти города объявлены районными и стали центрами сельскохозяйственной жизни прилегающей к ним округи. Но несколько пренебрежительное отношение к ним существует и поныне.

Все, что будет рассказано ниже, относится к городу Тарусе Калужской области. Я беру этот город в качестве типического примера.

Таких городов, не нашедших еще своего настоящего места в нашей действительности, у нас немало. Живут эти города на крохи из «области», как бедные родственники, мыкаются, латают дыру на дыре и представляют собой грустное зрелище ничем не оправданной заброшенности.

А между тем у каждого из этих городов есть возможности как для своего благосостояния и расцвета, так и для того, чтобы внести долю в общегосударственную жизнь.

Чем объяснить непонятное безразличие к этим городам? Прежде всего леностью мысли и незнанием местных возможностей, вернее пренебрежением этими возможностями во имя погони за журавлем в небе. А «журавль» этот для большинства областных и районных руководителей есть мечта о превращении каждого такого городка в могучий индустриальный узел, независимо от того, нужно это или нет и есть ли для этого необходимые предпосылки.

Руководители таких городов страстно мечтают о том, чтобы у них обязательно возникли большие промышленные предприятия, и полагают, что в этом одном и заключается смысл существования малых городов.

Мечтают они об индустриализации и добиваются ее не всегда по доброй воле. К этому их понуждают «вышестоящие товарищи» из области, а иногда из Москвы. Попросту эти вышестоящие товарищи не дают малым городам тех денег, которые необходимы им до зарезу по здравому хозяйственному смыслу. Не дают на том основании, что города эти лишены промышленного значения и потому как бы и вовсе не нужны.

Разговор всегда примерно один и тот же: «Если бы у вас были заводы или другие какие-нибудь предприятия, тогда дело другое. Тогда и были бы для вас молочные реки с кисельными берегами. А что вы из себя представляете? Что? Только картошкой и заняты. На что вам лишние деньги! Проживете и так, не помрете».

Я убежден, хотя бы на основании своего небольшого опыта жизни в таких городах, что почти каждый

из них обладает скрытыми от скучного и нерадивого глаза возможностями. И именно в этих скрытых возможностях и коренится значение каждого города в общей жизни страны и в ее экономике. Нужно только эти возможности вскрыть, вытащить из-под спуда, открыть в нашей стране сотни существующих и неизвестных маленьких Америк — вот этих самых районных городов.

Попытаюсь сделать это по отношению к Тарусе.

Городок этот принадлежит сейчас к Калужской области (после того как его перебрасывали то в Тульскую, то в Московскую). Стоит он на высоких горах над Окой и над удивительным по своей широте и прелести луговыми и лесными заокскими далями.

У Тарусы есть своя слава. Издавна она была известна, с одной стороны, своими базарами, обилием хлеба, овощей и фруктов, яиц и битой птицы, с другой — красотой как самого города, так и его окрестностей. Эта вторая слава была сильнее первой.

Она была вполне заслуженной. Пожалуй, нигде поблизости от Москвы не было мест таких типично и трогательно русских по своему пейзажу. В течение многих лет Таруса была как бы заповедником этого удивительного по своей лирической силе, разнообразию и мягкости ландшафта.

Недаром еще с конца XIX века Таруса стала городом художников, своего рода нашим отечественным Барбизоном. Здесь жили Поленов и тончайший художник Борисов-Мусатов, здесь живут Крымов, Ватагин и многие другие крупные наши художники. Сюда каждое лето приезжает на практику молодежь из московских художественных институтов.

За художниками потянулись писатели и ученые, и Таруса сделалась своего рода творческой лабораторией и приютом для людей искусства и науки.

Из этих двух слагаемых — сельского хозяйства и природной красоты — и должен быть определен, как принято выражаться, «профиль» (а говоря по-русски,

«облик») будущей Тарусы, пути ее развития и благоустройства.

Город нельзя оторвать от колхозной жизни. Он врос в нее всеми своими корнями. В Тарусском районе девятнадцать довольно мощных колхозов, но работа в этих колхозах поневоле происходит так, будто у нас нет никаких передовых методов в этом деле. Колхозы не электрифицированы.

Доказывать необходимость электрификации колхозов, конечно, нелепо, но все же я приведу маленький пример. Каждая доярка в колхозе, выдаивающая десять коров, может работать не больше пяти лет. После этого срока руки у нее слабеют, и она выходит из строя. Нужна электрическая дойка, но ее нет, так как нет энергии.

Рядом с Тарусой проходят три высоковольтные линии, одна даже в черте города, но никакими силами не удается добиться постройки подстанции, чтобы дать ток колхозам и городу. На все хлопоты, домогательства и просьбы, на все бесспорные доказательства, что при электрификации колхозы Тарусского района легко добьются прекрасных урожаев и удоев и смогут, кроме того, начать переработку сельскохозяйственных продуктов на масло, сыр, консервы и прочее, Тарусе отвечают решительным отказом с той же вечной ссылкой, что у Тарусы, мол, нет крупных промышленных предприятий и потому электрическая энергия ей не нужна.

Не такое уж большое дело — постройка подстанции, а с ним бьются и мучаются уже несколько лет. В конце концов у людей опускаются руки и появляется мысль, что бороться за подстанцию, очевидно, бесполезно и бессмысленно.

Впечатление остается такое, что эта борьба за электрификацию района считается «в верхах» чистым донкихотством.

В самом городе работает жалкая электростанция, так называемая «тарахтелка», дающая ток только шесть часов в сутки и то по неслыханно дорогой цене: два рубля четырнадцать копеек за киловатт-час.

В результате каждая организация заводит свою «карманную» электростанцию. Их в Тарусе набралась уже добрая дюжина, и они распыляют и сосут каждая сама по себе множество государственных средств.

Расцвет сельского хозяйства в районе немыслим без дорог, а их по существу нет. Вернее, они в таком ужасающем состоянии, что стали не средством связи между городом и колхозами, а средством (особенно осенью, зимой и весной) полного разобщения.

Все время приходит на память приобретшая уже более чем столетнюю давность мечта Пушкина: «Авось дороги нам исправят». Нет, не исправили и не исправляют.

На приведение дорог в порядок Таруса просит гроши, — всего триста тысяч рублей. Ей же дают семьдесят тысяч. На эти деньги можно только кое-как залатать единственную связь Тарусы с миром (если не считать летнего сообщения по Оке) — дорогу из Тарусы в Серпухов. На ней ежегодно ломается столько машин и тратится впустую столько человеческой энергии, что потери от этого превышают, конечно, стоимость новой дороги.

Все это на языке бескрылых работников называется «разумным хозяйствованием», а на языке простых и нормальных людей — глупостью (скажем мягче — недомыслием), граничащей подчас с преступлением.

Электричество и дороги—вот два важнейших звена, которые могут дать смысл здешней жизни и превратят беспомощное захолустье в цветущий край.

Мне могут сказать: пусть Таруса подождет. Но нельзя забывать, что оттяжка времени связана в геометрической прогрессии с оскудением.

Сельское хозяйство — это одно лицо Тарусы, требующее лишь небольшого внимания со стороны тех, кому поручена правительством и народом прекрасная наша калужская земля.

О втором лице города и района разговор придется вести в несколько популярном тоне, так как до сих пор этот вопрос «не доходит» до сознания большинства

хозяйственников — тех хозяйственников, весь жизненный кодекс которых определяется не задачами создания нового строя в нашей стране, не велениями народа, а одним только понятием выгоды. Что выгодно, что «рентабельно», что доходно — то благо, а все прочее есть гиль и занятие для чудаков.

Всем известно, что у нас каждый трудящийся имеет право на отдых. Но для того, чтобы воспользоваться этим правом, нужны нетронутые, отдохновенные и живописные места. Такие места главным образом находятся на юге. Но у нас есть много людей, которые не променяют скромное очарование Средней России ни на какой ослепительный и несколько лакированный юг. Для иных мокрые гроздья черемухи в деревенском саду, отражение месяца в лесном озере и грибной воздух березовых чащ гораздо милее запаха магнолий и снежных вершин Кавказа.

Кроме того, далеко не все могут отдыхать в домах отдыха. Их быт и их режим стеснительны для людей, привыкших общаться с природой, — для художников, охотников, рыболовов. Да и, говоря откровенно, многих отпугивает тот несколько пошловатый и шумный стиль жизни, ставший почти обязательным для некоторых домов отдыха, с их постоянными танцульками, затейниками, флиртом и утомительным вынужденным соседством со случайными людьми. Что делать в таких домах отдыха человеку, склонному проводить свой отдых в сосредоточенности, в чтении, в наблюдении природы, в подлинном веселии или тишине?

Такие люди проводят отдых самостоятельно. Таруса как бы создана для такого отдыха. Недаром летом население города увеличивается вдвое за счет приезжих из Москвы, Ленинграда и других городов.

Второе лицо Тарусы — это город отдыха, но отдыха подлинного, полного. Места вокруг Тарусы поистине прелестны. Тарусу давно следовало бы объявить природным заповедником. Мы до сих пор упорно пренебрегаем красотой природы и не знаем всей силы ее культурного и морального воздействия на человека.

забываем, что патриотизм немыслим без чувства родной природы и без любви к ней.

Прекрасный ландшафт есть дело государственной важности. Он должен охраняться законом. Потому что он плодотворен, облагораживает человека, вызывает у него подъем душевных сил, успокаивает и создает то жизнеутверждающее состояние, без которого немыслим полноценный человек нашего времени.

Соединение всех трех аспектов Тарусы — богатого земледельческого района, города отдыха и заповедника русской природы — вот путь к тому, чтобы тихий этот городок со всей округой ожил и занял свое законное и необходимое место в жизни нашей страны.

Как же выглядит сейчас этот город, обладающий такими своеобразными особенностями? Довольно уныло, чтобы не сказать больше.

В городе нет воды, нет водопровода. Жители берут воду из трех резервуаров, куда по трубам, построенным еще при Екатерине Второй, стекает вода из отдаленного ручья. Вода эта плохая, жесткая. По заключению экспертов, пить ее вредно, так как она вызывает болезни щитовидной железы (самая распространенная болезнь в Тарусе).

Резервуары устроены внизу, а город лежит на горах. Жителям приходится таскать воду на коромыслах иногда за два-три километра.

Зимой от резервуаров тянутся по обледенелым горам вереницы женщин, преимущественно дряхлых старух, запряженных в салазки. Они тащат на салазках кадки с водой, надрываются, скользят, падают, расплескивают воду и часто плачут от усталости и огорчения.

Вода здесь на вес золота. А готовый проект хорошего водопровода спокойно отлеживается на утверждении в Калуге, и деньги на постройку водопровода Калуга отпускает (вернее, обещает отпустить) гомеопатическими дозами.

Стоимость водопровода — 1 300 000 рублей. Калуга же пока согласилась отпустить только 100 000 рублей.

Очевидно, постройка водопровода займет в лучшем случае тринадцать лет. Таковы калужские темпы,

совершенно не те, конечно, о каких захлебываясь, пишут газеты.

Кстати, надо заметить, что рыть колодцы в Тарусе бесполезно. Подпочвенная вода лежит очень глубоко, и колодцы к лету пересыхают. Поэтому колодцев очень мало.

Город обветшал. После революции в Тарусе не было построено ни одного дома, хотя сто двадцать семей рабочих и служащих ютятся в трущобах. Вот уже три года строится единственный трехэтажный дом. Нет денег, нет материалов. Все это достается с великим, непосильным трудом.

Об архитектуре этого дома не стоит и упоминать. Как говорится, «не до жиру, быть бы живу». Четыре плоских стены, крыша — и все. Таков этот «радостный» стиль.

Местные работники бьются как рыба об лед, чтобы хотя бы немного образить свой город. Но все их благие желания пресекаются страшным словом «смета». Смехотворная смета, на которую город едва-едва может влачить жалкое существование.

А в результате — больница без электрического света, пользоваться рентгеном нельзя, инструменты для сложнейших операций кипятятся на керосине. Единственная средняя школа помещается в трех домах, темных и тесных, а учеников в ней — восемьсот человек. Пекарня выпекает вдвое меньше хлеба, чем нужно, и город иногда, особенно летом, сидит без хлеба. Приходится привозить хлеб из Серпухова. Мусор валят где попало, нет средств его вывозить за город. Тучи пыли вздымаются на улицах во время ветра, как извержение.

Правда, городской садовник-энтузиаст разбил над Окой городской сад и постепенно обсаживает улицы липами и тополями. Но по следам садовника часто идут хулиганы и ломают высаженные деревца под улюлюканье, рев гармошки и хохот.

Нравами Таруса похвалиться не может. Но это общая беда всех небольших городов. Милиция предпочитает вести себя уклончиво.

О культурной работе трудно говорить, — на нее нет денег. Из ничего ничего не сделаешь.

Меня могут обвинить в том, что я выношу сор из избы. Да. Его давно пора вынести и сжечь, а не прятать под спудом и отравлять им жизнь талантливых и честных советских людей. А таких людей в Тарусе много, — и великолепных садоводов, и энтузиастов-учителей, и мастеров, которые действительно способны подковать английскую блоху. Недаром от Тарусы до Тулы — родины лесковского Левши — не так уж далеко.

Печальнее всего обстоит дело с охраной природы. Тут столько бестолочи и безобразия, что не знаешь, с чего и начать.

Леса, преимущественно колхозные, уничтожаются. Через несколько лет их почти не останется.

Недавно произошел такой случай. Один из колхозов до зарезу нуждался в веревках, а купить их было не на что (смета такой расход не предусматривала). Тогда колхоз продал на корню свой колхозный лес под сплошную вырубку. И прекрасный лес пропал.

Закон о водоохранных лесах не соблюдается. Леса тают на глазах, и в связи с этим закономерно вступает в силу закон эрозии — вымывания и распыления плодородной почвы. На днях здесь прошел ливень. Он длился около суток, и Ока превратилась в бурый поток густой глины. Тысячами тонн она уносила в течение нескольких дней смытую ливнем плодородную почву, и, пожалуй, не было ничего зловещее этого зрелища опустошения земли.

Что говорить о красоте ландшафта, если в черте города работает огромная каменоломня. Она взрывает берега Оки толом, валит береговые леса, необратимо обезображивает пейзаж, расшатывает сильными взрывами дома, оглушает жителей города.

Надо полагать, что, очевидно, наличие каменоломни с ее запасами взрывчатки в самом городе очень «рентабельно», а до красоты пейзажа и жителей города хозяйственникам нет дела. По их мнению, все,

кто пытается говорить об этом, или враги, или сумасшедшие. Выгода прежде всего.

Все берега Оки от Серпухова до Тарусы и Алексина сносятся и уродуются каменоломнями, грохочут взрывами, и больно видеть стиснутую этой опустошенной, поставленной дыбом землей прелестную усадьбу и музей художника Поленова. Непонятно, как хозяйственники до сих пор не взорвали и ее. «Подумаешь, какая невидаль Поленов. Чего-то там мазал красками».

И, наконец, последнее, о чем следует не говорить, а просто кричать, — это о безобразном обращении с Окой — чудесной, второй после Волги нашей русской рекой, колыбелью нашей культуры, родиной многих великих людей, именами которых гордится с полным правом весь наш народ.

Мало того, что берега Оки опустошают с какой-то, я бы сказал, садистской яростью, но и воду ее безнаказанно и систематически отравляют калужские и алексинские заводы. Рыба или уходит (как ушла совсем из Оки стерлядь), или гибнет массами. С некоторых пор пойманная рыба в Оке начала пахнуть одеколоном — от сточных вод парфюмерной фабрики в Калуге — и еще какими-то химическими и убийственными запахами.

Заводы ведут себя попросту нагло. Очевидно, они почитают себя государством в государстве. Никакие приказы, никакие меры не помогают.

Большего наплевательства по отношению к своей стране и народу, большего безразличия к своей стране и ее природным богатствам трудно себе представить.

Все, о чем я рассказал выше, — дело людей с холодной кровью и мертвыми глазами. Они еще есть. Но все это легко исправимо. Необходимо внушить всем работникам, что не всегда выгода является единственным мерилом в деле построения коммунизма и превращения Советского Союза в богатую, тучную, красивую страну с великолепными пастбищами и лугами, лесами, чистыми реками, богатыми полями и легким свежим воздухом.

Необходимо полное внимание к малым городам. Надо превратить их из бедных родственников в полноценных граждан и дать простор развитию всех их возможностей.

Превращение Тарусы в город органического слияния передового сельского хозяйства с городом отдыха, превращение района Тарусы в заповедник исключительного по своей живописной силе русского ландшафта — все это осуществить легко. Было бы только желание. Но откладывать это дело нельзя, так как через несколько лет уже будет поздно.

1956

МУЗА ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

Персидский поэт Саади — лукавый и мудрый шейх из города Шираза считал, что человек должен жить не меньше девяноста лет.

Саади делил человеческую жизнь на три равных части. Первые тридцать лет человек должен, по словам поэта, приобретать познания, вторые тридцать лет — странствовать по земле, а свои последние тридцать лет отдать творчеству, чтобы оставить потомкам, как выражался Саади, «чекан своей души».

Сейчас это образное выражение несколько устарело. Где теперь найдешь чеканщиков, заполнявших в былые времена базары Востока звоном серебра и меди? Исчезают чеканщики, исчезают чеканные вещи. Но во времена Саади чеканка была распространенным и почетным ремеслом.

Саади был прав, но в глубине души я думаю, что тридцати лет для странствий по земле — этого все же мало.

Мало потому, что скитания приобретают значительный свой смысл, насыщают нас познаниями, открывают нам красоту земли и своеобразие многих ее стран и дают толчок нашему воображению далеко не сразу, а исподволь.

Странствуя, нужно жить, хотя бы недолгое время, в тех местах, куда вас забросила судьба. И жить нужно, странствуя. Познание и странствия неотделимы друг от друга. В этом заключается смысл любого путешествия, будь то поездка в Кинешму или во Владивосток, в Афины или в Рим, на острова Тихого океана или на остров Валаам в Ладожском озере.

«Скитания — это путь, приближающий нас к небу», — говорили в древности арабы, понимая под небом то состояние обширного познания и мудрости, которое присуще людям, много скитавшимся по нашей земле.

Это непременное качество всех путешествий — обогащать человека огромностью и разнообразием знаний — есть свойство, присущее счастью.

Счастье дается только знающим. Чем больше знает человек, тем резче, тем сильнее он видит поэзию земли там, где ее никогда не найдет человек, обладающий скудными знаниями.

Знание органически связано с человеческим воображением. Этот на первый взгляд парадоксальный закон можно выразить так: сила воображения увеличивается по мере роста познаний.

Примеров этому можно привести множество. Очарование Парижа овладевает вами внезапно, как только вы прикоснетесь к парижской земле. И овладевает навсегда. Но только в том случае, если вы знали Париж и любили его задолго до этой первой встречи.

Для знающего Париж по книгам, по живописи, по всей сумме познаний о нем этот город открывается сразу, как бы покрытый бронзовым отсветом его величавой истории, блеском славы и человеческого гения, обаянием любимых имен, шумом версальских парков, сумраком всегда несколько загадочного Лувра, кипением его пылких народных толп.

Человек же, ничего не знающий о Париже, воспримет его как нечто шумное, утомительное и во многом непонятное.

Недавно, во время плаванья вокруг Европы, с палубы нашего корабля открылись на самом краю океанской ночи маяки Лиссабона.

Мы смотрели на их пульсирующий свет. И мой спутник вдруг заговорил о Лиссабоне, реке Тахо, о том, как отсюда отходили флотилии каравелл Магеллана и Васко да Гамы, о забытом прекрасном португальском писателе Эсса де Кейрош, о выжженной этой стране с базальтовыми берегами, о древних крепостях и соборах на безлюдных плоскогорьях, и после его слов за маяками Лиссабона уже виднелась эта несколько печальная, пережившая свою славу страна, крепко сжатая за горло католицизмом и ждущая новых времен, возрождения своей былой свободолюбивой и дерзкой жизни.

Путешествия накладывают неизгладимый след на нашем сознании. В странствиях по сухопутным и морским просторам земли выковываются сильные характеры, рождаются гуманность, понимание разных народов, широкие и благородные взгляды.

В этом отношении образцом человека, обязанного путешествиям силой и обаянием своей личности, является для меня Миклухо-Маклай.

Но не только он один. Я вспоминаю много имен — Пржевальского, Нансена, Лазарева, Франклина, Джемса Кука, Беринга, Ливингстона, Хайдердала, Дарвина и, наконец, мечтателя Колумба.

В Риме в ватиканской библиотеке хранится карта Колумба, по которой он открыл Америку.

Вся поэзия движения в неведомое, поэзия плаваний, весь трепет человеческой души, проникающий под иные широты и иные созвездия, — все это как бы собрано воедино в этой карте. Каждый прокол от циркуля, которым меряли бесконечные морские мили, кажется сказочным. Он был сделан в далеких океанах крепкой и тонкой рукой великого капитана, открывателя новых земель, неистового и смелого мечтателя, украсившего своим существованием наш человеческий род.

Горький недаром называл путешествия наилучшей высшей школой. Это так. Это бесспорно. Путешествия дают впечатления и познания такие же живые, как морская вода, как дым закатов над розовыми островами архипелага, как гул сосновых лесов, как дыхание цветов и голоса птиц.

Новизна все время сопутствует вам, и нет, пожалуй, другого более прекрасного ощущения, чем этот непрерывный поток новизны, неотделимый от вашей жизни.

Если хотите быть подлинными сыновьями своей страны и всей земли, людьми познания и духовной свободы, людьми мужества и гуманности, труда и борьбы, людьми, создающими духовные ценности, — то будьте верны музе далеких странствий и путешествуйте в меру своих сил и свободного времени. Потому что каждое путешествие — это проникновения в область значительного и прекрасного.

1957

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАПИСИ

Осенью 1956 года я попал ненадолго в Рим.

До тех пор я читал, что существует некое «чувство Рима», какое-то особое ощущение этого города, завоевавшего столько умов и сердец.

Я, конечно, соглашался, что может существовать ощущение Рима, так же как и любого другого города, но в чем оно выражается, не мог себе представить. Это казалось мне неясным и слишком сложным.

Теперь я с некоторым, правда очень небольшим, правом могу сказать, что испытал «чувство Рима». Оно слагается из многих мыслей и впечатлений, какие вызывает город, из степени приобщения к мировой культуре, из величины наших знаний. Все это разнообразие приводит в конце концов к единому внутреннему состоянию — «чувству Рима». Его нельзя отрицать.

Я хотел написать рассказ о «чувстве Рима», но рассказ требует сюжета. Я же понимал, что если строго подчиняться сюжету, то понадобится не один, а много рассказов, чтобы передать это чувство.

Поэтому я свободно записал главное, что было связано для меня с Римом. Записал начерно, не соблюдая

никакой последовательности. Добился ли я своей цели, или нет, пока еще толком не знаю.

Вот часть этой записи.

Воздух Рима отливал желтизной. Может быть, от болотных испарений из Кампаньи? Или от осени? Стоял уже конец сентября. Но осень здесь совсем не так окрашена, как наша. Нет ни золота, ни багрянца. Листья только сохнут и лиловеют.

Иногда мне нравилось думать, будто эту желтизну придает здешнему воздуху отблеск желтоватых мраморов, которыми богат город.

Во всяком случае, этот цвет воздуха казался таким же древним, как и самый Рим.

Его желтизна сообщала зданиям, триумфальным аркам, колоннам и руинам сумрачную скульптурность. Я видел вечный город как бы через желтое стекло.

Вскоре выяснилось, что недавно над Римом дул сирокко, и желтоватый цвет воздуха остался от этого тяжелого, раздражающего ветра. Правда, он медленно исчезал. Итальянцы говорили, что пройдет еще два-три дня — и небо над Римом снова станет свежим и лучезарным.

Повсюду в городе плескались и шумели фонтаны. Вода в них по цвету напоминала морскую. В бассейнах купались коричневые, как мулаты, мальчишки.

Повинуясь старинной традиции, я тоже бросил серебряную монету в фонтан Треви. В ответ он обдал меня водяной пылью. Примета обещала, что каждый, кто бросит монету в этот фонтан, еще увидит Рим.

Итальянцы стояли вокруг и улыбались. Они гордились своим городом. Их гордость усиливалась от зрелища сотен монет, устилавших дно фонтана серебряной галькой.

Из поезда на подступах к Риму видны в равнинах Кампаньи высокие кирпичные акведуки, неторопливо шагающие в Рим с отдаленных гор. Кажется, это Сабинские горы. И в самом городе где-то около виллы Боргезе суровый акведук всей своей тяжестью переступает через наглаженный асфальт, заполненный нарядными машинами, и уходит вдаль, грубо раздвигая тесные жилые кварталы. Вот он — «водопровод, срабо-

танный еще рабами Рима». На каждом шагу в этом городе видна прямолинейная мощь и весомость его тысячелетних сооружений.

Новички робеют перед этими сооружениями, как перед зрелищем веков, приблизившихся на расстояние вытянутой руки. Может быть, им даже слышится поступь легионов, стиравших в прах цветущие земли.

...Европа плакала в тенетах.
Квадриги римские вставали на дыбы
На триумфальных поворотах...

Клекочущие голоса цезарей приводили в трепет народы, но кончается любая слава этого мира. И вот они — свидетели этой славы: Колизей и Форум, и разбитые плиты с надписями, покрытые голубиным пометом, и акведуки, несущие горную воду!

Это все, что осталось. Но оно живет в современности. Его молчание кажется порой угрожающим, несмотря на то, что среди камней Колизея растет наш русский подорожник, а в Пантеоне похоронено одно из самых нежных человеческих сердец — сердце Рафаэля.

Пантеон сумрачен и бесконечно древен. Свет падает сверху через прорезанное в куполе круглое отверстие. Окон нет.

В толще стены выбита ниша. В ней стоит саркофаг Рафаэля. На саркофаге над полустертой надписью «Рафаэль Санцио» лежит одинокая высохшая гвоздика.

У стен Пантеона сидят продавщицы цветов, главным образом старухи. Цветы стоят в больших ведрах с водой. Рядом со старухами — несколько молодых крестьянок из окрестностей Рима.

При взгляде на них я подумал, что Рафаэль написал Сикстинскую мадонну с одной из этих крестьянок. Она ведь у Рафаэля простая женщина, быть может из самой бесплодной и нищей итальянской провинции — Базиликаты.

Мы купили у цветочниц несколько белых лилий, чтобы положить их на гробницу Рафаэля.

Мы говорили между собой по-русски, но, очевидно, одна из старух догадалась, для чего мы покупаем цветы. Она что-то сказала цветочницам. Женщины быстро и взволнованно заговорили, посматривая на нас. Я понял из их разговора только одно слово: «Моска»[1]. Они повторяли его с оттенком изумления и радости.

Молодая крестьянка достала из ведра пышный пион и приложила его к нашим лилиям. Мой спутник хотел заплатить за этот цветок, но женщины наперебой закричали: «Но! Но! Но!» Потом каждая торопливо выбрала по цветку и тоже протянула их нам. Старухи ласково кивали, а молодые приседали, как девочки, и певуче повторяли: «Грацие, грацие!»

Мы поблагодарили их за Рафаэля, за то, что несколько веков назад одна из таких вот милых молодых женщин родила веселого мальчика, ставшего украшением человечества; а они благодарили нас за то, что мы, русские, любим Рафаэля — сына их итальянской земли.

В Риме я часто вспоминал Россию, те нити, что связывают нас, русских, с этим городом. Здесь, в Италии, эта связь стала для меня гораздо заметнее, чем раньше. Я утвердился в мысли, что Рим не мог бы существовать для нас во всем своем обаянии, если бы русские не воспели его наравне с итальянцами и людьми других наций.

Какую-то долю к власти Рима над человеческими сердцами прибавили Гоголь, Герцен, Тютчев, Александр Иванов, Кипренский, Брюллов, Муратов, Блок, Чайковский.

Вспомнилось все, что связывало Рим с Россией. Память добывала из тайников самые отдаленные воспоминания. Для нас Рим, так же как и Париж, никогда не был чужим городом.

Мне привелось быть свидетелем удивительного случая. Лето 1940 года я жил в обыкновенном рязан-

---

[1] Mosca *(итал.)* — Москва.

ском селе. Как-то пыльным серым днем ко мне сильно постучала в окно соседка Дуня — женщина лет пятидесяти — и крикнула мне, что немцы взяли Париж. Глаза у Дуни были полны слез, и она вытирала их концом белого головного платка. А через час все село уже говорило об этой страшной новости, и люди ходили угрюмые и взволнованные.

Я мог понять, конечно, почему расплакалась, узнав о падении Парижа, сельская аптекарша или почтальонша Маня — поклонница Александра Дюма, но слезы Дуни, у которой не было в жизни ни минуты продыху от постоянных забот из-за детей, хозяйства и пьяницы мужа, были для меня непонятны.

К вечеру пришел дед Елесин, сел на приступку и сказал:

— Слыхал? Мужики ругаются на французов, что они не сдюжили, отдали германцам Париж. А я им говорю, мужикам: «Эх вы, трепло из села Помело! Они свой город норовили сберегти, а вы лаетесь. Там, говорят, красоты неписаные и дива дивные, в том Париже. А выручить его — все равно выручат. Не французы, так наши. Мой дед тоже доходил до Парижа. Снискал за это медаль. Рассказывал, французы живут вольно, взамен воды хлебают вино». Но, понятно, это он перехватил, дед. Заговариваться стал за преклонностью возраста.

В Риме я часто возвращался памятью к своим далеким людям и скромным русским просторам. Эти воспоминания неуловимым образом сливались с впечатлениями от Рима и вызывали ощущение родства двух народов — таких разных по внешности, но близких друг другу в своей глубине. Имя этому родству было — общая человечность.

Из Пантеона мы прошли на Навонскую площадь.

Продолговатая и пустынная площадь была окружена старинными разноцветными домами. Когда-то она была, очевидно, очень яркой, но время переменило окраску домов. Оно превратило зеленый цвет в серовато-оливковый, красный — в темно-кирпичный, а белый — в цвет пожелтевшей кости.

Вечерело. Навонская площадь была затоплена теплым светом солнца, заходившего где-то за Тибром. Фонтан не пенился и не шумел, как на остальных площадях, а только осторожно шуршал, сливая воду по бронзовым статуям.

Такие площади я уже видел не то на гравюрах в старых журналах, не то на акварелях в темных углах антикварных лавок. Они были мне чем-то знакомы, вплоть до розоватых облаков, висящих над ними в пожухлом от времени небе. Маленькие человечки в камзолах беседовали около фонтанов, дети играли с борзыми собаками, и в карете с красными колесами проезжала красавица с огромным веером и высокой прической.

Все это я уже видел когда-то. Но где? Наконец я вспомнил. Не в своем воображении и не на иллюстрациях к сказкам Перро, а в селе Гришине, в таких лесах, о которых жители Западной Европы не имеют понятия.

Я остановился в маленькой чистой избе у сельской портнихи Матрены Тихоновны — девушки шестидесяти лет. На стене избы я заметил старую картину.

Одно лето у Матрены Тихоновны снимал горницу пожилой художник из Москвы. Уезжая осенью, он оставил на стене картину. Он сказал тишайшей Матрене Тихоновне, что обязательно вернется будущей весной, а для того, чтобы это сбылось, оставляет любимую свою и очень ценную картину. Свою не в том смысле, что он ее сам написал, а любимую с юности. Написана она была каким-то знаменитым итальянцем.

— Да там на обороте обозначено его имя, — сказала мне Матрена Тихоновна. — Может, вы разберете?

Я снял картину и с тыльной стороны на коричневой проклейке едва разобрал надпись по-французски: «Навонская площадь в Риме». Подпись художника стерлась. Осталось только имя Антонио. Пожилой художник рассказывал Матрене Тихоновне, что он в молодости жил в Риме как раз на этой площади. Но художник так и не вернулся в Гришино, и Матрена Тихоновна не знала, что с ним стряслось.

Вечером, при керосиновой лампе, я долго рассматривал вид Навонской площади, потом вздохнул и повесил его обратно на бревенчатую стену.

— Вы что вздыхаете? — спросила меня Матрена Тихоновна. — Я бы вам подарила эту картину, да боязно. А вдруг он не умер и возвратится. Пусть уж лучше висит здесь.

Вздохнул я просто от мысли, что вот жизнь проходит и никогда я не попаду ни в Рим, ни на Навонскую площадь. Нечего об этом даже и мечтать.

— Кто знает! — сказала мне Матрена Тихоновна. — Чуднее, чем жизнь, ничего нету на свете. Такие обороты случаются, что и во сне не приснится.

Ночью начала лаять собака. Я вышел на маленький песчаный двор, поросший редкой травой. Изба стояла на околице над рекой. За рекой чернел сосновый бор — нехоженый, «великий», как здесь говорили.

Собака лаяла на сову, бесшумно летавшую над двором. На колокольне сторож ударил три часа. Река шумела около лавы. Далеко за туманными кустами на луговой стороне горел костер. Около него никого не было. И я подумал, какая там Навонская площадь! До нее тысячи километров ветра и ночи, лесов и туманов, да еще сотни пастушьих костров.

Я вспомнил об этой ночи, сидя на Навонской площади под полосатым тентом маленькой траттории.

Мы пили ледяной оранжад. Моя молоденькая спутница, задумавшись, тянула его через соломинку. Каждый раз, когда она задумывалась, тонкие ее брови по-детски подымались, серые глаза становились туманными, и я невольно вспоминал чьи-то строчки: «Мне хочется о вас, о вас, о вас бессонными стихами говорить».

Читатели часто ошибаются. Они привыкли подставлять под определенные слова привычные, тривиальные представления. Вот и сейчас, прочтя эти строчки, многие подумают о любви. И ошибутся, конечно.

Мое состояние в этой траттории было чем-то значительно иным. Может быть, я был обязан этим состоянием Риму и вечерней теплоте его улиц.

Если можно назвать любовью блеск вечерней зари, целомудрие, благодарность судьбе за то, что из миллионов случайностей она выбрала для тебя эту единственную случайность — быть рядом с прелестным, юным и немного загадочным существом и видеть маленькие пузырьки воздуха, что бегут из соломинки через холодную жидкость от ее теплого и душистого дыхания, долго слушать звук ее голоса, как недавно я слушал среди ночи, проснувшись в гостинице, серебряный колокол какой-то римской церкви, — если все это можно назвать любовью, то, может быть, это и любовь, но совсем не такая, как принято ее представлять.

Вернее, это было состояние сбывшегося чуда, огромной свежести, ощущение своей жизни внутри поэзии, внезапно ставшей реальностью.

Собор святого Петра — это прямой вызов богу. Создавая этот собор, человек как бы решил помериться силой и гением с божеством. И человек победил. Но католические богословы, кардиналы и папа римский не подозревают об этом. Иначе они бы закрыли или разрушили храм.

Собор святого Петра — сооружение титаническое. От могущественных стен собора остается ощущение, будто они все растут, тянутся к небу и когда-нибудь обрушатся под гром архангельских труб. У правой стены в сером рассеянном свете возвышается «Пьета» Микеланджело. Богоматерь держит на коленях тело умершего Христа. У подножья этой статуи горят десятки свечей.

«Пьета» — величайшее произведение скульптуры. Оно не имеет отношения к религии, и потому эти свечи и каждения выглядят неуместно, как если бы церковные свечи зажигали перед Венерой Милосской или перед Джокондой.

Пусть из многочисленных притворов звенят гроздья колокольчиков, но это все от земной суеты. «Пьета» сурова и отдалена от этого трескучего мира вековой материнской скорбью.

Мощь Микеланджело не умерла в последующей скульптуре. Ее принял, как наследство, Роден и другие скульпторы, в том числе и наш русский скульптор Матвеев.

Вспоминал я о скульптуре Матвеева в Риме дважды: у гробницы Рафаэля и около «Пьета» Микеланджело.

Вспоминал надгробный памятник работы Матвеева над могилой нашего великолепного художника Борисова-Мусатова. Похоронен Борисов-Мусатов на окраине города Тарусы, на высоком косогоре над Окой. На могиле — плита из крупнозернистого красного песчаника, а на плите этой лежит уснувший мальчик. Местные жители говорят, что это не уснувший, а утонувший мальчик.

Осенью с этого косогора открывается в затуманенном воздухе такая беспредельная русская даль, что от нее замирает сердце.

Старые березы растут на обрыве. Даль видна через сетку их золотеющей и поредевшей от ветра листвы. В просветах между листьями висят над пажитями и перелесками розовеющие облака.

Борисов-Мусатов любил этот косогор над Окой. С него он написал известный свой пейзаж — такой тонкий и задумчивый, что он мог бы показаться сновидением, если бы вы не чувствовали, что каждый листок прогрет последним теплом солнца.

В такие осенние дни всегда хочется продлить время, остановить его каким-то чудом хотя бы на несколько дней. И вот маленький и добрый горбун художник Борисов-Мусатов остановил и подарил нам эту прелестную осень, чем-то похожую в моем представлении на девушку со строгими глазами, обещающими и горе и счастье.

И мысли, которые охватывают вас на могиле Борисова-Мусатова, я бы назвал осенними мыслями. Они появляются из глубины сознания, спокойные,

звенящие, как подмерзшие лужицы. Мысли о непрерывном потоке той силы, которую мы зовем красотой, той поразительной силы, что переходит из века в век и одинаково покоряет нас в строфах Гомера, в мадоннах Рафаэля, в «Венере» Джорджоне, в бездонных глазах Владимирской богоматери, в словах о том, что «ненастный день потух, ненастной ночи мгла по небу стелется одеждою свинцовой», в проселочных дорогах Левитана и волшебной дымке Коро.

Им надо верить, осенним мыслям. Скептицизм оставим для тех, кто уже мертв от собственной трезвости. Скептицизм не украшает жизнь. Этого одного достаточно, чтобы не принимать его всерьез.

1957

ПАМЯТИ АКСАКОВА

(Рыболовные заметки)

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ УЖЕНИИ РЫБЫ

Говорят, что Чехов никогда не сердился, если его упрекали за литературные ошибки, но всерьез обижался, когда кто-нибудь не верил в его рыболовные способности.

Примерно то же происходит со многими из нас. Мой знакомый, режиссер одного из московских театров, спокойно выслушивает самую ядовитую оценку своих театральных постановок, но приходит в ярость, если ему скажут, что он не умеет подсекать или привязывать крючки к леске из сатурна.

Может быть, в этом сказывается то несколько детское и непосредственное отношение к действительности, которое не покидает нас независимо от возраста.

Мне довелось написать много разных книг, но в глубине души я никогда не расстаюсь с заветной мыслью написать руководство к ужению рыбы. Это должна быть своего рода энциклопедия ужения, повесть, наполненная чистейшей поэзией ужения и всем, что с ним связано. Каждая глава должна быть законченным рассказом о поплавках, клеве, рыболовах (от аксаковских созерцателей и поэтов до завистников и неудачников), реках, жерлицах, омутах и рассветах.

Помимо практических знаний, в этой книге должна быть выражена прелесть русской природы. Книги еще нет, но она, очевидно, будет. А пока я хочу рассказать о самом обыкновенном ужении в один из самых обыкновенных сентябрьских дней.

Но прежде чем перейти к этому, надо сказать несколько слов о сохранившихся еще кое-где пошляках и обывателях — самых упорных, хотя и безопасных врагах удильщиков. Вообще у удильщиков много и друзей и врагов. Враги — это северные ветры, комары, подъем воды в реках (когда клев наглухо прекращается), хулиганы, которые преступно глушат рыбу гранатами и толом, насмешливые бабы, что обязательно кричат в спину: «Кто удит — у того ничего не будет!», и, наконец, любопытные, подсаживающиеся к рыболову и морочащие ему голову наивными расспросами. (Этой весной ко мне на рыбной ловле подсел некий скучный гражданин. Он упорно и уныло допытывался у меня, какие меры я принимаю «для активизации клева».) Но самым назойливым и раздражающим врагом остается обыватель, считающий своим долгом высмеивать рыболовов, как заведомых чудаков и людей явно неполноценных.

А между тем каждый настоящий рыболов — в душе поэт и знаток родной природы, носитель великих поэтических народных традиций.

Но оставим обывателей. Они не заслуживают внимания. Вернемся к рассказу об обыкновенном рыболовном дне. Итак, дело в конце сентября, в деревне, в старом бревенчатом доме. За стенами дома осыпался сад. Почему-то в разные дни сильнее всего осыпались разные породы деревьев, — третьего дня все дорожки были покрыты листьями кленов, вчера их засыпали лимонные листья лип, а сегодня стали опадать багровые, с черными прожилками листья осин.

Синицы свистели в саду, и небо по ночам уже сверкало резкими осенними звездами.

Однажды поздней ночью отчаянно зазвонил надтреснутый колокольчик около калитки. Я встал, оделся, зажег фонарь. Я жил один в этом пустом доме, в деревне, в трехстах километрах от Москвы. Никто ночью

не мог прийти ко мне, — вся деревня спала непробудным сном.

Я открыл калитку, — за ней стоял мой знакомый рыболов, тот режиссер московского театра, о котором я упоминал в начале этого рассказа.

— Удрал все-таки на два дня из Москвы! — сказал он радостно. — Половить. Осень. Ночь какая, господи! А воздух!

— Как вы доехали?

— Замечательно! — ответил режиссер. — На пароходе до Новоселок из Москвы. На палубе. Кают, конечно, не было. В Новоселках бакенщик перевез меня на этот берег Оки и чуть не утопил. Какой-то шалый старик! А через луга я шел пешком. Заблудился, зашел в Глухой Угол, — дороги ведь совсем заросли. Пусто в лугах. А на пароходе совсем не спал. Все волновался. Чуть закрою глаза и вижу: темная вода на Прорве, ивы, острый такой, знаете, запах от ивовых листьев, серое тихое небо, и перяной поплавок медленно уходит в глубокую воду. Всю ночь видел этот поплавок, прямо до сердцебиения! Нет, что вы, — спать я совсем не хочу. Выпьем чаю, соберемся и через час двинем на Прорву. Хорошо?

— Конечно двинем.

В пустом старом доме сразу стало шумно. Я зажег лампы. Мы умылись жгучей колодезной водой. Затрещал в печке огонь, зашумел чайник. А на столе вперемешку с хлебом, колбасой и сыром уже лежали вываленные режиссером из чемодана поплавки, грузила, зеленый сатурн, золотые блесны и алюминиевые коробочки с крючками.

Вышли мы из дому еще в темноте. Глухая рассветная синева чуть проступала на востоке. Иней лежал в лугах. Дождевая вода в колеях покрылась прозрачным ледком. Он тонко звенел, разбиваясь под нашими ногами. Пахло вялой травой, ивовым листом. В туманном небе низко висел мутный месяц. Он почти не давал света. Далеко на Оке горел одинокий огонь на перевальном столбе.

Через час мы вышли к Прорве — глубокому, уходящему в леса старому руслу Оки с крутыми высокими

берегами. Черные ивы стояли над водой. Над ней разгорался бледный рассвет.

Вода! Сейчас она была серо-зеленая, осенняя, затишливая и чем-то напоминала морскую — не то острым запахом умирающих водорослей, не то своим цветом. Река казалась совершенно безжизненной: ни одного рыбьего всплеска, ни ряби, ни легких, расходящихся к берегам, кругов. На отмелях было видно темное и чистое дно.

Мы выбрали место под крутояром, закрытое от западного ветра. Этот ветер всегда начинал дуть с утра и дул до полудня. Тоненькие осины трепетали и сбрасывали в воду листья. Вода у берегов была так густо покрыта палыми листьями, что поплавки, как маленькие красные цветы, едва были видны среди них. И тут же на берегу стояли увядшие цветы кипрея. Пунцовые их лепестки покрылись ржавчиной от едкой росы.

Странное чувство! Сколько бы раз в своей жизни я ни закидывал удочки в такие вот затишливые воды, всегда я испытывал острое ощущение необыкновенного отдыха и приближения чего-то таинственного, что скрывалось в этих речных глубинах. Очевидно, это ощущение было сродни тому состоянию, которое мы называем счастьем. Счастьем было уже одно сознание, что впереди у меня — весь день, лишенный каких бы то ни было забот, день целиком мой, что я могу не торопясь, минута за минутой и час за часом смотреть, как разгорается на моих глазах осенний день, как восходит в синеватых туманах солнце, как высыхает роса, как легкий ветер качает стебли череды у меня над головой, как тянут к Оке, на юг, журавлиные стаи и как то тут, то там блеснет в черной глубине мгновенное золото тяжелой рыбы.

А над водой уже стелется горьковатый дымок костра, и я слышу, как в чайнике булькает и переливается пенистыми буграми вода.

Сначала клева нет. Но нам не скучно. Места верные, и еще не бывало ни разу, чтобы Прорва нам изменила.

Но вот поплавок вздрогнул, пустил круги, потом наклонился немного и медленно поплыл в сторону. Он плыл все быстрее и на ходу погружался в воду. Окунь!

Я подсек. Удилище согнулось в дугу, и леска со свистом разрезала воду. Тяжелая и сильная рыба бросилась в кугу, под берег. Я начал выводить ее на чистую воду и крикнул режиссеру:

— Подсак!

Но подсака, конечно, не было. Режиссер нарочно забыл его дома, так как у него была своя примета: если взять подсак, то ни за что не попадется крупная рыба.

Берег был крутой, и было совершенно ясно, что вытащить рыбу на тоненькой жилке нельзя. Что же делать? Я водил ее на кругах, я видел под водой ее серебряный блеск и догадался, что это не окунь.

— Где подсак, черт вас дери! — сказал я тихо, но яростно. — Опять не взяли!

— Лещ! — крикнул в ответ режиссер и начал торопливо снимать бутсы. — Водите его! Водите! Мы его и так возьмем, без подсака.

Режиссер быстро разделся и полез в воду. Вода была холодная, но он не чувствовал ни холода, ни жары.

Наконец я вывел на поверхность огромного леща и подвел к режиссеру. Лещ испугался и снова с необычайной силой повел в глубину. Так повторилось несколько раз, пока наконец режиссер не подхватил леща руками и не выбросил на берег.

Лещ лежал в сырой траве между плетей ежевики — толстый, розовый, и с черных его плавников стекала вода.

Режиссер растерся мохнатым полотенцем, оделся и закричал от восторга, — ему было жарко и весело.

Лещ в этот день был единственным. После него начали брать крупные окуни, — брать верно, крепко, утаскивая поплавки чуть не на самое дно.

А чайник все кипел на костре, выкипал, и мы никак не могли оторваться, чтобы напиться чаю — особенно вкусного в такой вот прохладный осенний день.

День к полудню посветлел. Густое и чистое небо сверкало над головой. Нежаркое солнце шло уже низко, не достигая зенита, и берега Прорвы запылали перед нами таким нестерпимым багровым пожаром, что мы почти потеряли ощущение реальности всего окружающего. И я подумал, что вот такой короткий, как проблеск, день стоит целого года жизни в асфальтовой духоте городов.

День был короток (или так нам, может быть, показалось, потому что на рыбной ловле время идет стремительно). Очень скоро по берегам лег сумрачный свет заката, все затихло, и в сиреневой воде заблестела первая далекая звезда. Домой мы возвращались уже в темноте.

Каждый вправе спросить меня: что же, собственно, случилось в этот сентябрьский день? Почему я о нем пишу? Тем, кто спросит меня об этом, я желаю одного: провести такой день у реки. После этого, я думаю, они не будут задавать праздный вопрос о том, что случилось. Потому что поймут, что случилось приобщение к природе и к зрелищу великолепной и пышной нашей осени. Много ли таких дней выпадет на нашу долю? Мы насчитываем их единицами. Но каждый, кто принадлежит к «великому племени рыболовов», меня, конечно, поймет.

1948

ОСЕННИЕ ВОДЫ

Обычно я уезжал из деревни в Москву в конце сентября. Вода в озерах и старицах к тому времени отстаивалась, делалась холодной и чистой. Бурели водяные травы, ветер пригонял к берегам желтую ноздреватую пену. Рыба клевала нехотя, с перерывами.

Приближались обложные дожди, бури, свист облетелых ракит — все то уныние поздней осени, когда нет хуже для человека, чем остаться одному в безлюдных местах. Хорошо знаешь, что в пяти-шести километрах есть сухой бревенчатый дом, теплая постель, стол с книгами, кривенький певучий самовар и веселые заботливые люди, но все равно не можешь избавиться от ощущения, что ты безнадежно затерялся среди мертвых зарослей, в тусклых перегонных полях, на берегу свинцовых вод.

Ни человеческого голоса, ни птичьего крика, ни плеска рыбы, — только низкий бег рыхлых туч. Из них то летит холодный дождь, то вдруг туманом, залепляя глаза, повалит водянистый снег.

Такова была поздняя осень в моем представлении. Ни о какой рыбной ловле, казалось, не могло быть и речи. Рыба уходила в омуты и стояла там в тупом

оцепенении, в дремоте. Ей приходилось тесниться во мраке осенних глубин и день и ночь слушать, как шумит над головой окаянный ветер и все плещет волна, размывая глинистый берег.

Перевозчик Сидор Васильевич, человек тихий и уважительный, кутаясь в рыжий овчинный тулупчик, соглашался со мной.

— Это, конечно, так, — говорил он. — Осенью у рыбы житье каторжное. Никому такой жизни не пожелаешь, пес с ней совсем. И гляди, все «сентябрит» и «сентябрит». Днем остудишься так, что за всю ночь в землянке не отойдешь.

Каждый год я уезжал из деревни в Москву без сожаления, хотя в глубине души мне бывало немного совестно, будто я оставлял на тяжелую зимовку своих верных друзей — все эти ивы, воды, знакомые кустарники и паромы, а сам бежал в город, к огням, в тепло, в человеческое оживление до новых летних дней.

Такие смешные угрызения совести приходили иногда и в Москве — то во время какого-нибудь заседания, то в Большом зале консерватории. «Что там, — думал я. — Какая, должно быть, тяжелая ночь, ветер, ледяной дождь, размытая неуютная земля. Выживут ли все ивы, шиповники, сосенки, птицы и рыбы, измотанные бурей?»

Но каждую весну, возвращаясь, я удивлялся силе жизни, удивлялся тому, что из зимы расцветал тихий и туманный май, что распускался шиповник и плескалась в озерах рыба.

В прошлом году я впервые остался в деревне до самой зимы, до морозов и снега. И все оказалось совсем не таким, как я себе представлял. Даже если сделать поправку на то, что осень была небывалая.

Такой сухой и теплой осени, как писали в газетах, не было в России уже семьдесят лет. Деревенские старики соглашались с этим, говорили, что газеты, конечно, правильные и что на своей памяти они такой осени не то что не видели, а даже и подумать не могли, что она может быть. «Теплотой так и бьет, так

и тянет из-за Оки. И нету этой теплоте ни конца, ни краю».

Действительно, на юге, за Окой, небо неделями стояло высокое, яркое, распахнутое теплыми ветрами, и оттуда летела паутина. От нее воздух как бы переламывался серебряными ворсинками, играл и поблескивал. Сидя на берегу около удочек, я долго следил за этим зрелищем и прозевывал поклевки.

Растительность высыхала. Зелень переходила в цвет бронзы. Обычного осеннего золота почти не было. Очевидно, листва золотеет во время сырости и дождя. Земля была под цвет сухого конского щавеля — красновато-бурая, и только озера лежали на ней разливами зеленоватой воды.

Я удил рыбу до самого льда. Это была удивительная, очень медленная и тонкая ловля. Может быть, я буду писать о вещах, давно знакомых опытным рыболовам, но мне бы хотелось передать непосредственное ощущение этой осенней ловли.

Есть много разновидностей рыболовов, и в каждую такую разновидность входят люди со своим особым характером.

Есть спиннингисты, есть любители жерлиц, переметов и подпусков, есть чистые удильщики-аксаковцы, есть, наконец, рыболовы, к которым я отношусь подозрительно, — мастера таскать рыбу бреднями и сетями. По-моему, это уже хищники, хотя они и прикидываются мирными и простодушными людьми.

Спиннингисты — народ деятельный, неспокойный, бродячий, — они сродни охотникам. А удильщики — это больше созерцатели, поэты, почти сказочники.

Между спиннингистами и удильщиками возникают отношения натянутые, я бы сказал: колкие. Спиннингисты не прочь посмеяться над удильщиком, отнестись к нему свысока. Удильщик же обычно отмалчивается. О чем спорить, если человек не понимает прелести ужения?

Легкие распри среди рыболовов — это, конечно, «древний спор славян между собой». Человеку со стороны они малопонятны. Мне не к лицу превозносить удильщиков: я принадлежу к их числу. Чтобы быть

справедливым, можно, конечно, найти и у удильщиков общие для них недостатки.

Разумеется, у них есть свое тщеславие. Они гордятся знанием и пониманием природы и называют себя «аксаковцами», последователями этого великого знатока и поэта русской природы.

Кроме того, удильщики, будучи вообще людьми общительными и словоохотливыми, на рыбной ловле становятся удивительно нелюдимыми. Ничто их так не раздражает, как присутствие посторонних и праздных людей, даже если эти люди сидят за спиной. Каждый удильщик относится к этому с таким же негодованием, как если бы чужой и нахальный человек вошел прямо с улицы в вашу квартиру, уселся, расставив ноги, в комнате и начал молча и нагло рассматривать все вокруг, совершенно не считаясь с хозяевами...

Да, но я отвлекся от рассказа об осенней ловле.

Теплая осень была прервана несколькими морозными днями. Земля закаменела, и черви ушли так глубоко, что накопать их не было никакой возможности. Это обстоятельство вызвало смятение среди деревенских приятелей. Мне давали советы искать червей под огромными кучами старого навоза, куда мороз не прошел, или под горой щепы в овраге за четыре километра от деревни. Иные предлагали намыть мотыля, хотя и сознавали, что это сейчас почти невозможно. А самые малодушные утверждали, что червь ушел в землю на три метра и ловлю надо бросать.

В конце концов пришлось идти за четыре километра в глубокий овраг, заваленный щепой. Никто толком не мог объяснить, как эта щепа попала в овраг, — вблизи не было никаких построек.

Я рылся в щепе несколько часов и накопал всего тридцать — сорок червей.

На следующий день немного потеплело, но иней лежал в лугах, как каменная соль, а с севера тянуло ледяным пронзительным ветром. Он свистел в кустах и гнал черные тучи. Дальний лес на берегу старицы гудел так сильно, что шум его был хорошо слышен в лугах.

Я шел на луговые озера и бесполезно мечтал о глубоком, но небольшом озере среди леса, где даже в такой ветер стоит затишье, — такое затишье, что видна малейшая дрожь поплавка. Я мечтал об этом совершенно зря, так как никакого озера в лесу не было. Но мне очень хотелось, чтобы оно было, и я даже облюбовал сухую и теплую лощину в лесу, где оно должно было бы быть.

Такие маленькие лесные озера, величиной с комнату, я видел в лесах около реки Пры. Летом они выглядели очень загадочно — в черной, как деготь, воде плавали водоросли, бегали жуки-плавунцы и что-то поблескивало.

Я закинул в такое озерцо удочку, но у самого берега не достал дна.

Но как только я передвинул поплавок и червяк лег на дно, поплавок вздрогнул и быстро поплыл в сторону, не окунаясь и не качаясь. Я подсек и вытащил жирного, почти черного карася. Карась равнодушно пожевал губами, ударил один раз хвостом по траве и заснул.

Сейчас я мечтал вот о таком озерце, сидя на берегу лугового озера Студенец, открытого всем ветрам и всем непогодам. У берегов уже образовался ледок, но такой прозрачный, что его нельзя было рассмотреть.

Клева не было. Я с тоской смотрел на черную, будто чугунную, воду, на гниющие листья лилий, на волны и прекрасно понимал, что сижу безнадежно. Озеро будто вымерло. В лугах было пусто. Только вдалеке пожилой колхозник в валенках городил вокруг стога изгородь.

Кончив городить, он подошел ко мне, присел, закурил и сказал:

— Не там ловишь. Это я тебе категорически говорю. Не там.

— А где же ловить?

— Закон такой, — сказал колхозник, не слушая меня. — В луговых озерах в такую позднюю осень рыба не берет. Кидай куды хочешь: хоть вглыбь, хоть под берег — она не возьмет. Это, милый, дело,

давным-давно проверенное. Я тебе категорически говорю. Я сам поудить охочий.

— А где же удить? — снова спросил я.

— Вот то-то, что где, — ответил колхозник. — В реке надо, где вода в движении находится. Иди на реку, тут десять минут ходу. Выбирай место, где берег покруче, под яром, чтобы на воде была гладь. Понятно? Чтобы ветер тебе и рыбе не мозолил глаза. И сиди, жди — рано ли, поздно ли, а рыба к тебе подойдет. Это я тебе говорю окончательно. А тут сидеть, это, милый, занятие для тебя нестоящее.

Я послушался его и пошел на реку. Это была тихая и широкая река с крутыми и высокими песчаными берегами. Течение было заметно только посередине реки, а у берегов вода стояла. Льда не было.

Я спустился с крутого берега и с облегчением вздохнул: внизу было тихо, безветренно и даже как будто тепло. А по небу из-за спины неслись и неслись сизые угрюмые тучи.

Я закинул удочки, закурил, засунул руки в рукава тулупа и стал ждать. На песке около моих ног были крупные когтистые следы. Я долго смотрел на эти следы, пока не сообразил, что это следы волка. К этому месту волки выходили на водопой из зарослей лозы.

Я вспомнил рассказы колхозников, что нынче волк «голодует». Как только опустели луга, он тотчас перебрался сюда из лесов, чтобы по крайности питаться хоть мышами-полевками. Мыши к осени так жиреют, что бегают вперевалку и поймать их ничего не стоит.

Я задумался, кажется даже задремал, согревшись в старом тулупе. Очнулся я, когда над рекой, над лесом, надо мной летел медленный и чистый снег и таял в черной воде.

И тут же я заметил, как перяной поплавок начал тонуть так осторожно, что для того, чтобы совсем уйти под воду, ему понадобилось больше минуты. Так бывает, когда поплавок засасывает ленивым течением или когда наживу тянет рак. Я подождал и на всякий случай подсек — тяжелая рыба бросилась в сторону, и я вытащил хорошего окуня. Второй окунь потопил

поплавок еще медленнее и незаметнее, чем первый. А третий только чуть-чуть повел в сторону. Это движение можно было заметить только потому, что не было никакой ряби и поплавок стоял рядом с корягой, торчавшей из воды.

Я долго следил, как страшно медленно увеличивалось расстояние между корягой и поплавком, и, когда оно дошло до метра, — подсек и вытащил толстого окуня. Все окуни были холодные, как льдинки.

А снег все падал и падал, и на глазах у меня бурая земля, лишь кое-где расцвеченная лозняком с красной, почти алой корой, превращалась в тихую белую пелену.

Колхозник оказался прав. Несколько дней подряд я проверял его слова. Клевало только на реках и то в затишливых и безветренных местах.

С каждым днем лед все больше и больше затягивал реки, озера и старицы. Вначале он был тонкий и прозрачный и по нему ложились, как на море, белые световые дороги от солнца. Потом его присыпало снежком.

Деревенские мальчишки уже играли в хоккей с самодельными клюшками. Только одна полынья долго не замерзала. От нее поднимался пар.

Я пробился к этой полынье на лодке и удил в ней у самой кромки льда. Брали осторожно и медленно окуни. Пока я снимал их с крючков, у меня сводило от холода пальцы.

В лугах появился растрепанный и безобидный старик. Он ходил с метелкой, с огромным корнем сосны, похожим на кузнечий молот, и с сачком.

— Чего делаешь, дед? — спросил я его, когда встретил в первый раз.

— Рыбу колочу подо льдом. По лужам, — признался старик и застенчиво усмехнулся.

— А метелка тебе для чего?

— Это я снег со льда счищаю. Он покуда еще не примерз. Счистишь, вглядишься, и ежели под берегом стоит язь либо щука — тут и надо бить. Только бить шибко, во весь дух, чтобы рыба брюхом вверх

перекинулась. Тогда подламывай лед и хватай ее руками, покуль она не очухалась.

— Много рыбы набил нынче?

Дед отвернулся, покашлял.

— Да нет... Ничего, почитай, не набил. Лед больно тонок. Боюсь провалиться. Вот лед окрепнет, сюда язи поднапрут. Я сам видел язей, во каких — на восемь кило, не меньше.

Перевозчик Сидор Васильевич рассказал мне, что старик этот ходит целый месяц, а рыбы почти не приносит, — «уж очень стар, куда ему такой охотой займаться».

— Любитель, — сказал Сидор Васильевич. — Вот так бродит-бродит, все надеется, будто ему попадется язь в десять кило. А я его не обижаю, не смеюсь над ним. У каждого своя мечта.

Но вскоре и старик перестал ходить на озера. Както ночью пришла настоящая зима, рассыпалась снегами, завалила льды, и к утру все село уже казалось издали игрушкой из почернелого серебра. Кое-где из крошечных на отдалении изб валил дым и застревал среди старых вязов, пушистых от снега. Осенняя ловля кончилась. Надо было собираться в Москву.

Так вот по мелочам узнаешь что-нибудь новое: как осенью клюет рыба, где надо искать ее и еще что-либо в этом роде, — но вокруг этих мелочей накапливается столько разговоров, встреч с людьми, всяких случаев и наблюдений природы, что мелочи приобретают гораздо большее значение, чем мы думаем, и даже заслуживают того, чтобы посвятить им эти строки...

1950

ЧЕРНОМОРСКОЕ СОЛНЦЕ

Когда у нас в Средней России начинают лить осенние обложные дожди и в дыму этих дождей тонут леса и свинцовые речные просторы, тогда приходит к человеку тоска по далекому черноморскому солнцу.

Мы, рыболовы, обычно терпеливо ждали, когда, наконец, пройдет ненастье. Чаще всего оно оканчивалось ночью. Мы просыпались от глубокой тишины. Дождь не гремел по железной крыше деревенского дома, не шумели от ветра старые вязы, и только последние капли изредка постукивали то тут, то там за стеной.

За окном мезонина было видно, как ненастье сваливалось за леса громадой непроглядных туч. В очистившемся небе сияла омытая дождем Большая Медведица.

Но пока длилась непогода, мы, запертые ею в бревенчатых комнатах, любили поговорить о рыбной ловле под иными широтами, под южными безоблачными небесами.

Больше всего я привязан душой к нашей средней полосе России. Рыбная ловля в ее реках и озерах кажется мне замечательной. Но в дождливые дни я тоже вспоминал о рыбной ловле на Черном море. В морской ловле было много своеобразия и прелести.

Я вспоминал старый мол-волнолом в Одессе, изъеденный, как губка, крепкой солью и ржавчиной.

В лужах на молу вода была так прогрета солнцем, что попадавшие в нее креветки тотчас умирали. При этом они краснели, как крабы в кипятке.

Креветки сами по себе, конечно, не могли попасть в эти лужи. Их роняли туда рыболовы.

Креветок продавали в толстых бумажных фунтиках. У каждого рыболова торчало в кармане по два-три таких фунтика вместе с горстью маслин, куском брынзы и свежего арнаутского хлеба.

Торговала креветками — по-одесски «рачками» — тут же на молу худая маленькая женщина, тетя Пая, с таким взвинченным голосом, что вытерпеть его могли только философически настроенные одесские рыболовы.

— Слушайте, граждане! — пронзительно говорила тетя Пая, сидя на перевернутой корзине из-под креветок. — Неужели я приговоренная навеки к этим проклятым рачкам? Так нет же и нет! У меня есть своя думка: вырастить из моего Моти знаменитого скрипача. Он учится у самого Столярского. Чтобы мне добра не было, если я не сделаю из Моти свое утешение.

Было совершенно непонятно, к кому обращалась тетя Пая со своими речами. Рыболовы сидели поодаль на краю мола, свесив ноги и воткнув в щели между камнями длиннейшие бамбуковые удилища, или, как их зовут в Одессе, «пруты». Голос тети Паи, конечно, долетал до рыболовов, но они так привыкли к нему, что уже не слышали его, подобно тому, как береговой житель перестает замечать шум прибоя.

Слушал тетю Паю только рыжий кот Зяма — единственный постоянный обитатель волнолома. Он спал на солнцепеке около тети Паи, закрыв один глаз. Второй глаз был на всякий случай только прищурен. Зяма лениво следил этим глазом за всем, что делалось на молу.

Как Зяма попал на мол, никто не знал. Большинство рыболовов склонялось к той мысли, что Зяма был сильно вороват. За это хозяин Зямы и завез его на мол, чтобы навсегда от него отвязаться. Дело в том, что мол не соединялся с берегом. На него

переезжали на шлюпке. Зяма остался на молу, как на необитаемом острове.

Зяма воровал рыбу и этим питался. Жил он в пещере от вывалившегося из мола большого камня-массива. Пещера была расположена не со стороны моря, где набегал прибой, а со стороны порта. Там даже в штормы было тихо.

То обстоятельство, что кот сообразил, где поселиться, вызывало к нему даже некоторое уважение. Может быть, из этого уважения кто-то из рыболовов поставил в пещеру к Зяме пустую жестянку от консервов («бычков в томате»). В эту жестянку рыболовы наливали коту пресную воду, а то, бывало, и ситро, если кто-нибудь привозил ситро и опускал «для прохлады» бутылку на длинном шпагате с волнолома в морскую глубину.

Креветок тетя Пая держала в круглой корзине, прикрытой морской травой. В корзину была воткнута палка, а к ней прибита дощечка. На дощечке рукой будущего знаменитого скрипача было нетвердо написано: «Граждане! Кредит портит отношения!» Но, несмотря на эту предостерегающую надпись, тетя Пая охотно отпускала рыболовам креветок в кредит.

Мы проводили на волноломе с поэтом Эдуардом Багрицким целые дни и возвращались в город сожженные солнцем до медного блеска.

Багрицкий научил меня ловить на самолов — длинный шнур с несколькими крючками и тяжелым грузилом на конце. Одесские рыболовы ловили только на белые серебрёные крючки. На эти крючки морская рыба брала, по их словам, охотнее, чем на черные.

Ловля на самолов оказалась увлекательным делом. Мы со свистом раскручивали над головой грузило и далеко закидывали шнур. Он разрезал малахитовую воду и уходил на дно. От шнура бежали торопливыми струйками пузыри воздуха. Море дышало, — вода то подымалась, натягивая самолов, то опускалась, и тогда самолов провисал.

После речной ловли я не сразу привык к тому, что не надо было смотреть на поплавок. Поплавка на самолове вообще не было. Клев передавался по шнуру,

как нервный дрожащий удар. Тогда надо было подсекать и быстро выбирать шнур.

Попадались большие черные бычки — «кнуты», мелкая камбала — «глосса», барабулька, морские окуни и ерши, будто сделанные из одной колючей кости.

Морские рыбы казались мне тогда загадочными. Они вырывались из глубины, трепеща, разбрасывая брызги, и падали на горячие камни волнолома, как существа из далекого прохладного мира. Все в них было удивительным, — не только радужный блеск и странная окраска, но и острый свежий запах. Может быть, так, думал я, пахнут коралловые рифы (хотя этих рифов на Черном море и не было). А может быть, они пахли пузыристыми морскими водорослями. Или морской водой с ее неиссякаемой свежестью. Запах этот был похож на дыхание озона после длинной и веселой грозы.

Барабулька, блестящая, как новенькие серебряные монеты, тотчас лиловела на воздухе и покрывалась красными пятнами. Морские окуни переливались, как перламутр, тончайшими и туманными красками, заключенными в морской воде, — от лазоревой до золотой и пурпурной. В раскраске окуней было что-то схожее с тускнеющим цветом отраженных в море вечерних облаков.

Однажды худой рыболов в вылинявшей турецкой феске вытащил морского петуха — очень редкую и самую причудливую рыбу на Черном море.

Петух лежал на молу и шевелил плавниками, разгораясь переливами синего цвета. Вокруг стояли толпой рыболовы и молча смстрели на чудесную рыбу.

Потом самый старый рыболов грек Христо подошел к морскому петуху, осторожно взял его под жабры, спустился по выщербленному каменному трапу к воде и бросил рыбу обратно в море. Это был старый рыбацкий обычай — всегда выпускать в море морских петухов. Они были слишком необыкновенны. Зажарить их и съесть казалось таким же кощунством, как если бы человек растопил печку картиной великого мастера.

Я хорошо помню один «великий скумбрийный день» на волноломе. Над морем лежал синий штиль.

Сквозь утреннюю дымку проступал далекий Дофиновский берег. У него был цвет охры.

Солнечная тишина уходила от подножья мола на тысячи миль. Море молчало на всем своем протяжении, до берегов Крыма, Кавказа, до Анатолии и Босфора. Даже рыболовы, сидевшие с длинными своими «прутами», перестали покачивать ими в воде, завороженные синевой и безмолвием.

Тетя Пая только вздыхала.

— До чего же приятное наше море! — говорила она вполголоса. — Такое приятное, что и не поверишь, будто на свете есть всякие ненависти и страсти.

Мы с Багрицким лежали на молу и смотрели на небо. Оно, казалось, неслось все ввысь, к какому-то недостижимому зениту. Шнуры мы намотали на босые ноги. Бычки нетерпеливо дергали за шнуры, но нам было лень подняться, нам было жаль нарушать сияние этого утра. Багрицкий вполголоса читал стихи Веры Инбер об одесской осени:

Осенний воздух тонок и опасен.
Иной напев, иной порядок дней.
И милый город осенью прекрасен,
И шум его нежней...

Внезапно все сдвинулось и смешалось. Рыболовы схватились за удилища. Над водой, как залп из тысячи серебряных узких пуль, взлетела скумбрийная стая. Скумбрия разлеталась веерами, неслась потоками живых узких веретен. Тучи чаек налетали с открытого моря, шумя крыльями. Казалось, на волноломом несется метель.

Тотчас все пруты во всю длину мола взвились, будто их подкинула высокая волна, и на конце каждой лески забилась и засверкала скумбрия.

Пруты подымались и опускались торопливо и непрерывно. По всему молу скакали тугие рыбы с синеватыми спинками. Кот Зяма вертелся среди скачущей рыбы, и глаза его пылали зеленым восторгом. Что-то кричала тетя Пая. К волноломy шли, торопясь, шлюпки с новыми рыболовами. С берега долетали протяжные крики: «Скумбрия пойшла!» Там метались

в отчаянии толпы одесских мальчишек, так называемых «пацанов». Они хотели попасть на волнолом, но их не брали в шлюпки.

Все корзины рыболовов были уже полны рыбой, а скумбрийные стаи все еще мчались под водой струящимся серебром. Океанский наливной пароход входил в порт и величаво гудел. Красные отблески от его днища переливались в воде. Скумбрия проносилась сквозь этот блеск и на мгновение вспыхивала пурпурным цветом. А пароход все гудел, приветствуя большой южный порт. След за кормой парохода тянулся далеко через заштилевшее море, и мне казалось, что он никогда не растает и по этому следу можно будет прочертить путь парохода к Одессе из далеких, затуманенных зноем морей.

После этого я потом часто ловил рыбу на Черном море—в Балаклаве, Ялте, Коктебеле, в Сухуми и под Батумом, но ни разу больше я не видел таких несметных стай рыбы, как в это осеннее утро в Одессе. И, пожалуй, я ни разу больше не видел такого чуть туманного и прозрачного штиля. Хотя нет! Были и другие морские тихие дни. Но все они очень различались друг от друга.

Год назад я был в Коктебеле. Потухший вулкан Карадаг обрывался в море опаленными стенами. Карадаг был суров и темен, а море у его ног лежало безмолвное и белое от облачного неба. В серой воде был далеко виден шнур самолова и маленький краб, прицепившийся клешнями к этому шнуру.

Брали морские окуни, но так редко, что у меня оставалось время подолгу смотреть на разноцветные облака над вершинами желтых гор, заросшими терновником. Облака эти стояли над всем восточным Крымом, как архипелаг летучих островов.

Я помню много хороших рыболовных дней на Черном море. Помню старую шхуну «Кудесник» в Балаклаве. Я ловил рыбу с ее рассохшейся палубы. Помню гранитную пристань в Массандре, похожую на средневековый форт. Там за час можно было поймать всего одного-двух бычков, но, несмотря на это, просидеть весь день, подремывая на теплых, отполированных волнами камнях.

Помню горячую крупную гальку на берегу под Сухуми. Там вместо грузила я привязывал к самолову плоские голыши. Они часто срывались, когда я раскручивал над головой самолов, и били с размаху о скалы, как разрывные пули. Тогда от скал шел едкий дымок и пахло порохом.

Помню ловлю на удочку в Батумском порту, когда красный пробковый поплавок затеривался среди множества мандариновых корок и ветер с берега приносил лимонный запах черной лакированной листвы. А Черное море шумело за молом, где стояли, накренившись, огромные грузовые пароходы и спали, дожидаясь погрузки.

Но все же морская ловля, несмотря на всю ее прелесть, не может, по-моему, сравниться с речной. Прежде всего на море мешают штормы. К речной ловле нужно применять несравненно больше ловкости и мастерства, чем к ловле в море, где рыба берет жадно и без разбора, даже на куски тряпок, лишь бы они были ярко окрашены.

Но все же будем благодарны Черному морю не только за его праздничность, блеск и пенный шум, но и за рыбную ловлю у его берегов. Она полна поэзии. Стоит провести на морском берегу весь день хотя бы для того, чтобы увидеть, как прибой вынесет на берег лимонную корку и осторожно положит ее к вашим ногам, чтобы слышать ропот прибоя и следить за тем, как армады облаков плывут к вершинам гор, редеют к вечеру и невольно напоминают нам о великом нашем поэте, который так пылко был привязан сердцем к этой полуденной земле и оставил нам о ней свои изумительные стихи:

Редеет облаков летучая гряда...

1951

ВЕЛИКОЕ ПЛЕМЯ РЫБОЛОВОВ

Старый русский писатель дедушка Аксаков был, как известно, опытным и страстным рыболовом. Он написал превосходную книгу о рыбной ловле. Называется она «Записки об ужении рыбы». Книга эта хороша не только тем, что прекрасно передает поэзию рыбной ловли, но еще и тем, что написана она чистым, как ключевая вода, языком.

Я назвал Аксакова дедушкой. До сих пор у нас было принято называть так баснописца Крылова. Но Аксаков, наравне с Крыловым, имеет полное право на это ласковое имя за его добросердечие, спокойствие и проницательность.

Аксаков первый в русской литературе начал писать о рыбной ловле, об этом удивительном занятии, заставляющем человека узнать природу, полюбить ее и жить с ней одной жизнью.

Рыболову легче всего открывается красота природы, ее затаенная прелесть. Можно смело сказать, что любой человек, если он проведет хотя бы один только день с удочками на реке или озере, если он надышится запахом трав и воды, услышит пересвист птиц и курлыканье журавлей, увидит в темной воде блеск крупной рыбы, если он, наконец, почувствует ее

упругий бег на тончайшей леске, будет потом долго вспоминать этот день, как один из самых спокойных и счастливых дней своей жизни.

Все вокруг покажется ему необыкновенным: и шныряющие по воде оливковые жуки-плавунцы, и заросшие тиной коряги, и розовые острова водяной гречихи, и закатные облака, сверкающие в прозрачной воде своими золотыми краями, и первая звезда, что задрожит посреди озера, как осколок синего драгоценного камня, и тишина ночи, всегда немного загадочной, дышащей сыростью лесных чащ.

Природа учит нас понимать прекрасное. Любовь к родной стране невозможна без любви к ее природе. Поэтому все, в том числе и рыбная ловля, что приближает нас к природе и роднит с ней, — патриотично в самом широком смысле этого слова.

Рыбная ловля не только развивает у нас любовь к родной природе, но и дает нам много знаний о ней. Это накопление знаний происходит исподволь, медленно, изо дня в день. А чем больше знает человек, тем большую ценность он представляет для общества и тем интереснее и плодотворнее его собственная жизнь.

Достаточно пробыть на берегу реки одни сутки, чтобы увидеть множество замечательных вещей. Их никогда не увидит горожанин.

Чтобы доказать это, я могу сослаться на собственный опыт и описать наугад любой день из великого множества дней своей рыболовной жизни.

В тех местах, где я чаще всего ловлю рыбу, есть широкое старое русло Оки. Называется оно Музгой. Я опишу вам осенний день на Музге, и вы сами поймете, как много знаний и поэзии заключено на берегах этой реки и в ее тихих водах.

Но прежде всего нужно разрушить один очень распространенный и глупый предрассудок о том, что рыбная ловля — это «сидячее» занятие и рыболовы — самые неподвижные люди в мире. На самом деле все обстоит совершенно иначе.

Судите сами, — от деревни, где я живу, до Музги не меньше десяти километров. Значит, мне нужно

пройти эти десять километров, потом обойти берега Музги, тянущиеся на двадцать — двадцать пять километров, разбить палатку, собрать хворост для костра, надуть резиновую лодку, проплыть на этой лодке не меньше пяти-шести километров, потом возвратиться с Музги в деревню.

Как-то мы, рыболовы, подсчитали, что за каждый месяц, проведенный на ловле, мы проходили не меньше шестисот километров.

Посмотрел бы я, как говорится, на того насмешника, который издевается над рыболовами за то, что они сидят, «как пни», по берегам рек, посмотрел бы я на него после одного дня такой «сидячей» рыболовной жизни. Я ручаюсь, что увидел бы этого человека в довольно жалком состоянии — измотанного, опухшего от комариных укусов, сожженного солнцем, невыспавшегося, закопченного дымом костра и исцарапанного до крови ежевикой.

Рыбная ловля дает великолепную закалку. Только первые дни даются с трудом. Потом привыкаешь к жаре и холоду, к дождям, к тому, что промокаешь насквозь и высыхаешь на ветру, к тому, что постелью для тебя бывает трава, а пологом — звездное небо.

Когда приходит эта привычка, когда, наконец, наступает то состояние, когда человеку ничто в природе не страшно и стены дома перестают быть для него единственным надежным убежищем, тогда только природа раскрывается перед его глазами во всем своем разнообразии и могуществе.

Непонятным и смешным становится тот страх, что испытывают перед природой «комнатные» люди, — страх перед грозами и ливнями, туманами и зноем, непроглядными ночами и ветрами, лесами и непонятными звуками. Для «комнатного» человека природа полна неудобств и скрывает в себе всяческие неприятности.

Недаром писатель Гайдар — большой рыболов — любил говорить, что «на рыбной ловле — как на фронте». И он был отчасти прав. Во время последней войны мои друзья-рыболовы, люди разных

профессий — писатели, режиссеры и художники — поражали самых опытных и видавших виды военных своей выносливостью и закалкой.

Да, но вернемся к тому рыболовному дню, о котором я обещал рассказать. Но мне опять придется немного отвлечься в сторону. Прежде чем рассказывать об этом дне, я хочу спросить любого из своих читателей: сколько раз в жизни он видел восход солнца.

Сгоряча читатель, конечно, ответит, что видел его много раз. Но, подумав, согласится со мной, что это было совсем не часто, а даже наоборот, очень редко.

У большинства людей нет необходимости вставать на рассвете, а рыболов должен быть на реке, как только засинеет на востоке утренняя заря, начнут гаснуть звезды и потом в туманах и тишине подымется над травами и водами огромное багровое солнце, — солнце бесконечного летнего дня.

Ни один из восходов солнца не бывает похож на другой. Иногда солнце восходит как золотой шар, иногда как белое видение в густой осенней мгле, а иной раз как большой искристый алмаз. Его блеск зажигает в мокрой листве тысячи таких же маленьких солнц-алмазов, но один из этих алмазов — самый яркий — нестерпимо горит на небе невдалеке от солнца. Это утренняя звезда Венера.

Приход каждого нового дня нашей жизни — простое и величавое зрелище. И каждый, кто испытал эту предрассветную холодноватую чистоту воздуха, видел блеск Венеры над далью лесов и почувствовал первую робкую теплоту солнца на своем лице, никогда, конечно, этого не забудет.

Рыбная ловля тем и хороша, что она оставляет нас с глазу на глаз с природой в любое время суток, в любое время года и в любую погоду.

Кому из «деловых» людей придет в голову встать в два часа ночи, когда окна в доме запотели от холода, и, напившись наскоро чаю, идти за пятнадцать километров глухими лесами на пустынное лесное озеро? Идти в темноте, иной раз под дождем, и вды-

хать резкий по ночам запах сырого можжевельника и грибной прели. Нет рыболова, который бы не испытал необыкновенной прелести этих ночных походов. Даже от воспоминания о них начинает биться сердце.

Как хорошо потом, прорвавшись к озеру сквозь мокрые заросли, развести костер, обсохнуть, снова напиться чаю с тут же сорванной около ног брусникой и закинуть в темную затишливую воду удочки с красными перяными поплавками. Закинуть и ждать, пока поплавок не вздрогнет и не начнет уходить в зеленую глубину, под листья водяных лилий. Ждать и следить за тем, как в тумане над озером висят невдалеке друг от друга два больших желтых солнца — одно в небе, а другое в озерной воде.

Но я опять отвлекся от описания рыболовного дня. Надо возвращаться на Музгу, чтобы рассказать вам, хотя бы вкратце, о том, что там можно узнать и увидеть.

Прежде всего можно увидеть и узнать множество разных деревьев, кустарников и трав. Старые осокори стоят над самой водой. Их беловатая растрескавшаяся кора похожа на почерневшее серебро. Желтые пахучие листья отрываются от ветвей и слетают в воду. Вода так неподвижна, что видно, как от отражения осокоря отрывается в воде такой же лист. Оба листа летят навстречу друг другу — один вниз, а другой вверх. На поверхности воды они сливаются в один лист, и легкое течение уносит его в туман. Можно поймать такой лист осокоря, рассмотреть его и увидеть тончайший слой пробки, наросший к осени у черенка листа и заставивший его отделиться от ветки.

Можно увидеть все краски осени и узнать, что все деревья и кустарники расцвечены по-разному.

Береза роняет лимонные листья, осина — красные с черными блестящими пятнами или лиловые с пятнами чисто золотыми, ива — зеленовато-желтые, дуб — коричневые, хмель — листья цвета рогожи, рябина — розовые, а конский щавель пылает в сухой траве, как рыжее пламя.

Что может быть лучше осеннего лиственного пожара и его отражения в воде, — отражения чуть потускневшего, когда все видно будто сквозь стекло, запотевшее от дыхания.

Все платье у вас будет усеяно вцепившимися в него семенами череды, колючими шариками ясменника и головками лопухов. Разглядывая эти семена, вы будете поражены теми необыкновенно хитрыми и простыми прицепками, какие существуют в природе для распространения семян.

Постепенно вы узнаете разнообразие трав и деревьев. Вы не сможете их не рассмотреть, потому что они все время будут окружать вас тесной стеной, прикасаться к вашему лицу, напоминать о себе — то приятным запахом и удивительной своей формой, то всякими подвохами, как, например, ежевика, любящая хватать человека за ноги и долго не отпускать его, или телорез с листьями острыми, как бритвы.

Камышевки будут садиться на ваше удилище и висеть на нем вниз головой, высматривая в воде жуков-водомеров. Седые водяные крысы у вас на глазах будут срезать зубами тростник и, зажав его во рту, переплывать с ним реку. Стебли тростника наполнены воздухом и хорошо поддерживают крыс на воде. А вокруг по густым зарослям старые воробьи будут весь день с неистовым писком и волнением обучать молодых воробьев своему сложному делу — полету и вылавливанию мошкары.

Орланы-белохвосты будут камнем падать в воду и подхватывать уклеек, а в воздухе над собой вы увидите птичьи бои и косяки журавлей, наполняющих осеннюю тишину переливчатым звоном. И, может быть, вам удастся, как удалось однажды мне, увидеть, как журавли уносили на крыльях своего раненого товарища.

Вы научитесь узнавать время днем по солнцу, а ночью — по петушиным крикам, восходу планет и расположению созвездий.

Движение звездного неба станет для вас понятным, как знакомая карта. В самые глухие осенние ночи вы будете просыпаться, выходить из палатки и разво-

дить костер, как только над краем темной земли начнет переливаться зеленым огнем блистающий Сириус. Это будет значить, что приближается пятый час утра.

Вы узнаете много точных примет. Дым костра, мерцание звезд, вид облаков, холодная роса, цвет закатного неба, полет птиц, ясность далей, теплота и прохлада ночей — все это будет предупреждать вас о переменах погоды.

Вы научитесь различать голоса птиц, определять по плеску воды, какая бьет рыба в реке. Ваш слух обострится до того, что вы издалека будете слышать по ночам приближающийся шорох дождя. Не только слух, но и все ваши чувства очень обострятся от общения с природой.

И, наконец, вы услышите много удивительных рассказов от встречных паромщиков, перевозчиков, бакенщиков, лесников, корзинщиков, рыбаков, пастухов и охотников — от тех людей, чей труд связан с постоянным пребыванием среди природы. Слушая эти рассказы, вы прикоснетесь к богатым истокам русского языка.

Все это даст вам рыбная ловля. И тогда вы только усмехнетесь в ответ на обывательские разговоры о неподвижности и скуке этого занятия и пожалеете людей, которым не дано всего этого знать.

Они будут с полным основанием казаться вам обездоленными, тогда как вы будете владетелями настоящих богатств познания и поэзии.

Я почти ничего не сказал о самой рыбной ловле. О ней можно писать книги — о повадках рыб, об удочках, поплавках, клеве, подсечке, о разных замечательных случаях на ловле, о нраве рыболовов, блеснах, зимнем ужении и наживке.

Но это и не входит в мою задачу. Это вы узнаете по собственному опыту и из хороших руководств по ужению рыбы. Мне же хотелось рассказать вам, хотя бы и очень коротко, о том удивительном и для многих из нас еще неизведанном мире природы, который окружает каждого рыболова.

Недаром столько замечательных и великих людей, в частности писателей, увлекались рыбной ловлей и находили в ней не только отдых, но и гораздо большее содержание. Рыбную ловлю любили Чехов, Тургенев, Аксаков, Мопассан, Марк Твен и многие другие.

Займитесь ужением, вступите в «великое племя рыболовов», как шутливо называл рыболовов Гайдар, и вы сразу же почувствуете, как окрепнет и закалится ваше тело. Вы погрузитесь в светлую поэзию русской природы и жизни.

1952

СТАТЬИ
ОБ ИСКУССТВЕ



ПОЭЗИЯ ПРОЗЫ

У нас почти нет книг о работе писателей. Эта удивительная область человеческой деятельности никем по существу не изучена.

Сами писатели говорят о своей работе неохотно. Не только потому, что присущее писателю образное мышление плохо уживается с теоретическими выкладками, что трудно «проверить алгеброй гармонию», но еще и потому, что писатели, возможно, боятся попасть в положение сороконожки из старой басни. Сороконожка однажды задумалась над тем, в какой последовательности должна она двигать каждой из сорока ног, ничего не придумала, а бегать разучилась.

Разъять на части, проанализировать процесс своего творчества может и сам писатель, но, конечно, никак не во время творческого процесса, не во время работы.

Творческий процесс похож на кристаллизацию, когда из насыщенного раствора (этот раствор можно сравнить с запасом наблюдений и мыслей, накопленных писателем) образуется прозрачный, сверкающий всеми цветами спектра и крепкий, как сталь, кристалл (в данном случае кристалл — это законченное произведение искусства, будь то проза, поэзия или драма).

Творческий процесс непрерывен и многообразен. Сколько писателей — столько и способов видеть, слышать, отбирать и, наконец, столько же манер работать.

Но все же есть некоторые особенности и черты литературного труда, свойственные всем писателям. Это способность находить типичное, характерное, способность обобщать, делать прозрачными самые сложные движения человеческой души. Способность видеть жизнь всегда как бы вновь, как бы в первый раз, в необыкновенной свежести и значительности каждого явления, каким бы малым оно ни казалось.

Это — зоркость зрения, воспринимающего все краски, умение живописать словами, чтобы создать вещи зримые, чтобы не описывать, а показывать действительность, поступки и состояния людей. Это — знание огромных возможностей слова, умение вскрывать нетронутые языковые богатства. Это—умение почувствовать и передать поэзию, щедро рассеянную вокруг нас.

Писатель должен пристально изучать каждого человека, но любить, конечно, не каждого.

То, что сказано выше, — далеко не полный «список» качеств и свойств, связанных с профессией, или, вернее, с призванием писателя.

Довольно давно, еще до войны, я начал работать над книгой о том, как пишутся книги. Война прервала работу примерно на половине.

Я начал писать эту книгу не только на основании своего опыта, но главным образом — опыта многих писателей. Я присматривался к работе своих товарищей, отыскивал высказывания самых разных писателей и поэтов, читал их письма, дневники, воспоминания. Так накопился кое-какой материал.

Конечно, можно было бы привести этот материал в относительный порядок и в таком виде опубликовать его. Тогда получилось бы суховатое исследование, претендующее даже на некоторую научность.

Но я стремился не к этому. Я не хотел только объяснять. Работа писателей заслуживает гораздо большего, чем простое объяснение. Она заслуживает того, чтобы была найдена и вскрыта трудно передаваемая поэзия писательства — его скрытый пафос, его страсть

и сила, его своеобразие, наконец удивительнейшее его свойство, заключающееся в том, что писательство, обогащая других, больше всего обогащает, пожалуй, самого писателя, самого мастера.

Нет в мире работы более увлекательной, трудной и прекрасной! Может быть, поэтому мы почти не знаем примеров ухода, бегства от этой профессии. Кто пошел по этому пути, тот почти никогда с него не сворачивает.

В своей еще не до конца написанной книге я больше всего хотел передать эти исключительные свойства писательской работы, бросающие свет на все стороны человеческого духа и человеческой деятельности.

Я пытался насколько возможно яснее и убедительнее показать, что труд художника ценен не только конечным своим результатом — хорошим произведением, но и тем, что самая работа писателя над проникновением в духовный мир человека, над языком, сюжетом, образом открывает для него и для окружающих большие богатства, заключенные в том же языке, в образе; что эта работа должна заражать людей жаждой познания и понимания и глубочайшей любовью к человеку и к жизни. Иначе говоря, не только литература, а самое писательство является одним из могучих факторов, создающих человеческое счастье.

И вот сейчас, прожив длинную и сложную жизнь, я, как и все мы, полон глубочайшей благодарности ко всем подлинным писателям Советского Союза, России и всего мира, к писателям самых разных времен и народов. Полон благодарности за то, что они силой своего ума и таланта показали нам жизнь во всем ее многообразии, заставили каждого из нас понять, что такое могущество человеческого духа, справедливость, счастье, свобода, красота, любовь; что они дали нам услышать, как хохочут дети и равномерно шумит морская волна, дали узнать сияние ночей над лесами и блеск мысли, рождающей истину, дали почувствовать солнечное тепло у себя на ладони и запах зацветающей ржи.

Показать все многообразие писательской работы и силу ее влияния на людей невозможно для одного

человека. К этому следует привлечь всех, кто работает в области литературы. Только так может быть создана более или менее исчерпывающая энциклопедия писательского труда.

Свою книгу о том, как пишутся книги, я начал как ряд рассказов о сюжете, композиции, языке, пейзаже, диалоге, метафорах, внутреннем ритме прозы, правке рукописей, о записных книжках, о соседствующих с прозой областях искусства — поэзии, живописи, музыке, театре, архитектуре; о влиянии этих областей искусства на качество прозы; наконец, о манере работать некоторых писателей — и классиков и наших современников: Чехова, Гюго, Мопассана, Блока, Горького, Пришвина и других.

Эта еще не оконченная книга называется «Золотая роза». Происхождение названия определяет одну из главных тем всей работы.

Еще в детстве я слышал рассказ о старом мусорщике. Он ежедневно прибирал все ремесленные мастерские в одном из кварталов Парижа. Денег за свои услуги мусорщик ни с кого не брал, и потому все население квартала, в том числе и хозяева мастерских, пользовавшиеся его бесплатным трудом, считали этого человека сумасшедшим.

Никто не подозревал, что мусорщик, выбрасывая всю пыль и обрезки, собранные за день, оставлял себе пыль из ювелирных мастерских. Эту пыль он пережигал в тигле. А так как в ней было немного золотой пыли, оставшейся от полировки и отделки золотых вещей, то почти каждый месяц мусорщик выплавлял небольшой слиток золота. Из первого же слитка он выковал розу.

Каждый труд оставляет после себя отходы. Оставляет их и писательский труд. Обычно в роман или повесть входит только часть того материала, какой был для них собран автором. Большая часть материала остается за бортом законченной книги.

Это — золотая пыль в мастерских ювелира.

Я думаю, что это своего рода закон — писатель должен знать гораздо больше о том, что пишет (особенно о людях), чем он об этом скажет.

Самая действенная проза — это проза сжатая; из нее исключено все лишнее, все, что можно не сказать, и оставлено лишь то, что сказать совершенно необходимо.

Но для того, чтобы писать сжато, надо то, о чем пишешь, знать настолько полно и точно, чтобы без труда отобрать самое интересное и значительное, не растворяя повествования водой излишних подробностей. Сжатость дается исчерпывающим знанием.

Особенно это важно для писателя, когда он говорит о людях. Даже о самом эпизодическом действующем лице писатель должен знать все. Тогда только он сможет выхватить из многих черт самую меткую, и она сразу оживит человека.

В этом, мне кажется, и заключен секрет умения дать живой, совершенно осязаемый портрет человека одним-двумя штрихами, как это изумительно делал Чехов.

Порой от человека оставалась только одна фамилия — какой-нибудь напыщенный телеграфист Ять. Но одной этой фамилии было довольно, чтобы читатель вполне ясно увидел этого телеграфиста в жилете пике, «извините за выражение».

Когда мне впервые пришлось столкнуться с работой актеров, я не понимал, почему актер, игравший второстепенное лицо (в пьесе ему отведено две-три фразы), пристает ко мне с расспросами, из какой среды вышел этот герой, кто его родители, какой у него характер, какие привычки и вкусы, почему у него хриплый голос.

Очень скоро я понял, что для того, чтобы правильно сказать те две-три фразы, которыми так скупо награжден герой, актер должен был знать о нем по возможности все.

Актер был прав. Он шел путем наибольшего сопротивления, каким должен идти писатель.

В этой статье, к сожалению, нет возможности начать и закончить большой разговор о писательском мастерстве. Об этом можно говорить целые дни и недели. Тема эта поистине неисчерпаема. Разговор можно только начать, что я и пытаюсь сделать.

Золотой запас писателя — это запас его мыслей и наблюдений над жизнью. Иными словами — это его биография.

Писатель не может не обладать содержательной внешней или внутренней биографией.

Самое занятие писательством заставляет человека вести разнообразную, напряженную жизнь, вмешиваться в разные области действительности, встречаться со многими людьми и проникать во все углы страны — от Москвы до Чукотки и «от финских хладных скал до пламенной Колхиды».

Нельзя представить себе советского писателя, нашего современника, который бы не знал своей страны и непосредственно не участвовал бы в жизни своего народа.

Недаром существует выражение «писательская биография». Писателям биографию нужно создавать.

Когда я думаю об этом, я вспоминаю слова моего гимназического учителя русского языка. Он говорил, что для того, чтобы сделаться хорошим писателем, нужно прежде всего быть интересным и бывалым человеком, а иначе ничего не получится. А быть человеком бывалым и интересным, говорил он, — это целиком в наших руках.

Подтверждением этой мысли являются биографии Пушкина, Герцена, Горького, Сервантеса, Стендаля, Гюго, Байрона, Диккенса, Гейне, Чехова.

Чехов и Гейне! Несмотря на несхожесть этих писателей, они с наглядностью показали всем своим творчеством, что подлинная проза пронизана поэзией, как яблоко соком.

Проза — это ткань, поэзия — уто́к. Жизнь, изображенная в прозе, лишенной какого бы то ни было поэтического начала, является грубым и бескрылым натурализмом, никуда нас не зовущим.

Проза должна быть крылатой. Этого нельзя забывать.

Раз разговор зашел о поэзии, то, пожалуй, именно здесь надо сказать о том, какое огромное значение для прозаиков, для усовершенствования прозы имеет поэ-

зия, живопись и все так называемые «соседствующие» области искусства.

Каждый подлинный прозаик должен хорошо знать поэзию и живопись.

Особенно поэзию. Давным-давно известно, что от частого употребления слова теряют свою свежесть, силу и ту образность, которую они должны нести в себе.

Слова стираются. От них остается только одно звучание, одна звуковая шелуха, исчезает их воздействие на наше сознание и воображение.

Ничто так не омолаживает слова, как поэзия. В стихах слово приобретает свою первоначальную свежесть, силу, музыкальность. От прикосновения поэзии слова наполняются подлинным своим содержанием.

Примеров этому множество. Возьмем самый простой пример, где обычные слова «лес», «мороз», «поле», поставленные в единственно возможном для выражения темы поэтическом сочетании, вскрывают все великолепие русского языка, поют и звенят, как звенит, похрустывая под ногой, покрытая инеем пажить:

Роняет лес багряный свой убор,
Сребрит мороз увянувшее поле...

В словах «сребрит мороз» заключается тончайшая аллитерация, звукоподражание.

Наша поэзия богата аллитерациями. Она передает любые звуки и ритмы.

Вот отрывистый топот скачущего коня у Лермонтова:

Я знаю, чем утешенный,
По звонкой мостовой
Вчера скакал, как бешеный,
Татарин молодой.

Или несколько изысканная, но верная аллитерация у Блока, передающая шум шелковой ткани:

Зашуршали тревожно шелка...

Все это необходимо знать прозаику. Не только в поэзии, но и в прозе изредка и на месте поставленная аллитерация вызывает у читателя точное и могучее впечатление, какое необходимо автору.

Живопись, работа художников может научить писателя точно видеть и запоминать, а не только смотреть.

Некоторые писатели пренебрегают красками и светом. Поэтому от их вещей остается впечатление пасмурности, серости, бесплотности.

Видеть действительность в полном многообразии красок и света нас учат художники.

Всмотритесь хотя бы в картины Левитана, и вы увидите, как необыкновенно разнообразно освещение, кажущееся нам при мимолетном взгляде довольно монотонным.

Свет в пасмурный день до дождя совершенно иной, чем в тот же день после дождя. Мокрая листва придает ему прозрачность и блеск.

Отраженный солнечный свет на опушке соснового леса совершенно иной, чем свет вдали от опушки. Он значительно теплее. Он наполнен бронзовым отсветом стволов.

В каждом пейзаже, особенно открывающем широкие дали, есть несколько световых планов. Соединение этих планов и дает то ощущение покоя и величия, которое так свойственно пейзажу Средней России. Вспомните левитановское «Над вечным покоем».

Но не только в этом, конечно, значение живописи для совершенствования прозы.

У художников можно учиться непосредственному восприятию окружающего — свойству, характерному для детей. Ребенок каждый день открывает заманчивый мир, давно наскучивший взрослым.

Это качество — видеть все как бы впервые, без тяжелого груза привычки, видеть всегда как бы вновь,— присущее детям и художникам, необходимо и писателям. Тогда каждый человек, каждый его поступок, жест, слово, каждая вещь — будь то радуга или изломанный кусок антрацита — приобретает силу новизны, силу открытия.

Мне кажется, что писатель непосредственностью и страстною заинтересованностью должен входить в любую тему. Каждая его будущая книга должна быть для него как бы экспедицией в неведомую страну, где

его ждут залежи материала, до него еще никем не открытые.

Писатель не может быть пренебрежительным, равнодушным к любому материалу, даже к так называемым «мелочам жизни». Мелочей для него и не может быть. Все дело в том, чтобы найти то характерное ядро, что заключается в каждой мелочи.

Подлинный советский писатель — это человек всегда деятельный, пытливый, совершенно лишенный той маститости, солидности и сознания своей роли непререкаемого «поучителя жизни», что в старые времена считалось непременной принадлежностью людей, «посвященных» в литературу.

Тот тип писателей, о которых Чехов ядовито заметил, что важностью своей они напоминают первосвященников, к счастью уходит в прошлое. Для советского писателя жить — это значит вплотную участвовать вместе со всем советским народом в строительстве страны, а не заниматься тяжеловесной и глубокомудрой дидактикой.

Раз уж пришлось коснуться значения детали в прозе, то на этом следует остановиться.

Мне приходится читать много рукописей начинающих авторов. Почти все они страдают одним общим недостатком: в них в угоду словесным обобщениям потеряно умение давать точную и все определяющую деталь.

Возьмем, к примеру, человеческую скупость. Можно долго и отвлеченно описывать ее, но это ничто по сравнению с показом скупости путем блестяще подобранных деталей, как это сделал Гоголь с Плюшкиным.

Можно ограничиться и одной деталью. Все дело только в ее безошибочности.

Мне вспоминается простая женщина, что всю жизнь носила платок наизнанку, чтобы он не выцвел от солнца. Так она и не успела надеть его лицевой стороной, во всей его красоте.

В этой детали показана не только скупость, но и нечто более сложное — трагедия нищего человека, мечтающего о малой радости и скупого именно в силу этой своей одинокой мечты.

Хорошая деталь стоит в одном ряду с удачным образом.

Образ, равно как и эпитет, должен быть точен, свеж и скуп.

Обычно начинающие писатели грешат обилием образов и эпитетов. Это придает их прозе мертвую пышность, сусальную или трескучую красивость.

Бывает, что к одному существительному прилагается несколько эпитетов. Эпитет должен запоминаться. А для этого он должен быть единственным.

Из трех эпитетов, приложенных к существительному, один всегда будет наиболее точным, а остальные два безусловно будут ему уступать. Поэтому ясно, что этот единственный эпитет надо сохранить, а остальные безжалостно вычеркнуть. То, что на писательском языке называется «вилкой», то есть существование двух равноценных и необходимых эпитетов к одному слову, — вещь чрезвычайно редкая.

Часто писатели берут эпитеты «напрокат», иными словами — идут по линии наименьшего сопротивления и просто повторяют те эпитеты, что как бы навсегда приклеены к тем или другим словам.

Нужна смелость, чтобы ввести эпитет свежий, показывающий предмет или явление в том новом его качестве, которое заметил писатель. Такие эпитеты живут долго.

Достаточно один раз прочесть: «меркнет молодость» (у Лескова), «пронзительный свет луны» (у Гончарова), «солнца луч умолк» (у Данте), чтобы эти эпитеты остались в нашей памяти на всю жизнь.

Говоря об эпитете, об образе, мы уже входим в ту лабораторию писателя, где господствует слово.

Слово! Язык! Об этом нужно писать не короткие статьи, а страстные воззвания к писателям, обширные монографии, тончайшие исследования.

Нам дан во владение самый богатый, меткий, могучий и поистине волшебный русский язык.

Всегда ли мы обращаемся с этим языком так, как он того заслуживает?

По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно судить не только о его

культурном уровне, но и о его гражданской ценности.

Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку. Человек, равнодушный к родному языку, — дикарь. Он вредоносен по самой своей сути потому, что его безразличие к языку объясняется полнейшим безразличием к прошлому, настоящему и будущему своего народа.

Мы приняли в дар блистательный и неслыханно богатый язык наших классиков. Мы знаем могучие народные истоки русского языка.

Обо всем этом приходится говорить потому, что сейчас в русском языке идет двоякий процесс: законного и быстрого обогащения языка за счет новых форм жизни и новых понятий и рядом с этим заметное обеднение, или, вернее, засорение языка.

Наш прекрасный, звучный, гибкий язык лишают красок, образности, выразительности, приближают его к языку бюрократических канцелярий или к языку пресловутого телеграфиста Ять.

Каковы же признаки обедненного языка? Прежде всего — засилье иностранщины. Надо наконец решительно убрать из русского языка все эти «дезавуирования», «нормативы», «ассортименты» и все прочее в этом роде.

Недавно в автобусе я услышал такую чудовищную фразу:

— По линии выработки продукции наше метизовое предприятие ориентируется на завышение качественных показателей и нормативов.

Что это за косноязычная галиматья! Слушая ее, я подумал: не для того жили и писали на изумительном русском языке Пушкин и Лев Толстой, Горький и Чехов, чтобы их потомки утратили чувство языка и позволяли себе говорить на этой тошнотворной и мертвой мешанине из плохо переваренной иностранщины и языка протоколистов, — его нам оставило в качестве омерзительного наследства царское бездушное чиновничество.

Этого не может быть! Этого не должно быть! Нужно беспощадно бороться с обеднением языка, со всеми

этими «засъемками», «зачитываниями докладов», «уцененными товарами», «промтоварными точками» (а быть может, запятыми?), с «рыбопродуктами» вместо простой и честной рыбы, наконец с дикой путаницей понятий.

Мы сталкиваемся с этой вывихнутой речью не только в учреждениях и на вывесках (Вот примеры: «Скупка вещей от населения». Типичный южный жаргон, где говорят: «Я купил от него пальто». Или: «Проезд для транспорта». С таким же успехом можно было бы повесить вывеску: «Проход для человечества»); много искаженных, испорченных слов проникает в газеты и даже в художественную литературу.

Писатели должны быть в первых рядах борьбы за естественное развитие языка и за очистку его от всяческого сора.

Богатство писательского словаря, как говорится, — «дело наживное». Языку мы учимся и должны учиться непрерывно до последних дней жизни. Должны учиться всюду, но прежде всего у народа, у бывалых людей, у писателей, прославленных обширностью и живописностью своего словаря (у Горького, Лескова, Пришвина, Алексея Толстого и других).

Мы обязаны искать и собирать повсюду, как золотоносный песок, по крупицам образцы русской речи: в поездах, колхозах, среди людей самых разных профессий, в поэзии, в научных докладах, в народных легендах, в речах политических деятелей. Обязаны собирать эти образцы, вводить их в прозу и добиваться самого трудного — чистоты и верности рисунка и почти суровой простоты выражения.

Как сложна эта работа, как труден подъем к простоте, знают все крупные писатели. Почти каждый из них прошел медленный путь от обилия слов и приподнятости до суровости и сдержанности истинно прекрасного, потому что «служенье муз не терпит суеты, прекрасное должно быть величаво».

Недаром кудрявый Бенедиктов забыт, а простой и кристаллически ясный Пушкин всегда будет сиять в веках и останется современником и другом всех будущих поколений.

Писатель пишет по свободному побуждению, пишет потому, что не писать он не может.

Если в способах выражения писатель должен быть прост (но не простоват), сдержан и строго соблюдать меру, то в том, чтобы выразить себя, он должен быть необыкновенно щедр, свободен, должен всегда говорить во весь голос, не жалея себя, не боясь растратить на один какой-нибудь даже маленький рассказ все свои богатства. В этом деле щадить себя и беречь — преступление. «Надо открыть все шлюзы».

Может быть, после этого и придет чувство «опустошения». Но оно мимолетно и обманчиво. Через короткое время новый замысел, новая тема вызовут из сознания и памяти новый поток мыслей и образов. Потому что воображение, как и сама жизнь, неисчерпаемо.

Часто свободное воображение писателя сопротивляется заранее составленным планам и схемам. Конечно, каждый прозаик составляет планы своих романов и повестей. Одни разрабатывают планы «до последней точки», другие набрасывают их коротко, даже неясно. «Даль свободного романа я сквозь магический кристалл еще неясно различал».

Обширные и точные планы живут обычно очень недолго — до появления на страницах первых героев книги, первых живых людей. Как только под пером писателя человек оживает, он начинает сопротивляться обдуманному плану и в конце концов ломает его.

Вещь начинает жить по своей внутренней логике, «не предусмотренной» самым идеальным планом. В ходе работы возникает много новых мыслей, решений, находок, отступлений, а иной раз появляются и совершенно новые люди. Они начинают вести за собой повествование и отодвигают заранее задуманных героев на второй план.

План необходим, но он не должен тяготеть над произведением, как чертеж, не подлежащий изменению.

План не должен сковывать воображения — этого великолепного, поистине волшебного качества, основу подлинного искусства. Воображение загорается, как огромное, нестерпимо сверкающее солнце над дымкой

первоначального замысла, и внезапно открывает перед нами удивительный и неведомый мир, полный идей, событий, блеска, радости, горя, труда, людских характеров, голосов, звуков, запахов, любви и гнева, пения птиц и полета облаков.

Творческому воображению мы обязаны всеми величайшими произведениями искусства. И сейчас, обладая этими богатствами, мы не можем представить себе, что было бы с нами, как бы мы могли разумно жить на земле, если бы их у нас не было.

По существу вся настоящая полноценная проза, перед которой мы преклоняемся, говорит об одном — о человеке. Для него работают писатели. Ему они стремятся передать все лучшее, что накопили и воспитали у себя в душе, на сердце. Ему они стремятся передать, выразить все до конца, не требуя наград, не ожидая возврата.

И как великие идеи рождаются всегда в глубине сердца, так и писательская щедрость навеки завоевывает людские сердца.

1953

ЗАМЕТКИ О ЖИВОПИСИ

Каждый любит природу по-своему и «как может».

Любовь к природе не бездеятельна и созерцательна. В любую минуту она может перейти из состояния созерцательности в гнев и сопротивление. Многие знают тот ледянящий сердце гнев, какой испытываешь при виде бессмысленного опустошения природы. Гул от падения срубленных на корню вековых деревьев причиняет почти физическую боль. Мы ведь знаем, что порой рубка леса вызывается не жизненной необходимостью, а разгильдяйством, невежеством и, что хуже всего, рваческим отношением к земле.

Редакции наших газет завалены сотнями писем от простых людей со всех концов страны о неразумном, а то и просто преступном отношении к природе. Люди стоном стонут из-за этого и взывают о помощи.

До сих пор у нас нет еще полного понимания азбучной истины, что сохранение природы, сохранение пейзажа — дело государственной важности, дело воспитания патриотизма в его чистом и подлинном понимании.

Своими моральными качествами, талантливостью и творческой силой наш народ обязан, среди других причин, и нашей природе. Сила ее эстетического

воздействия так велика, что, не будь ее, у нас не было бы такого блистательного Пушкина, каким он был. И не только Пушкина, но и Лермонтова, Чайковского, Чехова, Горького, Тургенева, Льва Толстого, Пришвина и, наконец, не было бы плеяды замечательных художников-пейзажистов: Саврасова, Левитана, Борисова-Мусатова, Нестерова, Жуковского, Репина, Крымова, Ромадина и многих других.

Трудно поверить, что еще недавно некоторые критики объявляли пейзаж ненужным, а о художниках и писателях-пейзажистах говорили, что они «прячутся в пейзаж от действительности» и тем самым выдают себя с головой, как недругов нашего общества.

Эта злая попытка обездолить наше искусство, конечно, не удалась. Но еще осталось некоторое количество нигилистических понятий и терминов, которые таят в себе опасность омертвления искусства. Один из этих терминов — «любование». Особенно часто и злорадно он применялся к пейзажистам и звучал как обвинительный приговор и похоронный звон. Смысл этого термина заключался, очевидно, в том, что человек позволял себе любоваться тем, чем, по мнению критика, любоваться «не положено», например пейзажем.

Понятно, что любование природой есть следствие любви к ней, а любовь к родной природе — один из вернейших признаков любви к своей стране, признаков патриотизма. В чьих человеконенавистнических и природоненавистнических мозгах могло родиться желание клеймить этим словом превосходных наших художников?

Вспомнить об этом следует только для того, чтобы такие случаи никогда больше не повторялись.

Я прошу прощенья за то, что, задумав писать о художнике Ромадине, я несколько отклонился в сторону.

Николай Михайлович Ромадин — сын самарского слесаря, человек, вышедший из самой сердцевины

народа, — прошел тяжелый путь приобщения к живописи.

Если бы не отчаянное его упорство и одержимость живописью, если бы не нестерпимая его любовь к России и к ее пейзажу, то он мог бы остаться в числе тех многих художников-самоучек, каких можно встретить почти в каждом нашем захолустном городке, да и в иных безвестных деревнях. Этих художников никто не знает. О них никогда не писали.

Их земляки хотя и считают таких художников чудаками, но относятся к ним с уважением. Очевидно, потому, что простой русский человек из всех видов искусства любит, пожалуй, больше всего живопись, особенно когда она открывает ему прелесть хорошо знакомых обжитых мест. «Вот они какие, наши места! — говорят в таких случаях с гордостью земляки такого художника. — А мы-то думали, что у нас, почитай, ничего интересного нету — одни поля да овраги, мосточки да реки».

Жаль, конечно, что у нас пока еще нет самоотверженных людей, которые занялись бы такими художниками-самоучками, находили бы их, отбирали бы лучшие их вещи и показали бы их народу. Тогда непременно обнаружились бы живописные богатства, в течение столетий никому не известные и бывшие в пренебрежении, — богатства подлинно народные по своей непосредственности, картины хотя бы и неумелые на взгляд утонченных ценителей, но полные примитивной прелести.

Сколько раз случалось и мне находить в глуши, в стареньких избах среди выцветших фотографий и бумажных трескучих цветов такие картины без рам. Иной раз к ним нельзя было прикоснуться без того, чтобы из-под них не побежали крупной рысью во все стороны рыжие тараканы.

Спросишь какую-нибудь бабку, чьи это картины, и почти всегда услышишь в ответ, что это, мол, сынок ее баловался, большой был охотник до этого дела и что, конечно, кабы ученье, то вышел бы из него прелестный живописец.

Ромадин — плоть от плоти этих живописцев из народа. Но он выбился, вышел на большую дорогу и силой своего таланта завоевал себе такого великолепного и сурового учителя, как Нестеров.

Все знают картину Нестерова «Видение отроку Варфоломею». Для многих этот отрок, этот деревенский пастушок с глубочайшей чистоты синими глазами — белоголовый, худенький, в онучах, — кажется олицетворением стародавней России — ее сокровенной тихой красоты, ее неярких небес, нежаркого солнца, сияния ее неоглядных далей, ее пажитей и тихих лесов, ее легенд и сказок.

Картина эта — как хрустальный светильник, зажженный художником во славу своей страны, своей России.

Самое замечательное в этой картине — пейзаж. В чистом, как ключевая вода, воздухе виден каждый листок, каждый скромный венчик полевого цветка, каждая травинка и крошечная девочка-березка. Все это кажется драгоценным. Да так оно и есть. Это зрелище трав, синеглазых рек, взгорий и темных лесов, что как бы прислушиваются к долетающему вполголоса звону, открывает в нас самих такие глубины любви к своей родимой земле, что стоит большого труда даже самому спокойному человеку сдержать невольные слезы.

Этот нестеровский пейзаж ударяет по сердцу каждого, у кого есть сердце. В нем выражена прекрасная сущность русского характера. В нем и Пушкин («В багрец и золото одетые леса»), и Есенин («Молочный дым качает ветром села, но ветра нет, — есть только тихий звон»), и Блок («Твои мне песни ветровые, как слезы первые любви»), и Алексей Толстой («Благословляю вас, леса»), и Бунин («Сторона ли моя ты сторонушка, вековая моя глухомань»), и Лесков и Пришвин, и Леонов, и Заболоцкий — все, кем богата поэзия нашей земли.

Все сказанное выше с полным правом относится и к картинам Ромадина. Он стал достойным преемником

нестеровского пейзажа. Но по своей страстности и стремлению к постоянным скитаниям, по жадности своего глаза Ромадин взял более широкий размах в пространстве, чем Нестеров. У Ромадина не только нестеровский север, но и вся остальная Россия.

Но все же на первом месте у Ромадина — среднерусский пейзаж. В пейзажах юга и Средней Азии Ромадин превосходно решает колористические задачи, но как бы ни были хороши эти пейзажи, у них нет того сразу берущего в плен обаяния, каким полны пейзажи Средней России.

Различная сила воздействия пейзажа зависит от степени его родственности нашим ощущениям, от степени его верной национальной, а иной раз и локальной, окраски.

Мы никогда не променяем на самые торжественные красоты тропиков и Запада наши скромные дали. Мы родились и жили «под сереньким ситцем этих северных тихих небес», их красота слилась со всей нашей жизнью, они были ее свидетелями, и потому только мы можем с полной силой ее ощутить и понять. Исключения бывают редко.

Во время путешествий мы часто бываем восхищены блеском чужеземной природы, но она никогда не сможет затмить природу русскую. Наоборот, чем ярче чужое, тем ближе свое. Ничто — ни лиловый пожар Эгейского моря, ни розовеющий мрамор и алые олеандры Эллады, ни синий сказочный воздух Сицилии, ни золотая тусклая дымка над бессмертным Парижем, — ничто не только не может приглушить нашу память о своей стране, но, наоборот, доводит ее до почти болезненной остроты.

Я испытал это на себе, когда в туманных предосенних садах Версаля с их почернелой, как старая позолота, листвой, с их геометрической пышностью я — совсем не знаю почему — вспомнил крошечный городок Спас-Клепики, и у меня заныло сердце.

В этом городке, как нарочно, было собрано все, чем хороши такие наши городки: домишки с рассохшимися

мезонинами, цветные стекла на крылечках, старые вязы, гулкий деревянный мост через чистую реку, металлический крик потревоженных гусей, дамба у моста с дуплистыми седыми ивами и пыльной травой по откосам, мальчишки с удочками, суетливые галки, плотники с пилами, завернутыми в холстину, девушки, царственно несущие на коромыслах полные ведра с водой, жалобный свисток паровоза на узкоколейке, погромыхивание далекого грома над заповедными сосновыми лесами, снеговые вершины грозовых облаков.

На базарной площади радио поет: «Тучи над городом встали, в воздухе пахнет грозой». Слушают радио, переминаясь, только косматые лошаденки у коновязи. У них от этой песни слипаются глаза. Трудно, конечно, догадаться, что снится лошадям. Может быть, пахучий клевер, а может быть, холодный, скользкий овес в торбе из грубого коричневого рядна. Из-за реки, как назло, густо тянет только что скошенным сеном. Петухи нахально взлетают на грядки телег и, отчаянно хлопая крыльями, орут без времени, накликают дождь.

Я не боюсь признаться, что поэзия сонного летнего дня в таком городке была ближе моему сердцу, чем величавая пустынность версальских садов. В тысячный раз пришли на память неумирающие по своей точности слова Грибоедова о том, что «дым отечества нам сладок и приятен», — дым деревень в тишине мягкого зимнего дня или дымок костров, что низко тянет над луговыми озерами.

Все сказанное о поэзии наших провинциальных городов (их можно назвать «глубинными», но никак не «периферийными»; это — чуждая нашему языку иностранщина) имеет непосредственное отношение к пейзажу Ромадина. Стоит выйти за околицу любого такого городка, чтобы погрузиться в этот пейзаж.

Я зрительно припоминаю некоторые картины Ромадина.

Начнем с весны, с самого мягкого, как первые клейкие листья, времени года. У Ромадина есть цикл картин о зиме, весне, лете и осени.

В начале весны бывает короткое время, когда сливаются вешние воды и зацветает ветла.

У Ромадина цветущая ветла с ее пушистыми барашками — олицетворение весны. Есть у него одна картина — над озером или речным затоном с тихой темной водой цветет одинокая ветла. Она отражается в воде, усыпанная серебряными барашками — мягкими на ощупь и теплыми, похожими на птенцов крошечной птицы. Таких птиц Пришвин называл «птичиками».

Трудно избавиться от ощущения, что эти барашки — живые существа, и такие теплые, будто их ворсистая шубка вобрала все тепло весеннего дня, хотя день пасмурный и солнце лишь изредка проглядывает белым размытым пятном на сером пологе неба.

В такие дни нас иногда охватывает от весеннего пара, сырой теплоты и тишины какое-то оцепенение. Тогда можно часами сидеть на берегу у такой вот ветлы и следить, как тянут высоко над Россией с юга на север позванивающие косяки журавлей.

В такие минуты предстает перед внутренним взором вся неохватная страна с ее постоянной загадкой и зовом синеющих далей. Каждая такая минута прибавляет еще одну крупицу к нашей любви и укрепляет сознание, что мы кровь от крови этой удивительной страны и что наша жизнь вне ее и без нее — невозможна, бессмысленна и ничтожна.

Картина Ромадина с цветущей ивой — это по существу портрет дерева. Единственная эта ветла открывает нам все обаяние русской весны.

Как это сделано — трудно понять. В таких случаях Алексей Николаевич Толстой с глубоким убеждением говорил только одно слово: «Колдовство!»

Когда живешь в деревенской избе или в лесной сторожке, то никогда не можешь забыть, что здесь же рядом, за высоким порогом избы, за щелястыми сенцами, где попискивают цыплята, начинается живописный край.

Стоит переступить порог — и тотчас увидишь старый-престарый вяз и тропинку, убегающую среди кустов лещины к глубокой речушке, и женщину в красной

кофте, что несет от речушки в деревню на коромысле выстиранное суровое белье.

Этот вяз — старый знакомец. Его я часто видел на картине Ромадина в Третьяковской галерее. Эта картина — еще один из портретов простого дерева.

Картины Ромадина всегда вызывают ощущение, что в любую минуту ты можешь войти в знакомый, но всегда новый мир нашей природы, — стоит только переступить за порог золоченой рамы.

Ромадина трудно увидеть в Москве. Он всегда в скитаниях то по Керженцу, то по Волге, то по каким-то только ему одному известным посадам, то в непролазных дебрях. Он подолгу живет на лесных кордонах, на волжских пристанях-дебаркадерах, где-нибудь под Костромой или Хвалынском.

Этот немногословный человек с цепкими глазами и неожиданной детской улыбкой обладает редкими и своеобразными знаниями.

Он знает, где можно найти самый густой иней, где растут самые могучие ели в стране, какие краски нужны для речного ветра и какие для дождя в сумерках. Если бы он написал обо всем этом, то получилась бы книга увлекательная и непохожая ни на что в литературе.

Ромадин работает под открытым небом в любое время года и при всякой погоде, даже в те окаянные дни, когда над оттаявшими болотами валит мокрый снег с дождем, сапоги полны ледяной воды и порывистый ветер рвет во все стороны подрамник. Ведь как же, — в другие дни не увидишь всех красок хмурости, неуюта, аспидного тяжелого неба — всех красок того времени, что называется весенним ненастьем, мокропогодью.

Зато какое наслаждение вернуться в тесную, но теплую лесную сторожку, где от крыши пахнет сырой замшелой дранкой и горячей золой из русской печки, где поет, подремывая, погнутый самовар-работяга, где за крутым чаем из старых и кривоватых граненых стаканов пойдет разговор о приближении весны, о том, что, по стародавним присказкам, уже прилетели кулики из заморья и освободили весну из неволи.

Мне кажется, что Ромадин — один из художников, умеющих жить в полном ладу со счастьем. Разве не счастье вот такие дни в сторожке, когда самая прелесть бродячей этой лесной жизни подкреплена сознанием удачно законченного любимого дела, созданием новых картин.

Картины Ромадина неотъемлемы от природы. Они — живые ее куски. От этих картин можно озябнуть на ветру, вдыхать всей грудью весенний речной холодок, промокать насквозь от дождя, услышать запах сосновой перегретой хвои.

Особенно щедр Ромадин в изображении лесов и осени. Керженские леса, стоящие по колено в полой воде, рудые северные сосны в низком свете заката, свежие перелески в полусвете сумерек, могучие скульптурные ели, лесистые края России — все это существует во всей своей подлинности на его картинах.

И существует осень, — ее золотое и багряное зарево, ее дали, как бы промытые голубоватой водой, ломкость ее воздуха и тишина пажитей, чуть поседевших от сентябрьской паутины.

На Севере бледность красок приобретает несколько величавый характер. Немые северные дали суровы. Но есть одно время года, когда Север приобретает мягкость очертаний и красок, прозрачный и таинственный блеск. Так бывает во время белых ночей.

В живописи трудно передать не столько сумрак и мягкое сияние белой ночи, сколько то ощущение задумчивости и покоя, которое вызывает у нас эта ночь. Его пытались выразить многие писатели, поэты и художники, но только одному Пушкину это удалось с гениальной точностью и простотой:

...Прозрачный сумрак, блеск безлунный
Твоих задумчивых ночей...

Эти строки — всеобъемлющее выражение белой ночи. У других поэтов даны только отдельные ее черты:

«опасная» — у Блока, «ясновидящая» — у Фета, а Полонский писал: «Отчего я люблю тебя, светлая ночь, так люблю, что, страдая, любуюсь тобой». Все-таки кажется, что было бы сильнее, если бы он написал: «что страдаю, любуясь тобой». Потому что красота белых ночей настолько совершенна, что, как все почти избыточно прекрасное, вызывает даже легкую душевную боль — сожаление о том, что эта красота неизбежно умрет.

Есть своя белая ночь и у Ромадина. Но это не белая ночь над Ленинградом. Это ночь за городом, в печальных урочищах Севера. У этой ночи иная окраска.

На первом плане написана дощатая терраса. Окна на террасе настежь распахнуты в белую ночь. На стуле около брошенной постели желтоватым огнем горит керосиновая лампа. Видно, что человек проснулся, не выдержал загадочной власти белой ночи, встал и ушел в луга. Они видны за окнами — все в непонятном сумрачном сиянии белесого неба, в отсветах дальних озер, в темной от росы траве. И только где-то очень далеко, на самом краю этой ночи, догорает костер, забытый мальчишками-пастухами.

Тишина. Ничто не нарушает медлительного течения этой ночи — одной из тысяч ночей на земле, но все же единственной и неповторимо прекрасной.

Я уже говорил, что Ромадин — художник со свободным и богатым размахом: от Волги, сизой от ветра, до карельских чахлых болот, от уюта среднерусских селений до Рембрандтовского зала в Эрмитаже.

Название этой картины неожиданно врывается в список работ Ромадина, стоит как бы особняком среди знакомых лугов, осенних дней, разливов и рассветов.

Ромадин увидел Рембрандтовский зал и написал его, конечно, по-своему. Это замечательный по желтоватому свету, по тону серебра, переходящего в золото, пейзаж изображает зал Рембрандта снаружи, из сада, вечером, когда свет из окна проходит через опущенные желтоватые занавеси и падает на деревья под окнами,

покрытые инеем. Игра этого света в снежных шапках, в ледяных кристаллах окружает зимние деревья необыкновенно мягким и таинственным ореолом.

Эта картина значительна еще и тем, что она подтверждает некий закон творчества. По этому закону истинный художник отличается от ремесленника своей способностью как бы на лету и в один миг открывать скрытые от многих, почти неуловимые вещи и закреплять их в точных образах для длительной жизни.

Труд Ромадина — не только труд живописца, но и подлинного патриота. Его полотна — поэма о России. У Ромадина есть много общего с Есениным, и, подобно Есенину, он может с полным основанием сказать: «И буду славить я всем существом в поэте шестую часть земли с названьем кратким Русь».

Ромадин не один. Вместе с ним славят эту шестую часть земли и другие наши замечательные художники. И, как любили говорить в старину, «честь им и слава» за то, что они показывают нам безмерную прелесть нашей земли — вплоть до какой-нибудь стыдливой ромашки, до листопада в лесах, до бледного неба, глядящего в глубину ее чистых вод.

Рижское взморье. 1957

ПРИМЕЧАНИЯ

ПЬЕСЫ

Поручик Лермонтов (Сцены из жизни Лермонтова). Пьеса написана в 1940 г. Опубликована в 1941 г. из-вом «Искусство». Шла на сценах Тамбовского, Куйбышевского, Симферопольского и других театров.

Перстенек. Пьеса написана в 1947 г. Напечатана под заглавием «Стальное колечко» в журнале «Нева», Ленинград, 1956, № 7.

Наш современник (Пушкин). Пьеса написана в 1949 г. Шла в Малом театре в Москве и в ряде других театров страны. Напечатана в журнале «Новый мир», 1949, № 6. В 1951 г. в Варшаве вышла отдельным изданием на польском языке.

ОЧЕРКИ РАЗНЫХ ЛЕТ

О труде и дерзании

Погоня за растениями. Впервые опубликован в журнале «30 дней», 1930, № 7.

Разговор о рыбе. Впервые напечатан в журнале «30 дней», 1930, № 6.

Зона голубого огня. Впервые напечатан в журнале «30 дней», 1930, № 12.

Онежский завод. В 1932 г. Паустовский ездил в Петрозаводск для работы над историей Петрозаводского завода. Тема этой

работы была дана Паустовскому А. М. Горьким. О том, что получилось из этой поездки, Паустовский вкратце рассказал в своей книге «Золотая роза» (глава «Белая ночь»). После поездки Паустовский написал две повести «Судьба Шарля Лонсевиля» и «Озерный фронт» и один большой очерк «Онежский завод». Очерк печатается впервые.

Соль земли (Рассказ на протяжении четырехсот километров). Написан в 1932 г. после поездки Паустовского на Северный Урал и строительство Березниковского химического комбината. Первоначально был напечатан отдельными главами в «Рабочей газете» (Москва), а затем вышел в отдельном издании под названием «Великан на Каме», Госхимтехиздат, М. 1934.

1080 паровозов. Написан в связи с поездкой Паустовского на Луганский паровозостроительный завод в 1933 г.

Речной штурман. Впервые напечатан в журнале «Советская женщина», 1949, № 2.

Путешествие на старом верблюде. Впервые напечатан в газете «Красная звезда» 26 марта 1942 г.

Хранительница. Впервые напечатан в журнале «Молодой колхозник», 1946, № 2-3.

Героический юго-восток. После поездки в 1952 г. по юго-востоку страны и на строительство канала Волго-Дон Паустовский написал на материале этой поездки повесть под названием «Рождение моря». Она была впервые напечатана в журнале «Знамя», 1952, № 4, 5, затем несколько раз издана, в частности в Детгизе, Воениздате и в изд-ве «Советский писатель». В 1956 г. Паустовский переработал эту повесть. В этом виде под новым названием «Героический юго-восток» повесть и печатается в Собрании сочинений.

Вешние воды. Напечатан в газете «Сельское хозяйство» 1 мая 1953 г.

Днепровские кручи. Напечатан в газете «Сельское хозяйство» 6 ноября 1954 г. По свидетельству автора, участниками случая с «болидом» были писатель А. Е. Корнейчук и «дид Микола», известный на Днепре (между Киевом и Трипольем) рыбак.

Странствия

Приазовье. *Порт в траве. Степная станица. Море в цвету.* Ранние очерки Паустовского, относящиеся к 1924 г. Печатались в разных газетах, в частности в московской газете «На вахте»;

целиком были впервые напечатаны в сборнике Паустовского «Родные просторы», Географгиз, М. 1954.

Подводные ветры. Написан по материалам поездки Паустовского по Волге и Каспию в 1930 г. Впервые напечатан в журнале «Красная новь», 1932, № 4.

Ночь в Доссоре. Напечатан под названием «Великая Эмба» в журнале «30 дней», 1931, № 8.

Мурманск. Страна за Онегой. Очерки написаны в 1932 г. после поездки Паустовского по северу страны. Печатаются впервые.

Михайловские рощи. Написан после поездки Паустовского по северо-западу страны в Новгород, Старую Руссу, Псков, Михайловское. Впервые напечатан в журнале «Красная новь», 1938, № 7. Впервые отдельным изданием вышел в библиотеке «Огонек» в 1941 г.

Новые тропики. Впервые напечатан в газете «Правда» 1 января 1938 г.

Желтый свет. Впервые опубликован под названием «Вторая родина» в сборнике Паустовского «Рассказы», Детиздат, 1940. Затем под названием «Желтый свет» был напечатан в сборнике «Родные просторы», Географгиз, М. 1954.

Спор в вагоне. Впервые напечатан в газете «Красная звезда» 16 января 1943 г.

Воспоминание о Крыме. Впервые напечатан в сборнике Паустовского «Крымские рассказы», Симферополь, 1948. Отдельным изданием вышел на латышском языке в Риге в 1950 г.

Ветер скорости. Написан после поездки Паустовского по северо-западу страны в октябре 1954 г. Впервые напечатан в журнале «Вокруг света», 1955, № 3, 4, 5.

Письмо из Тарусы. Впервые напечатан в газете «Правда» 26 июня 1956 г.

Муза дальних странствий. Напечатан в журнале «Вокруг света», 1957, № 1.

Географические записи. Впервые напечатан в журнале «Вокруг света», 1957, № 12.

Памяти Аксакова
(Рыболовные заметки)

Несколько слов об ужении рыбы. Написан в селе Солодча, Рязанской области. Впервые напечатан в сборнике «Рыболов-спортсмен», изд-во «Физкультура и спорт», М. 1948.

Осенние воды. Написан в селе Солодча. Впервые напечатан в сборнике «Рыболов-спортсмен», изд-во «Физкультура и спорт», М. 1950.

Черноморское солнце. Впервые напечатан в сборнике «Рыболов-спортсмен», изд-во «Физкультура и спорт», М. 1951.

Великое племя рыболовов. Впервые напечатан в книге «Юный рыболов», изд-во «Физкультура и спорт», М. 1952.

СТАТЬИ ОБ ИСКУССТВЕ

Поэзия прозы. Впервые напечатана в журнале «Знамя», 1953, № 9. Вошла в сборник «О писательском труде», выпущенном изд-вом «Советский писатель» в 1953 г. и в 1955 г. (второе издание).

Заметки о живописи. Впервые напечатаны под названием «Пейзажи Ромадина» в журнале «Москва», 1957, № 5.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ, НАПЕЧАТАННЫХ В 1—6 ТОМАХ

	Том	Стр.
Австралиец со станции Пилево	4	511
Александр Довженко	5	622
Алексей Толстой	5	572
Английская бритва	5	12
Аннушка	5	175
Артельные мужички	5	504
Астаповские пруды	5	268
Бабушкин сад	5	119
Бакенщик	5	124
Барсучий нос	4	532
Бег времени	5	314
Беглые встречи	5	419
Белая радуга	5	111
Белые кролики	5	16
Беспокойная юность (Кн. 2-я «Повести о жизни»)	3	299
Беспокойство	5	206
Блистающие облака	1	193
Бриз	5	85

	Том	Стр.
Великое племя рыболовов	6	617
Ветер скорости *(Из путевого дневника)*	6	536
Вешние воды	6	435
Во глубине России	5	275
Воитель	5	213
Воронежское лето	5	168
Воспоминание о Крыме	6	533
Географические записи	6	586
Героический юго-восток	6	332
Грач в троллейбусе	5	387
Далекие годы (Кн. 1-я «Повести о жизни»)	3	7
День смерти Горького	5	542
Днепровские кручи	6	441
Доблесть	4	486
Дождливый рассвет	5	129
Дорожные разговоры	5	50
Дочечка Броня	4	369
Дремучий медведь	5	488
Дядя Гиляй *(В. А. Гиляровский)*	5	585
Жара	4	466
Желтый свет	6	520
Жизнь Александра Грина	5	552
Жильцы старого дома	4	628
Заботливый цветок	5	528
Заметки о живописи	6	641
Записки Ивана Малявина	5	254
Заячьи лапы	4	552
Золотая роза	2	485
Золотой линь	4	547
Зона голубого огня	6	227
Иван Бунин	5	618
Инкубатор капитана Косоходова	4	432
Исаак Левитан	4	171

	Том	Стр.
Кара-Бугаз	1	405
Квакша	5	519
Клад	5	365
Колотый сахар	4	585
Колхида	1	527
Кордон-«273»	5	220
Корзина с еловыми шишками	5	425
Кот-ворюга	4	528
Кофейная гавань	4	379
Кружевница Настя	5	7
Ледостав	5	290
Ленька с Малого озера	4	592
Лихорадка	4	327
Малышкин	5	544
Маша	5	299
Мещорская сторона	4	194
Михаил Лоскутов	5	625
Михайловские рощи	6	504
Молитва мадам Бовэ	5	105
Море в цвету (Цикл «Приазовье»)	6	451
Морская прививка	4	494
Московское лето	4	403
Муза дальних странствий	6	582
Музыка Верди	4	504
Мурманск	6	488
Начало неведомого века (Кн. 3-я «Повести о жизни»)	3	567
Наш современник *(Пушкин)*	6	118
Несколько отрывочных мыслей *(Вместо предисловия)*	1	5
Несколько слов об ужении рыбы	6	596
Новые тропики	6	514
Ночь в октябре	5	144
Ночь в Доссоре	6	478
Озерный фронт	4	59
Онежский завод	6	236

	Том	Стр.
Орест Кипренский	4	134
Осенние воды	6	602
Оскар Уайльд	5	595
Парусный мастер	4	558
Пачка папирос	5	28
Перстенек	6	66
Письмо из Тарусы	6	571
Повесть о лесах	2	305
Поводырь	4	577
Погоня за растениями	6	207
Подарок	4	640
Подводные ветры	6	454
Подпасок	5	92
Поручик Лермонтов *(Сцены из жизни Лермонтова)*	6	7
Порт в траве (Цикл «Приазовье»)	6	448
Поселок среди скал	5	333
Последний черт	4	535
Потерянный день	4	564
Поток жизни *(Заметки о прозе Куприна)*	5	629
По ту сторону радуги	5	435
Похождения жука-носорога *(Солдатская сказка)*	5	476
Поэзия прозы	6	627
Правая рука	5	21
Приказ по военной школе	5	44
Приморские встречи	5	535
Приточная трава	5	384
Пришелец с юга	5	351
Прощание с летом	4	644
Путешествие на старом верблюде	6	322
Равнина под снегом	5	240
Разговор о рыбе	6	219
Разливы рек	4	287
Растрепанный воробей	5	496
Редиард Киплинг	5	549
Резиновая лодка	4	542
Репортер Крыс	4	321
Речной штурман *(Отрывок из дневника)*	6	318

	Том	Стр.
Робкое сердце	5	33
Рождение рассказа	5	401
Роза ветров	5	188
Романтики	1	19
Рувим Фраерман	5	575
Ручьи, где плещется форель	4	617
Сардинки из Одьерна	4	442
Северная повесть	2	193
Секвойя	5	358
Сивый мерин	4	635
Симферопольский скорый	5	376
Синева	5	391
Сказочник *(Христиан Андерсен)*	5	600
Слава боцмана Миронова	4	317
Случай с Диккенсом *(Из записной книжки)*	5	547
Снег	5	57
Собрание чудес	5	308
Созвездие Гончих Псов	4	103
Соль земли *(Рассказ на протяжении четырехсот километров)*	6	258
Соранг	4	428
Спор в вагоне	6	526
Стальное колечко	5	481
Старик в потертой шинели	5	443
Старый повар	4	623
Старый челн	4	599
Стеклянные бусы	5	79
Стекольный мастер	4	610
Степная гроза	5	66
Степная станица (Цикл «Приазовье»)	6	449
Страна за Онегой	6	498
Судьба Шарля Лонсевиля	4	7
Таинственный сундук	5	411
Тарас Шевченко	4	230
Телеграмма	5	154
Теплый хлеб	5	467

	Том	Стр.
Толя-капитан	5	202
Тост	4	479
1080 паровозов	6	309
Уснувший мальчик	5	458
Фенино счастье	5	98
Фридрих Шиллер	5	590
Хранительница	6	327
Ценный груз	4	392
Черное море	2	5
Черноморское солнце	6	610
Черные сети	4	458
Шиповник	5	320
Этикетки для колониальных товаров	4	348

СОДЕРЖАНИЕ

ПЬЕСЫ

Поручик Лермонтов *(Сцены из жизни Лермонтова)* 7

Перстенек 66

Наш современник *(Пушкин)* 118

ОЧЕРКИ РАЗНЫХ ЛЕТ

О труде и дерзании

Погоня за растениями 207
Разговор о рыбе 219
Зона голубого огня 227
Онежский завод 236
Соль земли *(Рассказ на протяжении четырехсот километров)* 258
1080 паровозов 309
Речной штурман *(Отрывок из дневника)* 318
Путешествие на старом верблюде 322
Хранительница 327
Героический юго-восток 332
Вешние воды 435
Днепровские кручи 441

Странствия

Приазовье
Порт в траве 448
Степная станица 449
Море в цвету 451
Подводные ветры 454
Ночь в Доссоре 478
Мурманск 488
Страна за Онегой 498
Михайловские рощи 504
Новые тропики 514
Желтый свет 520
Спор в вагоне 526
Воспоминание о Крыме 533
Ветер скорости *(Из путевого дневника)* 536
Письмо из Тарусы 571
Муза дальних странствий 582
Географические записи 586

Памяти Аксакова (*Рыболовные заметки*)

Несколько слов об ужении рыбы 596
Осенние воды 602
Черноморское солнце 610
Великое племя рыболовов 617

СТАТЬИ ОБ ИСКУССТВЕ

Поэзия прозы 627
Заметки о живописи 641

Примечания 652

Алфавитный указатель 656

Паустовский
Константин Георгиевич
Собрание сочинений, т. 6

Редактор *Н. Крючкова*
Художник *Н. Шишловский*
Художеств. редактор *Ю. Боярский*
Технический редактор *В. Гриненко*
Корректор *Т. Кузина*

*

Сдано в набор 25/III 1958 г.
Подписано к печати 8/VII 1958 г. А05293.
Бумага $84\times108^{1}/_{32}$—20,75 печ. л. = 34,03 усл.
печ. л. 29,84 уч.-изд. л. Тираж 300 000.
Цена 12 р. Зак. 3036.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

*

Типография № 2 им. Евг. Соколовой
УПП Ленсовнархоза. Ленинград,
Измайловский пр., 29.


12 р.